Р.Г.СКРЫННИКОВ



ДУЭЛЬ ПУШКИНА

ДУЭЛЬ ПУШКИНА

Владим[illegible]

[illegible]

[illegible]

За [illegible]

Входит [illegible]

[illegible]

Владим[illegible]

[illegible]

За [illegible]

Входит [illegible]

[illegible]

Р.Г. СКРЫННИКОВ



ДУЭЛЬ ПУШКИНА



Русско-Балтийский информационный центр
БЛИЦ
Санкт-Петербург
1999



История дуэли Пушкина окутана плотной пеленой мифов и легенд. Автор этой книги — профессор Санкт-Петербургского университета Р.Г.Скрынников, хорошо известный читателям в России и за рубежом, — провел большую работу с подлинниками рукописей Пушкина в Пушкинском Доме, с заметками Жуковского о дуэли, дневниками и записями современников поэта, а также с комплексом документов архива Дантеса, недавно введенных в научный оборот итальянской исследовательницей С.Витале. Впервые подойдя к изучению темы как источниковед и текстолог, историк разрушил гору мифов о дуэли Пушкина, скопившихся в науке. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей и написана живым языком; она изобилует вносящими дух эпохи цитатами из писем, дневниковых записей и воспоминаний современников событий.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского Гуманитарного фонда (РГНФ), проект № 98-04-16376.

ISBN 5-86789-044-9

ВВЕДЕНИЕ

27 января 1837 г. Пушкин был смертельно ранен на поединке поручиком Кавалергардского полка Жоржем Дантесом. Гибель поэта была величайшей трагедией для русской культуры.

История дуэли Пушкина окутана плотной пеленой мифов и легенд. Строго установленные факты тонут в массе догадок и гипотез. По сей день не утратило значения замечание о том, что творчество поэта изучено значительно глубже и полнее, нежели его биография. Но Пушкин-гений и Пушкин-человек, его творчество и жизнь — неразделимы, образуют одно целое.

Правда ли, что трагедия поэта была трагедией мученика, жертвы неодолимых обстоятельств? Справедливо ли мнение, будто его погубил чудовищный заговор, в котором участвовала императорская фамилия и высший свет? Верно ли, что гений Пушкина в конце блистательного поприща пришел в упадок? Многие заметили, что поэт стал утрачивать популярность. Он пережил тяжелую семейную драму, усугубленную многими бедами. Поэт не мог вынести притеснений цензуры, был лишен возможности распорядиться своей жизнью и покинуть столицу, был удручен долгами. У Пушкина не осталось иного выхода, кроме поединка, и таким путем он свел счеты с жизнью? Или все было иначе?

То обстоятельство, что Пушкин стоял у колыбели национальной литературы, определило особое место литературного творчества в истории русского общества, в истории России в целом. Литературоведение неизбежно оказывается тесно связанным с историческими разысканиями. Эта книга написана с одной целью: уточнить некоторые факты и подробности биографии Пушкина, имеющие существенное значение для воссоздания истории его гибели.

Исследование не могло быть ограничено рамками двух-трех последних лет жизни поэта. Слишком много нитей связывало эти годы с предыдущим периодом.

Часть I

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ССЫЛКИ

Отъезд из Михайловского

Пушкин и его поколение по справедливости считали себя детьми 1812 года. На их глазах армии Наполеона вторглись в Россию и сожгли Москву дотла. Война принесла бедствия и разорение стране, но она принесла народу также и нравственное возрождение. Нашествие наполеоновской армии завершилось ее гибелью. Русские войска прошли по всей Европе и заняли Париж. Империя Наполеона пала.

Молодые дворяне, участвовавшие в западных походах, увидели Европу, прошедшую через огонь и кровь революции. Самодержавные порядки и крепостничество, прежде казавшиеся им незыблемыми, превратились в их глазах в главную помеху благоденствию России. Страна, переживавшая огромный подъем после победы в Отечественной войне, жила в ожидании реформ. Но преобразования явно запаздывали.

В 1815 г. в России образовались первые конспиративные общества, ставившие своей целью государственный переворот. Пушкин был близок к заговорщикам. Его вольнолюбивые стихи воодушевляли их. Однако его попытки вступить в тайные общества неизменно наталкивались на отказ.

При Александре I Пушкин был выслан из столицы в южные губернии, а затем изгнан со службы и отправлен на жительство в свое имение, село Михайловское на Псковщине. Там он провел более двух лет.

Оторванный от центров интеллектуальной жизни, насильно отправленный в захолустье, поэт, казалось бы, обречен был на прозябание. Но период михайловской ссылки оказался одним из самых плодотворных в биографии молодого Пушкина. Поэму «Евгений Онегин» — «роман в стихах» — считают его главным творением. Основная часть «энциклопедии русской жизни» была написана в Михайловском. Там же Пушкин начал и закончил трагедию «Борис Годунов», шедевр русской и мировой литературы.

И все же Пушкин воспринимал жизнь в деревенской глуши как досадную несправедливость. Лишенный возможности общаться с друзьями и собратьями по перу, с блестящим светским обществом, поэт испытывал горечь и досаду.

Человек, ранее известный узкому кругу лиц, превратился в признанного мастера. Москва и Петербург были покорены его стихами. Поэт стал кумиром двух столиц, а равно и всей образованной и читающей России. Но он не мог покинуть деревню и принужден был довольствоваться лишь общест-

вом соседей по поместью. Возникла драматическая ситуация.

Изверившись в возможности добиться освобождения, Пушкин стал готовиться к бегству из России. Он предполагал выехать в Дерпт для лечения у тамошних врачей, а оттуда на корабле отплыть из своего отечества. 27 мая 1826 г. поэт известил друга — князя Петра Вяземского о своих тайных замыслах. «В 4-й песне "Онегина", — писал он, — я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница»[1]

Ссылка в Михайловское помешала Пушкину принять участие в восстании декабристов. Николай I железной рукой подавил мятеж в армии и предал его вождей суду. Главные руководители тайных обществ были повешены, прочие сосланы на каторгу в Сибирь.

Следствие по делу о мятеже скомпрометировало Пушкина. Весной 1826 г. он ездил в Псков и 11 мая дал подписку о неучастии в тайных обществах, какую давали по всему государству служилые и отставные дворяне в соответствии с царским рескриптом от 21 апреля 1826 г. Пушкин подписал надлежащий текст без изменений.

Следствие подтвердило, что поэт не был членом тайных обществ. При таких обстоятельствах он решил возобновить хлопоты об отъезде на лечение, не приведшие к успеху в царствование Александра I.

В двадцать шесть лет Пушкин страдал расширением вен, что и послужило предлогом для обращения к властям. Слухи о тяжелой болезни поэта, о том, что без операции он не проживет и трех лет, тревожили столицу[2].

Пушкин рассчитывал добиться от нового царя полного прощения. Камнем преткновения было покаяние без которого об освобождении нечего было и думать. Еще в феврале 1826 г. Плетнев представил Пушкину формулу, которая заключала в себе отказ от старых заблуждений и в то же время сохраняла за ним право на свободную мысль: «оставляя при себе образ мыслей твоих, на кои никто не имеет никакого права, не думаешь играть словами никогда, которые бы противоречили какому-нибудь принятому порядку»[3].

План друзей состоял в том, что поэт составит письмо, которое Жуковский мог бы показать императору. «Изгнанник» составил требуемое письмо, в котором дословно повторил формулу Плетнева. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости», — писал он в послании Жуковскому от 7 марта 1826 г. Однако события развивались в неблагоприятном направлении. 12 апреля 1826 г. Жуковский сообщил Пушкину: «В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ помириться с правительством»[4].

Покаянное послание поэта не удовлетворило Жуковского. Он сделал резкий выговор другу, а его письмо назвал «безрассудным», т.е. непригодным для того, чтобы показать государю. В июне Пушкин сочинил требуемое прошение на имя Николая I. Он обращался к самодержцу «с надеждой на великодушие» его «императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общеприятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)»[5]. Пушкин

просил разрешить ему покинуть места ссылки и выехать для лечения в Москву, Петербург или за рубеж.

Псковский губернатор фон Адеркас ценил литературу и сам пописывал стишки, которые давал для исправления Александру Сергеевичу. 19 июля по его распоряжению инспектор врачебной управы составил свидетельство о болезни Пушкина (расширение вен на правой голени). В тот же день Адеркас препроводил документы губернатору остзейских провинций маркизу Паулуччи, который 30 июля отослал бумаги царю.

Момент был выбран не слишком удачно. В июне 1826 г. власти получили донос на Пушкина. Приехавший из Пскова генерал П.С.Пущин рассказывал знакомым, что на псковщине крестьяне волнуются, ожидая вольности, что поэт посещает местную ярмарку в крестьянской одежде и пр. Тайный агент истолковал эти рассказы генерала как указание на то, что Пушкин «возбуждает к вольности крестьян». Сразу после завершения суда над декабристами власти послали во Псков одного из самых опытных секретных агентов А.К.Бошняка с фельдъегерем. В случае подтверждения доноса агент должен был арестовать поэта и увезти его под конвоем[6].

Под видом «путешествующего ботаника» Бошняк объехал окрестности сельца Михайловского и добросовестно собрал сведения о поведении ссыльного. Среди соседей были не одни приятели, но и недоброжелатели поэта. Но все они в один голос подтвердили, что он ведет себя благонамеренно и ни в каких антиправительственных поступках не замечен.

Бошняк надеялся получить необходимые ему сведения в усадьбе генерала Пущина. Но и генерал, и его домочадцы отвергали всякие сомнения насчет благонамеренности Пушкина. Они заявили: «...нельзя предполагать, чтобы он имел действительные противу правительства намерения, в доказательство чего и основывались на непричастности его к заговору. ...он столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить...»[7]

Браня поэта, Пущины указали его характерную черту — редкое простодушие и доверчивость.

Конспираторы не доверяли Пушкину не из-за его болтливости. Поэт обладал даром угадывать в людях способности. Талантливые люди легко завоевывали его дружбу и доверие, независимо от их политических пристрастий. Среди его друзей консерваторов было не меньше, чем революционеров, и писал он не только вольнолюбивые, но и верноподданические стихи. Напомним, что авторами слов к гимну Российской империи «Боже, царя храни!» были Пушкин и Жуковский. После куплета «Боже, царя храни!» следовало:

Так — громкой славою,
Сильной державою
Мир он покрыл —

Здесь безмятежною
Сенью надежною,
Благостью нежною
Нас осенил[8].

Первый куплет сочинил Жуковский, два куплета (приведенные выше) — лицеист Пушкин.

Бошняк произвел розыск и установил, что Пушкин посещал ярмарку местного монастыря, одевшись в крестьянскую рубаху с алым кушаком и в соломенной шляпе, но при этом ничего крамольного не совершал[9].

Решившись «искать истины при самом источнике, то есть в Святогорском монастыре», Бошняк задал игумену Святогорского монастыря вопрос в лоб: «...не возмущает ли Пушкин крестьян?». Игумен Иона отвечал кратко и точно: «Он ни во что не мешается и живет, как красная девка»[10].

Тайным надзором за Пушкиным руководил начальник Главного штаба И.И.Дибич. 1 августа 1826 г. Бошняк подал записку о Пушкине генералу Витту, а тот передал ее Дибичу. 28 августа утром Николай I выслушал доклад Дибича, представившего все собранные материалы о ссыльном.

Псковский губернатор Адеркас доносил, что поведение Пушкина очень хорошее, генерал-губернатор Паулуччи — что поведение хорошее. Тайный агент подтверждал, что поэт ведет себя, как красная девка. Судьба Пушкина решилась, как можно полагать, уже утром 28 августа во время доклада Дибича. Последний получил распоряжение «призвать Пушкина сюда», «не в виде арестанта»[11].

Поэт и царь

8 сентября 1826 г. фельдъегерь, — рассказывал Пушкин знакомым, привез его «по почте в Москву, прямо в Кремль и всего в пыли, ввел... в кабинет императора, который сказал: «А, здравствуй, Пушкин...»[1]

Приведенный отрывок принадлежит к числу хрестоматийных. Он заимствован из мемуаров А.Г.Хомутовой и, по-видимому, носит вполне легендарный характер. По приезде в Москву Пушкин был препровожден не в кабинет к царю, а в комнату к дежурному генералу Потапову, а оттуда к генералу Дибичу в Чудов монастырь в Кремле, где провел несколько часов[2].

Пока царь был занят делами и обедом, Пушкин беседовал с Дибичем. Беседа оставила добрые воспоминания. Поэт упомянул о генерале в неоконченных стихах «Ты просвещением свой разум осветил»[3].

Наибольшее впечатление на привезенного из ссылки произвело, надо думать, не красноречие генерала, а его сообщение о том, что царь склонен его простить. Новость положила конец томительному ожиданию. В кабинет царя Пушкин явился окрыленным, что сказалось на ходе беседы. Напряжение спало.

После отдыха Николай I принял Пушкина в своем кабинете и долго беседовал с ним с глазу на глаз.

О чем говорили между собой опальный поэт и самодержец? Направление беседы с царем было предопределено прошением Пушкина о дозволении ему лечиться у столичных врачей[4]. 8 сентября перед Николаем I предстал человек, удрученный болезнью. «Я впервые увидел Пушкина, — рассказывал монарх в 1848 г., — в Москве... после коронации, куда его привезли ко мне из его заточения, совсем больного и в ранах...»[5]

В прошении поэт писал, что надеется «на великодушие» императора и относится к прошлому «с истинным раскаянием...» Все это определило тон беседы. Николай I видел перед собой раскаявшегося больного человека и был отменно любезен. Он должен был рассмотреть поданное прошение и

объявить свою волю. Ответ был удовлетворительным. Пушкин получил разрешение остаться для лечения в Москве. Неделю спустя после свидания Пушкин извещал друзей: «Государь принял меня самым любезным образом»[6]. В самом начале 1826 г. поэт писал друзьям: «Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.»[7] Обхождение императора с опальным поэтом превзошло все, на что последний мог рассчитывать.

Самодержец разговаривал с Пушкиным наедине, а потому вполне надежными можно считать лишь сведения, полученные из первых рук. Когда Николай I, как он сам рассказывал М.Корфу, спросил Пушкина между прочим, что бы он сделал, «если бы 14 декабря был в Петербурге?» — «Был бы в рядах мятежников», — отвечал он не запинаясь»[8].

Краткое и энергическое заявление соответствовало характеру Пушкина. Оно бросало тень на одного лишь говорившего[9].

Друзья настоятельно советовали Пушкину добиваться от царя прощения. Отвечая им, он писал: «...я желал бы вполне и искренно примириться с правительством». До казни декабристов он верил, что может «условиться с правительством (буде условия необходимы)»[10]. После казни декабристов эти надежды поколебались. Однако царское прощение изменило всю ситуацию[11].

Центральное место в прошении Пушкина занимали слова о том, что он раскаялся и не намерен «противуречить моими мнениями общеприятому порядку». Вопрос о полном отказе от антиправительственных мнений был делом совести, и поэт его не касался. Император потребовал разъяснений. Разговор вступил в критическую фазу. Николай I описал этот момент подробно и вполне беспристрастно: после прямого вопроса Пушкину: «переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если пущу его на волю... он (Пушкин. — *Р.С.*) очень долго колебался и только после длительного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным». Самодержец требовал изменить образ мысли, т.е. взять на себя обязательство думать так, как угодно правительству. С этим и были связаны колебания поэта. То, что подданный долго молчал, прежде чем ответить императору, было невежливостью, даже дерзостью с его стороны.

Рассказ Николая I имеет документальное подтверждение. Вскоре после беседы Бенкендорф уведомил Пушкина, что его величество «не сомневается в том, что данное русским дворянином государю честное слово вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано»[12]. Так истолковал император обязательство поэта «быть иным». Оно означало «вести себя благородно и пристойно», т.е. касалось внешнего поведения, но не образа мысли.

Николай I был доволен результатами беседы с Пушкиным. Монарх был уверен, что ему удалось завоевать симпатии поэта, и его впечатление не было ошибочным. Подданный покинул его кабинет с глазами, полными слез.

Николай I, как можно догадаться, не только требовал от Пушкина полной откровенности, но и сам не скрывал от собеседника трудностей своего положения и своих тревог. Именно это порождало у собеседников чувство полного взаимопонимания.

Польский поэт А.Мицкевич встретил Пушкина в Москве в октябре 1826 г., и они стали друзьями. В 1837 г. Мицкевич опубликовал в Париже заметку, в которой воспроизвел рассказ Пушкина о встрече с царем после

коронации. Заметка относится к числу ранних документов, заслуживающих доверия. По словам Мицкевича, во время беседы «царь почти извиняется перед Пушкиным в том, что завладел троном... он оправдывался, поощрял поэта писать...»[13]

Николай I никогда не забывал о том, что его дед и отец умерли насильственной смертью, были убиты дворянами-заговорщиками. В дни мятежа 14 декабря та же участь грозила ему самому и членам его семьи. Сетования царя не были лицемерными.

Литературная беседа

Полагают, что уже при первой встрече Пушкин заговорил с царем о Петре и помог ему найти маску и приноровиться к новой для него роли монарха — наследника пращура[1].

Однако Николай I был членом царствующей династии, и вряд ли ему нужны были подсказки насчет роли. Что касается Петра Великого, просвещенные Романовы всегда поддерживали его культ.

Считают, что одной из главных тем беседы были реформы, необходимые России[2]. Но едва ли это справедливо. Напомним, что Николай I вел долгие беседы о реформах и с подследственными декабристами. Пушкину надо было доказать свою лояльность трону, а потому ему следовало избегать опасных сюжетов.

О чем же говорили поэт и царь? Не следует фантазировать на эту тему. Более надежный путь — поискать опору в источниках, в переписке поэта. Еще в 1825 г., убеждая Пушкина обратиться к государю за прощением, друзья старались подыскать доводы, которые бы подействовали на монарха.

В сентябре 1825 г. Жуковский советовал Пушкину создать бессмертное творение — сочинить драму о Годунове, чтобы дать друзьям возможность поправить судьбу ссыльного. Слова друга запали в голову поэта. 6 октяря 1825 г. он отвечал Жуковскому: «...жадно принимаю твое пророчество; пусть трагедия искупит меня...» 7 ноября 1825 г. Пушкин оповестил обо всем Вяземского: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию...» Жуковский повторил свой совет после восшествия на трон Николая I: «Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы...»[3]

Советы Жуковского подготовили Пушкина к беседе с Николаем I в Чудовом монастыре 8 сентября 1826 г.

В Михайловском Пушкин закончил одно из лучших своих творений. Впечатления переполняли его. Он не сомневался, что трагедия «Борис Годунов» вызовет интерес царствующей фамилии: драма ярко живописала историю Смуты, приведшей на трон бояр Романовых.

В письмах к друзьям, хлопотавшим за него, поэт неизменно подчеркивал, что описал Смуту, следуя «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина. Своими письмами Пушкин старался доказать, что во всем следовал взглядам придворного историографа. Когда его спрашивали о плане «Бориса Годунова», он отвечал: «Ты хочешь плана? возьми конец десятого и весь одинадцатый том («Истории» Карамзина. — *Р.С.*), вот тебе и план»[4]. В августе 1825 г. Пушкин писал Жуковскому: «Что за чудо эти 2 последних тома Карамзина! какая жизнь!..»[5]

Талантливым современникам суждена была особая роль в формировании гения Пушкина. «Он, — писал о Карамзине П.В.Анненков, — имел свою долю влияния на Пушкина, как почти каждая замечательная личность, встречавшаяся ему на пути»[6].

В рассуждениях Пушкина о Смуте звучало не только восхищение трудами Карамзина, но и покаянные ноты по поводу собственных прежних либеральных взглядов. Полно мне таскать цветной колпак, — писал он друзьям и тут же благодарил Карамзина за «железный колпак» юродивого Василия Блаженного[7]. «Цветной» (красный) фригийский колпак был символом революционной Франции. Замена фригийского колпака колпаком юродивого символизировала смирение. Обращение к истории Отечества и смена головного убора внушили друзьям поэта надежду на то, что новое сочинение поможет примирить Пушкина с государем.

Беседуя с императором, Пушкин мог рассчитывать на то, что его похвалы Карамзину будут восприняты благосклонно. Карамзин пользовался несомненным уважением царской семьи. Для Пушкина ссылки на его сочинения служили как бы щитом. Уже после гибели поэта этим щитом воспользовался Жуковский. В черновых набросках письма к Бенкендорфу он так охарактеризовал образ мысли своего друга: «В суждениях политических он, как ученик Карамзина, признавал самодержавие необходимым условием бытия и безопасности России...»[8]

Имя придворного историографа было на устах поэта. Николай I читал «Историю» Карамзина, как и все другие образованные люди России. Жуковскому пришла в голову поистине счастливая мысль. Он посоветовал Пушкину *представить царю* «Бориса Годунова».

Адам Мицкевич получил сведения об аудиенции в Кремле из первых рук. По словам польского поэта, «во время этой достопамятной аудиенции царь с увлечением говорил о поэзии. Это был первый случай, когда русский царь говорил с одним из своих подданых о литературе!»[9]

Поэт говорил с царем не о политике, не о реформах, а о литературе, о поэзии и — прежде всего — о только что написанной драме «Борис Годунов». Пушкина переполняли впечатления, и он искал благодарных слушателей повсюду.

Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу...

Приятель Пушкина Дельвиг, получив известие о свидании в Чудовом монастыре, писал: «“...Александр был представлен, говорил более часу, и осыпан милостивым вниманием”, вот что мне пишут видевшие его в Москве»[10].

Современники отмечают, что Пушкин обладал удивительным даром рассказчика. Он умел увлечь и заворожить кого угодно. Николай I оказался одним из первых, кто слушал рассказ поэта о недавно написанной трагедии.

Предложенная тема разговора была как нельзя более удачна. Николай I был равнодушен к поэзии, но с молодых лет увлекался театром. Все, что касалось театральной жизни, его живо интересовало. Драму он мог обсуждать со знанием дела. Собеседники неизбежно должны были обратиться к

более общим сюжетам. Эти сюжеты Пушкин обсуждал с друзьями незадолго до встречи в Чудовом монастыре. В мае 1826 г. Н.Н.Раевский писал поэту:«...вам будет суждено проложить дорогу к национальному театру...»[11]

В глазах императора-театрала вопрос о создании национального театра имел особую важность.

Пушкин почерпнул материал для пьесы у Карамзина. Но он раскрыл трагедию Смутного времени с такой глубиной, которая была недоступна знаменитому историографу. И хотя собеседники не читали текста, а лишь разговаривали о нем, венценосец, вероятно, понял это. Именно многократные ссылки на Карамзина убедили его в том, что прежний либерал и вольнодумец превратился в верноподданного. И в тот же день 8 сентября, на балу, он сказал Д.Н.Блудову: «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?»

Излагая трагедию Смутного времени, Пушкин избегал намеков на недавнее прошлое. Со своей стороны, император выразил одобрение тем, что опальный стихотворец обратился к славной истории Отечества. Отзвуком этого служили слова, переданные через Бенкендорфа 30 сентября: «Его величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего Отечества...»[12]

Цензурные вериги

Обсуждение «Бориса Годунова» неизбежно должно было привести к вопросу о цензуре. Пушкин имел все основания тревожиться, что цензура не пропустит его пьесу. С апреля 1826 г. в России стал действовать новый Цензурный устав, получивший наименование «чугунного». П.А.Вяземский был писателем и придворным и располагал хорошими источниками информации. Он советовал Жуковскому написать замечания на названный устав, чтобы добиться его смягчения. При этом он ссылался на реакцию монарха. Читая проект устава, тридцатилетний Николай I задал вопрос: «В силу этого должно ли было пропустить «Историю» Карамзина? Отвечайте просто: да или нет?» «Они отвечали: нет! Государь приписал тут: вздор; но между тем вздор этот остался и быть по сему»[1]. Гонения на наиболее образованную и либерально настроенную часть дворянства нарушили баланс сил в обществе и дали перевес откровенным реакционерам. Следуя их внушению, новый самодержец подписал Устав со всеми деталями, вызывавшими его личное неодобрение.

Беседуя с царем, Пушкин не скрыл своих опасений по поводу цензуры. Тогда Николай I будто бы произнес свою знаменитую фразу: «Я буду твоим цензором!» Но так ли было в действительности? Обратимся прежде всего к показаниям участников встречи.

Рассказывая Корфу о беседе с поэтом, Николай I ни словом не упомянул о своей главной милости — учреждении личной цензуры для Пушкина. Умолчал об этом и Пушкин в самом раннем отчете о царской аудиенции.

Доведенный до отчаяния придирками и выговорами жандармов, поэт решил объясниться с Бенкендорфом начистоту и в августе 1828 г. составил черновик письма (не отправленного адресату). «Государь император в минуту для меня незабвенную (8 сентября 1826 г. — *Р.С.*) изволил освобо-

дить меня от цензуры, я дал честное слово государю, которому изменить я не могу, не говоря уж о чести дворянина... Что касается до цензуры, если государю императору угодно уничтожить милость, мне оказанную (8 сентября 1826 г. — *Р.С.*), то с готовностью приемля знак царского гнева...» и пр.[2] Свое письмо Пушкин начал с фразы о требовании полицмейстером с него подписки в том, «что я впредь без предварительной обычной цензуры...» Фраза не была окончена, предложение осталось без сказуемого.

Перед нами самое раннее и самое достоверное свидетельство о встрече в Чудовом монастыре, до сих пор не оцененное исследователями. Это свидетельство отличается простотой и ясностью. В нем нет и намека на учреждение личной цензуры монарха. Царь освободил поэта от всякой цензуры, а тот дал честное слово государю, что не будет писать противоправительственных сочинений. Если государь намерен лишить его этой милости, воля его, — таков смысл письма.

Примерно в том же духе Пушкин писал 1 декабря 1826 г. приятелю Соболевскому: «Освобожденный от цензуры, я должен однакож, прежде чем что-нибудь напечатать, представить оное Выше; хотя бы безделицу»[3]. Освобождение от цензуры было получено, а затем появилась обязанность подавать любую безделицу на просмотр монарху.

Адам Мицкевич услышал новость из уст Пушкина через месяц после аудиенции. Николай I, записал Мицкевич, «поощрял поэта к продолжению творчества, он позволил ему даже печатать все, что ему угодно, не обращаясь за разрешением к цензуре»; царь проявил редкую проницательность: «он сумел оценить поэта; он понял, что Пушкин был слишком умен, чтобы злоупотреблять этой исключительной привилегией, и слишком благороден душой, чтобы не сохранить благодарственную память о столь необычайной милости». Такова ранняя версия, в которой нет упоминания о личной цензуре императора[4]. Пять лет спустя Мицкевич прочел в Париже лекцию о славянских литературах. На этот раз обращение царя к Пушкину было изложено им в иных выражениях: «Если ты опасаешься цензуры, — сказал он (царь. — *Р.С.*), — я сам буду твоим цензором»[5]. Эта версия существенно отличалась от первоначальной. Зато она полностью совпадала с молвой.

Чем объясняются противоречия в показаниях очевидцев? Можно полагать, что волеизъявление монарха допускало разные толкования. Решение царя не было заранее обдуманным и, возможно, ему недоставало определенности.

Пушкин имел частную беседу с царем и отдавал себе отчет в том, что милостивое слово государя лишь тогда обретает плоть и кровь, когда имеет форму письменного документа. Он мог истолковать волю императора в свою пользу, но, избегая неловкости, не сооообщил даже издателю о новом порядке прохождения его сочинений. М.П.Погодин, получивший в сентябре 1826 г. отрывок из «Бориса Годунова», послал текст в петербургскую цензуру обычным путем и в ноябре уведомил об этом автора[6].

Среди друзей поэта самым осведомленным был князь Петр Вяземский. 29 сентября 1826 г. он писал из Москвы А.И.Тургеневу и В.А.Жуковскому: «Пушкин здесь и на свободе... Государь посылал за ним фельдегера в деревню, принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею»[7]. Сообщив друзьям о новых песнях Онегина, князь Петр продолжал: «Государь обещался сам быть его цензором. Вот и это

хорошо!» Очевидно, и Пушкин и Вяземский поначалу видели в царском повелении о цензуре не более чем благое пожелание.

30 сентября Бенкендорф обратился к поэту с пространным посланием, в котором коснулся вопроса о цензуре. Шеф III Отделения не присутствовал на встрече, но получил информацию от импертора и старался точно передать его слова: «Сочинений ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры...» Изложение Бенкендорфа повторяло версию поэта: «никакой цензуры!» Никакой цензуры — значит, никакого цензора.

Однако ниже следовало разъяснение, никак не согласующееся с приведенными словами: «...государь сам будет и первым ценителем произведений ваших и цензором»[8]. Соединить два понятия — «ценитель» и «цензор» — было мудрено. Слово «ценитель» было созвучно слову «знаток», «поклонник». В «цензоре» видели «длань с карающим мечом».

Пушкин не знал, как воспринимать слова царя, — как любезность или как повеление монарха. Он был сочинителем плодовитым и не мог обойтись без частых обращений в цензуру. При всем том его муза всегда была не в ладах с цензорами. Со своей стороны монарх был завален всевозможными государственными делами и не мог реально исполнять функции цензора, что бы там ни говорилось. Надо заметить, что в представлении современников решение царя означало величайшую милость, неслыханную привилегию. Личная цензура царя означала возможность постоянного доступа сочинителя к августейшей особе, на что могли претендовать лишь немногие высшие сановники империи. Все наводило на мысль о том, что речь шла скорее о любезности, чем о реальном распоряжении царя.

В письме Бенкендорфа царское повеление приобрело окончательный вид, исключавший двусмысленность. Его циркуляр завершался словами: «...честь имею присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма можете для представления его величеству доставлять ко мне; но впрочем от вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя»[9]. Слова Бенкендорфа означали, что III Отделение берет на себя роль посредника в сношениях государя со стихотворцем. Пушкин не считал себя вправе докучать царю своими делами и не воспользовался оговоркой насчет прямого обращения к монарху.

Поэт не сразу осознал, что произошло. Место общей цензуры с ее простой схемой (автор—цензор—автор) должна была занять личная цензура царя, предполагавшая сложную схему (автор—Бенкендорф—тайный рецензент из числа осведомителей III Отделения—царь—Бенкендорф—автор). Понятно, почему, беседуя со своим биографом М.Корфом, Николай I предпочел не вспоминать о своем решении по поводу цензурных милостей, объявленных поэту. Вопрос был щекотливый.

Сразу после гибели Пушкина Жуковский в 1837 г. обратился к Бенкендорфу с гневными словами: «Государь хотел своим особым покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его Гению полное его развитие; а вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен...»[10] Жуковский ближе всех других наблюдал за развитием отношений между поэтом и властями, и именно он всего точнее уловил смысл происшедшего. Бенкендорф превратил покровительство царя в цензуру со стороны III Отделения.

Адам Мицкевич полагал, что Пушкин был первым, кто пользовался свободой печати в России. Но он ошибался.

В *Записке о Н.М.Карамзине* Пушкин особо подчеркивал, что император Александр I освободил «Историю» Карамзина от всякой цензуры[11]. Ни о какой личной цензуре царя в отношении Карамзина не было и речи. Николай I всего лишь следовал примеру брата, даруя Пушкину свободу от цензуры. Однако времена либерального правления прошли. После разгрома тайных обществ и казни декабристов непомерное влияние на государственные дела приобрело сыскное ведомство. Его глава Бенкендорф получил возможность манипулировать монархом.

С аудиенцией в Кремле связан любопытный эпизод. Рассказывали, будто на лестнице во дворце поэт выронил из кармана некие возмутительные стихи, которые он затем сам же и подобрал. Никто не знал в точности, о каких стихах шла речь. Соболевский называл стихотворение Пушкина «Пророк». Однако Нащокин утверждал, что Пушкин сжег «Пророка» в Михайловском, едва узнал о вызове к императору. Оспаривая свидетельство Нащокина, Соболевский сделал помету на полях текста с его воспоминаниями: «Пророк приехал в Москву в бумажнике Пушкина». Версия Соболевского сводилась к тому, что эпизод имел место не во дворце, а в его (Соболевского) доме: «Вот где он выронил (к счастью, что не в кабинете императора) свое стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось!!!»[12] Пушкин не мог посетить дом Соболевского до беседы с Николаем, так как был доставлен прямо в Кремль. Но после аудиенции он побывал у Соболевского, где уже 10 сентября, т.е. через день после царского приема, читал «Бориса Годунова». Не вполне ясно, в какой из дней Пушкин, будучи на квартире Соболевского, успел сначала выронить стихи, а через час обнаружить пропажу. В начальной редакции стихотворение не имело названия и начиналось словами: «Великой скорбию томим»[13]. Беспокойство Пушкина по поводу пропажи стихотворения связывают с тем, что оно было крамольным и заключало в себе намеки на события 14 декабря. Однако «крамолу» поэта в этом случае не следует преувеличивать. Первоначальный вариант сочинения датируется временем после казни декабристов: 24 июля — 3 сентября 1826 г. В названное время Пушкин пришел к мысли о необходимости и неизбежности примирения с правительством[14].

Первая редакция будущего «Пророка», кажется, была уничтожена. Но поэт не мог уничтожить всех своих крамольных стихов, которые гуляли по России в списках и передавались из рук в руки.

В середине августа 1826 г. Бенкендорф получил от генерала И.Н.Скобелева текст стихов, имевших заголовок «На 14 декабря», вместе с доносом на поэта. Пушкинисты полагают, что поэт имел объяснение с царем по поводу этих стихов уже во время встречи в Чудовом монастыре[15]. Источники рисуют иную картину.

Наблюдением за Пушкиным руководил с июня 1825 г. начальник Главного штаба генерал Дибич. В апреле 1826 г. дежурный генерал Потапов доложил Дибичу, будто Пушкин продал поэму «Цыгане» книготорговцу Сленину. Под подозрение попал Плетнев, переписывавшийся с Пушкиным по поводу его издательских дел. Начальник Главного штаба передал петербургскому военному губернатору П.В.Голенищеву-Кутузову личное повеление императора установить «ближайший надзор» за Плетневым, чтобы выяснить характер его отношений со ссыльным Пушкиным[16]. По царскому слову Дибич вызвал Пушкина в Москву.

Что касается стихов «На 14 декабря», следствие о них вел уже не Дибич, а Бенкендорф, глава нового ведомства. (Рескрипт об образовании III Отделения был опубликован как раз 8 сентября 1826 г.) К началу сентября жандармское расследование, видимо, находилось на ранней стадии. Вопрос не созрел для доклада императору. Получив донос от Скобелева в августе 1826 г., шеф жандармов дал задание генералу уточнить, «тот ли это Пушкин, который живет во Пскове, известный сочинитель вольных стихов? [...] Стихи сии самим ли Пушкиным переписаны? [...] Где подлинники находятся?»[17] На выяснение всех обстоятельств требовалось время. Лишь заполучив нужные сведения, следователи 26 сентября вынесли решение о проведении допроса Пушкина. Бенкендорф доложил Николаю I результаты расследования и убедил его, что полное освобождение «сочинителя вольных стихов» от всякой цензуры создает угрозу безопасности государства. Решение о допросе было вынесено 26 сентября, а 30 сентября глава III Отделения уведомил поэта, что все его сношения с царем будут идти через него, Бенкендорфа, и что государь изволил сам взять на себя обязанности цензора сочинений Пушкина. Таким образом, формула о личной цензуре императора появилась на свет лишь через три недели после аудиенции в Кремле.

За несколько месяцев до восстания 14 декаря 1825 г. поэт написал и издал стихи «Андрей Шенье». При публикации часть строф была вымарана цензурой. Эти строфы были включены в рукописный список сочинения. Случилось так, что учитель Леопольдов дал списку заголовок «На 14 декабря». Рукопись попала в руки жандармов. Несколько молодых офицеров были обвинены в распространении стихов Пушкина и за это разосланы по полкам[18].Чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе А.Я.Булгаков в письме брату от 1 октября сообщил по поводу стихов «На 14 декабря»: «Стихи точно Пушкина; он не только сознался, но и прибавил, что они давно напечатаны в его сочинениях»[19].

Пушкин объяснил следователям, что его стихи «Андрей Шенье» обличали французскую революцию, тиранию якобинцев, а заголовок был дан произвольно, не им, а неизвестными лицами. Однако он не мог объяснить, каким образом запрещенные цензурой строфы стали широко известны в обществе.

Что бы ни говорил поэт, дело было сделано. Глава корпуса жандармов дал свою интерпретацию милости монарха и позаботился о том, чтобы фраза царя «я буду твоим цензором» стала широко известна обществу.

В своих письмах Пушкин впервые обнародовал сведения о личной цензуре царя лишь 9 ноября 1826 г.: «Царь, — писал он Языкову, — освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, Годунова тиснем»[20].

Поэт был растроган любезным приемом в Кремле. Император также был доволен беседой. Ксен.Полевой писал, что после беседы Николай I обратился к окружающим со словами: «Господа, это Пушкин мой»[21]. Между другими там был и министр двора П.М.Волконский, передавший царские слова: «Это не прежний Пушкин, это Пушкин раскаявшийся и искренний, мой Пушкин...»[22] В.Ф.Вяземская слышала ту же фразу из другого источника — от самого Пушкина. По ее свидетельству, государь расстался с поэтом со словами: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пуш-

кин»[23]. Не подлежит сомнению, что личность поэта произвела огромное впечатление на только что коронованного монарха.

Агенты III Отделения доносили, что известие о прощении царем Пушкина было встречено обществом с радостью: «Все искренне радуются, — писал один из агентов, — великодушной снисходительности императора, которая, без сомнения, будет иметь счастливые последствия для русской литературы»[24].Однако Бенкендорф и его помощники имели свой взгляд на дело. Они воспринимали освобождение поэта от цензуры как опрометчивый шаг. Пушкин был крамольным поэтом, более опасным, чем только что повешенный Рылеев. Тот обладал посредственным литературным талантом и мог оказывать лишь ограниченное влияние на умы.

Итак, на встрече в Чудовом монастыре Пушкин беседовал с монархом главным образом о новой трагедии «Борис Годунов». После беседы он получил уверенность, что ему удастся «тиснуть» пьесу. Но в дело вмешалась тайная полиция. Почта перехватила письмо московского издателя М.П.Погодина к Пушкину относительно передачи в цензуру отрывка из «Бориса Годунова» и возможного запрета публикации в петербургской цензуре. Письмо было датировано 15 ноября 1826 г.[25] Бенкендорф велел начать розыск и обратился к доверенным лицам за разъяснением, кто такой Погодин и каково направление его вновь основанного журнала «Московский вестник». Из Записки, поданной Булгариным в III Отделение, следовало, что Погодин — человек с либеральным душком и таковы же его покровители Пушкин и Вяземский. О Пушкине доносчик отозвался как о человеке, принадлежавшем к мятежникам «не по участию в заговоре, но по одинаковому образу мыслей и дружбы с главными матадорами», т.е. вождями декабристов[26].

Донос дал Бенкендорфу повод для придирок. В письме от 22 ноября шеф жандармов потребовал от Пушкина ответа, почему он читал «Бориса Годунова» в Москве без предварительного на то разрешения и почему он оставил без ответа его первый «отзыв». По поводу «отзыва» (наставления от 30 сентября) Бенкендорф заметил: «Должен, однако же, заключить, что оный к вам дошел, ибо вы сообщили о нем некоторым особам»[27].Глава сыскного ведомства дал ясно понять стихотворцу, что за ним учинена слежка и жандармерии известно каждое его слово.

26 ноября Бенкендорф направил распоряжение полковнику И.П.Бибикову в Москву: «Вы меня бесконечно обяжете, если найдете средство получить и представить нам в копиях поэтические отрывки, которые сей последний (Пушкин. — *Р.С.*) собирается передать Погодину для публикации в его журнале»[28].

Пушкин был ошеломлен неожиданным нападением. Он полагал, что произошло какое-то недоразумение. В письме от 29 ноября 1826 г. он пытался объяснить жандарму, что читал трагедию «не из ослушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя» (т.е. понял эту волю как полное освобождение от цензуры)[29]. В панике Пушкин тут же написал письмо Погодину с просьбой остановить прохождение через московскую цензуру всех его сочинений.

В поведении Пушкина не было ровным счетом ничего крамольного. Это было засвидетельствовано в ответе Бибикова на запрос Бенкендорфа. Тот доносил из Москвы, что в журнале Погодина «нет никаких либеральных

тенденций; он чисто литературный», что чтение драмы в Москве не могло принести вреда, так как он «из хорошего источника» знает, что «трагедия не заключает в себе ничего противоправительственного»[30].

Но Бенкендорфу надо было припугнуть Пушкина. Жандармерия была новым ведомством, и ему надо было потеснить другие бюрократические учреждения, чтобы обеспечить себе поле деятельности. Ранее цензура находилась всецело под контролем Министерства народного просвещения. Новшество — личная цензура царя — на деле должна была быстро превратиться в цензуру секретной полиции.

29 ноября Пушкин направил письмо вместе с текстом «Бориса Годунова» в Петербург Бенкендорфу для передачи императору. Поэт пояснил, что посылает Бенкендорфу текст трагедии для его личного ознакомления, и просил вернуть ему трагедию для переделки. Лишь после этого он намеревался передать трагедию императору: «...поставляю за долг препроводить ее вашему превосходительству, в том самом виде, в котором она была мною читана (в Москве. — *Р.С.*), дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена; я не осмелился прежде сего представить ее глазам императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения. Так как другого списка у меня не находится, то приемлю смелость просить ваше превосходительство оный мне возвратить»[31].

Шеф жандармов передал пушкинское письмо Николаю I, и тот выразил свое удовлетворение: «Я очарован слогом письма Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение; велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы дело не распространилось»[32].

Подчеркнем, что император был очарован слогом письма Пушкина, но не его трагедии. Можно догадаться, какие слова поэта покорили монарха: «Конечно, никто живее меня не чувствует милость и великодушие государя императора...»

Письмо дало Бенкендорфу повод не показывать государю невыправленный текст пьесы.

Пушкин напрасно ломал голову над тем, как переделать «Бориса Годунова» после просмотра текста Бенкендорфом. Высочайшая резолюция с полной очевидностью доказывала, что самодержец вовсе не собирался читать ни имевшийся в жандармском управлении, ни исправленный текст «Бориса Годунова». Ознакомившись с письмом поэта, он велел представить в свое распоряжение «выдержку». Иначе говоря, ему нужен был не текст драмы, не рецензия на нее, а «выдержка», т.е. экстракт — пересказ пьесы.

Николай I был завален государственными делами и не питал слабости к литературе. Неудивительно, что он искал способы, которые позволили бы ему цензуровать сочинения Пушкина без затраты труда.

Государь был уверен, что может служить образцом для подданных в любом деле, и не желал предстать перед обществом в роли недобросовестного цензора, подставного лица. По этой причине Бенкендорфу наказано было привлечь «верного» человека, «чтобы дело не распространилось», т.е. не получило лишней огласки.

Просьба Пушкина просмотреть трагедию, но не показывать ее царю поставила шефа жандармов в трудное положение, и он призвал на помощь своего агента — опытного литератора Булгарина. Составленная им записка не имела подписи[33].

Очень может быть, что поначалу жандармское управление заказало Булгарину отзыв, предназначенный для внутреннего использования. Иначе трудно объяснить, почему царь затребовал у жандармов «выдержку» (пересказ), а Булгарин представил Бенкендорфу развернутую рецензию.

Критические замечания журналиста подчинены были четко обозначенной цели — представить трагедию как сочинение слабое, не стоящее того, чтобы его читал царь. «Литературное достоинство, — писал Булгарин, — гораздо ниже, нежели мы ожидали». Вместо того, чтобы выбрать самые яркие сцены, дающие представление о пьесе в целом, рецензент старательно выписал места, которые «непременно надо исключить».

Булгарин оценил сочинение Пушкина как подражательное: «...в сей пиесе нет ничего целого: это отдельные сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI тома "Истории государства Российского", переделанные в разговоры и сцены. Характеры, происшествия, мнения, все основано на сочинении Карамзина, все оттуда позаимствовано». Рассуждая об изображении духовенства в пьесе, Булгарин завершал мысль словами: «...у Карамзина все это описано вдесятеро сильнее»[34].

Парадокс заключался в том, что ссылка Булгарина на Карамзина отвечала целям Пушкина. Он сам старательно убеждал царя, что следовал «Истории» Карамзина. Таким путем он старался доказать свою благонамеренность.

Констатируя, что «дух целого сочинения монархический», Булгарин признавал, что, с учетом предлагаемых им поправок, «кажется, нет никакого препятствия к печатанью пиесы»[35].

Несколько замечаний Булгарина привлекли особое внимание царя и по существу определили его реакцию на пьесу.

Рецензент выделил события междуцарствия, с описания которых начинается трагедия. Эти события напоминали о недавних днях, последовавших за кончиной Александра I, когда Николай I притворно отказывался занять опустевший трон. Воспоминания об этом эпизоде были унизительны для самодержца.

Автор отзыва настаивал на том, что пьесу нельзя выпускать на театральные подмостки («разумеется, что играть ее не возможно и не должно»), потому что появление на сцене патриарха и монахов — дело, неслыханное для России. Называя патриарха, рецензент намекал и на лицо более высокого ранга — царя. Заядлый театрал, Николай I знал, какую власть имеет театр над умами людей.

Бенкендорф позаботился о том, чтобы на стол к государю попали только «Замечания» Булгарина, с сопроводительным письмом, но никак не текст пьесы. Сопроводительное письмо Бенкендорфа подытожило отзыв Булгарина. Главный жандарм писал: «Во всяком случае эта пиеса не годится для сцены, но с немногими изменениями ее можно напечатать; если Ваше Величество прикажете, я ее ему (Пушкину. — *Р.С.*) верну и сообщу замечания»[36].

В рецензии было сказано, что трагедия Пушкина местами напоминает «состав вырванных листов из романа Вальтер Скотта»[37]. Это замечание государь воспринял, вероятно, как комплимент. Сравнение с Вальтером Скоттом показалось ему удачным, и он пришел к мысли о том, что «комедию» Пушкина хорошо бы переделать в роман.

Глава III Отделения дипломатично сообщил поэту, что государь изволил прочесть комедию с большим удовольствием, после чего собственноручно (император. — *Р.С.*) написал: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или в роман наподобие Вальтер Скотта». В заключение шеф жандармов присовокупил: «Мне крайне лестно и приятно служить отголоском Всемилостивейшаго внимания Его Величества к отличным дарованиям Вашим»[38].

Литературные занятия были делом новым для монарха, и он явно переусердствовал в исполнении функций цензора. Трагедию, по своей глубине истинно шекспировскую, император в любезной форме советовал Пушкину поднять до уровня... Вальтера Скотта. Впрочем, в царском вердикте не было ничего обидного. Скотт добился мировой славы, и его творения ставили в один ряд с пьесами Шекспира.

9 декабря Бенкендорф сообщил поэту, что получил текст «Бориса Годунова», а уже 14-го дал знать о том, что государь якобы прочел его творение. Более чем сомнительно, чтобы в такой короткий срок — пять дней — пьесу успел прочесть и отрецензировать сначала Булгарин, а затем и Его Величество император всероссийский.

Ответ Пушкина на предложения венценосного цензора был кратким и энергичным. «Жалею, — писал он Бенкендорфу для передачи монарху, — что я не в силах уже переделать мною однажды написанное»[39].

Поэт преподал цензору урок, который тот должен был запомнить надолго. Осенью 1826 г. Пушкин читал «Бориса Годунова» в различных московских салонах. Избранная московская публика, таким образом, успела познакомиться с пьесой. Запрет шедевра был воспринят в обществе с недоумением. Благонамеренный характер сочинения был подтвержден жандармским полковником Бибиковым. Но Николай I находился под влиянием внушений Бенкендорфа по поводу возможной крамолы.

Объявление о том, что Николай I будет сам цензором сочинений Пушкина, создавало ряд трудностей в глазах бюрократии. Личная цензура предполагала частые встречи между поэтом и его цензором. Поэт должен был получить доступ к особе императора, каким пользовались лишь немногие. Жандармы нашли выход из затруднения. Бенкендорф объявил Пушкину, что все его сношения с государем будут идти через него, шефа жандармов. 6 июля 1827 г. Пушкин был вызван в III Отделение и впервые лично познакомился с его главой.

Бенкендорф имел ограниченный кругозор и не интересовался литературой. Говорить с ним на литературные темы было бесполезно. После беседы шеф жандармов писал: «Он все таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»[40].

У поэта сложилось собственное представление о шефе жандармов. Он стал называть прозвищем «Бенкендорф» жженку, которую употреблял для прочистки желудка»[41].

Николай I назвал поэта умнейшим человеком, жандармский генерал — шалопаем. Очевидно, Пушкин пытался вести с главным жандармом светский разговор, исключавший все, что напоминало бы о субординации. Запись Бенкендорфа обнаруживает, сколь мало понимал он гордый и вольный дух стихотворца.

Династия и реформы

Пушкин проявлял исключительный интерес к переворотам XVIII века и судьбам династии. На то были серьезные причины. Сколь бы могущественной ни казалась власть самодержавного монарха, судьбу трона решало в конечном итоге благородное российское шляхетство — дворяне и гвардия.

Династия Романовых пресеклась в мужском колене после того, как сын и наследник Петра I царевич Алексей был засечен кнутом, а внук, Петр II, умер от оспы. Курляндская династия, представленная вдовой курляндского герцога Анной Иоанновной, принесла России Бироновщину. Попытка императрицы Анны посадить на престол Брауншвейгскую династию в лице младенца Иоанна Антоновича не удалась.

Императрице Елизавете Петровне наследовал Петр III, сын голштейн-готторпского герцога Карла Фридриха. На российском троне утвердилась немецкая голштинская династия. Петр III был свергнут и убит в 1762 г. Власть узурпировала дочь прусского фельдмаршала — Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербтская, Екатерина II.

Екатерина II была одной из самых ярких фигур XVIII века — века Просвещения. Ее реформы доставили немецкой династии популярность и поддержку дворянства.

Николай I был внуком просвещенной государыни Екатерины II. От отца, Павла I, он унаследовал любовь к парадам и муштре. Опыт правления брата, Александра I, убедил его в необходимости реформ. Тотчас после своего воцарения он отстранил от дел Аракчеева, изгнал из столицы Магницкого, попечителя Казанского университета. Эти двое были символами худших сторон предыдущего царствования.

После разгрома декабрьского мятежа Николай I поручил Д.Н.Блудову составить «Свод показаний членов тайного общества о внутреннем состоянии государства». Свод был предназначен для высших сановников государства. По указу самодержца 6 декабря 1826 г. начал действовать Секретный комитет, перед которым была поставлена задача исследовать, «что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить»[1].25 апреля 1827 г. император передал в Секретный комитет записку М.М.Сперанского, лично им одобренную. Записка содержала предложение о разработке нового законодательства о крестьянах.

Власти приступили к кодификации законов Российской империи и изданию Полного собрания законов, ввели меры поощрения промышленности и торговли, открыли Технологический и Лесной институты.

В 1827-1828 гг. в секретном порядке был выработан текст нового устава о цензуре. 22 апреля 1828 г. Николай I подписал новый устав, более либеральный по сравнении с «чугунным уставом» 1826 г. Цензорам предписывалось «принимать всегда за основное явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону». Государственный совет дал официальное толкование новому уставу, пояснив, что цензуре «не представляется уже в обязанность давать какое-либо направление словесности и общему мнению»; она может запрещать только те сочинения, которые наносят ущеб вере, престолу, нравам и личной чести граждан[2]. По существу, речь шла о преобразовании цензуры на основании опыта запад-

ных стран, что должно было обеспечить подобие свободы слова. Обсуждение грядущей реформы породили радужные надежды. 16 сентября 1827 г. А.Н.Вульф записал в дневнике: «Играя на биллиарде, Пушкин сказал: "...Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского... Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря"»[3].

Либеральные веяния становились все более ощутимыми. Примирившись с правительством, Пушкин стремился содействовать переменам. В 1826-1827 гг. поэт написал в честь Николая I «Стансы». Восславив Петра I, поэт закончил стихи словами:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Поэт советовал монарху последовать примеру пращура, посеявшего семена просвещения в России. «Стансы» были гимном в честь Петра Великого.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Пушкин издал стихи в январе 1828 г.

В 1830 г. Секретный комитет подготовил проект дополнительного закона о «состояниях» (сословиях), призванный внести изменения в петровскую Табель о рангах. Сам царь передал проект для обсуждения московскому дворянству. В этом шаге поэт усмотрел доказательство того, что «правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения». Об этом он писал П.А.Вяземскому в письме от 16 марта 1830 г.[4]

Николай I приступил к реформам с уверенностью, что его слова будет достаточно для быстрого их осуществления. В царском предписании членам Секретного комитета говорилось: «...еженедельно уведомлять меня... об успехах дела, которое я почитаю из важнейших своих занятий и обязанностей. Успех, который оным докажется, будет лучшая награда трудящимся (членам комитета. — *Р.С.*), а мне душевное утешенье»[5]. В увещеваниях государя появились задушевные ноты. Но Секретный комитет не внял уговорам и, невзирая на четко выраженную волю царя, провалил предложенную им программу. В начале 1834 г. Николай I жаловался новому любимцу П.Д.Киселеву, что его замысел относительно изменений в положении крепостных не находит прямого сочувствия у его сотрудников: «...даже в семействе моем некоторые (старший брат царя Константин. — *Р.С.*) были совершенно противны. ...Помогай мне в деле, которое я должен передать сыну... и осуществлению мысли, которая меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу»[6]. П.Д.Киселев оправдал надежды монарха. Его реформа, освободившая от крепостного рабства государственных крестьян, подготовила почву для Великой крестьянской реформы, упразднившей крепостное право в России. Ее осуществил сын Николая I Александр II в соответствии с заветом отца. Но на это ушло более 30 лет.

Александровская эпоха выдвинула плеяду талантливых бюрократов,

разработавших программу реформ в России. Среди них выделялись граф М.М.Сперанский и П.Д.Киселев. Пушкин симпатизировал таким людям и поддерживал с ними добрые отношения. Поэт оставил в дневнике запись о беседе со Сперанским в марте 1834 г.: «Я говорил ему, — отметил Пушкин, — о прекрасном начале царствования Александра: Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении Зла и Блага»[7]. Опальный реформатор рано оценил дарование Пушкина. «Он действительно имеет замашку и крылья гения», — писал он дочери в 1820 г.[8] Со Сперанским поэт обсуждал «Историю Пугачева». По воле Николая I Киселев вместе со Сперанским возглавил секретный комитет по крестьянскому вопросу. 3 июня 1834 г. Пушкин после беседы с Киселевым у Вяземского записал: «...он, может, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова...»[9] Пушкин поддерживал достаточно тесные отношения с министром внутренних дел Д.Н.Блудовым. В 30-х годах он вел перереговоры о публикации в «Современнике» «Записки об Артемии Волынском», составленной Блудовым по архивным материалам[10].

Либералы осудили Стансы в честь Николая I. Нападки рассердили поэта. Отвечая своим критикам, он написал верноподданнические стихи «Друзьям»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

Ознакомившись с этими стихами в марте 1828 г., царь передал поэту через Бенкендорфа: «Что касается до стихотворения вашего под заглавием "Друзьям", то его величество совершенно доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано»[11]. Николай привык к лести и не скрыл того, что очень доволен хвалой, сложенной Пушкиным в его честь. Но будучи человеком просвещенным, монарх должен был считаться с неизбежной реакцией общества. Стихотворение «Друзьям» должно было вызвать еще более неблагоприятную оценку образованного общества, чем «Стансы», чуждые откровенной лести. Власти дали знать поэту, что лучше распространять его стихотворение в рукописных списках. То был редкий случай. Жандармерия всегда пеклась о том, чтобы искоренить любое распространение стихов Пушкина в рукописных списках до публикации с разрешения цензуры. Теперь самодержец сам рекомендовал нарушить строго установленное правило!

Стихи «Друзьям» имели характер напутствия, как и «Стансы». Они выражали скорее ожидания поэта, чем его подлинные взгляды. Но престижу Пушкина они нанесли серьезный ущерб.

Сопротивление высшей бюрократии и консервативного дворянства затормозило преобразования, которые Николай I надеялся осуществить в непродолжительное время. Когда Пушкин понял, что государь «нетверд» в реформах, как и в литературе, он отказался от сочинения новых стихов, подобных «Стансам».

Поворот к реформам выдвинул новых людей. Некоторые из них были в свое время членами литературного общества «Арзамас» и сохраняли приятельские отношения с Пушкиным. Делопроизводителями в Секретном комитете 6 декабря 1826 г. были Д.Н.Блудов и Д.В.Дашков. В 1832 г. первый стал министром внутренних дел, а второй — министром юстиции. Еще один член общества «Арзамас», С.С.Уваров, с марта 1833 г. стал управляющим Министерством народного просвещения, а через год — министром просвещения. Стремительную карьеру начал делать П.Д.Киселев. С мая 1828 г. Пушкин стал посещать дом М.М.Сперанского. Последний советовал ему писать историю своего времени.

Осенью 1828 г. Пушкин написал поэму «Полтава», которая начиналась словами:

Богат и славен Кочубей,
Его луга необозримы...

В первом же примечании поэт спешил напомнить читателю, что казненный Мазепой генеральный судья Украины Василий Кочубей был одним из предков нынешних графов Кочубеев. Из всех современных Кочубеев Пушкина интересовал только один — Виктор Павлович. В апреле 1827 г. он занял посты канцлера империи, председателя Государственного совета и Комитета министров. В 1828 г. князь и граф Кочубей участвовал в допросе Пушкина по поводу «Гавриилиады». Этот эпизод, по-видимому, не отразился на взаимоотношениях этих людей. В 1830-1831 гг. поэт нередко бывал в доме Кочубея.

С именем Кочубея связывали надежды на поворот к реформам, что сказалось на отношении Пушкина к первому сановнику империи. В 1834 г. по случаю кончины Кочубея поэт записал в Дневник такое суждение о нем: «Это был ум в высшей степени примирительный; никто так превосходно не решал трудных вопросов, не приводил мнений к согласию и т.д.» К тому времени Пушкин полностью разочаровался в деятельности Кочубея. Назвав канцлера ничтожным человеком, поэт заметил: «Новые министры повесили голову. ...такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!»[12]

Реформы не могли быть осуществлены без опоры на либеральные общественные силы. Но власти, поручая бюрократическим инстанциям разработку новых законов, внимательно следили за настроениями общества и карали всякие проявления либерализма, не санкционированные сверху. Проводником карательной политики выступало III Отделение.

В сетях III Отделения

Мятеж на Сенатской площади обнаружил полное бессилие тайной полиции, проглядевшей заговор. Пушкин с насмешкой отметил, что о заговоре знали все, кроме правительства и полиции. Бенкендорф предложил Николаю I реорганизовать секретную службу на новых началах.

Каждый раз, когда русские монархи сталкивались с заговорами или недовольством в дворянской среде, они устраивали опричнину, Тайные прика-

зы и тому подобные учреждения. Эти учреждения не подчинялись никому, кроме самодержца.

Бенкендорф и его помощник фон Фок заявляли себя противниками быстро крепнувшей бюрократии, ее всевластия и злоупотреблений. Но их ведомство неизбежно должно было превратиться в еще одну надстройку над бюрократическим аппаратом.

Тайная полиция была выведена из подчинения Министерству внутренних дел и подчинена лично императору, в обход всех промежуточных ступеней. Иван Грозный обрядил своих опричников в черные одежды, Николай I — в небесно-голубые мундиры.

Форма подчеркивала значение нового ведомства, служившего мостом между батюшкой царем и народом. Уже во время процесса над декабристами Бенкендорф заботился о том, чтобы спасти свою репутацию человека справедливого и снисходительного. Целью нового ведомства он провозгласил обеспечение порядка в государстве и возможность для каждого подданного донести через жандармов правду до монарха, найти справедливость. В особой инструкции Бенкендорф объявлял, что каждый служащий III Отделения «через мое посредство может довести глас страждущего человечества до престола царского, и беззащитного гражданина немедленно поставит под высочайшую защиту государя императора». Корпус жандармов предполагалось укомплектовать исключительно из «добромыслящих людей России»[1].

Благодаря стараниям Бенкендорфа жандармерия приобрела фасад почти что благотворительного учреждения. Миф о III Отделении получил широкое распространение. В 1830 г. Пушкин писал А.Гончарову, что Бенкендорф — «человек снисходительный, благонамеренный и чуть ли не единственный вельможа, через которого нам доходят частные благодеяния государя»[2].

Сын эстляндского губернатора, Бенкендорф сделал крьеру благодаря придворным связям. Его мать была подругой императрицы Марии Федоровны. Сам же он с пятнадцати лет служил Павлу I. Будучи во Франции, Бенкендорф ознакомился с опытом французской жандармерии. Система политического сыска, созданная Фуше в годы Наполеоновской империи, была самой разветвленной и совершенной в Европе. Бенкендорф предложил реорганизовать русскую секретную службу с учетом западноевропейского опыта. Заставить одну половину общества следить за другой было уже недостаточно. Суть новой системы заключалась в том, чтобы сочетать жесткое подавление вольномыслия с мерами, которые позволили бы властям направлять общественное мнение. Управляющий III Отделением фон Фок обосновал эту идею в особой записке, поданной шефу. Необходимо, писал он, подчинить общественное мнение, которое «не засадишь в тюрьму, а прижимая, его только доведешь до ожесточения». Максимилиан фон Фок был почетным членом Вольного общества любителей российской словесности и принадлежал к разновидности полицейских либералов. По словам Филиппа Вигеля, Фок был «немецкий мечтатель, который свободомыслие почитал делом естественным и законным» и «хотел, чтобы просвещенный, по мнению его, образ мыслей не совсем погиб в России, и людей, имеющих его, намерен был защищать от преследований»[3].

Штат нового ведомства был невелик — около 20 чиновников, пользовавшиихся услугами примерно 30 осведомителей. Костяк III Отделения

составляли опытные полицейские ищейки и тайные агенты, которых вербовали в самых различных слоях общества. Среди агентов была прислуга, литераторы, офицеры, «натуралисты» типа Бошняка, богомольные кокетки вроде Каролины Собаньской и пр.

Розыск о тайных обществах сделал Бенкендорфа одной из самых влиятельных фигур в государстве. Поворот к реформам поставил руководителей вновь организованной жандармерии перед новыми проблемами. Чтобы не отстать от общего течения и угодить царю, шеф жандармов замыслил привлечь на службу в III Отделение людей либерального склада ума. Одним из первых его предложение принял Л.В.Дубельт, еще недавно слывший либеральным крикуном. Его примеру последовали приятели Пушкина И.П.Липранди, Я.Н.Толстой и другие лица. Наконец, III Отделение пригласило на службу одного из самых известных деятелей тайных обществ генерала М.Ф.Орлова, избежавшего каторги лишь благодаря заступничеству брата. Но Орлов категорически отверг предложение.

Реорганизация секретной полиции стала темой злободневной и получила отзвук в сочинениях Пушкина. Онегин возвращается в Москву:

Замечен он — об нем толкует
Велеречивая Молва,
Его шпионом именует,
Сплетает про него стихи
И производят в женихи.

Пушкину было предписано сноситься с Николаем I через секретную полицию, а потому он не мог избежать общения со шпионскким ведомством. Контакты расширились с того момента, как монарх велел Пушкину составить Записку о народном воспитании и передать ее в III Отделение. «Я был в затруднении, — рассказывал поэт друзьям, — когда Николай спросил мое мнение о сем предмете»[4].

Пушкин имел в виду разговор с императором в Чудовом монастыре.

Получив задание царя составить письменный ответ на свой вопрос, Пушкин обратился к идеям Карамзина, в которых он искал спасения после разгрома декабристов. Видимо, он имел в своем распоряжении «Записку о древней и новой России» Н.М.Карамзина, поданную Александру I в 1811 году[5]. Записка заключала столь резкую критику современных порядков, что Александр запретил ее публиковать.

Поэт вновь призвал на помощь тень великого историографа. В своей *Записке о народном воспитании* Пушкин подчеркивал важность исторического образования молодежи. «Историю русскую, — писал он, — должно будет преподавать по Карамзину. История Государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека.»[6].

Историю мировую, развивал свой взгляд Пушкин, следует излагать столь же честно, как и русскую: знакомить с идеями республиканцев, «не хитрить, не искажать республиканских рассуждений»; не превозносить Цезаря, ибо он был «возмутитель» и узурпатор; «не позорить» Брута, защищавшего традиционные и законные республиканские порядки.

Пушкин был встревожен слухами о предстоящей выдаче царскому правительству Н.Тургенева, находившегося за рубежом и заочно приговоренного к смерти во время суда над декабристами. Вступившись за него, поэт

хвалил его «нравственность и умеренность — следствие просвещения истинного и положительных познаний»[7].

Вслед за Карамзиным Пушкин писал о пагубности либеральных идей для России. В целом его *Записка* носила благонамеренный и верноподданнический характер.

Пересылая рукопись царю, Бенкендорф писал о Пушкине: «...он мне только что прислал свои заметки... которые прилагаю. Заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу»[8].

Николай I был в целом доволен представленным ему сочинением. Бенкендорф сообщал поэту: «...государь император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши...»

Однако царя в *Записке* Пушкина удовлетворило не все. Поэт слишком пылко ратовал за полезность и спасительность для России просвещения. Защищая Н.Тургенева, он не побоялся выставить его образцом истинного просвещения. При чтении рукописи царь поставил на полях множество вопросительных знаков. Наконец, он не удержался и от выговора. Просвещение и гений, поучал государь подданного, — не могут служить исключительным основанием совершенству: это правило опасно для общего спокойствия; оно уже завлекло «вас (Пушкина. — *Р.С.*) на край пропасти... Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному»[9].

Прилежное служение трону — вот чего требовал монарх от поэта.

Записка Пушкина в III Отделение не была единственной. В 1828-1832 гг. Пушкин составил еще три Записки для секретной полиции. Все они не имели подписи и должны были послужить черновиком для официальных бумаг, исходящих из III Отделения. Все это строго соответствовало порядкам, царившим в жандармерии. В отличие от первой Записки, три последующих были составлены без царского повеления, по собственному почину поэта.

Пушкин пытался использовать свои особые отношения с царем и его жандармерией в своих целях. Сначала он попытался оправдать в глазах самодержца декабриста Н.Тургенева, а затем заступился за польского поэта Адама Мицкевича.

Автограф первой Записки Пушкина сохранился в бумагах фон Фока и имеет дату 7 января 1828 г. Зимой 1827/1828 г. общение Пушкина и Мицкевича было особенно тесным. Со слов польского поэта Пушкин записал рассказ о том, как 17-летний Адам Мицкевич был арестован за принадлежность к литературному обществу, которое просуществовало всего несколько месяцев. О втором литературном обществе, проповедовавшем национальную идею, юноша только слыхал, но не знал его целей. После семимесячного заключения Мицкевич в 1824 г. был выслан в российские губернии, где и находился более четырех лет. Суть «доношения» о ссылке польского поэта Пушкин изложил отрешенно: Мицкевич надеется, что правительство позволит ему возвратиться в Польшу, куда его призывают домашние обстоятельства[10].

Записка Пушкина была весьма своевременной. В марте 1828 г. великий князь Константин был возмущен публикацией в Варшаве статьи о чествовании ссыльного Мицкевича в Петербурге. Его запрос побудил Бенкендорфа поручить Булгарину составить справку о поведении польского поэта в Петербурге. Булгарин составил Записку о Мицкевиче, всецело его оправдывавшую.

Его Записка за подписью Бенкендорфа была отправлена в Варшаву[11].

Россия стояла на пороге войны с Турцией. Император надолго покинул Петербург. Лишь после его возвращения дело получило ход, и Мицкевич смог покинуть Россию. Власти считали слишком опасным отпускать его в Польшу, но разрешили выехать в Германию и Италию.

... Он
Ушел на Запад — и благословеньем
Его мы проводили.

Слова Пушкина соответствовали истине. Он не только благословил отъезд Мицкевича, но и содействовал осуществлению его планов. Усилия Пушкина были своевременны. Грянувшее в 1830 г. польское восстание до крайности затруднило бы вызволение Мицкевича из русского плена.

III Отделение никогда не оказывало услуг даром. С согласия Бенкендорфа фон Фок принял от Пушкина Записку в пользу освобождения Мицкевича. Почти сразу вслед за тем Бенкендорф пытался использовать ситуацию, чтобы добиться от Пушкина согласия на службу в его ведомстве. Поэту предложили поступить на оплачиваемую должность в канцелярии секретной полиции. Происшествие это заслуживает внимания.

В 1828 г. началась война с Османской империей, пробудившая патриотические настроения. Русское общество сочувствовало грекам, которые вели безнадежную борьбу против поработителей-турок. Захваченные общим течением, Пушкин и Вяземский в апреле 1828 г. обратились к императору с просьбой отпустить их в действующую армию. После долгих обещаний оба получили отказ. По свидетельству Вяземского, противодействие исходило со стороны его племянника министра Нессельроде. Бенкендорф получил также прямые указания от великого князя Константина, который писал ему по поводу ходатайства Пушкина и Вяземского: «...как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно было бы в чем-либо положиться»[12].

Николай I отказал Пушкину. Тогда последний обратился в апреле 1828 г. с письмом к Бенкендорфу. Он просил исходатайствовать от государя для него разрешение на поездку в Париж на 6 или 7 месяцев, т.е. примерно на то время, пока царь будет занят в кампании на Балканах[13].

В марте царь передал Пушкину, что с большим удовольствием читал новую главу из «Евгения Онегина». Сердечное согласие вновь определяло взаимоотношения между императором и его подданным. У Пушкина возникла надежда на то, что его августейший друг наконец отпустит его за рубеж. Бенкендорф опасался такого исхода дела и потому не довел просьбу поэта до сведения Николая I.

В 1828 г. поэт близко сошелся с штаб-ротмистром Н.В.Путятой, который должен был быть его секундантом в дуэли с Т.-Ж. Лагренэ. Записные книжки Путяты сохранили сведения о беседе Пушкина с Бенкендорфом по поводу его отъезда на театр военных действий. Сообщив Пушкину об отказе царя определить его в армию, Бенкендорф продолжал: «Хотите... я вас определю в мою канцелярию и возьму с собой?» «Пушкину предлагали служить в канцелярии III Отделения!»[14]

Предложение Пушкину о сорудничестве с III Отделением не осталось тайной для общества. Молва определила даже размеры жалованья, пред-

ложенного поэту. Прошел слух, жаловался Пушкин Вяземскому в 1829 г., «что я шпион, получаю за то 2500 в месяц[?] ...и ко мне уже являются троюродн[ые] братцы за местами [?] и за милостями[?] царскими[?]»[15].

Определение первого поэта России на службу в тайную полицию отвечало честолюбивым замыслам шефа жандармов. III Отделение было новым учреждением и искало всевозможные средства к тому, чтобы укрепить свою репутацию. В случае согласия Пушкина Бенкендорф приобрел бы сотрудника, какого не имело ни одно министерство. Жандармы получили бы в свое распоряжение мощное средство влиять на общественное мнение.

Пушкин отклонил предложение о службе в жандармерии, но не отказался от попыток использовать свои связи там, чтобы помочь гонимым. В 1829 г. поэт познакомился с молодым казачьим сотником В.Д.Сухоруковым. В течение пяти лет сотник, в то время поручик лейб-гвардии Казачьего полка, собирал материалы для составления Истории Войска Донского. За участие в заговоре молодой офицер-литератор был арестован и выслан на Кавказ, а все собранные им материалы отобраны. Главнокомандующий Паскевич оценил способности Сухорукова и взял его к себе в адъютанты. Но военный министр Чернышев велел арестовать сотника и с фельдъегерем отослать его в донскую казачью станицу без права выезда.

В 1831 г. Пушкин ходатайствовал за Сухорукова перед III Отделением. Составленная им Записка заключала просьбу позволить ссыльному возобновить занятия по истории Донского войска, для чего разрешить скопировать ранее собранные документы.

Записка была принята фон Фоком, и летом 1831 г. Бенкендорф имел беседу по поводу Сухорукова с военным министром. Граф Чернышев был взбешен попыткой вмешаться в дела его ведомства. Ходатайство закончилось полной неудачей. Глава III Отделения сообщил об этом Пушкину 29 августа 1831 г. К тому времени Сухоруков получил возможность покинуть Кавказ и приехал в Москву. 26 ноября М.П.Погодин видел его и «рассказал действия Пушкина для него»[16].

Поэт пытался использовать III Отделение и для того, чтобы подорвать монополию Булгарина в литературе. Еще в мае 1830 г. он писал Вяземскому: «...неприлично правительству заключать союз — с кем? — с Булгариным и Гречем»[17].

Летом 1830 г. поэт составил для передачи секретной полиции черновик Записки об издании газеты, которая была бы противовесом для булгаринской «Северной Пчелы». Этот демарш был предпринят не без колебаний. Прошел год, прежде чем Записка была подана в III Отделение.

Пушкин начинает с замечания о том, что литература есть отрасль промышлености и все больше приобретает торговое направление, что благоприятствует ее процветанию при новом монархе. Однако же известные писатели (Булгарин и Греч), издающие огромным тиражом «Северную Пчелу», приобрели слишком большое влияние на читающую публику и на книжную торговлю. Критика и политика сделались их монополией. «От сего терпят вещественный ущерб все литераторы, не находящиеся в приятельских отношениях с “Северной Пчелой”: ни одно из их произведений не продается, ибо никто не станет покупать товара, осужденного в самом газетном объявлении». Чтобы избавиться от монополии Булгарина и Греча, Пушкин предлагал учредить новый журнал, «в коем печатались бы политические и за-

граничные новости». Поэт заверял жандармов, что его газета будет лояльной по отношению к властям и в ней не будет ничего злонамеренного: «Направление политических статей зависит и должно зависеть от правительства, и в сем случае полагаю священной обязанностью ему повиноваться... Злонамеренность была бы с моей стороны столь же безрассудна, как и неблагодарна»[18].

Записка Пушкина написана была в исключительно корректном тоне. Поэт избежал каких бы то ни было характеристик «двух известных писателей». Все, чего он требовал, было восстановление равновесия в литературе, т.е. предоставление другим журналам таких же прав на публикацию официальных материалов, которыми монопольно пользовалась «Северная Пчела».

В начале июня 1831 г. Пушкин подал Записку об издании газеты управляющему делами III Отделения фон Фоку. Руководство III Отделением отнеслось к новому проекту Пушкина с недоверием. Бенкендорф несколько лет трудился над тем, чтобы подчинить журналистику своему контролю, а теперь ему предлагали разрушить воздвигнутый им бастион! В действиях Пушкина он, естественно, усмотрел проявление прежнего духа либерализма. С ведома Бенкендорфа фон Фок отказался поддержать новую затею Пушкина. Его Записка не была принята к производству.

Итог «сотрудничества» поэта с тайной полицией был впечатляющим. По его инициативе III Отделение выхлопотало разрешение Мицкевичу выехать за границу. Когда в Польше вспыхнуло восстание, голос Мицкевича в защиту поляков прозвучал как набат по всей Европе. Жандармы должны были признать свой промах.

Ходатайство в защиту бывшего декабриста Сухорукова, также начатое по почину Пушкина, завершилось тем, что Бенкендорфу пришлось выслушать резкую отповедь от военного министра.

Записка Пушкина об издании газеты была отвергнута с порога. Надежды поэта рухнули.

Поднадзорный

С весны до осени 1828 г. царь находился в действующей армии на Балканах. Высший орган империи, Государственный совет, принял на себя надзор за состоянием дел в столице. Петербургский военный генерал-губернатор П.В.Голенищев-Кутузов был наделен особыми полномочиями для поддержания порядка и особенно для предупреждения крамолы.

Следствие о распространении стихов «На 14 декабря» длилось долго. По этому случаю был арестован ряд лиц, хранивших запрещенные стихи. Потребовалось более года, прежде чем дело прошло все бюрократические инстанции и поступило в Государственный совет.

Будучи вызван на допрос, Пушкин объявил насчет стихов А.Шенье, что «оные никак без явной безсмыслицы не могут относиться к 14 декабря»[1].

Насмешливые слова по поводу «явной бессмыслицы» выдвинутых обвинений рассердили сановных старцев. Сановники усмотрели непочтительность, проявленную известным стихотворцем в отношении членов Государственного совета «в неприличных выражениях его в ответах своих...»[2]

28 июня 1828 г. члены Госсовета подписали протокол, на основании

которого военный генерал-губернатор 18 августа предписал главному полицмейстеру взять подписку с известного стихотворца Пушкина, «дабы он впредь никаких сочинений, без рассмотрения и пропуска оных цензурою, не осмеливался выпускать в публику... между тем учинить за ним безгласный надзор»[3].

Решение о надзоре продиктовано было, очевидно, условиями военного времени, когда власти проявляли бдение по поводу любых признаков крамолы. После вызова к полицмейстеру Пушкин взялся за перо, чтобы написать протест Бенкендорфу. Но черновик письма остался незаконченным.

Тем временем над головой стихотворца сгустились новые тучи. В мае 1828 г. дворовые люди дворянина Митькова подали донос на господина, а затем передали митрополиту петербургскому Серафиму рукописный список «Гавриилиады». Сведения об этом богохульном сочинении поступили в III Отделение уже во время суда над декабристами. Жандармский полковник И.П.Бибиков назвал среди других мятежных стихов, которые разносят пламя восстания и нападают на святость религии, «Гавриилиаду», «сочинение А.Пушкина»[4].

Но текст поэмы попал в руки судей только весной 1828 г. Митрополит передал рукопись статс-секретарю Н.Н.Муравьеву. 29 июня Государственный совет постановил взять к допросу Митькова, а 3-5 августа военный генерал-губернатор лично допросил Пушкина, требуя от него признания в авторстве. Поэт некогда уже был сослан в ссылку за несколько атеистических строк. Теперь ему грозило куда более серьезное наказание. Он мог угодить в монастырь или же в тюрьму. В обществе знали, что «Гавриилиада» — творение Пушкина, но власти не могли уличить его, так как у них не было ни автографа поэмы, ни подписи автора на тексте. Защищаясь, Пушкин говорил, что получил рукопись неизвестного автора от кого-то из офицеров гусарского полка. Дело было доложено царю в его балканской ставке, и тот приказал узнать у Пушкина, «от кого получил он в 1815-м или в 1816-м году, как то объявил, находясь в Лицее, упомянутую поэму...»[5]

В сентябре Николай I велел вновь спросить поэта о том же, но на этот раз «моим именем». 2 октября 1828 г. военный губернатор вызвал стихотворца к себе и ознакомил с царской резолюцией, «на что, — как значится в протоколе допроса, — Пушкин по довольном молчании и размышлении спрашивал, позволено ли ему будет написать прямо государю императору и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил его графу Толстому». (П.А.Толстой допрашивал поэта вместе с Голенищевым-Кутузовым.)[6]

Текст этого письма Пушкина известен лишь в копии, напоминающей пересказ. В нескольких строках Александр Сергеевич каялся в «шалости, столь же постыдной, как и преступной», совершенной им по молодости в 17 лет. (На самом деле — в 21 год.)[7]

Итак, Пушкин и на этот раз отклонил требования генерал-губернатора и сановников о признании своей виновности и, оставив их в неведении, выразил полное пренебрежение к ним. Его признание предназначалось для одного монарха, который как раз в то время вернулся в столицу после победоносной кампании на Балканах.

Государственный совет продожал похвальные хлопоты по обнаружению автора «Гавриилиады». Но на очередной докладной записке статс-секрета-

ря Н.Н.Муравьева Николай I начертал резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено»[8].

Решение императора лишний раз обнаружило, сколь малое значение имел «высший орган» империи.

Дело было прекращено личным распоряжением Николая I, а сановники так и не получили ответа на поставленные в ходе следствия вопросы.

В 1830 г. глава III Отделения отрицал факт тайного надзора за Пушкиным: «...никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор, — писал Бенкендорф. — Советы, которые я, как друг, изредка давал вам, могли пойти вам лишь на пользу...» Заверения главного жандарма устраивали Пушкина. Они служили лучшим свидетельством его благонадежности. По словам Бенкендорфа, император из отеческого попечения дал генералу Бенкендорфу — не шефу жандармов, а своему доверенному лицу — поручение наблюдать и наставлять поэта «как друга»[9].

Следуя традиции, исследователи обличают шефа жандармов во лжи. Но они не учитывают некоторых нюансов.

Система тайного надзора в николаевской России была многослойной. Сыском занимались секретная полиция, военное ведомство, наконец, обычная полиция. Военный губернатор отдал приказ о тайном надзоре за Пушкиным в отсутствие Бенкендорфа. Осуществление надзора было возложено не на жандармское управление, а на главного полицмейстера столицы. Ничего иного губернатор не мог сделать, так как тайная политическая полиция подчинялась не ему, а непосредственно государю.

Решение Государственного совета, послужившее основанием для распоряжения о надзоре, было продиктовано условиями военного времени. Война кончилась. Пушкин был оправдан по делу о рапространении стихов «На 14 декабря», а расследование о «Гавриилиаде» прекращено. Но отменить решение Государственного совета попросту забыли.

Ситуация с надзором приняла анекдотический характер. 19 апреля 1833 г. петербургский военный губернатор граф П.В.Голенищев-Кутузов запрашивал московского генерал-губернатора князя Д.В.Голицына, «по какому случаю признано нужным иметь г-на Пушкина под надзором полиции?» Голицын отвечал ему, что сведений на этот счет «у него не имеется»[10].

Полицейские агенты исправно составляли донесения, заканчивавшиеся словами: «в поведении поднадзорного ничего предосудительного не замечено».

Поэт был в расцвете славы. Его внимания искали все, с кем он сталкивался. Чиновники опасались его острого языка, в особенности же — его близости к царской особе. И чины полиции, и секретные агенты, и губернаторы — все знали о том, что Пушкин в милости у государя. Неудивительно, что затея с надзором имела вид неуклюжей игры.

Когда Пушкин осенью 1833 г. отправился в Поволжье, он сделал остановку в Нижнем Новгороде. Бартенев описал эпизод на основании рассказов, «слышанных от самого Пушкина». Нижегородский губернатор М.П.Бутурлин отменно принял Пушкина у себя, ухаживал за ним и проводил в дорогу. Опасаясь вольного или невольного подвоха со стороны визитера, Бутурлин предупредил оренбургского губернатора графа Василия Перовского о том, что Пушкин едет в Оренбургский край для сбора сведений о пугачевском бунте, а на самом деле ему, должно быть, дано начальством поручение собирать сведения о неисправностях. Перовский, смеясь, прочел

письмо Бутурлина своему гостю, из чего родилась идея «Ревизора»[11].

3 сентября 1833 г. Пушкин покинул Нижний, а почти месяц спустя пришла бумага от петербургского полицмейстера с приказом учредить за поэтом секретный надзор. Бутурлин без спешки, 9 октября, отправил соответствующее рапоряжение в Казань и Оренбург. К тому времени поэт давно покинул Оренбург и вернулся в Болдино.

Получив секретное предписание, оренбургский губернатор В.А.Перовский не без насмешки уведомил власти, что запрос прибыл к нему с запозданием, что Пушкин жил в его, губернатора, доме и он, губернатор, может удостоверить, что поездка «не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий»[12].

Иностранные дипломаты недоумевали, почему Пушкин, будучи в милости у царя, находился под надзором полиции. Голландский чиновник Геверс склонен был объяснить дело тем, что у поэта было много врагов в высших кругах, особенно среди высших должностных лиц[13].

III Отделение не жалело усилий на то, чтобы расширить свое поле деятельности. Литература, бывшая сферой компетенции Министерства просвещения, привлекала особое внимание жандармов. Осведомленный современник М.А.Корф хорошо знал Бенкендорфа и характеризовал его следующим образом: он «имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно»[14].

Распоряжения Бенкендорфа, касавшиеся литературы, поражали своей изысканной формой. Император желает, напоминал Пушкину граф 22 ноября 1826 г., «дабы вы в случае каких-либо новых литературных произведений ваших» представляли их его императорскому величеству[15].

Против беллетристики у шефа жандармов было давнее и прочное предубеждение. Занятия литературой он считал делом легкомысленным и могущим нанести вред государственным интересам.

Пушкин писал отчеты Бенкендорфу, следуя придворно-бюрократическим штампам. Овладеть безликим и елейным стилем было нетрудно. 7 мая 1830 г. поэт в изысканных выражениях поблагодарил шефа жандармов за свидетельство о благонадежности, выданное ему по случаю вступления в брак. Передавая «письмецо» шефу, Магнус фон Фок не удержался от комментария по поводу легкомыслия, беззаботной ветренности пресловутого Пушкина, не думающего ни о чем, но готового на все[16].

Письмо и поведение поэта не давали жандармам повода для суждений насчет неблагонадежности Пушкина, «готового на все». Но таково было подлинное отношение секретной полиции к поэту.

Вызовы в жандармское управление, выговоры и «отеческие заботы» держали Пушкина в постоянном напряжении. По временам он пытался искать защиты у мнимых доброжелателей. В марте 1830 г. он писал Бенкендорфу: «Несмотря на четыре года уравновешенного поведения, я не приобрел доверия властей. С горестью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрения и недоброжелательство. Простите, генерал, вольность моих сетований, но ради бога благоволите хоть на минуту войти в мое положение и оценить, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которое не могу ни предвидеть, ни избежать». Пушкин был близок к тому, чтобы видеть благодетеля в своем мучителе. Прося Бенкендорфа о снисхождении

и доверии, поэт писал, обращаясь к нему: «Если до настоящего времени я не впал в немилость, то обязан этим не знанию своих прав и обязанности, но единственно вашей личной ко мне благосклонности. Но если вы завтра не будете больше министром, послезавтра меня упрячут». (Другой перевод — Пушкин писал по-французски — «я буду в тюрьме».)[17]

Говоря о тюрьме, Пушкин, по-видимому, имел в виду историю с «Гавриилиадой», происшедшую в отстутствие царя и шефа жандармов. Истоки ошибки поэта нетрудно понять. Как всегда, он услышал разъяснения о милости государя от Бенкендорфа, а тот постарался приписать благоприятный исход дела своему посредничеству.

Пушкин и Булгарин

Булгарин и Греч основали частную газету «Северная Пчела» в 1825 г. Бывший капитан французской армии Тадеуш (Фаддей) Булгарин был близок к декабристам и до их выступления придерживался либеральных взглядов. Рылееву он внушил такое доверие, что перед арестом тот отдал ему на сохранение свой архив. После событий 14 декабря в Петербурге был распространен пасквиль, авторы которого утверждали, что «сучья обрублены, дерево остается»: известные возмутители и злодеи, Булгарин и Греч, избежали наказания[1]. 9 мая 1826 г. царь отдал столичному генерал-губернатору приказ иметь «под строгим присмотром» известного издателя журналов Булгарина[2]. Журналиста обвиняли в том, что его издания пропагандировали революционные и либеральные идеи, породившие злодейство. Доносы поставили литератора в трудное положение. Страшась за будущее, Булгарин предложил свои услуги тайной полиции. Поданные им в III Отделение Записки посвящены были обличению вольнодумства и средствам к искоренению либерализма.

III Отделение умело вознаграждать своих агентов. Булгарин желал поступить на государеву службу и добился желаемого. 22 ноября 1826 г. шеф жандармов был на докладе у Николая I и получил подпись на указе о пожаловании «за похвальные литературные труды» Фаддею Булгарину чина VIII класса и определении его на службу с окладом[3]. Император не избавился от недоверия к недавнему либералу, и Бенкендорф определил его не в свое ведомство, а в Министерство просвещения.

Интерес к творчеству Булгарина побудил ряд исследователей пересмотреть вопрос о его связях с тайной полицией. Популярный писатель николаевской эпохи, утверждают они, не выдал властям ранее не известных правительству лиц, не получал денег от III Отделения, а значит, видеть в нем платного агента секретной полиции нет достаточных оснований[4].

Пушкин думал иначе.

В обществе никто не подозревал о сотрудничестве известного писателя с жандармами. Не знал об этом и Пушкин. Его внимание и симпатии всегда привлекали одаренные люди. Поэт с сочувствием следил за успехами Булгарина и относил его «к малому числу тех литераторов, коих порицание и похвала могут быть и должны быть уважемы»[5]. Пушкин лично познакомился с Булгариным осенью 1827 г. и стал частым гостем в его доме. 6 января 1828 г. Булгарин писал Ушакову, что Пушкин «скрытен в суждени-

ях, любезен в обществе и дитя по душе... Он, кажется, полюбил меня»[6]. Свои письма Булгарину Александр Сергеевич подписывал так: «Голова и сердце мое давно ваши»[7].

Доверчивость и простодушие были в натуре Пушкина. Он и не подозревал, что имеет дело с завистником, человеком двуличным и непорядочным.

В донесении, поданном тайной полиции в 1826 г., Булгарин в угоду Бенкендорфу дал отрицательный отзыв о пьесе Пушкина «Борис Годунов».

В 1828 г. в открытой печати журналист осыпал поэта комплиментами: «В трагедии своей "Борис Годунов" он доказал, до какой степени гибок талант его», «какое познание характеров, сердца человеческого, местных обстоятельств. Тени Шекспира, Шиллера, возрадуйтесь!»[8]

Следует отметить, что в 1827-1828 гг. доносы Булгарина на Пушкина, поданные в III Отделение, претерпели видимую перемену. Резко изменился тон его отзывов о поэте. Приятельские отношения с Пушкиным были тому главной причиной.

В ноябре 1827 г. Булгарин подал фон Фоку записку «О Пушкине», в которой писал: «Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Государя и даже говорит, что ему обязан жизнию, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании... что он хотел умереть». На литературном обеде Пушкин сказал: «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без Него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу: виват!»[9]

27 декабря 1827 г. литераторы праздновали именины Греча, а Булгарин представил собравшимся стихи в его честь. Стихи были верноподданническими. «Куплеты, — доносил Булгарин, — начали тотчас после стола списывать на многие руки. Пушкин был в восторге и беспрестанно напевал, прохаживаясь:

И так молитву сотворя,
Во-первых, здравие царя![10]

6 июня 1828 г. Булгарин посвятил «Секретную газету» обличению Вяземского. «Бедный Пушкин, — завершил свой донос агент, — который вел себя доселе, как красная девица, увлечен совершенно Вяземским, толкается за ним и пьет из одной чаши, но, невзирая на весь соблазн со стороны Вяземского, Пушкин не говорит дурно о Государе. Это правда»[11].

Пушкин был полон благодарности Николаю I за то, что тот освободил его из деревенской глуши, и старался завоевать доверие императора. Тайная полиция, по всей видимости, ознакомила монарха с донесениями насчет преданности Пушкина престолу и самодержцу. Государь не забыл собственных слов: «Господа, это мой Пушкин!» В 1827-1829 гг. он мог убедиться, что найденная формула стала реальностью. В своем дневнике Пушкин записал слова царя: «До сих пор он сдержал данное мне слово, и я был доволен им»[12].

Эти слова были произнесены в январе 1834 г., но имели в виду весь период, начиная с 1826 г. Все сказанное объясняет, почему монарх безоговорочно закрыл дело о «Гавриилиаде». Поэма была написана до того, как поэт превратился в верноподданного.

Пушкин вполне дружески относился к Булгарину, пока не узнал о том, что имеет дело с доносчиком.

По случаю войны с турками Бенкендорф покинул столицу и обосновался в главной ставке армии на Балканах при особе царя. Сюда ему доставляли агентурные донесения, включая «Секретную газету» с обзором новостей, которую составлял Булгарин. Получив булгаринскую газету от 30 мая 1828 г. (газета была рукописной и анонимной), граф счел возможным познакомить с ней приятеля, Дмитрия Дашкова, бывшего тогда товарищем министра внутренних дел. Дашкова это донесение касалось самым непосредственным образом. Из доноса Булгарина следовало, что в Москве составилась партия для издания частной неправительственной газеты; издатели — люди весьма подозрительные, «ибо явно проповедуют либерализм»; «партию составляют князь Вяземский, Пушкин» и другие лица; их орудием будет Погодин, который «предан душою правилам якобинства». Вяземский и Пушкин через Жуковского будут действовать на Блудова, а через Дашкова или Нессельроде получат доступ к государю[13].

Булгарину недоставало интуиции. В своих доносах он чернил сановников, а среди них — бывших членов литературного общества «Арзамас». Само общество агент представлял как рассадник либерализма, его влияние на юношество оценивал как вредное[14]. Не рассчитав последствий, Булгарин восстановил против себя могущественные силы.

Дашков догадался, кто были авторы доноса, и сделал помету на «Секретной газете» : «...истинное побуждение их так ясно, что даже открывает мне имена их»[15]. По возвращении в столицу в 1829 г. Дашков известил о своем открытии собратьев по обществу «Арзамас» — товарища министра просвещения Дмитрия Блудова, Вяземского, Жуковского, Пушкина.

Разрыв Пушкина с Булгариным стал неизбежен. Литературные разногласия углубили пропасть.

Булгарин и Греч всеми силами противодействовали проектам издания частных газет, которые могли бы конкурировать с их изданиями. В 1830 г. Дельвиг при содействии Пушкина основал «Литературную газету» — к великому неудовольствию Булгарина. Новое издание было типично для того периода развития русской литературы, который характеризуют как «литературу дружеских кружков»[16].

Обстоятельства, казалось бы, благоприятствовали успеху предприятия. Слава Пушкина достигла апогея. «Литературная газета» публиковала произведения известных русских авторов, переводы модных западных писателей. Но издание на смогло завоевать ни столичных читателей, ни провинцию. Оно не стало выгодным «торговым предприятием».

Дельвигу не удалось потеснить издания Булгарина и Греча. Булгарин располагал правом на публикацию правительственных сообщений. Наличие официальной рубрики привлекало к его изданиям многих подписчиков. Булгарин и Греч успели создать постоянный круг читателей.

Бенкендорф старался быть любезным с Пушкиным, но с Дельвигом он не церемонился. Лицейский товарищ Пушкина Антон Дельвиг умер в 33 года. Хорошо осведомленный цензор А.В.Никитенко сделал по этому поводу следующую запись в дневнике: «Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который... назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним»[17]. Смерть друга потрясла Пушкина. Это обстоятельство сыграло не послед-

нюю роль в отказе поэта воспользоваться разрешением на издание новой газеты, полученным им год спустя.

Правительство запрещало «Литературной газете» публиковать официальные новости. Этим правом пользовались издания Булгарина. Но не только поддержка властей и секретной полиции объясняла успех булгаринских журналов.

Против газеты Дельвига ополчились литераторы самых разных направлений — от Ф.Булгарина, издателя газеты «Северная Пчела» и журнала «Сын Отечества», до братьев Полевых, издателей «Московского телеграфа», и профессора Н.И.Надеждина, издателя журнала «Вестник Европы». Николай Полевой причислял Пушкина к устаревшему направлению дворянской литературы, олицетворением которого были Державин и Карамзин. Образованный филолог, Николай Надеждин называл поэму Пушкина «Граф Нулин» образцом романтического «цинизма» и «нигилистического изящества».

Противники «Литературной газеты» в один голос обвиняли Пушкина в «литературном аристократизме»[18]. Внешним поводом для такого обвинения было то, что газету вели барон А.А.Дельвиг, князь П.А.Вяземский, наконец, Пушкин, гордившийся принадлежностью к древнему дворянству. Вяземский напрочь отвергал это обвинение, исходившее от «полицейских» (Булгарин) и «кабацких» (Полевой) литераторов, и прибавлял, что людям «благовоспитанным и порядочным нельзя знаться с ними»[19].

Получив от Дашкова сведения о сотрудничестве Булгарина с секретной полицией, Пушкин постарался их проверить. В марте 1830 г. он процитировал в письме к Бенкендорфу слова Булгарина, хваставшегося тем, что пользуется «некоторым влиянием на вас» (шефа жандармов. — *Р.С.*). Бенкендорф и не думал отрицать связи с журналистом. Он лишь заметил, что встречается с ним редко, «лишь два или три раза в году, а последнее время виделся с ним лишь для того, чтобы делать ему выговоры»[20]. Булгарину не было нужды часто видеться с шефом жандармов, поскольку журналист поддерживал тесную связь с управляющим канцелярией III Отделения Максимилианом фон Фоком[21]. По словам Н.И.Греча, Булгарин водворился у Фока «в доме и посещал его ежедневно»[22]. В 1831 г. сам фон Фок известил Пушкина, что Булгарин и Греч — «единственные из всех литераторов, которые посещают меня и с которыми я иногда обмениваюсь литературными мнениями...»[23] В самом деле продажный журналист был подручным высшего чина секретной полиции.

Некоторые литературные начинания Булгарина были непосредственно увязаны с жандармской канцелярией. Пушкинская трагедия «Борис Годунов» имела шумный успех до ее опубликования в печати. Поэт предполагал продолжить «Бориса» и написать историю Гришки Отрепьева. Но Булгарин затеял писать роман «Дмитрий Самозванец», надеясь опередить Пушкина. 29 декабря 1829 г. М.П.Погодин со слов барона Егора Розена сообщил С.П.Шевыреву, что пушкинского «Бориса Годунова» «удерживают в канцелярии» (управляющим канцелярии был фон Фок), пока не вышел «Дмитрий Самозванец» Булгарина[24]. Булгаринское сочинение увидело свет в феврале 1830 г. Пушкин обнаружил в нем некоторые подробности, которые могли быть заимствованы только из текста «Бориса Годунова»: их не было ни у Карамзина, ни у других историков. Эти подробности были выдуманы самим Пушкиным. Отсюда поэт сделал вполне обоснованный

вывод о том, что Булгарин писал «Самозванца», имея под руками неопубликованную драму «Борис Годунов»[25]. Опасаясь разоблачения, литератор старался сделать так, чтобы его пьеса увидела свет ранее пушкинской, что сняло бы вопрос о литературном воровстве.

Булгарин был благодарен фон Фоку за содействие и подарил ему экземпляр «Дмитрия Самозванца» с дарственной надписью, называя управляющего канцелярии «истинным другом человечества, поборником истины, добрейшим и благороднейшим»[26].

18 февраля 1830 г. Булгарин направил письмо Пушкину, стремясь очиститься от обвинений по поводу романа «Дмитрий Самозванец».

«Милостивый государь Аллександр Сергеевич! с величайшим удивлением услышал я от Олина, будто вы говорите, что я ограбил вашу трагедию "Борис Годунов", переложив ваши стихи в прозу. ... Говорят, что вы хотите напечатать в "Литер. газете", что я обокрал вашу трагедию!»[27] Журналист уверял честью, что не читал пушкинскую пьесу, кроме отрывков. Но он говорил неправду.

7 марта Дельвиг опубликовал в «Литературной Газете» сугубо критическую рецензию на сочинение Булгарина. Она не была подписана, и Булгарин посчитал ее автором Пушкина. 11 марта в «Северной Пчеле» появился оскорбительный памфлет «Анекдот», обличавший некоего французского поэта, «который долго морочил публику передразниванием Байрона и Шиллера (хотя не понимал их в подлиннике)». В сочинениях поэта нет ни одной высокой мысли или полезной истины; у него «сердце холодное и немое существо, как у устрицы, а голова род побрякушки»; он «бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан... марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на крапленых листах...»

Пушкину журналист противопоставлял себя как человека, верного долгу и чести. Себе он сочинил напутствие, исполненное высокомерия и плебейской грубости: «Трудитесь на поле нашей Словесности и не обращайте внимания на пасущихся животных, потребных для удобрения почвы»[28].

Общество признало гений Пушкина, но не избавилось от сомнений по поводу его репутации. Булгарин рассчитывал использовать это обстоятельство, чтобы смешать его с грязью. Он утверждал, что Пушкин торгует своими стихами, что он игрок и, более того, картежный шулер, играющий краплеными картами, что он пресмыкается у ног сильных мира сего.

Пушкин был уязвлен низостью недавнего друга. Фактически Булгарин первым объявил войну Пушкину, и тот принял вызов. 6 апреля 1830 г. он опубликовал рецензию на мемуары Видока (Видок был осведомителем, а потом главой парижской тайной полиции), разоблачавшую Булгарина как доносчика и полицейского агента. В рецензии значилось: «Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений...»[29]

Пушкин не удовольствовался прозой и заклеймил своего неприятеля в стихотворных эпиграммах. Одна из них получила самое широкое хождение в обществе.

Не то беда, что ты поляк;
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Заполучив эту эпиграмму, Булгарин поспешил тиснуть ее в апреле 1830 г. в «Сыне отечества». При этом он лишил ее жала, поставив вместо слов «Видок Фиглярин» свое имя «Фаддей Булгарин». Указание на Видока обличало Булгарина как полицейского агента. Дельвиг пытался опубликовать эпиграму без «исправления». Но цензура воспротивилась этому. Тогда Пушкин написал другую эпиграмму, напечатанную без подписи в альманахе Михаила Максимовича «Денница» в 1831 г.:

Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин.
Беда, что скучен твой роман.

Сотрудничество Булгарина с III Отделением приобрело в 1828-1829 гг. самый интенсивный характер. Журналист регулярно представлял жандармерии и царю обзоры новостей, десятками писал доносы на разных лиц. По существу, Булгарин стал негласным советником при особе государя. Николай I не только читал его донесения, но и делал на них собственноручные пометы[30]. Однако в 1830 г. его влияние резко пошло на убыль.

Когда «Северная Пчела» напечатала ругательный отзыв о романе Загоскина «Юрий Милославский», Николай I пытался урезонить журналиста. На булгаринском письме от 25 января 1830 г. он начертал собственной рукой: «Критика не есть ругательство; ругать прилично тем, кто благородных чувств не имеет»[31].

Булгарин и Греч не вняли предупреждению и продолжали полемику. 30 января 1830 г. император повелел вызвать их в III Отделение и на сутки посадить на гауптвахту[32].

Арест Булгарина означал, что литератор лишился милости царя, а вместе с тем и поста негласного советника. Журналист прекратил составлять еженедельную «Секретную газету». Количество доносов на столичных чиновников резко сократилось[33]. Отныне III Отделение прибегало к услугам своего агента главным образом тогда, когда занималось польскими делами.

30 марта 1830 г. Жуковский направил письмо Николаю I, обвинив Булгарина в ложных доносах, а 1 апреля повторил свои обвинения в устной беседе[34].

Предупреждения Жуковского пали на подготовленную почву: раздражение против Булгарина в верхах общества и при дворе нарастало. Журналист обливал чиновников грязью, невзирая на звания и чины. Николай I должен был прислушаться к словам Жуковского и других «арзамасцев,» ставших жертвами булгаринских наветов.

24 марта 1830 г. Пушкин обратился к царю через Бенкендорфа с жалобой на Булгарина: «Я не могу не предупредить вас о моих отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла»[35].

Обращение Пушкина было своевременным.

Булгарин не внял советам царя прекратить печатать грубую брань. В номерах от 22 марта и 1 апреля 1830 г. «Северная Пчела» опубликовала пасквильную рецензию на новую главу из «Евгения Онегина». Ознакомившись с рецензией, Николай I тут же написал Бенкендорфу записку следующего содержания: «В сегодняшнем номере "Пчелы" находится опять несправедливейшая и подлейшая статья, направленная против Пушкина; к этой статье наверное будет продолжение; поэтому предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; и если возможно, запретить его журнал»[36].

Предложение царя закрыть «Северную Пчелу» подтвердило, что время Булгарина миновало. К осени 1830 г. его положение стало столь шатким, что фон Фок обратился к Бенкендорфу со слезной жалобой на партию Вяземского и Пушкина: «Вся эта партия главной своей целью поставила погубить бедного Булгарина, которого они считают одним из моих самых доверенных лиц. Они несомненно могут сильно повредить этому несчастному...»[37]

В булгаринский период жандармской цензуры поэт тщетно пытался получить разрешение на публикацию «Бориса Годунова». В июле 1829 г. Жуковский внес поправки в текст трагедии, следуя пометам на рукописи. Бенкендорф представил исправленный вариант Николаю I, вдруг выразившему желание прочесть пьесу. На этот раз ему потребовалось не пять дней, а более трех месяцев. В октябре император отклонил ходатайство Жуковского. Пушкин не получил об этом официального уведомления, но Жуковский посвятил друга в подробности[38].

Однако весной 1830 г. возникла новая ситуация. 16 апреля Пушкин обратился к Бенкендорфу с настойчивой просьбой о публикации «Бориса Годунова». Оспаривая мнение императора-цензора, он указывал на то, что все Смуты похожи одна на другую, что после воцарения нового монарха прошло много времени, и кажущиеся намеки на события, в то время еще недавние, утратили значение. «Моя трагедия, — завершал свою мысль поэт, — произведение вполне искреннее, и я по совести не могу вычеркнуть того, что мне представляется существенным. Я умоляю его величество простить мне смелость моих возражений...»[39]

Николай I подверг трагедию Пушкина критике, не читая ее, а лишь следуя наветам Булгарина. Жуковский скомпрометировал продажного журналиста в глазах монарха. III Отделение не могло более использовать услуги самого ценного из своих агентов. 23 апреля 1830 г. Бенкендорф сообщил Пушкину по поводу драмы, что император разрешает ее печатать под его, поэта, личной ответственностью[40].

Пушкин выиграл одно из самых длительных и трудных сражений с цензурой, хотя ему и пришлось исключить из пьесы три сцены. Через Катенина поэт обращался к актрисе Колосовой с предложением сыграть роль Марины Мнишек. Но при жизни автора его планы так и не были осуществлены.

Критики встретили «Бориса Годунова» не только похвалами, но и порицаниями. Творение Пушкина не было понято даже некоторыми из его друзей, в их числе Катениным. Николай I, долгое время отвергавший трагедию, переменил мнение, что делало ему честь. 9 января 1831 г. он велел передать Пушкину, что читает «Бориса Годунова» «с особым удовольствием»[41].

Перемены в отношении царя к сочинению вызвали улыбку у Пушкина. Он писал друзьям, что государь — «литератор не весьма твердый, хоть молодец, и славный царь»[42].

От царского гнева Булгарина, как и всегда, выручало жандармское управление. Бенкендорф спешил подсказать императору, что в общем и целом порицания заслуживает не Булгарин, а Пушкин: «Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается над тем, что путешествие за кавказскими горами и великие события, обессмертившие последние годы, не придали лучшего полета гению Пушкина»[43]. Глава секретной полиции имел в виду то, что поездка Пушкина на Кавказ в 1829 г. не оправдала надежд правительства. Поэт не сочинил оды в честь «великих событий»— победы русского оружия над турками, а его «Путешествие в Арзрум», опубликованное в отрывках в 1830 г., было чуждо духу казенного патриотизма.

Бенкендорф считал крамольной пушкинскую трагедию о Смуте, зато рекомендовал императору прочесть булгаринского «Дмитрия Самозванца», в котором тот нашел бы «много очень интересного и в особенности монархического, а также победу легитимизма»[44].

Невзирая на старания Бенкендорфа, царь более не жаловал Булгарина. Николай I не мог простить журналисту его либеральное прошлое, а равно его польское происхождение. Не забыл он и нелестные рекомендации Жуковского. В 1831 г. Николай I выразил свое отношение словами: «Булгарина и в лицо не знаю, и никогда ему не доверял»[45].

В первый период своей цензорской деятельности Николай I всецело полагался на секретную полицию. Во втором периоде его доверие к литературным талантам жандармских шпионов поколебалось. Государь стал советоваться не только с агентами, рекомендованными Бенкендорфом, но и с хорошенькими дамами, за которыми ухаживал. Такой образ действий позволял ему лучше узнать общественное мнение и избегать слишком явных промахов.

Прочтя VII главу «Евгения Онегина» и сделав в тексте ряд помет, «славный царь» отослал текст к фрейлине двора Александре Россет-Смирновой. Он, вспоминала Смирнова, «хотел знать мое мнение о его заметках». Пакет с собственноручной надписью царя сохранился до наших дней, вместе с записью фрейлины на обороте пакета: Император сказал мне: «Вы хорошо знаете свой родной русский язык. Я прочел главу «Онегина» и сделал заметки; я вам ее пришлю, скажите мне, правы ли мои замечания. Вы можете сказать Пушкину, что я вам давал ее прочесть». Смирнова выразила полное согласие с замечаниями царя: «Конечно, я была того же мнения...»[46] Самодержец волен был выбирать себе советников по литературным вопросам. У Пушкина, конечно же, не могло быть возражений против таких рецензентов, как Смирнова. В отличие от монарха, она обладала неплохим литературным вкусом и была поклонницей таланта Пушкина.

Бенкендорфу нетрудно было исполнить пожелание государя и закрыть журнал Булгарина. Но он не сделал этого, и бульварный писатель смог беспрепятственно продолжать войну против Пушкина. В декабре 1830 г. он опубликовал историческую повесть из времен царя Алексея Михайловича. Пошлостью и грубостью повесть превзошла все изданное ранее. Герой повести стольник Свистушкин отрекается от своего потомка — поэта Пушкина: «Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое живот-

ное, не человек, а обезьяна»; «...мой потомок похож на обезьяну, а книжник назвал еще его славным человеком за то только, что он пишет сказки о ворах и негодяях»[47]. Булгарин имел в виду поэмы Пушкина «Братья-разбойники» и «Цыганы».

Инсинуации Булгарина по поводу рода Пушкиных побудили поэта написать в декабре 1830 г. стихи «Моя родословная». Стихотворение не было опубликовано, но получило широкое распространение в списках. 24 ноября 1831 г. Пушкин счел необходимым дать Бенкендорфу пояснения на этот счет: «...стихи мои, — писал он, — могут быть приняты за косвенную сатиру на происхождение некоторых известных фамилий, если не знать, что это очень сдержанный ответ на заслуживающий крайнего порицания вызов, я счел своим долгом откровенно объяснить вам, в чем дело, и приложить при сем стихотворение, о котором идет речь»[48].

Поэт гордился тем, что его род принадлежал к древнейшему дворянству. «Признаюсь, я дорожу тем, что называют предрассудками; ...я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них»[49].

Дело дошло до царя, который принял сторону Пушкина. «Столь низкие и подлые оскорбления, как те, которыми его угостили, — сделал помету Николай I на письме Пушкина Бенкендорфу, — бесчестят того, кто их произносит, а не того, к кому они обращены. Единственное оружие против них — презрение. ...Для чести его пера и особенно его ума будет лучше, если он не будет распространять их»[50].

Обладая характером, Пушкин нашел способ принудить Булгарина прекратить «грубианскую полемику». В письме к Плетневу Пушкин писал еще в мае 1830 г.: «Знаешь ли что? у меня есть презабавные материалы для романа «Фаддей Выжигин». Теперь некогда, а со временем можно будет написать это»[51]. Булгарин прославился своим романом «Иван Выжигин». По этой причине Пушкин решил дать своему будущему «историко-нравственно-сатирическому роману XIX века» наименование «Настоящий Выжигин». План романа был опубликован в «Телескопе» в 1831 г. Названия глав отражали реальные эпизоды из жизни Булгарина: «Выжигин грабит Москву»; «Выжигин перебегает»; «Выжигин без куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш»; «Выжигин игрок. Выжигин и отставной квартальный»; «Видок или маску долой!» и пр.[52]

В той же статье, подписаннной псевдонимом *Ф.Косичкин*, автор романа предупредил Булгарина, что роман «поступит в печать или останется в рукописи, смотря по обстоятельствам»[53].

Булгарин внял предупреждению. Он признал свое поражение и прекратил газетную войну, не ответив на две последние критические атаки Пушкина.

Невзирая ни на что, обывательское сознание мерило творчество Пушкина и Булгарина одним аршином. 29 декабря 1829 г. московское Общество любителей российской словесности рассмотрело вопрос о пополнении своих рядов. Секретарь, как значилось в отчете, прочел «предложение об избрании в члены Общества корифеев словесности нашей: А.С.Пушкина, Е.А.Баратынского, Ф.В.Булгарина — и отечественного композитора музыки А.Н.Верстовского. Единодушное согласие членов было подтверждено удовольствием публики, изъявивших оное в громких рукоплесканиях». 1 января

1830 г. отчет был опубликован в газете князя Шаликова «Московские ведомости»[54].

Компания, принятая в Общество, была вполне приличной, за исключением Булгарина. Припомнив этот случай в 1834 г., поэт писал, что презирает Булгарина как «шпиона, переметчика и клеветника», что не может требовать удовлетворения от «ошельмованного негодяя, толкующего о чести и нравственности.» Свою гневную филиппику поэт завершал вопросом: «И что же? в то самое время читаю в газете Шаликова: "Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности, удостоены" etc. etc...»; «воля ваша: это пощечина»[55].

Прежде музы обитали на Олимпе, но это время ушло в прошлое. Народилась новая литература, неотделимая от «торговых спекуляций» и рынка:

...хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.
И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок.

Пушкин не был противником литературы, обеспечивавшей сочинителю достойное человеческое существование. Но вместе с Жуковским и Вяземским он отстаивал чистоту литературных нравов. Продажность, доносительство, двуличие, полный упадок нравов грозили замутить родник русской словесности. «Было время, — писал Пушкин, — литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок»[56].

Дон-Жуанский список

В Москве Пушкин ухаживал за девицей Екатериной Ушаковой. Сохранился Альбом сестер Елизаветы и Екатерины Ушаковых. На его страницах размещены две записи с женскими именами, писанные рукою Пушкина, — так называемый «Дон-Жуанский список». Он, как установлено в литературе, был составлен в конце сентября — начале ноября 1829 г.[1]

Альбом Елизаветы Ушаковой был обычным девичьим альбомом, который ничем не отличался от множества других альбомов такого типа. О них поэт писал:

Конечно вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью,
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.

...Среди бессвязного маранья
Мелькали мысли, примечанья,
Портреты, буквы, имена
И думы тайной письмена...

Обстоятельства появления «Дон-Жуанского списка» таковы. Пушкин увлекся барышней Екатериной Ушаковой и стал подумывать о женитьбе на ней. Затем он изменил намерение и посватался к Анне Олениной, а затем к Наталье Гончаровой. Осенью 1829 г. Александр Сергеевич вернулся в общество отвергнутой невесты, где был встречен градом насмешек. От него потребовали объяснений по поводу его поведения и принесли Альбом, в который Пушкин должен был записать перечень любимых женщин.

Надеясь вернуть доверие девушки, на которую он все еще имел виды, Пушкин подчинился настояниям общества. Но он не стал писать фамилии женщин, а внес в Альбом только их имена, предоставив барышням разгадать неразрешимый ребус.

Началась игра в угадывание имен. Затеи такого рода относились к числу обычных светских развлечений. Участие поэта придало салонной затее характер захватывающей игры.

Наличие пушкинских автографов позволяет восстановить ход игры во всех подробностях. Поэт очень точно рассчитал размер листа Альбома и аккуратно разместил на нем пятнадцать имен. Оправдываясь, он представил сестрам реестр своих увлечений, который оказался вовсе не таким обширным, как ожидалось.

Ушаковы усомнились в том, что Пушкин представил им полный реестр. Они уличили его мгновенно, указав на отсутствие имени Натальи Гончаровой. «Дон-Жуану» пришлось признать свою вину, и он более мелким почерком, нарушив пропорции, вписал в самом низу листа имя «Наталья»[2].

«Дон-Жуанский список» был составлен в ту пору, когда Пушкин был всецело поглощен мыслью о браке, а потому список венчали имена четырех его невест: «Евпраксия, Катерина IV , Анна, Наталья». Евпраксию Вульф молва нарекла невестой поэта в 1825-1826 гг., Екатерину IV Ушакову — в 1827 г., к Анне Олениной он сватался в 1828 г., к Наталье Гончаровой — в 1829 г.

Я.Л.Левкович оспорила указанную расшифровку имен. Список из четырех имен, по ее мнению, нарушает хронологический принцип: Анна — это не Анна Оленина, а Анна Керн, более раннее увлечение. «Если... считать, что в конце первого списка хронология нарушена, — пишет исследовательница, — то имена могут группироваться по родству с П.А.Осиповой. Тогда Катерина IV не Ушакова, а Вельяшова, так как Вельяшова и Керн были племянницами П.А.Осиповой...»; «Катерина IV — лицо неустановленное»; «три имени... (Евпраксия, Катерина IV и Анна) могли быть соединены по принципу родства с П.А.Осиповой»[3].

Екатерину Ушакову интересовало романтическое прошлое поэта, но еще больше ее заботило собственное будущее, которое всецело зависело от того, ее или Гончарову выберет Пушкин себе в жены.

Поэт сам подсказал присутствовавшим направление игры, обозначив римскими цифрами имена «Катерина I», «Катерина II», Катерина III» и «Катерина IV». Они составили как бы стержень списка, появившегося в Альбоме Ушаковых.

Выделив в перечне женщин имя «Катерина», Пушкин дал понять, что имя хозяки дома — его бывшей невесты — роковое для него имя, которому он остался верен среди всех своих увлечений.

Можно ли объяснить наличие в главном списке четырех Катерин тем, что женщины с этим именем внушили поэту глубочайшие чувства? Ответ

очевиден. Этого требовали правила затеянной хозяйкой (Екатериной) игры. Надо иметь в виду также, что после века Екатерины Великой это имя стало самым распространенным в России.

«Дон-Жуанский список», — писал Ю.М.Лотман, — «создавался, видимо, с хохотом и той бравадой, в результате которой П(ушкин) бывал "Вампиром именован"»[4].

Согласиться с такой трактовкой невозможно. Бравада и громкий хохот были бы уместны в обстановке мужской пирушки, но никак не в обществе барышень Ушаковых. Пушкин дорожил привязанностью Екатерины Ушаковой и потому допускал поразительную откровенность в затеянной ею игре. Мера его откровенности была несовместима с бравадой.

Исповедуясь перед Ушаковой, поэт старался не пропустить имена девушек, которыми он увлекался. В их число попали семь барышень безупречного поведения — Екатерина Бакунина, Екатерина Раевская и Пульхерия Варфоломей, Евпраксия Вульф-Вревская, Екатерина Ушакова, Анна Оленина, Наталья Гончарова.[5]

Почти все перечисленные девицы на выданье отвергли Пушкина, или во всяком случае, не ответили на его чувства. Любовные неудачи доставляли ему страдания.

Поэт поклонялся своим «идолам», обладавшим, по общему правилу, красивой внешностью. Что касается наружности самого Пушкина, то о ней судят по его портретам, принадлежавшим кисти известных художников. Эти последние, будучи пленены поэзией и личностью Пушкина, старались в первую очередь передать его духовный мир. Поэт имел все основания сказать, что портретисты льстят ему. На портрет, написанный Кипренским, поэт отозвался стихами:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

О своей внешности Пушкин отзывался без всякого снисхождения: «Потомок негров безобразный» (1820 г.). Возражая против намерения известного скульптора лепить его бюст, поэт ссылался на свое «арапское безобразие».

Внутренний мир Пушкина был исполнен гармонии. Отзывы современников о внешности поэта не допускали двух толкований. Познакомившись с Пушкиным, Долли Фикельмон пометила в Дневнике: «...невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в глазах и что-то дикое во взгляде»; рядом с красавицей женой «его уродливость еще более поразительна». Современники считали Долли провидицей. Ее наблюдательность была исключительна. По словам Долли, Пушкин был не просто некрасив, а некрасив сверх всякой меры. Фрейлины и цыганки, женщины, принадлежавшие к разным сословиям, одинаково отзывались о внешности поэта. Цыганка Таня из московского хора при виде Пушкина сказала подругам: «...гляди, как нехорош, точно обезьяна!»[6]

Однако внешность поэта преображалась, когда разговор увлекал его или на него находило вдохновение.

Поэт прощал «идолов», которые отказывали ему во внимании из-за его некрасивой внешности. Но непонимание поэзии, ее гармонии и красоты лишало его спокойствия. Равнодушие избранниц к стихам дало Пушкину

пищу для некоторых обобщений, касавшихся всего женского рода. «Природа, одарив их (женщин. — *Р.С.*) тонким умом и чувствительностью... едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души; они безчувственны к ее гармонии»[7].

За год до визита к Ушаковым поэт писал:

Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой:
А не исправленный стократною обидой,
Я новым идолам несу мои мольбы...

Примерно такое настроение владело «Дон-Жуаном», когда московские приятельницы решили развлечься, склонив его к исповеди. Пушкин искал сочувствия у Ушаковых, и составленный им список был прежде всего перечнем идолов, разбивших его сердце.

1829 год был для поэта периодом наибольших любовных и матримониальных неудач. Но стихи, написанные в этом году, выражали не ожесточение и горечь, а умиротворение:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Заполучив список увлечений Пушкина, барышни Ушаковы пытались разрешить заданную им загадку. На потертом листе с перечнем имеются следы их стараний. Вверху страницы, рядом с именем «Наталья I» имеется едва заметная карандашная помета «Лицейские»[8].

Помета относится к романам Пушкина лицейского периода. Ниже записана «Кн. Авдотия». Против ее имени тем же почерком выведено Princ. N N Голицына. (Обе надписи, по-видимому, сделаны женской рукой, бисерным почерком, без нажима.) Ниже против имени Аглая помечено жирным синим карандашом «(Давыдова в Каменке)». Еще одна помета против имени Калипсо — «гречанка» сделана тем же синим карандашом, а затем густо замазана[9].

Присутствующие имели некоторый шанс угадать фамилию в тех случаях, когда подле имени женщины обозначен был ее титул (княгиня Авдотья) или само имя было редким и необычным (Аглая, Калипсо).

Пока дело касалось юных лет, Пушкин готов был приоткрыть завесу тайны. Обсуждение романов зрелой поры не входило в его намерения, и прямые подсказки прекратились. Поэт нашел способ продлить забаву. Он стал рисовать профили, фигуры и лица, чтобы помочь барышням отгадать ребус.

Записав перечень имен на л. 37 об., Пушкин набросал на л. 38 об. один, а затем второй портрет Екатерины Раевской. Перевернув страницу, Пушкин пошел в подсказке еще дальше, нарисовав Раевскую-Орлову вместе с

ее мужем — важным генералом. На л. 40 об. Пушкин изобразил девушку, в которой с полным основанием видят Анну Оленину. В рукописях Пушкина можно найти портреты Анны, точно датированные 1828 годом. Головка в альбоме похожа на них, с одной лишь разницей: лицо девушки почти закрыто шапкой волос, тогда как на прежних рисунках лицо открыто[10]. Не довольствуясь одним портретом Олениной, Александр Сергеевич повторил его (л. 41). На новом рисунке из-под волос девушки торчит кончик носа. Пушкин явно потешался над любопытством молодой компании[11].

Стремясь угадать, кого Пушкин изобразил на портрете, участники игры стали помечать их номерами (лл. 40 об., 41 об., 42 об., 43 об., 46 об.). Сам Пушкин подал пример другим. В «Дон-Жуанском списке» на первом месте стояло имя актрисы Натальи. Против этого имени поэт написал цифру «1» и той же цифрой пометил рисунок с изображением первого увлечения лицеиста. (Лицеист был изображен в монашеском клобуке, а соблазнительница — в виде черта.) Вопреки традиционному мнению, не все цифры на портретах принадлежали Пушкину. Написание цифр столь различно, что их невозможно приписать одной руке[12].

Можно считать доказанным, что участники игры пытались соотнести портреты с именами, означенными в «Дон-Жуанском списке»[13].

Внимание игравших привлекли прежде всего имена четырех Катерин (I, II, III, IV). Кем была Катерина IV , всем было известно: хозяйка дома участвовала в забаве. Вместе с другими она старалась отгадать, кем были первые три Катерины. Игра превратилсь в шараду под названием «Угадай Катерину!»[14]

Ушаковы заставили Пушкина составить второй, дополнительный список любимых. Подвиги «Дон-Жуана» были многократно преувеличены молвой. Материала для обличения поэта у присутствующих было более чем достаточно, и ему вновь пришлось уступить.

Игра вступила в новую фазу. К тому времени листы Альбома, непосредственно следующие за первым перечнем женских имен (37 об., — 48 об.), были заполнены рисованными портретами. Пушкин не мог поместить второй, дополнительный список «жертв» сразу после первого (л. 37 об.) и внес его на лист 48 об.[15]

Первый список Пушкин составил обдуманно, строго следуя хронологическому принципу. Второй список он писал, по-видимому, второпях, нисколько не заботясь о хронологическом порядке романов.

В литературе были предприняты настойчивые попытки расшифровать все имена, вписанные поэтом в Альбом Ушаковых.[16]

Однако более или менее точно удалось реконструировать только первый перечень женских имен. Хронологический принцип главного перечня имен, наличие иллюстраций — в сочетании с летописью стихотворных посвящений — дают возможность реконструировать прежде всего главный перечень:

Царское Село

Наталья I (помета: «Лицейские»; крепостная актриса. 1813-1815).
Катерина I (Бакунина. 1815-1816).

Царское Село — Петербург

Катерина II (Семенова. 1818-1819).
NN (Екатерина Карамзина. 1817).

Петербург

Кн. Авдотия (помета: Princ. N N Голицына; 1817-1818).

Настасья [?] (Имя не поддается прочтению и расшифровке)

Период южной ссылки (Кишинев — Одесса)

Катерина III (Раевская; 1820-1822).

Аглая (помета: «Давыдова в Каменке»; 1820-1821).

Калипсо (помета: «гречанка»; Полихрони; 1822).

Пульхерия (Варфоломей; 1822-1823).

Амалия (Ризнич); (1823-1824).

Элиза (Воронцова; 1824).

Список невест

Михайловское

Евпраксея (Вульф; 1824-1825)

Москва

Катерина IV (Ушакова; 1826-1827).

Петербург

Анна (Оленина; 1827-1828).

Москва

Наталья (Гончарова; 1828-1829).

Второй «Дон-Жуанский список» Пушкина включал имена: Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена. В этом перечне достоверно расшифровать можно лишь немногие имена.

В главном перечне первым помечено имя Натальи I, крепостной актрисы из театра графа Варфоломея Толстого. Ее имя можно соотнести с рисунком на л. 49. Пушкин изобразил себя в образе лицеиста, впервые столкнувшегося с соблазном женской любви. С редкой тщательностью поэт выписал юный безмятежный лик под монашеским клобуком. Рядом с монахом — дьявол в образе женщины с крючковатым носом и рогами. Внизу шутливый парафраз стихов Баратынского: «Не искушай (сай) меня без нужды». На эту шутку (не искусай) барышни Ушаковы ответили пометой: «кусай его». Сверху поэт вывел « № 1», соответствовавший в перечне актрисе Наталье I. Барышни Ушаковы хорошо уразумели смысл рисунка Пушкина и против № 1 — «номер первый», приписали: «и последний». Они хотели сказать, что Пушкин устоял против искушения в первый и последний раз[17].

Крепостной актрисе юноша Пушкин посвятил одно из первых своих стихотворений. Можно ли предположить, что Наташа была первой его любовью? Это сомнительно. Сам Пушкин определял первую любовь как чувствительную по преимуществу. В романе лицеиста и Натальи чувствительности как раз недоставало. В стихотворении «К молодой актрисе» (1815 г.) поклонник подверг ее талант уничтожающей критике. «Тебе не много Бог послал, твой голосок, телодвиженья, немые взоров обращенья не стоят, признаюсь, похвал и шумных плесков удивленья; жестокой суждено судьбой тебе актрисой быть дурной»[18].

Следующим увлечением лицейского «Дон-Жуана» была Екатерина Ба-

кунина, сестра лицейского товарища Пушкина. Барышня была на 4 года старше его. Записи юношеского дневника, посвященные ей, проникнуты романтизмом и меланхолией[19]. Роман лицеиста кончился, когда родители увезли девушку из Царского Села в Петербург.

Вслед за Екатериной I Бакуниной поэт внес в список имя Катерина II. Возможно, ею была знаменитая трагическая актриса Екатерина Семенова. Друг Катерины II поэт Н.И.Гнедич с некоторым ехидством отметил, что Пушкин «приволакивался , но бесполезно, за Семеновой»[20].

В пушкинском перечне женских имен вслед за Катериной I и Катериной II записана некая NN. Пушкинисты потратили много труда и остроумия, чтобы установить, кто скрывался под литерами NN[21]. Романтическое объяснение сводится к тому, что NN была потаенной любовью Пушкина, сопровождавшей его всю жизнь. Великой возлюбленной поэта одни считают Марию Раевскую, в замужестве Волконскую, другие — Наталью Кочубей или Екатерину Карамзину. «Вернее же всего, — утверждают третьи, — это не известная нам женщина, предмет «северной» мучительной любви Пушкина, может быть, безответной, во всяком случае, как-то оборвавшейся. Возможно, что она рано умерла, и ее могилу посетил Пушкин, вернувшись в Петербург в 1827 или 1829 г.»[22] Фантазировать на тему об NN можно бесконечно. Но, может быть, Пушкин шутил и придумал NN, чтобы возбудить общее любопытство и оживить игру?

Работая над посвящением к поэме «Полтава», поэт писал в черновике:

Иль — посвящение поэта
Как утаенная любовь —
Перед тобою без [привета?]
Пройдет — непризнанное вновь[23]

Критикуя миф об «утаенной любви» Пушкина, Ю.М.Лотман предположил, что речь шла не о реальном увлечении, а о романтическом культе «утаенной» и «безнадежной» любви, своего рода каноне поведения романтического поэта[24].

Это мнение едва ли основательно. Шутливая игра в салоне Ушаковых не была сугубо литературной забавой. Участникам игры довелось выслушать исповедь поэта о его любовных муках и радостях. С этой точки зрения и следует рассматривать литеры NN, по-видимому, не имевшие отношения к романтическому культу «безнадежной любви». К 1829 году знаменитый стихотворец уже избавился от власти романтических канонов.

Расшифровать неизвестные имена помогает программа автобиографических записок Пушкина, составленная им через год после «Дон-Жуанского списка»[25].

Программа включала запись: «1814. ...Приезд Карамз.[ина]. — Первая любовь. — Жизнь Карамзина...»[26] В рукописи достоверному прочтению поддаются не все слова: «Приезд Карамз. — Первая любовь — Жизнь Карамзин..»[27] В первом случае поэт сам сократил фамилию «Карамз.», во втором случае не прописал конец фамилии, вследствие чего последние буквы слова прочесть невозможно. Исследователи восстанавливают текст, исходя из предположения, что к Карамзиным слова о «первой любви» не имели никакого отношения. В соответствии с этим они предлагают следующую расшифровку: «Приезд Карамзина», «...Жизнь Карамзина»[28]. Одна-

ко возникает вопрос, почему Пушкин написал три фразы как единый отрывок, а затем вычеркнул их все вместе? Почему фраза о первой любви разбивает текст о Карамзиных? Если бы три фразы не были органически связаны, естественно было бы написать: «Приезд Карамзина — Его жизнь».

Карамзины приезжали в Царское Село на лето в 1816 и в 1817 гг. Именно в это время лицеист серьезно влюбился в Екатерину Карамзину. К историографу слова «первая любовь», понятно, имели косвенное отношение. Ему пришлось вразумлять влюбленного лицеиста. Героиней любовной истории была супруга Карамзина.

По-видимому, пушкинский текст следует читать так: «Приезд Карамзиных. — Первая любовь — Жизнь Карамзиных». Иначе говоря, поэт сам связал первую любовь с приездом и жизнью Карамзиных. Все это был единый эпизод. Воспоминания Анны Керн подтверждают такую интерпретацию. По ее словам, Екатерина Карамзина была первой любовью Пушкина[29].

Видимо, Пушкин не включил имя Катерины Карамзиной в список, а точнее «потаил» его под литерами NN, по той же причине, по которой вычеркнул весь эпизод первой любви из програмы Записок. Поэт не желал выставлять напоказ или делать предметом игры самое глубокое и волнующее переживание юности[30].

Пушкин в детстве был лишен материнской любви, а юность провел в казенном учебном заведении вдали от дома. Что сформировало его как гармоническую личность, воспитало в нем редчайший дар любви? Не имея готового ответа на этот вопрос, можно заметить лишь, что многое в развитии его эмоционального мира определила первая любовь.

В поклонении актрисам, увлечении Екатериной Бакуниной было много ребяческого. Интриги с актрисами входили в обязанность молодого денди. Екатерина Карамзина внушила Пушкину серьезное чувство и стала его первой любвью.

Поэт имел случай изложить свой взгляд на первую любовь, как он ее понимал в 30 лет. В откровенном письме Вере Вяземской он писал в 1830 г.: «Первая любовь всегда является делом чувствительности: чем она глупее, тем больше оставляет по себе чудесных воспоминаний»[31]. Поэт вспомнил и свое «глупое», но исполненное подлинного чувства письмо к Карамзиной, и «глупое» объяснение с мужем, которое и не могло быть иным. В воспоминаниях Пушкина о первой любви не было ни мистики, ни идеализации. Кажется, поэт не посвятил Екатерине Карамзиной проникновенных стихотворений или во всяком случае не обозначил посвящения в своих рукописях. Но именно первой любви суждено было сыграть необыкновенную роль в его жизни. Екатерина Карамзина — женщина высокой нравственности и добродетельной жизни — стала для него мерилом и символом женского совершенства.

Екатерина Андреевна Карамзина, в девичестве Колыванова, была незаконнорожденной дочерью князя Андрея Вяземского. Карамзин женился на ней после смерти первой жены. «Моя первая жена, — писал он, — меня обожала; вторая же выказывает мне более дружбы».

Карамзина была всего на 5 лет моложе матери Пушкина. В 1817 г. Александр написал письмо Екатерине Карамзиной с признанием в любви. Она показала письмо мужу. Беседа со знаменитым историографом положила конец пылким надеждам юноши, и он расплакался. Министр Блудов

вспоминал, «что Карамзин показывал ему в царскосельском китайском доме место, облитое слезами Пушкина»[32]. Карамзиной был очарован не один Пушкин. С ней любил танцевать царь Александр I.

Перед свадьбой Пушкин получил массу наставлений от приятельниц, но за советом и одобрением обратился к одной Карамзиной. Единственная женщина, у которой поэт испросил благословение на смертном одре, была Екатерина Карамзина. Сразу после смерти Пушкина она делилась с сыном: «...пишу тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью»[33].

NN не была вечной, потаенной, романтической любовью. Она была «всего лишь» первой любовью Пушкина.

Полагают, что в первый перечень увлечений поэт включил имена женщин, которые внушили ему наиболее серьезные чувства, тогда как во второй попали героини более легких и поверхностных увлечений[34]. Насколько справедливо такое предположение?

Ответ на этот вопрос дает история кишиневских увлечений поэта. Когда Пушкин покинул Кишинев, его приятель Н.Алексеев стал периодически сообщать ему новости о кишиневских дамах, некогда круживших ему голову. В 1826 г. он сообщил поэту, что Сандулаки вышла замуж, Соловкина умерла, Пульхерия состарилась и в бедности, Калипсо в чахотке; одна Еврейка осталась на своем месте. Отвечая Алексееву, поэт вовсе не откликнулся на сообщение о миловидной Сандулаки и на печальные новости о Пульхерии Варфоломей, но зато вспомнил трех кишиневских прелестниц: «Еврейку, Соловкину и Калипсо»[35].

По словам Данзаса, Пушкин часто вспоминал о Еврейке, которая была дочерью содержательницы трактира в Кишиневе. «Она была не дурна, но коса»[36]. Соловкина, урожденная Бем, была женой батальонного командира. Ею, по замечанию друзей, Пушкин бредил. Она рано умерла.

В главный перечень «Дон-Жуанского списка» были внесены лишь гречанка Калипсо и Пульхерия Варфоломей. Калипсо Полихрони была дочерью знатного грека-чиновника из Константинополя и бежала в Россию от турок. Она болела чахоткой и вскоре умерла. Роман с Калипсо не относился к числу серьезных увлечений поэта. Но про Калипсо говорили, что в бытность Байрона в Греции он сделал ее своей любовницей[37]. Это обстоятельство и побудило поэта вписать ее хорошо узнаваемое имя в Альбом.

Пульхерия была дочерью генерального откупщика Бессарабии Иордаки Кириака-Варфоломея. Пушкин часто бывал в его доме, где собирались члены масонской ложи «Овидий» и вино лились рекой. Один из завсегдатаев этого дома вспоминал, что Пушкин особенно ценил простодушную красоту Пульхерии и ее «безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти»[38]. Поэту не удалось смутить покой девушки, которую он ласково называл «голубица». В письме к Вигелю (1823 г.) Александр Сергеевич писал: «Пульхерии Варфоломей объявите за тайну, что я влюблен в нее без памяти и буду на днях экзекутор и камер-юнкер...»[39] Как видно, Пушкин ухаживал за дочерью откупщика шутя. Слова о том, что завтра он станет экзекутором (совсем ничтожный чин) и камер-юнкером (немалый придворный чин) показывают, что он не прочь был посмеяться над простодушной девой, пренебрегшей им. Пульхерия заняла почетное место в «Дон-Жуанском списке», но не потому, что она сыграла какую-то роль в жизни Пушкина, а потому что это соответствовало правилам игры.

В салоне девиц Ушаковых невозможно было назвать имен Елены Соловкиной или Еврейки.

Итак, первый перечень женских имен, строго говоря, не был перечнем самых серьезных увлечений Пушкина.

На вечере у барышень Ушаковых поэт вспомнил 16, а потом еще 21 женское имя. Его припоминаниям недоставало полноты. Сразу после помолвки с Натальей Гончаровой Пушкин писал Вере Вяземской: «Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена». Свое признание Пушкин сопроводил словами о том, что чувствительна лишь первая любовь, тогда как все последующие — дело чувственности[40]. Пояснения такого рода должны были, по замыслу поэта, опровергнуть подозрения приятельницы насчет того, что его сто тринадцатая любовь (к Гончаровой) может быть любовью романтической, чувствительной. В том же письме он приглашал Вяземскую на свадьбу посаженной матерью. Княгиня Вера пользовалась дружбой поэта, и ни с кем он не был столь откровенным, как с ней.

Пушкин шутливо утверждал, что увлечений у него было сто и еще тринадцать, иначе говоря, очень много.

Мария Волконская писала о Пушкине: «Как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался...»[41]

В некоторых изданиях Пушкину приписаны следующие слова: «В большей или меньшей степени я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал, все они изрядно насмехались надо мной и, за исключением одной, со мной кокетничали»[42]. Происхождение этой цитаты не вполне ясно, так как в этих изданиях она приведена без ссылки на источник.

Стихи и слава обеспечили поэту всеобщее внимание, искушавшее его ежечасно. Светские дамы наперебой кокетничали с ним. Но многие ли принимали всерьез его чувства?

Пушкин шутливо обобщил свой любовный опыт в письме к своему преданному другу Элизе Хитрово: «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств»[43]. К тому времени Пушкин утратил многие из былых иллюзий. Поучая шестнадцатилетнего Павла Вяземского, он говорил, что для мужчины важно уметь приковать к себе внимание женщины «и в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщину уважать вас»[44]. Что выражали эти поучения: минутное настроение поэта или опыт стократных обид? Печальным аккордом звучали стихи:

Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вздрогну, сердцу больно,
Мне стыдно идолов моих.

Ушаковский перечень женских имен получил не соответствующее его содержанию наименование «Дон-Жуанский». Он ни в коем случае не был перечнем побед распутного ловеласа, перечнем женщин Пушкина. Он включал увлечения поэта по большей части платонические.

Брачные проекты

Впервые свет стал обсуждать возможность перемен в жизни Пушкина в период его ссылки в Михайловское. Опальный поэт сам дал пищу для таких толков. В 1824 г. он зачастил в Тригорское. Его увлечение дочерью Осиповой Евпраксией Вульф перестало быть секретом. Осенью он, шаля, мерялся поясами с Зизи-Евпраксией. «...Талии наши, — писал тогда поэт брату, — нашлись одинаковы. Следственно, одно из двух: или я имею талию 15-летней девушки, или она — талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила...» Вскоре же в «Евгении Онегине» появились строфы о строе «рюмок узких, длинных, подобных талии твоей, Зизи, кристал души моей...» В этих строках свет увидел доказательство того, что Пушкин питает серьезные намерения в отношении к Евпраксии. Но подозрения были ошибочны.

Покинув Михайловское, Пушкин оказался в Москве, восторженно приветствовавшей знаменитого поэта. Принятый в лучших московских домах, он забыл о тригорских феях и предался новым увлечениям. В мае 1826 г. Александр Сергеевич писал Вяземскому: «Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная п...а род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой»[1].

Однако 1 декабря того же года Пушкин обратился к некоему Василию Зубкову с неожиданной просьбой сосватать ему Софью Пушкину. Поручение выглядело довольно странным. Свояченицу Зубкова — двадцатилетнюю московскую барышню жених видел, по его собственному признанию, дважды: раз — в ее ложе в театре и в другой раз — на бале. Пушкина не смущало, что Софи два года как была невестой другого и что сам он не предпринял ничего, чтобы смутить ее сердце. Более того, он признавал: «...у меня не может быть притязаний увлечь ее»[2].

История сватовства поэта к Софье Пушкиной изобилует неясными моментами. Покинув Москву, поэт устремился в Псков. По пути он написал письмо княгине Вере Вяземской, в котором упомянул о красавицах, покоривших его в столице: «С.П. — это само собой разумеется, не Сергей Пушкин (а Софья Пушкина. — *Р.С.*) — мой добрый ангел, но другая — мой демон; это как нельзя более некстати смущает меня в моих поэтических и любовных размышлениях»[3]. Ситуация была вполне обычной для Пушкина. Предполагаемая невеста Софи Пушкина — ангел, но в любовных размышлениях жениха присутствует другая женщина — сущий демон. Кто имел больше власти над поэтом, гадать не приходится. Княгиня была поверенной в сердечных делах, но даже она не могла сообразить, кого имеет в виду ее друг. «Неужели, — писала она в ответном письме, — добрый ангел или демон вас до сих пор занимает? Я думала, что вы давно отделались от них обеих. Кстати, вы так часто меняли свой предмет, что я уже не знаю, кто это другая»[4]. Полагают, что демоном Пушкина в то время была Аннета Вульф (мнение Н.О.Лернера) или же Прасковья Осипова (П.Губер). Эти мнения выглядят несколько курьезно. Чувствительная и добрая Аннета, как и «милая старушка» — ее мать П.Осипова, — менее всего подходили к роли злого демона. В письме от 9 ноября Пушкин извещал

П.А.Вяземского: «Долго здесь не останусь... буду у вас к 1-му... она велела!» Считают, что повеление поэту прислала его невеста. Такое предположение трудно согласовать с фактами. Сразу после приезда Пушкина в Москву была объявлена помолвка ангела Софи, будто бы вызвавшей Пушкина, с Паниным. Как видно, повеление исходило от другой женщины, от демона.

Нащокин был свидетелем сватовства Пушкина. После беседы с Нащокиным П.В.Анненков кратко записал в своем черновике: «Нет, не Черкешенка — Паниной, урожденной Пушкиной, в которую он был влюблен, а по другим (сведениям. — *Р.С.*) — в сестру ее Зубкову, с которой через нее хотел ... [неразборчиво]»[5]. П.И.Бартенев оставил более подробную запись беседы с Нащокиным: «Здесь говорится о г-же Паниной, сестре г-жи Зубковой, в которую Пушкин был влюблен». Достоверность рассказа Нащокина подтвердил Соболевский, написав на полях рукописи Бартенева: «Да» и еще раз «Да»[6].

Воспоминания К.К.Данзаса проясняют вопрос, в какую из двух сестер был влюблен поэт. «В Москве в 1829 г., — рассказал Данзас Бартеневу, — Пушкин волочился за Зубковой, прикинувшись, что влюблен в сестру ее Пушкину, которая сделалась потом Паниной. К ней стихи: *Не Агат в ее глазах*. Эти урожденные Пушкины были сиротами и воспитывались у Апраксиной...»[7] Данзас неточно обозначил год, но о происшедшем знал, по-видимому, из первоисточника.

Письмо к Зубкову по поводу брака с его свояченицей Пушкин переслал через Соболевского. Последний, можно полагать, был осведомлен о подвохе. В связи с этим поэт адресовал ему двусмысленную шутку: «Перешли письмо Зубкову, без задержания малейшего. Твои догадки — гадки; виды мои гладки»[8]. Гадкие догадки Соболевского касались затеянной поэтом мистификации. Кстати, получив отказ, Пушкин продолжал охотно посещать дом Зубковых и в его стенах закончил стихи «Стансы», посвященные Николаю I.

Сватовство Пушкина к Зизи было досужей выдумкой публики, сватовство к девице Пушкиной — сознательной мистификацией. То была шутка, о которой поэт должен был вспомнить, когда Дантес посватался к Катерине Гончаровой. Понятно, почему Пушкин не включил имя «Софья» в перечень невест главного «Дон-Жуанского списка». Поэт не считал ее своей невестой и к сватовству своему не относился серьезно. Зато во второй части «Дон-Жуанского списка» сестры Анна и Софья Пушкины записаны в числе первых.

Составляя письмо мужу Анны В.П.Зубкову, Александр Сергеевич старался более всего о том, чтобы найти доводы, которые делали бы его свадьбу с Софи невозможной, немыслимой. Не опасался ли он, как бы демон с восточными глазами в самом деле не женила его на своей сестре? В письме поэт постарался объяснить свояку невесты, что не только собственное счастье заботит его, но еще больше счастье избранницы, что сам он непригоден и неподготовлен к семейной жизни, требовавшей постоянства, терпения, ровного характера. «Жизнь моя, — писал он, — доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой — неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно — вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. — Следует ли мне связать с судьбой столь печальной,

с таким несчастным характером — судьбу существа, такого нежного, такого прекрасного?»[9] Тщательно выбирая слова, Пушкин выражал сомнения в том, что ему удастся сделать избранницу столь счастливой, как ему хотелось, и она будет несчастной в браке с ним.

Мнимое сватовство к Софи Пушкиной ничем не кончилось. В начале 1827 г. Софи вышла замуж за своего жениха — «скверного» В.А.Панина[10]. Любовь Пушкина к Софи не получила отражения в его стихах, а это значит, что увлекался он не ею. Однако история первого сватовства поэта была широко известна в Москве, и потому он должен был включить имя *Софья* во второй «Дон-Жуанский список» Альбома девиц Ушаковых.

В конце 1826 г. Пушкин увидел на балу девицу Екатерину Ушакову, влюбился в нее и стал неотступно ухаживать. Е.С.Телепнева, встречавшая Пушкина в доме Ушаковых и наблюдавшая за ним и Екатериной на светских приемах, летом 1827 г. пометила в дневнике: «...на балах, на гуляньях он говорил только с нею», а когда ее не было, то «сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его»[11].

В апреле-мае 1827 г. поэт написал в Альбом Ушаковой два стихотворения. Одно заканчивалось словами:

Но ты, мой злой иль добрый гений,
Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые, —
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпься!» говорю.

В 1827 г. в Москве толковали о близкой свадьбе Пушкина. Но жених уехал в Петербург, не сделав предложения. Такой финал не был неожиданностью для Катерины. Еще в мае 1827 г. она писала брату: «Он уехал в Петербург, может быть он забудет меня... город опустел...»[12]

После неудачного сватовства к Олениной Пушкин возобновил визиты в дом Ушаковых. 1 апреля 1829 г. он подарил Екатерине поэму «Полтава» с дарственной надписью и в тот же день нарисовал в Альбоме Елизаветы Ушаковой портрет Екатерины с надписью:

«Трудясь над образом прелестной У.[Ушаковой]
И проч и проч и проч. 1 d'avril 1829"»

На портрете Катерина изображена в рост, с безукоризненным профилем и модной прической. Надпись была выдержана в дружеском и шутливом тоне, доказательством чему служили «И проч и проч и проч.». По некоторым предположениям, первая строка была началом несохранившегося стихотворения, посвященного Ушаковой[13].

Не прошло и месяца со времени возвращения в дом Ушаковых, как поэт сделал предложение Наталье Гончаровой.

После поездки на Кавказ Пушкин осенью 1829 г. вновь появился у Ушаковых, но, по-видимому, встретил в их доме холодный прием. Об этом свидетельствовала вежливо-формальная дарственная надпись на книге стихов, подаренной Пушкиным Катерине 21 сентября 1829 г.: «Всякое даяние

благо — всякий дар совершен свыше есть. Катерине Николаевне Ушаковой от А.П. 21 сентября 1829 г. Nec femina, nec puer» («ни женщина, ни мальчик»). Латинские слова были цитатой из оды Горация. Воспринимать их как комплимент никому не пришло бы в голову.

Последующая веселая игра — шутливое покаяние мнимого Дон-Жуана — несколько исправила положение. Между 20 сентября и 12 октября поэт набросал в Альбоме Ушаковых изображение горящего Арзрума и снабдил рисунок подписью: «Арзрум, взятый помощью божией и молитвами Катерины Николаевны...» К этой надписи Пушкин сделал затем приписку: «взятый мною А.П.»[14] Судя по приведенным словам, между поэтом и его бывшей невестой возобновились непринужденные отношения.

Уехав из Москвы в столицу, Пушкин 15 ноября 1829 г. писал С.Д.Киселеву, жениху Елизаветы Ушаковой: «Кланяйся неотъемлимым нашим Ушаковым. Скоро ли, Боже мой, приеду из Петербурга в Hotel d' Angliter мимо Карса! (т.е.мимо Наталии Гончаровой. — *Р.С.*) по крайней мере мочи нет хочется»[15]. Киселев должен был передать слова Пушкина Ушаковым. Слова «мимо Карса» неизбежно должны были озадачить сестер. Вскоре Екатерина Ушакова написала поэту письмо без подписи. О содержании его можно судить на основании стихотворного ответа Пушкина, опубликованного в «Литературной газете» уже 11 января 1830 г. Игра продолжалась, и поэт подписал стихи «Крс» (Карс?).

Я вас узнал, о мой оракул!
Не по узорной пестроте
Сих не подписанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву! в Москву сейчас!

В январе 1830 г. Пушкин писал Вяземскому из столицы: «Правда ли, что моя Гончарова выходит за [...] Мещерского? что делает Ушакова, моя же?»[16] После появления поэта в Москве завсегдатай дома Ушаковых В.А.-Муханов сообщил брату 27 марта 1830 г.: «Ушакова меньшая идет за Киселева... О старшей не слышно ничего, хотя Пушкин бывает у них всякий день почти»[17]. Частые посещения породили убеждение в том, что Пушкин наконец решил жениться на Ушаковой. М.П.Погодин писал из Москвы С.П.Шевыреву 23 марта 1830 г. по поводу Пушкина: «Говорят, что он женится на Ушаковой-старшей и заметно степенничает»[18]. Даже П.А.Вяземский сообщил жене 20 марта 1830 г. о близкой помолвке Пушкина и Ушаковой[19]. Однако 6 апреля поэт вторично сделал предложение Гончаровой и получил согласие невесты и ее матери. Сговор решено было держать в тайне. Не зная обо всем этом, Катерина IV после визита Александра Сергеевича писала брату 28 апреля 1830 г.: «Говорят, что он женит-

ся, другие даже, что женат. Но он сегодня обедал у нас и, кажется, не имеет сего благого намерения»[20].

Пушкин оставил множество портретных зарисовок Катерины. Он продолжал рисовать ее профили после помолвки, будучи женихом Гончаровой[21].

Увлечение Ушаковой было для Пушкина необычно длительным. Оно продолжалось с конца 1826 до весны 1830 г. Поэт посвятил Катерине несколько стихотворений.

Ушакова обладала насмешливым складом ума и была по-мальчишески резкой. Глядя на сестру Лизу и ее жениха, девушка не удержалась от язвительного комментария. 14 марта 1830 г. Пушкин писал Вяземскому из Москвы: «Киселев женится на Л.Ушаковой, и Катерина говорит, что они счастливы до гадости»[22].

На склоне лет Ушакова собралась написать воспоминания. «Мое повествование о Пушкине, — подчеркивала она, — будет очень любопытно, в особенности описание его женитьбы»[23]. Однако Ушакова не успела осуществить свое намерение. По настоянию мужа она сожгла девичьи альбомы, исписанные и разрисованные рукою Пушкина.

Воображаемое сватовство к Зизи, мистификация в отношении Софи Пушкиной и ухаживания за Ушаковой подготовили почву для первого настоящего сватовства. Вслед за Катериной IV в «Дон-Жуанском списке» Пушкина записана Анна Оленина. Пушкин стал частым гостем в доме Олениных с весны 1828 г.

Столичная барышня Аннета Оленина, двоюродная сестра Анны Керн, выделялась среди сверстниц. Она получила хорошее образование и уже в 17 лет была пожалована во фрейлины. Девица писала стихи и занималась сочинением романтических повестей, прекрасно танцевала, любила верховую езду. В доме Олениных собирался цвет образованного столичного общества. Тут царила атмосфера непринужденности, постоянно звучала музыка. Михаил Глинка был частым гостем Олениных. Дочь брала у него уроки музыки. За исключением карт допускались любые игры, например — детская игра в «кошки-мышки»[24].

Поклонение Пушкина придало красоте Аннеты особый блеск. Однако друзья, хорошо знавшие поэта, с некоторой долей иронии описывали его чувства к барышне. 7 мая 1828 г. князь П.А.Вяземский писал жене: «Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен»[25]. Сам князь был в то время неравнодушен к девятнадцатилетней девице Александре Россети. Мимолетные увлечения рождали мимолетные стихи. Вяземский воспел глаза Россети («Южные звезды! Черные очи!»), Пушкин сложил мадригал в честь очей Олениной:

...сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
...Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

В глазах Аннеты Пушкин находил детскую простоту, лицо сравнивал с ликом ангела. Однако в рисованных портретах Олениной, торопливо на-

бросанных рукой поэта, ангельские черты начисто отсутствуют[26].Оленина обладала своенравным характером, за что получила прозвище «Драгунчик»[27].

Можно отметить любопытный парадокс. Никогда поэт не чувствовал столь остро свое одиночество, тщетность надежд, как в свой день рождения 26 мая 1828 г., когда увлечение Олениной, казалось бы, достигло высшей точки. В тот день были написаны строки:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
...Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум...

Анна Алексеевна была девушкой добродетельной, спокойной и рассудительной. Она отдавала дань совершенству посвященных ей стихов, но поклонение поэта не тронуло ее сердца.

Тебя страшит любви признанье,
Письмо любви ты разорвешь,
Но стихотворное посланье
С улыбкой нежною прочтешь.

Пушкин писал Аннете комплиментарные стихи:

...Что ваши взоры — сердцу жалы,
Что ваши ножки очень малы,
Что вы чувствительны, остры,
Что вы умны, что вы добры,
Что можно вас любить сердечно...

Может быть, увлечению поэта недоставало глубины. Зато намерения его были самыми серьезными. В черновиках Пушкина 1828 г. можно обнаружить фамилию *Pouchkine*, написанную поверх имени Annete, и в другом случае *Annete Pouch*.[28] По словам П.Губера, Пушкин то ли получил отказ, то ли сам отступил в последнюю минуту наподобие гоголевского героя[29]. Сочинения Олениной проясняют историю сватовства поэта. Образованная барышня поначалу писала роман из своей жизни, а потом обратилась к жанру дневника. Ее записи отличались искренностью и прямотой.

Предметом тайных вздохов барышни был немолодой фат вдовец полковник князь А.Я.Лобанов-Ростовский, но это ее увлечение оставалось тайной для всех. Она питала чувства также к юному хорунжему Чурину. Но к матримониальным планам ее увлечения не имели никакого отношения. Рассуждения барышни о браке отличались трезвостью. «Я сама вижу, — писала она в дневнике, — что мне пора замуж: я много стою родителям»; «И так как супружество есть вещь прозаическая, без всякого идеализма, то рассудок и повиновение мужу заменит... пылкость воображения» и пр.[30] 18 июля 1828 г. Оленина записала: «Пушкин и Киселев — два героя моего настоящего романа».

«Браки заключаются на небесах». Поговорка означала, что вопрос о

замужестве юной дочери решали родители, положась на Бога и руководствуясь земными заботами. В глазах чиновной семьи Олениных поэт был незавидным женихом. Свет питает почтение к поэту, писала в дневнике девушка, не за его гений, а ввиду расположения к нему царя, «который был его цензором»[31]. У родителей невесты не было иллюзий по поводу царской милости к Пушкину. Помимо двух официальных постов — директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств — А.А.Оленин был облечен еще и саном государственного секретаря. Жандармское расследование о крамольных стихах Пушкина завершилось 28 июня 1828 г. решением Государственного совета об учреждении секретного надзора над стихотворцем, а точнее об ужесточении такового надзора. Протокол совета был подписан отцом Аннеты.

В соперничестве с Киселевым у Пушкина не было шансов на успех. В июле 1828 г. Оленина записала в дневнике о своем намерении выйти замуж за Киселева в случае его сватовства. В том же месяце она объявила И.А.-Крылову, что вышла бы за двух людей — за Мейендорфа или за Киселева, хотя и не влюблена в них[32]. Сорокалетний генерал П.Д.Киселев был вдвое старше невесты. Он был женат на графине Софье Потоцкой, но не жил с женой.

Рассуждая о браке с ним, девица задавала себе вопрос: «Буду ли счастлива? Бог весть! Но сомневаюсь. ...Буду ли я любить своего мужа? Да, потому что перед престолом Божьим я поклянусь любить его и повиноваться ему»[33].

Аннета ждала форменного предложения. Но Киселев, разъехавшись с женой, уведомил девушку, что «расстроенное его состояние не позволяет ему помышлять о женитьбы». Невеста прекрасно понимала, что это отговорка[34]. Генерал не развелся со своей женой, но и не вернулся к ней по той причине, что жил с сестрой жены Ольгой. Модест Корф хорошо знал Киселева и называл его человеком бессердечным и неспособным к любви[35].

Без всяких объяснений Оленину покинул другой ее жених — тридцатишестилетний граф Матвей Виельгорский. Дело не дошло до официального сватовства. Разрыв последовал в начале 1830 г. В дневнике появилась запись о «последнем ударе — сердечном горе»[36].

Пушкин, писала Оленина в дневнике, «довольно скромный. Я даже с ним говорила и перестала бояться, чтобы не соврал чего в сентиментальном роде». Так описала свои первые впечатления Аннета. В дальнейшем попытки поэта вызвать ее ревность, а также и его нежные речи нисколько не нарушили ее спокойствия[37]. Объяснение произошло после 11 августа, когда девушке исполнилось 20 лет. Родители дали понять поэту, что они не дадут согласия на его брак с Анной. Даже близкие порицали «маминьку [Оленину] за суровость к Пушкину, говоря, что это не способ успокоить его»[38].

Получив отказ, Пушкин не сразу смирился с неудачей. Анна Оленина была в ярости, когда ей передали слова жениха: «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я уж слажу сам»[39].

Летом 1828 г. на страницах дневника Олениной появился словесный портрет поэта, подправленный после разрыва. Юная дева, которую Пушкин боготворил, не преминула отметить его непривлекательную наружность, злость и насмешливость, затемнявшую ум в его стеклянных глазах, арапский профиль, ужасные бакенбарды, ногти как когти, маленький рост, же-

манство в манерах, странность нрава природного и принужденного[40]. Гротескный портрет, нарисованный Олениной, показывает, каким видели Пушкина нелюбившие его женщины.

Невеста осмеяла Пушкина, и он не остался в долгу. В конце декабря 1829 г. поэт, работая над черновым наброском (описание бала в VIII главе «Евгения Онегина»), посвятил Аннете и ее родителям прочувствованные строки:

Annete Olenine тут была,
Уж так жеманна, так мала!
[...]
Так бестолкова, так пискдива,
Что вся была в отца и мать...

Из окончательного текста поэмы этот стих был вычеркнут.

Соперничество двух выдающихся людей на время сделало Аннету кумиром света. Разрыв с поэтом лишил ее былого ореола. Красоту барышни перестали замечать. Аннета вышла замуж лишь в 1840 г., будучи уже немолодой.

По словам внучки Олениной, она видела в ее альбоме стихи «Я вас любил, любовь еще, быть может...» Стихи сопровождала надпись, сделанная рукою Пушкина в 1833 г.: «Plusqueparfait» (давно прошедшее)[41]. Свидетельство это не поддается проверке ввиду утраты альбома с автографом.

При последних визитах в дом Олениных Пушкин донимал Аннету толками о графине Закревской. Невеста подозревала, что он хотел вызвать ее ревность[42]. В Петербурге графиня прославилась своей красотой и скандальными похождениями в свете. В кругу друзей П.А.Вяземский называл ее «Медной Венерой». «Я пустился в свет, — писал Пушкин Вяземскому, — потому что бесприютен. Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила»[43]. Утешительно-смешная Закревская сделала поэта своим сердечным поверенным и тем самым помогла ему забыть своенравного Драгунчика. Имя графини попало во вторую, менее важную половину Дон-Жуанского списка поэта.

Отвергнутый Аннетой, поэт, как полагают, пытался возобновить ухаживания за Екатериной Ушаковой, но узнал о ее помолвке с другим[44].

Сестры Ушаковы знали о неудачном сватовстве Пушкина к Олениной и осмеяли его, когда он решился вновь посетить их дом в конце 1829 г. Именно в это время в Альбоме Елизаветы Ушаковой (л. 50 об.) появился рисунок с изображением барышни, отвергающей молодого человека. Комментарием к рисунку служили стихи:

Прочь, прочь отойди
Какой беспокойный
Прочь, прочь отвернись
Руки недостойный.

Полуотвернувшееся лицо очень похоже на портрет Олениной, набросанный Пушкиным. Рисунок в альбоме помечен цифрой 9, но к ней приписана еще одна цифра 10000. Пушкин скромно писал о сотне увлечений, Ушаковы дразнили его тысячами.

Сватовство к Гончаровой

Взявшись за устройство семейного очага, Пушкин действовал решительно и целеустремленно. Потерпев неудачу у Олениных, он вспомнил о московской ярмарке невест. Возобновив визиты к Ушаковым, поэт принялся ухаживать за Натальей Гончаровой.

Шестнадцатилетняя Наташа Гончарова привлекла внимание поэта на балу в декабре 1828 г. Вспоминая об этом, он писал: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась...»[1]

В Москве не знали, что думать, и называли имена сразу двух барышень, коль скоро заходила речь о невесте поэта. 1 апреля 1829 г. Пушкин набросал в Альбоме девиц Ушаковых портрет Екатерины Ушаковой (л. 27 об.). Примерно тогда же на л. 26 об. появился женский портрет с подписью: «Kars, Kars». Карс был неприступной турецкой крепостью, взятой русскими летом 1828 г. В доме Ушаковых Карсом стали именовать Наталью Гончарову, неприступную красавицу.

1 мая 1829 г. через Ф.Толстого поэт попросил у Н.И.Гончаровой руку ее дочери. Ответ был уклончивым. Написав письмо матери невесты, Пушкин умчался на Кавказ. В письме жених писал, что не считает полученный ответ отказом, что он должен был бы писать Н.И.Гончаровой «на коленях, проливая слезы благодарности». Благодарить было, однако же, не за что. Отказ посеял в душе поэта смятение. «...Извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа...» — так заканчивал он свое письмо. Слова о больном и несчастном сердце едва ли могли растрогать мать девушки. Позже Александр Сергеевич счел необходимым объяснить свой внезапный отъезд из Москвы, напоминавший бегство: «...я сделал предложение, Ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; Вы спросите меня — зачем? клянусь Вам, не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы; я бы не мог там вынести ни Вашего, ни ее присутствия...»[2]

С Кавказа Александр Сергеевич вернулся в Москву лишь осенью. Столь долгое отсутствие трудно было объяснить. В письме Н.И.Гончаровой Александр Сергеевич сетовал, будто в дни путешествия «надеялся, ждал ответа (от Н.И.Гончаровой. — *Р.С.*) — он не приходил»[3].

На юге у Пушкина не было постоянного адреса. Там шли военные действия. Жизнь Пушкина подвергалась опасности. Барышня, которой он сделал предложение, могла беспокоиться. Но все это не имело особого значения в глазах поэта.

Сватовство наложило на Пушкина определенные обязательства. По этой причине первый визит в Москве он нанес не ждавшим его друзьям, а Гончаровым. Один из его приятелей получил записку: «Извините меня, ради Бога — обязанность, так сказать, священная... До свидания»[4].

Жених вернулся в Москву сразу после того, как Наталья отпраздновала свое семнадцатилетие. Главное возражение, что избранница — еще дитя, отпало. Исполняя «священную обязанность», Пушкин посетил дом Гончаровых. Но ему был оказан холодный прием, и он оробел. («У меня не

хватило мужества объясниться — я уехал в Петербург в полном отчаянии» — писал он Н.И.Гончаровой[5].) Пушкин начал думать, что дело его проиграно, и ему вновь пришлось искать спасения в бегстве.

Отказ Гончаровой нанес поэту не менее чувствительный удар, чем неудача в доме Олениных. Забыть неудачу в первом случае помогла ему Закревская, во втором — Собаньская. Находясь в полном смятении чувств, поэт по возвращении в столицу встретил красавицу-польку, которую, казалось бы, послала ему сама судьба.

Чувством глубокой меланхолии приникнуты стихи, записанные в альбом Собаньской 5 января 1830 г.

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный,
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных[...]

7 января 1830 г. поэт обратился к Бенкендорфу с прошением: «...покамест я еще не женат и не зачислен в службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию». На худой конец, Пушкин соглашался ехать с посольством в Китай. Путешествие в Западную Европу заняло бы много месяцев, в Китай — годы[6].

В минуты слабости Пушкин готов был отложить надолго или даже навсегда планы женитьбы. Эти планы привлекали и пугали его. Отъезд с посольством снял бы вопрос об обязанностях человека чести перед Гончаровой. Однако мечтам не суждено было сбыться. 17 января император отклонил просьбу поэта. Царская резолюция гласила: «...это очень расстроит его денежные дела и в то же время отвлечет его от занятий».

7 января поэт еще не помышлял о возобновлении ухаживаний за Собаньской и не печалился о том, что отъезд за границу лишит его общества красавицы. Но вскоре все переменилось.

Каролина была одним из множества увлечений поэта еще в годы южной ссылки. В отношениях с мужчинами красавица всю жизнь открыто пренебрегала условностями света. Она была любовницей генерала И.О.Витта и открыто жила с ним. С поэтом дама вела себя как добродетельная и неприступная особа. Пушкин ухаживал за ней без всякого успеха. Наконец ему стало понятно, что его водят за нос. В феврале 1830 г. он напомнил Собаньской об этом: ...если когда-нибудь вы это прочтете, я хорошо знаю, что вы подумаете. ... «Он (т.е. Пушкин. — *Р.С.*) заслуживает того, чтобы я и дальше его дурачила»[7].

Из того же письма узнаем, что именно подразумевал поэт, говоря, что Каролина дурачила его в давние годы.

«Кокетка богомольная» полностью подчинила своим капризам двадцатидвухлетнего Пушкина. Следуя ее воле, поэт должен был сопровождать красавицу в костел, читал вместе с ней чувствительные романы и пр. Одно посещение, когда Собаньская осенила чело поэта крестным знамением, осталось в памяти Александра Сергеевича навсегда. Прикосновение холодных пальцев, писал он, «обратило меня в католичество». Запомнил он и «идеальное очарование... и жгучие чтения юных лет»[8].

Давнее увлечение не оставило глубокого следа в памяти Пушкина. Он не вспомнил имя Собаньской, когда за несколько недель до встречи с ней в Петербурге занес в альбом Ушаковых имена Ризнич и Воронцовой. Эти женщины были более благосклонны к молодому человеку и вытеснили Собаньскую из его сердца. В 1821 г. Пушкин увлекся Каролиной, а в 1823 г. писал Александру Раевскому: «...моя страсть очень уменьшилась... я влюбился в другую»[9].

Собаньская не простила Пушкину измены и в феврале 1830 г. намекнула ему, что семь лет назад, в 1823 г., счастье было возможно. «В последний раз, — отвечал ей поэт, — вы говорили о прошлом жестоко. Вы сказали мне то, чему я старался не верить — в течение целых 7 лет. Зачем?»

Если счастье возможно было семь лет назад, значит, оно было возможно и ныне. Поэт должен был поверить многообещающим намекам после того, как Каролина назначила ему свидание (очевидно, tete-a-tete, замечают пушкинисты)[10].

Собаньская вела себя как опытная кокетка. Свидание было в последний момент отложено. «Прошлый раз, — писала красавица, — я забыла, что отложила удовольствие видеть вас на воскресение». Но и в воскресенье 2 февраля рандеву не состоялось. Каролина известила Пушкина, что должна отправиться в костел на мессу, а затем сделать визиты и деловые поездки. Свидание было перенесено, теперь уже на понедельник.

Хорошо рассчитанный удар попал в цель. Поэт готов был признать свою полную беззащитность перед демоническими чарами женщины. Кокетство Собаньской наводило на мысль, что его надежды призрачны.

Под влиянием вспыхнувшего чувства Пушкин написал два любовных письма поразительной глубины и силы. Ради соблюдения тайны он именовал даму сердца Элленорой. С самого начала поэт не был уверен, что решится когда-нибудь отправить послания предмету обожания. («Если когда-нибудь вы это прочтете».) Но любовь владела сердцем поэта, и ему надо было излить чувства на бумаге. Тексты писем попали на страницы черновой тетради, но так и не были перебелены для отправки адресату.

Исследователи весьма точно называют пушкинские письма Собаньской «не сказанными речами глубоко взволнованного человека» и еще — самыми литературными из всех писем Пушкина[11].

Литературность нисколько не умаляет их глубокой искренности. «Вы смеетесь над моим нетерпением, — писал поэт, — вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания, итак я увижу вас только завтра — пусть так. Между тем я могу думать только о вас. Хотя видеть и слышать вас составляет для меня счастье, я предпочитаю не говорить, а писать вам. В вас есть ирония, лукавство, которые раздражают и повергают в отчаяние. Ощущения становятся мучительными, а искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки. Вы — демон, то есть тот, кто сомне-

вается и отрицает, как говорится в Писании».

Письмо Пушкина пронизано мучительными сожалениями об упущенном счастье. Вспоминая муки неразделенной любви, поэт писал: «Вам обязан я тем, что познал все, что есть судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего». Поэт страшится иронии и насмешек дамы сердца, некогда повергаших его в полное оцепенение[12].

Моля о снисхождении, Пушкин сам не очень ясно представляет, как будет реагировать красавица на его слова, а следовательно, чего он может просить, а чего не может: «Между тем берясь за перо, я хотел просить вас о чем-то — уж не знаю о чем, ах да, — о дружбе — то есть о близости — довер...»[13]

Не отослав первого письма, Пушкин вскоре же пишет Собаньской начерно второе письмо. Его тон значительно более спокоен. Смятение чувств уступает место патетике. День первой встречи (9 лет назад, т.е. в 1821 г.), писал Пушкин, «решил мою судьбу. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с Вашим; я рожден, чтобы любить Вас и следовать за Вами»[14]. В новых признаниях поэта было, однако, нечто недосказанное. «Вдали от вас я испытываю лишь угрызения по поводу счастия, коим я не умел насытиться». Пушкин еще у ног возлюбленной, но о счастье говорит уже в прошедшем времени. «Рано или поздно, неминуемо, чтобы я все оставил и пришел пасть к вашим ногам». Рано или поздно, но не теперь.

Порыв чувств угас так же внезапно, как и возник. Мечты о семейной жизни, о тихой пристани невозможно было совместить с бурными романами и непостоянством женщины, похождения которой напоминали авантюрный роман. Либо после осознания невозможности близости с «демоном», либо же «после сближения произошел разрыв»[15].

Написав строки: «...я рожден, чтобы любить и следовать за вами — всякая иная забота с моей стороны ошибка или безумие» — поэт, не теряя времени, умчался в Москву, навсегда расставшись с Собаньской.

В 1829 г. в дни путешествия на юг Пушкин написал стихотворение «На холмах Грузии». Исследователи потратили много труда, чтобы выяснить, кому было посвящено это стихотворение. Полагают, что поэта вдохновила Мария Раевская (в замужестве Волконская), либо ее сестра Елена, либо Екатерина Карамзина, либо Екатерина Дашкова. Начальный вариант стиха колеблет эти предположения. В нем читаются строфы:

Прошли за днями дни — сокрылось много лет,
Где вы, бесценные созданья,
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.

Стих был написан под влиянием нахлынувших воспоминаний о «бесценных созданиях» давних лет, т.е. не об одном лице и не об одном увлечении. «Дон-Жуанский список» конца 1829 г. помогает раскрыть имена «бесценных созданий». В него записаны рано умершая Амалия Ризнич и находившаяся вдали от столицы Елизавета Воронцова. Каролина была еще одной героиней южных увлечений поэта. Но в 1829 г. она была забыта и не попала на страницы ушаковского альбома.

Строфы, живописавшие давние увлечения, не вошли в окончательный

вариант стихотворения «На холмах Грузии». Создав шедевр, поэт, по-видимому, не сразу решил, кому посвятить его[16].

В 1830 г. В.Ф.Вяземская переслала стихотворение М.Н.Раевской-Волконской. Та рассудила, что два первых стиха гармоничны, «но конец... это конец старого французского мадригала, это любовная болтовня...»[17]

Волконская даже не догадывалась о том, что стихи могли быть посвящены ей. В конце концов Пушкин решил адресовать свой «мадригал» Гончаровой.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой...

Гончарову роднила с Собаньской глубокая религиозность. Различие же состояло в том, что одна, будучи кокеткой, желала казаться воплощением добродетели, а другая действительно была добродетельна и сурова. Только на такой барышне и мог жениться Пушкин.

Помолвка

В начале 1830 г. московская «ярмарка невест» напомнила о себе петербургскому поэту. На святки в Москву прибыл император, и генерал-губернатор князь Д.В.Голицын дал в его честь бал с «живыми картинами». В картинах «маленькая Гончарова, — как писал А.Я.Булгаков, — в роли сестры Дидоны была восхитительна»[1].Успех Натальи Гончаровой напомнил Александру Сергеевичу о его замыслах и обязанностях. Между тем, по Петербургу распространились слухи, не очень приятные для поэта. В январе 1830 г. он спрашивал Вяземского, не выходит ли Гончарова замуж за Мещерского[2]. Такого посрамления Пушкин не мог потерпеть.

Жизнь подтвердила суждение Пушкина о том, что исход любого сватовства зависит от родни невесты. Один из петербургских знакомых, по признанию Пушкина, передал «одно благосклонное слово», которое «вернуло ему жизнь»[3]. Знакомцем поэта был ротмистр Кавалергардского полка И.Д.Лужин, беседовавший с ним тотчас по возвращении из Москвы. На балу у Голицыных Лужин танцевал с Натали. После танца он заговорил с ее матерью о Пушкине, «чтобы по их отзыву доведаться, как они о нем думают». Лужин поступил так по просьбе П.А.Вяземского, принимавшего живое участие в делах поэта. Сам Александр Сергеевич менее всего думал о возобновлении сватовства, поглощенный чувствами к Собаньской. Ходатаями по его делу выступили друзья. Беседуя с кавалергардом, «мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину». По возвращении в столицу Лужин встретил Пушкина в доме у Карамзиных и передал ему благую весть[4]. Описанный эпизод имел место, очевидно, до отъезда поэта из столицы в Москву в марте 1830 г.

12 марта Пушкин явился в Москву и в тот же день столкнулся лицом к лицу с Натальей Гончаровой на концерте[5].Поклоны, переданные Лужиным, означали приглашение возобновить знакомство, а точнее — сватовство. Но жених не воспользовался предлогом и не нанес визит Гончаровым. Зато он проводил время у прежней невесты, что ввело в заблуждение Вяземского. Тот заключил, что Пушкин чуть ли не помолвлен с Екатериной Ушаковой[6].

В первых числах апреля поэт переслал с Гончаровым письмо Вяземскому, известив его о свиданиях с Гончаровой в доме Малиновских. В письме к жене от 7 апреля Вяземский так прокомментировал полученное письмо: «...должно быть, он влюблен не на шутку (в Натали. — *Р.С.*), если ездит к Малиновскому»[7].

В доме Ушаковых хлопоты Пушкина вызвали град насмешек. В Альбоме сестер (л. 54 об.) неискусная рука изобразила колоритную сцену. Красавица отказывается взять письмо у мужчины, склонившегося к ее ногам. Когти на руке просителя выдавали Пушкина. Под рисунком была надпись: «Как вы жестоки» и пр. Красавица пыталась спастись от обожателя бегством, но ей мешали мозоли (стопа у Гончаровой была очень крупной, и ей приходилось носить тесные башмачки). Надпись в Альбоме напоминала об этом: «...мне в едаких башмаках нельзя ходить, оне мне слишком узки, мозоли будут». Как видно, мозоли, позже давшие повод для каламбура Дантеса, тревожили Наталью уже в 17 лет. Под ножками в туфлях были пририсованы босые ножки — совет Гончаровой бежать от Пушкина, сбросив туфли. Обличая донжуанство поэта, девицы Ушаковы обозначили последнюю его жертву номером с более чем 30 нулями[8].

Пушкин не оставил вызов без ответа и написал подле рисунка в альбоме слова:

Карс, Карс брать
Брать Карс.

Эти строки едва ли могли быть написаны ранее весны 1830 г., когда мать невесты обнадежила жениха, и он поверил, что ему удастся покорить Карс.

Девицы Ушаковы продолжали потешаться над Пушкиным. Они вклеили на следующий лист своего альбома (л. 55 а) портрет Н.И.Гончаровой, неизвестно откуда вырезанный. Рисованный Пушкиным, этот портрет поражает своей тщательной отделкой. Поэт изобразил властное, с чертами грубости лицо будущей тещи. Ушаковы снабдили рисунок крупной каллиграфической подписью «Маминька Карса».

Роль жениха предполагала частые посещения дома невесты, заботу о том, чтобы узнать поближе предмет обожания, внушить ей чувство. За Олениной Пушкин ухаживал именно так: часто посещал ее семью, писал стихи в альбом. С Натальей Гончаровой он вел себя совсем иначе: надолго исчезал, не давал знать о себе.

Мать невесты прежде нисколько не сомневалась в серьезности намерений жениха. Теперь же она убедилась, что может упустить жениха для дочери. Это побудило ее взять инициативу в свои руки. В первый раз поэта ободрило одно приветливое слово. Прошло некоторое время, и Н.И.Гончарова «соблаговолила» передать будущему зятю не одно, а «несколько милостивых слов». В чем заключалась милость, мы узнаем из письма Пушкина от 5 апреля: «...Вы дали мне разрешение писать Вам»[9]. Эта фраза может вызвать удивление: поэт находился в Москве, виделся с Натали у Малиновских и сам мог посетить Н.И.Гончарову. Но он не сделал этого. Не отвечать Гончаровой было бы невежливо, и 5 апреля 1830 г. жених взялся за перо: «...теперь, когда несколько милостивых слов... должны были бы исполнить меня радостью, я чувствую себя более несчастным, чем когда-либо»[10].

3 Зак. 3925

В одном из автобиографических набросков Пушкин без обиняков признавался, что более всего его страшила счастливая развязка сватовства. Один из приятелей, писал он, — говорил: не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа; «ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей; ...угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я боялся не одного отказа»[11].

Главным поводом для беспокойства жениха было прохладное отношение юной девушки. «Трепещу, — писал он будущей теще, — что Вы найдете их (опасения жениха. — *Р.С.*) слишком справедливыми»[12].

Сомнения Пушкина не произвели впечатления на Гончарову, и 6 апреля она дала согласие на брак дочери. По некоторым предположениям, события того времени получили отражение в отрывке «Участь моя решена...», который считают автобиографической прозой: «Бросаюсь в карету, скачу — вот их дом — вхожу... Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку — она вошла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Надинька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец — о саратовской деревеньке — и я жених». Отрывок был написан 12-13 мая 1830 г., т.е. почти сразу после помолвки[13].

16 апреля 1830 г. Пушкин получил благословение от своих родителей. 23 апреля он закончил работу над стихотворением «К вельможе», в котором воспел «блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой». Звезда Алябьевой едва взошла на московском небосклоне. П.А.Вяземский считал красоту Алябьевой классической, а красоту Гончаровой — романтической. Он советовал Пушкину в письме от 26 апреля 1830 г.: «Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения»[14].

Какими бы ни были советы друзей, Пушкин все еще не вполне верил в благополучный исход дела. В письме к Н.И.Гончаровой поэт писал: «Есть у меня еще одна тревога, которую я не могу решиться доверить бумаге...»[15] Речь шла о благонадежности и надзоре.

В Петербурге Анна Оленина была прекрасно осведомлена о том, что Пушкин пользуется милостью государя. Вдали от столицы семья Гончаровых жила старыми страхами. Слава крамольного поэта повергала эту семью в смятенние.

Теща ясно и недвусмысленно потребовала от Пушкина доказательств того, что он пользуется расположеним императора или во всяком случае не находится под подозрением у властей. У Александра Сергеевича не было иного способа получить свидетельство о благонадежности, кроме обращения к государю. В его сочувствии поэт не сомневался.

Пушкин не избегал обсуждения с Гончаровыми щекотливых вопросов. Как человек гордый и независимый, он менее всего стремился выставить себя царским любимцем. Сообщая Бенкендорфу о согласии невесты и ее матери на брак, он писал 16 апреля: «Два возражения были мне высказаны при этом (при его сговоре с Натальей. — *Р.С.*): мое имущественное состояние и мое положение относительно правительства. ...я не мог скрыть, что

оно ложно и сомнительно. ...Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя»[16]. Откровения зятя укрепили подозрения тещи. Прошение властям поэт заканчивал словами, что его счастье зависит от одного благосклонного слова царя.

28 апреля последовало высочайшее разрешение на брак Пушкина. Шеф жандармов передал поэту следующее царское напутствие: «Его императорское величество... изволил выразить надежду, что Вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять такой шаг, и в своем сердце и в характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье... женщины, столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова»[17].

Приданое

Вопрос об имущественной стороне брака был не менее важен, чем высочайшее благословение. Мать невесты потребовала от жениха доказательств его материальной состоятельности. В письме Бенкендорфу Пушкин писал, что государь дал ему возможность «достойно жить своими трудами». Очевидно, в беседе с Гончаровой поэт прибегнул к тому же аргументу.

Милость самодержца была немаловажным, но не главным условием успеха литератора. Обеспечить средства к существованию могла лишь профессиональная литература, но в России такая литература только нарождалась. Усилия Пушкина сыграли в этом направлении весьма существенную роль. Первые издания поэта не принесли ему значительных средств. Гнедич заработал на издании «Кавказского пленника» 5 000 рублей, Пушкину же заплатил 500 рублей. Значительно лучше поэт распорядился с поэмой «Евгений Онегин». Публикация глав (по мере их написания) принесла ему 25 000 рублей. За первое отдельное издание поэмы Смирдин заплатил Пушкину 12 000 рублей, а за «Бориса Годунова» — 10 000 рублей[1]. Успех окрылил Пушкина. Материальное обеспечение любой молодой семьи зависело прежде всего от приданого. Пушкин мог рассчитывать на богатое приданое. Но жизнь не оправдала его расчетов. Будучи деликатным человеком, Александр Сергеевич заботился прежде всего о том, чтобы доказать Гончаровым свой альтруизм: «...о денежных средствах: я придаю этому мало значения»[2]. Избранный путь был не самым лучшим. Вопрос о приданом не был разрешен до помолвки, как того требовал обычай. Его обсуждение растянулось на много месяцев.

26 августа 1830 г. в доме Гончаровых был бал. На другой день мать невесты устроила поэту скандал. Н.И.Гончарова, писал поэт Вере Вяземской, «мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть. Не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь»[3].

Оскорбленный жених действовал решительно. В кратком письме он официально известил невесту, что она совершенно свободна от обязательств, налагаемых помолвкой: «Если Ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а Вы повиноваться, — я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить...»[4]

В письме к Плетневу от 31 августа 1830 г. Пушкин откровенно писал, что подумывает о разрыве помолвки: «Дела будущей тещи моей расстро-

ены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю ...о прелести холостой жизни»; «...если я и не несчастен, по крайней мере не счастлив»[5].

По-видимому, причиной ссоры Пушкина с тещей была прежде всего неясность с устройством материальной стороны брака. Во второй половине мая 1830 г. Пушкин гостил у А.Н.Гончарова в Полотняном заводе. Богатый каменный дворец и парки Гончаровых произвели на него яркое впечатление. В июле 1830 г. Н.О.Пушкина писала дочери о беседе с сыном: «Он мне рассказал о великолепном имении старого Гончарова, он дает за Натащей 300 крестьян в Нижнем, мать дает 200 в Яропольцах»[6]. Со своей стороны, отец поэта согласился выделить сыну 200 душ в деревне Кистеневка под Болдиным. 700 душ вполне могли обеспечить молодой семье приличную жизнь. Поэт мог творить, не заботясь о куске хлеба.

Очень скоро выяснилось, что у Гончаровых нет ни намерения, ни возможности выполнить свои обязательства. Дед Натальи А.Н.Гончаров имел 3450 крепостных душ, усадьбу в Москве, фабрики, обширные земли. Но он оставил после себя почти полтора миллиона рублей долгу[7].

Гончаров хотел дать в приданое за внучкой нижегородское имение Катунки. На долю села приходилась часть общего долга, равная 186 тыс. рублей, тогда как само село оценивалось в 112 тыс. рублей[8].

В апреле 1831 г. Пушкин сделал последнюю попытку получить приданое. Он предложил тестю, А.Н.Гончарову, вместо 300 обещанных душ дать ему доверенность на получение доходов с этих душ, но вместо денег выдать ему векселя на несколько сот тысяч рублей с тем, чтобы после смерти дарителя и объявления банкротства приобрести первоочередное право на обещанное в качестве приданого имение[9].Однако через год А.Н.Гончаров умер, и план не был осуществлен. Пушкин поначалу надеялся, что А.Н.Гончаров выполнит свои обещания. Он известил главу семейства, что принужден был задолжать. Теперь, писал Пушкин, «надежда моя на вас одних. От вас зависит решение судьбы моей»[10]. Ожидания оказались тщетными. Разорившийся богач не внял призывам Пушкина и, более того, пытался использовать имя и связи зятя для получения «временного вспомоществования» из казны. Не желая тратить наличных денег, глава семьи надумал продать никому не нужную медную статую Екатерины II, чтобы выручку передать молодой семье. Гончаровы потратили целый капитал на то, чтобы изготовить в Германии и перевезти в Россию тяжеловесную статую благодетельницы Екатерины II. Но в это время на трон взошел Павел I, и Гончаровы не посмели установить статую перед своим дворцом. Скульптуру спрятали в подвал.

Первые обращения поэта к тестю были выдержаны в почтительных, даже благоговейных тонах. Однако почтение сменилось презрением, когда обнаружилось, что престарелый Гончаров не может ни о чем думать, кроме своих удовольствий. Выделяя огромные суммы на устройство любовниц, Гончаров не мог найти средств на обеспечение любимой внучки. «Дедушка свинья, — писал Пушкин Нащокину в 1831 г., — он выдает свою третью наложницу замуж с 10 000 приданого...»[11]

Мать Натальи проявила не больше благородства, чем глава рода. Она старалась отделаться от Пушкина неопределенными обещаниями, а затем отказала ему под пустяковым предлогом. В 1833 г. поэт сообщил некоторые

подробности насчет состоявшегося торга: «Наталья Ивановна опасалась, как бы я не продал землю и не дал ей неприятного соседа...»[12] Опасения были беспочвенными. Отец Пушкина специально оговорил в дарственной на деревню условие, согласно которому сын не мог продать подаренное имение. Такую же дарственную могла составить Н.И.Гончарова. В этом случае вопрос о неприятных соседях отпал бы сам собой.

Приданое имело вполне определенную цель: обеспечить будущее жены и детей на случай преждевременной смерти кормильца. Но мать Натальи больше беспокоило собственное благополучие.

В счет приданого семье Пушкиных удалось получить лишь часть фамильных драгоценностей. Бриллианты Гончаровых были давно заложены у ростовщика, так что зять получил лишь залоговую квитанцию на них[13]. В октябре 1831 г. поэт уведомил московского приятеля Нащокина, что пытается спасти бриллианты жены «от банкрутства тещи моей и от лап Семена Федоровича»[14]. Любовник Н.И.Гончаровой Семен Федорович Душин добивался возврата бриллиантов своей госпоже. В 1831-1832 гг. Александр Сергеевич через Нащокина усиленно хлопотал о выкупе алмазов, с тем чтобы перезаложить их[15].

Недоразумения с драгоценностями побудили Пушкина к объяснению с тещей. 26 июня 1831 г. он напомнил Н.И.Гончаровой, что дал ей взаймы крупную сумму, но не торопит ее с возвратом денег[16]. Теща не только не возвращала долг, но и бранила зятя как человека «алчного, как презренного ростовщика».

Первоначально свадьбу предполагалось сыграть в мае 1830 г. Бесконечные отсрочки истощили терпение Пушкина. Гончаровы жаловались на отсутствие денег и заявляли, что свадьбу можно сыграть лишь после завершения переговоров о продаже медной статуи. 30 июля 1830 г. Пушкин писал невесте: «Серьезно опасаюсь, что это (указанные переговоры. — *Р.С.*) задержит нашу свадьбу, если только Наталья Ивановна не согласится поручить мне заботы о Вашем приданом»[17]. Пушкин великодушно предложил взять на себя устройство приданого.

Размолвка с Н.И.Гончаровой, случившаяся в конце лета 1830 г., едва не расстроила свадьбу. Наконец 9 сентября 1830 г. поэт получил от невесты письмо, устранявшее возникшие затруднения. Послание Натальи не сохранилось, но Пушкин изложил его суть в письме к Плетневу: «Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выдти за меня и без приданого. Приданое не уйдет»[18]. В словах Пушкина звучала ирония с примесью сарказма. Письмо невесты было в самом деле премиленьким. С беспредельной наивностью Наталья сообщала, что согласна выйти замуж бесприданницей. Тем самым она отнимала у поэта всякую надежду на то, что брак позволит обеспечить семью твердым доходом за счет гончаровских миллионов.

Письмо Натальи подтвердило, что главной причиной ссоры Пушкина с тещей 27 августа 1830 г. был вопрос о приданом.

Послушная дочь написала письмо жениху, разумеется, под диктовку матушки. Обращение дочери к жениху было удачным ходом. Н.И.Гончарова использовала послание дочери, чтобы поставить точку в затянувшихся переговорах о приданом. Она решительно отказалась от своих обещаний по поводу земли и крепостных. Под конец она решила сложить с себя также и

все расходы, связанные с шитьем подвенечного платья для невесты и белья.

Поэту пришлось заложить выделенную ему родителями деревеньку, чтобы расплатиться с долгами и ссудить Н.И.Гончаровой 11 000 рублей. «Теперь понимаешь ли, — жаловался поэт Плетневу, — что значит приданое и отчего я сердился? Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии»[19].

В XIII в. Гончаровы снабжали полотном не только русский, но и английский флот. Они добыли миллионы трудом и потом. В XIX в. они не смогли сохранить свои позиции на мировом рынке, и их мануфактуры пришли в упадок. Сами Гончаровы из прижимистых купцов-мануфактуристов превратились в дворян, связанных родством со знатнейшими фамилиями империи. Они вели вполне дворянский образ жизни и умудрились быстро промотать все состояние. Их задолженность росла как снежный ком.

Долги Пушкина далеко уступали долгам Гончаровых и имели иное происхождение. Решив породниться с Гончаровыми, поэт просил быть сватом Ф.А.Толстого-«Американца». Осведомленность последнего не подлежит сомнению. Уже после помолвки Александра Сергеевича с Наташей «Американец» писал Вяземскому из Подмосковья 7 июня 1830 г.: «Пушкин с страстью к картам и нежностью к Гончаровой — для меня погиб»[20]. Отношение Александра Сергеевича к картам приятель определял как страсть, отношение к невесте — как нежность.

Карточные страсти

Матримониальные затеи Пушкина терпели неудачу не только по причине его политической неблагонадежности. Ни А.А.Оленин, ни Н.И.Гончарова не желали иметь зятем картежного игрока. Увлечение Пушкина картами не было для них секретом.

Обладая необузданным темпераментом, поэт питал страсть к азартной игре. Никакая игра, писал приятель поэта Ал.Н.Вульф в дневнике, «не доставляет «столь живых и разнообразных впечатлений, как карточная... Это я слыхал от страстных игроков, напр., от Пушкина (поэта)... Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей»[1].

Страсть к банку! Ни любовь свободы,
Ни Феб, ни дружба, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры.

Во времена Пушкина мода на азартную карточную игру распространилась в русском обществе подобно эпидемии. Заядлый игрок князь Петр Вяземский называл карты одной из непреложных стихий русской жизни. О «запойной» игре он говорил: «Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию»[2].

Романтическая поэтизация карт была под стать духу эпохи. За карточным столом игрок, поставив на карту все состояние, бросал вызов судьбе, вверял себя воле случая, неких сатанинских сил. После многих фатальных проигрышей Пушкин нашел удачный образ, символизировавший безжа-

лостность и неодолимость судьбы, рока. Утешая Вяземского, потерявшего ребенка, он писал: «Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто»[3]. Обыденное сознание и литература наделяли игроков чертами демонической личности. В отличие от домашних игр типа преферанса, азартная игра не требовала особого искусства или напряжения интеллектуальных сил и подчинялась самым примитивным приемам и правилам. Это открывало широкий простор для мошенничества и нечестной игры. Круг карточных шулеров неожиданно чрезвычайно вырос.

Игроки не рисковали жизнью, но крупная игра сопровождалась эмоциональными потрясениями, нисколько не уступавшими переживаниям воинов на поле брани. Игра, дуэль и сражение требовали от человека хладнокровия, мужества и выдержки[4].

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Однажды поэту довелось проиграть в карты рукопись — первый в его жизни сборник стихов. Опомнившись, он обратился к «лучшему из друзей моей минутной младости», «милому, беспамятному эгоисту» Никите Всеволожскому со словами: «Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись моих стихотворений? Ибо, знаешь, игра несчастливая родит задор. Я раскаялся, но поздно. ...Продай мне назад мою рукопись — за ту же цену 1000»[5]. Поэт желал вернуть себе вместе с рукописью право на публикацию сборника. Всеволожский великодушно предложил вернуть рукопись за 500 рублей, но поэт не согласился принять жертву. Из-за проигрыша и долгой переписки сборник вышел в свет с большой задержкой.

По возвращении из ссылки Пушкин получил от журнала «Московский вестник» 1000 рублей. Деньги целиком пошли на оплату карточного долга[6].

Благородное российское шляхетство медленно разорялось. Дворяне закладывали и перезакладывали поместья. Их опутывали казенные и прочие долги. Азартные игры создавали угрозу благополучию дворян и казенной выгоде одновременно. Казино и рулетка были запрещены в пределах Российской империи. Секретная полиция держала под неусыпным наблюдением дома, служившие центрами картежной игры.

Жандармы доносили правительству в 1827 г., что Пушкин принят во всех московских домах и, «как кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой»[7]. В Петербурге поэт посещал дачу Завадовского, где шла большая игра. Профессиональные игроки Шихмаков и Остолопов приходили к нему для игры на квартиру[8]. В 1828 г., вспоминал Ксенофонт Полевой, он ежедневно посещал поэта в гостинице Демута и нередко заставал его за карточным столом, «обыкновенно с неведомым мне господином»; «...он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух!»[9] В 1829 г. к Бенкендорфу поступил донос, что Пушкин готовится ехать на Кавказ ради картежной игры: «...это путешествие устроено игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют, и конец»[10]. Во время поездки Пушкин дал себе

зарок не садиться за карты, но не в силах был противиться страсти и проиграл сначала 1000, а затем еще 5 000 рублей из занятых денег[11].

Англичанин Томас Рейкс, видевший поэта за игорным столом в декабре 1829 г., передает слова, сказанные им в азарте: «Я бы предпочел умереть, чем отказаться от игры»[12]. В 1829-1830 гг. Пушкин попал «в сети» к московским игрокам Огонь-Догановскому и Жемчужникову. По донесению тайной полиции от января 1830 г., дом первого из них считался главным притоном для московских игроков. У Догановского «игорные дни назначены и сам хозяин мечет банк»[13].

После 1829-1830 гг. Пушкин чрезвычайно сблизился с П.В.Нащокиным, одним из самых известных московских карточных игроков. В полицейском списке картежников за 1829 г. на первом месте фигурировал граф Ф.Толстой-Американец, на 22 месте — Нащокин, «игрок и буян»[14]. Описывая быт Нащокина, Александр Сергеевич писал в 1831 г.: «С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы»; «...как можно жить, окруженным такою сволочью?»[15]

Уже после свадьбы поэта Языков писал в письме брату, что Пушкин «приезжал сюда для картежных сделок и находился в обществе самом мерзком, между щелкоперами, плутами и обиралами. Это всегда бывает с ним в Москве»[16].

Играя с подобной публикой, Пушкин постоянно оставался в проигрыше. За карточным столом плутовали не только профессиональные игроки, но и люди из высшего общества. Нащокин описал эпизод, имевший место в 1835 г. Поэт явился к троюродному дяде, князю Н.Н.Оболенскому с просьбой занять деньги. Князь денег не дал, но предложил играть пополам. Пушкин принял вызов, рискуя наделать новые долги. Оболенский выиграл много денег. Когда проигравший ушел, «Оболенский стал отсчитывать половину денег племяннику, сказавши: "Каково! Ты не заметил, ведь я играл наверное!" Поэт пришел в ярость и, бросив деньги, в которых крайне нуждался, пулею вылетел из квартиры»[17]. Пушкин был человеком чести. Всякие отступления от законов честной игры он отвергал с презрением.

Проигрыши сопровождались упадком духа, утратой душевного равновесия. Ведя отчаянную игру, Пушкин мечтал о тихой пристани семейной жизни, которая избавит его от привычек холостой жизни.

Историю своих карточных дел Пушкин изложил кратко, но достаточно точно в переписке с адъютантом Бенкендорфа М.О.Судиенко, партнером по карточной игре. В январе 1830 г. он жаловался приятелю: «Здесь у нас мочи нет скучно: игры нет, а я все таки проигрываюсь»; Яковлев в Париже, «не играет...»[18] «Из числа крупных собственников, — заметил поэт в 1832 г., — трое только на сем свете состоят со мною в сношениях более или менее дружеских: ты, Яковлев и еще третий». Из трех названных лиц двое были картежными игроками, а «третьим» был царь. Далее поэт писал: «от карт и костей отстал я более двух лет (значит, незадолго до помолвки с Натали. — *Р.С.*); на беду мою я забастовал будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатою карточных долгов, расстроили дела мои»[19]. В январе 1830 г. поэт расплатился с Судиенко, которому проиграл 4000 руб.[20] Избавиться от более крупных долгов он не смог. В руках у

Догановского и Жемчужникова остались его векселя на громадную сумму в 24 800 рублей[20].

Однако избавиться от репутации отчаянного картежника он не мог. Н.И.Гончарова, конечно же, знала о пристрастии зятя, грозившем будущей семье нищетой, и старалась внушить дочери, что та должна руководить мужем и строго следить за его расходами.

Соображения по поводу появления неудобных соседей по имению были сущим пустяком по сравнению с опасностью, связанной с карточной игрой. Длительные переговоры о приданом закончились тем, что семья Гончаровых отказалась передать поэту какую бы то ни было собственность. Пушкин убедился, что все обязательства насчет богатого приданого — не более чем обман. Он мог бы отказать невесте, как сделали бы многие в его положении. Но решение поэта обзавестись семьей было непреклонным. Он настоял на свадьбе.

Наташа Гончарова

Наташа росла в несчастливой семье. Отец семейства страдал психическим расстройством. Делами управляла деспотичная и неуравновешенная Наталья Ивановна Гончарова. Она родилась как внебрачный ребенок от связи И.А.Загряжского и девицы баронессы Липгард. После ранней смерти матери девочка была принята в семью Загряжских наряду с законными детьми. Выйдя замуж за наследника гончаровских миллионов, Н.И.Гончарова получила от свекра имения и ежегодную пенсию в 35 000 рублей. Эта сумма была затем сокращена до 15 000 рублей. Н.И.Гончарова отнюдь не была рачительной хозяйкой и тратила деньги без счета.

Соболевский пенял Пушкину на то, что его теща Н.И.Гочарова «целый день пьет и со всеми лакеями ...»[1] В действительности Гончарова состояла в связи с калужским мещанином С.Ф.Душиным, который многие годы был ее сожителем. Он цепко держал в руках имения Гончаровой и старался не допустить их раздела между детьми, пугая барыню банкротством. По словам девиц Гончаровых, Душин бессовестно грабил их мать[2].

Дом Гончаровых при сравнении с домом Олениных поражал своей провинциальностью. Ближайшая подруга Наташи Е.Малиновская, отнюдь не склонная чернить Гончаровых, вспоминала, что в этой семье царил беспорядок и постоянно не было денег, а хозяйка отличалась грубыми манерами и какой-то пошлостью в нравах[3]. Обращение к рисункам Пушкина подтверждает достоверность приведенных сведений[4].

С годами Н.И.Гончарова пристрастилась к вину.

Семья Гончаровых была многодетной. Старшему из шести детей было 22, младшему — 15 лет. На руках у матери было три дочери на выданье. Две из них не отличались красотой. Разорение семьи отнимало у них надежду на выгодную партию. Своих домочадцев Н.И.Гончарова старалась держать в строгости, «дочерей своих бивала по щекам»[5].

В письме к брату Александрина без всякого умиления вспоминала о годах юности в родительском доме: «...как вспомнишь потом, как за нами ходили дома, постоянные нравоучительные наставления, которые нам читали, когда нам случалось захворать, и как сама болезнь считалась божьим наказанием...»[6]

Порядки в доме Гончаровых напоминали монастырские. Мать семейства окружали монахини и странницы. Заботясь о душе, барыня пожертвовала крупную сумму Иосифо-Волоколамскому монастырю, где ее затем и похоронили.

Житейские несчастья придали религиозности Натальи Ивановны суровый характер[7].

Она строго следила за тем, чтобы дочери посещали церковь, стояли у обедни, не пропускали всенощную. Ее старания не пропали даром. В письмах 1834 г. Пушкин не раз шутливо допрашивал жену, всяк ли день она молится, стоя в углу, и благодарил за то, что она богу молится «на коленах посреди комнаты»[8]. Однажды Н.И.Гончарова, укоряя трех своих дочерей, похвалила невестку Елизавету за то, что она «очень набожная и в ней мало светскости». К последним словам Наталья Николаевна приписала: «Это намек на нас троих»[9]. Набожность умиляла мать, светскость она ставила в укор.

Наташе исполнилось 16 лет, и ее появление в свете было отмечено успехом. Поэт стал видеться с ней у Малиновских, так как в доме ее родителей чувствовал себя не очень уютно. Как и Оленины, Гончаровы не считали Пушкина завидным женихом. Мать невесты, нарушая законы гостеприимства, старалась выпроводить его до обеда.

Оленина жила в счастливой семье, но и она чувствовала, что с годами становится обузой для родителей. Наталье замужество давало шанс вырваться из-под суровой и мелочной опеки матери.

Слухи о предстоящем браке Пушкина были самые противоречивые. Одни толковали, что Н.И.Гончарова противилась браку, но ее дочь настояла на своем. Другие придерживались прямо противоположной версии. 3 мая 1830 г. Пушкин сопровождал Наталью в театр. Видевшая их дочь сенатора Н.П.Озерова живо описала свое впечатление: «Она кажется очень увлеченной своим женихом, а он с виду так же холоден, как и прежде»[10]. Озерова не отличалась проницательностью. В действительности все было наоборот. Поэт был влюбчив. Что касается невесты, ее увлекала больше новая роль, чем сам жених.

Главную роль в заключении брака сыграла родительница. Слухи о том, что мать принуждает Наташу к замужеству, дошли до Полотняного завода и встревожили престарелого Афанасия Николаевича Гончарова. 5 мая 1830 г. любимая внучка писала дедушке (вероятно, под диктовку маминьки): «Узнав... сомнения ваши, спешу опровергнуть оныя и уверить вас, что все то, что сделала Маминька (речь идет о сватовстве и помолвке. — *Р.С.*), согласно с моими чувствами и желаниями»[11]. На другой день, 6 мая 1830 г., Гончаровы разослали родным и близким билеты с извещением о помолвке их дочери с Пушкиным[12].

Прошло несколько месяцев после помолвки, а невеста продолжала проявлять суровость в обращении с Пушкиным. «...Целую ручки, — писал ей Пушкин в июле 1830 г., — ...мой ангел, раз вы не позволяете мне обнять вас»[13]. Переписка с невестой не заключала в себе никаких откровений. В обществе поэт хранил молчание. В июле 1830 г. жена А.А.Дельвига писала А.П.Керн о Пушкине: «Говорят, он влюблен больше, чем когда-нибудь. Тем не менее он почти не говорит о ней. Вчера он цитировал фразу [...] "...О себе говори только с царем, а о своей жене ни с кем..."»[14]

К осени Пушкин уверился, что любим, но с сомнениями не расстался.

Выражая беспокойство, он писал П.А.Плетневу о своей избраннице: «Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна etc. Баратынский говорит, что в женихах щастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим»[15]. Непостоянство женского сердца — вот что имел в виду поэт, вспоминая героя «Цыган».

Подобно Аннете, Гончарова имела собственные сердечные симпатии и привязанности. Предметом ее увлечения был молодой В.Давыдов, студент Московского университета. За три месяца до свадьбы поэт писал невесте, что получил от своего отца из Москвы известие о расстройстве своей свадьбы. Письмо заканчивалось шутливой просьбой: «Прощайте, мой ангел, ...не выходите замуж за г-на Давыдова». Позднее Пушкин невзначай упомянул, что видел у Вяземского «твоего Давыдова — не женатого (утешься)»[16]. Кроме Давыдова за барышней ухаживал студент Сорохтин, слывший богатым женихом[17].

Письмо к Н.И.Гончаровой от 5 апреля показывает, что Пушкин не был уверен в чувствах избранницы. «Сколько мук ожидало меня... Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, с какими приняла меня м-ль Натали...» — писал поэт теще. Он почти готов был признать, что сердце невесты ему неподвластно. «Если она согласится отдать мне свою руку, — продолжал жених, — я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца [...] Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться»[18].

Сдержанность девушки рождала в сердце поэта элегическую грусть. В 1831 г. появились следующие строки:

...Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня...

В дни мнимого сватовства к Софи Пушкин указывал на недостатки собственного характера как главное препятствие к счастливому браку. В послании к будущей теще он избегал подобных саморазоблачений, зато сетовал на заблуждения ранней молодости и клеветническую молву. Не в своем характере, а в устремлениях избранницы, ее жажде любви и счастья он видел угрозу благополучию будущей семьи. Выдержит ли юная красавица испытание большого света, сохранит ли покой сердца? Будучи «всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, сохранит ли она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой... более блестящий союз... Не почувствует ли она ко мне отвращения?» — вопрошал поэт[19].

Какой выход останется мужу, если он станет помехой в глазах супруги? Таким выходом, утверждал Пушкин, может быть только смерть. «Бог свидетель, — заключает он свою мысль, — что я готов умереть за нее; но

умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, — эта мысль для меня — ад»[20].

Имея в виду близкий брак с Гончаровой, Пушкин писал: «Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайностей существование». Свобода — это и была самая большая жертва со стороны Пушкина[21].

Будучи женихом Натальи Николаевны, Пушкин написал такие слова:

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

В черновых набросках «Евгения Онегина» можно прочесть:

В чертах у Ольги мысли нет,
Как в Рафаэлевой Мадонне.
Румянец да невинный взор
Мне надоели с давних пор.

В беловой рукописи Александр Сергеевич употребил иные выражения:

В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.

В молодые годы Пушкин называл любимых несколько трафаретно: «мой ангел». В то время Мадонна была весьма далека от его идеала женщины. Лицу фламандской Мадонны, на его взгляд, недоставало жизни, лицу итальянской — мысли. В зрелые годы представления поэта изменились. Невесту — будущую мать семейства он готов был воспеть как Мадонну. Хотя не все так ясно, как кажется.

По некоторым известиям, поэт хвалился тем, что стихи, посвященные «Н.Н.Гончаровой ("Мадонна"), были сочинены им для другой женщины», — так писал в своих воспоминаниях Павел Вяземский[22].

Как отнестись к его словам? На рукописи сонета поставлена дата: 8 июля 1830 г. В то время Пушкин был в Москве. Но передал ли он невесте свои стихи в те дни?

В 1830 г. в лавке купца И.В.Сленина в Петербурге была выставлена для продажи Мадонна Рафаэля, известная под именем «бриджуотерской» (по имени прежнего владельца герцога Бриджуотера). Картина, оказавшаяся старинной копией с итальянского подлинника, привлекла общее внимание. 30 июля поэт писал невесте: «Прекрасные дамы просят меня показать Ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на Вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей»[23]. В конце месяца поэт в прозе повторил то, что в начале уже выразил в стихотворной форме. Вообще говоря, Пушкину такие повторы были несвойственны.

Письмо от 30 июля было выдержано в приличных случаю тонах («я мало езжу в свет»; «я утешаю себя...» и пр.). Но в те же самые дни поэт писал приятельнице Вере Вяземской: «К стыду своему признаюсь, что мне

весело в Петербурге, и я совершенно не знаю, когда вернусь» (в Москву к невесте. — *Р.С.*)[24].

Прозвище «Мадонна» указывало на роль, которую поэт отводил избраннице. Женщина должна была стать прежде всего матерью его детей. Со временем прозвание стало вторым именем Гончаровой. «Я женюсь, — писал поэт Е.М.Хитрово, — на косой и рыжей Мадонне»[25]. Знакомые передавали слова поэта, сказанные после свадьбы: «Я женился, чтобы иметь дома свою Мадонну»[26]. Вяземские припоминали, что Пушкин звал жену «"моя косая Мадонна", у нее глаза были несколько вкось»[27]. В рукописях поэта можно обнаружить не менее 14 портретов Натальи Николаевны, рисованных между 1830 и 1836 гг.[28] Исключительно выразительны болдинские портреты 1833 г. Они передают черты красоты, кротости и смирения, но также и страдания. Во все века Мадонна была воплощением гармонии. В обращении к невесте как Мадонне была толика литературного романтизма.

Поначалу поэт и его невеста пытались говорить на языке стихов. Безобразов, посетивший Полотняный завод, держал в руках девичий альбом Натальи Николаевны. «...Я читал в альбоме стихи Пушкина к своей невесте и ее ответ, также в стихах, — писал Безобразов. — По содержанию весь этот разговор в альбоме имеет характер взаимного объяснения в любви»[29]. Переписка Пушкина подтверждает известие Безобразова. «Стихов твоих не читаю, — писал поэт жене в одном из писем 1832 г. — Чорт ли в них; и свои надоели»[30]. Надо ли говорить, что Пушкин относился к беспомощным виршам Натальи с неодобрением.

Гончарова питала слабость к стихам, подобно Олениной. Но у них были разные школы. Аннету окружали Пушкин, Крылов, Вяземский. Наташа принадлежала к иному кругу. Самым ярким представителем этого круга был поэт Федор Фоминский, студент Московского университета. Он печатал свои стихи в рукописном журнале студентов, под названием «Момус». Журнал живо откликнулся на свадьбу Гончаровой. Поэт, подписавшийся именем Фаев (Фоминский), обратился к жестокой красавице с Элегией:

Мне предпочла она другого;
Другой прижмет ее к груди! [...]
...А я? меня пожрет страданий пламень!
[...]

Стихи были помечены датой 10 января 1831 г.

Прозаическое сочинение «Два разговора об одном предмете» продолжало тему. Некто Фарсин (Фоминский), беседуя с приятелем, хвалил божественную красоту Надежды: «Самый идеал красоты не может стоять выше Надежды. ...Обратись к творениям Тициана...» Сочинитель сравнивал Гончарову с Мадонной Тициана. О петербургской Мадонне Рафаэля он, видно, не знал.

Хваля Надежду, Фарсин помянул о глазах красавицы: «О! что до глаз, так они просто косые». Свою героиню московский студент называл не иначе как «моя Надежда». Но у него появился соперник — поэт Фузеин (Пушкин). Перед ним, признает автор, ничто «все поэты от Музея до Мицкевича включительно». Но его внешность ужасна: «Сатир! Обезьяна! Зато любимец Феба»[31].

Увлеченные литературой студенты подписывались на журналы в склад-

чину, называя себя «акционерами предприятия». Среди этих акционеров были В.Давыдов и Сорохтин, главные женихи Натали. Кажется, сами они ничего не писали. Зато Фоминский-Фаев-Фарсин не только сочинял, но и рекомендовал себя как «известного рисовщика» студенческого журнала. Перу московского самородка принадлежал роман «Неведомые Теодор и Розалия, или высочайшее наслаждение в браке. Нравоучительный роман, взятый из истинного происшествия». Сочинение было разрешено к печати цензурой 23 октября 1831 г. Истинным происшествием, положенным в основу романа, был брак Пушкина. От былой ревности студента не осталось и следа. Его переполняло желание угодить любимому поэту, и он описал жизнь счастливых супругов в слащавых, идиллических тонах. Романист имел неосторожность преподнести свое творение Пушкину. По внешним подробностям тот угадал, что студент описал его жизнь с Натальей Николаевной. Пушкин мог простить Фоминскому нежные чувства к Гончаровой, но не простил ему бездарной прозы. В письме 10 декабря 1831 г. он сердито сообщил жене из Москвы: «Вечер провел дома, где нашел студента-дурака, твоего обожателя. Он поднес мне роман "Теодор и Розалия", в котором он описывает нашу историю. Умора!»[32]

Наташа Пушкина была поэтессой того же круга, что и ее поклонник Фоминский. Ее стихи, наверное, походили на творения Фаева (другой псевдоним «Простодушный»). Кому из двух поэтов удалось смутить сердце юной девы? Фоминский-Фарсин уверенно решал этот вопрос в свою пользу: «...я люблю Надежду, — и она меня любит». На долю Пушкина остались признания насчет спокойного безразличия сердца невесты.

С некоторыми оговорками Фоминского можно причислить к сонму провинциальных поэтов, а его поклонницу Гончарову назвать уездной барышней. Свое отношение к «уездным барышням» Пушкин выразил в шутливой фразе героини неоконченного «Романа в письмах», написанного как раз в 1829 г. Героиня по имени Лиза произносит: «Теперь я понимаю, за что В[яземский] и П[ушкин] так любят уездных барышень. Они их истинная публика». Едва ли можно усомниться в том, что Наталья Гончарова была усердной читательницей стихов Пушкина.

Н.И.Гончарову удручали невоздержанные страсти поэта, а также его религиозные сомнения. В союзниках у нее был московский митрополит Филарет. Владыка упрекал поэта за то, что «страстями и сомнениями» он сам испортил свою жизнь. Взявшись за исправление зятя, Гончарова возила дочь с женихом на богослужения в московские соборы и к Иверской. По воспоминаниям ближайшей подруги невесты Е.А.Малиновской-Долгоруковой, теща «вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери», из-за чего произошла крупная ссора[33]. Под конец Пушкин смирился со своей участью. В декабре 1830 г. он прислал записку Нащокину: «Сейчас еду богу молиться»[34].

В феврале 1831 г. А.Я.Булгаков записал ходившие по Москве стихи, будто бы сочиненные Пушкиным по поводу своей женитьбы: «Хочешь быть в раю — молись; хочешь быть в аду — женись»[35]. Несколько переделав эти стихи, поэт сослался на них в неоконченном сочинении автобиографического характера: «...главною неприятностью платится мой приятель: приписывание множества чужих сочинений, как то... о женитьбе, в котором

так остроумно сказано, что, коли хочешь быть умен — учись, коли хочешь быть в аду — женись»[36].

Богомольные поездки Пушкина, изумившие Москву, смягчили напряжение в кругу новой родни. Ссора с тещей уладилась сама собой, но уже после отъезда жениха в Болдино. Гончаровы не желали расторжения помолвки. Не опасаясь потерять невесту, Александр Сергеевич готов был благословить разлуку с ней. 9 сентября 1830 г. он обратился к Плетневу с шутливыми словами: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хочешь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает»[37]. Богобоязненная девочка стесняла поэта с его привычками неприкаянной, вольной жизни. Но иной жены для себя он не желал.

Наряду с «прелестными» письмами Наталья отправляла в Болдино наставительные послания. На склоне лет Пушкина-Ланская припоминала, как мать заставляла ее писать колкости Пушкину и исподволь готовила к роли главы дома. Советы, продиктованные Н.И.Гончаровой, касались соблюдения постов, молитв и поклонов. Наташа «плакала от этого»[38].

Свадьба поэта

Для устройства материальных дел Пушкин в первых числах сентября 1830 г. покинул Москву и выехал в нижегородское имение отца Болдино. Ему предстояло произвести раздел земли и крестьян с тем, чтобы вступить в права наследования деревней Кистеневка с 200 душами крепостных[1]. Прожиточное имение было отдано ему Сергеем Львовичем Пушкиным. Поэт чувствовал самую острую нужду в деньгах, и ему пришлось подумать о сборе оброка с крестьян. Не имея большого навыка управления поместьем, поэт задумал наставлять крепостных с церковного амвона, используя эпидемию как предлог для поучения. 29 сентября он писал Плетневу: «...я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер»[2]. О содержании проповеди Пушкин поведал нижегородской губернаторше Анне Бутурлиной в 1833 г. На вопрос, скучал ли он в нижегородском имении, поэт отвечал: «Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди». — «Проповеди?» — «Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. "И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!"»[3]

Эпидемия холеры помешала поэту быстро вернуться в Москву. Все дороги в старую столицу были перекрыты заставами. В Михайловском поэт жил затворником вследствие немилости царя, в Болдино — по воле «Колера Морбус». Насильственная задержка и в том и в другом случае оказалась благотворной для творчества.

Готовясь к поездке в деревню, Пушкин писал Плетневу: «Осень подходит. — Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает»[4]. 9 сентября поэт дал отчет другу о своем времяпрепровождении: «Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази степь да степь; соседей ни души, езди верхом, сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не мешает»[5]. В конце

октября Пушкин писал Плетневу: «Мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь»[6]. И лишь покинув Болдино, поэт признался: «Скажу тебе за (тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал»[7].

Болдинская осень была временем полного расцвета пушкинского таланта. Поэт самозабвенно трудился. Он завершил поэму «Евгений Онегин», написав две последние главы. Еще одну главу, десятую, он набросал, но после долгих размышлений сжег.

В дни, когда стихи не лезли в голову, Пушкин обратился к «смиренной прозе». В Болдино он написал свое первое законченное прозаическое сочинение «Повести Белкина». Предыдущие наброски доказывали, что поэт давно помышлял об обращении к новому жанру. Еще в 1824 г. он писал:

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы...

В сентябре 1830 г. Пушкин написал повести «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка», в октябре — «Метель» «Выстрел», «Станционный смотритель», в ноябре — «Историю села Горюхина».

Из-под пера Пушкина вышло множество стихов, в их числе «Бесы», «Моя родословная», «Заклинание», а также «Сказка о попе и работнике его Балде». Совершенным воплощением гения Пушкина стали «Маленькие трагедии»: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы».

Когда эпидемия холеры прекратилась, Пушкин получил возможность вернуться в Москву. Поэт был окрылен мыслью о близком семейном счастье. Но радость была омрачена с первых минут встречи. В начале декабря 1830 г. Александр Сергеевич известил друзей, что нашел Н.И.Гончарову озлобленной и «насилу с нею сладил»[8]. Усмирить Гончарову удалось тем же способом, что и раньше. Поэт дал понять, что не остановится перед разрывом. По авторитетному свидетельству П.В.Нащокина, на исходе 1830 г. Александр Сергеевич, «наскучив тем, что свадьба его оттягивалась вследствие разных препятствий со стороны тещи», объявил, что «бросит все и уедет драться с поляками»[9].

Европейский порядок, установленный Священным союзом после поражения наполеоновской Франции, рухнул в 1830 г. В Париже народ сверг короля Карла X. Из Франции революционные потрясения распространились на Бельгию, а затем на Польшу.

Восстание в Варшаве началось ровно за неделю до возвращения Пушкина в Москву. Поэт опасался интервенции с Запада и готов был сам отправиться на войну[10]. Завсегдатаи московских гостиных поверили, что свадьба Пушкина расстроилась, но они вновь обманулись в своих ожиданиях. В декабре 1830 г. Е.А.Баратынский писал Н.М.Языкову: «Слух о том, что Пушкину невеста отказала, к общему удовольствию всей литературной публики, оказался ложным!»[11]

Но в середине февраля 1831 г. молва вновь ославила Пушкина как

отвергнутого жениха. Записав слухи, А.Я.Булгаков отметил: «Нечего ждать хорошего, кажется; я думаю, что не для нее одной, но и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась»[12].

Брак не ладился, терпение Пушкина было на исходе. Окружающие видели его состояние. В конце 1830 г. С.Д.Киселев вложил записку в письмо Пушкина, адресованное общему приятелю Н.С.Алексееву: «Пушкин женится на Гончаровой; между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат!»[13] Толки о бессердечии сопровождали Наташу всю ее жизнь. На другой день после смерти Пушкина Андрей Карамзин записал толки о вдове поэта: «эта женщина без сердца»[14].

Друзья не жалели сил, стараясь уберечь Пушкина от рокового шага и расстроить его свадьбу с Гончаровой[15]. Преданная Элиза Хитрово писала ему в 1830 г.: «Я боюсь за вас: меня страшит прозаическая сторона брака. Кроме того, я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость... полное счастье, прочное, продолжительное и в конце концов довольно однообразное — убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта»[16]. Пушкин отвечал с иронией: «Ваши соображения... были бы совершенно справедливы, если бы вы менее поэтически судили обо мне. Дело в том, что я человек средней руки (в другом переводе: «добрый малый». — *Р.С.*) и ничего не имею против того, чтобы прибавить жиру и быть счастливым»[17]. Поэт повторил слова Элизы о «человеке средней руки» или «добром малом», желая сказать, что он обыкновенный человек с обычными заботами, стремлением к счастью и пр.

Хитрово была на 16 лет старше Пушкина, и в ее самоотверженной любви было нечто материнское. Пушкина ее пылкие и заботливые письма выводили из себя. Однажды он написал ей сгоряча: «Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я и изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое самое обычное (в другом переводе: "сердце мое совершенно вульгарно". — *Р.С.*) и наклонности отменно мещанские. Я сыт по горло интригами, чувствами, перепиской и т.д. и т.д»[18]. В 1822 г. Александр написал назидательное письмо семнадцатилетнему брату Льву. В письме этом видят циничный автопортрет поэта, писанный французским языком, который помогал Пушкину выразить цинизм и бессердечие высшего класса[19]. Однако можно заметить, что двадцатитрехлетний Пушкин предлагал брату в качестве образца не собственную персону, а начинавшего входить в моду романтического героя, денди, который поражает свет своим презрением к людям, цинизмом и разочарованностью. «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь, — наставлял Александр брата. — С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибешься. ...презирай их самым вежливым образом... будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит... обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать... Никогда не забывай умышленной обиды... Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений; скорее избери другую крайность: цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света...» и пр.[20]

Выражение «вульгарный» было галлицизмом, не получившим в языке позднейшего оттенка («пошлый», «грубый»). Сам же Пушкин очень точно

передал суть понятия, написав «простонародность (vulgarite)»[21].

Итак, вступая в брак, поэт желал для себя обычного, земного счастья, т.е. по меркам романтизма счастья вполне мещанского и простонародного. Наиболее четко он выразил эту мысль в послании давнему приятелю, бывшему арзамасцу Н.И.Кривцову в феврале 1831 г. Приятель был на восемь лет старше поэта и, видно, отговаривал его от женитьбы. «Все, что бы ты мог сказать мне... противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно... Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью»[22]. В своей исповеди поэт не упомянул ни о достоинствах невесты, ни о своих чувствах к ней.

Пушкин неоднократно цитировал слова Шатобриана «Счастье можно найти лишь на проторенных путях»[23]. Эти слова были созвучны настроениям, владевшим им накануне свадьбы. В его душе жила надежда на счастливый брак. Поэтизация романтического страдания, несчастья претили зрелому Пушкину. Холодной толпе, «любителям искусства» он адресовал такие укоризны:

...Но счастие поэта
Меж ими не найдет сердечного привета...

Ища счастья на проторенных путях, Пушкин нисколько не сомневается, что его ждет нелегкая дорога. После помолвки, будучи в Болдино, поэт написал строфы «Элегии»:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья...

Труд и горе — вот о чем в первую очередь помышлял Пушкин, задумываясь о будущем.

В одной из повестей Пушкин писал о стихотворце Чарском: «Однако же он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье»[24]. Чураясь всего, что отдавало патетикой, Пушкин с иронией писал о «дряни» — вдохновенном труде, которому предавался со страстью. Семейную жизнь поэт не мыслил без этой страсти.

По поводу брака Пушкина рассказывали немало анекдотов. Поэт любил, особенно в молодые годы, сам рассказывать о себе шутливые небылицы и невероятные истории. Знакомые подметили эту его черту. В семье генерала П.С.Пущина осуждали сочинителя: «...он говорун, часто возводящий на себя небылицу, человек, желающий отличить себя странностями»[25]. Одной из небылиц было утверждение поэта, будто по матери он был потомком негров. Предком Пушкина был «ефиоп», т.е. абиссинец. Эфиопия принадлежала к числу древнейших христианских государств мира. В примечании к «Евгению Онегину» поэт сам сообщил миру, что «автор со стороны матери происхождения африканского»[26].

Воспоминания современников позволяют проследить за тем, как рождались новеллы, превращавшиеся затем в «анекдоты о Пушкине». Однажды поэт затащил к себе на дачу живописца Карла Брюлова и стал показывать ему детей. «На кой черт ты женился?» — спросил его художник. Тот мгновенно нашелся: «Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать, — и женился»[27].

Поэт искренно веселился, когда рассказанные им истории возвращались к нему в виде народной молвы.

В устройстве дел Пушкина участвовали равно и светские, и духовные власти. Митрополит Филарет в 1830 г. написал рифмованный ответ на стихи Пушкина «Дар напрасный, дар случайный». Ответ был проникнут благожелательностью. Но когда у иерарха спросили, может ли Пушкин венчаться в домовой церкви князя С.М.Голицына, владыка ответил отказом. Полиция приняла свои меры. Чиновник по особым поручениям при московском губернаторе А.Я.Булгаков, знавшийся с полицией, писал, что при венчании Пушкина «никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей»[28]. Пушкин находился под негласным надзором, чем и объяснялись полицейские меры предосторожности.

Свадьба была сыграна в Москве 18 февраля 1831 г. Молодых обвенчали в церкви Большого Вознесения на Никитской улице. Свидетелями жениха были князь П.А.Вяземский и титулярный советник А.С.Передельский, свидетелями невесты — ее отец и библиотекарь П.М.Азанчевский. Посаженным отцом Пушкина был тот же Вяземский, матерью — графиня Потемкина, урожденная Трубецкая; со стороны Натальи — ее дядя И.А.Нарышкин и сватья А.П.Малиновская. Современники вспоминали о всякого рода несчастливых предзнаменованиях, сопровождавших венчание. (С аналоя упали крест и Евангелие, погасла свеча в руках у жениха). Все это предвещало трагическую развязку, гибель мужа из-за жены. Однако рассказы такого рода появились уже после гибели поэта.

Пушкин был весь в долгах и оттого не стал шить себе костюм, а венчался во фраке, который одолжил ему П.В.Нащокин[29]. Молодожены были стеснены в средствах. Одна Н.И.Гончарова не стесняла себя в расходах и перед самой свадьбой потребовала от Пушкина денег на карету.

Оказавшись в чужом доме, Наташа горько плакала. В.Ф.Вяземская записала ее жалобы на то, что Пушкин в первый же день, как встал с постели, так и ушел в кабинет, где пробыл до обеда в окружении приятелей и знакомых, очевидно, пришедших его поздравить. С молодой женой он увиделся лишь в обед, к вечеру[30]. Разумеется, слезы жены были вызваны

не только невниманием мужа. Молодая оплакивала девичество и прощалась с былыми увлечениями.

Дочери Вяземского присутствовали в церкви на венчании и передали Пушкину разговор двух молодых людей, из которых один «утешал другого, несчастного любовника венчаемой девицы» (Гончаровой). Княжны слышали весь разговор и заключили, что рыдавший юноша был Давыдов. «А я так думаю, — замечал от себя Пушкин в письме жене, — Петушков или Буянов...» (Гости Лариных из «Евгения Онегина». — *Р.С.*)[31]. Студент обливался слезами в церкви, Наташа — дома. Пушкин вовсе не думал ревновать невесту. Он увидел во всей истории лишь забавный анекдот.

Семейная жизнь

Через три месяца после свадьбы семья Пушкиных перехала в Петербург. В письме к Н.И.Гончаровой поэт объяснил свое решение с полной откровенностью. «Я был вынужден уехать из Москвы во избежание неприятностей... меня расписывали моей жене как человека гнусного... ей говорили: ты глупа, позволяя мужу и т.д. ...обязанность моей жены — подчиняться тому, что я себе позволю. Не восемнадцатилетней женщине управлять мужчиной, которому 32 года»[1].

Подводя итоги первым неделям семейной жизни, поэт писал, что надежды на получение от Гончаровых приданого совсем плохи, «частью оттого, что их дела расстроены, частью и оттого, что на слова (их. — *Р.С.*) надеяться не должно. По крайней мере, с своей стороны я поступил честно и более нежели бескорыстно. Не хвалюсь и не жалуюсь, ибо женка моя — прелесть не по одной наружности»[2]. 26 марта 1831 г. Пушкин писал Элизе Хитрово, что никак не может назвать прошедший месяц медовым из-за суматохи и хлопот[3].

Раздражение поэта по поводу московских неурядиц и недоразумений вылилось в словах: «Москва — город ничтожества. На ее заставе написано: оставьте всякое разумение, о вы, входящие сюда»[4]. Переехать в Петербург поэт задумал еще до свадьбы. Об этом он писал Плетневу 13 января 1831 г.: «Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь — как тетки хотят. Теща моя та же тетка. То ли дело в Петербурге! заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексевна»[5].

Поэт и дипломат В.И.Туманский, посетивший Пушкина на Арбате тотчас после его свадьбы, писал, что в пригожей Пушкиной нет чего-то необыкновенного: «Видно, что она неловка еще и неразвязна, а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у ней нет вкуса, видно по безобразному ее наряду»[6]. Провинциальная барышня — такой была Наташа в Москве.

В Петербурге жила тетка Наташи — фрейлина Загряжская. Она позаботилась о том, чтобы одеть молодую женщину, следуя последней парижской моде. Но дело было вовсе не в нарядах. Московская дева могла служить украшением деревенской усадьбы или московского салона, но не большого света Санкт-Петербурга, единственного европейского города империи.

Покинув Москву, Наталья избавилась от опекуна и руководителя в

лице маменьки и вполне подчинилась авторитету мужа.

В Петербурге, утверждал П.Е.Щеголев, Наталья Николаевна жила и дышала царившей в салонах атмосферой пошлого ухаживания; ее духовная природа была бедна, и заменой ей служил светско-любовный романтизм; духовная жизнь сводилась «к области любовного чувства на низшей стадии развития»[7]. Уничтожающий отзыв был продиктован стремлением исследователя изобличить быт и нравы паразитического российского дворянства. Но у Пушкина и его современников был иной взгляд. Они преклонялись перед красотой. Поэт придавал большое значение успеху жены в свете и с видимым волнением наблюдал за ее первыми шагами в петербургском обществе.

25 октября 1831 г. одна из самых блистательных дам Петербурга Долли Фикельмон представила Натали свету. Долли не преминула описать внешность красавицы: «...лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением».

Фикельмон увидела в Наталье ту самую черту, которая всего более пугала Пушкина в дни сватовства: «спокойное безразличие ее сердца». В глазах поэта это было главной помехой к счастью избранницы, а значит и к счастью супругов в семейной жизни.

Контраст поразил Долли. Она записала в дневнике: «Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастия у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя»[8].

Понятие красоты в XVIII веке подразумевало румянец во всю щеку (отсюда чудовищное злоупотребление румянами) и пышные формы. С наступлением эпохи романтизма в моду стала входить утонченность, хрупкое телосложение, бледность, знак тайных сердечных бурь. Литература поэтизировала образ мечтательной девушки «с печальной думою в очах», живущей неземными интересами. Красота Пушкиной как нельзя лучше соответствовала требованиям новой моды.

Наташа была младшей из трех дочерей Гончаровой. Ее смирение и скромность бросались в глаза. Имея право на свою долю в доходах, Натали неизменно просила у старшего брата прощения «за то, что есть нескромного» в ее просьбах. Извинения лишены какой бы то ни было фальши.

Екатерина Гончарова настойчиво требовала у брата деньги. Пушкина сопровождала каждую просьбу стеснительными извинениями: «...если, конечно, это тебя не обременит, в противном случае откажи мне наотрез и не сердись...» (1833 г.); «Не сердись на мою нескромную просьбу, прямо откажи и не гневайся» (1835 г.)[9]. Муж должен был смириться с тем, что Наталья отказалась в пользу родни от приданого, а затем от ежегодных доходов с семейных имений и заводов.

В Петербурге Пушкина жила на глазах у двора. Николай I вспоминал, что часто встречался с ней в свете, искренно ее любил «как очень добрую женщину»[10]. Доброй не раз называл жену сам Пушкин.

Отдавая должное красоте Пушкиной, Долли увидела отсутствие мира в ее душе: «...эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем, голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: "Я страдаю"»[11].

Уже после смерти Пушкина Наталья Николаевна увидела необходимость объяснить в письмах черту безразличия или холодности, которую ей приписывали окружающие: «...Несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, — писала вдова поэта, — иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве... Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность и в ней меня упрекали»[12]. В искренности Натальи Николаевны невозможно усомниться. Всю жизнь она стремилась найти опору в религии, что позволяло ей сохранить душевное равновесие.

Приятель Пушкина А.Н.Вульф по случаю брака поэта писал, что «его первым делом будет развратить жену»[13]. Двадцатипятилетний повеса заблуждался. Ему была неведома гармония любви — стихия Пушкина. Поэт питал к жене совсем особое чувство, по временам дававшее о себе знать в наставлениях. Полушутя он писал ей: «...в деревне не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения, женка»[14]. В библиотеке Гончаровых в Полотняном заводе было богатое собрание фривольных изданий XVIII века. В беседе с Михаилом Юзефовичем тридцатилетний Пушкин крайне отрицательно отозвался об эротическом сочинении маркиза де Сада «Жюстина, или злоключения добродетели» и признался, что не мог дочитать книгу до конца. В зрелом возрасте поэт не выносил, когда в его присутствии говорили о «Гавриилиаде» или цитировали отрывки из нее[15].

Вполне оценить доброту и заботу мужа Наталья смогла, кажется, уже после его смерти. Выйдя замуж за Ланского, Наталья Николаевна так говорила ему о племяннике, жившем в их семье: «Горячая голова, добрейшее сердце. Вылитый Пушкин»[16].

Пушкин угадал в Наташе Гончаровой Мадонну. Но идеалу его соответствовала светская Мадонна, благовоспитанная, с безукоризненными манерами[17]. Наташа явилась в столицу провинциалкой. Поэту пришлось немало потрудиться, прежде чем его избранница достигла совершенства. Пушкин терпеливо объяснял молодой женщине: «...ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышней, все, что не comme il faut, все, что vulgar... Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя»[18]. Дурному тону поэт противопоставлял аристократическую простоту и благовоспитанность.

О влиянии мужа можно судить по тем переменам, которые произошли с женой после смерти поэта. Когда Наталья Николаевна вернулась в столицу через два года, проведенных в деревне после катастрофы, она вновь ощутила себя московской провинциальной барышней, и Вяземскому пришлось заново учить ее хорошим манерам. «Войдя в комнату, — наставлял князь вдову, — не краснеть и не бледнеть, присесть хозяйке и гостям учтиво и выбрать себе местечко общее, а не отдельное... 20 минут, полчаса особенного разговора довольно». По существу, наказ Вяземского повторял наставления Пушкина: «Поменьше тщеславия... одним словом: достоинство! достоинство!»[19]

Мать Натали упрекала зятя в жадности и прочих грехах. Бескорыстному и великодушному Пушкину пришлось не раз защищаться от подобных нелепых обвинений. В письме брату Пушкина писала: «Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет со-

вершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение»[20]. Стиль письма Натальи Николаевны в этом случае безукоризнен. Ее слова были отзвуком живой пушкинской речи.

Совсем иным слогом Пушкина писала после того, как потеряла наставника. Тридцати лет от роду вдова обратилась к А.И.Тургеневу. Приглашая его приехать в Михайловское, она пустилась в кокетливое объяснение: «...я только смиренно спрашиваю имя того цветка, который в данное время остановил полет нашей желанной бабочки. Увы, все те, кого вы покинули здесь, вянут, ожидая вас. Не говорю вам, чтобы годы были здесь ни при чем, но приезжайте, наконец, поскорее собрать их последние ароматы»[21]. Перемена в стиле писем была разительная.

При жизни Пушкина Натали порой давала себе волю и говорила полузабытым языком провинциалки. «Куму моему, — писала она брату в 1834 г., — ...мой поклон, а Августу дураку, пошлому, несносному, мерзкому на место поцелуя откуси нос». Тираду заканчивала просьба передать Августу, что он «долговязая свинья»[22].

В свете Наталья блистала как Мадонна. Ее триумфу нисколько не мешала молва об умственных способностях молодой женщины. «Невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, — писала Долли Фикельмон, — а между тем у нее немного ума и даже, кажется, мало воображения»[23]. Романтическое увлечение не помешало Дантесу повторить чужие слова о том, что у Натальи Николаевны мало ума[24].

Приятель Пушкина Н.М.Смирнов вспоминал, как Пушкин, отец семейства, приходил к нему в гости и уныло повторял, а иногда и пел: «Грустно! Тоска!»[25] Смирнов всецело относил уныние Пушкина на счет женитьбы, которая «была его несчастье». Но он ошибался. До брака с Гончаровой поэт твердил «Тоска! Тоска!» в доме у сестер Ушаковых. Екатерина Ушакова, которую считали невестой поэта, жаловалась брату: «Город опустел, ужасная тоска (любимое слово Пушкина)»[26]. После помолвки с Натали Пушкин писал 31 августа 1830 г. Плетневу: «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет игрока. [...] Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан»[27]. Тому же Плетневу полгода спустя Пушкин сообщал нечто иное: «Я женат и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился»[28].

Суждения о семейной жизни поэта затруднены из-за того, что сохранились лишь письма Пушкина к Натали, тогда как ее письма исчезли. Остается загадкой, на каком языке переписывались супруги. «Зная нормы бытового общения, принятого в социальном круге, к которому принадлежал и Пушкин, — писал Ю.М.Лотман, — можно полагать, что дома он разговаривал с женой по-французски. Тем более знаменательно, что письма он ей писал исключительно по-русски»; «вероятнее всего, она отвечала мужу по-французски»[29].

Братьям Наталья писала письма то по-французски, то по-русски. В переписке с мужем она, вероятно, также пользовалась двумя языками. Пока Пушкин был женихом, он переписывался с Натали преимущественно по-французски. Однажды Гончарова прислала ему сердитое письмо, которое было короче визитной карточки. Выведенный из себя поэт пытался перейти

с французского на русский: «Милостивая государыня, Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте»[30]. Выговор Пушкина показывает, сколь мало значения поэт придавал в своей переписке с Натали этикетной стороне писем. Предложение насчет чухонского языка было равнозначно предложению отказаться от французского языка. Невеста оставила намек без внимания, и жениху пришлось вернуться к французскому языку.

После свадьбы Пушкин писал жене исключительно по-русски. Его письма были естественны и безыскусны. Они служили как бы продолжением прерванных домашних бесед. Этот факт служит лучшим доказательством того, что дома поэт общался с женой на родном языке.

Никто не ценил родной язык так, как ценил его Пушкин. Языку нашему, говорил он Далю, нигде не найти такого русского раздолья, как в сказке; «надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке»[31].

В переписке с Н.И.Гончаровой Пушкин так никогда и не перешел на русский, желая сохранить дистанцию между собой и тещей.

В письмах невесте поэт еще мог использовать манерные, отжившие век французские фразы вроде «целую кончики ваших крыльев». В письме жене он писал иначе: «целую ручки, ножки» или «целую куда ни попало»[32]. Воспитанная на романтических образцах, Наталья обижалась на сдержанность мужниных посланий. Пушкин отвечал ей: «Пожалуй-ста не требуй от меня нежных, любовных писем»[33]. В свое оправдание он ссылалася на полицию, досматривавшую его переписку, сердился, что жена сама давала читать его письма близким.

Для повседневной переписки наименование «Мадонна» оказалось неудобным. Обычным обращением поэта к жене стало уменьшительное «женка». По временам Александр Сергеевич награждал «женку» прозванием «хват-баба», звучавшим в его устах, бесспорно, как комплимент. «Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, — писал он Наташе в октябре 1832 г., — сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай да хват-баба! Что хорошо, то хорошо»[34].

На основании переписки некоторые исследователи сделали вывод о том, что Пушкин был равнодушен к жене. Однако следует помнить, что перед нами повседневная семейная переписка. Тем большего внимания заслуживают признания, как бы ненароком вырвавшиеся у поэта. В 1833 г. он в шутливых тонах описал свои путевые ухаживания за «городничихой», а весь рассказ завершил словами: «Ты видишь, что несмотря на городничиху и ее тетку — я все еще люблю Гончарову Наташу, которую заочно целую, куда ни попало»[35]. Такие признания доказывали, что ожидания счастья не вовсе обманули поэта.

После четырех лет семейной жизни Пушкин обратился к теще, Н.И.Гончаровой, по случаю дня рождения жены со следующими стихами в прозе: «...сердечно благодарю Вас за 27-ое (27 августа родилась Натали. — *Р*.С.). Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом»[36]. В этих словах невозможно усмотреть лишь проформу, жанр праздничных поздравлений.

Одно из писем Пушкина приобрело особую известность. Оно было написано жене в 1833 г. по случаю посещения поместья П.А.Осиповой. Все письмо выдержано в насмешливо-шутливом тоне: «...из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу... Много спрашивают меня о тебе... какая ты: брюнетка или блондинка, худинькая или плотнинькая?»; трактирщица, «провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица... Прощай моя плотнинькая брюнетка (что ли?) ...Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица»[37]. Шутливое обращение к «плотнинькой брюнетке» начисто лишено патетики.

Полагают, что любовь Пушкина так и не разбудила чувств в сердце молодой женщины. «Если в начале любви было равнодушие с ее стороны и надежда на привычку и близость с его стороны, то откуда же возникнуть страсти? — писал П.Е.Щеголев. — Да, Наталья Николаевна исправно несла супружеские обязанности, рожала мужу детей, ревновала, и при всем том можно утверждать, что сердце ее не раскрылось, что страсть любви не пробудилась. В дремоте было сковано ее чувство. Любовь Пушкина не разбудила ни ее души, ни ее чувства»[38].

Подобная оценка вытекает из отношения исследователя к ревнивым упрекам Натальи Николаевны, переполнявшим ее письма. «Когда читаешь из письма в письмо, — подчеркивал П.Е.Щеголев, — о многократных намеках, продиктованных ревностью Натальи Николаевны, то испытываешь нудную скуку однообразия и останавливаешься на мысли: а ведь это даже и не ревность, а просто привычный тон, привычная форма. Ревновать в письмах значило придать письму интересность. Ревность в ее письмах — манера, а не факт»[39].

Переписка Пушкиных пронизана неподдельными чувствами. Получив однажды известие, что жена загрустила и поплакала, Александр Сергеевич писал ей: «...если ты поплакала, не получив от меня письма, стало быть ты меня еще любишь, женка. За что цалую тебе ручки и ножки»[40].

Брак дал поэту то, чего он лишен был в детстве, — тепло семейного очага и жизнь своим домом. После трех-четырех лет жизнь в разлуке с женой и детьми стала для Пушкина непривычной и почти невыносимой. В его сетованиях на разлуку невозможно уловить лукавство.

Во время самого длительного расставания, в 1834 г., Пушкин писал Наталье письма через два-три дня, редко через неделю. Он постоянно спрашивал, как дети, их здоровье и успехи: «Говорит ли Маша? ходит ли? что зубки? Саше подсвистываю»; «цалую Машу и заочно смеюсь ее затеям»; «...цалую ручку у Марьи Александровны и прошу ее быть моею заступницею у тебя. Сашку цалую в его круглый лоб»; «Скажи Сашке, что у меня здесь белые сливы, не чета тем, которые он у тебя крадет, и что я прошу его их со мною покушать. Что Машка? какова дружба ее с маленькой Музика? и каковы ее победы?»; «Что ты про Машу ничего не пишешь? ведь я, хоть Сашка и любимец мой, а все люблю ее затеи»[41].

Натали была увлечена балами, Пушкин погружен с головой в творчество. При детях был штат кормилиц, нянек, немок. При всем том, поэт и его жена были заботливыми родителями. Поэт сам превращался в дитя, когда играл с малышами[42].

Сестра поэта Ольга Сергеевна привезла в столицу сына Льва. Ее покорило то, что Александр «очень хвалит и ласкает племянника»[43]. По отношению к своим детям поэт мешал ласку со строгостью. В письмах к Наталье он наказывал не баловать Машу, «т.е. не слушаться ее слез и крику, а то мне не будет от нее покоя»; «Машке скажи, чтоб она не капризничала, не то я приеду и худо ей будет». Когда дети слишком шумели или вели себя неподобающим образом, на их голову обрушивалась гроза родительского гнева. Ольга Сергеевна, по ее собственному признанию, в воспитательных целях шлепала своего полуторагодовалого малыша. У ее брата в ходу были те же педагогические средства: «Александр порет своего мальчишку, которому всего два года; Машу он тоже бьет; впрочем он нежный отец. — Знаешь, он очень порядочный...» — писала Ольга мужу[44]. Нелишне заметить, что в том же письме она признавалась, что еще ни разу не была в доме Пушкиных с момента приезда в Петербург. Это значит, что о порках детей она писала со слов родителей. Шлепки не исключали родительской нежности. Все это было типично для дворянских семей того времени.

Брат Натальи Николаевны Дмитрий, живший в Петербурге в 1831-1832 гг. и близко наблюдавший жизнь четы, очень точно определил главную черту их отношений. В семье Пушкиных, писал он, «царствует большая дружба и согласие»[45].

Пушкина любила писать длинные письма. Ланской упрекнул ее за это. «Ты прав, — отвечала ему Наталья Николаевна, — говоря, что я очень много болтаю в письмах и что марать бумагу одна из моих непризнанных страстей»[46].

Дельные мысли жены радовали Александра Сергеевича, и он не оставлял их без поощрения: «...твое замечание о просвещении русского народа, — писал он, — очень справедливо и делает тебе честь, а мне удовольствие». Пушкин отнюдь не разделял мнения света о глупости Натали. Через полгода после первой встречи с четой Пушкиных Долли Фикельмон записала в дневнике: «муж говорит, что она умна»[47]. Княгиня Вера Вяземская писала о Наталье, которой не слишком симпатизировала: «Пушкин восхищался ее природным смыслом»[48].

Жена позволяла себе резкие замечания по поводу друзей мужа. Она сочла вправе сделать выговор Пушкину за то, что он попал «в лапы к Соболевскому»[49]. И поэт терпеливо объяснил ей свой взгляд на Соболевского.

Пушкин вступил в пору зрелости. Он ясно видел, что родство не оправдывало себя. Иллюзии дружбы поблекли. Семья оставалась последней крепостью. Жене Пушкин изливал душу, у нее просил сочувствия, ей жаловался на близких людей: «Лев С. (родной брат поэта. — *Р.С.*) очень дурно ведет... Я ему ничего не говорю, потому что, слава богу, мужику 30 лет; но мне его жаль и досадно, — писал Александр. — Соболевский им руководствует... Оба довольно пусты»[50].

Мать семейства неизбежно оказалась в центре жизни поэта. Ее ревность не была навязчивой и не порождала беспрестанного раздражения. В переписке невозможно уловить и тени злобы, зато много доверия и откровенности.

Одна из тем переписки — кокетство Натальи. Строки, посвященные этому предмету, вследствие своей эмоциональной окраски всегда привлекали внимание. К жене обращены были слова поэта: «...будь молода, потому

что ты молода — и царствуй, потому что ты прекрасна»; «гуляй, женка; только не загуливайся и меня не забывай»[51]. Разрешая жене «кокетствовать», Александр Сергеевич шутливо прибавлял, что все-таки лучше его позволением не пользоваться[52].

Кокетство было нормой поведения любой светской дамы. Но флирт не должен был выходить за рамки благопристойности, соответствовавшей идеалу поведения замужней дамы. В письме из Болдина Пушкин писал Натали осенью 1833 г.: «...кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему»[53]. В другом письме того же периода поэт внушал жене: «Повторяю тебе... что кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: уважения»[54].

Наталье не раз пришлось выслушивать от мужа жестокие нравоучения. Однажды он напомнил ей басню А.Измайлова о красавице-кокетке, Фоме и Кузьме. Баснописец предупреждал кокеток и прелестниц: «Не корчите Фому, не то попасть вам на Кузьму»[55]. Пушкин пояснил суть нравоучения: «Фома накормил Кузьму икрой и селедкой. Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому как каналью». Из этого поэт выводит следующее нравоучение: «Красавицы! не кормите селедкой, если не хотите пить давать; не то можете наскочить на Кузьму»[56]. Пушкина не усвоила нравоучения, в точности предвосхитившего ее будущее.

Наталья не только предавалась флирту, но и считала своим долгом писать подробные отчеты мужу. Поэт шутливо благодарил супругу за то, что она подробно и откровенно описывает ему свою «беспутную жизнь». Но в конце концов он взмолился, прося избавить его от победных реляций: «Радоваться своими победами тебе нечего. [...] Женка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши... — для чего? — для тебя женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье... Побереги же и ты меня»[57].

Пушкин не догадывался, что семья его стоит на пороге крушения, когда писал Нащокину 10 января 1836 г.: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать и (первоначально написал «смерти», но зачеркнул. — *Р.С.*) старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились»[58].

Родословная поэта

Отношение Пушкина к истории и предкам было совсем особенным. В его глазах память о прошлом была неотделима от культурного наследия, накопленного народом и составляющего его гордость. Прошедшее поэт рассматривал как достояние каждого человека, основу его самоуважения[1]. В черновых набросках «Романа в письмах» (конец 1829 г.) поэт вложил в уста героя слова: «Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижение наших исторических родов. ...Прошедшее для нас не существует. Жалкий

народ!»[2] В письме к Чаадаеву в 1836 г. поэт писал: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»[3].

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...

По происхождению Пушкины принадлежали к одной из древнейших дворянских фамилий России. Согласно родословным росписям, их родоначальником считался выходец «из Немец муж честен именем Ратша», прибывший на Русь при Александре Невском[4].

Пушкин серьезно заинтересовался своей родословной в период работы над исторической трагедией «Борис Годунов». В уста царю Борису он вложил фразу: «Противен мне род Пушкиных мятежный!» Поэта восхищала роль мятежников и бунтарей, которую его предки играли в Смутное время[5].

Со временем родословные разыскания писателя получили новое направление. Пушкин обратился к истории предков, которые помогли Романовым занять трон и преодолеть мятежи.

Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.
Смирив крамолу и коварство
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили...

В XVII веке род Пушкиных пришел в упадок, разделив участь многих древних аристократических фамилий. Нынешняя «аристократия, — писал поэт, — с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят от Петра и Елизаветы. Денщики, Певчие, Хохлы — вот их родоначальники... У нас нет очарования древностию, благодарности к прошедшему и уважения к нравственным достоинствам... неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности»[6].

Осознав себя потомком старинного дворянского рода, Пушкин не побоялся бросить вызов временщикам, новой знати. Князьям Меншиковым он напомнил про торговлю их родоначальника блинами, графам Кутайсовым — их службу в денщиках у Павла I, Разумовским — пение в капелле у Елизаветы. Графам Безбородко и Кочубеям была адресована и вовсе обидная строфа: «В князья не прыгал из хохлов».

Знать не могла простить поэту его выпадов. По авторитетному свидетельству графа Соллогуба, Пушкин «нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых»[7].

Александр Чернышев проявил особое рвение при расправе с декабрис-

тами, что позволило ему сделать стремительную карьеру при Николае I. В своем дневнике Пушкин отметил, что военный министр граф Чернышев был забаллотирован при избрании в Английский клуб. В записке по поводу книги о Пугачевском бунте, адресованной лично Николаю I, поэт подчеркнул, что в XVIII веке один из Чернышевых служил в камер-лакеях и пользовался особой милостью Екатерины II.

Смиренный «мещанин» не упускал случая уколоть глаза временщикам, по прихоти самодержцев удостоенным высших государственных постов.

Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.
...
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин.

Эти строки были написаны в то время, когда Пушкин еще верил, что его талант и литературный труд обеспечат средства к жизни и воочию докажут новой знати, что он сам «большой», без богатств и чинов. Тогда же он писал Бенкендорфу: «Что касается состояния... оно достаточно благодаря его величеству, который дал мне возможность достойно жить своим трудом»[8].

Благоволение царя

После свадьбы Пушкин решил покинуть Москву. Весной 1831 г. он просил Плетнева подыскать ему «фатерку» в Царском Селе, где семья намеревалась остаться до зимы. В Царском Селе поэт надеялся найти прибежище, где можно жить «будто в глуши деревенской», «потихоньку без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов...», «в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей». В Село поэта влекла дешевизна летних квартир: «...дома, вероятно, ныне там недороги: гусаров нет, двора нет — квартер пустых много...» — писал поэт Плетневу. Предполагалось снять «фатерку», которая бы имела особый кабинет. «Нас будет: мы двое, — пояснял Пушкин другу, — 3 или 4 человека да 3 бабы. [...] Садика нам не будет нужно, ибо под боком у нас будет садище. А нужна кухня да сарай, вот и все»[1].

После свадьбы отношения между молодоженами были безоблачными. После бала у Пушкиных в Москве А.Я.Булгаков писал: «И он и она прекрасно угощали гостей. Она прелестна, и они как два голубка». Жуковский виделся с Пушкиными в Царском Селе. «Женка его, — писал он, — очень милое творение. И он с нею мне нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат»[2]. Сестра поэта писала мужу в письме от 4 июня 1831 г., что молодые обожают друг друга; Наташа красавица и умница и при всем том еще ребенок[3].

Эпидемия холеры, распространившаяся на Северо-Западе России, привела к тому, что «деревенская глушь» — Царское Село превратилась на время в резиденцию императорской фамилии и двора. Ради безопасности царской фамилии Царское Село было прочно отгорожено от внешнего мира заставами.

В Царском Селе поэт смог общаться с членами царской фамилии. Первая встреча с Николаем I застигла его врасплох. Завидев Пушкина, государь вышел из коляски и затеял дружеский разговор. Расставшись с императором, поэт зашел к А.Росетти и рассказал ей о встрече. Он не скрыл от нее, что неожиданно ощутил себя верноподданным. «Черт возьми, — сказал он, — почувствовал подлость во всех жилах»[4].

Писатели живо ощущали свою зависимость от власти. На большом собрании литераторов у Смирдина в феврале 1832 г. первый тост был тост Греча: «Здравие государя-императора, сочинителя прекрасной книги Устав цензуры!» В ответ раздалось громкое и усердное «Ура!»

Конечно, Пушкин был не только «писакой» (так называли его члены царской семьи, жандармские чины и пр.), но и дворянином, по знатности рода нисколько не уступавшим Романовым. В Царском селе по соседству с Пушкиным жил Жуковский. Он был близок к императорской фамилии и использовал любой случай, чтобы свести царя с поэтом.

В дни холерных бунтов чернь чинила дикие раправы над врачами, а в военных поселениях также над офицерами и начальством. Николай I проявил незаурядную храбрость при усмирении волнений. На поэта его поведение произвело впечатление. Мужество и сила духа всегда импонировали ему[5].

Николай I охотно беседовал с поэтом. Круг проблем, которые они обсуждали, значительно расширился со времени встречи в Чудовом монастыре. Пушкин был обнадежен тем, что Николай I приступил или выразил намерение приступить к реформам. Злобой дня была неудачная война с восставшими поляками. Взгляды Пушкина на польский вопрос сформировались под влиянием событий 1812 г. Занятия историей Смутного времени начала XVII в. дали дополнительную пищу для размышлений. Имея в виду давний спор между двумя славянскими народами, Пушкин писал, обращаясь к Западу:

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда...

Протесты против действий русских войск в Польше, раздававшиеся на Западе, были восприняты в Петербурге как грубое вмешательство. Подобно другим патриотам, Пушкин считал, что в 1831 г. может повториться ситуация 1812 года.

По свидетельству приятеля Пушкина А.В.Васильева, летом 1831 г. поэт сообщил ему, что по желанию царя пишет ответ «клеветникам России». Наследник престола, будущий Александр II, вспоминал, что Пушкин впервые прочел названные стихи в кругу царской семьи[6]. На взятие Варшавы русскими войсками поэт откликнулся стихами «Бородинская годовщина», написанными в том же духе.

Стихи произвели впечатление на общество и обсуждались повсюду. Двор был доволен. Австрийский посол Фикельмон сообщил канцлеру Меттерниху мнение А.Ф.Орлова, требовавшего от царя решительных действий против поляков, и прибавил к этому: «Такая же мысль отразилась в стихах Пушкина, верный перевод которых я здесь присоединяю. Они были написаны в Царском Селе и были одобрены императором. Благодаря этому они еще более привлекают внимание»[7].

Жуковский присоединился к Пушкину, тогда как П.А.Вяземский обрушился на друга с укором, что тот осмеливается воспеть победы Паскевича, говорить «нелепости и еще против совести и более всего без пользы»[8]. Задетый этими словами, Пушкин называл Вяземского человеком ожесточенным против России, не любящим ее[9]. А.И.Тургенев принял сторону Вяземского. Он писал брату: «Я только в одном Вяземском заметил и справедливый взгляд и на эту поэзию (обсуждались стихи "Клеветникам России". — *Р.С.*), и на весь этот нравственно-политический мир (или безнравственно)»[10]. В стране царила строжайшая цензура, и недовольные не имели возможности обнародовать свои доводы в защиту поляков.

Беседы в Царском Селе укрепили расположение монарха. 21 июля 1831 г. Пушкин извещал приятелей: «Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди, попаду во временщики»[11]. Никогда Пушкин не был столь близок к власти, как в дни летнего отдыха в Царском Селе.

Примирение с действительностью

В своих отношениях с людьми, не принадлежавшими к ближайшему окружению, император не выходил из рамок формально-служебных отношений. Беседа в Кремле в 1826 г. и прогулки в Царском Селе в 1831 г. нарушили этот принцип и положили начало личным отношениям между государем и поэтом. В письмах Пушкина можно встретить слова о том, что царю он готов пожертвовать жизнью, а равно отзывы о добрых делах императора, подобные следующему: это «делает честь государю, которого искренно люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он умно и по-царски»[1]. В искренности такого рода признаний сомневаться не приходится.

Сближение с императором облегчило переход Пушкина из стана декабристов в правительственный лагерь. Но переход этот был длительным, трудным и болезненным. Беседа в Чудовом монастыре в 1826 г. не изменила образа мысли поэта.

Для Пушкина жизнь теряла смысл без духовной свободы и верности друзьям. Осенью 1826 г. поэт беседовал с его величеством, а несколько месяцев спустя вручил жене декабриста А.Г.Муравьевой листок со стихами, без подписи, переписанными неизвестной рукой:

[...]
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут.

Обращение к томившимся на каторге декабристам ставило Пушкина в двусмысленное и опасное положение. Отличить его стихи, даже не имея автографа, не составляло труда. Тайная полиция не пощадила бы Пушкина, заполучив текст его новых вольнолюбивых стихов, выражавших солидарность с государственными преступниками.

После встречи с царем положение стало меняться. По словам А.Мицкевича, «он (Пушкин. — Р.С.) рассказывал своим друзьям-иностранцам (полякам. — Р.С.), что, слушая императора, не мог не подчиниться ему. "Как я хотел бы его ненавидеть! — говорил он. — Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?"»[2]

Большое влияние на Пушкина оказало польское восстание. В июле 1831 г. Пушкин стал с удвоенной энергией хлопотать об основании новой литературной и политической газеты. III Отделение в лице фон Фока отказало ему, и тогда поэт в июле 1831 г. обратился через Бенкендорфа к царю. Он предложил правительству свое перо: «Если государю угодно будет употребить перо мое, то постараюсь с точностию и усердием исполнить волю его величества...» Угроза распада Российской империи и выступление европейской прессы в защиту «мятежных» поляков приобрели в глазах Пушкина значение важнейшего аргумента в пользу создания новой газеты, оплота писателей-патриотов: «Пускай позволят нам, русским писателям, — писал поэт, — отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет»[3].

Когда Пушкин предложил царю перо, среди его соотечественников, отметил Мицкевич, пошли разговоры, что он «продался правительству».

На умонастроение поэта влияли многие обстоятельства. Не последнюю роль играли упрочившиеся отношения с государем. Общение с Николаем I привело Пушкина к убеждению, что трон в России занял, может быть, впервые, человек исключительной честности и порядочности, подлинный патриот. При такой оценке Пушкину нечего было опасаться, что царь использует его перо для каких-нибудь бесчестных целей. В этом заключалась главная причина верноподданнических заявлений поэта.

III Отделение, по-видимому, не изменило своего отношения к проекту Пушкина, и в 1831 г. царь отклонил его предложение.

Год спустя поэт вновь обратился к властям. На этот раз ему удалось заручиться одобрением Николая I. Помогло вмешательство Жуковского и бывших арзамасцев. 27 мая 1832 г. Пушкин сообщил Бенкендорфу о своем ходатайстве «стать во главе газеты, о которой господин Жуковский, как он мне сказал, говорил с вами»[4]. Надо думать, что Жуковский говорил прежде с самим императором.

Еще в мае 1830 г. поэт просил Вяземского поговорить с молодыми министрами по поводу газеты[5]. В 1832 г. Пушкина получил поддержку со стороны Министерства просвещения. Став товарищем министра просвещения, Уваров фактически предложил поэту свое покровительство.

Александр Сергеевич нисколько не преувеличивал, когда писал в черно-

вом письме к Бенкендорфу: «...в последнее десятилетие царствования покойного государя (Александра I. — *Р.С.*) я имел на все сословие литераторов гораздо более влияния, чем министерство (министерство просвещения. — *Р.С.*), несмотря на неизмеримое неравенство средств»[6].

Бывший арзамасец Уваров прекрасно понимал, сколь глубоко влияние Пушкина на культуру, и не терял надежду превратить его в рупор своего ведомства. Однако поэт отверг домогательства Уварова и получил у царя разрешение на издание газеты через министра внутренних дел Блудова, другого арзамасца. Блудов заручился согласием поэта на то, что его газета «будет давать самые скорые сведения из Министерства внутренних дел». Летом 1832 г. Н.А.Муханов записал в дневнике: «Оживленный спор с Уваровым по поводу журнала Пушкина. Он уязвлен, что разрешение было дано ему министерством внутренних дел, а не его министерством»[7]. Более всего Уварова обидело то, что поэт отверг его прямое предложение о покровительстве и сотрудничестве, переданное через Филиппа Вигеля.

Уваров понимал, что независимая от его ведомства газета Пушкина может ослабить контроль Министерства над миром русской словесности. Отвергнутый покровитель стал противником пушкинского проекта.

11 июля 1832 г. поэт писал Погодину: «Знаете ли вы, что государь разрешил мне политическую газету?»[8]

Пушкин поспешил представить властям программу новой газеты. На ее страницах предполагалось помимо обзоров литературы помещать официальные материалы:

> «О мерах правительства.
>
> NB материалы от правительства.
>
> Корреспонденция».
>
> В отдельную рубрику были выделены пункты:
>
> «Предварительное изъявление мнений правительства. Внутренние происшествия; указы. О мерах правительства. ...Пособия: повеления министров... Официальность»[9].

Пушкин без обиняков предлагал основать и возглавить официозную правительственную газету. «Журнал мой, — писал Пушкин, — предлагаю правительству — как орудие его действия на общее мнение»[10].

Союз с правительством, по замыслу Пушкина, должен был иметь в основе патриотизм. Его проекты вызвали возражения с разных сторон. Вяземский еще в 1827 г. пустил в оборот выражение «квасной патриотизм» для обозначения ложного патриотизма. 5 июля 1832 г. Н.А.Муханов пометил в дневнике: «Пришол Александр Пушкин. Говорили долго о газете его. Он издавать ее намерен с сентября или октября; но вряд ли поспеет. Нет еще сотрудника... О Вяземском. Он сказал, что он человек ожесточенный, aigri, который не любит России, потому что она ему не по вкусу... Пушкин говорил долго. Квасной патриотизм... Цель его журнала, как он ее понимает — хочет доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе сие бывало»[11].

Возражения Вяземского повлияли на решение Пушкина отказаться от издания газеты.

Булгаринская журналистика пользовалась большими преимуществами, вытекающими из ее официозного положения. Продажной прессе поэт пы-

4 Зак. 3925

тался противопоставить союз властей с честными журналистами. Новое издание должно было получить нейтральное наименование «Дневник».

Пушкин успел подготовить первый номер газеты. Номер был условно помечен датой «1 января 1833 г.»

Разрешение на издание газеты знаменовало важный момент в жизни поэта. Если бы Пушкин стал во главе официальной правительственной газеты, его переход в правительственный лагерь завершился бы окончательно. Но после подавления польского восстания его патриотические чувства пошли на убыль. Согласие с царем начало давать трещины. Готовность Пушкина возглавить официоз поколебалась. Поэт не стал настаивать на осуществлении своего проекта, а Бенкендорф не представил подготовленный номер «Дневника» на утверждение монарху.

Пушкин не надеялся ужиться с цензурой. Жуковский много раз обсуждал с другом его положение и выступал посредником между ним и цензурой. Уже после гибели поэта он обратился к Бенкендорфу с откровенными и резкими словами: «Государь император назвал себя его цензором... Скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение... На многое, замечанное государем, не имел он возможности делать объяснений; до того ли государю, чтобы их выслушивать?»[12]

Необходимость пройти государеву цензуру вела к неизбежным проволочкам. Но главное заключалось в другом. Поэт пожертвовал проектом, сулившим большие выгоды, потому что не хотел жертвовать своей независимостью и духовной свободой.

В 1832 г. Александр Сергеевич опубликовал «Анчар» без разрешения государя, за что немедленно получил выговор от Бенкендорфа. В тот же день поэт ответил шефу жандармов словами: «Я всегда твердо был уверен, что высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры»[13].

В декабре 1833 г. Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему отдать свои сочинения в журнал Смирдина «Библиотека для чтения» без обращения к царю, подвергаясь цензуре на общих основаниях. Просьба была доложена Николаю I, и требуемое разрешение получено[14]. Речь шла исключительно о «пиесах для журнала Смирдина». Но это уже была частность.

На государевой службе

Пушкин видел два пути сотрудничества с правительством. Он готов был взять на себя редактирование журнала, но не прочь был заняться историческими исследованиями. Второй путь, считал поэт, более соответствует его склонностям. Еще в 1831 г. Пушкин в черновом варианте письма к Бенкендорфу высказал следующее пожелание: «Если политический журнал покажется предприятием излишним, то буду просить дозволения заняться историческими изысканиями в наших Государственных архивах и библиотеках». В беловом варианте письма Бенкендорфу эта мысль получила развитие. «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать

историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III»[1].

В 1827 г. Пушкин высказывал намерение описать историю царствования Александра I и Николая I. Теперь он остановился на более узкой теме — истории Петра I и его ближайших преемников. Предложение Пушкина пришлось кстати. На письме Пушкина Бенкендорфу монарх пометил: «Написать г-фу Нессельроду, что государь велел принять его в Иностранную Коллегию... для написания Истории Петра Первого»[2]. Царь еще больше сузил тему исторических занятий Пушкина, назвав имя Петра I и отбросив его преемников, включая Петра III. Между тем, история ближайших предшественников Николая интересовала поэта в наибольшей мере.

26 сентября 1831 г. А.И.Тургенев сообщил в письме брату важную новость: «Александр Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом»[3].

Тридцатисемилетний Карамзин, знаменитый писатель и поручик в отставке, при вступлении в должность историографа удостоен был оклада в 2 000 рублей. Успех Карамзина придал этой должности авторитет и блеск.

Пушкин был удостоен большего оклада. Но о величине его поэт узнал не сразу. Поэт тотчас известил приятелей о свалившейся на его голову милости: государь «записал меня недавно в какую-то коллегию и дал уже мне (сказывают) 6000 годового дохода»[4].

Начав службу после окончания Лицея, Пушкин выслужил скромный оклад. В канцелярии Инзова он получал 700 рублей ассигнациями в год. Эти деньги ему стали платить не сразу. 28 апреля 1821 года генерал И.Н.Инзов обратился по этому поводу с секретным письмом в коллегию иностранных дел: «В бытность его (Пушкина. — *Р.С.*) в столице, он пользовался от казны 700 рублями на год; но теперь, не получая сего содержания, не имея пособий от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании, терпит, однако ж, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии»[5].

Новый оклад в семь раз превышал прежний.

Пушкин смотрел на службу как на синекуру. Она не стесняла его никакими обязанностями, не регламентировала его занятия[6].

«Царь взял меня в службу, — писал поэт Плетневу, — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы... Он сказал: Puisqu'il est marie et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa marmite» [раз он женат и небогат, то надо дать ему средства к жизни]. (Другие переводы: надо заправить его кастрюлю; надо позаботиться, чтоб у него была каша в горшке)[7].

«Каша в горшке» у Пушкина привлекла общее внимание. Молва многократно преувеличила царскую щедрость.

Брак повлек за собой материальные трудности. Женясь, поэт думал «издерживать втрое против прежнего, вышло вдесятеро». Собственно, безденежье преследовало поэта всю жизнь. «В Москве говорят, — сетовал поэт в октябре 1831 г., — что я получаю 10 000 жалованья, но я покамест не вижу ни полушки; если буду получать и 4 000, так и то слава богу»[8].

В июле 1831 г. царь на основании прошения Пушкина распорядился, чтобы ему было положено жалованье. Бенкендорф пометил на пушкинском письме: «Не угодно ли будет графу (Нессельроде. — *Р.С.*) испросить или самому назначить Пушкину жалование»[9]. Бюрократическое колесо завертелось. Но прошел почти год, прежде чем дело сдвинулось с места. Терпение

поэта истощилось. 3 мая 1832 г. он просил Бенкендорфа сообщить ему, откуда и с какого дня он должен получать жалованье, положенное ему государем[10].

Назначение Пушкина историографом привело к межведомственной тяжбе. Граф Нессельроде долго отказывался платить деньги коллежскому секретарю Пушкину. Министр внутренних дел Блудов при встрече с поэтом по-дружески сообщил, что говорил с государем и «просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто выдавать не хочет». Николай I приказал Блудову обсудить дело с Нессельроде. «Я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа», — отвечал тот[11].

Н.А.Муханов описал беседу в дневниковой записи от 29 июня 1832 г. В точности его записи сомневаться не приходится. Высшие сановники империи, конечно же, знали о желании Бенкендорфа привлечь на службу в жандармский корпус Пушкина. Не с этим ли обстоятельством связано было предложение Нессельроде?

По понятным причинам министр иностранных дел не желал водворения в своем ведомстве поднадзорного чиновника.

Нессельроде подчинился лишь после того, как 4 июля 1832 г. получил через Бенкендорфа высочайшее повеление платить жалованье Пушкину в Министерстве иностранных дел[12].

В связи с поступлением на службу коллежский секретарь Пушкин был произведен в титулярные советники. С него взяли подписку о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам, а затем привели к присяге на верность царю. В официальной табели о рангах Пушкин занял невысокую ступень чиновника IX класса. Соответственно, он получил оклад в 5 000 рублей ежегодно и право на обращение «Ваше благородие». (Начиная с VIII по VI класс чиновников именовали «высокоблагородие», тогда как «благородием» именовали и неслужилых дворян.)

Вюртембергский посол Гогенлоэ так прокомментировал службу Пушкина: «Назначение Пушкина историографом было только средством связать его перо и отвратить его от поэзии, в которой каждый стих выражал чувства, мало соответствующие тем, какие хотели видеть у большинства нации»[13].

Запрещенная поэма

Согласие с царем, упрочившееся в период польского восстания, позволило Пушкину перейти на позиции верноподданного. Новое положение не соответствовало характеру поэта и таило в себе много неудобств.

В августе 1833 г. в руки Пушкина попал только что изданный за рубежом сборник стихов Мицкевича, непосредственно его касавшийся. В стихах, озаглавленных «Памятник Петра Великого», польский поэт описал свою встречу и беседу с Пушкиным у подножия «Медного всадника» в Петербурге. Два поэта придерживались противоположных взглядов на значение петровских преобразований. Сам памятник Петру I Фальконе олицетворял для одного — Россию молодую, для другого — самодержавную тиранию. Подобно пророку, Мицкевич предсказывал, что дело Петра рухнет, когда «блеснет солнце свободы и западный ветер согреет эту страну». В сборнике Мицкевича Пушкин нашел описание наводнения 1824 г. и

стихи «Друзьям-русским» с укором в покорности тирану.

Осенью того же 1833 г. Пушкин написал поэму «Медный всадник», которая в некотором отношении была ответом Мицкевичу. 6 декабря 1833 г. поэт через Бенкендорфа передал поэму царю, а уже 12 декабря шеф жандармов вернул рукопись с собственноручными пометами Николая I. Пушкин был ошеломлен и отступил от правила не касаться литературных сюжетов в дневнике. 14 декабря он записал:

«Слово *кумир* не пропущено высочайшей цензурою; стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?)...»[1]

В свое время трагедия «Борис Годунов» подверглась не меньшей цензурной правке. Но изменилась ситуация. Прежде Пушкин был вольным поэтом, теперь — чиновником на жалованье, которое ему платили как придворному историографу. Замечания на рукописи «Медного всадника» поразили поэта не только самим фактом вторжения самодержца в сферу его творчества, но и тем, что дело касалось его будущей истории Петра I, над которой он трудился с усердием. Установки монарха не совпадали с оценками историографа. Между тем, Пушкин намеревался писать историю преобразователя, следуя истине и только истине.

Пушкин отказался внести исправления в текст своего сочинения и ограничился тем, что опубликовал небольшой отрывок из поэмы. Цензура царя нанесла поэту не только моральный, но и материальный ущерб. В декабре 1833 г. он сообщил Нащокину о своих денежных неприятностях, проистекавших из необходимости расторгнуть договор со Смирдиным, «потому что Медного всадника цензура не пропустила»[2].

Необходимость писать по долгу царской службы тяготила поэта. В 1833 г. он предпринял попытку расширить поле своих исторических изысканий. 22 июля в прошении Бенкендорфу он писал: «Обстоятельства принуждают меня уехать на 2—3 месяца в мое нижегородское имение — мне хотелось бы воспользоваться этим и съездить в Оренбург и Казань, которых я еще не видел. Прошу его величество позволить мне ознакомиться с архивами этих двух губерний»[3]. Николай I не желал надолго отпускать поэта из столицы и велел задать ему вопрос: «...по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на вас возложенные?»[4] Чиновнику IX класса пришлось объяснять, почему он пренебрегает царским поручением относительно написания официальной истории Петра Великого. Поэт сослался на то, что уже два года занимается одними историческими разысканиями, а теперь ему «необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий...» К счастью, Николай I понимал, что мелочная опека в отношении Пушкина не даст ожидаемых результатов, а лишь оттолкнет его. Он удовлетворил просьбу историографа.

Подрядившись писать историю царствования Петра Великого, Пушкин использовал предоставленное ему право работать в архивах, чтобы написать историю бунтовщика Пугачева. В письме Мордвинову от 30 июля 1833 г.

он объявил, что взялся за сочинение «романа, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани»[5].

Сказать правду он не мог. В 1827 г. Бенкендорф запретил Пушкину напечатать песни о Степане Разине на том основании, что «церковь проклинает Разина, как и Пугачева»[6].

Биография Суворова была еще одним предлогом к занятиям пугачевщиной. Интерес к подвигам прославленного полководца не ставил под сомнение благонамеренность автора.

Пушкину были выданы документы, связанные преимущественно с военными действиями против бунтовщиков. Что же касается следственных материалов, заключавших допросы Пугачева и его сподвижников, они были засекречены. Лишь после издания книги император разрешил Пушкину ознакомиться со всеми секретными материалами. Министр юстиции Дашков позаботился о том, чтобы передать эти материалы в архив для занятий Пушкина. Но к тому времени поэт отказался от намерения продолжить работу над книгой о пугачевщине.

Пушкин давно обдумывал план исторического романа из времен Пугачева в духе Вальтера Скотта. Он с полной откровенностью заявлял, что рассчитывает поправить свои материальные дела с помощью издания книги о бунте.

Завершив работу, Пушкин через Бенкендорфа просил царя лично рассмотреть его сочинение. Он объяснял причины, побудившие его обратиться к пугачевщине: «...думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел, и написал Историю Пугачевщины»[7]. Письмо Пушкина не содержало формальной просьбы о публикации Истории Пугачева. Автор как бы заранее принимал любое решение государя: «Не знаю, можно ли мне будет ее (рукопись. — *Р.С.*) напечатать, — писал Александр Сергеевич, — но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для Его Величества...»

В черновом варианте письма Пушкин касался вопроса о принципах, которыми он руководствовался при написании сочинения: «...я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия»[8]. Приведенные строки Пушкин вычеркнул. Слова об изыскании истины казались неуместными в письме, извещавшем, что труд написан исключительно для Его Величества. Пушкин был превосходным психологом и к тому же он успел изучить характер самодержца.

Жандармерия с подозрением отнеслась к затее поэта. Но Николай I после цензурного просмотра пушкинского сочинения 31 декабря 1833 г. одобрил его. В марте 1834 г. казенная типография получила распоряжение печатать «Историю Пугачевского бунта».

Пушкин писал историю с исключительной тщательностью и добросовестностью. Он потратил много труда на знакомство с архивными материалами, объехал край, некогда охваченный бунтом, и собрал показания очевидцев, оставшихся в живых. Разрушительная стихия народного бунта предстала перед ним во всей наготе и безобразии. Отношение поэта к пугачевщине всего точнее выразили слова из «Капитанской дочки»: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Завершив книгу, Пушкин счел необходимым составить 28 замечаний,

адресованных лично царю. В них он затронул темы, не раскрытые в сочинении. Пушкин подчеркнул, что во время бунта «весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало...»; зато самой надежной опорой правительства в борьбе со злодеями было «хорошее» (старинное) русское дворянство. Что касается немцев в генеральских чинах, они «действовали слабо, робко, без усердия»[9].

Трудно согласиться с предположением, будто император невнимательно прочел книгу Пушкина и только потому разрешил напечатать крамольное сочинение. Губительность крепостного права была очевидна не для одних только либералов. Образованные по высочайшей воле секретные комитеты обсуждали крестьянский вопрос. Николая I история бунтов волновала не менее, чем его венценосных предшественников. Призрак пугачевщины пугал все благонамеренное общество.

Камер-юнкер Пушкин

Пушкин прослужил на царской службе полтора-два года, после чего был пожалован 31 декабря 1833 г. в камер-юнкеры. Поэт неожиданно узнал об этом на балу у графа Алексея Орлова. По словам Льва Пушкина, брат был взбешен[1].

Царское пожалование не было столь уж неожиданным для Пушкина. Вопрос о камер-юнкерстве давно обсуждался в кругу его близких друзей. Еще в мае 1830 г. дочь Кутузова Элиза Хитрово, пользовавшаяся значительным влиянием при дворе, стала деятельно хлопотать о придворном чине для своего друга. По ее представлениям, поэт, стремившийся обзавестись семейством, должен был иметь более прочное положение в обществе. Пушкин вежливо поблагодарил Элизу за заботу. «С вашей стороны, — писал он Хитрово, — очень любезно, сударыня, принимать участие в моем положении по отношению к хозяину. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Не вижу ни одного подходящего... Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что стал бы я делать при дворе?»[2]

Император был личным цензором поэта. От него зависело творчество и доходы Александра Сергеевича. Намерения Хитрово заключались в том, чтобы ввести Пушкина в круг лиц, окружавших «Хозяина». Пушкин был невозмутим, обсуждая возможные решения. Он сознавал, что может рассчитывать лишь на звание камер-юнкера, соответствовавшее его рангу чиновника IX класса.

Друзья живо описали реакцию Пушкина на пожалование ему камер-юнкерского чина[3].

Нащокин утверждал, будто Пушкин был взбешен милостью царя и собирался нагрубить самодержцу. Уже Соболевский усомнился в его словах и сделал помету на полях его воспоминаний: «Пустяки: Пушкин был слишком благовоспитан»[4]. Лев Пушкин не находил удобным повторять всего того, «что говорил, с пеной у рта, разгневанный поэт по поводу его назначения»[5]. Брат поэта был в Петербурге и, в отличие от Нащокина, мог видеть происшедшее своими глазами. Но его слова дошли в передаче других лиц и в поздней записи.

Пушкин считал, что чин камер-юнкера никак не соответствует его воз-

расту. Но возраст не имел существенного значения. Среди камер-юнкеров Николая I шестьдесят девять лиц были моложе, зато двадцать три старше Пушкина[6].

Дело было не в возрасте. В 1835 г. поэт рассказал Нащокину, что три года тому назад, т.е. в 1832 г., Бенкендорф предложил ему звание камергера. Шеф жандармов был доверенным советником императора и, видимо, рассчитывал на то, что сможет осуществить свое обещание в обход правил. До 1809 г. звание камер-юнкера приравнивали к чину штабс-капитана, камергера — к чину генерала.

Поэт не пожелал воспользоваться покровительством главы секретной полиции и отказал ему, заметив: «Вы хотите, чтобы меня так же упрекали, как Вольтера!»[7]

Даже высшие сановники империи понимали, что чин камер-юнкера никак не соответствует действительному положению поэта в свете и при дворе. Его слава и авторитет были исключительными. Сам император удостоил его особой чести — своей личной цензуры. Пушкин нисколько не сомневался в том, что в свете его назначение будет воспринято с насмешкой, уронит его человеческое достоинство. Его мнение насчет реакции света, повидимому, было близко к истине. Утвердившиеся в обществе представления об особом расположении и дружбе царя с сочинителем оказались мифом. Жалуясь жене, Пушкин писал, что император упек его «в камер-пажи под старость лет»[8].

Реакция поэта на царскую милость была бурной, но запись, сделанная в дневнике, выдержана в спокойных тонах: «1 января. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). [...] Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, — а по мне хоть в камер-пажи»[9]. В марте 1834 г. Александр Сергеевич объяснил Нащокину: «...конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не думал уж меня кольнуть»[10].

Однако Пушкин дал понять членам императорской фамилии, что не в восторге от высочайшей милости. 17 января 1834 г. он сделал в дневнике помету о встрече с царем на балу у Бобринских: «Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его»[11]. Такое поведение при дворе сочли верхом неприличия. При встрече с императрицей Пушкин попытался сгладить впечатление. 8 апреля 1834 г. он записал в дневнике: «Сейчас еду во дворец представляться Царице»[12]. В камер-фурьерском журнале имеется помета о представлении Пушкина императрице[13]. Царица сама подошла к Александру Сергеевичу со словами: «Нет, это беспримерно! Я себе голову ломала, думая, какой это Пушкин будет мне представляться. Оказывается, что это вы...», после чего «перевернулась», т.е. стремительно отошла от него. Запись камер-фурьерского журнала вполне объясняет ее поведение: «Камер-юнкер Пушкин — благодарил за пожалование в сие звание»[14]. Как видно, в словах поэта императрица уловила такие ноты, которые заставили ее «перевернуться» и поскорее отойти от новоиспеченного придворного.

На поздравление великого князя Михаила по случаю пожалования в камер-юнкеры Пушкин отвечал: «...до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили». Николай I счел нужным обратиться к княгине

Вере Вяземской со словами, которые предназначались для передачи Пушкину: «Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение».

Пушкин был приближен ко двору, что вызвало зависть у его недругов. По словам Льва Пушкина, они стали распускать слух, что «Пушкин интригами и лестью добился этого звания»[15]. Приятель Пушкина Н.М.Смирнов утверждал, будто «на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателен, малодушен... Он был огорчен и взбешен»[16].

Пушкин чрезвычайно ценил свою репутацию человека независимого и неподкупного. Клевета по поводу искательства тревожила его. Ситуация усугублялась тем, что Пушкин получил чин камер-юнкера в тот момент, когда ухаживания царя за его женой стали приобретать все более откровенный характер. В столице толковали, что придворный чин дан Пушкину, чтобы «иметь повод приглашать ко двору его жену»[17].

Водоворот столичной жизни все больше затягивал семью Пушкиных. В феврале 1833 г. поэт сообщал Нащокину: «Кружусь в свете, жена моя в большой моде, — все это требует денег»[18]. В мае поэт искал сочувствия у П.Осиповой: «Петербург совершенно не по мне, ни мои вкусы, ни мои средства не могут к нему приспособиться. Но придется потерпеть года два или три»[19].

Не будучи еще камер-юнкером, Пушкин в декабре 1832 г. нанял квартиру в доме купца Жадомирского из 12 комнат с сараем для экипажа[20].

Проживание в столице требовало от четы Пушкиных непомерных расходов, и можно сказать, что великосветская жизнь началась для Пушкина задолго до того, как он получил придворный чин.

Перехваченное письмо

Узнав о милости монарха, Пушкин решил не шить мундир камер-юнкера и не ездить ко двору[1].

Друзьям большого труда стоило отговорить его. Смирнов, который сам был камер-юнкером, купил по случаю готовый мундир и подарил приятелю[2].

В дневниках Пушкина можно обнаружить несколько взаимоисключающих записей по поводу мундира. 26 января 1834 г. поэт пометил: «В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Николаевну...» 5 декабря того же года Александр Сергеевич пометил: «Завтра надобно будет явиться во дворец. У меня еще нет мундира». 18 декабря в дневнике появились строки: «Третьего дня был я наконец в Аничковом. ...Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением: быть в $8^1/_2$ в Аничковом, мне в мундирном фраке [...] у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами...)» «Граф Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую»[3].

Итак, Александр Сергеевич в течение целого года действительно не хотел шить «полосатый» мундирный фрак особого покроя (полосатым Пушкин называл его оттого, что спереди на него были нашиты золотые галуны). В первый раз он отправился в Аничков, видимо, в старом парадном мундире чиновника IX класса, явно не подходящем для царского бала. Поэт венчал-

ся в нащокинском фраке, и этот фрак также не подходил для дворца. Лишь после 5 декабря он получил от Смирнова мундир, шитый для графа Витгенштейна, но не пригодившийся тому. Оставалось приобрести круглую шляпу к нему.

Золоченый мундир был Пушкину противен. Он унижал достоинство первого поэта России. В 1836 г. он писал в статье о Вольтере: «К чести Фредерика II скажем, что сам от себя король... не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние свету, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление»[4]. Двумя годами ранее в письмах к жене поэт пенял на то, что, умри он, его «похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище...»; детям будет утешения мало в том, что «их папеньку схоронили как шута, и что их маменька ужас как мила была на Аничковских балах»[5]. Смысл упрека Пушкина был не так уж и безобиден. Главное в нем было недоговорено. На Аничковских балах мать семейства (ей было всего 22 года) с увлечением танцевала с царем, отвечала на его ухаживания, а папенька должен был при этом играть роль шута, обряженного в шитый золотом мундир. Не надо забывать, что Пушкин был человеком впечатлительным и ревнивым.

Пушкина раздражали церемонии, в которых он должен был участвовать как камер-юнкер. Они мешали распоряжаться досугом по своему усмотрению. В апреле 1834 г. поэт пропустил обедню во дворце. Царь поручил Жуковскому передать Пушкину свое неудовольствие по этому поводу. Одновременно обер-камергер герцог Литте вызвал его к себе, чтобы «мыть ему голову» по тому же поводу. Пушкин не поехал, но написал письменные объяснения. Сказавшись больным, Александр Сергеевич решил не показываться во дворце. «Все эти праздники, — писал он жене 20—22 апреля, — просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен...» В день присяги наследника Пушкин был в Зимнем у Загряжской, но на торжественную церемонию не пошел, как и на бал, который дворянство дало в честь совершеннолетия цесаревича — будущего императора Александра II. Два билета на бал семья Пушкиных получила своевременно[6]. В июне камер-юнкер известил обер-камергера, что не сможет быть на праздновании дня рождения царицы 1 июля в Петергофе. О том же самом он дважды писал жене. Но ему все же пришлось принять участие в семейном празднике царской семьи. Соллогуб видел его в придворной карете и запомнил, что «из-под треугольной шляпы» лицо поэта «казалось скорбным, суровым и бледным». Другой очевидец, В.В.Ленц, заметил Пушкина, «смотревшего угрюмо» из окна «дивана на колесах» — придворной линейки[7].

6 декабря 1834 г. был день именин Николая I. Накануне Пушкин записал в дневнике: «Ни за что не поеду представляться... Царь рассердится, — да что мне делать?» Император, действительно, был сердит и говорил, что пошлет к Пушкину лейб-медика Арендта для его излечения (поэт опять сказался больным)[8].

Николай I был человеком военным и любил порядок. Он очень сердился, когда его придворные уклонялись от исполнения своих прямых обязанностей. Монарх не раз грозил наказать нерадивых. Его угрозы распространялись на всех приближенных. Но поведение Пушкина вызывало его особое

негодование. Поэт был у всех на виду. На него смотрели, ему подражали.

В борениях прошел год. Когда же Александр Сергеевич обзавелся мундирным фраком и 16 декабря явился в Аничков, он вернулся с бала с лучшими впечатлениями: «Вообще бал мне понравился, — записал он в дневнике. — Государь очень прост в своем обращении, совершенно по домашнему»[9].

Пушкин перестал писать верноподданнические стихи, отчего мундирная фронда должна была выглядеть в глазах властей как поведение, недопустимое для верноподданного.

Весной 1834 г. поэт в письме к жене принялся полушутливо обсуждать свои отношения с царской семьей. «К наследнику, — писал он, — являться с поздравлениями и приветствиями не намерен... Видел я трех царей... третий... упек меня в камер-пажи под старость лет. [...] Посмотрим, как-то наш Сашка (годовалый сын поэта. — *Р.С.*) будет ладить с порфирородным своим тезкой (шестнадцатилетним цесаревичем Александром. — *Р.С.*); с моим тезкой (императором Александром I. — *Р.С.*) я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! [...] плетью обуха не перешибет. Теперь полно врать; поговорим о деле»[10].

Послание к жене было сугубо личным, не подлежавшим оглашению. Свою вольную болтовню с Натальей сам автор письма называл враньем. Но с точки зрения приличий света и правил двора выпады поэта были верхом дерзости в отношении царской фамилии.

Пушкин забыл об осторожности и немедленно поплатился за свою беспечность. Его письмо, отосланное 24 апреля, было без промедления скопировано на московской почте и отослано Бенкендорфу. Последний не упустил случая и доложил о крамоле императору.

10 мая 1834 г. Пушкин записал в дневнике: «Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку... Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил»[11].

Итак, официальная версия заключалась в том, что крамольное письмо распространяли по столице в списках и таким путем (помимо полиции) оно попало к властям.

Когда Николаю I надо было воздействовать на поэта, он прибегал к услугам либо Бенкендорфа, либо Жуковского. Александр Сергеевич, услышав сообщение друга, почти поверил ему и заподозрил жену. Свое письмо к ней от 12 мая он начал словами: «Какая ты дура, мой ангел!»[12]

В письме от 18 мая он разъяснил причину своего раздражения: «...надеюсь, что ты моих писем списывать никому не даешь... Никто не должен знать, что может происходить между нами... Без тайны нет семейственной жизни»[13]. В то время Пушкин еще не знал, что в перехваченном письме речь шла не о семейных тайнах, а об императорской фамилии.

В III Отделении были люди, симпатизировавшие Пушкину и пожелавшие предупредить его о беде. Бывший лицеист — секретарь Бенкендорфа П.И.Миллер — обратился к другому бывшему лицеисту, М.Д.Деларю, с просьбой предупредить Пушкина. По словам П.И.Миллера, он изъял копию пушкинского письма из ящика с бумагами, предназначенными для доклада государю, из-за чего письмо не попало на стол к императору и автор его избежал кары[14]. Рассказ Миллера неточен. Ранние, достоверные источники не оставляют сомнения в том, что пушкнское письмо было показано

Бенкендорфом императору, а кроме него — также Жуковскому. Со слов Жуковского Пушкин записал в дневнике, что «полиция, не разобрав смысла, представила письмо Государю, который сгоряча также его не понял», после чего «письмо было показано Жуковскому, который и объяснил все»[15].

В письме Бенкендорфу Жуковский уточнил, что ему было показано не все письмо Пушкина, а выписка, которую он тогда объяснил наугад, не зная письма в целом. Императору также были представлены лишь «некоторые места» из письма[16].

Секретная полиция оказалась в деликатном положении. Если бы Бенкендорф предъявил полный текст перехваченного письма, он скомпрометировал бы почт-директора и себя. Поэтому дело ограничилось туманными указаниями на копии письма, якобы ходившие по городу. Императору положили на стол некоторые отрывки из «копии». Текст перлюстрированного письма, заверенный почт-директором, оказался ненужным, что и позволило Миллеру изъять документ из стола Бенкендорфа и передать Деларю для ознакомления поэта с этой историей.

Пушкин получил точную информацию разом от Жуковского и от чинов секретной полиции. Поэт уяснил себе, что Наталья тут ни при чем. Не позднее 29 мая он упомянул в письме жене о полиции, «которая читает наши письма»; 3 июня — о «свинстве почты».

Получив документальные доказательства доносительства почт-директора Булгакова, Пушкин решил проучить его. В Москве, — писал он жене, — «состоит почт-директором н[егодя]й Булгаков, который не считает грехом ни распечатывать чужие письма, ни торговать собственными [дочерьми]»[17]. Поэт предвидел, что его письмо жене будет перехвачено и, скорее всего, уничтожено Булгаковым. Поэтому он познакомил с текстом письма своих приятелей. Цель заключалась в том, чтобы обличить чиновника как агента секретной полиции[18].

В ожидании новых перлюстраций Александр Сергеевич писал 3 июня 1834 г.: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilite de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя»[19]. Фраза предназначалась царю и жандармам.

Подробности, сообщенные поэту доброхотами из секретной полиции, произвели на него удручающее впечатление. Он и прежде сталкивался с такими происшествиями. В 1824 г. перлюстрация одного из пушкинских писем дала повод властям сослать его на несколько лет в Михайловское. Но все это происходило в минувшее царствование, при Александре I. С новым монархом у Пушкина сложились особые отношения, казалось бы, исключавшие подобный образ действий. Доверие поэта к порядочности и честности императора стало рушиться.

10 мая 1834 г. Пушкин записал в дневнике: «...какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным»[20].

Некоторые личные обстоятельства усугубляли гнев Пушкина. Весна 1834 г. была временем настойчивого ухаживания Николая I за Натальей.

Пушкина задело то, что император, как офицеришка, волочится за его женой и через полицию следит за интимной перепиской супругов. «Никто (включая самодержца. — *Р.С.*), — сердито писал поэт, — не должен быть принят в нашу спальню»[21].

Скандал по поводу перлюстрированного письма вспыхнул и улегся в начале мая. Дерзкие рассуждения историографа по поводу его взаимоотношений с царями были оставлены без последствий. К началу июня 1834 г. раздражение поэта улеглось. В письме к жене от 11 июня поэт писал: «На Того (царя. — *Р.С.*) я перестал сердиться, потому что, в сущности говоря, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к говну, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentelman. Ух кабы мне удрать на чистый воздух»[22].

Письмо было написано не без дальней цели. Наталья рвалась в столицу, где ее ждали балы и успех. Пушкин старался внушить жене, что двор со всем его блеском и роскошью — настоящий нужник. Наименование Того джентельменом звучало как горькая насмешка.

Отставка

Придворный мундир, по мнению Пушкина, неизбежно превращал подданного в холопа: «...я могу быть подданным, даже рабом, — писал он в дневнике, — но холопом или шутом не буду и у царя небесного»[1]. Как дворянин Пушкин претендовал на равенство во взаимоотношениях с государем. Он не скрывал этого от членов династии. Говоря о старинном дворянстве, он сказал младшему брату Николая Михаилу Павловичу: «Мы такие же родовитые дворяне, как Император и вы...»[2]

Никто из подданных царя, включая природных князей Рюриковичей, не смел говорить подобные вещи членам царской фамилии. Такие речи сами по себе были фрондерством.

Положение придворного историографа лишало поэта свободы. Чин камер-юнкера скреплял зависимость от двора.

Сознание зависимости было мучительно для Пушкина. В его голову все чаще приходила мысль об отставке: «...плюнуть на Петербург, да подать в отставку... Неприятна зависимость; особенно когда лет 20 человек был независим», — писал он жене 18 мая 1834 г.[3]

Наталья Николаевна поняла слова мужа как упрек себе. Пушкин поспешил успокоить ее: «Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться... но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как угодно» (8 июня 1834 г.)[4].

Поэт понимал, что стоит на пути, гибельном для его дара, и настойчиво искал выход, который позволил бы ему порвать с зависимостью по службе и избавиться от придворных обязанностей.

Мечтания о новой жизни отчетливо звучали в стихах:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый день уносит
Частичку бытия — а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить — И глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

В 1830 г. поэт решил искать счастье на проторенных путях — в семейной жизни. Четыре года спустя он написал «на свете счастья нет». Стихи «Пора, мой друг, пора!» должны были получить концовку. Пушкин набросал план дальнейшей работы: «Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь ets. — религия, смерть»[5]. Последние слова наброска — пророческие: «религия, смерть». Смерть примиряет с Богом, смерть как венец жизни — эта тема начинает громко звучать в творчестве поэта в последние годы.

Последнее мирское пепелище,
Таинственный, приветливый приют,
Поклон тебе, печальное кладбище... (Черновик. 1834).

Страшен хлад подземна входа,
Вход в него для всех открыт... (Черновик. 1835).

Сладкой жизни мне не много
Провожать осталось дней... (1835).

... Но как же любо мне
Осеннею порою, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое... (1836).

Нет, весь я не умру... (1836).

Сама жизнь рождала трагическое сознание. Причиной были не одни беды, преследовавшие поэта после 1834 г., — цензурные притеснения, ссора с царем, бедность, долги. Пушкин обладал потрясающей интуицией и, может быть, предчувствовал близость смерти. Он достиг возраста, который, по понятиям того времени, был порогом старости. Близилась пора, отмеченая духом смирения. Его литературные персонажи заговорили новым языком.

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Герой готов довольствоваться совсем немногим. Но он глава семьи и хозяин Дома. Он ведет достойную и независимую жизнь, а потому может сказать о себе «сам большой».

Житейские размышления героя Пушкин выразил нарочито незамысловатой фразой, заимствованной у Антиоха Кантемира: «Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома»[6]. Крылатые слова «сам большой» в пушкин-

ское время успели превратиться в поговорку.

О чем он думал? О том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь

...Я устрою
Себе смиренный уголок
...Кровать, два стула, щей горшок
Да сам большой...

Отставка и переезд в деревню должны были открыть Пушкину путь в деревенские пенаты, путь к независимой жизни.

Наталье Николаевне поэт сообщил о своей отставке задним числом, когда все было позади: «На днях хандра меня взяла; подал я в отставку»[7]. За этим шутливым извещением скрывался эпизод, едва не перевернувший жизнь поэта.

25 июня 1834 г. Пушкин вручил Бенкендорфу прошение об отставке. Решение это далось ему с большим трудом. Автограф письма поэта имеет дату — 15 июня. Десять дней письмо лежало в столе у Пушкина, и лишь после этого попало в руки шефа жандармов[8].

Текст прошения был предельно кратким: «Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение»[9]. Документ не заключал в себе никаких серьезных аргументов в пользу отставки. Ссылка на Москву и провинцию была неубедительной, поскольку семья Пушкиных жила в Петербурге, и поэт беспрепятственно ездил в старую столицу и в провинцию в течение двух с половиной лет службы. Предположить, что Пушкин рассчитывал на то, что его прошение оставят без внимания, трудно.

15 июня Пушкин составил прошение об отставке и не позднее 19 июня сообщил жене: «Здесь меня теребят и бесят без милости. И мои долги и чужие мне покоя не дают»[10].

Одно обстоятельство имело особое значение. С начала июня столица стала готовиться к главному празднику империи — дню рождения императора, 25 июня[11]. Пушкин пренебрег приглашением монарха и не пошел на праздник, хотя обязан был в качестве камер-юнкера присутствовать на всех церемониях в Зимнем дворце.

Александр Сергеевич долго колебался, прежде чем вручил прошение Бенкендорфу.

25 июня поэт остался дома, вместо того чтобы ехать на прием к царю. Он жалел время и не хотел видеть Николая I, хотя больше и не сердился на него. Неизбежными были расспросы, почему Пушкин, получив приглашение на двух персон, не вызвал жену из деревни и лишил государя удовольствия танцевать с ней. Все знали, что Наталья Николаевна была желанной гостьей в Аничковом дворце. Пушкин не виделся с царем длительное время и теперь должен был поблагодарить его за крупный заем из казны. Однако весь город толковал об огромном проигрыше сочинителя, и тот не знал, уведомили ли жандармы о его игре императора.

В перлюстрированном письме Пушкин писал, что к наследнику с по-

здравлениями по случаю его совершеннолетия идти не намерен. Эти строки должны были сильно задеть Николая I. Поэт не захотел явиться во дворец для поздравлений в день рождения наследника. Теперь камер-юнкер отказался поздравить монарха с его праздником, нарушая не только обязанности придворного, но и правила приличия. Пушкин нимало не сомневался, что после праздника его ждет «мытье головы», и желал избежать унижения.

Тягостная зависимость от службы (прежде всего придворной) и только что предоставленный казенный заем — вот что более всего тяготило поэта в июньские дни. В письме от 8 июня Пушкин дважды упомянул о деньгах, завершив исповедь фразой: «Денег тебе не посылаю». Без денег и без согласия Пушкина его семья не могла отправиться из деревни в Петербург.

С января 1834 г. Пушкин выражал крайнее негодование по поводу своего камер-юнкерского чина. После беседы с ним Алексей Вульф записал в дневнике 19 февраля 1834 г.: «...поэта я нашел... сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева... Он говорит, что он возвращается к оппозиции»[12].

Оппозиция Пушкина не имела политического характера. Политической оппозиции в России после разгрома тайных обществ не существовало. Однако нет никакого сомнения в том, что решение Пушкина выйти в отставку и покинуть столицу было воспринято властями как прямой вызов.

Мысль об отставке была следствием глубокой неудовлетворенности поэта. Речь шла, конечно же, не о шитом придворном мундире, а о несравненно более важных вещах. Перед Пушкиным встал вопрос, как жить дальше.

В Древней Руси бояре выражали несогласие с царем, принимая постриг в монастырях. Отставка камер-юнкера означала примерно то же — разрыв с государем. Но в Российской империи подданный не имел права порвать отношения с монархом. Таким правом обладал лишь сам монарх.

30 июня 1834 г. Бенкендорф сообщил Пушкину: «...Его Императорское Величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы»[13].

В своем послании поэт просил в качестве последней милости не отнимать у него право работать в архивах, дарованное ему его величеством. Однако Бенкендорф уведомил Пушкина, что работать в архивах могут лишь доверенные люди правительства. Потому вход в архивы не будет ему разрешен, — в решении императора таилась прямая угроза.

Хлопоты Жуковского

Николай I дважды беседовал с Жуковским по поводу отставки Пушкина и на вопрос последнего, нельзя ли поправить дело, объявил: «Почему же нельзя?.. Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено»[1]. В словах императора сквозила почти детская обида. Смысл его заявления сводился к тому, что он «не будет более дружить с поэтом». Беда заключалась в том, что августейший монарх и его подданный понимали дружбу неодинаково. Державный государь привык к тому, что его дружба означала покровительство в первую очередь. Для Пушкина покровительство было невыносимо. В 1824 г. он писал правите-

лю канцелярии Казначееву, от которого зависел: «Вы говорите мне о покровительстве и о дружбе. Это две вещи несовместимые»[2].

> Что дружба? Легкий пыл похмелья,
> Обиды вольный разговор,
> Обмен тщеславия, безделья,
> Иль покровительства позор?

Намерение надолго покинуть двор и укрыться в провинции исходило от поэта, и это было неприемлемо для самодержца. Беседа с Жуковским придала делу новый поворот. На этот раз объявление о разрыве исходило от монарха, что соответствовало этикету.

Негодование против «Того» (самодержца) переполняло душу поэта, и он склонен был винить его во всем: «...Бог с ним (царем. — *Р.С.*); отпустил бы лишь меня восвояси»[3]. Однако Николай I вовсе не собирался отпускать поэта со службы в министерстве и при дворе. Он всецело разделял мнение Бенкендорфа о том, что Пушкина нельзя предоставлять самому себе[4]. А кроме того царь был увлечен Натальей Николаевной и не желал, чтобы она на три года покинула столицу.

Об отставке Пушкина заговорили при дворе. Император выразил свое неудовольствие при встрече с Жуковским. Первое объяснение с Пушкиным Жуковский имел, по-видимому, уже 1 июля на празднике в Петергофе.

Бенкендорф написал ответ Пушкину 30 июня 1834 г., но задержал его отсылку. Жуковский составил письмо 2 июля и отправил его поэту с министром Блудовым. В результате письмо Жуковского от 2 июля попало в руки поэта раньше, чем письмо Бенкендорфа от 30 июня. Жуковский пересказал другу свой разговор с императором: ...я только спросил: нельзя ли как этого поправить? «Почему же нельзя? [...] Он может однако еще возвратить письмо свое»[5].

Следуя совету Жуковского, Александр Сергеевич 3 июля составил новое письмо Бенкендорфу. Поэт осуждал себя и выражал раскаяние: «Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу вас, граф, не давать ходу моему прошению. Я предпочитаю казаться легкомысленным, чем быть неблагодарным»[6]. Немного позже в тот же день Пушкин получил официальное уведомление от Бенкендорфа, что царь удовлетворит его просьбу об отставке, но отклонил просьбу о разрешении работать в государственных архивах.

Жуковский поспешил передать жандармам покаянное письмо Пушкина к нему от 4 июля. К тому времени к Бенкендорфу попало также письмо поэта от 3 июля с отказом от отставки. Имея в руках эти два письма и не получив еще второго покаянного письма поэта от 4 июля, Бенкендорф 5 июля подал императору докладную со следующим резюме: «Перед нами мерило человека; лучше чтобы он был на службе, нежели предоставлен себе!!»

Николай I написал на докладе Бенкендорфа: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства»[7].

Вопрос был исчерпан. Но экзекуция продолжалась. Близкие поэта с самого начала стали, хотя и не по своей воле, участниками наказания.

Еще 4 июля 1834 г. Элиза Хитрово привезла Пушкину два письма от Жуковского, написанных днем ранее. Одно было пространное, с укоризнами, а другое — краткое и вежливое. Краткое предназначалось для того, чтобы Пушкин мог ознакомить с ним Бенкендорфа. В пространном письме Жуковский не стеснялся в выражениях: «Ты человек глупый... Не только глупый, но и поведения непристойного...»; если не последуешь совету, «то будешь то щетинистое животное». Жуковский пугал Александра Сергеевича, что тот может «повредить себе на целую жизнь», и настаивал, чтобы он обратился непосредственно к царю[8].

Головомойка дала результаты. 4 июля Александр Сергеевич написал новое покаянное письмо Бенкендорфу: «...необдуманное прошение мое... могло показаться безумной неблагодарностию и супротивлением воле того, кто доныне был более благодетелем, чем государем»[9]. Бенкендорф получил приказ вызвать поэта для объяснений, но решил раньше окончательно сломить его волю. С этой целью он на время передал Жуковскому оба покаянных письма Пушкина, солгав, что еще не показывал ни одно из них царю. При этом он выразил неудовольствие по поводу их содержания. Жестокая игра продолжалась. В письме от 6 июля Жуковский, следуя внушению Бенкендорфа, сообщил Пушкину, что его первое покаянное письмо «так сухо, что оно может показаться государю новой неприличностию»; во втором «есть кое-что живое, но его нельзя употребить в дело». (В действительности уже первое письмо было «пущено в дело» и по нему было принято решение о «прощении» поэта.)

6 июля 1834 г. Жуковский отправил Пушкину еще одно разносное послание: «...надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь»[10].

Жуковский слабо представлял себе, в каком состоянии находился его друг и какое впечатление на него может произвести брань.

Жуковский настаивал на том, чтобы Александр написал прочувствованное послание государю с признанием своей глупости: «Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя»[11].

6 июля 1834 г. Пушкин составил новое послание с выражением безмерной благодарности Николаю I за монаршие милости и с отказом от прошения об отставке: «Государь осыпал меня милостями с первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне... Он всегда был для меня провидением...» и пр.[12]

Вымученные слова преданности царю были едва ли искренними. Напротив, упреки Жуковского пробудили в поэте гордость. Он отвечал другу, что не считает себя виноватым: «Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства... какое тут преступление? какая неблагодарность?.. Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем»[13]. Объясняя Жуковскому причины своего поступка, Пушкин писал: «Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на вся. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима»[14]. Таким же неодолимым стремлением к перемене жизни был захвачен поэт накануне роковой дуэли.

В чем заключались домашние затруднения, можно догадываться. Поэту

не на что было содержать семью. 11 июля 1834 г. он сообщил Наталье: «На днях я чуть беды не сделал: с Тем чуть было не побранился — и трухнул то я, да и грустно стало... А долго на него сердиться не умею, хотя и он не прав»[15]. Пушкин простил царя Николая! В самодержавной России мудрено было пробыть в оппозиции более недели.

Три карты

Пушкину приходилось тратить все больше сил и труда, чтобы преодолеть материальные трудности, с которыми столкнулась его семья. Выделенное ему имение Кистеневка было сразу заложено, а деньги истрачены. Однако помимо Кистеневки род Пушкиных владел другими землями.

Отец поэта С.Л.Пушкин обижался, когда его называли мелкопоместным дворянином. В самом деле, у него было более 1000 душ крепостных крестьян. Но он вел жизнь не по средствам и промотал все состояние. Болдинское имение было заложено и перезаложено. Казенного долгу на нем числилось более 190 000 рублей[1]. В 1834 г. престарелые родители ждали денежной помощи от Александра, не имея денег на переезд в деревню.

Брат поэта Лев, подобно отцу, жил в долг, и Александру приходилось постоянно платить за него. В 1834-1835 гг. он выкупил вексель брата в 10 000 руб., заплатил Павлищеву «в Варшаву за Л.С.» 837 руб., за гостиницу («за брата Л.С. за дом Энгельгарда») 1330 руб., оплатил его долг Плещееву 1500 руб., дал «в дорогу» 950 руб., заплатил портному и пр.[2] Лев имел право на долю доходов от болдинского имения, и заботы брата казались ему недостаточными. Благодарности от него Александр Сергеевич не дождался.

Пытаясь спасти родителей от нужды, Александр Сергеевич взял на себя управление болдинским имением, с тем чтобы сделать его доходным. Очень скоро он должен был убедиться в том, что в считанные недели и месяцы достигнуть этой цели невозможно. Надо было стать на несколько лет рачительным помещиком. Лишь в этом случае можно было рассчитывать на какой-то успех.

В сентябре 1834 г. Александр опрометчиво согласился принять в свое семейство двух взрослых сестер Натали. Решающее значение имели материальные соображения. Пушкины платили большую сумму за наем квартиры. Сестры Гончаровы согласились платить половину этой суммы. Приняв сестер, Натали получила основание отвергнуть предложения мужа по поводу переезда из столицы в деревню. Семья не могла съехать с квартиры, снятой вместе с девицами Гончаровыми, как не могла сложить с себя заботы об их устройстве.

Надежды заработать на хлеб литературным трудом таяли, тогда как траты росли. Дело осложняли карточные долги.

В 1830 г. Пушкин задумал выкупить у Догановского и Жемчужникова свои векселя за 18 000 рублей.[3]

Выполнить план не удалось. В 1831 г. поэт поручил уладить дела с московскими долгами Нащокину. Речь шла о векселях на сумму в 20 000 рублей. «...Я, уплатя им (Догановскому и Жемчужникову. — *Р.С.*) все двадцать тысяч, останусь без гроша», — писал Нащокин. Действуя через

ростовщика Рахманова, Нащокин попытался выторговать для Пушкина дветри тысячи рублей. Осуществить замысел удалось не сразу[4].

7 октября 1831 г. Пушкин писал Нащокину: «Прошу тебя в последний раз войти с ними (Жемчужниковым и Догановским. — *Р.С.*) и предложить им твои готовые 15 т., а остальные 5 я заплачу в течение трех месяцев»[5]. 22 октября Пушкин сообщил, что сам виделся с Жемчужниковым и «они (Жемчужников и Догановский. — *Р.С.*) согласились взять с меня 5000 векселем, а 15 000 получить тотчас»[6].

Дело остановилось из-за отсутствия наличных денег. Наконец, Нащокин обнадежил Пушкина известием, что его «знакомый ростовщик обещает ссуду» в 15 000 рублей[7]. В конце декабря 1831 г. Нащокин прислал поэту весть об окончании дела: «Твои дела Рахманов кончил, векселя получены»[8].

Сделка была скреплена записью на подлинном заемном письме от 3 июля 1830 г. Согласно записи, 24 декабря 1831 г. Жемчужников получил 7500 рублей. Помимо того Пушкин выдал ему новый вексель на 5000 руб. Рахманов, заполучив векселя, держал их несколько месяцев. Лишь 10 апреля 1832 г. ростовщик переслал заемное письмо Пушкину с пояснением, что письмо «по сие время мне нужно было по расчетам моим с Павлом Воиновичем Нащокиным»[9].

На выкуп векселей у Жемчужникова и Догановского было затрачено 15 000 руб. наличными. В январе 1834 г. Нащокин напомнил Пушкину, что тот должен ему «4 тысячи считая проченты»[10]. Упоминание о процентах указывает на то, что речь шла о занятой у Рахманова сумме. Старые карточные долги были в основном ликвидированы. Пушкин остался должен 5000 руб. Жемчужникову и 6000 руб. И.А.Яковлеву.

Освобождаясь от карточных долгов, Пушкин все больше запутывался в сетях ростовщиков. Его положение к началу 1832 г. так осложнилось, что он обратился к приятелю по карточной игре Судиенко и просил в виде благодеяния ссудить ему 25 000 рублей[11]. Судиенко отказал ему.

В «Пиковой даме» поэт описал романтического героя с профилем Наполеона и душою Мефистофиля. Он никогда не брал карты в руки, хотя и был страстным игроком в душе. Случайно узнав тайну трех карт, он вверил случаю все свое состояние и проигрался в прах. Повесть произвела большое впечатление в обществе. «Игроки, — записал Пушкин, — понтируют на тройку, семерку и туза»[12]. «Пиковая дама», законченная в конце 1833 г. , как бы предвосхитила происшествие следующего года, которому суждено было сыграть немалую роль в жизни поэта. Вступая в брак, Пушкин дал зарок не садиться за карточный стол и в течение трех лет держал слово. После отъезда жены в деревню летом 1834 г. он не устоял против соблазна. Поэт избегал общества профессиональных игроков. Но прилежно посещал салон Николая Михайловича Смирнова и его жены Александры Россет-Смирновой. Хозяин дома был очень богатым помещиком и успел проиграть в карты значительную часть состояния[13].

3 июня 1834 г. Пушкин не без гордости записал в дневник: «Вечер у См[ирновых]; играл, выиграл 1200 р.»[14] Несколько дней спустя Пушкин повел крупную игру в Английском клубе. 8 июня он сообщил жене: «Для развлечения вздумал было я в клобе играть, но принужден был остановиться. Игра волнует меня — а желчь не унимается». Поэт остановил игру из-за проигрыша. В том же письме он обещал Наталье не забывать о долге

перед детьми: «...а мы Сашке и Машке постараемся оставить кусок хлеба. Не так ли?»[15]

Однако 28 июня 1834 г. Пушкин со смирением повинился перед Натальей: «Были деньги... — и проиграл их. Но что делать? я так был желчен... Все Тот виноват, но Бог с ним»[16]. Какие деньги были у Пушкина? Он только что получил крупный заем от казны — 20 000 рублей. 19 июня Пушкин еще имел деньги и выслал 1000 рублей Нащокину в счет долга[17]. А 28 июня он уведомил жену о том, что проиграл все деньги.

Пушкин не случайно упомянул в письме «Того» (Николая I). Дело в том, что 25 июня он подал прошение об отставке и в состоянии глубокого эмоционального смятения ждал ответа от императора. Напряжение было слишком велико. Предчувствие больших неприятностей не давало покоя[18]. «Желчь» разыгралась, и поэт оказался за карточным столом. Крупная игра завершилась катастрофой.

В 1834 г. Пушкин, помимо жалованья и литературных заработков, получил заем из казны в 20 000 рублей. Уповая на счастливую карту, поэт делал крупные ставки. К середине 1835 г. он, по собственному признанию, был обременен «долгом чести» в 30 000 руб.[19] Эта сумма учитывала старые карточные долги (векселя на 10 000—15 000 руб.) и новые (15 000—20 000). Сумма проигрыша была много большей. До того как играть под векселя, Пушкин проиграл всю наличность.

Июньский проигрыш был одним из самых крупных в жизни поэта. Он положил начало финансовому краху, подорвавшему материальное благополучие семьи.

Поэт пытался спасти положение с помощью чрезвычайных мер. Согласно помете Пушкина на письме Соболевского, «19 июля 1834 заложено на 37 лет 74 души (за удержанием долгу) выдано 13,242 р. Платить процент 900 руб.»[20]

Если бы поэт не истратил казенную ссуду в 20 000 руб., ему не пришлось бы жертвовать наследственным родовым имением. Заклад кистеневских мужиков позволил поправить дела, но ненадолго.

Весной 1835 г. Пушкин убедился в том, что без нового казенного займа ему не обойтись. Вновь главная проблема заключалась в том, чтобы, взяв деньги из казны, сохранить положение независимого литератора. Задача оказалась сложной, и поэт избрал замысловатый ход.

В апреле 1835 г. Пушкин решил основать газету с тем, чтобы увеличить свои литературные доходы до 40 000 рублей ежегодно. Царь отказал ему, и тогда поэт написал, что теперь он видит себя «вынужденным прибегнуть к щедротам государя, который теперь является моей единственной надеждой»[21]. По мысли Пушкина, казна должна была как бы компенсировать ему утрату верного дохода от издания газеты, а именно, предоставить ему заем в 100 000 рублей единовременно. Поэт подкреплял свою просьбу ссылкой на то, что он решил на много лет отказаться от положенного ему жалованья. Заем Пушкин предлагал рассматривать как основной капитал, ежегодные проценты с которого равны были его годовому жалованью. Заем он предполагал погасить в течение 10 лет. Трезво оценивая возможности литературного заработка, Пушкин не предлагал более платить проценты на взятую сумму[22]. Требуемая сумма должна была покрыть долги поэта (60 000) и обеспечить семью на полтора-два года. Идея единовременного колоссально-

го займа из казны пришла в голову поэту, возможно, после получения им письма от некоего Дурова в апреле-мае 1835 г.[23]

Брат героини Отечественной войны кавалерист-девицы Дуровой, Василий Дуров был одержим навязчивой идеей заполучить 100 000 рублей. Он поражал Пушкина цинизмом и фантастическими проектами раздобывания денег[24]. Один из проектов состоял в получении денег из казны. В заметке «О Дурове» Пушкин коснулся его проекта и поставил автору один-единственный вопрос: «Как! безо всякого права?»

Мир воображаемый и мир действительный на какое-то мгновение слились воедино. Находясь во власти миража, поэт закончил письмо к Бенкендорфу, обсуждая с разных сторон вопрос о собственном праве (или отсутствии такового) на заем из казны: «Я сделал это (обратился за 125 000 в казну. — *Р.С.*) для очистки совести, дабы не упрекать себя, что я пренебрег [каким-либо] способом, [который был в моей власти], который вывел бы меня из затруднения и обеспечил бы мое состояние...» Далее поэт приводил доказательства того, что назначенные ему 5000 рублей, составляющие ежегодные процентные поступления с капитала в 125 тысяч, являются слабой помощью в городе, где он тратит около 25 000 в год.

Заметка «О Дурове» стала надгробием для проекта, лишенного почвы. Незадачливому прожектеру Дурову поэт посвятил слова: «...нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которых бы Дуров уже не подумал»[25]. Вежливое письмо Дурову от 16 июня 1835 г. поэт завершил иронической фразой: «Жалею, что изо 100 000 способов достать 100 000 рублей ни один еще вами с успехом, кажется, не употреблен. Но деньги — дело наживное. Главное, были бы мы живы»[26]. В этом нечаянном «мы» и тривиальной концовке слышалась насмешка Пушкина над самим собой.

Черновик письма Бенкендорфу с проектом займа не был перебелен и не попал в III Отделение.

Тяжкий крест

Столичная жизнь требовала затрат, которые превосходили доходы поэта, и ему постоянно приходилось думать о способах раздобыть деньги.

В 1835 г. поэт, оказавшись в безвыходном финансовом положении, вернулся к планам издания газеты. Он не скрывал отвращения к профессии журналиста, но не видел иного для себя выхода. «Газета, — писал он, — предприятие чисто торговое — сразу дала бы мне способ получить от 30 до 40 тысяч дохода»[1]. Весной 1835 г. Пушкин писал, адресуясь к Бенкендорфу: «...я хотел бы быть издателем газеты, во всем сходной с "Северной Пчелой"»[2]. Письмо не было отправлено главе III Отделения. Но 16 апреля 1835 г. проситель имел личное свидание с Бенкендорфом. Царь отклонил ходатайство Пушкина. «Теперь, когда проект мой не получил одобрения Его Величества, — писал Пушкин по этому поводу, — я признаюсь, что с меня снято тяжелое бремя»[3].

Потерпев неудачу с газетой — городским «торговым» предприятием, Пушкин стал думать о переезде на несколько лет в деревню. Такой переезд избавил бы семью от расходов, связанных с жизнью в столице, позволил бы упорядочить дела в имении, а главное, создать условия для литературного труда.

В мае 1835 г. поэт писал мужу своей сестры Павлищеву: «У меня у самого семейство и дела мои не в хорошем состоянии. Думаю оставить Петербург и ехать в деревню, если только этим не навлеку на себя неудовольствия»[4].

Время надежд минуло. Пушкин мог произнести вслед за персонажем «Скупого рыцаря»:

...О, бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она!

В 1831-1832 гг. поэт согласился принять должность придворного историографа. До той поры поэзия всецело поглощала его помыслы и чувства. Теперь ему предстояло заняться историческими изысканиями в духе Карамзина.

Сочинения Карамзина оставались образцом в глазах русского правительства. К тридцати семи годам Карамзин достиг больших успехов на литературном поприще. Но на пороге наполеоновских войн писатель принял решение, круто переменившее весь ход его жизни. Он взялся за составление «Истории государства Российского». На протяжении 1816-1824 гг. Карамзин опубликовал 11 томов Истории. Они были раскуплены мгновенно и немедленно переизданы. Образованное общество обратилось к истории, чтобы глубже понять и объяснить то, что произошло на его глазах. Прошлое воспринималось сквозь призму настоящего. Настоящим же была победа в войне с Наполеоном. Великие испытания пробудили в обществе патриотические настроения. «История государства Российского» открыла для русских читателей историю Отечества. «Древняя Россия, — напишет позднее Пушкин, — казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили». В отличие от Карамзина, Пушкин уже не мог выступить в роли открывателя российской истории.

Карамзин довел изложение до времени Смуты начала XVII в. Пушкину предстояла несравненно более трудная задача — написать историю истекшего столетия. И сам поэт, и большинство его читателей родились на исходе этого столетия. В истории XVIII столетия прошлое тесно переплеталось с настоящим.

По заказу сестры императора Александра I Карамзин написал «Записку о древней и новой России». В ней он дал обзор русской истории, уделив особое внимание XVIII веку. Не заботясь о реакции августейшей читательницы и императора, Карамзин с полной откровенностью выразил свое отношение к вредной стороне блестящего царствования Петра I, «к вредным следствиям петровской системы». «Мы стали гражданами мира, — писал историограф, — но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виню Петра». Сурово критикуя меры властей, Карамзин твердо отстаивал устои самодержавно-крепостнического строя. Своей благонамеренностью и прямотой историк снискал доверие и дружбу Александра I. Однако все попытки историографа открыть глаза монарху на истинное положение дел не дали результатов. «Записка о древней и новой России» осталась первой русской секретной историей, не разрешенной к публикации. Император стал обращаться к честному Карамзину за советами, но большей частью не следовал им[5].

Александр Сергеевич принял должность историографа, вовсе не помышляя о том, чтобы отказаться от поэтического творчества. Он согласился исполнить царское поручение вследствие многих причин. Во-первых, Петр и его деяния всегда интересовали его. Во-вторых, он питал надежду на то, что Николай I может двинуться по пути пращура. В-третьих, его семья остро нуждалась в постоянном заработке.

Карамзин был одарен талантом, Пушкин обладал универсальностью гения. Двухлетняя работа в архивах многое прояснила и показала в ином свете. От прежнего преклонения перед личностью Петра I не осталось следа. Более трезвым стал взгляд на Николая. 21 мая 1834 г. в дневнике поэта появилась запись о беседе в доме у Смирновых. Кто-то из присутствующих сказал об императоре: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого»[6]. Действительно ли поэт записал чужую речь или фразу произнес он сам? Ответить на этот вопрос трудно.

Первоначально Пушкин предполагал быстро выпустить первый том «Истории Петра». Просидев два года над архивными документами, он писал жене 26 мая 1834 г.: «...скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник...» Две недели спустя он уточнил: «Петр 1-ый идет; того и гляди напечатаю 1-ый том к зиме»[7].

В феврале 1835 г. Пушкин записал в своем дневнике: «С генваря очень я занят Петром»[8]. После того как поправки высочайшего цензора приостановили публикацию «Медного всадника», Александр Сергеевич получил доказательства того, что государь не позволит опубликовать труд о Петре, если этот труд не будет совпадать с его собственными оценками.

Пушкин потратил бездну труда, но том о Петре не увидел света ни в ближайшую зиму, ни два с половиной года спустя. «История Петра» не шла с пера. В начале января 1837 г. поэт много говорил об истории Петра с лицеистом Келлером и, между прочим, сказал ему: «Я до сих пор ничего еще не написал, занимался единственно собиранием материала: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам»[9]. Однако чем основательнее трудился Пушкин над архивными документами, тем больше его оценки расходились с официальными.

Императорская семья внимательно следила за историческими разысканиями Пушкина. Император многократно беседовал с историографом, интересуясь ходом работы. В начале 1833 г. он подошел к поэту на балу у австрийского посла и удостоил его беседы. Предметом обсуждения была история Петра I. В разговоре участвовали министры Блудов и Бенкендорф[10].

Поэт, как всегда, был предельно искренен с царем. В декабре 1836 г. Андрей Карамзин записал слова великого князя Михаила Павловича: «...Пушкин недостаточно воздает должное Петру Великому... его точка зрения ложна... он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения»[11]. А.Карамзин пытался спорить с братом царя, но тот «послал его подальше».

Поэт занимался историей Петра I пять лет. В 1837 г. он продолжал сборы материала, как и в 1834 г., и все больше утверждался в мысли, что историю, над которой он работал, «не позволят печатать». Об этом он сказал в доме П.А.Плетнева 20 января 1837 г. Его слова были тогда же

записаны цензором Никитенко[12]. Поэт не ошибся. Сохранились сведения о том, что Николай I после смерти Пушкина велел выбрать из бумаг покойного все, относящиеся до Петра, и доставить в свой кабинет[13]. Ознакомившись с представленными материалами, царь наложил резолюцию: «Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого»[14].

Поначалу история Петра Великого увлекла поэта. Затем обязанности придворного историографа превратились для него в тяжкий крест. Архивные занятия, составление бесконечных выписок отнимали много сил. Писать «Историю Петра» ради денег Пушкин не мог, а написать ее в официозном духе считал для себя невозможным[15].

1 июня 1835 г. поэт через Бенкендорфа обратился к царю, которому так описал свое положение: «Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые лишь вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только тревоги и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям его величества»[16].

Попытаемся понять, что именно просил Пушкин. Прежде всего он помнил унижения, которым подвергся, когда пытался уйти с царской службы, и избегал вновь поминать об отставке. Свою просьбу он постарался тщательно завуалировать, но это не меняло сути дела. Занятия, которыми поэт был обязан милости государя, это, очевидно, занятия историей Петра, ибо казенное жалованье он получал как историограф Петра. Поэт обещает возобновить свои занятия после возвращения из деревни в Петербург. А это значит, что он просил снять с него обязанности придворного историографа на три-четыре года. Это время он намеревался провести в глуши. Заниматься историей Петра Пушкин мог лишь в столице, где находились архивы. В деревне такие занятия были невозможны.

В свое время Александр I положил опалу на Пушкина, отправив его в деревню. В 1826 г. поэт был в отчаянии от того, что ему пришлось провести в Михайловском долгих три года. В 1826 г. он испросил у Николая I разрешения жить в столице. Прошло менее десятилетия, и Пушкин обратился к монарху с новой просьбой — позволить ему покинуть столицу и уехать на три-четыре года в деревню. Два прошения обозначили начало и конец большого цикла в жизни поэта.

В 1824-1826 гг. поэт был ссыльным изгнанником. Возвращение в Петербург открывало перед ним новый мир, воплощавший власть и славу империи. В глазах подданных этот мир обладал огромной притягательной силой. Дворяне стремились пробиться в него любой ценой. Но высший круг был доступен лишь сановной знати. Приобщение Пушкина к этому миру было связано с дружеским расположением императора. Едва надевший корону Николай I искал дружбы прославленного поэта. Со своей стороны, Пушкин ценил возможность влиять на «просвещенного монарха». Прошло несколько лет, и поэт должен был убедиться в иллюзорности своих надежд. Мир власти утратил в его глазах всякую привлекательность. Пушкин понял, что у него лишь один путь к спасению себя, своего дарования и своей семьи — возвращение в деревню, еще недавно служившую ему местом ссылки.

Император не только отклонил ходатайство поэта, но и пригрозил неми-

лостью. Его резолюция на пушкинском прошении от 1 июня 1835 г. гласила: «Нет препятствия ему ехать, куда хочет, но не знаю, как он разумеет согласовать сие со службой. Спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок»[17].

Намерение надолго отложить работу над историей Петра свидетельствовало о том, что творческие силы поэта искали свободного выхода. Наезженная колея была тесна для беспокойного духа. В последние годы жизни Пушкин помышлял о том, чтобы написать авантюрный роман о современной ему жизни и настойчиво искал в русском обществе прототипы будущих персонажей. Большое впечатление на поэта произвел роман молодого английского писателя Э.Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключения Джентельмена». Пушкин задумал создать историю «Русского Пелама», денди Пелымова, бросающего вызов обществу. Он обдумывал сюжет «Романа на Кавказских водах», предполагал написать повесть из римской жизни, сцены из рыцарских времен, народную драму «Русалка».

Замыслы поэта запечатлелись в неоконченных набросках, едва намеченных планах и отрывках. На чаше весов лежали, с одной стороны, эти замыслы, с другой — тяжеловесная официозная «История Петра I».

Поклонники Пушкина давали восторженную оценку его сочинениям, делая исключение для одной книги — «Истории Пугачевского бунта»[18]. Роль официального историографа подходила для Карамзина, но не для Пушкина.

В 1826-1835 гг. Пушкин трижды просил, чтобы царь отпустил его на волю. В 1835 г. он явно рассчитывал на благоприятный результат. Получив отказ, он не сразу сообщил об этом родителям. 19 июня Сергей Львович писал дочери: «Александр на три года едет в деревню»[19]. 3 июля 1835 г. Надежда Осиповна сообщила дочери новые подробности: «Знаешь ли ты, что Александр в сентябре месяце на три года уезжает в деревню, это решено, он уже получил отпуск, и Натали совершенно тому покорилась»[20]. Все эти планы оказались неосуществимы.

Реакция властей повергла Пушкина в смятение. 4 июля 1835 г. он написал краткое верноподданническое письмо монарху с выражением полной покорности. «Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю... С глубочайшим почтением, преданностью и благодарностью...» — писал он шефу жандармов для передачи императору[21].

С родными поэт был не слишком откровенен и даже сестре не сообщил о причинах крушения своих замыслов. Ольга Сергеевна пришла к выводу о том, что виною всему упрямство Натальи Николаевны[22]. Но она ошибалась.

На верноподданническом письме поэта от 4 июля 1835 г. Бенкендорф записал новое распоряжение государя: «Есть ли ему нужны деньги, государь готов ему помочь, пусть мне скажет; есть ли нужно дома побывать, то может взять отпуск на 4 месяца»[23].

Николай I выразился достаточно четко: «пусть мне скажет». Камер-юнкер должен был лично просить царя о вспомоществовании. Перед нами своего рода психологическая загадка. Почему император настойчиво пытался навязать поэту милостыню? Может быть, в этом сказывалось его понимание дружбы с подданным?

Жуковский тщетно убеждал Пушкина при надобности обращаться прямо к царю, говорил ему, что именно этого от него ждут при дворе. Поэт

был слишком горд, чтобы, подобно холопу, выпрашивать деньги у монарха. Он избегал приемов и праздников, на которых мог столкнуться с государем и, как и прежде, предпочитал общаться с ним через Бенкендорфа. 22 июля 1835 г. он написал шефу жандармов, что находится в крайне затруднительном положении, задолжав 60 000 рублей. Письмо было составлено в выражениях, не слишком подходивших для прошения на высочайшее имя. Надеясь на понимание со стороны государя, Пушкин закончил ходатайство тем, что настолько осыпан благодеяниями его величества, что ему невозможно «просить чего-либо»[24]. В свое время Н.М.Карамзин получил от императора Александра I субсидию в 60 000 рублей. У него были долги. Но деньги были пожалованы ему на публикацию подготовленных томов «Истории государства Российского». Перед кончиной Карамзина Николай I положил больному и его семье пенсион 50 000 ежегодно.

В простоте душевной поэт надеялся, что его отчаянный призыв о помощи будет услышан. Но он заблуждался.

Царь приказывал: «проси». Поэт отвечал: «невозможно просить». Император прекрасно понимал , что Пушкин не хочет одолжений и выше всего ценит свою независимость. Все это не могло не раздражать его. Прочитав письмо Пушкина, откровенное и уклончивое одновременно, Николай I продиктовал свою волю: «Император предлагает ему, — записал Бенкендорф, — 10 тысяч рублей и отпуск на 6 месяцев, после которого он посмотрит, должен ли он брать отставку или нет»[25]. Государь предложил вместо займа вспоможение. Пушкин не должен был платить проценты и возвращать деньги в казну. Но предложенная сумма не могла устроить его.

Во второй раз Николай I повторил слово «отставка». Внешне дружеские слова (все предоставлялось на усмотрение поэта) таили угрозу немилости. Предложенная Николаем I сумма никак не соотносилась с суммой долга, указанной в письме Пушкина. Но она равна была двухлетнему окладу историографа.

Российская бюрократия свято чтила законы выслуги. В соответствии с этими законами Бенкендорф добился того, что бывшего капитана французской армии Булгарина произвели сразу в ранг чиновника VIII класса. В соответствии с «чином» ему положен был больший оклад, чем Пушкину. Однако надо вспомнить, что своему историографу Карамзину Александр I положил оклад в 2000 рублей, и тот никогда не просил о повышении жалованья.

Оклад Пушкина был приравнен к окладу чиновников IX класса. Таких чиновников в империи был легион.

Николай I гордился тем, что неукоснительно исполняет законы. В 1833 г. он выдал двум высшим сановникам — Кочубею и Нессельроде — по 200 000 руб. для помощи их голодающим крестьянам. Эти деньги, записал в своем дневнике Пушкин, «останутся в их карманах»[26]. Два названных высших сановника получали огромные доходы с имений, не считая ежегодного жалованья из казны. Пушкин получал более чем скромный оклад, а потому император предложил ему 10 000 рублей. Но, видимо, была еще одна причина скупости царя. Жандармерия держала под неусыпным наблюдением дома, где велась крупная карточная игра. Проигрыши Пушкина не были секретом для света. Бенкендорф, надо полагать, уведомил государя о них.

При всем расположении к поэту Николай I не желал оплачивать его карточные долги.

Пушкин осознал всю нелепость надежды на крупное вспомоществование и поспешил объяснить царю, что просит не безвозвратную ссуду, не милостыню или подачку, а заем, который со временем сможет возместить.

Поэт имел возможность лично изложить царю свое дело. Но он вновь обратился с письмом к Бенкендорфу. «Из 60 000 моих долгов половина — долги чести», — писал Пушкин в письме от 26 июля 1835 г. На этот раз просителю пришлось изложить суть своего ходатайства точно и ясно. Поступившись гордостью, он просил императора дать ему возможность уплатить 30 000 карточного долгу[27].

Поэт не желал хитрить и не побоялся выставить свое поведение в дурном свете. Его откровенность обезоружила царя, как это бывало неоднократно. Николай I не предлагал более: «если нужны деньги, он готов помочь». Его резолюция была краткой и сдержанной: «Император отпускает ему 30 тысяч рублей с удержанием, как он того просит, его жалованья»[28]. Решение императора полностью опровергает все подозрения насчет того, что Николай I лицемерил, притворяясь другом великого поэта, что втайне он был его недоброжелателем. Государь простил поэту его карточную эпопею, неприличную отцу семейства, и повелел выдать из казны ровно столько, сколько тот просил для погашения карточных долгов. Эти долги более всего мучили Пушкина.

Государь, вероятно, удовлетворил бы ходатайство и без условия относительно невыплаты ежегодного оклада. Но поэт не желал жить по закону: «царь волен жаловать и волен казнить своих подданных». Ему важен был принцип договора с властью, ограждавший его человеческое достоинство и независимость. Именно поэтому он отказывался от государева жалованья на много лет вперед.

Чем больше бился Пушкин в сетях долгов и займов, тем больше запутывался в них. Когда в конце лета 1835 г. он явился за пожалованными 30 000 руб., ему выдали из казны всего лишь 18 231 рубль 67 копеек. Остальные деньги были удержаны казной в целях погашения ранее выданной ссуды в 20 000 рублей и процентов на эту сумму.

Пушкин обратился к министру финансов Канкрину, прося отсрочки. Министр изложил его ходатайство в записке, поданной царю. 30 сентября 1835 г. Николай I начертал на записке: «Исполнить». Обязательство поэта вернуть казне 20 000 руб. (с процентами) не позднее 1836 г. было аннулировано. Он был освобожден от уплаты процентов и получил рассрочку «на четыре года начиная с 1836 г., без процентов». Ссуда в 30 000 руб. была выдана ему в полном виде[29].

Осенью 1834 г. поэт отправился в Болдино. Он надеялся на новый взлет творческих сил. Но надежды не оправдались. В Болдино поэт написал «Сказку о золотом петушке». Позже в его дневнике появилась заметка: Ценсура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:

Царствуй, лежа на боку
и
Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок[30].

Далее следовали слова по поводу глупости цензоров. То была последняя запись в дневнике Пушкина. Дневник был своего рода хроникой современности, насыщенной анекдотами, застольными беседами, светскими новостями и толками[31]. В дневниковых записях Пушкин, по общему правилу, не касался такого предмета, как внутренняя жизнь, потаенные движения души и пр., т.е. того, что составляло суть Дневника в глазах последующих поколений. «Документальная» проза Пушкина, Вяземского, Грибоедова дала некоторым исследователям основание заключить, что внутренняя жизнь, душа оставалась делом настолько частным, что не существовало возможности закрепить ее движения в словесных формах[32].

По замечанию У.М.Тодда, «даже те из русских деятелей культуры, кого в начале XIX века интересовали проблемы внутренней жизни, говорили о них, используя назидательные общие места и описывая разрозненные, мимолетные эмоции. Умение выразить внутреннюю сущность личности оставалось далеко за пределами языка и культуры. Белинский, лидер следующего поколения интеллектуалов, проницательно заметил, что "личность у нас еще только наклевывается"»[33].

Наблюдения подобного рода удачно характеризуют русское общество начала XIX века, но они непригодны в качестве мерила личности Пушкина. Раскрытие внутренней жизни — основное содержание пушкинского творчества. Когда собеседники пытались обсуждать в гостиных то, что связано было с его творчеством, мастер приходил в бешенство. Он не желал вторжения посторонних в мир его душевных исканий. В пушкинскую эпоху жанр Дневника с его непременной рефлексией не сложился, во всяком случае, в России. Раскрыв себя в поэзии, Пушкин не имел нужды повторяться в «документальной» прозе.

В дневниковых записях поэта не было и тени исповеди. Судя по помете П.А.Вяземского, Пушкин показывал дневник друзьям[34].

Одно время Александр Сергеевич примеривался к роли «русского Данжо», обличителя придворных нравов[35]. Но от этих планов он все же отказался. Светская хроника утратила в глазах Пушкина свою занимательность, и он забросил дневник. Нападки цензуры на «Сказку о золотом петушке» стали последней каплей.

Планы Пушкина надолго покинуть столицу и уединиться в деревенской глуши относились к области мечтаний. Его родители и семья жили в Петербурге. К столице поэта прочно привязывали и семейные и издательские дела. В 1835 г. поэт получил от царя новый крупный заем вместе с отпуском на четыре месяца. Однако он так и не смог воспользоваться полученным длительным отпуском.

7 сентября 1835 г. Пушкин уехал в Михайловское, а уже 23 октября вернулся в столицу. Известие о болезни матери ускорило возвращение поэта в столицу.

Столкнувшись с денежными затруднениями, поэт стал возлагать надежды на доходы от деятельности в качестве журналиста и издателя. Он потратил немало сил, сотрудничая в журналах, пока наконец не осознал, что торговые спекуляции, целью которых всегда остаются деньги, не его путь.

1 июня 1835 г. Пушкин писал Бенкендорфу: «В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег; и одна мысль об этом приводит меня в полное бездействие»[36].

Материальная неустроенность, заботы о заработках ради оплаты долгов гасили творческие порывы поэта.

«Такой бесплодной осени, — сообщал поэт Плетневу в письмах из Михайловского в октябре 1835 г., — отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, но я совсем не спокоен»[37]. Кроме стихотворения «...Вновь я посетил» от того времени сохранилось лишь несколько неоконченных набросков. Несколько раньше, в сентябре, он жаловался жене: «...я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. ...А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставил мне имения; он его уже вполовину промотал; ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000»[38].

Мечта о переезде в деревню оказалась неисполнимой. Краткие наезды не позволяли упорядочить дела в имении. «Государь обещал мне газету, а там запретил, — писал он жене из Михайловского, — заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые, и не вижу ничего в будущем»[39].

Не один царь препятствовал поэту выйти в отставку и поселиться в деревне. На его стороне выступали и Жуковский, и Наталья Пушкина, и петербургский свет. После того как в июне Николай I отклонил ходатайство Пушкина о трехлетнем отпуске, Натали и слышать об отъезде из столицы не хотела.

Сестра Пушкина О.С.Павлищева писала мужу 31 августа 1835 г. из Павловска под Петербургом: «Вчера Александр со своей женой посетил меня. Они уже больше не едут в нижегородскую деревню (Болдино. — *Р.С.*), как располагал Monsieur, потому что Madame не хочет об этом и слышать. Он удовольствуется тем, что поедет на несколько дней в Тригорское, а она не тронется из Петербурга»[40]. Наталья Николаевна соглашалась отпустить Александра ненадолго. Но он объявил, что едет в Михайловское на три месяца[41].

А.П.Керн вспоминала о встрече с семьей Пушкиных в доме родителей поэта. Натали рассказывала о своих светских успехах у постели больной свекрови. Муж сказал тогда шутя: «Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню». Однако его намерение осталось неосуществленным[42].

Вражда с министром

Трения с властями не прошли Пушкину даром. Усилились цензурные притеснения. Осложнились отношения поэта с министром просвещения Уваровым.

Президент Академии наук Сергей Уваров, автор ученых трудов по археологии, истории и классической филологии, был человеком незаурядных способностей и блестящего образования. Он входил в качестве одного из учредителей в «Арзамасское общество безвестных людей», объединявшее при Александре I либерально настроенных писателей и чиновников. «Дабы

отдалиться от света», члены общества обзавелись прозвищами: Уварова именовали «Старушкой», Жуковского — «Светланой». Со временем Уваров предпочел литературной карьере чиновную.

Осенью 1831 г. Уваров выразил восхищение стихотворением «Клеветникам России», «прекрасными, истинно народными стихами» и сделал вольный перевод пушкинского стихотворения на французский язык. В переложении президента появились строфы, присочиненные им самим: «Для того, чтобы восторжествовал один из народов (русский или польский. — *Р.С*), нужно, чтобы погиб другой»[1]. Получив стихи Уварова, поэт ответил ему комплиментами: «Стихи мои послужили вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остается от сердца вас благодарить за внимание, мне оказанное, и за силу и глубину мыслей, великодушно мне присвоенных вами»[2]. В преувеличенных комплиментах звучали саркастические ноты. Стихи были слабыми в художественном отношении и заключали мысли, чуждые поэту.

Уваров поддержал избрание Пушкина в Академию. Но столкновение между ними в конце концов стало неизбежным. Первые признаки конфликта появились сравнительно рано.

Если верить воспоминаниям Греча, Уваров, будучи в гостях у Оленина, сказал о Пушкине: «...он хвалится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте (Петру Великому) за бутылку рома». Булгарин запомнил пропитанные ядом слова и повторил их[3].

Нападки Булгарина побудили Пушкина написать стихотворение «Моя родословная», мимоходом задевшее Уварова. В «Моей родословной» сказано: «Не пел с придворными дьячками, В князья не прыгал из хохлов». Эти слова прямо затрагивала семью президента Академии, который был обязан карьерой браку с дочерью министра просвещения Алексея Кирилловича Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы, певшего в придворном хоре.

Цензуру сочинений Пушкина осуществляли два ведомства — Министерство просвещения и III Отделение. Система двойной цензуры отличалась редкой неповоротливостью. 22 августа 1827 г. через Бенкендорфа царь выразил соизволение на публикацию «Стансов» в свою честь. Главный цензурный комитет взялся за дело с большим запозданием: 18 ноября 1827 года. Было постановлено передать «Стансы» на «разрешение» министра. Только 23 ноября Уваров разрешил печатать стихи[4].

Министр Уваров был сторонником жесткой цензуры. Булгарин точно передал его слова, сказанные уже после гибели Пушкина: «Уваров явно говорит, что цensура есть его полиция, а он — полицмейстер литературы!»[5]

9 апреля 1834 г. на рассмотрение министру была представлена поэма Пушкина «Анджело», и он собственноручно вычеркнул из текста 8 стихов, противоречивших, на его взгляд, духу православия. Используя предоставленную ему власть, Уваров распространил цензуру Министерства просвещения на все сочинения Пушкина[6]. Послушным исполнителем его предначертаний стал князь Дондуков-Корсаков, председатель Петербургского цензурного комитета.

Выход в свет «Истории Пугачевского бунта» послужил новым поводом для раздора. Пушкин писал в своем дневнике в феврале 1835 г.: «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков... преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя.

Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан»[7]. Пушкин пренебрег царской «милостью», истребовав себе право проходить цензуру на общих основаниях. И царские «псари» — цензоры и министры немедленно набросились на него.

В апреле 1835 г. поэт написал письмо Бенкендорфу с просьбой о заступничестве: «Я имел несчастье навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения» и пр.[8]

Письмо не было отослано адресату. Шеф жандармов был известным недоброжелателем Уварова, но в деятельность его департамента вмешаться не мог. 16 апреля 1835 г. Бенкендорф пригласил поэта к себе для беседы, но о чем они говорили, в точности не известно.

Цензурные притеснения вызвали у Пушкина взрыв ярости. Он написал оскорбительную эпиграмму: «В Академии наук заседает князь Дундук». (Князь не имел никаких ученых трудов, но занял пост вице-президента Академии наук благодаря протекции Уварова, с которым его, по слухам, связывал порок.) Эпиграмма не была опубликована, но ходила в обществе в списках. Толковали, будто министр потребовал Пушкина к ответу, сказав: «Утверждаю, что Вы сочинитель сей эпиграммы», на что получил ответ: «Я признаю моими стихами токмо те, под коими написано мое имя». Толки эти были записаны московским почт-директором А.Булгаковым, человеком осведомленным[9].

В письме Дмитриеву Пушкин примерно тогда же писал: «...Уваров фокусник, а Дондуков-Корсаков его паяс... Один кувыркается на канате, а другой под ним на полу»[10].

Столкновение с могущественным министром таило в себе опасности, которые Пушкин до поры до времени недооценивал. 28 августа 1835 г. он обратился в Главный комитет цензуры со «всеуниженным вопросом: какую новую форму соизволит он предписать мне для представления рукописей моих в типографию?» На насмешку Уваров ответил насмешкой. 26 сентября он направил поэту казенную отписку с уведомлением, что отныне большая часть его сочинений будет подвергаться министерской цензуре, а именно, рукописи, издаваемые «с особого высочайшего разрешения», будут печататься независимо от цензуры министерста, но все прочие издания — на основании Устава о цензуре будут рассматриваться и утверждаться в Цензурном комитете «на общих цензурных правилах»[11]. Николай I мог просмотреть лишь небольшую часть написанного Пушкиным. Прочее переходило под контроль Уварова.

Копию уваровского письма Пушкину Министерство просвещения отправило в III Отделение. Возражений со стороны жандармерии не последовало.

31 декабря 1835 г. Пушкин направил царю на одобрение «Записки Моро-де-Бразо» со своими комментариями. Николай I читал их и нашел «любопытными»[12]. Но в конце декабря Пушкин напечатал памфлет на министра просвещения. Самодержец стал на сторону сановника. Выражая свое неудовольствие строптивому поэту, император оставил его обращение по поводу «Записок Моро-де-Бразо» без ответа.

Ода «На выздоровление Лукулла» была посвящена взаимоотношениям между Уваровым и ротмистром Кавалергардского полка графом Д.Н.Шереметевым. Известный богач Шереметев перенес в 1835 г. тяжелую болезнь. Уваров доводился родней бездетному ротмистру. Когда в столице

разнесся слух о смерти графа, министр потребовал опечатать его дом и все имущество. Больной выздоровел, и поведение Уварова стало предметом злых шуток при дворе. Граф Юлий Литта, старший обер-камергер двора и непосредственный начальник камер-юнкера Пушкина, не постеснялся бросить обвинение в глаза министру. Эпизод был изложен князем Вяземским в письме от 25 октября 1835 г.: «Здесь было разнесся лживый слух о смерти богача Шереметева... В Комитете министров кто-то сказал, что у него скарлатинная лихорадка. "А у вас лихорадка ожидания" сказал громогласным голосом своим Литта, оборотившись к Уварову, который один из наследников Шереметева. Уж прямо как из пушки выпалило»[13]. О скандале в Комитете министров заговорили при дворе. Пушкин поспешил переложить летучее слово обер-камергера ("лихорадка ожидания") в стихи. В оправдательном письме Бенкендорфу (точнее, в черновике письма) поэт писал: «...анекдот получил огласку и... я воспользовался поэтическим выражением, проскользнувшим на этот счет»[14].

Анекдот об Уварове был известен узкому кругу. Стихи Пушкина ославили министра по всей стране. К выздоровевшему Шереметеву обращены были следующие строки Оды:

...наследник твой,
как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.

Дерзкая сатира на ближайшего помощника царя, всесильного вельможу была встречена с восторгом в либеральных кругах. Бывшие «Арзамасские братья» давно осудили «Старушку» за карьеризм.

А.И.Тургенев писал по поводу Оды: «Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением. — Поделом вору и вечная мука!»[15]

Однако далеко не все общество разделяло восхищение либералов. «Пьеса наделала много шума в обществе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова»; «весь город занят "выздоровлением Лукулла". Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом»; «Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении», — записал в дневнике цензор А.В.Никитенко[16]. Общество было шокировано тем, что образованного русского министра называли вором казенных дров и пр. Об анекдоте Литты, послужившем первоосновой Оды, все забыли.

Нападки на Уварова были восприняты в высших кругах, как доказательство оппозиционности поэта. Николай I велел Бенкендорфу объявить Пушкину выговор, а также предложить ему объясниться с министром. Поэт обещал это сделать, но, кажется, не исполнил обещания. «...Вчера я не мог оправдаться перед министром», — писал Пушкин в черновом письме Бенкендорфу во второй половине января 1836 г.[17]

Заслуженный боевой генерал князь Репнин писал Пушкину после прочтения послания Лукулла: «Вам же искренне скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением частных людей»[18].

5 Зак. 3925

Поэт не скрыл от друзей, что сожалеет о публикации Оды. «Мне самому досадно, — писал он весной 1836 г., — что я напечатал пьесу, написанную в минуту дурного расположения духа. Ее опубликование навлекло на меня неудовольствие одного лица, мнением которого я дорожу и пренебречь которым не могу, не оказавшись неблагодарным и безрассудным»[19]. «Одно лицо» — это император всероссийский. У Пушкина давно пропало желание ссориться с царями. В августе 1836 г. он признался Н.А. Муханову, что, написав «свой мстительный пасквиль», теперь раскаивается в этом[20].

Долли Фикельмон

На склоне лет княгиня В.Ф.Вяземская, осуждая Наталью Николаевну за легкомыслие, писала: «Пушкин сам виноват был: он открыто ухаживал сначала за Смирновою, потом за Свистуновою (урожденная гр. Соллогуб). Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа»[1]. Переписка поэта с женой проясняет вопрос, о каких неверностях шла речь. В письме от 12 мая 1834 г. Пушкин клялся жене: «За Соллогуб я не ухаживаю, вот-те Христос; и за Смирновой тоже. Смирнова ужасно брюхата, а родит через месяц»[2].

В Александре Россет-Смирновой поэт ценил красоту и острый, ироничный ум. Ее непринужденная болтовня и дерзости забавляли Пушкина. Стихотворный портрет девицы Россет дает самое точное представление об их взаимоотношениях.

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный,
И правды пламень благородный,
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Поэт терпеливо сносил злые шутки и полное равнодушие девушки. В старости Смирнова в минуту откровенности призналась Бартеневу, что никогда оосбенно не ценила Пушкина, да и он ей не оказывал особого внимания. Будучи еще не замужем, двадцатидвухлетняя Александра Россет каждое утро являлась на дачу к Пушкиным в Царском Селе и заставляла его читать вновь написанные стихи. Натали пыталась объясниться с ней, на что барышня отвечала: «Что ты ревнуешь ко мне. Право, мне все равны: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев, — разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня». Жена Пушкина отвечала: «Я это очень хорошо вижу... да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает»[3].

Графиня Надежда Соллогуб была более серьезной «неверностью» поэта. Свое увлечение поэт выразил в стихах:

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
Нет, полно мне любить...

Пушкин заканчивал стихи пожеланием счастья тому, «кто милой деве даст название супруги». Семнадцатилетняя девушка делала первые шаги в свете, когда поэт увидел ее в 1832 г. В следующем году Надежда отправилась в путешествие за границу, и Александр провожал ее до Кронштадта. В 1834 г. Соллогуб вернулась в Петербург, и поэт часто виделся с ней у Вяземских.

Натали и графиня Соллогуб постоянно сталкивались в светских гостиных. В октябре 1833 г. Пушкин упрекал жену: «Охота тебе, женка, соперничать с графиней Соллогуб. Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка»[4]. Комплимент «бой-баба» подразумевал опытную светскую львицу; под «шкуркой» имелось в виду нечто противоположное — неопытность и беспомощность. Ревность породила в сердце Натали глубокую неприязнь. В октябре 1834 г. в письме к Вяземской Андрей Карамзин упомянул о том, что Пушкина постоянна в своей ненависти к графине[5].

Недоразумения на почве ревности разрешались супругами без долгих объяснений. Очевидцы описали такой эпизод. Когда поэт стал в присутствии жены за кем-то ухаживать, она немедленно покинула бал и уехала домой одна. Пушкин поспешил за ней и спросил, почему она уехала. Жена дала ему звонкую пощечину. Муж покатился со смеху. «Он, — отметил приятель поэта, — забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует»[6].

Пушкин имел репутацию Дон-Жуана, что заставляло не только чужих, но и близких людей постоянно подозревать его в «неверностях». В то время как жена ревновала мужа к Смирновой и Соллогуб, мать негодовала по поводу Элизы Хитрово. «...По утрам он очень занят, — сообщала Надежда Осиповна дочери, — затем идет рассеяться в сад, где гуляет со своей Эрминией (Элизой Хитрово. — *Р.С.*); постоянство молодой особы (Натальи Николаевны. — *Р.С.*) выдерживает все испытания, и брат твой весьма смешон»[7].

Надежда Осиповна Пушкина не могла и предположить, что ее сын открыто оказывал знаки внимания Элизе Хитрово, но ухаживал за ее дочерью Долли Фикельмон.

Графиня Дарья Федоровна Фикельмон, урожденная Тизенгаузен, была на пять лет моложе Пушкина. Современники отмечали ее редкую красоту. Подруга царицы и жена австрийского посла, она занимала самое высокое положение при дворе. Внучке Кутузова не было и 30 лет, ее муж — граф Фикельмон, в прошлом бравый кавалерийский генерал, был на 27 лет старше ее. Граф был уроженцем Лотарингии, но всю жизнь провел на австрийской службе[8].

Пушкин познакомился с семьей Фикельмон в 1829 г. «...Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без притязаний, с увлечением и огнем...» — записала Фикельмон в дневнике 10 декабря 1829 г.[9]

Долли могла оценить беседу Пушкина, так как в аристократических салонах разговаривала почти исключительно на французском языке. С рус-

ским дело обстояло не так хорошо. Внучка Кутузова провела жизнь за рубежом и по приезде в Петербург вынуждена была брать уроки русского языка.

Фикельмон произвела впечатление на поэта. Составляя список лиц, которым следовало послать визитные карточки под Новый год в декабре 1829 г., Александр Сергеевич отвел ей первое место: «Дворц. набер. Австрийскому посланнику 2». Запись «Хитровой 2», посвященная матери Долли, попала на 16-е место[10].

12 января 1830 г. Долли пригласила поэта участвовать в забаве — «маскарадном выезде». Примечателен список ряженых, составленный ею: «...я, Геккерн, Пушкин [...]»[11].

С точки зрения должностного положения голландский министр Геккерн был самым видным членом компании.

Когда Александр Сергеевич отправился в Москву, Дарья в апреле 1830 г. прислала ему письмо. В ответ Пушкин осыпал дочь Элизы комплиментами: «Я хотел бы уже быть у ваших ног, — писал он. — Позволите ли вы сказать вам, графиня, что ваши упреки так же несправедливы, как ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником вашего очарования (вашей любезности)... хотя вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших светских дам»[12].

Переписка была продолжением светского флирта. Поводом для шутливых упреков красавицы были слухи о скорой женитьбе поэта.

К числу поклонников Дарьи Федоровны принадлежал князь Петр Вяземский. Он чутко реагировал на успех Пушкина. В апреле 1830 г. в письме жене он выражал удивление, почему Пушкин еще не влюбился в «посланницу богов», «посланницу австрийскую» — «он, такой аристократ в любви? Или он боялся l'inceste и ревности между матерью и дочерью?»[13] Со своей стороны, Пушкин подшучивал над чувствами друга. 2 мая 1830 г. он писал Вяземскому: «Правда ли, что ты собираешься в Москву? Боюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге. Говорят, что у Канкрина ты при особых поручениях и настоящая служба твоя при ней». 11 августа 1830 г. Долли записала в дневнике: «Вяземский уехал в Москву и с ним Пушкин писатель... Никогда еще он (Пушкин. — *Р.С.*) не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре». В декабре 1830 г. Долли объявила Вяземскому, что только он и Пушкин могут скрасить ее жизнь в свете: «...нет ничего менее веселого, чем современный салон, — нет больше любезности, нет больше изящества в выдумках, если только вы и Пушкин вскоре не вернетесь»[14].

Брак Пушкина положил конец обмену комплиментами, однако ненадолго. Долли встретилась с четой Пушкиных у матери — Элизы Хитрово. Ее мнение по поводу внешности поэта не изменилось: «...рядом с ней (Натальей. — *Р.С.*) его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, его разговор так интересен, сверкающий умом, без всякого педантства»[15]. Вскоре прежние отношения поэта с Фикельмон возобновились.

17 ноября 1832 г. Долли сделала в дневнике запись, касавшуюся Эмилии Мусиной (в девичестве Шернваль): «...она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает Пушкин-поэт»[16]. Ухаживания

поэта за Мусиной были незначительным и кратким эпизодом, никем в свете не замеченным. Почему же Долли обратила внимание на этот эпизод и сделала запись в дневнике, куда она заносила лишь наиболее важные в ее глазах происшествия? По всей видимости, ухаживания Пушкина задели ее чувства. Умная посольша очень точно определила мотивы поведения красавиц, домогавшихся внимания первого поэта России. Его поклонение стало своего рода пробой, удостоверявшей титул первой красавицы. Соперничество двух выдающихся великосветских звезд завершилось победой Долли.

Воспоминания о романе Пушкина с Фикельмон были записаны П.В.Анненковым и П.И.Бартеневым. В тетрадях Анненкова значилось: «Жаркая история с женой австр. Посланника»[17]. Имеются основания полагать, что Анненков записал слова приятеля поэта Павла Нащокина. Нащокин назвал имя возлюбленой Пушкина. Но он запретил Анненкову публиковать его рассказ и ссылаться на источник; это и объясняет его откровенность. П.И.Бартеневу Нащокин поведал целую историю о романе, но категорически отказался назвать имя любовницы поэта[18]. Друг Пушкина Соболевский прочел воспоминания Нащокина в записи Бартенева. Рассказ о романе Пушкина с Фикельмон не вызвал у него никаких сомнений. Между тем во многих других местах рукописи он сделал пометы: «Не видывал», «Пустяки», «Это вздор», «Никогда не слыхал» и пр.[19]

Следует заметить, что Пушкин увлекся Дарьей Федоровной в период его самого тесного общения с Соболевским. Павел Нащокин и Сергей Соболевский были ближайшими приятелями поэта, с которыми он обсуждал свои отношения с женщинами без всяких недомолвок, с полной откровенностью[20].

Исследователи склонны видеть в повествовании Нащокина устную новеллу Пушкина[21]. Однако такое мнение едва ли справедливо. Приятель поэта, можно думать, не раз повторял захватывающую историю в кругу товарищей, прибавляя новые и новые подробности. Новеллу украшали перлы, подобные следующему: «Они разделись донага, вылили на себя все духи, которые были в комнате, ложились на мех»; «начались восторги сладострастия» и пр.[22] В приведенных фразах звучала живая речь, но не Пушкина, а Нащокина, корнета в отставке, буяна, занятного балагура, любителя пикантных историй. (По матери Нащокин происходил из рода дворян Отрепьевых-Нелидовых, представителем которого был Дмитрий Самозванец.)

XVIII век выработал своеобразные формы любовного поведения, включавшего разного вида обмороки и «сцены»[23]. Петербургские кокетки были знакомы с модными приемами «науки страсти нежной». Речь о Долли Фикельмон зашла, когда приятели обсуждали вопрос о женских «трагинервических явленьях». Беседуя с Нащокиным, Пушкин сослался на пример женщины, избежавшей обморока в отчаянном положении[24].

Пушкин решительно отказался назвать Нащокину имя этой женщины и лишь со временем проговорился. Речь шла о Долли. Тайное свидание в австрийском посольстве затянулось, и любовники не заметили, как настал день. Покидая покои, они столкнулись лицом к лицу с дворецким. Женщина почти лишилась чувств, но в последний момент овладела собой. Нащокин

недаром назвал эпизод «жаркая история»[25]. Пушкин будто бы купил молчание итальянца-дворецкого, дав ему крупную сумму.

Неудачный финал свидания с Пушкиным надолго запомнился Долли. «Блистательная дама в продолжение четырех месяцев не могла без дурноты вспомнить об этом происшествии»[26]. Дарья Федоровна должна была считаться с тем, что кроме двух семей скандал мог затронуть третьих лиц. Мать Фикельмон Элиза была без памяти влюблена в поэта.

Дневник Пушкина пестрит пометками о встречах с Долли. В мае 1831 г. Пушкин впервые посетил дом Фикельмонов вместе с женой. 15 ноября 1831 г. Вяземский передал через Пушкина нежное почтение «австрийскому дому»[27].

Рандеву можно датировать лишь приблизительно: оно имело место в 1832 или 1833 г.

В 1832 г. Пушкин побывал в посольском особняке четыре раза. 4 сентября 1832 г. Вяземский писал, что «жена Пушкина сияет на балах и затмевает других...» Вяземский имел в виду летние балы, один из которых давали Фикельмоны[28]. В сентябре 1832 г. Долли впервые допустила резкий выпад против Натали: «...у нее не много ума».

В 1833 г. поэт часто встречался с Дарьей в свете. 24 июля он был приглашен на раут в ее дом. После вечера Вяземский писал жене: «...было довольно весело. Один Пушкин palpitoit de l'interet du moment (был весь захвачен переживаемым им моментом), краснел, взглядывая на Крюднершу»[29].

Баронесса Амалия Крюднер была пассией императора. Никаких подтверждений тому, что поэт действительно ухаживал за нею, нет. Не было ли все это игрой, позволившей Пушкину утаить роман с Фикельмон даже от ближайших друзей вроде Вяземского?

Австрийский посол редко покидал Петербург. Но 10 августа 1833 г. он уехал в Богемию. По этому случаю П.А.Вяземский писал А.И.Тургеневу: «Фикельмон уехал в Австрию, и австрийская красавица не принимает»[30]. Неделю спустя Пушкин также уехал из столицы, а в конце 1833 г. закончил работу над «Пиковой дамой».

Поэт вернулся из путешествия 20 ноября 1833 г. Четыре дня спустя он был на приеме у Фикельмон; 29 ноября упомянул в дневнике о трауре в семье Элизы Хитрово и Дарьи Фикельмон.

В 1834 г. Пушкин побывал на балу в австрийском посольстве дважды — 28 февраля и 8 марта; в дневниковой записи от 17 марта отметил обед втроем с послом и его женой. Поэт сетовал на то, что Долли заставила ждать себя полчаса, а сам он «во все время» сердился, что приехал в сапогах.

С апреля 1834 г. тон записей в пушкинском дневнике изменился: «Вчера rout у гр. Фикельмон. S. не была»; «S. не было — скука смертная!» Новым увлечением поэта стала графиня Надежда Соллогуб. В начале мая 1834 г. поэт писал, что зван Дарьей на вечер, хотел ехать, но не поехал. Во второй половине июня Пушкин известил жену, что Бобринская и Фикельмон живут на Черной речке, «принимают — а никто не едет». В начале июля он сообщил Натали, что был у Долли и как «ввалился в освещенную залу с нарядными дамами, то и смутился как немецкий профессор: насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил»[31]. Можно предположить, что поэт

не кривил душой. Роман с Долли был позади, и при встрече с ней он испытывал неловкость.

Пушкин охотно посвящал стихи своим «идолам». Роман с Фикельмон был потаенной любовью. Должно быть, по этой причине знатной даме не было посвящено ни одного стихотворения. Лишь дважды он изобразил ее на полях рукописей 1829-1833 годов[32]. На одном рисунке изображена молодая красавица с орлиным профилем. Рисунок наводит на мысль о героине «Пиковой дамы». На стене в спальне старой графини висел портрет с изображением «молодой красавицы с орлиным носом».

После 1832 г. всякие упоминания о Пушкине исчезли со страниц дневника Фикельмон. Лишь в 1837 г. Долли нарушила молчание, посвятив сочувственные слова памяти поэта. Ее тирады по поводу жены убитого звучали почти как признание, намек на собственные переживания: «...какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили, — все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру!»[33]

В письмах Наталья Николаевна не раз упрекала мужа за его «измены», называя соперниц по именам. Но она ни разу не упомянула имени своей покровительницы Долли.

Фикельмон отличалась от идеала женщины, близкого Пушкину. Но он ценил в ней ее недюжинный ум, светский такт и аристократизм, а также живое участие, которое она приняла в его семейных делах.

В начале 1834 г. «жаркая история» еще не закончилась, когда на страницы дневника Пушкина попало имя Дантеса. 26 января 1834 г. поэт записал с явным раздражением: «Барон Д Антес и Маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет»[34]. Небольшая неточность, допущенная Пушкиным, позволяет судить об источниках его информации. По-видимому, он получил сведения от тех, кто хлопотал за двух французских дворян. Хлопоты лишь частично увенчались успехом, поскольку де Пина был определен в армейский пехотный полк (в дальнейшем на него пало подозрение в краже серебряных ложек и он должен был подать в отставку)[35].

Могла ли гвардия роптать в январе по поводу того, что в феврале два никому не известных эмигранта, возможно, получат чин корнета? Событие еще не произошло, и о нем были осведомлены прежде всего покровители молодого француза. В числе их была Дарья Фикельмон.

В дневниковой записи Пушкина видят знак судьбы, роковое предчувствие грядущей трагедии. Так ли это? Поэт не мог предвидеть романа жены с Дантесом и кровавой развязки. Однако были обстоятельства, которые восстановили его против Дантеса.

Дантес приехал в Россию, имея несколько рекомендательных писем. Одно из них было адресовано Д.Фикельмон. Покровительство влиятельной дамы помогло эмигранту сделать карьеру при дворе[36].

Секунданта Пушкина Данзаса живо интересовали взаимоотношения Долли с Пушкиным и Дантесом. По свидетельству Данзаса, француз привез рекомендательное письмо к мадам Фикельмон, пользовавшейся особым расположением императрицы. «Этой-то даме, — заключил он свой рассказ, —

Дантес обязан началом своих успехов в России»[37].

Итак, Пушкина возмутило два обстоятельства: во-первых, то, что власти грубо нарушили русские воинские традиции, приняв эмигранта в гвардию сразу в офицерском чине, и, во-вторых, то что этому способствовала его Долли.

28 февраля 1834 г. Дантес был приглашен на бал к Фикельмонам, где хозяйка представила его императрице[38]. Служба в Кавалергардском полку стоила больших денег, которых у эмигранта не было. Но хлопоты посольши помогли преодолеть затруднение. Подруга Долли — царица, шеф Кавалергардского полка — назначила Дантесу деньги из своей шкатулки[39].

Долли приняла самое живое участие в судьбе двух молодых людей, дебютировавших в свете: Наташи Пушкиной, а затем Дантеса.

Что касается Пушкина, он увлекся женой австрийского министра в то самое время, когда у Натальи Николаевны завязался роман с царем.

Часть II

ВЫЗОВ

Натали и царь

Ухаживания государя за Наташей Пушкиной не выходили из рамок приличия. Но роман был замечен в обществе. Геккерн намекнул на это обстоятельство, заметив, что Пушкина едва не была соблазнена царем.

Дипломат знал цену словам, коль скоро речь шла о царственных особах. Его свидетельство находит подтверждение в пушкинских письмах. Красота Натали и ее успех при дворе стали с некоторых пор предметом душевного беспокойства для поэта.

Николай I обратил внимание на Наталью еще в марте 1830 г., когда она была в невестах и танцевала на московских балах. Когда Пушкин обратился к властям за разрешением на брак, император лестно отозвался о милой и интересной мадмуазель Гончаровой[1]. Летом 1831 г. Пушкины оказались в карантине в Царском селе вместе с семьей Николая I. Император пожелал ближе познакомиться с красавицей. 22 июля 1831 г. мать поэта Надежда Осиповна писала дочери Ольге о невестке: «Она вызывает восхищение всего Двора. Императрица хочет, чтобы она к ней пришла, и назначит день, когда ей явиться. Это досаждает ей очень, но она вынуждена будет покориться»[2]. Несколько дней спустя Н.О.Пушкина сообщила новость: «...Император и Императрица встретили Натали и Александра; они остановились с ними поговорить, и императрица сказала Натали, что очень рада с нею познакомиться, и тысячу других вещей, очень милых и очень любезных. Вот она и вынуждена появиться при Дворе, совсем против своей воли»[3].

Родственники с нескрываемым восхищением следили за карьерой Наташи. В середине августа 1831 г. сестра поэта Ольга писала, что ее невестка прелестна, ею восхищается Царское; она красивая, молодая и любезная женщина, поладит и со Двором (царем. — *Р.С.*), и с императрицей. Но зато Александр, я думаю, на седьмом небе[4]. Ольга Сергеевна знала брата. Его самолюбию льстило то, что красота Натали не оставила окружающих равнодушными.

Наташа вела себя, как любая другая провинциальная барышня. Она робела перед императорской фамилией. По словам золовки, молодая женщина, получив приглашение ко двору, пришла в отчаяние: «...она еще немножко робка, но это пройдет» В письме деду сама Пушкина сообщала: «Я не могу спокойно прогуливаться по саду, так как я узнала от одной из фрейлин, что их величества желали узнать час, в который я гуляю, чтобы

меня встретить. Поэтому я выбираю самые уединенные места»[5].

Вскоре Натали освоилась с новым для нее столичным миром. 4 сентября 1831 г. она удостоилась официальной аудиенции у императрицы, которая была, по сообщению сестры Пушкина, «от нее в восторге». В ноябре Ольга Сергеевна сообщала, что ее невестка «в большой моде. Она принята в аристократическом кругу, и общее мнение, что она красивее всех. Ее прозвали Психея»[6].

Описывая красоту невестки, Ольга Сергеевна не щадила брата: «Физически они совершенная противоположность: Вулкан и Венера, Кирик и Улита и проч. и проч.»[7] Ни в какие пророчества по поводу молодоженов сестра поэта не пускалась.

Новая роль нравилась Наташе. 8 января 1832 г. поэт ругал Нащокину «девическую неосторожность» жены: «На балах пляшет, с государем любезничает... Надобно бабенку к рукам прибрать»[8]. Осенью 1832 г. в голову поэта пришли еще более печальные мысли. Если не удастся утихомирить супругу, того и гляди, он будет рогат. Эти мысли, впрочем, носили отвлеченный характер. «Я ждал от тебя грозы... — писал Пушкин жене из Москвы 30 сентября 1832 г., — а ты так тиха, так снисходительна... Что это значит? Уж не кокю (рогат. — *Р.С.*) ли я? [...] Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc., etc. Знаешь русскую песню — не дай Бог хорошей жены. Хорошу жену часто в пир зовут... А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье»[9]. Здесь звучит скорее грусть, чем ревность.

Светские успехи Пушкиной были впечатляющими. Весной 1833 г. Надежда Осиповна сообщила дочери, что невестка «на Масляной и всю зиму... много веселилась...» Бал-маскарад у министра уделов Волконского 8 февраля продолжался до пяти часов утра. «Хороша очень была Пушкина-поэтша, — писал Вяземский, — но сама по себе, не в кадрили...» (Вяземский намекал на то, что Натали пять месяцев как была «тяжела»). Пушкина сообщила свекрови, что на балу Уделов она «появилась в костюме Жрицы Солнца и имела успех. Император и императрица подошли к ней, похвалили ее костюм, и Император объявил ее Царицей бала»[10].

В начале 1833 г. Александр Сергеевич решил ехать в Поволжье, а жену отправить на лето в деревню. Но Натали отвергла планы супруга. В августе Пушкин покинул столицу. Поздравляя жену с днем ангела, он писал с дороги: «...не кокетничай 26-го. Да бишь! не с кем»[11]. День 26 был днем именин Наташи, а также днем годовщины Бородинской битвы, которую отмечали балом при дворе. Слова «не с кем» заключали намек на то, что император уехал из Петербурга 18 августа[12].

В 1833 г. Пушкин впервые оставил жену на долгий срок в четыре месяца. Натали осталась верна своей привычке сообщать мужу о детях, делах семьи, в особенности же о своих светских успехах. В сентябре Николай I вернулся в столицу. А в октябре 1833 г. признания жены впервые встревожили Александра Сергеевича. В полушутливом тоне он писал Наталье: «Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с ц[арем], ни с женихом княжны Любы»[13].

Пушкин ревновал жену к царю и к флигель-адьютанту Сергею Безобразову, жениху княжны Любы Хилковой. Безобразов отличался редкой красо-

той. В ответ на сообщение Натальи о помолвке Безобразова Пушкин, не скрывая раздражения, писал, что лучше ему жениться, «нежели волочиться весь свой век за чужими женами и выдавать за свои чужие стихи»[14].

В конце 1833 г. Безобразов женился на Любе, а затем разразился скандал. В начале января 1834 г. поэт записал в своем дневнике: «Скоро по городу разнесутся толки о ссорах Безобразова с молодою своею женою. Он ревнив до безумия. Дело доходило не раз до драки и даже до ножа. ...Государь очень сердит. Безобразов под арестом. Он, кажется, сошел с ума»[15]. Истории Безобразовых Пушкин посвятил четыре записи в дневнике[16].

Обычно он излагал светские новости без недомолвок. На этот раз автор дневника умолчал о том, к кому ревновал Безобразов. Но это было главным во всей истории. Говорили, что Люба Хилкова была любовницей Николая I, что и вызвало безумную ревность Безобразова. Государь был «очень сердит», потому что скандал грозил скомпрометировать его[17].

Николай I увлекался женщинами и часто менял фавориток. Его внимания домогались многие светские дамы. Он щедро жаловал избранниц. Их мужья находили «счастье в кике». Немногие осмеливались протестовать. В числе таких был флигель-адьютант и любимец царя Безобразов. Его высылку из столицы объясняли тем, что ревнивец, по слухам, дал государю пощечину.

Пушкин неспроста убеждал жену не кокетничать с царем и с Безобразовым. Наталья была царицей балов. Она не знала равных по красоте. И все же успех выпал на долю ее соперницы Любы Хилковой, которая добилась благосклонности монарха и вслед затем вышла замуж за красавца флигель-адьютанта. Пушкина должна была стать преемницей Любы Хилковой.

Многократно говорилось, что царь домогался любви Пушкиной. Но можно ли усомниться в том, что и Наташа пережила любовное увлечение? Природа наделила Николая I красотой и высоким ростом. Он пользовался исключительным успехом у женщин. Секрет этого успеха заключался в соединении красивой внешности с харизмой монарха, властью самодержца — главы огромной империи, неограниченными средствами. История королевских домов Европы доказывает, что коронованные особы в отношении фавориток не уступали мусульманским властителям с их гаремами, насчитывавшими сотни женщин.

Царский двор был полем всевозможных интриг. Временщики употребляли самые немыслимые средства, чтобы упрочить свое влияние. Они неизменно старались обратить себе на пользу любовные увлечения монарха. Их покровительство было необходимо для успеха придворных красавиц. Сводничество процветало, хотя и не носило вызывающего характера. Покровителю достаточно было в нужный момент обратить внимание императора на красоту своей протеже, передать комплимент, помочь в устройстве свидания.

У Натальи Николаевны был шанс затеряться в толпе столичных львиц — придворных красавиц. Что же помогло скромной барышне, воспитанной в провинции, вскружить голову монарху? Может быть, и у нее были влиятельные покровители при дворе?

Конечно, Наташа была женой знаменитого поэта. Однако как светский человек Пушкин избегал демонстрировать в гостиных свою привязанность к жене. Благодаря поклонению поэта «новым блеском» сияли другие красавицы, как записала в своем дневнике Долли Фикельмон[18].

Источники дают возможность назвать имена лиц, содействовавших карьере Пушкиной при дворе. Как уже сказано, юную Пушкину представила двору Долли Фикельмон. Искусство поведения красивой женщины в свете было искусством кокетства в первую очередь. Долли Фикельмон была искушена в этом, и ее советы, надо полагать, пошли на пользу Наташе.

Княгиня Дарья Ливен, сестра Бенкендорфа, в середине 30-х гг. отметила, что в дипломатическом корпусе выделяются два посла — Фикельмон и Геккерн[19]. Фикельмон представлял Австрийскую империю, Геккерн — Нидерландское королевство. Австрия и Нидерланды были главными союзниками Российской империи в Европе. Фикельмона и Геккерна связывали особые отношения. Долли не слишком лестно отзывалась о голландском после, называя его шпионом Нессельроде. Но это не мешало ей исполнять роль хозяйки в доме у холостяка Геккерна, когда тот принимал царскую семью[20]. Наушничество Геккерна нисколько не смущало Фикельмона, поскольку два австрийских графа — Нессельроде и Фикельмон — прекрасно ладили между собой[21].

П.В.Анненков со слов Нащокина сделал следующую запись: «П. ругал Нессельроде, что она увезла во дворец жену его»[22]. П.И.Бартенев записал более подробный рассказ Нащокина. Последний слыхал от Пушкина, что Наталья попала не на обычный вечер во дворце, а на танцевальный вечер в Аничковом — благодаря покровительству Нессельроде. «Графиня Нессельроде, жена министра, — повествует он, — раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой [придворный] Аничковский вечер: Пушкина очень понравилась императрице»[23]. Нессельроде имела в виду, конечно же, не императрицу, а императора, который желал танцевать с красавицей. Приглашение в Аничков было неслыханной честью. У Нессельроде не было резона протежировать Пушкиной, но она была близкой знакомой Геккерна. Голландский посол был ее постоянным советчиком.

Приятельницы Геккерна графини Фикельмон и Нессельроде —вот лица, которые содействовали успеху Пушкиной при дворе. Эти люди были прекрасно осведомлены о том, как протекал роман Наташи с царем. Задолго до дуэльной истории Геккерн с полной определенностью утверждал, что Пушкина хотела «принести свою честь в жертву другому», иначе говоря, претендовала на роль фаворитки царя[24]. Его слова не были пересказом чужих наблюдений. Княгиня Вера Вяземская подметила, что «Пушкина чувствовала к Геккерну (поручику. — *Р.С.*) род признательности за то, что он постоянно занимался ею и старался быть ей приятным»[25]. Внимание Наташе оказывал, видимо, не только кавалергардский поручик, но и его приемный отец.

Нравы императорского двора были известны Пушкину, и все же до поры до времени он не имел серьезных оснований беспокоиться за свою честь. Теперь ему пришлось взглянуть на происходившее другими глазами.

31 декабря 1833 г. Пушкин пришел в бешенство, узнав о том, что император пожаловал ему звание камер-юнкера. Современники придавали особое значение этому эпизоду в жизни поэта. Объясняя причины его гнева, обычно указывают на то, что низший придворный чин был приличен молодым людям, что поэт не хотел быть шутом и холопом царя. Сам Пушкин записал в дневнике 1 января 1834 г.: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры... Но двору (царю. — *Р.С.*) хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове...»[26]

Император танцевал с Натальей не первый день. Беда была не в этом. К 1833 г. Александр Сергеевич убедился в том, что ему не грозит участь временщика. Но он понял, что его жена может разделить участь Любы Хилковой.

Ближайшему приятелю, Нащокину, поэт жаловался на то, что царь волочится за Натальей Николаевной, «как офицеришка», по утрам нарочно проезжает по нескольку раз мимо ее окон, а вечером на балу спрашивает, почему у нее всегда опущены шторы[27].

Однажды Пушкин имел объяснение с императором. Известие об этом исходит от самого Николая I. Последний вспоминал, как встретил Пушкину перед дуэлью и советовал ей поберечь свою репутацию. Натали, по обыкновению, все рассказала мужу, и тот при первом удобном случае поблагодарил царя за добрый совет. «Разве ты и мог ожидать от меня другого?» — спросил Николай. «Не только мог, — отвечал он, — но, признаюсь откровенно, я и Вас самих подозревал в ухаживании за своей женой»[28]. Рассказ был записан со слов императора бароном М.А.Корфом.

Пушкин не случайно упомянул в дневнике о приглашении жены на танцы в Аничков дворец. Аничков был личной собственностью Николая до его восшествия на престол. С тех пор у него в обычае было устраивать в Аничкове небольшие танцевальные вечера, на которые он приглашал лишь немногих близких лиц. В своем дворце царь от души веселился и даже шалил. По свидетельству М.Корфа, «аничковское общество» было малочисленным и его состав менялся очень редко. Принадлежность к этому обществу определялась не столько служебной карьерой, сколько близостью к царской семье. Любимыми дамами на вечерах в Аничкове были сначала Бутурлина и княгиня Долгорукова, а затем жена поэта Пушкина[29].

Наталья была стройной и по тому времени очень высокой женщиной. Николай был под стать ей ростом и любил танцевать не меньше, чем она. В конце концов красавица стала постоянной партнершей царя на танцевальных вечерах во дворце.

Ссылка в деревню

Когда Пушкин получил чин камер-юнкера, перед его семьей открылись двери Аничкова. Наталья Николаевна даже и не думала скрывать своих чувств по этому поводу. Н.О.Пушкина сообщила приятельнице в письме от 4 января 1834 г.: «...Александр назначен камер-юнкером, Натали в восторге, потому что это дает ей доступ ко двору. Пока она всякий день где-нибудь пляшет»[1]. В письме от 12 января мать поэта написала дочери, что Пушкин стал камер-юнкером к большому удовольствию Натали, но сам он «весьма озадачен, этот год ему хотелось поберечь средства и уехать в деревню»[2]. Слова матери выдают истинную причину озадаченности Александра. 26 января Надежда Осиповна вновь вернулась к той же теме. Она писала: «И вот наш Александр превратился в камер-юнкера, никогда того не думав; он, которому хотелось на несколько месяцев уехать с женой в деревню в надежде сберечь средства, видит себя вовлеченным в расходы»[3]. Царская милость грозила разрушить все планы Пушкина. Она сулила новые обременительные расходы, в то время как долги семьи безудержно росли. В январе 1834 г.

Пушкин не только помышлял об отъезде в деревню, но и готовился к переезду. Был назначен конкретный срок отъезда. 3 марта Надежда Осиповна подчеркивала, что ее невестка через две недели, т.е. 17 марта, «едет в деревню к матери, где думает остаться шесть месяцев»[4].

Пушкин предполагал выехать из столицы раньше жены. 13 февраля 1834 г. Надежда Осиповна сообщала дочери: «Александр на отъезде, а в первых днях первой недели Поста собирается и Натали, она навестит в деревне своих родителей и останется там до Августа»[5]. Немедленный отъезд в деревню — так Пушкин намерен был отреагировать на непрошенную милость двора — навязанное камер-юнкерство.

Тягостное чувство не покидало Пушкина с начала года. 13 февраля 1834 г. его мать писала: «Александра сделали камер-юнкером, не спросив на то его согласия, это была нечаянность, от которой он не может опомниться. Никогда он того не желал»[6].

В воскресенье 14 января 1834 г. жена Пушкина представлялась императорской семье. «Представление Натали ко двору, — писала Надежда Осиповна, — огромный имело успех, только о ней и говорят... говорят, на балу в Аничковом она была прелестна»[7]. Пушкин не счел необходимым упомянуть об этом эпизоде на страницах дневника. Может быть, жена ездила во дворец одна?

17 января 1834 г. Пушкин сделал помету в дневнике о блистательном бале у графа Бобринского. Вскоре же Надежда Осиповна описала бал в письме к дочери: «...на балу у Бобринского Император танцевал с нею (Наташей. — *Р.С.*) Французскую кадриль и за ужином сидел возле нее»[8]. Танцевальная карьера красавицы достигла высшей точки.

23 января Пушкин записал в дневник: «В прошедший вторник зван я был в Аничков»[9]. Визит не удался. Александр Сергеевич оставил жену во дворце, а сам отправился на вечер к С.В.Салтыкову. Пушкин совершил величайшую бестактность. Будучи принят в привилегированное «аничковское общество», он пренебрег этикетом. Ему надо было доказать, что он, будучи пожалован в придворные, не собирается жертвовать своей независимостью.

Пушкин не лишил жену возможности танцевать с царем. Но приличия были нарушены, и Николай I выразил неудовольствие поведением поэта, сказав нескольким лицам: «Он мог бы дать себе труд съездить надеть фрак и возвратиться. Попеняйте ему». Благожелательница Александра Сергеевича графиня Бобринская попыталась исправить впечатление, сказав, что у нового камер-юнкера не были нашиты пуговицы. 25 января монарх обратился к Натали с нелюбезным замечанием: «Из-за башмаков или из-за пуговиц ваш муж не явился последний раз?»[10] О дерзости Пушкина говорил весь Петербург.

По свидетельству М.Корфа, в Аничковом Николай I имел обыкновение провожать масленицу: «На прощании с нею в folle jounnee (безумный день) завтракали, плясали, обедали, и потом опять плясали»[11].

За три года Наталья успела родить двух детей, что не могло не сказаться на ее здоровье. В ноябре 1833 г. свекор видел ее и записал: «...Натали похудела необычайно, настолько, что это меня тревожит»[12]. Зимой 1833 г. Пушкина была вновь в положении, но даже близкие не знали об этом. 13 февраля свекровь писала по поводу жены Александра: «Его жена теперь на

всех балах, она была в Аничковом. Она много танцует, к счастью для себя не будучи брюхатой»[13]. Из последующих писем следует, что беременность Наталии была предметом спора в семье. Будучи женщиной опытной, свекровь предупреждала невестку, что она тяжела. Но тетка Загряжская отвела подозрения, а в результате Наталья «прыгала всю зиму и, наконец, всю масленую, будучи два месяца брюхата»[14]. Последний день масленицы — 4 марта 1834 г., начавшийся для красавицы триумфом, закончился большой бедой. «На масленице, — сообщил Пушкин Нащокину, — танцовали уже два раза в день... Жена во дворце. Вдруг, смотрю, — с нею делается дурно — я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает»[15]. Мать Пушкина описала эпизод более подробно. «В воскресенье вечером на последнем балу при дворе Натали сделалось дурно после двух туров Мазурки; едва успела она удалиться в уборную Императрицы, как почувствовала боли такие сильные, что, воротившись домой, выкинула»[16].

На ближайшей аудиенции во дворце в начале апреля 1834 г. императрица подошла к Пушкину со словами: «Как поживает ваша жена? Ее тетка в нетерпении увидеть ее в добром здравии...»[17] Из-за выкидыша Пушкина надолго слегла в постель. Императрица пожелала ей выздоровления в соответствующей придворному этикету форме. Во дворце никто не видел в случившемся ничего, порочащего Пушкина. Но молва не щадила поэта. Что бы ни произошло в его семье, все тотчас становилось предметом пересудов и кривотолков. Несчастье породило клевету. Отец поэта С.Л.Пушкин писал дочери осенью 1834 г.: «...сплетни, постоянно распускаемые насчет Александра, мне тошно слышать. — Знаешь ты, когда Натали выкинула, сказали, будто это следствие его побоев. Наконец, сколько молодых женщин уезжают к родителям провести 2 или 3 месяца в деревне»[18]. Рассуждение отца кажется бессвязным: говорят, будто Пушкин поколотил жену, но мало ли молодых женщин уезжает в деревню к родителям?.. Но фраза все же не лишена логики: многие молодые женщины (и Натали в их числе) уезжают в деревню по своей охоте, без побоев от мужа. Иначе говоря — отъезд вовсе не означает побоев.

Всего более поэта удручало то, что клевету распускали не враги, не светская чернь, а знакомые и близкие.

В том, что случилось с Пушкиной, более всех других повинна была она сама. За день до выкидыша, 3 марта 1834 г., мать Пушкина сообщила Ольге: «Масленица очень шумная, всякий день утром и вечером бал и спектакль — с Понедельника до Воскресенья. Натали на всех балах, всегда хороша, элегантна, везде принята с лаской. Она всякий день возвращается в 4 или 5 часов утра, обедает в 8, встает из-за стола, чтобы взяться за свой туалет и мчаться на бал»[19]. При таком распорядке дня удивляться несчастью не приходилось. Осенью 1834 г. Пушкин заподозрил, что его жена вновь брюхата, и умолял ее быть осторожной: «Не забудь, что ты выкинула и что тебе надобно себя беречь»[20]. За Пушкиным не было никакой вины за случившееся.

Толки о побоях были злонамеренной клеветой. Но отец Пушкина, записавший злую молву, выдал истину. Раздор в семье поэта был вызван тем, что муж решил отправить Натали подальше от двора, в деревню, тогда как жена противилась этому, так как понимала, что ее отъезд положит конец флирту с царем и освободившееся место немедленно займет другая.

Пушкина не покидала мысль о необходимости как можно скорее покинуть столицу. 6 апреля 1834 г. его мать писала: «Натали едет на будущей неделе, они поедут, наверное, всей семьей, Александр будет ее сопровождать». Отъезд в деревню был спасением для поэта. Он понимал это, но заботы о заработке вновь удержали его в Петербурге. «Александр остается, его жена уедет в Москву с детьми, как только сможет...»; «Александр остается здесь до августа...»[21] Наталья Николаевна отправилась в путь 15 апреля 1834 г.

Звание камер-юнкера было предметом зависти многих светских людей. Распространились слухи, что поэт сам домогался придворного чина, использовал то, что его жена в фаворе[22].

Еще в декабре 1833 г. Николай I разрешил издать «Историю Пугачевского бунта». В начале февраля 1834 г. Пушкин задумал испросить у казны заем в 15 000 руб. на печатание книги о Пугачеве. 26 февраля он подал прошение, в котором сумма займа была повышена до 20 000 рублей. На другой день император распорядился печатать «Пугачева» в казенной типографии, подчиненной ведомству М.М.Сперанского. 5 марта Бенкендорф дал знать Пушкину о согласии Николая I на предоставление займа. Казенная типография израсходовала на издание «Пугачева» 3.291 рубль 25 копеек[23]. 16 марта 1834 г. Николай подписал указ о выдаче Пушкину казенного займа в 20 000 рублей на условиях погашения его в течение двух лет.

Прошло два года с того времени, как Пушкин был взят на службу для написания истории Петра. Вместо истории первого императора он сочинил историю бунтовщика Пугачева. Поощрять историографа было явно не за что.

Царские милости имели в виду не одного Пушкина, но и его семью. О романе царя и Натальи Николаевны пишут обычно без уточнения дат. Между тем, увлечение было, по-видимому, непродолжительным. Переписка Пушкина с женой позволяет установить начальную веху романа с полной достоверностью. Будучи в Болдино, муж просит Наталью: «не говори, что искокетничалась» (8 октября 1833 г.); через три дня — «не кокетничай с царем» (11 октября); через десять дней — «кокетничать я тебе не мешаю» (21 октября); через девять дней — «ты, кажется, не путем искокетничалась» (30 октября); через неделю — «кокетство ни к чему доброму не ведет» (6 ноября). На исходе осени 1833 г. беспокойство поэта достигло предела. В ноябрьском письме Пушкин просил Наталью: «Не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc., etc. — не говоря об cocuage (положении рогоносца), о коем прочел я на днях целую диссертацию в Брантоме»[24]. Французский писатель начала XVII в. Пьер Брантом составил жизнеописание знаменитых красавиц. Один из томов его сочинений был посвящен дамам, украсившим своих мужей рогами. Этот том поэт иронически именовал диссертацией[25].

Флирт Пушкиной с царем продолжался с осени 1833 до начала марта 1834 года, т.е. примерно полгода. Ухаживания императора становились все более настойчивыми, вызывая тревогу и ярость в душе поэта. Неизвестно, чем кончился бы роман Натали с монархом, если бы Пушкин не прибег к суровым мерам и не отправил жену в деревню. Поэт знал, что навлечет гнев императора, но это его не остановило.

Наталья была чужой в кругу друзей Пушкина и не могла пожаловаться

им. Со своей стороны, Александр Сергеевич сделал все, чтобы скрыть от друзей семейные распри.

Из всех писем Натальи тех дней известно лишь одно. Оно было написано 14 мая 1834 г. и начиналось словами: «С трудом я решилась написать тебе, так как мне нечего сказать тебе и все свои новости я сообщила с оказией...»[26] В этих словах Пушкиной звучала отчужденность.

Будучи в провинции, Натали не оставляла мысли о возвращении ко двору и высказывала пожелание об определении во фрейлины двух своих сестер. Пушкин с неодобрением отнесся к планам жены. Характерны его аргументы. «Охота тебе думать о помещении сестер во дворец, — писал он, — ...коли возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы... Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора»[27]. Поэт боялся, что император не откажет просительнице, но той придется платить за милость, и светская молва ославит Пушкину как фаворитку государя.

Наталья получила разрешение мужа вернуться в столицу лишь с наступлением осени 1834 г. Ссылка в имение матери была самым большим наказанием в ее жизни. «Изгнание» продолжалось четыре месяца, с апреля по август 1834 г. Предлогом было отсутствие денег, а главное — необходимость поправки здоровья жены. Однако мать Натальи 14 мая 1834 г. поспешила сообщить зятю, что не увидела в дочери никакого недомогания: «по-видимому, она вполне здорова»[28]. В провинции Пушкина танцевала до упаду, совершенно так же, как танцевала бы в столице. Разница заключалась в том, что среди ее кавалеров не было монарха. Место блистательных танцоров двора заняли кавалеры поплоше, о которых поэт писал с юмором: «...ты бабенка, за неимением Того (царя. — *Р.С.*) и другого, избираешь в обожатели» человека «лет 36... С пузом и в картузе. Имеет 300 душ и едет их перезакладывать — по случаю неурожая»[29]. Пушкин называл императора обожателем жены не часто, но все же называл.

В самом конце лета 1834 г. поэт покинул столицу и провел полмесяца с женой в имении под Москвой, а затем уехал на осень в Болдино. Наталья Николаевна вернулась в столицу в сентябре. Жизнь в разлуке продолжалась до 15 октября.

В ноябре танцевальные вечера возобновились. Как и прежде, свекровь внимательно следила за успехами невестки. На петергофском празднике, писала она дочери, Натали была «очаровательна»[30], но об особом внимании к ней Двора свекровь более ни словом не обмолвилась. На полгода Натали исчезла из поля зрения государя, а это был слишком большой срок.

В начале 1835 г. Пушкина была вновь в положении, и это отняло у нее возможность опять блеснуть в «безумный день» — на проводах масленицы в Аничковом. Поэт позаботился о том, чтобы беда не повторилась. Николай I лишился любимой партнерши, и 14 мая 1835 г. Натали благополучно родила ребенка.

Дочь Пушкиной от второго брака А.Ланская-Арапова со слов матери писала, что второго сына та хотела назвать Николаем, очевидно, в честь царя. Но муж отказал ей и предложил на выбор одно из двух имен, принятых в роду Пушкиных, — Гаврила или Григорий. Поэт приглашал приятелей крестить Гаврилу Александровича. Но Наташа выбрала имя Григорий[31].

Семейная жизнь Пушкина, казалось бы, навсегда положила конец его

бесконечным дуэльным историям. Но в самом конце 1835 г. поэт проявил беспокойство о чести Натали и по незначительному поводу вызвал на дуэль юного Владимира Соллогуба. Если верить поздним воспоминаниям Соллогуба, он упрекнул Наталью Николаевну за то, что ей нравится танцор Ленский, сказав при этом, что она еще «недавно замужем». Из легковесной шутки «присутствующие дамы соорудили целую сплетню»[32]. В ранней записке Соллогуб был более откровенным. «Бывши с Н.Н.Пушкиной у Карамзиных, — писал он, — имел я причину быть недовольным разными ее колкостями, почему я и спросил у нее, давно ли она замужем? «[33]

В черновике письма к Пушкину граф был более точен. «Если я предлагал вашей супруге другие нескромные, может быть, вопросы, — писал он, — то это было, может быть, по причинам личным, в которых я не считаю себя обязанным отдавать отчет»[34]. Как видно, Соллогуб имел не очень приятное объяснение с женой поэта. Произошел обмен колкостями.

Дуэльная история длилась несколько месяцев. Посылая картель, поэт, как и положено, не входил в объяснения. Но когда Соллогуб попытался устранить недоразумение, Пушкин напомнил ему, что он обратился к Наталье Николаевнне «с неприличными замечаниями» и хвалился, что наговорил ей «дерзостей»[35]. Преследуя Соллогуба, Александр Сергеевич отправился в Тверь, но не застал противника. В концов концов дело закончилось миром[36].

Пока дело не выходило из рамок приличия, светские ухаживания за женой не возмущали Пушкина. Но история с Соллгубом должна была послужить грозным предостережением для всех, кто попытался бы преступить границы.

Как это ни странно, именно ухаживания Николая I сделали положение Натали неуязвимым. Никто не смел соперничать с государем. Что касается Дантеса, он был всецело поглощен карьерой и старательно отмечал в своих письмах малейшие знаки царского расположения.

Когда в августе-сентябре 1835 г. Дантес начал ухаживать за Пушкиной, ему нечего было опасаться немилости самодержца. Император предался новым увлечениям.

Натали вернула доверие мужа. В письме из Москвы от 6 мая 1836 г. Пушкин пустился в шутливое объяснение с женой. «Про тебя, — писал он, — идут кой-какие толки... ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц»[37]. Спокойный тон письма указывает на то, что к маю 1836 г. эпизод с ухаживаниями царя стал далеким прошлым. Пушкина насмешило подслушанное им в Москве «вранье». Сплетни устарели и утратили смысл. Шутливая эпиграмма в прозе намекала на похождения самодержца, который, будучи великим театралом, имел слабость к актрисам и не щадил не только женщин, но и девиц — театральных воспитанниц[38].

За Пушкиной ухаживали два «офицеришки», из которых только один казался опасным, тогда как второй не воспринимался всерьез.

Природу страсти царя Пушкин определил ядовитым замечанием о гареме из театральных учениц. Чувства Дантеса к Натали отличались от эмоций монарха.

Роман Дантеса

Гроза 1812 года отгремела, и дворянское общество предалось галломании с удвоенным усердием. Французские эмигранты пользовались успехом в модных петербургских гостиных.

Семья Жоржа Дантеса не принадлежала к старинной французской аристократии. Его предки получили дворянство в 1731 г., а титул барона — при Наполеоне. Знатностью род Дантесов не мог тягаться с Пушкиными, гордившимися шестисотлетним дворянством. Дантесы никогда не располагали богатствами, которыми владел основатель рода Гончаровых в XVIII в.

Жорж родился в многодетной семье. Ничто не предвещало ему блестящей карьеры. Дантес начал службу при дворе Карла X. Он доказал свою преданность трону в дни революции, свергнувшей монарха в 1830 г. Пушкин назвал его шуаном. Так именовали сторонников законного короля Карла X, которые собрались в 1832 г. в Вандее, чтобы продолжить борьбу. Шуаны ничего не добились. Карьера Дантеса была окончательно загублена, и год спустя беглец явился в Россию, где ему пришлось все начинать сначала.

В России эмигрант рекомендовал себя как воспитанник королевского военного училища Сен-Сир. В действительности он пробыл в Сен-Сире менее года и не получил военного образования[1].

Жорж с трудом оправился от пережитой им житейской катастрофы, что сказалось на его дальнейшей судьбе. Он легко мог затеряться в толпе французских беглецов, если бы не нашел покровителя в лице голландского дипломата барона Геккерна Луи Борхарда де Беверваарда. Тот помог ему сделать карьеру, но не без корысти для себя. Старый Геккерн склонил Жоржа к сожительству. Чтобы поступить в императорскую гвардию, Дантесу пришлось взять в долг крупную сумму, необходимую для экипировки офицера. Барон Геккерн погасил долг Дантеса в 1835 г.[2] Родной отец смог выделить для содержания сына всего 200 франков в месяц. Этих денег было совершенно недостаточно, чтобы служить в Кавалергардском полку. Высшая русская знать начинала службу в гвардии с рядовых, в соответствии с петровскими уставами. Для Дантеса было сделано исключение. По пути в Россию Жорж останавливался в Пруссии. Там он пытался устроиться на службу в королевскую гвардию. Из-за отсутствия офицерского патента ему предложили унтер-офицерский чин. Эмигрант отклонил предложение. Но ему удалось получить от наследника прусского престола рекомендательное письмо к генерал-адьютанту В.Ф.Адлербергу, приближенному царя. По словам командира Кавалергардского полка, Дантес был рекомендован Николаю I Карлом X. Наконец, за него деятельно хлопотал голландский посол Геккерн[3].

Протекция влиятельных лиц позволила Дантесу сдать офицерский экзамен по программе гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, включавшей проверку знаний по русскому языку и словесности. Генерал Адлерберг заверил императора, что Дантес знает русский язык, хотя последний не мог сказать по-русски и двух слов. В послужном списке кавалергарда значилось, что при поступлении на службу он «на верноподданство России не присягал»[4].

Дантес не сразу освоился в новой для него среде. Польский доктор Станислав Моравский, приятель французского эмигранта, писал о нем следующее: «Это был молодой человек ни дурной, ни красивый, довольно высокого роста, неуклюжий в движениях, блондин, с небольшими белокурыми усами. В вицмундире он был еще ничего себе, но... когда надевал парадный мундир и ботфорты, мало кто завидовал его наружности»[5]. Довольно быстро кавалергард привык к шитому мундиру и приобрел светский лоск. Отличительной чертой Дантеса было умение нравиться людям. Это качество позволило ему войти в моду и приобрести славу «знаменитого Дантеса». Отзывы о его ничем не примечательной наружности и неловкости были забыты. Свет заметил красоту молодого человека. Впрочем, все свидетельства о его красоте исходили исключительно от женщин.

По словам однокашника Пушкина К.Данзаса, Жорж Дантес был человеком неглупым, но весьма скудно образованным[6]. Офицеру были чужды литературные интересы, он мало читал[7]. Как писал Павел Петрович Вяземский, кавалергард был человеком практичным и дюжинным, приехавшим в Россию делать карьеру, добрым малым, который постоянно балагурил[8]. Александр Карамзин знал Жоржа лучше, чем Вяземский, так как был его другом. Как и Пушкин, Карамзин поначалу поддался обаянию «доброго малого». Но после катастрофы у него открылись глаза. «Дантес был пустым мальчишкой, когда приехал сюда, забавный тем, что отсутствие образования сочеталось в нем с природным умом, — писал "по собственому опыту" Александр Карамзин, — а в общем — совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении»[9]. В петербургских салонах французский эмигрант блистал прежде всего как веселый собеседник, любитель каламбуров и неплохой танцор. В зрелые годы Дантес произвел на Проспера Мериме впечатление изощренного оратора и очень хитрого малого[10].

Дантес вовсе не собирался выслуживать чины образцовым исполнением обязанностей в полку. Более всего он уповал на свои успехи в свете и не участвовал в безобразных выходках молодых кавалергардов из лучших фамилий. В своих письмах к барону Геккерну он сообщал о суровом наказании провинившихся, подчеркивая тем самым свое благоразумие.

С определенного момента главное место в письмах Жоржа к приемному отцу барону Геккерну занимает его роман с Пушкиной. Дантес, как и Натали Гончарова, родился в 1812 г., но их жизненный опыт был несоизмерим. У Натали были дети, и она должна была чувствовать себя старше и опытнее своего поклонника.

В письме к Геккерну от 20 января 1836 г. Жорж Дантес преподносит приемному отцу как свежую новость вспыхнувшее чувство к некой госпоже: «...самое скверное — я безумно влюблен! [...] вспомни самое прелестное создание в Петербурге и ты узнаешь имя. Самое же ужасное в моем положении — что она также любит меня, но видеться мы не можем, до сего времени это немыслимо, ибо муж (Пушкин. — *Р.С.*) возмутительно ревнив»[11]. Если роман начался в январе 1836 г., значит, он продолжался менее года. Однако Пушкин полагал, что Дантес был увлечен Натальей Николаевной не менее двух лет. В письме Геккерну он писал (в ноябре 1836 г.), что поведение Дантеса было ему полностью известно уже давно, он наблюдал за тем, что происходит, и при этом «хорошо знал, что красивая внеш-

ность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство... всегда производят некоторое впечатление [на сердце] молодой женщины»[12].

Анна Ахматова попыталась объяснить отмеченное противоречие и высказала мнение, что Дантес был влюблен в Пушкину с января до осени 1836 г., так что их роман был непродолжительным[13]. Так ли это? В январе Дантес известил отца о своих чувствах к Пушкиной. Отсюда можно было бы заключить, что к началу марта роман длился не более двух месяцев. Между тем, в письме от 6 марта 1836 г. Дантес, забыв о своих январских откровениях, нечаянно обмолвился о «безудержной страсти, что пожирала меня 6 месяцев»[14]. Итак, кавалергард влюбился не в январе 1836 г., а в сентябре 1835 г., а значит, роман продолжался более года.

Переписка сестер Гончаровых подтверждает это. С дачи на Черной речке Александрина Гончарова описала веселую прогулку на верховых лошадях в Лахту 14 августа 1835 г.: «Дам нас было только трое (Пушкина с сестрами. — *Р.С.*) и еще Соловая... и 12 кавалеров, большей частью кавалергарды... был большой обед; были все музыканты полка, так что вечером танцевали, и было весьма весело»[15]. Н.А.Соловая была женой кавалергарда, приятеля Дантеса, и принимала в нем самое живое участие. Прогулки в окрестностях столицы пробудили у Дантеса надежды. Но едва он начал ухаживать за Натали, как заболел и просидел дома «два смертельно длинных месяца» — октябрь и ноябрь[16]. Болезнь не охладила увлечения.

Посол Геккерн ревновал молодого человека. Приемный сын сделался откровенным лишь после того, как появилась опасность, что покровитель, на год уехавший в Голландию, узнает обо всем от петербургских друзей.

Сведения о двухлетнем постоянстве француза Пушкин получил, без сомнения, от жены, а источником ее уверенности были, конечно же, клятвы Дантеса. Натали простодушно поверила словам красавца-кавалергарда.

Из переписки Дантеса с Геккерном следует, что в 1835 г. поручик находился в связи с женщиной, вероятно, замужней дамой или вдовой, имевшей двух детей. Сохранилось письмо офицера к этой особе, датируемое временем до его усыновления Геккерном. В нем Жорж передает даме от имени своего отца, в ответ на ее любезности, «миллион нежностей». (Он имел в виду своего действительного отца, «виновника моего существования»).

Поручик имел роман с сиятельной особой, имевшей двух статс-дам. «Во всю мою жизнь, — писал поручик, — я не видел ничего менее похожего на женщину, чем та из вашей свиты, которая говорит по-немецки»[17]. Имя пассии кавалергард не хотел предавать бумаге и потому именовал ее в письмах Супругой. Прозвание «Супруга» указывало на привычную, утратившую романтизм связь. В сентябре Жорж в письме к Геккерну уведомил благодетеля, что Супруга «в сильнейшем отчаянии», так как лишилась ребенка и ей грозит потеря другого. В письме от 1 сентября Жорж ссылался на свой опыт жизни с Супругой — опыт «всего прошлого года». 23 ноября 1835 г. он мимоходом сообщил отцу, что «разрывает отношения со своей Супругой» и обещал сообщить об окончании его «романа» в следующем письме[18]. Жорж выбрал неудачное время: он бросил Супругу в тяжелый для нее час.

Заметим дату намечавшегося разрыва Дантеса с Супругой — конец ноября 1835 г. К этому времени «безудержная страсть» Дантеса к Пушкиной уже «пожирала» его в течение по крайней мере трех месяцев. О том, когда

фактически кончился роман с Супругой, офицер так и не сообщил отцу.

Приведенные факты примечательны тем, что они не согласуются с привычным представлением о распущенности молодого французского дворянина. Увлекшись Пушкиной, он решил порвать связь с Супругой. По свидетельству очевидцев, Дантес охотно говорил о своих победах над женщинами. Это вполне понятно. Такими разговорами он старался заглушить молву о позорной связи с приемным отцом.

Поручик боялся скомпрометировать Пушкину. «Во имя Господа, — писал он отцу, — никому ни слова, никаких расспросов, за кем я ухаживаю. Ты погубил бы ее... я осмотрителен и до сих пор был настолько благоразумен, что тайна эта принадлежит лишь нам с нею...»[19]

Осенью 1835 г. А.С.Пушкин надолго уехал в Михайловское. В последних числах сентября Натали переслала мужу записку Анны Керн и тут же обрушилась на него с ревнивыми упреками. Александр Сергеевич, пораженный ее вспышкой, отвечал: «Получил я, ангел кротости и красоты! письмо твое, где изволишь ты, закусив поводья, лягаться милыми и стройными копытцами... Жду от тебя писем порядочных... а не брань, мною вовсе не заслуженную, ибо я веду себя как красная девица»[20]. Ревнивые укоры Натали, весь эмоциональный всплеск, вероятно, был связан с началом романа с Дантесом.

С момента приезда в Михайловское заботы о семье ни на минуту не покидали поэта. «...Беспрестанно думаю о тебе, — писал он жене, — и ничего путного не надумаю. Жаль мне, что я тебя с собою не взял... Сегодня видел месяц с левой стороны, и очень о тебе стал беспокоиться... Пиши все, что ты делаешь, чтобы я знал, с кем ты кокетничаешь»[21]. В письмах поэта нет и тени ревности. Он привык к тому, что Натали проводит время в вихре светских удовольствий, и вовсе не думал упрекать ее за это. В его словах звучали грусть и умиротворение: «В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых я уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею. [...] Все это не беда; одна беда: не замечай ты, мой друг, того, что я слишком замечаю»[22]. Эти строки были написаны в те самые дни, когда Наталья до упаду танцевала с молодыми кавалергардами.

Жорж водил дружбу с Александром Карамзиным. Чета Пушкиных часто посещала салон Карамзиных. Познакомившись с Дантесом у Карамзиных, поэт ввел его в свой дом. 2 февраля 1836 г. Жорж сообщил приемному отцу: «...я люблю ее еще больше, чем две недели назад... У меня более, чем когда-либо, причин для радости, ибо я достиг того, что могу бывать в ее доме»[23].

По замечанию Соболевского, «Пушкину чрезвычайно нравился Дантес за его детские шалости»[24]. Приятель Пушкина Н.М.Смирнов также отметил, что Дантес — «ловкий, веселый и забавный, болтливый как все французы», — при знакомстве понравился поэту[25]. Сам Пушкин в письме к отцу характеризовал Дантеса так: «Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде, богатый»[26].

Решающее объяснение между кавалергардом и Натали произошло на

карнавале в феврале 1836 г. Молодой человек обратился к даме сердца с мольбой «пренебречь ради него своим долгом». Красавица не отвергла его вовсе, но проявила удивительную деликатность: «Невозможно вести себя с большим тактом, изяществом и умом, чем она при этом разговоре». При виде картинных страданий Жоржа (он задыхался) Пушкина утешала его словами, которые, с точки зрения француза, давали ему твердую надежду на победу. Пушкина, писал Жорж, «описала мне свое положение с таким самопожертвованием, просила пощадить ее с такою наивностью... Наконец промолвила: "Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите большего... Пощадите же меня и любите всегда так, как теперь"»[27].

Будучи женихом, Пушкин видел много доказательств спокойного безразличия сердца Натальи и считал, что может снискать ее расположение и привязанность, но не может понравиться ей. Выйдя замуж за поэта, Натали увлеклась императором, а затем Дантесом. Насколько серьезным было ее увлечение Николаем I и насколько серьезной — любовь к Дантесу, сказать невозможно.

Оценивая взаимные уверения влюбленных, надо иметь в виду приверженность людей того времени к романтическим и преувеличенным выражениям. Однако при чтении писем поручика не возникает сомнения в искренности его чувств. Трудно согласиться с мнением Ю.Лотмана о том, что Дантес ухаживал за Пушкиной, потому что был заинтересован «в скандале — речь шла не о любви, а о расчетливом ходе в низменных карьеристских поползновениях»; кавалергард затеял шумный и гласный роман с известной дамой света, чтобы рассеять порочащие слухи о его противоестественных связях с Геккерном[28].

Быт и культурная атмосфера, в которой воспитывались Наталья и Дантес, были различны, так что слова о взаимной любви имели неодинаковый смысл в их устах. Пушкина слыла жестокой кокеткой, но при этом строго берегла свою репутацию и слишком дорожила доверием мужа.

В марте 1836 г. последовало новое объяснение между молодыми людьми. К этому времени кавалергард уже кое-что уяснил себе. Он писал о Натали: «Она была много сильней меня, больше 20 раз просила она пожалеть ее и детей, ее будущность». Мольбы должны были смягчить отказ, но француз не был обескуражен. «Желай она, чтобы от нее отказались, — писал поручик, — она повела бы себя по-иному... конечно, есть такие, у кого на устах чаще слова о добродетели и долге, но с большей добродетелью в душе — ни единой»[29]. Поведение Татьяны Лариной было для Пушкиной достойным образцом.

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

5 февраля 1836 г. фрейлина Н.К.Мердер записала в дневнике, что видела счастливых госпожу Пушкину с Дантесом, и это подтвердило правильность сделанных ею ранее наблюдений — «они безумно влюблены друг в друга»[30]. 6 марта Дантес сообщил приемному отцу, что наследник престола на балу во дворце «шутит со мной о ней»[31].

Роман стал предметом шуток не только при дворе, но и в семье поэта. Сестра Пушкина писала о Дантесе в конце 1836 г.: «Ни для кого не была секретом его страсть к Натали. Я хорошо знала об этом, когда была в

Петербурге и часто подшучивала по этому поводу»[32].

Пушкин был удручен заботами. Его жена испытывала упоение от своего успеха в свете[33].

Переписка с приемным отцом преподнесла Дантесу неприятный сюрприз. Его восторженные откровения не вызвали у старого барона ничего, кроме раздражения. «Знаю, — писал сын, — эти подробности (любви к Натали. — *Р.С.*) тебя удручают» (2 февраля 1836 г.); «не ревнуй, мой драгоценный: ты-то останешься навсегда, что же до нее — время окажет свое действие... ничто не будет напоминать мне ту, кого я так любил. Ну а к тебе, мой драгоценный, меня привязывает каждый новый день все сильнее» (14 февраля)[34].

Уговаривая Жоржа пожертвовать увлечением, Геккерн прибегнул к неожиданному аргументу. Сын воспроизвел этот аргумент, воспроизвел в своем письме: «ты» (отец. — *Р.С.*) написал, «будто до меня она хотела принести свою честь в жертву другому»[35]. Указание на «другого» имело в устах дипломата особый смысл, потому что «другим» был император всероссийский.

Барон Геккерн и его сын

Пушкин имел все основания саркастически отзываться об отношениях Геккерна и его «так называемого» сына. Дантесу было 22 года, послу — 41, когда «старый» Геккерн привез юношу в Петербург. В мае 1835 г. барон начал хлопотать об усыновлении кавалергарда, что должно было положить конец неблагоприятным толкам об их нежной дружбе. Переписка Жоржа с приемным отцом пестрит любовными объяснениями и ревнивыми упреками самого недвусмысленного характера. «Надо бы, чтобы ты был рядом, чтобы я мог много раз поцеловать тебя и прижать к сердцу надолго и крепко»; «Как же крепко мы обнимемся!» — писал молодой человек Геккерну[1]. Одно из первых писем (от 11 августа 1835 г.) Жорж заканчивал словами, посвященными поездке барона в Италию: «...может быть, Вы поедете туда, глаза там очень большие и очень черные, а сердце у вас чувствительное, так что...»[2] Его слова проникнуты ревностью, а также беспокойством по поводу имущественного устройства. Нидерландские законы воспрещали Геккерну отказать свое состояние усыновленному французу, пока самому барону не исполнится 50 лет[3]. Ввиду этого молодой офицер опасался, что за 6 лет у приемного отца появится другой фаворит.

В России гомосексуализм считался худшим грехом. Отсюда постоянные старания Дантеса завоевать славу донжуана и сердцееда. Дуэль сына с Пушкиным грозила разрушить карьеру посла. Но изобличение в грехе могло привести к катастрофе много раньше дуэли. Уязвимость положения объясняет, почему Геккерны стремились избежать какой бы то ни было огласки и скандала, которые могли бы привлечь внимание света.

Барон не ревновал сына к Супруге, а позднее к Екатерине Гончаровой ввиду равнодушия к ним Жоржа. Увлечение же Пушкиной перевернуло сердце Дантеса, и это встревожило Геккерна.

Резко отрицательное отношение Геккерна к роману сына объяснялось не одной ревностью, но и трезвым расчетом. Дантес считался одним из самых завидных женихов. Устроив с умом его брак, посол мог получить большие

выгоды. Роман сына с Пушкиной грозил расстроить планы дипломата.

Обеспокоенный гневом благодетеля, Дантес попытался успокоить его. Уже 14 февраля 1836 г. он уведомил барона, что «стал немного спокойнее» и допускал критические замечания по поводу предмета своего обожания («в этой женщине обычно находят мало ума»)[4]. 6 марта Жорж выразил готовность подчиниться воле отца: «Господь мне свидетель, что уже при получении твоего письма я принял решение пожертвовать этой женщиной ради тебя. Решение мое было великим... я ни мгновения не колебался» и пр.[5] Свое «великое решение» поручик подтверждал ссылками на факты: «...я избегал встреч так же старательно, как прежде искал их, я говорил с нею со всем безразличием... но думаю, что не выучи я твоего письма, мне недостало бы духу»[6]. По всей видимости, письмо Геккерна содержало подробную инструкцию сыну, как следует вести себя с красавицей. В новом письме от 28 марта Жорж подтверждал: «...как и обещал, я держался твердо, я отказался от свиданий и от встреч с нею: за три недели я говорил с нею 4 раза»[7].

В письме от 6 марта Дантес уверял благодетеля, что победил в себе безудержную страсть, от которой «осталось лишь преклонение да спокойное восхищение созданьем, заставившим мое сердце биться так сильно»[8]. Однако уже 28 марта он сознается: «...не могу скрыть от тебя, что все еще безумен»[9].

Хлопоты об усыновлении Жоржа продолжались год. В мае 1836 г. Геккерн вернулся в Россию и сделал официальное заявление властям о том, что «по велению» короля Голландии Дантесу разрешено носить имя и титул барона Геккерна[10]. Посол допустил неточность. Необходимое разрешение было дано королем только в 1838 г.[11] Летом Дантес вместе со своим полком должен был покинуть Петербург на несколько месяцев. Он вновь осыпал Геккерна миллионом благодарностей и обещаний: «...надеюсь, что деревня исцелит меня окончательно — я несколько месяцев не увижу ее»[12].

С наступлением весны молодой кавалергард стал реже встречаться с Натальей. Но причиной тому были не столько его «великое решение», сколько внешние обстоятельства, вовсе не зависевшие от него. В конце марта Натали была на седьмом месяце беременности, из-за чего она не могла более танцевать в свете. С марта 1836 г. поручик зачастил в дом Барятинских. Восемнадцатилетняя княжна Мария Барятинская была едва ли не самой завидной невестой столицы. Ее семья располагала большими земельными богатствами и пользовалась дружбой императорской четы. В последнюю неделю марта Жорж четыре раза являлся к Барятинским с вечерним визитом. В июне-июле в дневнике княжны Марии появляются записи о том, что Дантес пригласил ее сначала на вальс, а затем и на мазурку.

Геккерн остался доволен сыном. Его планы сосватать Жоржу богатую и знатную невесту, казалось, были близки к осуществлению. Барятинская 3 августа записала в своем дневнике: «...за обедом я все время очень краснела, и Дантес с Геккерном меня очень смешили. После обеда... Дантес поехал верхом, а мы в коляске... Вечером я танцевала первую кадриль с наследником... попурри с Дантесом... [Дантес] немного за мной ухаживал и сказал мне, что я была очень мила»[13]. Накануне Дантес был украшением бала в имении Барятинских. Мария отметила: «Я веселилась...», после ужина «стало еще веселее»[14]. Однако со второй половины августа тон записей

княжны резко изменился. 17 августа она писала: «На мне белое платье, отделанное бархатом. Меня нашли очень красивой. Вначале я веселилась. (13 строк зачеркнуто) ...Раухи пригласили Александра Трубецкого и Геккерна (Дантеса. — *Р.С.*) сесть за наш стол. Я почти словом с ними не обмолвилась... (зачеркнуто 34 строки)»[15].

Жорж имел возможность видеть Натали в гостиной у Карамзиных. С мая 1836 г. Софи Карамзина отметила, что Дантес «не появляется больше». Причина была та, что Натали ждала ребенка, а затем у нее были трудные роды и она целый месяц не выходила из комнаты. 26 июня 1836 г. Пушкина впервые выехала на прогулку в карете.

С июня кавалергард возобновил посещение дома Карамзиных, рассчитывая встретить даму сердца. В июне Софи писала: «...по вечерам у нас бывают гости, Дантес — почти ежедневно». 1 июля Кавалергардский полк был переведен в Красное село. Вскоре же Софи записала, что гуляла под руку с Дантесом и «он забавлял меня своими шутками... и даже смешными припадками своих чувств (как всегда к прекрасной Натали)»[16].

В июле-августе возобновились прогулки трех сестер — «прекрасных амазонок» в окрестностях столицы близь бивуаков кавалергардского полка. 31 июля они после полудня выехали из городского дома в Павловск. Кавалергарды, писала Катерина Гончарова, «в специально подготовленной для нас палатке дали нам превосходный обед». Общество трех сестер делили Наталья Петрово-Соловая и Идалия Полетика. Их принимали офицеры полка. Непогода загнала дам в избу к ротмистру Г.Соловому[17]. В тот день Мария Барятинская записала в дневнике: «...я не очень веселилась на балу».

6 августа был танцевальный бал во вновь построенном здании Минеральных вод на Каменном острове. По воспоминаниям Н.М.Колмакова, внимание присутствовавших привлекали Пушкин и его красавица жена. «Бал кончился. Наталья Николаевна в ожидании экипажа стояла, прислонясь к колонне у входа, а военная молодежь, по преимуществу из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в стороне, около другой колонны, стоял в задумчивости Александр Сергеевич, не принимая ни малейшего участия в этом разговоре»[18]. Приятель поэта К.Данзас записал, что «после одного или двух балов на Минеральных водах, где были г-жа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина»[19]. Толки о романе Дантеса и Натали, смолкшие в апреле-мае, возобновились и вышли за пределы узкого круга. Невзирая на обещания отцу, француз вновь оказался у ног Пушкиной.

С августа Кавалергардский полк перешел на квартиры в Новой деревне. 5 сентября на Елагином острове состоялся бал в честь храмового праздника полка. Вечер стал венцом светских успехов Натальи Николаевны[20]. «Пушкина казалась прекрасной волшебницей», — писала императрица после вечера на Елагином острове[21].

Красота Пушкиной покоряла окружающих. Молодой правовед и музыкант Вильгельм Ленц так описал появление Натали на приеме у князя Одоевского: «Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла... Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал — incessu dea patebat!» (Казалось, вошла богиня! [*латинск.*])[22].

Дантес разрывался между домами Пушкиной и Барятинской, что вело к фатальным неудачам. Геккерн всеми средствами старался устроить выгодную партию для Жоржа, и сыну пришлось подчиниться его советам. Примерно 10 сентября Мария Барятинская записала в дневнике: «Maman рассказала мне, что Геккерн-младший навещал ее в городе и что он сказал в ответ на один из ее вопросов ... что является большим поклонником прекрасного, а что нет матери красивее нее и дочери прелестнее меня и т.д. Он передавал мне почтительнейшее уважение»[23].

Геккерн-старший умело готовил почву для сватовства. Но приемный сын не оправдал его надежд. Тогда отец пустился в объяснения с Натали. В письме Нессельроде от 11 марта 1837 г. посол предлагал допросить Пушкину: «Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза»[24]. Исследователи полагали, что барон лгал. Но переписка Геккерна с сыном не оставляет сомнений в том, что он говорил правду. До своего возвращения в Петербург в мае 1836 г. посол в письмах жестоко бранил Дантеса. Летом он пытался воздействовать также на Натали. Говоря о ее романе с Дантесом, барон называл вещи своими именами и даже употреблял оскорбительные выражения. Заметим, что откровенные объяснения едва ли могли иметь место, если бы между Геккерном и Пушкиной ранее не возникли доверительные отношения.

Увещевания дипломата не подействовали на жену поэта.

12 сентября семья Пушкиных переехала с дачи в город. Неделю спустя Дантес встретился с Пушкиными на даче у Карамзиных в Красном селе. Падчерица Екатерины Карамзиной Софи, делившая общество Дантеса в отсутствие Натали, была задета его невниманием на рауте и дала волю злословию. Все гости, писала Софи Карамзина, были очень веселы, за исключением Александра, «который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен». Описав взор поэта как «грустный и задумчивый», Софи без всякой паузы переиначивает свое повествование в некий роман с соответствующим набором романтических фраз: «Его блуждающий, дикий, рассеяный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе...»; «Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял... в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий»[25].

Софи попросила Пушкина занять графиню Строганову, когда та переступила порог гостиной. «Он было согласился, краснея...» Софи страдала сильной близорукостью. Тем не менее она заметила краску на лице поэта, что дало ей повод для язвительного замечания: «...она (Строганова. — *Р.С.*) — одно из его отношений, и притом рабское»[26]. На вечере была Александрина Гончарова, но Софи писала не о ней, а о Кочубей-Строгановой.

Будучи светской барышней, Софи Карамзина судила о том, что происходило на ее глазах, сугубо поверхностно. Ее привлекала исключительно романтическая подоплека поведения Пушкина. Между тем, у поэта было много огорчений и забот помимо кокетства жены. В июле 1836 г. Наталья Николаевна с тревогой писала брату Дмитрию о душевном состоянии мужа: «...мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того вижу, как он печален, подавлен, не спит по ночам и, следовательно, не может работать, чтобы обеспечить нам средства

к существованию»[27]. Беспокойство, тяжелые предчувствия не покидали поэта.

В день лицейской годовщины 19 октября 1836 г. у М.Л.Яковлева собралось 11 бывших учеников, среди них Пушкин и Данзас. Поэт извинился, что не докончил стихи в честь 25-летия Лицея и только начал при наступившей тишине читать строфу «Была пора: Наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался...», как из глаз его полились слезы, он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты[28]. Как значится в протоколе собрания, господа пировали, читали бумаги из архива старосты Яковлева и пели национальные песни[29].

Пушкин отнюдь не придавал такого значения ухаживаниям Дантеса за Натали, какое придавала им Карамзина. Следует иметь в виду также, что поведение кавалергарда не было вызывающим. С некоторых пор он принял позу кавалера Катерины Гончаровой, незамужней сестры Натали. Таким путем он старался обмануть разом и своего отца, и мужа Пушкиной. Его игра никого не могла ввести в заблуждение, но помогала соблюсти приличия. Это отметила Софи, написавшая, что Дантес «продолжает все те же штуки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой в конце концов все же танцевал мазурку»[30]. Софи была вынуждена констатировать, что кавалергард пропускал танец за танцем и сделал исключение лишь для мазурки.

При чтении писем Софи надо учитывать, что жанр писем имел свои особенности. В письме брату от 20 октября Карамзина описала прием в своей городской квартире, куда семья переехала с дачи в середине октября. На этот раз она обошлась без ссылок на «дикие» и «нежные» взгляды присутствующих. Письмо значительно проиграло с точки зрения беллетристики, но выиграло в смысле достоверности. «Мы вернулись, — писала Карамзина, — к нашему городскому образу жизни, возобновились наши вечера, на которых с первого же дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес, Екатерина рядом с Александром (Карамзиным. — *Р.С.*)... к полуночи Вяземский...»[31]

По крайней мере до начала октября дом Пушкиных был открыт для Геккернов, а салон посла — для Пушкиных. 29 сентября 1836 г. сестры Гончаровы были на музыкальном вечере у голландского посла. Обычно они никуда не выезжали без своей замужней сестры[32].

Натали могла встречаться с Дантесом в доме Карамзиных вплоть до 3 ноября, когда Софи записала: «У нас за чаем всегда бывает несколько человек, в их числе Дантес»[33]. По-видимому, Пушкин на описанных вечерах отсутствовал, из-за чего романтический элемент в отчетах Софи Карамзиной полностью отсутствует. Прозаическое описание распределения мест за столом указывало на то, что Жорж садился подле Натали, но не Катерины, что не вызывало удивления присутствующих.

Тайное свидание

По мнению П.Е.Щеголева, Дантес добился от Натали тайного свидания в конце января 1837 г., что и послужило поводом к смертельному поединку[1]. С.Л.Абрамович не согласилась с мнением П.Е.Щеголева. Она обратила внимание на то, что в своих воспоминаниях свояченица поэта Александрина Гончарова-Фризенгоф излагает события в хронологическом

порядке и при этом помещает известие о рандеву среди сведений первой половины ноября 1836 г. Если рандеву имело место в начале ноября, оно не могло служить непосредственым поводом к дуэли, происшедшей три месяца спустя[2].

Оспаривая открытие, Э.Герштейн назвала воспоминания Александрины крайне недостоверными и отметила, что в ее повествовании трудно найти строго хронологическую последовательность[3].

Более надежным источником, по ее мнению, являются воспоминания Вяземской, которая, якобы, сознательно описывает рандеву «в ряду с январскими событиями»[4]. И Вяземская, и Александрина были очевидцами происшедшего, при этом наиболее осведомленными. Чье же свидетельство следует признать более достоверным?

И свояченица поэта, и княгиня Вера Вяземская записали свои воспоминания в старости, много лет спустя после гибели поэта. Тщетно было бы искать в их рассказах строгую хронологическую последовательность. Давно замечено, что хронология — самый уязвимый момент воспоминаний. И Гончарова, и Вяземская многое перезабыли, и их изложение трудно назвать стройным и последовательным[5].

Поздние источники должны уступить место ранним документам, исходящим от участников событий и составленным в момент события. Это прежде всего дневники и письма. Письмо Дантеса к отцу, написанное осенью 1836 г., имеет особое значение. Этот редкий по откровенности документ дает ключ ко многим не вполне ясным сюжетам дуэльной истории.

Жорж обратился к отцу после встречи с Натали Пушкиной на рауте у Вяземских. Летний сезон закончился, и с конца сентября 1836 г. Вяземские открыли свой городской дом для светских приемов. Пушкины и Дантес постоянно посещали их салон. 17 октября поручик сообщил отцу, что «вчера вечером» виделся с Пушкиной у Вяземских. После встречи, — жаловался кавалергард, — меня «охватила слабость», по возвращении домой оказалось, «что у меня страшная лихорадка, ночью я глаз не сомкнул и испытывал безумное нравственное страдание»[6]. Упоминание о лихорадке, по мнению профессора Серены Витале, свидетельствовало о начале болезни, уложившей Дантеса в постель. Из полковых документов известно, что поручик болел с 19 по 27 октября 1836 г. На этом основании Витале датировала письмо 17 октября.

В своем послании Дантес писал отцу следующее: «...если эта история будет продолжаться, а я не буду знать, куда она меня заведет, я сойду с ума». Кавалергард молил отца о содействии и одновременно «инструктировал» его, что следует предпринять. Традиционная точка зрения, считает Серена Витале, состоит в том, что на скользком пути Геккерн-отец руководил всеми шагами сына; однако теперь у нас есть доказательства противного; из письма 17 октября выходит, что Дантес «руководил всем поведением» посла, а не наоборот[7]. Такой вывод С.Витале плохо согласуется с показаниями источника. В начале письма Жорж извещал барона: «...я решил прибегнуть к твоей помощи и умолять выполнить сегодня вечером то, что ты мне обещал»[8]. Таким образом, сын не столько подсказывал отцу, как вести дело, сколько просил выполнить то, о чем они договорились ранее, и то, что подсказал ему отец.

Прием у Вяземских 16 октября был самым заурядным. Ничего волную-

щего или из ряда вон выходящего на нем не произошло. Поручик притворялся веселым, пытался шутить. Но встреча с Пушкиной потребовала от Дантеса предельного напряжения всех его сил. Кавалергард был в отчаянии. Владевшее им чувство вырвалось наружу, едва он покинул гостиную. В том же письме Дантеса читаем: «Вчера я случайно провел весь вечер наедине с известной тебе Дамой, но когда я говорю наедине, это значит, что я был единственным мужчиной у княгини Вяземской, почти час. Можешь вообразить мое состояние, я наконец собрался с мужеством и достаточно хорошо исполнил свою роль и даже был довольно весел. В общем я хорошо продержался до 11 часов, но затем силы оставили меня и охватила такая слабость, что я едва успел выйти из гостиной, а оказавшись на улице, принялся плакать, точно глупец, отчего, правда, мне полегчало, ибо я задыхался: после же, когда я вернулся к себе, оказалось, что у меня страшная лихорадка, ночью я глаз не сомкнул и испытывал безумное нравственное страдание»[9].

Еще недавно кавалергарда охватывало счастье, когда он оказывался подле избранницы сердца. Что же случилось в октябре? Ответить на этот вопрос можно, обратившись к дневнику княжны Марии Барятинской.

В октябре 1836 г. княгиня Барятинская была взволнована известием, что Дантес намерен посвататься к ее дочери. Жена кавалергарда М.Ф.Петрово-Соловего, полкового приятеля Дантеса, встретилась с кузеном Марии Барятинской и спросила его, устраивается ли свадьба Марии с Геккерном? Вслед за тем госпожа Соловая заверила собеседника, что молодой кавалергард «был бы в отчаянии, если бы ему отказали»[10]. Мадам Петрово-Соловая очевидным образом зондировала почву для сватовства Жоржа. Брак Дантеса с Барятинской был желанным. Посол всемерно поощрял ухаживания сына за княжной.

Княгиня Барятинская поспешила узнать, в чем дело, и обратилась к кавалергарду князю Александру Трубецкому. Примерно 22-23 октября дочь записала в дневнике: «Maman узнала через Тр.[убецкого], что его отвергла госпожа Пушкина»[11]. Трубецкой был ближайшим приятелем Дантеса по полку — следовательно, Барятинские получили информацию из первых рук.

Дневник Барятинской объясняет причину рыданий Дантеса после встречи с Пушкиной в октябре. Незадолго до встречи поручик имел объяснение с дамой сердца, и она *отвергла* его. В дневнике речь шла не об отказе в танце на балу, а о серьезном объяснении, происшедшем с глазу на глаз и приведшем к разрыву.

В письме Дантеса от 17 октября и дневниковых записях Барятинской 22-23 октября можно обнаружить самый ранний и достоверный след тайного свидания Дантеса и Натали. Названные источники исходили от осведомленных лиц — непосредственных участников драмы и были записаны в момент совершения события.

Рандеву имело место, очевидно, до времени появления записи в дневнике Барятинской, т.е. до 22-23 октября, до начала болезни Дантеса 19 октября и до его рыданий 16 октября.По словам дочери Натальи Николаевны, Араповой, ее отец, кавалергард П.Ланской, во время свидания Дантеса с Пушкиной прогуливался возле дома, чтобы «зорко следить за всякой подозрительной личностью»[12]. Исследователи отметили «неувязки» в Записках Араповой. Если тайная встреча имела место между 2 ноября 1836 г. и январем 1837 г.,

Ланской не мог помочь Дантесу, так как его не было в Петербурге[13]. Указав на это противоречие, Я.Л.Левкович писала: «Может быть, не стоит доискиваться, было это свидание или нет и когда оно могло быть, потому что главный источник трагедии 1837 года, как давно установлено, не в поведении Натальи Николаевны»[14]. Уточнение времени рандеву обнаруживает, что противоречия в рассказе Араповой носят мнимый характер. Ланской был возлюбленным Полетики. Он надолго покинул Петербург 19 октября 1836 г., а вернулся после смерти Пушкина. Его причастность к делу подтверждает, что рандеву состоялось ранее 19 октября 1836 г.

Пушкин избегал всяких упоминаний о тайном свидании его жены с Дантесом. Его друзья хранили молчание при жизни Натальи. Лишь после ее кончины близкие поэта сочли себя вправе рассказать о давнем происшествии. Однако в их показаниях можно заметить вопиющие противоречия. Одни утверждали, будто Пушкину заманили в ловушку, другие — что она сама дала согласие на рандеву. Первая версия сводилась к тому, что Дантес был при оружии и домогался, чтобы дама отдалась ему. По другой версии он упал на колени и просил Натали выйти за него замуж. Согласовать между собой эти версии невозможно. Попытаемся оценить их критически.

Подробные воспоминания оставила дочь Н.Н.Пушкиной и П.П.Ланского Александра Арапова. Она прожила жизнь рядом с матерью и отцом, товарищем Дантеса по полку. Ее записки полны бульварных подробностей. Но это не дает оснований отвергнуть их с порога.

Для вдовы Пушкиной были мучительны всякие разговоры о трагедии, сломавшей ее жизнь.

Послания Натали к Пушкину утрачены, и лишь в сохранившихся письмах к Ланскому можно обнаружить некоторые намеки на прошедшее. «Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершить в молодости...» — писала Наталья Николаевна Ланскому[15]. Дочь узнала кое-что об этих ошибках не от самой матери, а от близкого к ней человека.

Однако за три года до смерти Наталья Николаевна допустила откровенность в беседе с компаньонкой Констанцией, пользовавшейся ее полным доверием. Единственное, в чем ее уличает совесть, призналась Наталья Николаевна, — «это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своею кровью, а я счастьем и покоем всей жизни»[16]. Компаньонка передала эти слова дочери Натальи, Араповой, которая и записала их. В словах дочери слышна живая речь матери.

Что побудило Пушкину согласиться на просьбы Дантеса и назначить ему свидание в доме Полетики?

Весной 1836 г. Наталья носила ребенка, а Дантес, следуя воле Геккерна, стал готовить почву для сватовства к Барятинской. Это происходило на глазах у большого света. Рано или поздно молва должна была дойти до Пушкиной и причинить ей страдания. Она пожелала знать, кому принадлежит сердце человека, еще недавно клявшегося ей в вечной любви. Чтобы получить ответ на этот вопрос, она согласилась тайно увидеться с кавалергардом.

Княгиня Вера Вяземская вспоминала, что Натали часто виделась с Дантесом в доме Полетики, но однажды она прибежала оттуда «вся впопыхах» и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого пре-

следования Дантеса[17]. В беседе с П.И.Бартеневым Вяземская сообщила, что Идалия Полетика по настоянию Дантеса «пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому». Княгиня Вера пояснила, что и она и Пушкин узнали об этом со слов самой Натали[18].

Сестра Натали Александрина в письме к племяннице, Александре Араповой, сообщала следующее: «...ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она (Пушкина) прибыла туда, то застала там Геккерна (Дантеса. — Р.С.) вместо хозяйки дома....»[19]

И Вяземская, и Гончарова-Фризенгоф получили сведения от самой Пушкиной, которая старалась оправдать свое легкомыслие и утверждала, что попала в ловушку, расставленную Идалией Полетикой и Дантесом. Эта версия не столь достоверна, как признание, сделанное Наталией Николаевной Ланской Констанции. Примечательно, что и княгиня Вера, и Александрина описали поведение Полетики в самых нейтральных выражениях, воздержавшись от каких бы то ни было оценок.

Зимой 1838/1839 г. Идалия написала письмо к Екатерине Геккерн: «Я вижу довольно часто ваших сестер у Строгановых, но отнюдь не у себя. Натали не имеет духа прийти ко мне; мы с ней очень хороши; она никогда не говорит о прошлом; оно не существует между нами»[20]. Если бы Идалия коварством заманила Натали в ловушку за несколько дней до дуэли, вдова никогда бы не простила ей этого. Но свидание произошло задолго до дуэли и с доброго согласия Пушкиной, вследствие чего две женщины, связанные родством, сохранили прежние отношения после гибели Александра Сергеевича. Родную сестру Екатерину Натали так никогда и не простила.

Согласно припоминаниям Вяземской, во время рандеву кавалергард, оставшись с глазу на глаз с Натали, «вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст себя ему»[21]. В рассказе Александрины все эти яркие подробности отсутствуют. По словам Александрины, Дантес вел себя во время свидания благородно, не пытался соблазнить Натали, а сделал ей предложение. В письме к Араповой свояченица Пушкина писала: «Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына...»; далее она писала, что в доме Полетики Дантес застал Натали и, «бросившись перед ней на колена, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме»; «свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала»[22].

Как и Пушкин, Александрина умерла с уверенностью, что старый Геккерн желал разрушить семью Пушкина и соединить сына с Натальей. Это обстоятельство полностью объясняет происхождение ее ошибки. Геккерн продиктовал письмо сыну, но это письмо заключало в себе не предложение руки и сердца, а отказ от видов на Натали.

На первый взгляд, версия Александрины не заслуживает доверия ввиду ее абсурдности. Как мог кавалергард просить руки замужней дамы? Любому было понятно, что даже если бы Натали приняла предложение, у нее не было шансов получить от православной церкви разрешение на развод и вступление в брак с иноверцем. Тем более, что для развода не было причин, кроме безрассудных претензий французского подданного.

Однако слова Александрины находят подтверждение в самых ранних документах, исходивших от участников события.

1 марта 1837 г. отец Дантеса обратился к министру Нессельроде со следующими словами: «Г-жа Пушкина... могла бы дать удовлетворительный ответ (суду. — *Р.С.*), воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, — письмо... в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее»[23].

Выражение «иметь виды на женщину» подразумевало серьезные намерения, иначе говоря, — намерение жениться на ней.

Письмо посла министру было написано в связи с судом над Жоржем. Голландский посол предложил вызвать вдову в суд, чтобы она рассказала о письме Дантеса. Судьи намеревались допросить вдову, так что дипломату приходилось взвешивать каждое слово.

О чем говорили Наталья и Дантес и чем кончилось свидание? Ответ на этот вопрос дает дневник Барятинской. 22-23 октября она занесла в дневник следующие фразы о Дантесе: «...его отвергла г-жа Пушкина, поэтому он и хочет жениться (на ней, Марии Барятинской. — *Р.С.*). С досады!»

Пушкиной надо было выяснить, справедливы ли слухи о готовившемся сватовстве Дантеса к юной Барятинской. Офицеру пришлось держать ответ за свое поведение. Объяснения Жоржа не удовлетворили женщину. Дантесу надо было доказать, что он имеет виды, но не на Барятинскую, а на Пушкину, и он сделал ей предложение. Будучи матерью семейства, имея на руках четырех детей, Наталия, естественно, отвергла фантастическое предложение поручика.

Двое молодых людей любили друг друга, но по-разному. Дантес был влюблен без памяти и явно потерял голову. Наталья сохраняла трезвый взгляд. Она одержала победу над соперницей, но принимать предложение, не имевшее никакого реального смысла, она вовсе не собиралась, как не собиралась жертвовать своей репутацией добродетельной жены.

Жорж Дантес был достаточно откровенен с приемным отцом. В любом случае он должен был сообщить Геккерну о свидании с Натальей. В свете уже толковали об этом событии со слов Трубецкого и Барятинских. Поведение Жоржа грозило разрушить матримониальные планы дипломата. Понятно, почему посол категорически потребовал от сына составить письмо с отказом от видов на Пушкину. Если бы поручик не дал опрометчивых обещаний даме сердца, отцу не понадобилось бы опровергать их особой нотой.

Неожиданно сын отказался повиноваться покровителю. Объясняя свое сопротивление, Жорж писал отцу: «...ты и сам догадался, что я потерял голову из-за нее, а наблюдая перемены в моем поведении и характере, окончательно в этом утвердился»[24]. Чтобы добиться своего, Геккерн вступил в торг с Дантесом и прибегнул к дипломатическим уловкам. Сговор между отцом и сыном стоил жизни Пушкину[25].

Суть сговора Жорж четко изложил в письме барону от 17 октября. Кавалергард чуждался грубых выражений, тем не менее его слова были исполнены цинизма. Поручик просил Геккерна без промедления, в тот же вечер на рауте улучить момент и внушить Пушкиной, «будто полагаешь, что бывают и более близкие отношения, чем существующие (между Дантесом и Натали. — *Р.С.*), поскольку ты сумеешь дать ей понять, что, по крайней мере, судя по ее поведению со мной, такие отношения должны быть»[26]. Вызывающие по содержанию речи, сообща сочиненные Геккернами, не лишены были комизма. Старик, погрязший в разврате, должен был

объяснить женщине, имевшей четырех детей, что «бывают более близкие отношения», нежели платонические узы, связующие ее с Жоржем.

Продолжая наставления старшему Геккерну, молодой человек писал: «...она ни в коем случае не должна заподозрить, что этот разговор подстроен заранее... Все-таки было бы осмотрительно, если бы ты не сразу стал просить ее принять меня, ты мог бы сделать это в следующий раз»[27]. Отвергнутый Пушкиной, Жорж просил покровителя устроить так, чтобы любимая женщина его «приняла», иначе говоря, отдалась ему. Слова Дантеса устраняют все сомнения. Во время тайного свидания его постигло полное фиаско, после чего отцу удалось убедить сына, что без его помощи ему никогда не удастся овладеть этой женщиной.

До сих пор никто не задумался над вопросом, почему Геккерн решился завести с Пушкиной рискованный разговор, касавшийся ее интимной жизни, а сын поверил тому, что отец может склонить красавицу к сожительству с ним? Совершенно очевидно, что все это было бы невозможно, если бы дипломат не завязал доверительных отношений с Натали в предыдущий период, когда жене поэта покровительствовали приятельницы Геккерна и за ней ухаживал император. Противоестественная ориентация барона исключала какие бы то ни было чувства к красавице, что порождало иллюзию бескорыстия. Отношения министра с Пушкиной были таковы, что он мог запросто навестить ее и вручить письмо.

Поведение поручика было более чем двусмысленным. Отношения с Натали касались его одного, и участие третьего лица грозило оглаской и скандалом. Обеспокоенный тем, что Натали догадается о его сговоре с отцом, Дантес хотел убедить ее, что посол действует всецело по своей инициативе. С этой целью кавалергард просил Геккерна остерегаться и в своем объяснении с Натали не «употреблять выражения, которые были в том письме»[28].

О каком письме шла речь? По всей видимости, о той самой «ноте», которую отец продиктовал сыну и тут же отнес Пушкиной. Об этой «ноте» Геккерн счел необходимым сообщить министру Нессельроде: «Письмо (Пушкиной с отказом от видов не нее. — *Р.С.*) отнес я сам и вручил его в собственные руки»[29]. Поведение посла шло вразрез со всеми правилами дипломатического этикета. Министр мог в крайнем случае принести собственное послание, но не записку поручика. «Нота», врученная Пушкиной, была составлена опытным дипломатом, и поручик тревожился, что Геккерн употребит привычные выражения в устной беседе с ней. Если 16-17 октября Дантес опасался, что Пушкина узнает некоторые выражения из письма, это значит, что она получила памятное послание незадолго *до* 16 октября.

Сделанные наблюдения позволяют уточнить датировку событий. В первой половине октября Наталья Николаевна имела рандеву с Жоржем. Геккерн вскоре же узнал об этом и забил тревогу. Он продиктовал сыну письмо к жене Пушкина и в тот же день отнес его Наталье. Дантесу не терпелось узнать, какое впечатление произведет «нота» на его возлюбленную, и он отправился к Вяземским на другой день или через день после вручения письма. Если такое предположение верно, то «нота» была составлена 14-15 октября, а тайное свидание имело место несколькими днями ранее.

«Нота» Дантеса, надо полагать, уязвила Наталью. Она наказала поручика, отвергнув его домогательства во время тайного свидания. Но одно

дело — отказать самой, и другое — *получить* отказ. На вечере у Вяземских 16 октября выдержка не изменила Пушкиной. Она ничем не обнаружила своих чувств. Зато поручик плакал после вечеринки как ребенок. Все его надежды рухнули. От любви остались одни руины.

Поведение кавалергарда развеяло иллюзии Натальи Николаевны насчет великой страсти красавца-француза. Осознав случившееся, Дантес 17 октября обратился к отцу с настойчивой просьбой выполнить обещание, повидать Пушкину и убедить даму отдаться ему.

Согласившись на тайное свидание, Натали скомпрометировала себя. Отныне Геккерны могли не церемониться с ней, так как ее репутация целиком зависела от их скромности. Огласка грозила скандалом. Дантес отлично понимал это и намеревался использовать ситуацию. Об этом свидетельствуют написанные и зачеркнутые строки в тексте октябрьского письма. Обращаясь к отцу, поручик писал: «Если бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить....»[30]

Серена Витале высказывает предположение, что влюбленный грозил покончить с собой или, что вероятнее, грозил обо всем рассказать мужу. В самом деле, Жорж готов был прибегнуть к шантажу, но в конце концов одумался и вымарал фразу. Прочесть в его письме удается только некоторые слова предложения: «припугнуть ее и внушить».

Еще недавно Жорж превозносил возлюбленную как ангела, сошедшего с небес — «она осталась чиста», «есть такие, у кого на устах чаще слова о добродетели и долге, но с большей добродетелью в душе — ни единой»[31]. Теперь «человек чести» готов был шантажировать возлюбленную, использовать услуги сводни — приемного отца, с помощью которого он надеялся соблазнить добродетельную даму.

В октябрьском письме Дантес просил отца сказать Натали: «...ты (посол. — *Р.С.*) убежден, что у меня (сына. — *Р.С.*) призошла ссора с ее мужем...» В действительности ссора еще не произошла, но отношения гвардейца с Пушкиным уже были натянутыми. Александр Сергеевич, по свидетельству Данзаса, перестал принимать кавалергарда в своем доме[32]. Не желая компрометировать жену, поэт избегал каких бы то ни было публичных столкновений. В свете Натали продолжала встречаться с поклонником, как и прежде. Именно к этому времени можно отнести эпизод, описанный юным Павлом Вяземским. Молодой человек встретил Наталью, гулявшую по Невскому в компании сестры Катерины и Дантеса: «...в эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшным»[33].

Погода в октябре была скверной. Сначала заболел Дантес, затем — Пушкин. Микстуру для него заказывали с 23 октября до 1 ноября[34]. Жена выезжала в свет одна, а точнее, в сопровождении сестер. Такие выезды давно стали привычными и не вызывали возражений у главы семьи. После того, как Натали перестала флиртовать с царем, Пушкин спокойно относился к ее победам. Наблюдательная Долли отметила в дневнике: «Пушкин тогда совершил большую ошибку, разрешая своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него»[35].

Если Мария Барятинская смогла дознаться о тайном свидании Натальи с Дантесом в конце октября, то рано или поздно толки должны были дойти

и до ушей Александра Сергеевича. Объяснение между супругами оказалось неизбежным. В неотправленном письме Геккерну (ноябрь 1836 г.) Пушкин писал: «2 ноября вы от вашего сына узнали новость, которая доставила вам большое удовольствие. Он сказал вам, что вследствие одного разговора я взбешен, что моя жена опасается... что она теряет голову»[36].

По мнению С.Л.Абрамович, в один и тот же день, а именно 2 ноября Натали сначала тайно виделась с Дантесом, затем рассказала о рандеву мужу, затем об этом узнали в семье Геккерна, затем Пушкин узнал, что известие о его бешенстве доставило удовольствие послу и пр. Простой перечень событий показывает, что они не могли произойти в один день. Рандеву имело место в первой половине октября, объяснение супругов — 2 ноября.

В письме голландскому послу поэт писал в ноябре 1836 г.: «...вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболев... он должен был сидеть дома... вы говорили... что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына»[37]. Друзья Пушкина смогли ознакомиться с этим письмом в январе 1837 г. В ближайшие недели после гибели поэта они постарались собрать дополнительные сведения об обстоятельствах трагедии[38]. Некоторые сведения были получены, по-видимому, непосредственно от Натальи Николаевны[39].

Вместе с Вяземскими, Жуковским, Тургеневым в сборе материалов участвовал Александр Карамзин и его мать, пользовавшаяся исключительным доверием Пушкиных. В письме от 13 марта 1837 г. Александр Карамзин с наибольшей полнотой и откровенностью изложил брату те итоги расследования, которые задевали честь вдовы, а потому не подлежали разглашению. Не щадя Натали, Александр писал, что Дантес с отцом «в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутацию во всеобщем мнении (более всего повредить репутации должно было рандеву. — Р.С.). Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились анонимные письма»[40].

Приятель Дантеса Карамзин знал о его болезни. По полковым документам, поручик хворал 19-27 октября 1836 г. Как видно, барон выполнил обещание сыну и обратился к Пушкиной с циничными предложениями. Если верить Карамзину, Геккерн шантажировал Наташу за два дня до получения Пушкиным пасквиля, иначе говоря, 2 ноября.

Пушкина не могла понять, почему Геккерн, еще недавно бранивший ее последними словами, убеждавший порвать с Дантесом, теперь заговорил с ней как с уличной женщиной, уговаривал вступить в связь с его сыном. Угрозы испугали красавицу, и она благоразумно решила, что ей следует самой рассказать мужу о рандеву и тем обезоружить шантажистов.

Итак, причиной объяснения в семье Пушкиных 2 ноября не была измена Натальи. Вслед за шантажом, повествует Александр Карамзин, «последовала исповедь госпожи П[ушкиной] своему мужу»[41]. Исповедь не поколебала доверия поэта к жене. Но его привели в бешенство попытки Дантеса смутить его жену вздорными обещаниями. Почва для дуэли была готова. Недоставало лишь повода.

4 ноября 1836 г. Пушкин получил по почте «диплом» ордена Рогоносцев. Сам поэт точно описал чувства, которые испытал в тот день: «Случай,

который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимное письмо»[42]. Пушкин излагает дело с полной откровенностью. Получение «диплома» дало выход назревшему кризису.

Комментируя октябрьское письмо Дантеса, Серена Витале пишет: «...по крайней мере до октября 1836 г. Пушкин не был cocu (рогат)»[43]. Оговорка по поводу октября представляется излишней. Авторитетные свидетельства отнимают почву у подозрений насчет неверности Пушкиной. Во время тайного свидания в октябре кавалергард потерпел полное фиаско. По меркам Трубецкого, знавшего дело со слов Дантеса, такой исход рандеву нанес ущерб репутации ловеласа, которой гвардейская молодежь чрезвычайно дорожила. Ноябрьская дуэльная история создала новую ситуацию, совсем не подходившую для повторного свидания.

Поэт четко обрисовал ситуацию, сложившуюся в результате интриг Геккернов накануне кризиса 2 ноября. «Поведение Вашего сына, — писал он Геккерну, — было мне совершенно известно уже давно... но так как оно не выходило из границ светских приличий и так как притом я знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя»[44]. Роман Натали с Дантесом протекал на глазах Пушкина. В кодексе рыцарской чести отсутствовал поединок мужа с поклонником или возлюбленным жены. Вызов на дуэль мог лишь выставить в смешном виде ревнивого мужа, рогоносца. Поэтому Пушкин не мог послать картель Дантесу до получения пасквиля.

В марте 1836 г. поручик пенял отцу: «Позволь сказать, что твое послание было слишком суровым... ты окончательно утратил доверие к моему рассудку, правда, был он совсем слаб», «...я просил укрепить меня советами... только это поможет мне одолеть чувство, коему я попустительствовал», «...ты был не менее суров, говоря о ней... по приезде ты найдешь меня совершенно выздоровевшим»[45]. После осеннего свидания с Натали Жоржу пришлось вновь оправдываться перед отцом и опять обещать вести себя благонравно, но при условии помощи отца[46]. Кавалергард не обладал ни характером, ни волей. У него не было сил противиться манипуляциям корыстного покровителя.

Друзья не остались равнодушными зрителями происходившего. Вдова историографа Екатерина Карамзина имела с Дантесом откровенный разговор и предостерегла насчет возможных непоправимых последствий его легкомыслия[47].

Пушкина часто бывала в гостях у Вяземских, и всякий раз, как она приезжала, являлся Дантес. Княгиня Вера Вяземская, по ее собственным словам, «напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживанья за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме». Поручик пропустил предупреждение мимо ушей, и тогда княгиня объявила ему, что прикажет швейцару не пускать его на порог[48]. Вяземская пыталась увещевать не одного кавалера, но и Наталью Николаевну. Однажды она обратилась к ней со словами: «Я люблю вас так, как своих дочерей, подумайте, чем это может кончиться!» На упреки Пушкина отвечала: «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду»[49].

Наталья Николаевна часто встречалась с Дантесом в салоне Фикельмон. Долли Фикельмон наблюдала за их романом с первых дней. Она

писала, что Дантес был влюблен в Наталью Николаевну в течение года, но вел себя сдержанно и не бывал в доме Пушкиных; но затем «в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь»[50].

Долли считала, что Натали из одного тщеславия принимала ухаживания Дантеса, но допускала возможность того, что страсть кавалергарда тронула и смутила ее сердце. Александрина характеризовала ситуацию в сходных выражениях. Сестра, писала она, «несомненно, была тронута этой великой страстью, зарожденной ею помимо ее воли», но едва ли к «этому примешивалось серьезное чувство»[51].

Долли не одобряла брака Пушкина, заключенного им «вопреки советам всех своих друзей» с женщиной «совсем юной», «с очень поэтической внешностью, но с заурядным умом и характером». Натали, по утверждению Фикельмон, совершенно потеряла способность противиться домогательствам Дантеса. Так ли это? Исход тайного свидания свидетельствовал об обратном.

За спиной двух молодых людей стояли наставники: один был старым, опытным дипломатом, другой — гениальным поэтом. Оба относились к роману отрицательно, следуя различным побуждениям. Геккерн руководствовался заботами о карьере молодого офицера и своекорыстной страстью. Пушкин стремился спасти счастье своей жизни, оградить семейный очаг. Слова поэта о несчастной, великой и возвышенной страсти, которая тронула сердце его жены, были проникнуты не сарказмом, не «безумной ревностью», а непостижимым благородством и великодушием.

По утверждению посла, он предостерегал Пушкину от пропасти, в которую она летит[52]. Вяземский писал, что Геккерн старался «толкнуть ее в пропасть». Видимое противоречие приведенных свидетельств имеет объяснение. Барон резко отрицательно относился к увлечению сына, но затем изменил игру и пообещал ему помочь в совращении Натали. Он намеренно обратился к Пушкиной с такими предложениями, которые должны были оскорбить ее до глубины души. Тайное свидание в доме Полетики воочию доказало Геккерну, что молодой человек не может справиться со своими эмоциями. Опыт дипломата подсказал барону выход. Надо было растоптать сердце Натали, чтобы продолжение романа стало немыслимо. Расчет оказался безошибочным.

Дантес действовал с постоянной оглядкой на отца. Точно так же он должен был оглядываться на Пушкина, неизмеримо превосходившего его умом и характером. Офицер не был трусом, но сознавал, что столкновение с поэтом и дуэль грозят погубить его карьеру. В октябрьском письме 1836 г. кавалергард делился с отцом результатами своих самостоятельных наблюдений и размышлений. Раз дипломат заметил, что он, Жорж, потерял голову, подчеркивал сын, значит, и «мужу (Пушкину. — *Р.С.*) невозможно было не заметить того же самого». Согласно инструкции сына, барон должен был от своего имени сказать Пушкиной, «что у меня (Дантеса. — *Р.С.*) произошла ссора с ее мужем, а к ней обращаешься, чтобы предотвратить беду»[53]. Какой беды опасался Дантес? Очевидно, уже в первой половине октября в воздухе запахло дуэлью, и первым о ней заговорил не Пушкин, а Дантес.

Пасквиль

2 ноября Натали сделала первое признание о рандеву, что вызвало у Пушкина вспышку гнева. Два дня спустя почта доставила в дом на Мойке анонимное письмо.

Пасквиль, присланный Пушкину, по форме пародировал грамоты на пожалование звания кавалера Ордена. Его составители использовали термины, типичные для разных Орденов[1]. Пасквиль начинался с шутовского извещения о том, что «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра Ордена, его превосходительства Д.Л.Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадьютором великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена». Под дипломом стояла подпись: «Непременный секретарь: граф И.Борх»[2].

Мистификации как способ светских развлечениий имели широкое распространение на Западе и, в частности, во Франции в начале XIX в. Участники «шутки» развлекались тем, что создавали разного рода вакхические и прочие общества и ордена, рассылали «патенты рогоносцев»[3]. В 1836 г. «дипломы» Рогоносцев рассылали в Вене, потом в Петербурге. По словам Соллогуба, венское общество целую зиму развлекалось этой игрой. Петербургским подражателям венской затеи достаточно было списать текст образца и вставить в него имена лиц, которых они хотели подвергнуть осмеянию.

Игра подчинялась определенным правилам. «Диплом» рассылали знакомым рогоносца в двойных конвертах. Адресат, раскрыв конверт, обнаруживал второй конверт с именем жертвы. Он мог либо распечатать его, либо передать письмо по назначению. Таким образом в руках жертвы оказывалось, помимо оригинала, несколько копий «диплома» Рогоносцев. Немая сцена в доме жертвы и его жены венчала мистификацию.

Анна Ахматова обратила внимание на то, что памфлет был разослан исключительно друзьям поэта. С.Абрамович уточнила ее наблюдение: «шутники» разослали «диплом» членам историко-литературного кружка Карамзиных. Так ли это? После розыска, писал Пушкин, «я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма... Большинство лиц... подозревая гнусность, их ко мне не переслали»[4]. В другом случае поэт назвал иные цифры, отметив: «Я получил три экземпляра из десятка, который был разослан»[5]. Пушкин строго взвешивал свои слова. О семи дипломах Пушкин знал достоверно, слышал о восьмом и подозревал о существовании еще нескольких экземпляров. Друзьями Пушкина были вдова Карамзина, Е.Хитрово, Вяземские, М.Ю.Виельгорский. Молодой офицер К.О.Россет был приятелем братьев Карамзиных. В отличие от друзей Пушкина, он показал пасквиль по крайней мере трем знакомым, но ничего не сказал самому поэту. А.И.Васильчикова (ее имя стояло на письме, принесенном Пушкину В.Соллогубом) была приятельницей родителей поэта. Таким образом, из десятка «дипломов» пять-шесть попали к лицам, составлявшим ближайшее окружение Пушкина. Среди этих лиц литератором был только поэт Вяземский. Восьмой «диплом» неизвест-

ными путями попал в руки министра Нессельроде, никак не принадлежавшего ни к салону Карамзиных, ни к кругу друзей Пушкина.

Каждый экземпляр «диплома» Рогоносцев, адресованного Пушкину, был запечатан красной сургучной печатью. Геккерн следующим образом описал печать на письме, показанном ему графом Нессельроде: письмо «было запечатано красным сургучом. Сургуча мало, запечатано плохо»[6]. На экземпляре из Пушкинского Лицейского музея печать также разрушена[7]. Печать на «дипломе», адресованном Виельгорскому, сохранилась превосходно[8]. Плохое состояние печатей, возможно, связано было с тем, что министерский и лицейский экземпляры ходили по рукам, отчего сургуч осыпался. Со своим экземпляром Виельгорский, кажется, никого не знакомил.

Мистификаторы, конечно же, использовали не собственную печатку, а чужую, вышедшую из употребления, чтобы не выдать себя. Геккерн отметил «своеобразие печати» и попытался описать ее по памяти: ...насколько я помню, «а» посредине этой формы «А» и множество эмблем вокруг «А». Точно разглядеть эти эмблемы я не смог, так как, повторяю, запечатано было плохо. Помнится, что вокруг были знамена, пушки и т.п., но я не уверен. Помнится также, что они были с разных сторон, но в этом я тоже не уверен»[9].

На экземпляре Виельгорского четко видна форма в виде двух прямых с удлиненной перекладиной наверху и буквой «А» посредине. Слева виден раскрытый циркуль, справа — птица. В основании фигуры — перо. Видимо, на полуразрушенной печати циркуль можно было принять за знамена, а перо, действительно, походило на пушку. Наверху печати изображены две капли с точкой посредине[10].

Полагают, что два сохранившихся экзмпляра пасквиля писаны одним почерком[11]. Этот вывод трудно опровергнуть, но элемент сомнения сохраняется. Дипломы писаны по-французски, прописными буквами. Бросаются в глаза различия в написании букв «n» и «u». Первая из этих букв в одном экземпляре соответствует французской букве, а во втором экземпляре не отличается от русской буквы «п». Некоторые слова в одном экземпляре начинаются с большой буквы, в другом — с малой. Все это как будто говорит о разной степени владения французским языком. Почерк Лицейского «диплома» — более округлый и решительный, чем почерк экземпляра Виельгорского. Не совпадают росчерки возле подписи И.Борха. В лицейском варианте «шутник» не сдержал ликования и, поставив точку, приписал три восклицательных знака[12]. Возможно, изготовлением диплома занимался не один человек.

На обороте диплома имя Пушкина написано не прописью, а скорописью. В обоих экземплярах неизвестный написал «Александри Сергеичу Пушкину»[13]. Ошибка в имени была исправлена сходным образом в обоих дипломах. Неизвестный пририсовал прямую жирную черту в конце слова, исправив «Александри» на «Александру».

На внешней обложке экземпляра Виельгорского значилось: «Графу Михайле Юриевичу». Ошибка выдает русское происхождение писавшего. Уже граф Соллогуб назвал русский почерк на внутренней обложке «диплома» «кривым лакейским почерком»[14].

Пасквилянты были русскими людьми. Основной текст «диплома» был написан прописными буквами, что делало почерк неузнаваемым. Один из

участников интриги писал нетвердой рукой, не везде соединяя буквы. Он надписал конверты размашисто, не заботясь об изменении почерка. Очевидно, он не был человеком из общества.

Сохранилась записка Геккерна к Дантесу, посвященная пасквилю. Она начиналась словами: «Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу» и пр. Исходя из привычного представления о причастности посла к сочинению «диплома», П.Е.Щеголев назвал его записку «воровской», составленной сразу после дуэли ради мистификации суда[15]. Такая характеристика не находит опоры в источнике.

Заподозрив Геккернов в фальсификации, П.Е.Щеголев утверждал, что приведенная записка не могла быть написана после дуэли, так как Жорж находился на гауптвахте и не мог видеться с дамами, к которым отсылал его отец. Надо заметить однако, что кавалергард мог обмениваться записками с любыми лицами. В какой-то момент жена и другие лица получили разрешение посетить его на гауптвахте.

По мнению А.С.Полякова, Геккерн уже 7 ноября догадался, что Пушкин обвинял его в составлении анонимных писем, явившихся прямым поводом к вызову, и по этой причине послал записку сыну, косвенно оправдывая себя в его глазах[16]. Предложенная схема не соответствует обстановке, сложившейся 7 ноября. Вопрос о пасквиле приобрел исключительную остроту, конечно же, после гибели Пушкина. Записка Геккерна должна была подготовить Дантеса к судебным прениям, во время которых ему неизбежно пришлось бы участвовать в обсуждении вопроса о «дипломе». В тревоге за судьбу сына Геккерн писал: «Ради Бога, будь благоразумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что [сам] граф Нессельроде показал мне это письмо», то есть пасквиль[17]. Из записки следует, что Геккерн не имел у себя «диплома», но видел его в руках Нессельроде.

Нессельроде имел много соглядатаев в своем министерстве, а потому он и его жена («мадам Н.») заполучили в свои руки один экземпляр анонимного письма. Если бы Дантес воспользовался советом отца и на допросе упомянул об экземпляре пасквиля, имевшемся у Нессельроде, суд мог бы затребовать важнейший дуэльный документ. Однако записка Геккерна не попала в руки Дантеса, а отложилась в архиве III Отделения.

Чтобы дать сыну представление о пасквиле, Геккерн упомянул, что анонимное письмо, показанное ему Нессельроде, «написано на бумаге такого же формата, как и эта моя записка»[18]. А.С.Поляков имел случай отметить, что записка барона сыну по формату не совпадает с «дипломом»[19]. В самом деле, «диплом» имеет формат 11,5×18 см и написан на лицевой стороне сложенной половины листа. Записка барона написана на тонкой бумаге с филигранями (литеры JWH, 18), на четвертушке бумаги 12,5×19 см[20]. Барона не интересовала бумага «диплома» сама по себе. Он хотел дать сыну примерное представление о внешнем виде «диплома».

Содержание записки подтверждает непричастность Геккернов к составлению анонимного пасквиля.

Тотчас после смерти Пушкина А.Тургенев в дневнике дважды упомянул о том, что в доме Карамзиных говорили о князе И.С.Гагарине как авторе пасквиля[21]. На панихиде Тургенев наблюдал за тем, пойдет ли Гагарин к гробу и отдаст ли последнее прощание. Поведение Гагарина сняло подозрения Тургенева. Случай этот был рассказан Тургеневым самому Гага-

рину и известен только со слов последнего[22].

Обвинение Гагарина бросило тень и на князя П.В.Долгорукова, снимавшего квартиру вместе с ним[23]. Попытки графологического анализа анонимного «диплома» вызвали длительную полемику, но не дали достоверных результатов[24].

С.А.Соболевский записал слухи об авторстве Гагарина, но при этом подчеркнул, что «главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, видели у Гагарина»[25]. Никаких других улик против Гагарина не было[26]. По поводу слухов о Гагарине Соболевский писал: «Твердо уверен, что это клевета»[27].

Князь Гагарин принадлежал к образованной русской молодежи, ценившей гений Пушкина. Именно он принес в «Современник» стихи Ф.И.Тютчева и передал тому отзыв Пушкина: «Пушкин ценит Ваши стихи как должно и отзывался мне о них весьма сочувственно. Я отменно рад, что могу передать Вам это известие»[28]. В обществе было замечено, как тяжело переживал Гагарин смерть поэта. Жизнь Гагарина была отмечена духовными исканиями. Он принял католичество, что было полной неожиданностью для его друзей в Петербурге.

К.О.Россет вспоминал о своей дружбе с Пушкиным с умилением. Но он вел себя не вполне дружественно по отношению к поэту. Распечатав письмо, адресованное не ему, он не уничтожил пасквиль, а показал его поручику Скалону, Гагарину, Долгорукову, позже великому князю Михаилу Павловичу[29]. К.О.Россет утверждал, будто показал пасквиль Гагарину и Долгорукову, потому что «по почерку стал догадываться, что («диплом». — *Р.С.*) от них»[30]. Тем самым он объяснял свое свободное обращение с анонимным письмом. Но его припоминания не отличались точностью. Почерк анонимных писем не поддается идентификации.

Обратимся к воспоминаниям И.С.Гагарина, записанным в начале 60-х годов. Повествуя о посещении Россета и беседе с ним, Гагарин подтвердил: «...я действительно приметил, что письмо, показанное мне К.О.Р., было писано на бумаге, подобной той, которую я употреблял... на этой бумаге не было никаких особенных знаков, ни герба, ни литер»[31].

В литературе осталось незамеченным разительное противоречие в показаниях, касающихся пасквиля. Характеристика Гагарина подтверждается палеографическими наблюдениями за двумя сохранившимися экземплярами «диплома». Но она полностью расходится со свидетельством Яковлева, которому письмо показал сам Пушкин.

Сохранившиеся «дипломы» писаны на толстой, плотной бумаге, не имевшей филиграней. О такой бумаге Гагарин сообщал следующее: «...я ее покупал, сколько могу припомнить, в английском магазине, и, вероятно, половина Петербурга покупала тут бумагу»[32]. Яковлев держал в руках «диплом», который был написан на бумаге лучшего качества, используемой иностранными посольствами[33]. Какой же была бумага в действительности: грубой, доступной половине Петербурга, или дорогой, используемой иностранными посольствами? Противоречие, видимо, объясняется тем, что Яковлев и Гагарин видели разные экземпляры «диплома». Лицейский друг обследовал оригинал, присланный Пушкину. Гагарин видел копию, полученную К.О.Россетом.

В архивах III Отделения сохранились образцы бумаги, которой пользовались Геккерны. Их бумага более тонкая, чем бумага сохранившихся эк-

земпляров пасквиля и, в отличие от них, имеет филиграни[34].

Россет не передал свой экземпляр Пушкину, а экземпляр Соллогуба поэт изорвал сразу после того как получил его. Пушкину незачем было хранить переданные ему копии пасквиля. В конце концов был уничтожен также экземпляр, адресованный поэту. Но до того его успел обследовать Яковлев. Он заведовал крупнейшей казенной типографией и знал толк в сортах бумаги, которую использовали в то время в столице. Не отличить грубую бумагу от «посольской» сколько-нибудь наблюдательный человек не мог. Подчеркнем, что в своем расследовании происхождения «диплома» Пушкин поставил на первое место «вид бумаги»[35].

Итак, участники драмы засвидетельствовали, что оригинал «диплома» был сделан на очень дорогой «посольской» бумаге, а копии — на гораздо более дешевой и общедоступной. Это наблюдение может послужить косвенной уликой в предпринятом расследовании. Определенно к составлению пасквиля была причастна бюрократия, но, по-видимому, не высшая бюрократия и знать — министры, князья-рюриковичи и пр., — а мелкая шушера, те, кого называли «кувшинное рыло», завистники, мздоимцы, чуждые культуре. Под рукой у них не оказалось десятка листов дорогой бумаги, на которой писали чиновники более высокого ранга, и им пришлось довольствоваться бумагой разного сорта.

Подозрения против двух министров

Один из самых авторитетных пушкинистов, Ю.М.Лотман, предположил, что в составлении «диплома» участвовал министр просвещения С.С.Уваров[1].

Эта атрибуция основана на данных «Заметки о Пушкине», которую приписывали вюртембергскому послу князю Гогенлоэ-Кирхбергу.

Использовать *Заметку* невозможно без установления ее происхождения. В литературе отмечено, что у *Заметки* имеется двойник — депеша голландского дипломата Геверса. Тексты двух документов совпадают на протяжении многих страниц. Возник спор, кто из двух дипломатов *сочинил* текст, а кто *списывал* с первого? Какой источник можно считать первичным?[2]

В основе этих двух документов, бесспорно, лежал один и тот же начальный текст. Его составителя не следует искать среди иностраннных дипломатов. Приведенные в тексте подробности из жизни Пушкина могли быть известны только его друзьям. Характеристика творчества поэта наводит на мысль, что автором рукописи, использованной двумя дипломатами, был русский литератор или человек, близкий к литературной среде. Указание на оппозиционность поэта исключало возможность публикации документа в России. *Заметка* была написана в расчете на западную публику. Понятно, что документ был анонимным и не имел подписи. Приятели поэта общались со многими дипломатами, включая князя Гогенлоэ. Князь виделся с Тургеневым, Вяземским, Жуковским[3]. По крайней мере до 3 апреля посол не имел в руках *Заметки* о Пушкине, так как не упоминал о ней в своих депешах. 14 апреля он послал донесение с приложением *Заметки* о Пушкине. Геверс отправил депешу с изложением истории Пушкина позже — 20 апреля 1837 г.

Гогенлоэ подверг русскую рукопись правке и, в частности, включил в

нее родословную поэта, из которой следовало, что Пушкины происходили из немецких рыцарей и пр. Геверсу эти вставки остались неизвестны. Он заботился преимущественно о сокращении русского текста. Дипломат вычеркнул обширный текст с характеристикой стихов Пушкина, допустив при этом анекдотическую ошибку. Копия Гогенлоэ сохранила раздел с заглавием: «Главнейшие его произведения» с перечнем трех поэм. Наименования «Кавказский пленник». «Бахчисарайский фонтан» были объединены фигурной скобкой, а ниже следовало: «Цыганы — легкая поэзия, одно из замечательнейших произведений Пушкина»[4]. Геверс вычеркнул заголовок и названия поэм и переделал упоминание о «Цыганах» следующим образом: «...особенно примечательны Цыгане, небольшое стихотворение...»[5] Очевидно, он понятия не имел о русской литературе.

Из лояльности к Пушкину князь Гогенлоэ изменил русский текст, посвященный жене поэта. Согласно *Записке*, Жуковский упрекал Пушкина в том, что он принимает слишком близко к сердцу мнение света, убежденного в невиновности его жены. На это Пушкин, якобы, отвечал, что дорожит мнением среднего, истинно русского класса, который восхищен его женой. Слова по поводу «восхищения женой», видимо, были внесены в текст самим Гогенлоэ. Правка лишила рассказ всякого смысла. В депеше Геверса текст русского оригинала передан более точно. Неважно, что свет убежден в невинности жены, пересказывал Жуковский мнение Пушкина, — «Единственное мнение, с которым я считаюсь, — это мнение среднего сословия, которое ныне одно только истинно русское, а оно обвиняет жену Пушкина»[6]. Итак, Геверс имел в руках русский текст, не подвергшийся правке в вюртембергском посольстве.

Раздел о пасквиле Геверс дополнил ошибочным указанием на то, что один экземпляр был получен из провинции посольшей Фикельмон. Этого дополнения нет в *Заметке* Гогенлоэ. Но у последнего имеются свои, более обширные вставки. Во-первых, Гогенлоэ утверждал, будто на пасквиле было три подписи (третья — постоянного секретаря Р.). Во-вторых, некоторые из писем «были доставлены (Пушкину. — *Р.С.*) даже знакомыми (так, между прочим, В.П.)...»[7] Это тоже было ошибкой: «В.П.» (т.е. Петр Вяземский) не передал свой экземпляр Пушкину, а уничтожил его.

Гогенлоэ ссылается на два мнения об авторе пасквиля:: «Наиболее пользующееся доверием публики, — значилось в *Заметке*, — указывает на О... Другое мнение, мнение властей, основывающееся на тождественности расстановки знаков препинания, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, обвиняет Н»[8]. Инициалы расшифрованы в литературе: О — это Ouvaroff ; Н — Heeceren — Геккерн[9]. Первое мнение не требовало особых доказательств. Всем, включая иностранных дипломатов, было известно, что Пушкин оскорбил Уварова позорной эпиграммой. Министр возненавидел его. На этом основании публика заключила, что именно Уваров отомстил поэту пасквилем. Гогенлоэ не высказал своего отношения к мнению, «пользующемуся доверием публики». Вражда Уварова ничего не доказывала. В тексте пасквиля невозможно обнаружить информацию, связанную с министром просвещения или его ведомством. Друзья Пушкина заподозрили уже в момент смерти Пушкина Гагарина. Но их подозрения остались известны лишь очень узкому кругу лиц — друзьям поэта.

Примечательны аргументы в пользу второго мнения. Это указание на

тождественность расстановки знаков препинания и на почерк. Аргументы такого рода относятся к области фантазии, так как анонимные письма были написаны печатными буквами. Гогенлоэ лишь записал пересуды малоосведомленных людей.

Наибольшее распространение получила версия, согласно которой пасквиль был составлен министром Геккерном и его сыном. «Следует считать наиболее вероятным, — пишет С.Л.Абрамович, — что анонимные письма исходили от Геккернов и были переписаны и распространены с помощью какого-то соучастника»[10]. Такой вывод не опирается на информацию, заключенную в самом «дипломе» Рогоносцев.

Установить круг, в котором был составлен пасквиль, помогают в первую очередь упомянутые в нем имена. Великим магистром ордена назван Д.Л.Нарышкин, обер-егермейстер двора, муж красавицы, состоявшей долгие годы любовницей Александра I. Рождение царской дочери в семье рогоносца и ее последующая судьба стали притчей во языцех. Толковали, что Александр I заботился о дочери и благословил ее помолвку с Шуваловым. «После помолвки своей, — повествуют современники, — Шувалов (жених дочери Александра I от Нарышкиной), числившийся по Министерству иностранных дел, пожалован был камергером по официальному представлению графа Нессельроде; император Александр Павлович, со дня помолвки уже обходившийся с Шуваловым как с будущим зятем, улыбаясь, спросил у него: сколько он *подарил* графине Нессельроде?»[11] Приведенная история была записана П.В.Долгоруковым. Его рассказ — это своего рода притча о хитростях и жадности чиноначальников. Героями анекдота были «Великий магистр Ордена Рогоносцев» Нарышкин, Шувалов и супруги Нессельроде. Молва обвиняла Андрея Шувалова в том, что он хлопотал о заключении выгодного брака, закрыв глаза на позор рогоносца Нарышкина. Чтобы заполучить придворный чин, он должен был заплатить немалые деньги графине Нессельроде. Муж Нессельроде возглавлял Министерство иностранных дел, а Шувалов был видной фигурой в его ведомстве[12].

Помимо Нарышкина, в «дипломе» упомянуто имя графа Иосифа Борха. Граф занимал пост переводчика во II отделении Министерства иностранных дел. Иосиф Борх и Нессельроде были австрийскими графами, что и объясняет особое расположение австрийца Нессельроде к Борхам. Старший брат Иосифа, Александр, был помощником главы 1 Особой экспедиции, а его жена Софья была ближайшей приятельницей графини Нессельроде[13].

В Петербурге фамилия Борхов пользовалась скандальной славой. Отправляясь к месту дуэли на Черной речке, Пушкин встретил по пути сани с четой Борхов. «Вот две образцовых семьи, — сказал поэт ехавшему с ним секунданту. — Ведь жена живет с кучером, а муж — с форейтором»[14]. Иосиф Борх был не только рогоносцем, но и гомосексуалистом, подобно Геккернам. Жена Борха была двоюродной сестрой Натали, и Пушкин знал, о чем говорил.

Иосиф Борх был героем шумной «истории», позабавившей столицу. Осенью 1835 г. во время стоянки кавалергардского полка в Новой деревне офицеры С.Трубецкой и другие «устроили на Неве какие-то великолепные похороны мнимо умершему графу Борху»[15]. Аристократический бомонд собрался в тот день на Черной речке, чтобы отпраздновать чьи-то именины. Гости разместились на гондолах, вместе с музыкантами и певцами. Внезап-

но появился ялик с черным гробом. Трубецкой и другие гвардейцы, сидевшие в лодке, сбросили гроб в реку, из-за чего произошла ужасная суматоха[16]. Борх стал посмешищем в 1835 г., почему и был упомянут в пасквиле.

Следует подчеркнуть, что Пушкин, подобно Борху, числился чиновником Коллегии иностранных дел. Не вполне ясно, была ли в ведомстве Нессельроде штатная должность историографа, на которую царь велел зачислить Пушкина. В стенах министерства на этот счет немало шутили и злословили. Присвоение поэту титула историографа Ордена Рогоносцев было еще одним следом, который вел к ведомству Нессельроде. В пасквиле не отразилась информация, которая указывала бы на близкое знакомство его авторов с личной жизнью Пушкина. Среди сослуживцев по министерству у Александра Сергеевича, кажется, не было приятелей.

С большой долей вероятности можно заключить, что пасквиль отразил в себе информацию, связанную с жизнью, трениями и соперничеством внутри узкого чиновного мирка Министерства иностранных дел.

Современники называли Нессельроде «австрийским министром русских иностранных дел». В его ведомстве служило много венцев. Постоянная дипломатическая связь обеспечивала быструю доставку не одной только дипломатической корреспонденции. Неудивительно, что в недрах коллегии иностранных дел игра с рассылкой дипломов началась с минимальным опозданием в сравнении с Веной.

Чиновники министерства пользовались такой же репутацией среди служащих статских ведомств, как кавалергарды среди прочего офицерства. Те, которые служат в иностранной коллегии, иронизировал Гоголь, «...отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу!» Особое щегольство одежды и прическа резко выделяют «возвышенные души» из толпы. Среди гуляющих на Невском господ с бакенбардами «вы встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух, бакенбарды бархатные, атласные, черные как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах»[17].

III Отделение искало автора анонимного пасквиля и ему, возможно, удалось напасть на верный след. Подтверждением тому служат слова императора Александра II, записанные князем А.М.Голицыным. В узком кругу приближенных — за столом в Зимнем дворце — царь, лично знавший поэта, произнес фразу: «Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде»[18]. В момент смерти Пушкина наследнику было около 20 лет. Сведения о пасквиле он получил, наверное, после восшествия на трон. При Николае I Нессельроде сорок лет руководил внешней политикой России. Император не желал компрометировать влиятельнейшего из своих министров, произведенного им вскоре в канцлеры. Александру II не надо было заботиться о репутации Нессельроде, снятого им с высоких постов.

Именно Нессельроде передал военному суду, допрашивавшему Дантеса в феврале 1837 г., дуэльные документы Пушкина, чиновника его ведомства. Судей, конечно же, интересовал анонимный «диплом», послуживший причиной или поводом к дуэли. Нессельроде имел таковой в своем распоряже-

нии и обязан был передать его в суд. До суда министр показал «диплом» Геккерну, но отказался передать документ в трибунал. Его поведение было бы необъяснимо, если бы пасквиль не имел отношения к министерству. Видимо, Нессельроде не хотел дать судьям материал, который мог обнаружить след, ведущий к его ведомству.

Пушкин нисколько не напоминал «сошедшего с ума» ревнивца Безобразова. Владимир Соллогуб, принесший ему утром 4 ноября один из экземпляров «диплома», был поражен, с каким достоинством и спокойствием реагировал поэт на случившееся.

В сочинениях Соллогуба разных лет можно обнаружить разные версии пушкинских речей, услышанных им в тот день. В поздних воспоминаниях слова Пушкина переданы следующим образом: «...безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить мое платье, а не мое»[19]. Мемуары Соллогуба несут на себе печать беллетристической обработки. В ранней записи воспоминаний того же автора, сделанной по просьбе П.В.Анненкова, слова Пушкина переданы совсем иначе. Говоря о пасквиле, Пушкин произнес: «Впрочем, это все равно что тронуть руками говно. Неприятно, да руки умоешь и кончено»[20]. Приведенный пример дает представление о приемах работы мемуариста, который считал себя вправе приглаживать речи Пушкина, приписывать ему сочиненные фразы и пр. В ранней записи речи Пушкина переданы следующим образом: «Я подозреваю одну женщину». В литературных мемуарах добавлено: «которую мне и назвал»[21]. Пояснение Соллогуба относительно имени кажется сомнительным. Свидание Натали в квартире Полетики бросало тень на эту даму, смертельно ненавидевшую поэта. Однако предположить, что Пушкин назвал Соллогубу имя Полетики, не представляется возможным. Любое упоминание ее имени грозило скомпрометировать жену. Допустить этого поэт не мог. Даже спустя много лет друзья поэта называли Полетику не иначе как г-жа N. Характерно, что Пушкин скоро отказался от догадки, что автор пасквиля — великосветская дама.

Ближайшие приятели и знакомые Дантеса знали, что Натали отвергла его домогательства. Откровенное объяснение едва ли могло поколебать доверие Пушкина к жене. Однако среди великосветской черни, жадно следившей за разгоравшимся скандалом, слухи о тайном свидании красавицы с кавалергардом получили наихудшее истолкование. Бездействие грозило погубить честь женщины.

Пушкин не читал строк из письма Дантеса: «...я слишком люблю ее (Пушкину. — *Р.С.*), чтобы хотеть скомпрометировать»[22]. Но он представлял характеры действующих лиц и направил вызов Дантесу вовсе не из-за подозрения в совращении жены или сочинении пасквиля. Жорж настоял на тайном свидании с Натали и убеждал ее бросить мужа. Эта дерзость, скомпрометировавшая честь добродетельной матери семейства, не могла остаться безнаказанной. Соллогуб получил вызов в феврале того же года за несравненно меньшую дерзость. Только дуэль могла оградить дом поэта от низкой интриги. Вечером 4 ноября Пушкин послал вызов на дуэль поручику Жоржу Дантесу.

Заметки Жуковского

Жуковский узнал о предстоящей дуэли и пытался ее предотвратить, для чего написал Пушкину несколько писем. Ни одно из них не имеет точной даты, что затрудняет их использование.

После смертельного ранения поэта царь поручил Жуковскому привести в порядок и опечатать бумаги поэта. Затем в дело вмешалась жандармерия. В дом на Мойке прибыл начальник Штаба корпуса жандармов генерал Леонтий Дубельт, передавший приказ Бенкендорфа перевезти бумаги Пушкина в III Отделение и рассматривать их в кабинете шефа жандармов. Любой другой на месте Жуковского не посмел бы перечить приказу главы тайной полиции. Но воспитатель наследника потребовал, чтобы бумаги поэта разбирались в его, Жуковского, апартаментах. Бенкендорф должен был уступить[1].

Дубельту вменялось в обязанность сжечь «бумаги, кои по своему содержанию могут быть во вред памяти Пушкина», по прочтении вернуть письма их авторам, либо забрать их в III Отделение. Только письма Натальи Николаевны к мужу были освобождены от цензуры и их приказано было отдать жене, «но только с наблюдением точности почерка»[2].

Жуковский получил возможность разобрать свои письма Пушкину по поводу дуэли. Он сложил их в нужном порядке и сшил в тетрадку, запечатанную вслед за тем жандармами. Закончив работу, Жуковский написал на первом листе тетради: «Письма по делу Геккерна», а затем на каждом документе чернилами обозначил порядковый номер. Его нумерация, сделанная через три месяца после написания писем, является неотъемлемой частью источника. Составители академического издания не учли этого обстоятельства и придали письмам порядок, не совпадающий с авторским[3].

Следуя нумерации Жуковского, можно установить, что письмо № 1 было составлено не 9, а 10 ноября; письмо № 2 — не 12–20, а ранее 11 ноября; письмо № 3 — не 10, а 11 ноября; письмо № 5-6 — 13-14 ноября.

Наиболее четкие датирующие признаки имеет письмо № 3 (1285). В нем упомянуто, что Дантес «вчера» был в карауле, а «нынче в час пополудни будет свободен» от дежурства[4]. Исходя из того, что приказ о назначении Дантеса последовал 9 ноября, а дежурство продолжалось сутки, и значит, он освободился 10 ноября, издатели датировали письмо Жуковского 10 ноября. Однако известно, что приказы о назначении в караул отдавались накануне дня дежурства, офицер заступал в караул в полдень, а освобождался от дежурства в полдень следующего дня[5]. Таким образом, приказ о дежурстве Дантеса был издан 9 ноября, на караул он заступил 10, а должен был вернуться с дежурства «нынче» — при смене караула — 11 ноября в час пополудни. Таким образом, послание № 3 было составлено не 10, а 11 ноября в первой половине дня.

Судя по авторской нумерации, письмо № 1 было написано ранее письма № 3, иначе говоря, ранее 11 ноября. Оно заканчивалось словами: «Я теперь у Виельгорского, у которого обедаю». Записка была запечатана облаткой графа, а значит, она действительно была написана днем во время обеда в доме Виельгорского[6]. Получив записку, встревоженный Пушкин бросился к Виельгорскому. Время его визита точно обозначено в письме Жуковского к

Пушкину от 11 ноября: «...вчерашний твой приход ко Виельгорскому открыл ему глаза»[7]. Итак, поэт посетил Виельгорского «вчера», т.е. 10 ноября в послеобеденное время. Отсюда следует, что первое послание Жуковского Пушкину было составлено не 9-го (традиционная датировка), а 10 ноября.

Письмо № 2 издатели отнесли к 15—20 ноября, С.Л.Абрамович — примерно, к 12-13 ноября[8]. Однако, судя по нумерации самого Жуковского, оно было написано до 11 ноября, сразу после объяснения между друзьями. Видимо, выговор вызвал резкую отповедь со стороны Пушкина. Жуковский рассердился, но затем испытал чувство раскаяния. «Хотя ты и рассердил и даже обидел меня, — писал он, — но меня все же к тебе тянет — не брюхом, но... сердцем» Все письма Жуковского исполнены гневными укорами. Лишь письмо № 2 заключает в себе не укоры, а извинения: «...обещаюсь не говорить более», «...выскажи мне все...» и пр.[9]

Для датировки письма № 5-6 существенно то, что оно четко отразило события 12-14 ноября. Утром 13 ноября Геккерн известил Загряжскую: «После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вчера вечером» и пр.[10] Надежда на мир, возникшая вечером 12 ноября, воодушевила Жуковского, и в письме Пушкину (№ 5-6) он написал, что дело должно кончиться для Пушкина «самым наилучшим образом»[11]. Письмо № 5-6 было написано либо 13 ноября, либо, по предположению С.Л.Абрамович, утром 14 ноября[12].

Письмо № 4 — наиболее важный дуэльный документ — было положено в спешке или умышленно не на место. Оно датируется 16 ноября и завершает рассматриваемый цикл писем[13].

Ценным дополнением к письмам Жуковского служат три его конспективные заметки. Они написаны на бумаге неодинакового качества, разного цвета и формата. Первая заметка писана мелким почерком на четвертушке бумаги, вторая и третья — размашистым почерком на четвертушке и половине листа. Конспекты не производят впечатления поденных записей. Это листки, заполненные в один прием.

Характерная особенность трех конспектов — строго хронологическая последовательность изложения. Первый конспект охватывает время до 10 ноября; второй — с 11 ноября до преддуэльных дней, третий — со дня дуэли 27 января до 1 февраля.

Исследователи оценивают конспекты Жуковского как исключительно достоверные. «Эти заметки, — указывает П.Е.Щеголев, — положены в основу нашего изложения дуэли»[14]. Полагают, что записи первого конспекта, имеющие точные даты, «были сделаны тогда же, по горячим следам, скорее всего 10 или 11 ноября»; записи второго конспекта не имели точных дат и «были сделаны позднее — очевидно, в конце января 1837 г.»[15]

Сохранилось письмо Жуковского Пушкину от 11 ноября с отчетом о посреднической миссии. Если его конспект был составлен в тот же день, оба источника должны совпадать в деталях. В действительности они противоречат друг другу. В письме от 11 ноября, написанном по свежим следам, значилось: «Сын (Дантес. — *Р.С.*), узнав положение дел, хотел непременно видеться с тобой (Пушкиным. — *Р.С.*). Но отец, испугавшись свидания, обратился ко мне... я предложил свое посредство, то есть (я) хотел (! — *Р.С.*) предложить, написав в ответ отцу (Геккерну. — *Р.С.*) то письмо, которого брульон тебе показывал»[16].

В конспекте Жуковский писал: «9. Les revelations de Heckern. — Мое предложение посредничества. Сцена с отцом и сыном. Мое предложение свидания (Пушкина и Дантеса.— *Р.С.*). 10. ...Мое письмо Геккерну. Его ответ»[17].

Итак, в письме Жуковский подчеркивал, что мирная инициатива исходила от Дантеса, который хотел непременно видеться с Пушкиным, чтобы уладить дело. В конспекте эта подробность была опущена, а предложение о свидании Дантеса с Пушкиным Жуковский приписал себе.

Вызывает сомнения конспективная запись Жуковского с датой 10 ноября: «Мое письмо Геккерну. Его ответ». Письмо Геккерна сохранилось, и в нем помечена дата 9 ноября. Очевидно, письмо барона от 9 ноября никак не могло быть ответом на письмо Жуковского от 10 ноября.

Письмо от 11 ноября позволяет воссоздать достоверную картину. 9 ноября посол обратился с письмом к Жуковскому (в письме нет и намека на то, что дипломат отвечает на полученное им послание). Письмо было доставлено Жуковскому на следующий день.

Лишь после получения «ноты» барона, Жуковский предложил, а точнее, «*хотел* предложить» посредство. А именно, он составил черновик (брульон) ответа Геккерну и показал его Пушкину. Реакция была такова, что Жуковский не отослал брульона. Посредническая миссия не удалась.

Отмеченные противоречия свидетельствуют, что конспект номер 1 был составлен не 10-11 ноября, а позже, когда детали происшествия стерлись из памяти Жуковского.

Правка в тексте первого конспекта свидетельствует, что Жуковский столкнулся с наибольшими трудностями при датировке событий. Самая обширная запись конспекта имеет дату 7 ноября. Доведя запись до слов: «Свидание с Геккер», автор твердо вывел несколько отступя в начале следующей строки: «9 ноября». Затем он заметил пропуск дня и неловко исправил «9» на «8». Под конец Жуковский вовсе вычеркнул «8 ноября», а цифру «8» (без прибавления «ноябрь») вписал ниже. Исправление дат доказывает, что Жуковский составлял конспект не по свежим следам, а много времени спустя, когда точные даты были им забыты.

В период с 6 по 10 ноября Жуковский выполнял роль посредника. События этого периода обозначены точными датами. Второй конспект имел заголовок: «После того как я отказался» В нем объединены более краткие сведения о событиях, в которых Жуковский участвовал, не будучи официальным посредником. Дабы избежать хронологических неточностей, Жуковский избрал простой способ. Он вовсе отказался от обозначения дат, а лишь разделил абзацами отдельные заметки. Составляя заметки по свежим следам в конце января, Жуковский в третьем конспекте впервые стал точно обозначать время события, с указанием на часы. Конспект завершала заметка о происшествиях 1 февраля[18].

Итак, Жуковский приступил к составлению Конспективных заметок в доме Пушкина не ранее 27 января и кончил их не позднее начала февраля. У него не оказалось под руками стопы бумаги одного сорта, и он использовал первые попавшиеся под руку клочки бумаги.

Неожиданное сватовство

Пушкин направил вызов Дантесу в день получения пасквиля, 4 ноября[1].

Вызов Пушкина, вероятно, не был неожиданностью для Геккернов, так как они знали о буре, разразившейся в доме поэта 2 ноября. Письмо поэта было доставлено в голландское посольство утром 5 ноября. Дантес находился на дежурстве в Зимнем дворце, и отец распечатал пакет, адресованный сыну, в его отсутствие.

Ознакомившись с картелью, посол отправился для переговоров в дом на Мойке. Ход переговоров кратко и точно описан Пушкиным в письме Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г.: «Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на 15 дней»[2]. По некоторым причинам поэт не желал знакомить шефа жандармов с подробностями дела. Об этих подробностях князь Петр Вяземский сообщил в письме великому князю Михаилу Павловичу от 17 февраля 1837 г. Явившись к Пушкину, Геккерн просил отложить окончательное решение на 24 часа. По прошествии суток он вторично явился на Мойку и со слезами на глазах стал умолять дать ему еще неделю отсрочки. Наперекор истине он уверял, будто сын до сих пор ничего не знает о дуэли. Волнение и слезы отца тронули Пушкина, и он сам предложил дать не неделю, а две недели сроку[3]. Предложение Пушкина свидетельствовало о его великодушии, а также и о его полном неведении насчет роли министра. Но поступок Пушкина противоречил дуэльному кодексу, и поэт не стал упоминать об этом факте в письме Бенкендорфу. Как бы то ни было, его сведения об отсрочке на 15 дней полностью соответствовали действительности.

Геккерн не терял времени. Он попытался воздействовать на Пушкина через его друзей и близких. По словам Вяземского, он бросился к Жуковскому и Виельгорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным[4]. В письме великому князю Вяземский пропустил важную деталь. В своих воспоминаниях князь Петр рассказал о том, что встретил Геккерна на Невском и тот просил его о посредничестве, но он не согласился[5].

Добраться до Жуковского было труднее, так как он жил в Царском Селе.

По предположению исследователей, Наталья Николаевна догадалась обо всем после неожиданного визита Геккерна к мужу 5 ноября[6]. Однако догадливость Натали не следует переоценивать. Она могла узнать о дуэли от мужа, показавшего ей пасквиль, или же от Геккерна. Различие заключалось в том, что Пушкин ни при каких условиях не дал бы жене совет спешно послать за Жуковским в Царское Село, тогда как Геккерн остро нуждался в посреднике.

Посол пытался использовать доверительные отношения с Пушкиной. Он осмелился обратиться к ней с просьбой написать Дантесу письмо, «в котором она умоляла бы его не драться с ее мужем[7]. Молодой французский дворянин старался избежать поединка. Письмо Пушкиной должно было спасти его репутацию храбреца в глазах света. Но Натали отвергла просьбу Геккерна.

Жена Пушкина реагировала на события с несвойственной ей решительностью и быстротой, возможно, следуя подсказке. Едва узнав о поединке,

она постаралась через брата Ивана Гончарова передать просьбу Жуковскому немедленно приехать в Петербург. Гончаров служил в гусарском полку, в то время стоявшем в Царском Селе. 6 ноября был храмовый праздник его полка, в котором участвовала императорская фамилия. Жуковский должен был присутствовать на парадном обеде гусар вместе с цесаревичем, воспитателем которого он был. Имя Жуковского значилось в камер-фурьерском журнале. Но он, в отличие от Вяземского, понимал серьезность положения и, по-видимому, пренебрег своими прямыми обязанностями. Зато Гончаров за самовольную отлучку 7 ноября угодил под арест[8].

В январе 1837 г. Жуковский составил «Конспективные заметки» о дуэли. В них значилось: «6 ноября. Гончаров у меня. Моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину. Остаток дня у Вьельгорского и Вяземского. Вечером письмо Загряжской»[9].

То, что Жуковский и Геккерн столкнулись лицом к лицу у Пушкина, возможно, не было случайностью. Но Жуковский был слишком деликатным человеком и при появлении дипломата поспешно удалился. Вернувшись к другу, Жуковский из его уст узнал о вызове и двухнедельной отсрочке, после чего отправился к Виельгорскому и Вяземскому для совета.

Геккерн с самого начала возлагал надежды на содействие этих трех лиц. Во второй половине дня 6 ноября он вовлек в историю еще одно лицо — Загряжскую, влиятельную фрейлину, жившую в Зимнем дворце. Фрейлина любила племянницу Наталью и заменяла ей мать. Посол предпринял попытку втянуть Жуковского в свою игру, использовав для этой цели тетку Натальи. Речь шла о чести любимицы, и Загряжская немедленно откликнулась на обращение Геккерна. Вечером 6 ноября Жуковский получил письмо от Загряжской с приглашением посетить ее. Старой фрейлине была отведена скромная роль. Она должна была свести Жуковского с Геккерном.

«7 ноября, — значилось в заметках Жуковского. — Я поутру у Загряжской. От нее к Геккерну. (Mes antecedens [мои прежние действия] Незнание совершенное прежде бывшего.) Открытия Геккерна. О любви сына к Катерине (моя ошибка насчет имени). Открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе»[10].

Беседа с Загряжской не подготовила Жуковского к восприятию того, что он услышал от посла. Он не мог не знать об ухаживаниях Дантеса за Пушкиной, протекавших на его глазах. Из заверений же посла следовало, что Дантес увлекся не Натальей, а ее сестрой Екатериной Гончаровой и согласен на свадьбу. Новость была столь поразительна, что Жуковский не сразу сообразил, о ком идет речь, и сделал ошибку в имени невесты.

Голландский министр разработал план действий тотчас после получения вызова и посещения им Пушкина. План заключался в том, чтобы убедить поэта, что Дантес увлечен не его женой, а другой женщиной — Мари Барятинской, на которой он намерен жениться без всякого промедления. Едва вернувшись с дежурства Жорж бросился вечером 5 ноября к Барятинским. Но эта семья уже в конце октября выразила свое отношение к сватовству поручика. Невеста не могла простить Жоржу того, что он предпочел ей Пушкину, и встретила его холодно. Визит не удался. Кавалергард был непривычно молчалив и покинул дом, сказав княгине, что девушка «его очень вежливо прогнала»[11].

Попытка ускорить сватовство не удалась, что вынудило Геккернов спешно

искать для поручика другую «невесту». Выбор был невелик, и дипломат задумал мистифицировать Пушкина планами брака сына с Екатериной Гончаровой. Речь шла именно о мистификации, поскольку барон вовсе не желал женить Жоржа на бедной и некрасивой Екатерине, которая была к тому же на четыре года старше молодого человека.

Поведение Дантеса давало достаточно внешних поводов для интриги. Софи Карамзина так описывала прием в ее загородном доме в сентябре 1836 г.: Дантес «продолжает все те же штуки, что и прежде — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали...»[12]

Чтобы иметь возможность видеться с Жоржем, Наталья Николаевна постоянно брала с собой Екатерину, не отступавшую от нее ни на шаг. Сестра была хранительницей добродетели замужней дамы, но отнюдь не ее наперсницей. Дантес также не посвящал Катерину в свои интимные дела. Своему отцу он наказывал поговорить с Пушкиной, «да так, чтобы не слышала сестра»[13].

Александрина Гончарова жила под одной крышей с сестрами и наблюдала за их романом с кавалергардом вблизи. По ее словам, молодой Геккерн принялся притворно ухаживать за Екатериной Гончаровой: «он хотел сделать из нее ширму, за которой он достиг бы своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами (Натали и Катериной. — *Р.С.*) сразу», но то, что «для него было игрой, превратилось (у Катерины. — *Р.С.*)... в серьезное чувство»[14].

В отличие от Барятинской, Екатерина Гончарова с восторгом приняла обращение к ней Геккернов, подававшее ей надежду на брак. Геккерны избрали Гончарову, не видя для себя иного способа уладить дело миром. Но они просчитались, надеясь обмануть «простодушного» Пушкина. Тот сразу объявил, что сватовство к Гончаровой — бесчестная уловка.

7 ноября барон Геккерн беседовал с Жуковским в посольстве, сын пытался договориться о встрече с Пушкиным через Виельгорского. Запись 7 ноября заканчивалась словами: «Свидание (Жуковского. — *Р.С.*) с Геккерном. Извещение его Вьельгорским»[15].

Побеседовав с министром, Жуковский отправился к Пушкину: «Мое слово. — Мысль все (дуэль. — *Р.С.*) остановить.. — Возвращение к Пушкину. Les revelations. [откровения, разоблачения]. Его бешенство». Поэт не поверил ни одному слову Геккернов. Своими разоблачениями он пытался открыть Жуковскому глаза. Уловки Геккернов и доверчивость Жуковского привели его в бешенство.

Переговоры продолжились 8 ноября. Посол виделся с Загряжской, а Жуковский — с Пушкиным. Поэт не шел ни на какие уступки, но все же несколько успокоился. «Большее спокойствие. Его слезы», — пометил Жуковский.

9 ноября барон обратился с письмом к Жуковскому, рассчитывая на то, что тот ознакомит с ним Пушкина. В самом деле, 10 ноября Жуковский ознакомил друга с письмом. Свое обращение Геккерн начал хорошо продуманной фразой. Он узнал от Загряжской, «что она посвящена в то дело, о котором я Вам (Жуковскому. — *Р.С.*) сегодня пишу». Фраза имела в виду сватовство Дантеса к Катерине, но ни имя невесты, ни имя жениха в ноте не были обозначены. Для непосвященных было совсем непонятно, о чем идет речь. Главное содержание письма сводилось к мысли о необходимости

свидания двух противников для их объяснения и примирения. Непременным участником свидания должен был быть авторитетный посредник в лице Жуковского[16].

После вызова Дантес настойчиво искал встречи с Пушкиным. Наталья подтвердила репутацию добродетельной особы, и кавалергард надеялся объяснить это ее мужу, чтобы помириться с ним. 7 или 8 ноября поручик посетил Виельгорского, рассчитывая встретить там Пушкина. Этому эпизоду посвящена запись Жуковского с исправлениями: «Свидание с Геккерном». [*9 исправлено на 8 ноября. Все зачеркнуто*]. «Извещение его Вьельгорским. (Les) Молодой Геккерн у Вьельгорского. Затем за устройство встречи взялся Жуковский. («Мое предложение свидания»). 10 ноября Дантес явился к Жуковскому, но встреча не состоялась из-за отказа Пушкина. («Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания»)[17].

11 ноября Жуковский напомнил Пушкину о том, что он не только ознакомил его с письмом Геккерна, но и составил черновик ответа ему, что должно было примирить стороны и отменить дуэль: «...отец... обратился ко мне... я предложил свое посредство, то есть хотел предложить его, написав в ответ отцу то письмо, которого брульон тебе показывал (10 ноября. — *Р.С.*), но которого не послал и не пошлю... Старый Геккерн таким образом не узнает, что попытка моя с письмом его не имела успеха»[18]. Итак, Жуковский написал ответ на письмо Геккерна, но Пушкин познакомился с черновиком («брульоном») и категорически отверг его.

Двусмысленное и неискреннее письмо Геккерна не могло вызвать у Пушкина ничего кроме гнева. Он увидел в дипломатическом шедевре подтверждение своих подозрений. Поэт не верил серьезности намерений Дантеса.

Видимо, уже после встречи с Пушкиным 10 ноября Жуковский обедал у Виельгорского и от него написал письмо поэту, начинавшееся словами: «Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит»[19]. Вместо примирительного ответа Жуковский отослал Геккерну ничего не значащую отписку. Одновременно он обратился к Пушкину с резким выговором: «...есть еще возможность все остановить... Но ради Бога одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления». Граф Виельгорский запечатал записку своей облаткой. Этим он дал понять Пушкину, что разделяет мнение Жуковского[20]. На поэта обращение двух друзей произвело сильное впечатление. Он поспешил к Виельгорскому и, по словам Жуковского, «открыл ему глаза»[21]. Вяземский с самого начала не пожелал принять участие в дуэльной истории. Виельгорский выслушал доводы поэта и тотчас отказался от посреднической миссии, чем завоевал его сердце.

Пушкин, по его собственным словам, не раз получал нагоняи от Жуковского. Однако в дни дуэльной истории он не желал прислушиваться ни к чьим советам. Почувствовав это, Жуковский постарался предотвратить разрыв. После очередного столкновения с другом он писал: «Хотя ты и рассердил и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет... Я приду к тебе между 1/2 12 (половиной 12-го. — *Р.С.*) и часом; обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор и что теперь решено... Итак приду.

Дождись меня пожалоста. И выскажи мне все, что тебе надобно: от этого будет добро нам обоим. Ж.»[22] Жуковский вызвал гнев Пушкина тем, что повторял аргументы Геккернов. В письме незадачливый посредник косвенно признал свою неправоту и согласился с тем, что «разоблачения» Пушкина меняют дело.

Затевая мистификацию, Геккерны никак не думали, что дело может затянуться на много дней. Им пришлось изобретать все новые и новые доказательства вымышленного романа Дантеса с Катериной. Судя по конспективным записям Жуковского, признания Геккернов неожиданно приобрели скандальный харакатер. «9 ноября. Les revelations [разоблачения, откровения] de Hekckern. — Мое предложение посредничества»[23].

П.Е.Щеголев выражал недоумение, какие «откровения» или «разоблачения» Геккернов имел в виду Жуковский?[24] Жуковский сам ответил на этот вопрос в письме к Пушкину, датируемом 13 ноября или утром 14 ноября. Он писал буквально следующее: «Получив от отца Г. доказательство материальное, что дело, о коем теперь идут толки, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова...»[25] О каком «материальном доказательстве» идет речь? Жуковский употребил самое деликатное выражение для обозначения весьма неделикатного и даже шокирующего обстоятельства. Затеяв игру, дипломат вынужден был идти до конца. Он представил Жуковскому некие «материальные доказательства» того, что его сын соблазнил девицу и обязан жениться на ней как можно скорее.

И Геккерны, и Загряжская настаивали на том, чтобы сохранить сватовство в тайне. Это должно было обеспечить Геккернам поле для отступления и отказа от своих обещаний. Пушкин прекрасно понимал мотивы Геккернов и старался с помощью гласности расстроить планы барона. Он преднамеренно поделился новостями с Карамзиными. 13-14 ноября Жуковский резко упрекал за это Пушкина: «Ты поступаешь неосторожно... Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне?»[26] Падчерица Е.А.Карамзиной Софи поспешила разнести скандальную молву. В письме брату 20-21 ноября она писала буквально следующее: «Поведение молодой особы, каким бы оно ни было компрометирующим, в сущности компрометировало только другое лицо (Дантеса. — *Р.С.*), ибо кто смотрит на посредственную живопись, если рядом — Мадонна Рафаэля. А вот нашелся охотник до этой живописи, возможно потому, что ее дешевле можно было приобрести. Догадываешься? Ну да, это... дерзкий Дантес»[27]. Под «молодой особой» и «посредственной живописью» Софи подразумевала Катерину, а под Мадонной Рафаэля — Натали. Смысл письма Софи заключался в том, что Дантес безнадежно скомпрометировал Катерину — «дешево приобрел ее», и это вынуждает его вступить в брак.

Загряжская более всех хлопотала о сохранении тайны и спасении чести племянницы (Екатерины Гончаровой). Но по временам и она проговаривалась. В письме к Жуковскому 17 ноября она описала сцену помолвки Екатерины и заключила рассказ словами: «...старшой Гончаров... объявил им родительское согласие, и так все концы в воду»[28]. Брак должен был покрыть грех молодых — таким был смысл слов «концы в воду». Между Загряжской и Жуковским не было секретов. Жуковский получил информацию из первых рук и был согласен, что надо прятать концы и играть свадьбу.

Пушкин не находил нужным скрывать скандальную историю. Его откровения подали повод для злословия. «Надо было видеть, — писала Софи Карамзина брату, — с какой готовностью он (Пушкин. — *Р.С.*) рассказывал моей сестре (Мещерской. — *Р.С.*)... обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу»[29]. Софи напрасно бранила Пушкина. Не он, а Геккерны были авторами новеллы — «таинственной истории» о совращении некоей девицы. Великий знаток человеческой психологии имел основания потешаться над водевилем, разыгранным на его глазах неловкими актерами.

Репутация девицы Гончаровой рушилась на глазах. Но она сама согласилась играть роль совращенной девицы. Скандальные толки распространились по городу. История «загадочного» брака Дантеса обсуждалась в придворных сферах. Приятельница царицы С.Бобринская укоряла Катерину Гончарову за белое платье не к месту и выражала сочувствие ее тетке Загряжской. В письме от 25 ноября она писала: «Под сенью мансарды Зимнего дворца тетушка плачет, делая приготовления к свадьбе. Среди глубокого траура по Карлу X видно одно лишь белое платье, и это непорочное одеяние невесты кажется обманом! Во всяком случае, ее вуаль прячет слезы, которых хватило бы, чтобы заполнить Балтийское море»[30]. О чем плакали тетка и племянница? Свет злословил по поводу того, что за непорочным одеянием невесты скрывается порок. Девица совращена и может оказаться в трудном положении. Были ли основания у подобного рода слухов?

В свое время Л.П.Гроссман высказал предположение о том, что Дантес находился в связи с Катериной, родившей ему первого ребенка через три месяца после свадьбы[31]. Однако ошибочность этой версии теперь доказана неопровержимо[32]. Остается сделать лишь одну необходимую поправку. Авторами фальшивой версии о совращении Катерины и ее возможной беременности были сами Геккерны. Сочиненная в начале ноября 1836 г., эта версия сыграла самую существенную роль в дуэльной истории.

В декабре Дантес окончательно смирился с мыслью о том, что свадьба неизбежна, и это внесло новые черты в его взаимоотношения с невестой. В одной из записок Катерине Жорж писал, что относится к ней почти как к супруге. Когда невеста посетила офицера, он извинялся, что принял ее неодетым. В одной из записок поручик писал, что ему «любопытно посмотреть, сильно ли выросла картошка с прошлого раза»[33]. По предположению Серены Витале, словечко «картошка» могло обозначать ребенка, которого невеста носила во чреве[34]. Однако такое толкование кажется неудачным. Жорж завершил записку словами: «Сейчас ко мне пришел барон и поручил побранить вас, что мало заботитесь о том, чтобы вылечить свою простуду»[35]. Таким образом, упоминание о картошке получает простейшее объяснение. Балагур-кавалергард отменно шутил по поводу простудного волдыря или же сопливого носа невесты.

Выйдя замуж, Катерина писала мужу вскоре после 19 марта 1837, что доктор уложил ее в постель, велел снять корсет и одеть капот, «чтобы поберечь маленького... он сильно капризничает»[36]. Известно, что младенец начинает шевелиться в утробе матери примерно на 20-й неделе беременнос-

ти. Между тем, после свадьбы прошло всего лишь 9 недель, и ребенок в то время никак не мог «капризничать». Письмо Геккерна вполне разъясняет дело. В марте была опасность выкидыша[37].

Дитя у Катерины родилось 19 октября 1837 г., т.е. точно в положеное время, через 9 месяцев после свадьбы[38].

Как бы то ни было, но у Катерины Гончаровой были причины горько жаловаться на судьбу. В письмах к братьям невеста Жоржа писала: «...в тех горестях, которые небу угодно было мне ниспослать... мое счастье уже безвозвратно утеряно... я прошу у Бога... положить конец жизни столь мало полезной, если не сказать больше, как моя... смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем беспрестанно умоляю всевышнего» (письмо 9 ноября); «я венчаюсь... если Бог поможет», «я жду конца всего этого со смертельным нетерепением...» (письмо 3 декабря)[39]. «Счастливая» невеста блистательного кавалергарда была несчастна из-за того, что принуждена была играть жалкую и унизительную роль, начисто погубившую ее безукоризненную репутацию. Сестры Натали и Катерина были влюблены в Дантеса. Различие заключалось в том, что младшая не захотела пожертвовать своим добрым именем ради увлечения, тогда как старшая не захотела упустить шанс на замужество.

Отказ от дуэли

В письме от 11 ноября 1836 г. Жуковский объявил Пушкину, что его «вчерашнее официальное свидание» может считаться «не бывшим» и что он (Жуковский) слагает с себя официальную миссию посредника: «Этим свидетельством роля (посредника. — *Р.С.*), весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается. Прости. Ж.» Свое письмо Жуковский закончил ссылкой на то, что Геккерн умоляет Пушкина о милосердии: «Он в отчаянии, но вот что он мне сказал: "я приговорен к гильотине, я взываю к милосердию (Пушкина. — *Р.С.*); если это не удастся — придется взойти на эшафот и я взойду, потому что мне так же дорога честь моего сына, как и его жизнь"»[1].

Демарш Жуковского умерил гнев Пушкина, и он дал знать, что мир с Геккернами возможен. 13 ноября утром Геккерн обратился к Загряжской со словами: «После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вечером...» Слова посла означали, что 12 ноября поэт согласился помириться с Дантесом. Только это могло успокоить и осчастливить Геккерна-отца. Подтверждением такой интерпретации служит письмо Жуковского от 13-14 ноября 1836 г. Жуковский уведомлял поэта: «дело теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом» [2].

Адресуя письмо Загряжской, посол подсказывал ей слова, которые она должна была пересказать от своего имени Пушкину: «...забыл просить вас, сударыня, сказать в разговоре, который Вы будете иметь сегодня, что намерение (брак Катерины. — *Р.С.*), которым вы заняты, о К. (Катерине. — *Р.С.*) и моем сыне существует уже давно, что я противился ему», но теперь «я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии, с условием, во всяком случае, сохранять все дело в тайне до окончания дуэли»[3]. Версия министра сводилась к тому, что Дантес давно решил жениться на

соблазненной девице, но не мог исполнить свое намерение из-за запрета отца. Впервые Геккерн упомянул о К. Но он не пояснил, что сын сватается к ней, ограничившись глухой ссылкой на некое «дело». «Вы знаете, — завершал свое письмо барон, — что с Пушкиным не я уполномачивал вас говорить...» Однако это была лишь уловка.

Конспективные заметки Жуковского позволяют установить некоторые подробности дела.

«После того как я отказался.
Присылка за мною Е.И. Что Пушк. сказал Александрине.
Мое посещение Геккерна.
Его требование письма.
Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве.
Свидание Пушкина с Геккерном у Е.И.»[4]

Жуковский отказался от своей миссии 11 ноября, после чего в роли посредника выступила Александрина Гончарова. Именно ей Пушкин сообщил нечто очень важное, вследствие чего ее имя попало в конспект Жуковского («Что Пушк. сказал Александрине»). Е.И.Загряжская незамедлительно послала за Жуковским, и они вместе обсудили новость, после чего Жуковский вернулся к роли посредника и отправился к барону («Мое посещение Геккерна»).

Дальнейшие события П.Е.Щеголев реконструировал следующим образом. Пушкин виделся с Загряжской и согласился на свидание с Геккерном, которое состоялось, возможно, в тот же день 13 ноября. В официальной обстановке, в присутствии Загряжской Геккерн сообщил Пушкину о предполагаемой свадьбе Дантеса с Катериной Гончаровой. После этого «Пушкин нашел возможным пойти на уступки и согласился взять свой вызов обратно»[5]. С.Л.Абрамович отнесла свидание к 14 ноября, а результаты встречи изложила, следуя схеме П.Е.Щеголева. «По-видимому... посланник подтвердил сообщение Загряжской о согласии обеих семей на брак Жоржа Геккерна с Екатериной Гончаровой. Пушкин заявил, что ввиду этого просит рассматривать его вызов как не имевший места. Геккерн потребовал, чтобы поэт письменно подтвердил свое словесное заявление»; все это позволило «привести дело к мирному исходу»[6].

В действительности, согласие Пушкина на мир не решило дела. В переговорах наступила тягостная пауза. Переговорами руководил опытный дипломат, в глазах которого устные недокументированные соглашения не имели никакой цены. Но как только речь зашла о том, как мотивировать отказ от дуэли в письменном документе, возникли непреодолимые разногласия.

В приведенном выше конспекте Жуковского заключается видимое противоречие. После слов «Его (Геккерна. — *Р.С.*) требование письма» следует фраза: «Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает (слухи) о сватовстве»[7]. Итак, барон потребовал письма. Пушкин отказал ему в письме. Кто же в таком случае написал упомянутое письмо со ссылкой на сватовство Дантеса?

Архивы сохранили два текста «письма Пушкина», не им составленные. Один текст писан рукой Жуковского, другой — Дантеса. Если бы Пушкин послал свое письмо с отказом от дуэли по назначению, оригинал сохранился

бы в архиве дипломата. Но названного письма в архиве Геккернов нет. Нет его и среди бумаг Пушкина.

Копия пушкинского письма, писанная Жуковским, является черновиком. В ней имеются пометы, не принадлежащие Жуковскому и сделанные более темными чернилами. После слов «по слухам», несколько выдаваясь над строкой, стоит жирный вопросительный знак, выведенный неизвестной рукой. Выделенное слово кроме того подчеркнуто жирной чертой и перед ним проведена черта, наподобие скобки. Еще один вопросительный знак выставлен после слова «случайно»[8]. Пометы подтверждают, что письмо было черновым документом, подлежавшим правке.

Проект послания Пушкина сопровождали краткие инструкции посреднику. В самом конце страницы рукой Жуковского приписаны строки: «...в случае, если господин Геккерн потребует указать причину вызова». В ответ следовало объявить: «За то, что он вел себя по отношению к моей жене так, как я не могу перенести...» Заявление от первого лица доказывает, что Жуковский писал черновик под диктовку Пушкина.

Текстологическое сравнение не оставляет сомнения насчет взаимосвязи вариантов Жуковского и Дантеса. Вариант Жуковского: «Узнав случайно, по слухам, что г-н Ж. Геккерн решил просить руки моей свояченицы мадемуазель К.Гончаровой, я прошу г-на барона Геккерна-отца соблаговолить рассматривать мой вызов как не бывший» [9]. Вариант Дантеса: «...я прошу г. Ж. де Г. благоволить смотреть на этот вызов как на несуществующий (не бывший. — *Р.С.*), убедившись случайно, по слухам, что мотив, управлявший поведением г. Ж. де Г., не имел в виду нанести обиду» и пр.[10] Очевидно, Геккерны держали в руках копию Жуковского и использовали ее при составлении приемлемой для них версии отказа от дуэли. Работа не была доведена до конца, черновик не был подписан Пушкиным.

Текст, переписанный рукой Жуковского, по содержанию строго соответствует письму, упомянутому в его конспективных заметках: «письмо, в котором упоминает (слухи) о сватовстве». Уклончивая фраза насчет слухов спасала лицо жениха. В то же время она служила порукой того, что брак состоится.

Фраза о сватовстве стала камнем преткновения. Геккерн заготовил свой вариант предполагаемого письма Пушкина, в котором употребил те же слова без знаков вопроса, но совершенно в ином контексте, без всякого указания на предполагаемый брак. В проекте «письма Пушкина», подготовленном Геккернами, значилось: «...я (Пушкин. — *Р.С.*) прошу г. Ж. де Г. благоволить смотреть на этот вызов, как на несуществовавший, убедившись, случайно, по слухам, что мотив, управлявший поведением г. Ж. де Г., не имел в виду нанести обиду моей чести — единственное основание, в силу которого я счел себя вынужденным сделать вызов»[11].

12-13 ноября 1836 г. стороны заключили мир на словах. Однако 14 ноября события получили новый поворот. С.Л.Абрамович описывает этот поворот следующим образом: Пушкин сумел сохранить самообладание в момент переговоров 14 ноября, что и позволило заключить мир, но «его раздражение безудержно прорвалось несколькими часами позднее в разговоре с В.Ф.Вяземской», которой он сказал, что готовит месть Геккерну, чтобы бросить его «в грязь»; «поведение Пушкина не было последователь-

ным»[12]. Если события развивались именно так, то тогда речь должна идти не о непоследовательности, а о двуличии и лицемерии Пушкина. В самом деле, он договаривался с Геккерном о мире, а за его спиной готовил ему страшную месть.

Пушкин не был двуличен, а его «раздражение» имело самые серьезные причины.

Эпизод со сватовством Дантеса получил отражение в воспоминаниях Александрины Фризенгоф-Гончаровой. Э.Герштейн высказала запоздалое возмущение по поводу этих воспоминаний. Она обратила внимание на «такое возмутительное место, как толкование Фризенгофами ноябрьских переговоров по поводу вызова Пушкина». Пушкин, по словам А.Гончаровой, начал с того, что отказал в доме Геккерну-сыну, а «кончил тем, что заявил: либо тот женится на Катерине, либо будут драться»[13]. «Выходит, — пишет Э.Герштейн, — что весь замысел женитьбы Дантеса на Катерине Гончаровой исходил от Пушкина. Больше того, получается, что он и дрался за Катерину, а не за жену»[14].

Пушкин послал вызов Дантесу, спасая честь жены, поскольку ухаживания кавалергарда грозили погубить ее репутацию. Чтобы избежать дуэли, Геккерны затеяли сватовство к Катерине. С их стороны это было мистификацией. Понимая это, Пушкин задумал принудить Жоржа к браку или же разоблачить обман. Геккерны недооценили решимость поэта защитить честь девицы Екатерины Гончаровой, отданной родителями на его попечение.

Источники подтверждают, что тревога поэта имела самые серьезные основания. Геккерны недаром наставивали на том, чтобы держать в тайне сватовство к Катерине. 29 января 1837 г. фрейлина М.Мердер записала в дневнике слова офицера Су-нева, проявившего исключительную осведомленность насчет подробностей дуэли Пушкина. По словам офицера, Дантес женился на сестре Натальи Николаевны, чтобы «спасти репутацию той, которую любил. Поступок необдуманный... особенно после того, как всем было говорено о решимости (Дантеса. — *Р.С.*) ехать во Францию с целью положить конец оскорбительным толкам и клевете, распространенным в обществе насчет г-жи Пушкиной»[15]. Итак, до свадьбы Жоржа с Гончаровой (очевидно, в период сватовства) «всем было говорено», что поручик полон решимости уехать во Францию ради спасения репутации Натали. Сценарий, разработанный голландским дипломатом, был простым и незамысловатым. Сватовство должно было остаться тайной для всех, а Жорж из рыцарских побуждений покинул бы русскую столицу. Понятно, что кавалергард не мог уехать из России, не уладив дело с дуэлью. Офицера обвинили бы в трусости. Если бы поэт согласился на требования Геккернов и передал им письменный отказ от дуэли без указания на сватовство Дантеса к Катерине, ничто не мешало бы им покончить с затянувшейся мистификацией, отправить сына на родину, а бедную и некрасивую невесту оставить навек опозоренной.

Человек прекраснодушный и наивный, Жуковский не сомневался в порядочности Геккернов и не разделял подозрений Пушкина. Александр Сергеевич был прозорливее.

«Признание в письмах»

Утверждение П.А.Вяземского, будто Пушкина сразу после появления пасквиля «раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов», лишено достоверности[1]. В начале ноября, после вызова, и голландский министр, и Наталья одинаково старались предотвратить поединок. Пушкина не могла не сознавать, что обличение посла лишь подольет масла в огонь. Перемены в ее поведении наметились позже.

Жуковский потратил много сил на то, чтобы примирить противников, но успеха не добился. Тогда он объявил, что выходит из игры, на этот раз окончательно. В письме от 16 ноября он писал: «Вчера в вечеру после бала (15 ноября в Аничковом дворце. — *Р.С.*) заехал я к Вяземскому. Вот что a peu pres ты сказал княгине третьего дня (14 ноября. — *Р.С.*), уже имея в руках мое письмо: через неделю (21 ноября. — *Р.С.*) вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная и совершенная; она бросит того человека (автора пасквиля Геккерна. — *Р.С.*) в грязь; громкие подвиги Раевского детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать»[2].

Словам, переданным Жуковским, можно было бы не придавать значения, если бы они были записаны пятьдесят лет спустя, как припоминания. Однако не представляет сомнения, что княгиня Вяземская, услышав тираду Пушкина 14 ноября, постаралась как можно точнее передать ее Жуковскому 15 ноября. Жуковский записал ее через несколько часов после посещения дома Вяземских. Перед нами редкий случай, когда мы можем услышать подлинный голос Пушкина.

К 12-14 ноября поэт согласился на мир с Дантесом. Таким образом, его угроза мести, услышанная Вяземской 14 ноября, ни в коем случае не имела в виду поединка. Понять смысл пушкинских слов помогает ссылка на «подвиги Раевского». Приятель Пушкина Александр Раевский подверг публичному оскорблению могущественного генерал-губернатора графа М.С.Воронцова. Следуя его примеру, поэт вознамерился всенародно обличить королевского министра барона Геккерна.

Император Николай I имел беседу с Пушкиным по поводу ноябрьской дуэли, а позднее получил исчерпывающие объяснения от Жуковского. К услугам императора были и другие источники информации. В разгар суда над Дантесом Николай сообщил брату Михаилу Павловичу следующие сведения: Геккерн «точно вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина... и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль... Дантес вдруг посватался на сестре Пушкина; тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих»[3]. Император точно передал последовательность событий. Дантес посватался к Катерине, а после этого Наталья Николаевна разоблачила сводничество старика Геккерна.

До 14 ноября Пушкин помышлял об обычном поединке, какие бывают между людьми чести. После 14 ноября он понял, что имеет дело с бесчестными противниками, и тогда воспламенился идеей мести послу, посягнувшему на покой его семьи. Гнев поэта усугублялся уверенностью в том, что старик Геккерн всегда сочувствовал планам Дантеса в отношении Натальи и способствовал их роману. В этом случае он заблуждался.

Имеются серьезные основания утверждать, что пасквиль уязвил гордость поэта не в момент получения его в начале ноября, а после того, как он пришел к мысли, что подлый и бечестный удар нанесен ему послом.

Ноябрьская дуэльная история четко делится на два этапа. На первом этапе Пушкин весь гнев обратил против Дантеса. Он вызвал его на дуэль и категорически отказался с ним видеться, но зато трижды встречался с Геккерном — 5, 6 и 13 ноября. Поэт дружелюбно согласился исполнить просьбы дипломата об отсрочке поединка. Совершенно очевидно, что в то время поэт еще ничего не знал и даже не догадывался о сводничестве Геккерна. После 14 ноября он понял, что его злонамеренным недругом является не кавалергард, а его приемный отец. После этого он утвердился в намерении оставить в покое Дантеса, но решил обрушить месть на голову министра.

Источники позволяют установить, когда и при каких обстоятельствах Наталья Пушкина решилась сказать мужу правду о поведении посла. Сохранилось краткое письмо Дантеса — ответ на две спешные записки посла. Барон известил сына, что Натали призналась мужу «в письмах». Французский исследователь А.Труайя датировал записку 6 ноября 1836 г.[4] Вывод Труайя не вызвал возражений Серены Витали. «Записка датируется предположительно, на основании содержания и того, что в этот день Дантес находился на дежурстве по полку», — подтвердили издатели записки[5]. Содержание записки дает возможность датировать ее более точно[6].

В записке Дантес, обращаясь к отцу, писал: «Бог мой, я не сетую на женщину (Натали. — *Р.С.*) и счастлив, зная, что она спокойна, но это большая неосторожность, либо безумие, чего я, к тому же, не понимаю, как и того, какова была ее цель... ты не говоришь, виделся ли с сестрой (Катериной Гончаровой. — *Р.С.*) у тетки (Е.Н.Загряжской. — *Р.С.*) и откуда ты знаешь, что она (Наталья Николаевна. — *Р.С.*) призналась в письмах»[7]. Из записки следует, что француз не сразу осознал значение случившегося. Он еще не расстался с прежними чувствами и писал, что «счастлив, зная, что Натали спокойна». Уже 16 ноября от старых настроений не осталось и следа. На приеме у Фикельмон В.Соллогуб спросил Жоржа о жене Пушкина. Тот отвечал: «Mon cher, c'est une mijaure»[Дорогой мой, она — кривляка][8]. Поручик дал волю раздражению, назвав предмет обожания кривлякой. В записке отцу Дантес еще называл Катерину привычным именем «сестра» (Пушкиной). Лишь в конце записки он нашел слова, чтобы похвалить «восхитительное» поведение Е.Гончаровой. Похвала была более чем двусмысленной. Свояченица Пушкина доносила Геккернам обо всем, что происходило в доме поэта. Это сделало семью поэта уязвимой для интриг Геккернов.

Дантес выражал крайнюю тревогу по поводу того, что Натали призналась «в письмах», т.е. показала мужу любовные письма поручика. Если верить Александрине Гончаровой, Пушкина получила от Дантеса одно-единственное письмо. Однако сомневаться в существовании целой переписки не приходится. Сам Дантес прямо писал, что Натали призналась «в письмах», т.е. не в одном письме. Во время разбирательства в военном трибунале Дантес сделал следующее признание: «Посылая довольно часто к Г-же Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках, полагаю, что в числе оных находились некоторые, коих выражение могли

возбудить его щекотливость как мужа, что и дало повод ему упомянуть о них... как дурачества, мною писанныя»[9]. Показания поручика были запротоколированы казенным русским слогом.

Наталья предъявила мужу любовные письма Дантеса, чтобы окончательно оправдаться в его глазах. Но ее поступок был продиктован также чувством ревности. Затеяв сватовство, Дантес не дал себе труда подумать над тем, какое впечатление это произведет на Натали. Как и Пушкин, Натали сначала не придавала значения известиям о сватовстве Жоржа к Катерине. Но ситуация решительно переменилась, когда на свет появилось «материальное доказательство» любви Дантеса к Катерине, после чего Пушкин согласился на отмену поединка и договорился с Геккерном насчет брака Катерины с Дантесом.

Сговор 12-13 ноября вызвал бурю в душе Натальи. Одна из самых осведомленных и проницательных свидетельниц, Долли Фикельмон писала в дневнике, что Натали не желала верить тому, что Дантес предпочел ей сестру и «по наивности или, скорее, по своей удивительной простоте спорила с мужем о возможности такой перемены в его сердце (сердце Жоржа. — *Р.С.*), любовью которого она дорожила, быть может, из одного тщеславия»[10]. Натали не могла скрыть от окружающих охватившее ее смятение. Как записала Софи Карамзина, «Натали нервна, замкнута и, когда говорит о замужестве сестры, голос у нее прерывается»[11].

В письме Геккерну Пушкин заметил: «Ухаживания и постоянство в конце концов производят некоторое впечатление на сердце молодой женщины», но тогда «муж, если только он не глупец, совершенно естественно делается поверенным своей жены и господином ее поведения»[12]. В качестве поверенного Пушкин должен был выслушать исповедь жены до конца. Дело не ограничилось знакомством с перепиской.

Из всех писем наибольшее внимание Пушкина привлекла нота с отказом от видов на Натали. То, что она попала в руки поэта, не вызывает сомнения. В письме к Нессельроде Геккерн сообщал, что г-жа Пушкина воспользовалась письмом, которое сын написал по его требованию, «чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей», т.е. попросту была верна мужу[13].

Александр Сергеевич был великолепным стилистом, и ему нетрудно было заметить, что нота лишь подписана Дантесом, но сочинена опытным дипломатом. Нота оскорбила Наталью, но едва ли она могла сама догадаться, кто ее составил. Открытие мужа должно было ожесточить женщину против Геккерна. Оказалось, что письмо сочинил посол, а не его сын.

Получив в свои руки письма Дантеса, Пушкин вспомнил о «дипломе» Рогоносца и взялся за их сличение. Расследование о «дипломе» было длительным. Об этом поэт сам рассказал в письме к Геккерну (17-21 ноября 1836 г.). Анонимное письмо, утверждал он, было сфабриковано с такой неосторожностью, что с первого взгляда он напал на следы автора: «...я был уверен, что найду негодника. В самом деле, после менее чем трехдневных розысков я знал положительно, как мне поступить»[14]. Первый шаг «розысков» занял примерно три дня. Пушкин не установил имя «шутника», но уяснил направление дальнейших поисков.

Важнейшей вехой в ходе расследования стал визит поэта к Михаилу Яковлеву 8 ноября. Лицейский товарищ Пушкина служил под начальством

Сперанского и был директором типографии II Отделения собственной его величества канцелярии. При печатании «Пугачева» Яковлев помог другу в выборе бумаги, шрифтов и пр. Обследовав экземпляр пасквиля, принесенный поэтом, «Паяс» (лицейское прозвище Яковлева) высказал мнение, что бумага, использованная при изготовлении «диплома», «иностранная и, по высокой пошлине, наложенной на такую бумагу, должна принадлежать какому-нибудь посольству»[15].

Пушкин надеялся, что сведения Яковлева помогут ему напасть на след мистификатора. В письме к Бенкендорфу от 16-21 ноября 1836 г. поэт писал: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего света, от дипломата»[16].

Поэт не мог назвать имя сочинителя пасквиля, но верно определил направление поисков. Следы интриги вели к дипломатам, т.е. лицам, связанным с Министерством иностранных дел, в котором служил Пушкин.

Расследование вступило в решающую фазу после того, как в руки Пушкина попала переписка его жены с Дантесом.

Поручик писал «дипломатическую ноту» Наталье в доме у посла, а значит, на его бумаге. Заполучив в свои руки образец бумаги, использованной Геккернами, и сравнив его с пасквилем, Пушкин сделал вывод о том, что автором «диплома» Рогоносцев был посол.

14 ноября Пушкин прибежал к княгине В.Ф.Вяземской с сообщением: «Я знаю автора анонимных писем»[17]. Как видно, он был целиком захвачен только что сделанным открытием.

О своих наблюдениях Пушкин рассказал не только Вяземской, но и жене. Ей трудно было понять, как министр, доверительно беседовавший с ней о ее романе с сыном, мог написать позорящий ее «диплом» Рогоносца. Аргументы насчет авторства барона убедили ее. У Натальи отныне не было причин щадить посла, и она рассказала мужу о сводничестве Геккерна.

Жорж Дантес счел поступок Натальи — «признание в письмах» — безумием. Но в ее действиях был известный расчет. Принципиальное согласие Пушкина на мир породили у Натали уверенность, что угроза дуэли миновала. Топор, висевший над ее головой, исчез, и она заговорила. Разоблачение посла должно было смягчить вину молодого человека и заставить Пушкина обратить всю ярость против его отца.

Следуя строго установленным фактам, можно определить основные вехи дуэльной истории.

Не позднее 13-14 ноября Наталья узнала о согласии Пушкина примириться с Дантесом и предстоящей помолвке Екатерины, после чего она предъявила мужу письма поручика.

Благодаря Катерине Геккерн узнал о случившемся немедленно и тотчас написал записку сыну. Кавалергард заступил на дежурство 14 ноября и освободился 15 ноября в полдень[18]. Будучи на службе, он получил от отца известие, что Пушкина «призналась в письмах». Оценив важность сообщения, поручик тут же написал письмо отцу. Содержание письма Дантеса и данные о его дежурствах позволяют пересмотреть традиционную датировку — 6 ноября — и отнести его к 14 ноября.

Кавалергард получил записку барона поздно вечером и просил отца не

медлить с ответом: «Записку пришли завтра, чтоб знать, не случилось ли чего нового за ночь»[19].

В этот день поэт закончил расследование о пасквиле, а два дня спустя взялся за составление гневного письма Геккерну. В письме от 16-21 ноября значилось: «Вы... отечески сводничали... Подобно бесстыжей старухе вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить о вашем сыне... вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней» и пр.[20] Письмо было бранным. Но в словах о сводничестве барона чувства возмущения и гнева звучали с наибольшей силой.

Поэт был потрясен открывшейся перед ним картиной. В течение недели он видел перед собой старика, убитого горем, толкующего о добродетелях сына. Теперь с лица барона спала маска. Пушкин не причинил вельможе никакого зла. Тем более поразило поэта «подлое и беспричинное оскорбление».

Так как посол Геккерн обладал дипломатическим иммунитетом, его нельзя было вызвать на дуэль. Для отмщения не было иного средства, кроме публичного разоблачения.

С января 1836 г. Натали и Жорж обменивались на словах самыми пылкими любовными признаниями. Так или иначе, эти признания должны были отразиться в их переписке. Пушкин впервые получил более точное представление о романе жены. Понадобилось все великодушие, все благородство души поэта, чтобы понять и вновь простить молодую женщину. Перед самой смертью поэт сжег какие-то бумаги. Видимо, среди прочих бумаг он уничтожил злополучные письма Дантеса.

Даже близкие люди выражали удивление, с какой охотой Пушкин рассказывал «новеллы» о Дантесе и Катерине. Они не понимали того, что Пушкин смеялся не над чувствами Катерины и ее жениха, а над плутовством своих обидчиков. Мистификация Геккернов грозила превратить трагедию любви в пошлый фарс. В этом фарсе поэту была отведена строго определенная роль ревнивца и глупца. Пушкин понял это раньше всех и не дал сделать из себя посмешище.

Пушкин постарался возможно более точно описать перемены в чувствах жены, происшедшие после сватовства Дантеса к Катерине. В ноябрьском письме Геккерну он писал: «...я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха» и ее чувство «угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном». В январском письме 1837 г. тому же адресату поэт усилил выражения: «моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха», ее чувство «угасло в презрении самом спокойном и отвращении, вполне заслуженном»[21]. Натали была оскорблена и унижена сначала сватовством поручика к Марии Барятинской, а затем его помолвкой с Екатериной Гончаровой.

Характерная деталь: и Пушкин, и Дантес отметили, что Натали была в состоянии спокойствия. Однако они по-разному интерпретировали этот факт. Пушкин увидел «спокойное отвращение» или «спокойное презрение» (к Жоржу). Дантес писал (вероятно, со слов Катерины) о «спокойствии» женщины.

В облике Натали были черты, пугавшие ее близких. При первом же знакомстве с Натали умная Долли Фикельмон заметила на прекрасном ее

7 Зак. 3925

лице «меланхолическое и тихое выражение, похожее на предчувствие несчастья». Тут было нечто большее, нежели мимолетный эмоциональный всплеск. После трех лет близкого знакомства внучка Кутузова вновь писала: «Жена хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность»[22].

Пушкин обладал редкой впечатлительностью. Можно представить, какие мучения причинила ему исповедь жены. Но он скрыл от Жуковского и прочих друзей свои переживания. В письме И.И.Дмитриеву (март 1837 г.) Жуковский признался, что страдания Пушкина оставались «для всех тайными»[23].

Поэт помышлял о том, чтобы «довести до сведения правительства и общества» позорную историю, вину за которую несли Геккерны[24]. В письме к Бенкендорфу от 16-21 ноября поэт прямо указал на Геккерна как автора пасквиля. Однако при этом он сделал важную оговорку: «я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю». Оговорка казалась необъяснимой, коль скоро речь шла об обвинении иностранного посла в ранге министра. Пушкин не мог доказать свою правоту без предъявления обществу любовных писем Дантеса к Натали, а это было абсолютно неприемлемо для него.

15 ноября царская семья давала бал в Аничковом дворце. На вечере императрица Александра внимательно следила за поведением первых красавиц двора, после чего записала в дневник: «Пушкина казалась прекрасной волшебницей... Но не было той сладостной поэзии как на Елагином (5 сентября. — *Р.С.*)»[25]. Беда уже постучала в двери Пушкиных, и скрыть это было невозможно.

Несостоявшийся поединок

Летом и осенью 1836 г. поэт был занят работой и избегал празднеств во дворце. Именно в это время он уведомил царицу, что «носит траур (по матери. — *Р.С.*) и отпускает всюду жену одну»[1]. Царица не забыла об этом и пригласила в Аничков Наталью Николаевну без мужа.

Атмосфера в семье была наэлектризована, и Александр Сергеевич не хотел отпустить жену. Жуковский был обеспокоен тем, что отсутствие Натали может привести к возобновлению сплетен насчет ее поведения. Поэтому он написал сначала письмо Пушкину, а затем отдельно его жене с рекомендацией принять приглашение на бал, которым двор открывал зимний сезон[2].

Поэт был вне себя. Тем не менее он принял совет друга.

Жуковский исполнял функции неофициального посредника с редкой добросовестностью. Пушкина он бранил за то, что он нарушает тайну, а Геккернов убеждал обнародовать всю правду. Посредник писал 12 ноября: «...я сказал (Геккерну. — *Р.С.*), что почитаю его... в праве и даже обязанным предупредить несчастие (поединок. — *Р.С.*) открытием дела, как оно есть... это открытие будет в то же время и репарациею того, что было сделано против твоей чести перед светом»[3]. Жуковский никак не мог понять, что имеет дело с мистификацией, и продолжал верить в добрую волю Геккернов.

Пушкин, подчинившись настояниям Жуковского, сочинил письмо с отказом от дуэли. 16 ноября Жуковский должен был передать письмо Геккер-

ну. Но вечером 15 ноября посредник узнал о том, что поэт готовит «страшную месть» Геккерну, и во второй раз сложил с себя полномочия. Утром 16 ноября он написал Пушкину гневное письмо: «...каким именем и добрые люди, и Геккерн, и сам ты наградите меня, если, зная предварительно о том, что ты намерен сделать (отомстить Геккерну. — *Р.С.*), приму от тебя письмо, назначенное Геккерну, и, сообщая его по принадлежности, засвидетельствую, что все между вами (предварительно) кончено, что тайна сохранится» и пр. «...Делай что хочешь, — продолжал он. — Но булавочку свою беру из игры вашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится»[4].

Письмо от 16 ноября Жуковский завершил притчей о пастухе-стрелке, волке и свинье. Сказка интересна тем, что в аллегорической форме она сообщает чрезвычайно интересные сведения о ходе мирных переговоров и распределении ролей. Волк (Дантес) намеревался съесть любимую овечку пастуха (Натали), но облизывался и на других овечек (Катерина). Узнав о решении пастуха — «забубенного стрелка» (Пушкин имел славу дуэлянта и искусного стрелка) — застрелить его, волк «начал делать разные предложения пастуху, на которые пастух и согласился». Приведенные слова доказывают, что, с точки зрения посредника, переговоры определенно кончились тем, что пастух согласился на предложение волка. Но согласие было лишь уловкой пастуха (Пушкина). Пастух попросил кума Василия (Жуковского): «Стань на минуту свиньей и хрюканьем своим вымани серого волка из лесу в чистое поле». Отметим, что теперь пастух уже не думал о том, чтобы застрелить волка (на поединке. — *Р.С.*). Речь шла о том, чтобы публично осрамить волка. «Я соберу соседей (говорил пастух. — *Р.С.*), и мы накинем на волка аркан. — Послушай, братец, сказал кум Василий; ловить волка ты волен, да на что же мне быть свиньею»[5]. Замечательно, что свое посредничество Жуковский сравнил с хрюканьем свиньи. Это сравнение обнаруживало всю степень его разочарования.

Невзирая на хлопоты Жуковского, сторонам не удалось составить согласованный проект отказа от дуэли. Поэт занялся розыском о пасквиле. Переговоры застопорились.

Жуковский вышел из игры, так как заподозрил, будто Пушкин использует его «посредство» в неблаговидных целях: мириться вовсе не собирается, а втайне готовит месть, другу же своему отводит роль приманки. Не зная ничего о разоблачениях Натали, Жуковский не мог понять поведения Александра. Его не могла удовлетворить также и жесткая позиция, занятая послом.

Работа над проектом отказа Пушкина от дуэли не была завершена. Но и Жуковский с Пушкиным, и Геккерны успели составить своего рода инструкции, объяснявшие суть их позиции. Наставления Пушкина были кратки и вполне миролюбивы. Совсем иной характер имели инструкции голландского министра.

На листе с проектом отказного письма Дантес под диктовку отца написал своей рукой: «Необходимо, следовательно, точно констатировать, что я сделаю предложение м-ль Екатерине не в качестве сатисфакции или для улаживания дела, а только потому, что она мне нравится...» и пр. По тому, как поставлен вопрос в письме, продолжал поручик, можно было бы сделать из этого вывод, что дело обстояло так: «Жениться или драться».

Дантес подчеркивал, что готов драться, а затем заняться устройством брака, «ибо я определенно решил сделать это предложение после дуэли»[6].

С.Л.Абрамович предположила, что запись была «своего рода инструкцией для секунданта»[7]. Вывод очевиден. Геккерны объявили Пушкину войну, разом перечеркнув достигнутое мирное соглашение.

Зачем Геккернам понадобилось провоцировать дуэль? Видимо, они поняли, что мистификация все больше затягивает их в ловушку. Планы отъезда поручика во Францию рушились. Выход Жуковского из игры окончательно осложнил дело. В таких обстоятельствах Геккерны решили играть ва-банк.

Полагают, будто Дантес утром 16 ноября получил «письмо Пушкина», в тот же день составил свой проект, который секундант д'Аршиак должен был немедленно передать Пушкину для подписания[8]. 16 ноября, замечает С.Л.Абрамович, «письмо поэта с отказом от вызова было все-таки передано Геккернам»; «и вот в тот момент, когда Пушкин и Жуковский считали дело оконченным, все снова повернулось вспять... Геккерны решили добиваться от Пушкина другого письма»[9].

Источники, исходившие от участника переговоров, рисуют совсем иную картину. В конспекте Жуковского отмечено:

> «Свидание Пушкина с Геккерном у Е.И.
> Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство.
> Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина»[10].

Из этой конспективной записи следует, что Пушкин не посылал письмо Дантесу 16 ноября, а письмо Дантеса не было ответным посланием поэту. Свое обращение к Пушкину поручик начинал со фразы: «Барон де Г. сообщил мне, что он уполномочен г-ном [.....] уведомить меня...»[11] Дантес не имел в руках чернового письма Пушкина и должен был сослаться на полномочия от некоего господина. Имя господина написано неразборчиво, издатели не смогли его прочесть. Однако нет сомнения, что им был Жуковский. Геккерны, видимо, узнали об отставке Жуковского и спешили в последний раз использовать его имя.

16 ноября в доме у Карамзиных был праздничный обед в честь дня рождения Екатерины Андреевны. Дантес обедал с Александром Карамзиным у себя. Он не получил приглашения от именинницы. Пушкин уже ознакомился с письмом Дантеса и понял, что дуэль неизбежна и ему надо позаботиться о секунданте. Еще в начале ноября граф Владимир Соллогуб принес Пушкину экземпляр пасквиля и вскоре же предложил быть его секундантом, если дело дойдет до дуэли. Встретив теперь у Карамзиных Соллогуба, Пушкин напомнил ему о давнем разговоре и поручил договориться с Геккернами об условиях дуэли[12].

Письмо кавалергарда, врученное Пушкину утром 16 ноября, сделало невозможным продолжение мирных переговоров. П.Е.Щеголев объясняет такой поворот дела появлением в роли действующего лица Дантеса, до того безмолвного. «...Когда Дантес остался наедине с самим собой, перед его умственным взором осветилась вдруг вся закулисная действительность, заговорили голоса чести и благородства, и он сделал неожиданный ход, который, конечно, был принят без ведома Геккерна и который чуть было не спутал

все карты в этой игре»; Дантес написал рыцарское письмо Пушкину и «сделал еще один "рыцарский" ход, отправив к Пушкину секунданта Аршиака...» — так писал П.Е.Щеголев[13].

С.Л.Абрамович следует той же схеме. «В отсутствие барона Геккерна» Дантес 16 ноября получил письмо Пушкина с отказом от дуэли. Письмо его не удовлетворило, и в ответ он написал «задиристое письмо». После долгих переговоров за его спиной «Дантес впервые получил возможность лично говорить со своим противником»; ему хотелось дать понять, «что он не трус»[14].

Подлинные письма Дантеса начисто опровергают такое истолкование событий. Бравый поручик испытал крайнее неудобство, поняв, что ему не удастся избежать дуэли. Поединок грозил разрушить всю его карьеру. «Мой драгоценный друг, — писал он приемному отцу, — благодарю за две присланные тобой записки. Они меня немного успокоили, я в этом нуждался и пишу эти несколько слов, чтобы повторить, что всецело на тебя полагаюсь, какое бы решение ты ни принял, будучи заранее убежден, что во всем этом деле ты станешь действовать лучше меня»[15]. В записке нет и тени бравады, рыцарства, задиристости.

Не случайное отсутствие барона в доме в момент получения письма Пушкина, а совсем другие обстоятельства вынудили дипломата уйти в тень. Решительный поворот в ходе переговоров был связан, видимо, с тем, что Геккерны, вслед за Вяземским и Жуковским, узнали о пушкинских планах «страшной мести», откровениях Натальи по поводу переписки и пр. Угроза мести испугала посла. Чтобы избежать публичного оскорбления, он, скрепя сердце, решился на то, чтобы подставить под пулю приемного сына.

Геккерны могли передать письмо Дантеса через Жуковского, но тот сложил с себя функции посредника. В дом к Пушкину отправился родня Жоржа виконт д'Аршиак, сотрудник французского посольства, приглашенный в качестве секунданта. Именно он отнес Пушкину письмо Дантеса, выдержанное в самых решительных и энергичных выражениях. Фактически сын дезавуировал все ранее происходившие переговоры, которые вел от его имени отец: «...ныне, когда вы заверяете, что не имеете более оснований желать поединка, я, прежде чем вернуть вам ваше слово, желаю знать, почему вы изменили намерение, ибо я никому не поручал давать вам объяснения, которые я предполагал дать вам лично»[16]. Геккерны заговорили с Пушкиным языком ультиматума. Дантес объявил, что готов драться с Пушкиным, если не получит от него письма с отказом от поединка. Поэту воспрещалось упоминать в письме о сватовстве поручика. Дантес обещал, в случае принятия его требования, сделать предложение Екатерине «после дуэли».

«Милостивый государь! Барон де Г. , — писал поручик, — только что сообщил мне, что он был уполномочен г-ном ...(Жуковским. — *Р.С.*) уведомить меня, что все те основания, по которым вы вызвали меня, перестали существовать»[17]. Посол использовал формулу предварительного соглашения, принятую в ходе переговоров 12-13 ноября. Но его ссылка на полученные от посредника полномочия была более чем сомнительна.

До 16 ноября все переговоры с Пушкиным вел голландский министр. С этого дня его место занял д'Аршиак. В отличие от посла, секундант д'Аршиак не участвовал в предыдущих переговорах и не давал никаких обязательств насчет брака Дантеса. Таким образом, его руки были свободны. «Человек чести», Геккерн намеренно уступил место французскому дипло-

мату, чтобы уклониться от исполнения принятых на себя обязательств.

Нетрудно было предвидеть, что сватовство Дантеса к бедной Гончаровой будет встречено светом с иронией и недоумением. И Пушкин, и Геккерны одинаково понимали, что отказ от обязательств в отношении Гончаровой, не подкрепленных публичной оглаской, никого не удивит. Найти предлог не составляло труда. Свадьба не могла состояться без богатого приданого, каковое отсутствовало. Слухи о беременности невесты усугубляли дело. Безнравственное поведение девицы само по себе давало повод для расторжения сговора.

Геккерны надеялись, что Пушкин отступит перед их натиском. При этом они вели хитрую игру, стремясь внушить поэту убеждение, что их намерения в отношении брака серьезны. Помолвка Катерины с Дантесом не была объявлена. Тем не менее вечером 16 ноября Е.Гончарова отправилась на бал в дом австрийского посла в белом платье, предвосхищая сговор. Катерина давно перешла в стан Геккернов и без согласования с ними она, естествено, никогда бы не решилась на такой поступок.

По случаю смерти Карла X двор объявил траур, и все гости в салоне Фикельмон были в черном. Дантес пользовался милостями Карла X. Тем бестактнее казалось поведение его невесты, одевшейся в белое платье.

Пушкин, приютивший Гончарову под своей крышей и руководивший ею, был возмущен поведением свояченицы. Он явился около полуночи на раут и высказал Дантесу «несколько более чем грубых слов», а невесте запретил говорить с женихом. После этого он увез девиц Гончаровых домой[18].

17 ноября Пушкин пригласил к себе секунданта Владимира Соллогуба. По пути на Мойку граф первым делом зашел к Геккернам за советом. Позднее, вступив в переговоры с д'Аршиаком, секундант сказал, что на Пушкина надо «глядеть как на больного»[19]. Дружба секунданта с Геккернами не была секретом для Пушкина, и однажды он сказал Соллогубу, что тот был секундантом не его, а скорее Дантеса[20].

Приняв графа Соллогуба, поэт кратко объяснил ему причины дуэли: «В обществе говорят, что Д. ухаживает за моей женой. Иные говорят, что он ей нравится, другие, что нет (намек на отношения Дантеса с Катериной. — *Р.С.*). Все равно, я не хочу, чтобы их имена были вместе. Получив анонимное письмо, я его вызвал. Геккерн просил отсрочки на две недели. Срок кончен...» Поэт не желал посвящать во все подробности своей семейной жизни двадцатитрехлетнего приятеля. В свою очередь, Соллогуб хорошо усвоил то, что слышал в доме Геккернов. Ничтоже сумняшеся секундант стал спорить с Пушкиным, отстаивая точку зрения Жоржа. Он твердил: «Дантес... не хочет, чтобы имена женщин в этом деле называли». Это вызвало гнев Пушкина: «Как, закричал П. А для чего же это все? И пошел и пошел. — Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого». Соллогуб служил в министерстве внутрених дел. Дуэли были уголовно наказуемым деянием, и участие в них грозило погубить карьеру. Понятно, что слова Пушкина уязвили молодого аристократа.

Пушкин определенно не желал упоминать в письме имя лишь одной из женщин — своей жены. Но он категорически настаивал на том, чтобы было названо имя другой женщины — невесты Дантеса Катерины.

17 ноября секунданты встретились и договорились о месте и времени поединка. Пушкин должен был биться с Дантесом в 10 утра 21 ноября на

Парголовской дороге в окрестностях Петербурга. Дата поединка была выбрана дипломатом не случайно. В этот день Пушкин предполагал подвергнуть его публичной казни. Дуэль должна была предотвратить такой поворот событий.

Геккерны рассчитывали припугнуть Пушкина и добиться от него уступки. В ходе переговоров с Соллогубом секундант Дантеса д'Аршиак повторно потребовал, чтобы «вызов был уничтожен без причин», иначе говоря, без ссылки на сватовство. Соллогуб отвечал, что Пушкин никогда с этим не согласится.

Убедившись в неосновательности своих рассчетов, Геккерны в тот же день, 17 ноября запросили о мире. Они поручили Соллогубу составить записку Пушкину с объявлением, что принимают все его условия. Секундант должен был сослаться на конфиденциальное заявление д'Аршиака, что «барон Геккерн окончательно решил объявить свои намерения относительно женитьбы...» От себя граф добавил: «Само собой разумеется, что г-н д'Аршиак и я, мы служим порукой Геккерна»[21]. В своей записке Соллогуб, излагая письмо по памяти, дает ему еще более откровенное толкование: «Г. д'Аршиак и я служим вам порукой, что свадьба состоится». Рассказ о переговорах 17 ноября Соллогуб завершил словами: «Свадьба решилась»[22]. Записка Соллогуба не имела значения официального документа, так как не была скреплена подписями Геккернов и д'Аршиака. Тем не менее она помогла преодолеть кризис.

Получив заверение в том, что свадьба Катерины состоится, Пушкин отказался от дуэли. Он составил письмо на имя «господ свидетелей» — графа Соллогуба и виконта д'Аршиака, в котором слова о сватовстве были сохранены, но получили новую редакцию: «узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли» и пр.[23] Теперь при обнародовании письма Пушкина Геккерны не могли избежать огласки сватовства Дантеса.

Худой мир

Геккерны, ранее требовавшие держать дело в тайне и затягивавшие объявление о помолвке, наконец должны были уступить. Помолвка не могла состояться без участия родни невесты в лице ее тетки Загряжской и братьев. В недатированном письме Жуковскому старая фрейлина писала: «Слава Богу, кажется, все кончено. Жених и почтенной его Батюшка были у меня с предложением. К большому щастью за четверть часа пред ними приехал из Москвы старшой Гончаров и он объявил им Родительское согласие, и так все концы в воду. Сегодня жених подает просбу по форме о позволении женидьбы и завтра от невесте поступаить к императрице»[1]. Из послужного списка старшего Гончарова следует, что он спешно взял отпуск в Министерстве с 14 ноября и тотчас выехал в Петербург[2]. 17 числа он прибыл в Петербург, и через «четверть часа» в дом Загряжской были приглашены Геккерны. Жених и его отец сделали формальное предложение Катерине, а Дмитрий объявил о родительском благословении.

Судя по дате отъезда из Москвы, Д.Гончаров не мог добраться до Петербурга ранее второй половины дня 17 ноября. Известно, что с 3 часов

дня Дантес вел переговоры с секундантами, а затем долго ждал ответ от Пушкина. Видимо, переговоры были закончены в спешке под вечер. В тот же день около полночи на бале у Салтыкова было официально объявлено о помолвке Гончаровой и Дантеса. Пушкин присутствовал на помолвке, но жениху не кланялся.

Геккерн спешил договориться с Гончаровыми о приданом. В письме от 19 января 1837 г. Екатерина напомнила брату: «Ты сказал Тетушке, а также Геккерну, что ты будешь выдавать мне... 5000 в год»[3]. Очевидно, Катерина имела в виду переговоры 17 ноября в доме тетки.

Загряжская настаивала на том, чтобы поручик немедленно отрапортовал полковому начальству о своем браке. Но жених не спешил. 23 ноября Пушкин виделся с царем в Зимнем. Лишь после этого, 26 ноября Дантес подал командиру рапорт с просьбой разрешить ему вступить в брак с Екатериной Гончаровой[4]. Вслед за тем фрейлина Гончарова направила императрице просьбу «по форме» о разрешении выйти замуж за кавалергарда. Но ответ она получила, по-видимому, не сразу. 5 декабря невеста была вынуждена через Наталью Ховен обратиться с ходатайством к обер-гофмейстеру Нарышкину: «Князь! — писала фрейлина Ховен. — Г-жа Гончарова, спрашивая у ее императорского величества милостивого позволения на ее брак с г-ном бароном Геккерном, нижайше просит Вас оказать ей любезность и подтвердить его (позволение. — *Р.С.*)»[5].

Проволочка с разрешением на свадьбу была вызвана тем, что браки иноверца и русской обставлены были в России множеством условий. При подаче рапорта с Дантеса было взято письменное обязательство, что он не будет принуждать невесту отказаться от православной веры. По российским законам дети от смешанного брака крестились в православную веру. Геккерн решил использовать свое влияние и через Нессельроде подал прошение о том, чтобы предоставить Жоржу право крестить детей от будущего брака в католическую веру. Отказ от вступления в русское подданство по случаю вступления в брак с православной русской дворянкой и прошение насчет детей осложнили ситуацию. В дело вмешались военное министерство и Синод.

20 декабря последовал обмен письмами между военным министром и обер-прокурором Синода по поводу брака Дантеса. Наконец Николай I разрешил брак собственным повелением. Полковой приказ о дозволении поручику жениться появился 1 января[6].

Решение о страшной мести Геккерну было следствием нервного потрясения, пережитого Пушкиным. Рассказ Натали дал почву для мучительных размышлений. Поэт не мог скрыть своих мук от окружающих. 20 ноября 1836 г. С.Карамзина записала: «Пушкин своим взволнованным видом, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, добьется того, что возбудит подозрения и догадки. Вяземский говорит, что он "выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает"»[7]. Даже Вяземские и Карамзины не понимали того, что происходило у них на глазах. Князь Петр нашел возможным шутить над Пушкиным в то время, когда тот был на краю пропасти.

Брак Дантеса вызвал недоумение в свете, при дворе и даже в семье поэта. Сестра поэта Ольга писала отцу 24 декабря 1836 г. по поводу помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой: «Это событие удивляет весь

свет... потому что его (жениха. — *Р.С.*) страсть к Наташе ни для кого не была тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я тоже над этим подшучивала; поверьте мне, что тут должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места»[8]. В глазах всего общества союз блестящего кавалергарда и бесприданницы Гончаровой был мезальянсом.

Пушкин до последнего момента был убежден в том, что Катерина станет жертвой интриги и брак не состоится. Даже после объявления о помолвке, рассказывает Соллогуб, Пушкин «ей все не верил — так что он со мной держал пари: я тросточку, а он — свои сочинения»[9]. Пушкин бился об заклад не с одним Соллогубом. С.Н.Карамзина писала: «...завтра, в воскресенье, состоится эта удивительная свадьба... Пушкин проиграет несколько пари, потому что он, изволите видеть, бился об заклад, что эта свадьба один обман и никогда не состоится»[10].

Помолвка Дантеса заинтриговала двор. 19 ноября императрица записала в своем дневнике: «Вечером Софи Бобринская и Сесиль (Фредерикс. — *Р.С.*) о женитьбе Дантеса». 23 ноября царица послала записку Бобринской: «Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет»[11]. Николай I беседовал с Пушкиным 23 ноября. Значит императрица Александра не могла получить сведения от него 22 ноября. Но она беседовала с Трубецким, приятелем Дантеса, и с фрейлинами. Сестре Долли, Е.Ф.Тизенгаузен, она писала: «Я так хотела бы узнать у вас подробности невероятной женитьбы Дантеса, неужели причиной явилось анонимное письмо?»[12]

Бобринская была менее сдержанна относительно секрета Дантеса. 25 ноября она послала мужу следующее сообщение о браке кавалергарда: «...ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-нибудь в ней понимаю» [...] «Это, — продолжала подруга царицы, — решенный брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина»[13]. Итак, главная тайна, о которой умолчала царица в письме, состояла в том, что помолвка Дантеса непрочна, поскольку в самое близкое время (завтра) станет ясно, что брак не состоится. Следует отдать должное проницательности Пушкина. Его предположения полностью совпадали со сведениями, исходившими от Дантеса и его друзей.

Через несколько дней после помолвки Дантеса произошли события, живо описанные В.Соллогубом. 21 ноября 1836 г. Александр Сергеевич пригласил графа к себе и сказал, что ничего не хочет делать без его — секунданта — ведома. Вслед за тем он зачитал опешившему Соллогубу черновик оскорбительного письма, адресованного Геккерну. Начав чтение, Пушкин пришел в исступление.: «Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения»[14]. Впечатляющие подробности о налитых кровью глазах наводят на мысль, что поэт прочел секунданту только что написанное письмо. Однако достоверны ли сами эти подробности?

В ранней записке Соллогуб описал сцену в кабинете Пушкина в самых прозаических выражениях: «Тут он мне стал читать свое письмо к старику Геккерну. Я письма этого страшно испугался»[15]. В том, что Соллогуб точно

описал свои чувства, сомневаться не приходится. Что касается эмоционального состояния Пушкина, оно наиболее точно описано не в поздних, а в ранних воспоминаниях. Из самой ранней записки Соллогуба следует, что Пушкин «был в ужасном порыве страсти» 17 ноября, иначе говоря, главный эмоциональный всплеск приходился вовсе не на 21, а на 17 ноября.

Будучи беллетристом, Соллогуб не удержался от соблазна литературной обработки «речей» Пушкина. Согласно поздним припоминаниям, поэт начал беседу с секундантом словами: «С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте». До литературной обработки фраза не имела такого сатанинского звучания. В ранней записке значилось: «С молодым я кончил — подавайте старика».

Сохранилось два письма Пушкина, посвященных одному и тому же сюжету. Одно адресовано Геккерну, другое — Бенкендорфу. Письма датируют одним и тем же днем — 21 ноября 1836 г. Однако сопоставление их содержания убеждает, что они не могли быть написаны одновременно. Письмо Бенкендорфу имеет точную дату 21 ноября. Письмо послу традиционно датируют 17-21 ноября. Эта дата нуждается в проверке.

16 ноября Пушкин принял вызов Дантеса. Весь день 16 ноября и первую половину дня 17 ноября Александр Сергеевич жил в напряженном ожидании кровавого поединка. Бой мог закончиться смертью поэта, но тогда виновник интриги Геккерн остался бы безнаказанным. Ввиду всего этого поэт, по-видимому, уже 16-17 ноября приступил к сочинению обличительного письма барону. Это письмо он намеревался взять с собой на поле боя. С помощью пера он рассчитывал поразить недруга при любом исходе поединка.

Сохранились обрывки двух разорванных беловиков[16]. События следовали одно за другим стремительным потоком, и поэту пришлось внести исправления в заготовленный текст. После этого ему поневоле пришлось вторично переписать письмо[17]. Вся работа, видимо, заняла несколько дней. Поэт не мог опубликовать свое письмо послу, но ничто не мешало распространить его в списках.

Пушкин не очень доверял Соллогубу и пригласил его отнюдь не потому, что именно ему первому хотел прочесть свое творение. Граф был начинающим литератором и одновременно олицетворял тип аристократа — человека чести. Пушкин прекрасно знал, что симпатии Соллогуба на стороне Геккернов. Но ему нужен был именно такой свидетель. Пушкин не отказался от планов публичного обличения барона, но старался предугадать, как встретит свет задуманную месть. Именно для этого он и призвал к себе Соллогуба.

Клеймя подлый образ действий министра, поэт написал страшные слова: «Вы отечески сводничали Вашему... так называемому сыну (прямая ссылка на тайный порок, доказать который не было никакой возможности. — *Р.С.*)... Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить о вашем сыне, а когда, заболев сифилисом (у кавалергарда была легкая простуда. — *Р.С.*), он должен был сидеть дома... вы говорили, бесчестный вы человек...» и пр.[18]

Поэт намеревался опорочить Геккерна как безнравственного человека и обесславить как дипломата, не умеющего предвидеть ближайших последствий своих действий. С этой целью он подробно описал свои достижения в расследовании истории с пасквилем: «...с первого же взгляда я напал на следы автора... Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делает-

ся у других... вы должны отдать мне справедливость, признав, что были побеждены по всем пунктам»[19]. После указания на дипломатическое поражение Геккерна Пушкин без обиняков назвал его автором анонимных писем (что не соответствовало действительности).

В конце письма Геккерну предлагалось самому найти достаточные основания, «чтобы, — писал Пушкин, — побудить меня не плюнуть вам в лицо и чтобы уничтожить самый след этого жалкого дела»[20]. Эти слова доказывают, что поэт готов был унизить нидерландского вельможу даже не пощечиной, а плевком в лицо. Уберечь барона от такого поругания мог разве что отъезд из России. Письмо заканчивали слова о том, что Пушкину «из этого жалкого дела» «легко будет сделать отличную главу в моей истории рогоносцев». Слова служили ответом на «диплом», якобы составленный Геккерном. Каким рогоносцам предполагал посвятить свою главу Пушкин, остается загадкой.

Поэт долго и терпеливо воздвигал свой дом, руководил женой, которая была по существу творением его рук. Теперь же он безжалостно рушил стены и крышу дома, рискуя погибнуть под его обломками. В гневе он был беспомощным. После всех оскорблений Пушкин жаловался человеку, которого считал злейшим своим врагом: «Я, как видите, добр, бесхитростен, но сердце мое чувствительно». При всем поразительном знании человеческого сердца поэт был по-детски простодушен.

Читая письмо Соллогубу, Пушкин рассчитывал услышать хотя бы одно-единственное слово сочувствия и понимания. Но граф был испуган и ушел, ничего не сказав. «Что я мог возразить против такой сокрушительной страсти. Я промолчал невольно», — писал Соллогуб. Безмолвие графа должно было произвести на поэта большее впечатление, чем любые слова. Он понял, что реакция света на его обличения будет крайне неблагоприятна, но не для Геккернов, а для него самого.

21 ноября Пушкин твердо решил отослать письмо барону. Последствия не заставили бы себя ждать. Жандармы немедленно привлекли бы его к ответу. Упреждая ход событий, поэт в тот же день написал объяснительное письмо Бенкендорфу. Письмо было выдержано в более умеренных и сдержанных тонах[21].

Объясняя причины дуэли, поэт сослался на общественное мнение: «...все были возмущены... но, твердя, что поведение моей жены безупречно, говорили, что поводом к этой низости (сочинению анонимного пасквиля. — *Р.С.*) было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса». Излагая историю дуэли до момента ее отмены, Пушкин продолжал: «Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна...»[22]

Поэт не отправил письмо Бенкендорфу, но избежать беседы с ним и с государем ему все же не удалось.

Встреча с царем

Свет продолжал с жадным любопытством следить за скандалом в семье поэта. 21 ноября П.Д.Дурново после посещения салона Нессельроде записал в дневнике о Дантесе: «Это фат, весьма ограниченный», «...женится на мадмуазель Гончаровой. Говорят, он ухаживал за сестрой — госпожой Пушкиной и что он был принужден мужем к объяснению»[1]. После помолв-

ки 17 ноября Пушкин мог торжествовать. Вынужденный брак выставил поведение Дантеса в самом невыгодном для него свете. Подозрение в трусости грозило погубить репутацию молодого офицера.

Считают, что 21 ноября Соллогуб, придя в ужас от письма Пушкина, бросился искать помощь у Жуковского. Последний отправился к поэту и тут же якобы все уладил[2]. Перед нами устойчивый миф.

В первой половине ноября Жуковский убедился, что не в его силах предотвратить поединок. Не имея возможности повлиять на Пушкина, он отправился к царю и подал ему донос.

Вопрос о вмешательстве властей обсуждался в кругу друзей после того, как Жуковский впервые сложил с себя полномочия посредника. Пушкин тотчас заподозрил неладное. 13 ноября Жуковский попытался рассеять его подозрения. «Ты вчера, — писал он Пушкину, — что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство»[3].

Обращение Жуковского к Николаю I дало результаты. Пушкин неожиданно для себя получил высочайшее повеление явиться в Зимний дворец. Как значится в камер-фурьерском журнале, 23 ноября по возвращении с санной прогулки «его величество принимал генерал-адьютанта Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина»[4].

О встрече царя с Пушкиным почти нет достоверных данных. Поэт всегда беседовал с государем с предельной откровенностью. Этим он обезоруживал августейшую особу, поскольку почти всегда говорил во вред себе. Вероятно, так же он вел себя и во время ноябрьской встречи. Запись в камер-фурьерском журнале, по-видимому, следует понимать как указание на присутствие Бенкендорфа в кабинете царя. Поскольку дуэль затрагивала семью голландского министра, присутствие шефа жандармов было необходимым. Дуэль считалась делом незаконным и уголовно наказуемым. По собственому признанию поэта, он имел намерение и возможность обесчестить голландского министра в глазах «дворов нашего и вашего», то есть российского и голландского, но не воспользовался случаем[5]. Пушкин мог скомпрометировать посла, но тогда ему пришлось бы упомянуть имя жены и предъявить письма. Недавние ухаживания царя за Натальей Николаевной усугубляли деликатность ситуации.

Жалобы Пушкина встретили полное понимание монарха. На то были свои причины. Карьера Геккерна пошатнулась. Своими бестактными действиями он навлек на свою голову гнев императора. Николай I взялся помочь Пушкину восстановить справедливость.

Определенно известно, что во время беседы государь взял с Пушкина слово не драться на дуэли. Если бы поэт принял требование царя, не выдвинув никаких условий и не упомянув имени свояченицы, он предал бы ее, так как отказался бы от единственного средства давления на Геккернов. Ничто бы не мешало Дантесу под предлогом слабого здоровья на время покинуть Петербург и расторгнуть помолвку с опозоренной девицей. Можно предположить, что Пушкин, будучи в Зимнем дворце, повторил «новеллу» о Катерине, которую постоянно рассказывал в свете. Царь должен был стать на сторону оскорбленной невинности. Поэт получил заверения в том, что власти воспрепятствуют расторжению помолвки.

Николай I, по предположению Я.Л.Левкович, дал поэту какие-то обещания или заверения, может быть, приструнить кавалергарда, выразить неудовольствие дипломату и пр., но «своего обещания... не сдержал»[6]. В

действительности император выполнил то, что обещал.

Свидетельство дочери Николая I Ольги подтверждает это. В своих воспоминаниях она писала о Пушкине следующее: «Папа (после появления анонимных писем. — Р.С.)... приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем. Друзья нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения. Дантес должен был жениться на младшей сестре г-жи Пушкиной, довольно мало интересной особе»[7]. Похоже, что именно такими были результаты беседы царя и Бенкендорфа с Пушкиным 23 ноября 1836 г. Кого имела в виду Ольга, говоря о друзьях Пушкина? Несомненно, Жуковского в первую очередь. Он воспитывал царских детей и был хорошо известен Ольге. Жуковский не участвовал в беседе царя с Пушкиным, но он был инициатором встречи и более всех других хлопотал о браке Дантеса и Катерины. Следует заметить, что император и его жена придерживались неодинаковых взглядов на свадьбу Дантеса. Царица писала своей фрейлине: «Мне жаль Дантеса, нужно было бы помешать этому браку — он будет несчастием для них обоих»[8]. Император, напротив, считал, что Дантес должен жениться на соблазненной девушке.

Согласно воспоминаниям Е.Н.Вревской, имевшей откровенную беседу с Пушкиным накануне его дуэли, последний сказал ей: «Император, которому известно все мое дело, обещал мне» и пр.[9] В поздних воспоминаниях Вревской, по справедливому замечанию С.Л.Абрамович, звучит живая пушкинская фраза[10]. Поэт сказал царю больше, чем говорил друзьям.

Беседа поэта с царем имела важный результат. В письме от 2 февраля 1837 г. Е.А.Карамзина, с которой поэт делился всеми своими заботами, сообщила сыну: «После истории со своей первой дуэлью П[ушкин] обещал государю больше не драться ни под каким предлогом», а после дуэли просил «прощения у гос[ударя] в том, что он не сдержал слова»[11].

Нарушение честного слова дворянина бросало тень на репутацию поэта. Между тем, его друзья старались представить репутацию погибшего в самом безупречном виде. По этой причине Жуковский в конспективных заметках даже не упомянул о встрече в Зимнем дворце, устроенной им самим. Вяземский ограничился глухой фразой о том, что царь, «встретив где-то (?! — Р.С.) Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед»[12].

Крушение карьеры

Дантес сделал головокружительную карьеру при русском дворе. Он вошел в круг любимцев императрицы — молодых офицеров Кавалергардского полка.

В 1835 г. тридцатисемилетняя царица увлеклась двадцатидвухлетним ротмистром Кавалергардского полка князем А.В.Трубецким, который был ближайшим другом Дантеса[1]. В своем дневнике императрица Александра многократно упоминала о Трубецком, именуя его «Бархат» (за бархатные глаза). Будучи в загородном доме, в августе 1836 г. царица писала Бобринской: «Он (Бархат. — Р.С.) и Геккерн (кавалергард. — Р.С.) на днях кружили вокруг коттеджа. Я иногда боюсь для него общества этого новорожденного». 15 сентября Александра высказалась по адресу Дантеса еще

более резко. «Я хочу еще раз просить Вас, — писала она Бобринской, — предупредить Бархата остерегаться безымянного друга (Дантеса. — *Р.С.*), бесцеремонные манеры которого он начинает перенимать... император это заметит, если он... не будет за собой следить в салонах»[2]. Для француза аффектация чувств не заключала в себе ничего предосудительного, но служила признаком галантности кавалера. Императрицу Александру беспокоило то, что Трубецкой стал перенимать у француза его манеру ухаживания за женщинами.

Царица была шефом Кавалергардского полка, и ее неудовольствие было достаточным поводом, чтобы полковое начальство перестало делать поблажки нерадивому французскому офицеру русской службы.

Увлечение императрицы закончилось плачевно. В марте 1837 г. Александра Федоровна писала Бобринской, что эти бедные молодые люди (Трубецкой с приятелями) вели себя безукоризненно, но все ухаживания проходили на глазах у Бенкендорфа, «которого я выбрала покровителем». Могущество секретной полиции было таково, что даже члены императорской семьи чувствовали себя поднадзорными. Не только Пушкин, но и царица была обманута маской дружелюбия главы III Отделения. Вскоре наступил и финал: «Император со мной гворил от своего имени и от имени других»[3].

При вступлении в полк в 1834 г. Дантеса определили в 7-й запасной эскадрон. Вскоре же его перевели в действующий эскадрон, хотя при этом и произошла небольшая задержка из-за незнания корнетом русского языка. 30 ноября 1836 г. начальство перевело Дантеса из действующего эскадрона обратно в 7-й запасной. Перевод таил в себе угрозу отставки[4].

Лишь после свадьбы с Е.Гончаровой поручик 15 января 1837 г. получил должность взводного во 2-м действующем эскадроне.

Дантес не выказывал особого усердия на службе. Тем не менее на первых порах он избегал выговоров и наказаний. С осени 1836 г. положение переменилось. В самом начале октября офицер получил пять нарядов вне очереди, 4 ноября «за незнание людей своего взвода и неосмотрительность в своей одежде» он вновь заслужил строжайший выговор и пять нарядов. 19 ноября за опоздание он вновь был наказан пятью дежурствами. 25 ноября последовал новый выговор и три наряда вне очереди.

Многие признаки указывали на закат карьеры блестящего кавалергардского офицера. Еще в конце декабря 1835 г. император был чрезвычайно приветлив, очень долго беседовал с Дантесом. «Он многократно со мною раскланялся, шутя, как ты понимаешь, — писал поручик отцу, — и сказал, что я слишком уж любезен и учтив, причем все это произошло к великому отчаянию присутствующих»[5]. Однако с октября 1836 г. поручика вообще перестали приглашать на балы в царский дворец. Это был плохой знак[6]. Кары, обрушившиеся на Дантеса, М.Яшин объяснял вмешательством Николая I, решившего женить Дантеса на Гончаровой. Однако наряды вне очереди посыпались на голову поручика уже в октябре, до его сватовства к Катерине. Что касается более серьезной меры — перевода Дантеса в запасной эскадрон 30 ноября, эта кара, возможно, имела особые причины. Не была ли она следствием беседы царя с Пушкиным в Зимнем дворце 23 ноября?

Высшее общество настороженно отнеслось к известию об усыновлении Дантеса голландским послом. Поднявшиеся толки были неблагоприятными для них. Вюртембергский посол князь Кристиан Гогенлоэ в депеше своему правительству сообщил некоторые подробности насчет отставки Геккерна в феврале 1837 г.: «Об его отъезде никто не жалеет, несмотря на то, что он прожил в С.-Петербурге 13 лет и в течение долгого времени пользовался заметным отличием со стороны двора, пользуясь покровительством графа и графини Нессельроде; в городе к барону Геккерну относились хуже уже в течение нескольких лет, и многие избегали знакомства с ним»[7]. Гогенлоэ не коснулся вопроса о причинах непопулярности Геккерна. Но эти причины не были тайной для современников.

То, что поручик при живом отце был усыновлен стариком Геккерном, вызвало в обществе множество неблагоприятных разговоров. Дипломат пытался исправить положение. В ноябре 1836 г. П.Д.Дурново беседовал в салоне у Нессельроде о Дантесе, после чего записал в дневнике: «Молодой человек — побочный сын голландского короля»[8]. В Москве говорили то же самое[9]. Эти слухи исходили, по-видимому, от самих Геккернов. Высокородные господа мистифицировали общество подобно уличным фокусникам.

Чтобы объяснить светскому обществу усыновление молодого человека, Геккерны сочинили еще одну историю. Матерью поручика, будто бы, была сестра посла, иначе говоря, барон усыновил своего племянника. Изощренностью ума дипломат не уступал барону Мюнхгаузену. Самым удивительным было то, что Геккерны заставили общество поверить сочиненным ими небылицам.

В декабре 1836 г. Пушкин писал отцу: «...Екатерина выходит за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника короля Голландского»[10]. Примерно в середине января 1837 г. Александрина писала брату из Петербурга, что обедала в доме у Геккернов, но у нее «отношения с дядей и племянником (Геккерном и Жоржем. — *Р.С.*) не из близких»[11]. Тотчас после смерти поэта Вяземский повторил ту же версию. Он писал насчет родства Геккерна и Дантеса: «Роль дяди — отца — я не знаю, как назвать его, особенно двусмысленна»[12].

Ложь всплыла после дуэли. А.И.Тургенев писал П.А.Вяземскому из Германии в августе 1837 г.: «Я узнал и о его происхождении, об отце и семействе его; все ложь, что он о себе рассказывает и что мы о нем слыхали»[13].

Посол вел рискованную игру. Блистательная родословная Дантеса бросала тень на доброе имя беспорочной дамы — матери Жоржа и, что особенно важно, на ни в чем не повинного голландского короля.

Бестактность дипломата была всем известна. Осенью 1836 г. Геккерн доверительно сообщил Николаю I некоторые подробности семейной жизни принца Вильгельма Оранского, женатого на родной сестре царя, а затем изложил содержание беседы с императором голландскому правительству. «Донос» посла повлек за собой выяснение отношений между августейшими родственниками. Переговоры продолжались весь октябрь. Барон навлек неудовольствие как русского, так и голландского двора. По случаю отъезда Геккерна из России Вильгельм Оранский 8 марта 1837 г. писал: «Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит, будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, как это делал Гек-

керн»[14]. Указание на лживость собственного посла, его склонность к мистификациям было беспрецедентным в истории дипломатии.

Французский посол в Петербурге Барант, упомянув о частых беседах с Геккерном, так отозвался о нем: «Он человек остроумный, проявляющий много бесполезной тонкости, речь которого никогда не предполагает ни малейшей искренности»[15].

Письменные отзывы о Геккерне в большинстве датируются временем после дуэли, что неизбежно предопределяло крайне отрицательную оценку его личности. Ввиду этого исключительное значение приобретает свидетельство Долли Фикельмон, записавшей свои впечатления в дневник в 1829 г.: «Геккерн голландский министр, лицо тонкое, фальшивое, мало симпатичное. Он здесь сходит за шпиона г-на Нессельроде. Это предположение дает лучшее описание личности и характера»[16]. Геккерну удалось покорить Долли своей общительностью и остроумием, но и тогда она не отказалась от своего прежнего взгляда: «...Не могу скрыть от себя, что он зол — по крайней мере в речах»[17].

Чиновник дипломатического ведомства Н.М.Смирнов характеризовал Геккерна в таких же выражениях, как и Долли Фикельмон: «Геккерн был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, кто его проник»[18].

Письма Дантеса дают ключ к объяснению карьеры Геккерна. Упомянув о короле Голландии, Жорж писал отцу: «...за свою службу вы довольствуетесь вознаграждением, которое ему ничего не стоит, а ведь редко найдешь властей предержащих, пусть даже государей, которые не любят такой ценой платить за службу»[19]. Геккерн получил место посла сначала в Петербурге, а позднее в Вене по той причине, что содержание посольств в двух главных европейских столицах требовало крупных расходов, а Геккерн довольствовался скромным вознаграждением из королевской казны. Дипломат барон Торнау сообщает, какие средства использовал Геккерн, чтобы поднять свои доходы. Барон покупал, менял и перепродавал картины и предметы древности. По словам Торнау, Геккерн был зол на язык, его «злого словца» боялись и «хотя недолюбливали, но кланялись»; «о правде Геккерн имел свои собственные, довольно широкие понятия, чужим прегрешениям спуску не давал».

П.Е.Щеголев придает особое значение приведенному известию, так как Торнау наблюдал барона в роли посла в Вене, и «его оценка наиболее беспристрастная, наиболее удаленная от пушкинского инцидента в жизни Геккерна»[20].

К зиме 1836 г. появились признаки близкого крушения карьеры голландского министра, и он предпринимал отчаянные попытки избежать скандала, который мог бы осложнить его положение.

Навязанное родство

После помолвки Геккерны уговорились с Загряжской, что жених может видеть невесту в ее апартаментах в Зимнем дворце каждый день от двенадцати до двух часов. В первой же записке Катерине кавалергард просил

удостоить его свидания наедине, а не в комнате, где сидит тетушка, потому что он хочет говорить «о нашем счастливом будущем»[1]. Помимо «счастливого будущего» Жорж имел в виду говорить о том, что происходит в доме у Пушкиных.

Геккерны не очень церемонились с Катериной. Когда последняя в самых нежных и ласковых выражениях попросила у жениха его портрет, ей было отказано решительным образом[2].

В доверительном письме Нессельроде барон не скрыл своего подлинного отношения к невестке. Высоконравственное чувство, писал он, заставило «моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины»[3]. Брак с нелюбимой девицей был хуже кабалы.

В свете кавалергард продолжал играть роль влюбленного жениха. Карамзина писала о нем брату: «...клянусь тебе, он выглядит очень довольным, он даже одержим какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием, он бывает у нас каждый вечер»[4]. У Карамзиных и в свете Дантес почти ежедневно сталкивался с Пушкиными. Неловкая игра поручика ставила всех участников драмы в фальшивое положение. Бобринская писала в письме от 25 ноября: «В свете встречают мужа (Пушкина. — *Р.С.*), который усмехается, скрежеща зубами. Жену, прекрасную и бледную, которая вгоняет себя в гроб, танцуя целые вечера напролет. Молодого человека (Дантеса. — *Р.С.*), бледного, худого, судорожно хохочущего»[5].

Голландский посол должен был расстаться с надеждами найти богатую невесту для сына. Семья Гончаровых разорилась. Братья выплачивали ежегодное пособие Катерине и Александрине, но даже после настойчивой просьбы Натали не выделили причитающейся ей доли. Условия брачного контракта, продиктованного Геккернами, наносили прямой ущерб всем остальным наследникам имущества Гончаровых. Барон выговорил для сына гарантии на строго определенную долю наследства в недвижимости. Кроме того, Геккерны постарались получить значительную сумму от невесты. По этому поводу Катерина написала несколько писем брату Дмитрию[6]. Первое неточно датировано 18 ноября: в этот день Дмитрий еще был в Петербурге и у сестры не было нужды писать ему письмо. В письме от 3 декабря Гончарова напомнила Дмитрию: «..ты получил на днях мое письмо»[7]. Очевидно, предыдущее письмо было послано в конце ноября. В этом письме Катерина, ссылаясь на свое «ужасно затруднительное положение», просила у брата Ивана взаймы дополнительно 5000 рублей[8]. В целом Геккерны рассчитывали получить за Катериной 5000 ежегодного дохода[9]. Устройством приданого пришлось заниматься самой невесте и ее сестрам. В декабре Пушкин писал отцу: «Шитье приданого сильно занимает и забавляет мою жену и ее сестру, но приводит меня в бешенство, ибо мой дом имеет вид модной и бельевой мастерской»[10].

В конце ноября Катерина сообщила братьям, что свадьба назначена на 7 января 1837 г.[11] Между тем, жених в середине декабря занемог. По данным архива Кавалергардского полка, Дантес болел с 15 декабря 1836 г. по 3 января 1837 г.[12] Болезнь носила отчасти дипломатический характер, поскольку больной стал появляться на светских приемах по крайней мере за неделю до дня поправки, указанного в полковых документах. Болезнь Дантеса отсрочила развязку.

Тем временем свет продолжал злословить по поводу ревности Пушкина. На вечере 23 ноября С.Карамзина избрала предметом беседы с В.Соллогубом «историю о неистовствах Пушкина». Соллогуб, по словам Софи, сам ухаживал за Пушкиной и охотно поддержал тему[13].

28 декабря Пушкин с женой и свояченицами был в гостях у Карамзиной-Мещерской, где столкнулся лицом к лицу с Дантесом. Софи Карамзина по обыкновению подробно описала вечеринку в письме к брату. «Пушкин, — писала она, — продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами»; при его встрече с Дантесом в доме Мещерских «снова начались кривляния ярости и поэтического гнева»[14].

Ксенофонт Полевой однажды сказал Пушкину, что в стихах его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни у одного из наших поэтов. Пушкин отвечал ему, что в основе своей его характер «грустный, меланхолический и если он бывает иногда в веселом расположении, то редко и ненадолго». Эти слова были сказаны тридцатилетним Пушкиным. К концу жизни черты характера, отмеченные самим поэтом, стали более заметными. По словам того же Полевого, лишь в кругу близких людей Пушкин был разговорчив, любезен и остроумен. Его веселость не знала предела, его речь была красноречивой импровизацией, он овладевал разговором; однако в большом обществе, среди чуждых ему людей Пушкин казался стесненным, попавшим не на свое место[15].

По наблюдениям Е.Ф.Розена, своей манерой поведения поэт выделялся среди людей света. Каждое его движение было страстным, выдававшим избыток жизненной силы. Когда его увлекал разговор, писал Розен, он пленял своей речью еще больше, чем своими сочинениями. В обществе же, при обыкновенном разговоре, он казался слишком порывистым и странным, даже бесхарактерным: он там будто страдал душою[16]. Н.М.Смирнов писал о Пушкине: «В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого; он стоял в углу, у окна, как будто не принимая участия в общем веселье. Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек; лицо его прояснялось, он был удивительной живости, разговорчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, но как будто запинаясь и часто с нервическими движениями, как будто ему было неловко сидеть на стуле»[17]. Смирнов часто принимал Пушкина в своем доме. По словам Плетнева, «общество, особенно где Пушкин бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство, и оттого оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь»[18].

Накануне дуэли Пушкин увидел себя одиноким даже в кругу близких ему людей, у которых не находил более понимания. «Странности» в поведении были замечены окружающими. По словам Софи Карамзиной, на рауте у Мещерских «мрачный как ночь, нахмуренный... Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом»[19].

На новогоднем вечере у Вяземских Пушкин вновь столкнулся с Дантесом. По словам хозяйки, поэт не мог скрыть своих чувств, когда увидел француза возле своей жены. Присутствовавшая на рауте Наталья Строганова-Кочубей, давняя любовь поэта, сказала Вяземской, что у Пушкина «такой страшный вид, что будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним

домой»[20]. Кочубей сочувствовала душевным мукам поэта, тогда как Софи видела в его страданиях одни «нелепости» и «кривляние». Свет вполне одобрял поведение кавалергарда и осуждал ревнивца. Друзья тщетно старались оградить его от неблагоприятных толков. В одном из декабрьских писем А.И.Тургенев писал о Пушкине: «Он полон идей, и мы очень сходимся в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое прежде было столь значительным. Я не из их числа»[21]. Поэт жил полнокровной интеллектуальной жизнью. Он сочинял, вел долгие беседы с друзьями, ежедневно занимался издательскими делами. Мысль об обиде и мести вовсе не стала у него навязчивой идеей. Но светские рауты стали для него невыносимы.

Современники плохо понимали Пушкина, объясняя его мучения кокетством и легкомыслием жены. Трагедия заключалась совсем в другом. В течение шести лет Пушкин жил семейной жизнью, старался защитить свой очаг от житейских бурь. Признания Натали, представленные ею любовные записки Дантеса, простодушные расспросы насчет перемены в сердце молодого человека, любовью которого она дорожила, — все это показало Пушкину, что его мечты о семейном счастье — мираж.

Когда Пушкин спросил жену, по ком она будет плакать после дуэли, Натали отвечала: «По том, кто будет убит»[22]. В грустной шутке не было и следа цинизма. Она была произнесена после помолвки Екатерины с кавалергардом. Наталья вовсе не думала ставить на одну доску мужа и кавалера. Она лишь хотела сказать, что смертельная дуэль заставит ее плакать в любом случае. После поединка вдовой осталась бы либо сама Натали, либо сестра, которую она любила.

В последние месяцы жизни Пушкин сблизился с А.И.Тургеневым, вернувшимся в Петербург из-за рубежа в конце ноября 1836 г. После вечера у Мещерской-Карамзиной 19 декабря Тургенев записал в дневнике: «О Пушкине; все нападают на него за жену, я заступался»[23]. Тургенев обладал зорким и независимым взглядом, и его слова имели совсем иную цену, нежели суждения других современников, мешавших личные впечатления с ходячими суждениями света и сплетнями.

Наталья Николаевна осталась чужой для Карамзиных и Вяземских. В 1834 г. она горестно жаловалась на окружавшую ее атмосферу отчуждения, несколько наивно объясняя все особенностями столичной жизни. «Тесная дружба, — писала она, — редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы»[24].

Суждения Софи Карамзиной о Пушкиной отличались пристрастностью. Она описывала Наталью как притворщицу, неискреннюю кокетку. Красавица, злословила падчерица Карамзиной, «ведет себя не очень прямодушно: ...когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре» и пр.[25] Долли Фикельмон высказывала более объективные суждения о поведении Пушкиной. Поразившее свет сватовство Дантеса к Екатерине поставило Натали в самое фальшивое положение. «Не смея заговорить со своим будущим зятем (Дантесом. — *Р.С.*), не смея поднять на него глаза, наблюдаемая всем общест-

вом, она постоянно трепетала»[26]. Смущение Натальи было истолковано светом по-своему.

Сохранилась записка Дантеса Катерине, которая позволяет более точно судить о взаимоотношениях действующих лиц. В записке жених сообщал невесте, что после «ужасного дежурства» в Зимнем он «нынче утром» передал несколько слов невесте через ее брата Дмитрия Гончарова. Произошло это до отъезда Гончарова из Петербурга 23-24 ноября. (Путь из Петербурга в Москву занимал около 3 дней. В послужном списке Гончарова отмечено, что он вернулся в Москву 27 ноября.)[27]

До отъезда Гончарова Жорж был в карауле 21 ноября[28]. Этой датой С.Витале и датировала записку Дантеса Катерине[29].

Записка 21 ноября проникнута иным настроением, чем предыдущая, написанная в середине ноября. Тогда Дантес был еще всецело во власти романтических переживаний: он счастлив тем, что его Натали спокойна. Теперь нежное участие уступило место грубости. «Нынче утром я виделся с известной дамой, — писал Жорж Катерине, — и, как всегда, моя возлюбленная, подчинился Вашим высочайшим распоряжениям; я формально объявил, что был бы чрезвычайно ей обязан, если бы она соблаговолила оставить эти переговоры, совершенно бесполезные, и коль Месье (Пушкин. — *Р.С.*) не довольно умен, чтобы понять, что только он и играет дурацкую роль в этой истории, то она, естественно, напрасно тратит время, желая ему это объяснить»[30]. О каких переговорах, надоевших кавалергарду, писал Дантес?

Письмо Софи Карамзиной помогает понять слова Жоржа. Близилась свадьба, а Пушкин, отметила Софи, до сих пор «упорно заявляет, что никогда не позволит жене присутствовать на свадьбе, ни принимать у себя замужнюю сестру. Вчера я убеждала Натали, чтобы она заставила его отказаться от этого нелепого решения, которое вновь приведет в движение все языки города»[31]. Как следует из записки Дантеса, Натали и без подсказки Софи пыталась доказать мужу, что не может порвать родственных отношений с сестрой Катериной. Вопрос о поведении поэта обсуждался не только в светских салонах, но и при дворе. Сам царь, внимательно следивший за делом Пушкина, нашел нужным выразить свое отношение к происходящему. «Его величество, желая сделать что-нибудь приятное вашему мужу и вам, — значилось в записке Бенкендорфа Н.Н.Пушкиной, — поручил мне передать Вам в собственные руки сумму» в 1000 рублей на свадебный подарок сестре Екатерине[32].

Неожиданный подарок Николая I укрепляет подозрения в том, что он непосредственно участвовал в устройстве «счастья» Катерины и Дантеса. Получив деньги из Зимнего, Пушкин лишился возможности не пустить жену на свадьбу.

Записка Дантеса обнаруживает, сколь пристрастно и зло интерпретировала Софи поведение Натали, замешательство которой было вполне понятным. Все попытки Пушкиной добиться родственного примирения неизменно наталкивались на категорический отказ. В своей записке кавалергард не скрывал чувства раздражения против Натали. Но следует иметь в виду, что Жорж писал невесте верноподданнические реляции. Что было у него на сердце — кто знает. Окружающие не сомневались, что он ведет двойную игру в отношении сестер.

Последняя из сохранившихся записок Дантеса к Катерине датируется 26 декабря[33].

Кавалергард придавал особое значение празднику, в котором участвовал «Двор». Выражение «Двор» имело в устах светского человека вполне определенное значение. В письме Катерине Жорж писал: «...начну с исполнения комиссии Барона, который поручает мне ангажировать Вас на первый полонез, а еще просит сказать, чтобы Вы расположились поближе к Двору, дабы он смог Вас отыскать»[34]. Смысл приведенных слов заключался в том, что Гончаровой следовало держаться так, чтобы «Двор» (царь) мог в любой момент подозвать и расспросить ее о близкой свадьбе.

К началу января последние приготовления к венчанию были завершены. Братья Софи Карамзиной посетили Геккерна и были «ослеплены изяществом их квартиры», в особенности же убранством комнат, отведенных бароном молодым[35]. Старый Геккерн старательно устраивал гнездо, в котором предстояло жить двум людям, связанным пороком, и нелюбимой Катерине Гончаровой.

Выйдя замуж за Дантеса, Катерина в мгновение ока превратилась из девицы-бесприданницы в богатую даму, невестку посла, представителя старинной аристократической фамилии Голландии. Роскошные апартаменты баронессы соответствовали богатству и положению семьи Геккернов.

Что касается Пушкиных, они занимали тесные покои и жили долгами. Уже в июле 1836 г. Натали признавалась брату: «Мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом»[36]. В декабре 1836 г. Наталья Николаевна не имела денег на оплату долгов булочнику, молочнице, аптекарю, кучеру, лавочникам, брала в долг продукты питания, дрова и пр.

Дантес мог обеспечить жене образ жизни, приличный для аристократии. Пушкину все труднее было выполнять обязательства, которые он принял на себя при вступлении в брак. Согласившись на родственные сношения с Геккернами, Пушкины неизбежно оказались бы в положении бедных родственников, что было невыносимо. Между тем, из рассказов Александрины поэт знал, что Дантес готов возобновить домогательства в отношении Натали.

Свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой состоялась в воскресение 10 января. Жених и невеста венчались по католическому обряду в церкви св. Екатерины и по православному — в Исаакиевском соборе. В качестве свидетелей со стороны невесты был ее дядя граф Г.А.Строганов и брат — поручик Иван Гончаров, со стороны жениха — посол барон Геккерн, виконт д'Аршиак, полковник Кавалергардского полка Александр Полетика и ротмистр того же полка Августин Бетанкур[37].

Граф Строганов и его жена были на свадьбе посаженными отцом и матерью Гончаровой, у Дантеса посаженной матерью была графиня Нессельроде. Со стороны посла присутствовали князь и княгиня Бутера. В роли шаферов выступали Александр и Владимир Карамзины. Наталья Николаевна присутствовала на обряде венчания сестры, после чего тотчас уехала домой.

Часть III

НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ

Журнальная Одиссея

Пушкин готовился основать и возглавить ежедневную политическую газету с литературным приложением, которое предполагалось именовать на английский манер «Обозрением» (Reviews), или по-русски — Летописцем[1]. Но проект издания газеты рухнул.

31 декабря 1835 г. Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему издание четырех томов статей чисто литературных (повестей, стихов, критических разборов словесности), исторических, ученых (политика исключалась), наподобие английских трехмесячных Reviews. Так началась эпопея с журналом «Современник». Журнал должен был возглавить литературное движение своего времени и одновременно стать типом «торговой спекуляции», приносящей солидную прибыль.

Мотивируя свою просьбу, поэт указывал, что лишился своих доходов и независимости, отказавшись от участия во всех русских журналах. «Издание таковой Reviews, — заканчивал свое прошение Пушкин, — доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды мною начатые»[2]. Под начатыми трудами он подразумевал «Историю Петра», тем самым соотнося задуманное издание со своими занятиями в качестве официального историографа. 10 января Бенкендорф записал царскую резолюцию: «Государь позволил через Ценсуры о чем уведомить Уварова»[3]. О послаблениях в виде личной цензуры монарха более не было и речи. Цензуровать журнал должен был на общих основаниях А.Крылов, известный своей трусостью и глупостью. Пушкин должен был получать разрешение на свои публикации также от церковной и военной цензуры и от Бенкендорфа. «И с одной ценсурою напляшешься, — сетовал поэт, — каково же зависеть от целых четырех?»[4]

Принимаясь за издание журнала, поэт не скрывал неуверенности. Как писал Н.В.Гоголь, «сильного желания издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел отказаться от него»[5]. Но выбора у Пушкина не было.

Журнал мог обеспечить материальную независимость писателя. Свое отношение к «торговле рукописями» Пушкин раскрыл в рецензии на издание Шатобриана, осуществившего перевод поэмы английского поэта Мильтона «Потерянный рай».

Шатобриана Пушкин называл первым из современных французских писателей и учителем всего пишущего поколения. Таким же было положение Пушкина в России. Шатобриан был в прошлом министром. Но он не пожелал жертвовать свободой ради благополучия. «Тот, — писал Пушкин, — кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты пэров... Шатобриян приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестию»[6].

Пушкин мог легко занять место, опустевшее после смерти Карамзина, и написать любую официозную историю. Тогда на него пролились бы все щедроты и почести, которыми был до него удостоен придворный историограф. Но поэт не хотел поступиться независимостью. Он пришел в книжную лавку с «продажным журналом, но с неподкупной совестью». Эти слова, отметил Ю.М.Лотман, могли быть написаны на знамени создателя «Современника»[7].

Шатобриан взялся за неблагодарный труд «для куска хлеба». С той же целью Пушкин взялся за издание журнала «Современник». Он рассчитывал иметь 60 000 дохода ежегодно. Но надежды не оправдались. Тираж первого номера не разошелся, и издателю пришлось из номера в номер сокращать тираж «Современника».

Книжная торговля в России сделала первые крупные успехи благодаря просветительской деятельности Новикова. Его хлопотами сеть книжных лавок расширилась и впервые охватила провинцию.

К началу XIX века в России было несколько десятков типографий, частных и казенных. Все они печатали в среднем не более 250 книг в год. В послереволюционной Франции в это же время издавали почти в двадцать раз больше книг разных наименований. Французское общество жило напряженной интеллектуальной жизнью. Оно избавилось от пут старых феодальных отношений и цензуры. Книгоиздатели спешили удовлетворить духовные потребности буржуазного общества.

Характеризуя младенческое состояние русской книжной торговли, Пушкин писал в 1831 г.: «Десять лет тому назад литературою занимались у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности: читателей было еще мало. Книжная торговля ограничивалась переводами кой-каких романов и перепечатанием сонников и песенников»[8]. В русской книжной торговле переводная литература доминировала долгое время.

Самые богатые лавки в Петербурге принадлежали иностранцам. Их магазины, как и русские лавки, торговали прежде всего иностранными книгами. Пушкин писал об этом : «Русские книгопродавцы всегда сумеют получать большие барыши, перепечатывая иностранные книги, сбыт которых всегда будет им обеспечен даже без вывоза»[9].

Приобщившись к европейской культуре, дворяне усвоили снисходительное отношение к родному языку и литературе. Родная сестра Пушкина в письме к родителям сообщала, что Александр скоро издаст журнал. «Не знаю, — продолжала она, — поручусь ли я, что стану его читать, честно говоря, я более чем когда-либо терпеть не могу русские книги»[10]. В то время это было типичным отношением к русской литературе, и оно ока-

зывало самое непосредственное влияние на книготорговлю.

Русским издателям публикация книги обходилась дешевле, чем западным. Но продавали книги тут по таким же высоким ценам. Видимо, уровень цен на русском рынке определялся дорогими западными изданиями, поступавшими из-за рубежа. Французский язык был для дворян вторым родным языком. Поэтому дворяне охотно покупали оригинальные французские издания. Но преобладали все же переводы с западных языков, пользовавшиеся большим спросом.

Издатели ориентировались на дворян, в первую очередь на знатное и богатое шляхетство. Богатая библиотека была непременной принадлежностью аристократического дома. Русское общество унаследовало эту моду от просвещенного XVIII века. Книги должны были украшать жилище дворянина. Их выпускали в роскошных преплетах, с золотым тиснением. Цена таких книг была очень высока. Все это тормозило развитие книжного рынка. Даже среди дворян немногие могли тратить значительные суммы на приобретение книг.

Пользуясь отсутствием юридической защиты авторского права, неупорядоченностью практики оплаты литературного труда, книготорговцы грабили и литераторов, и книгоиздателей. Лишь постепенно, с увеличением оборотов книжной торговли, возникла почва для высоких авторских гонораров. Пушкину пришлось потратить много труда, чтобы растолковать обществу, что литературный труд требует достойного вознаграждения. В 1824 г. поэт писал по поводу предложения владельца лавки Сленина: «Сленин предлагает мне за Онегина сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе, — а я думал, что это ошибка географов»[11]. Стандарты оплаты труда, принятые в Западной Европе, служили недосягаемым образцом для русских литераторов.

В 1824 году Пушкин стал жертвой плутней петербургского почтового цензора Евстафия Ольдекопа, издавшего без его разрешения поэму «Кавказский пленник» и присвоившего весь доход. Ольдекоп опубликовал вместе с оригиналом наскоро составленный перевод поэмы на немецкий язык[12].

В 1827 г. поэт в письмах к Бенкендорфу обосновал необходимость «оградить литературную собственность от покушений хищника». Его ходатайство не осталось гласом вопиющего в пустыне. Первые попытки защитить авторские права были предприняты в связи с введением нового цензурного устава в 1828 г.

Невзирая на неблагоприятную ситуацию, издательское дело в России с годами расширялось. В 1825 г. примерно шестьдесят российских типографий выпустили 323 книги, из которых 208 были оригинальными русскими, а остальные переводными. В 1833 г. было издано около 500 книг, а в 1837 г. — вдвое больше[13]. По европейским масштабам успехи российских издательств были весьма скромными. Новых книг было мало, тиражи их невелики. Книги распродавались медленно. Большая часть тиража оставалась нераспроданной иногда многие годы.

Журналы пользовались несколько более высоким спросом по сравнению с другими изданиями. Количество их множилось из года в год. Но в большинстве своем они были недолговечны. Финалом журналистской деятельности обычно было банкротство.

Наибольшим успехом пользовалась в 30-е годы «Библиотека для чте-

ния». Ее издателем был Смирдин, а его сотрудниками были Сенковский, Булгарин и Греч. Владелец журнала приглашал самых известных авторов и платил им огромные гонорары. Понимая значение Пушкина, Смирдин попытался убедить его отказаться от идеи издания собственного журнала. В январе 1836 г. в письме к Нащокину Александр Сергеевич писал: «Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его Библиотеки, но хотя это было бы и выгодно: но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно»[14]. Когда первый номер «Современника» все же вышел, Смирдин взял 100 экземпляров для распродажи.

Сенковский и Булгарин ориентировали журнал на малообразованную публику с невзыскательными вкусами. Благодаря энергии Смирдина их журнал завоевал провинциального читателя. «Библиотеку» читали больше в провинции, чем в столице[15].

Пушкин внимательно следил за книготорговлей и положением литераторов на Западе, особенно в Англии, где образование достигло больших успехов и возник устойчивый книжный рынок. Наличие читающей публики и рынка обеспечивали литературе, а именно — модным английским романам, устойчивый коммерческий успех. В отличие от Англии, в России становление литературы как общественного института, отвечавшего условиям нового столетия, только началось. Пушкин с одобрением отзывался о превращении литературы в «честную промышленность», т.е. профессиональную деятельность, приносящую твердый заработок[16].

Уровень просвещения в России был невысок. В шести российских университетах училось не более 1900 студентов. Учебные заведения были доступны преимущественно дворянам. Но даже среди дворян только 5 процентов получили образование в объеме гимназии[17]. Сказанное объясняет судьбу пушкинского «Современника». Этот журнал никак не мог соперничать с «Библиотекой для чтения», украшением которой были творения Булгарина.

«Библиотека для чтения» Смирдина имела 5000 подписчиков, булгаринская «Северная пчела» — 3400, пушкинский «Современник» — всего 600-700[18]. Любой журнал проходил через руки подписчика, его родни — обитателей дворянских гнезд, соседей по поместью и пр. На одну подписку приходилось до 5-10 читателей. Отсюда следует, что издания Смирдина и Булгарина завоевали добрую половину читающей России. Круг читателей «Современника» был значительно более узким.

Булгарин был плодовитым автором и успел издать собрание своих сочинений в 12 томах. Пушкин третировал его писания. В статье «Альманашник» (май 1830 г.) он воспроизвел воображаемый диалог издателя с отставным канцеляристом, тщетно искавшим место в столичных канцеляриях:

«— Служба тебе, знать, не дается. Возьмись за что-нибудь другое.

— А за что прикажешь?

— Например, за литературу. ...пиши Выжигина.

— Выжигина? Господи Боже мой: написать Выжигина не шутка; пожалуй, я вам в четыре месяца отхватаю 4 тома, не хуже Орлова (автора вульгарных лубков. — *Р.С.*) и Булгарина, но покаместь успею с голода околеть»[19].

Здесь Пушкин высмеивал Булгарина как поденщика, наскоро лепившего роман, чтобы не умереть с голода.

Пушкин ославил Булгарина как шпиона и как автора бездарных сочинений. Не все его стрелы попали в цель. Утверждение, будто романы Булгарина скучны и не могут рассчитывать на успех у читателей, было бесспорным в широком плане, с точки зрения будущего. Однако современники Пушкина — обитатели дворянских усадеб, провинциальные господа в картузе, Буяновы и Петушковы с домочадцами — вовсе не считали плутовской роман Булгарина о Выжигиных скучным. Роман «Иван Выжигин» отнюдь не принадлежал к настоящей литературе, но он стал первым русским романом XIX века, имевшим в момент публикации коммерческий успех[20].

Романы Булгарина пользовались успехом не только в провинции, но и в столице. По представлению Бенкендорфа Николай I весной 1831 г. наградил Булгарина бриллиантовым перстнем за роман «Петр Иванович Выжигин» и при том разрешил предать гласности свой отзыв, что имело немаловажное значение[21].

Пушкин, смеясь , говорил, что Булгарин плутовством выманил «высочайший рескрипт Петру Ивановичу Выжигину»[22]. Награды, вроде перстня, были обычны в те времена, когда покровитель мог пожаловать колечко, но мог также наказать «тростию оплошного стихотворца», не успевшего сочинить оду[23].

Булгарин удостоился царской милости после того, как в Польше вспыхнуло национальное восстание. Поляк по происхождению, он выступил решительным противником польских повстанцев — своих соотечественников. Бенкендорф собирался послать Булгарина в Варшаву в качестве правительственного агента для «усмирения умов»[24]. Однако этот проект не был осуществлен. Пушкин не сомневался в том, что Николай I не благоволит к Булгарину. 1 июня 1831 г. он уведомил Вяземского, что Булгарин, разобиженный его эпиграммами, стал докучать императору доносами и жалобами. Говорят, шутливо завершал свой рассказ Пушкин, что именно за это государь ныне велел выслать его из столицы[25].

Какими бы беспомощными и безвкусными ни были романы Булгарина, они обеспечили ему неплохой доход. В то же время пушкинская «История Пугачева» продавалась плохо.

Книга Пушкина о Пугачеве увидела свет в декабре 1834 г. По распоряжению начальства типография отпечатала 1200 экземпляров книги на казенной бумаге. Рассчитывая на интерес к запретной теме, Пушкин задумал отпечатать еще 1800 экземпляров. Бумагу для дополнительного тиража ему пришлось оплатить из собственных средств. Автор ожидал получить от продажи книги не менее 40 000 рублей, но выручил менее половины этой суммы. До начала 1837 г. из 3000 напечатанных экземпляров удалось продать лишь 1225. То был первый случай, когда произведение Пушкина не нашло покупателя. Непроданная книга поставила перед поэтом такие проблемы, с которыми он ранее не сталкивался.

С трудом скрывая отчаяние, Пушкин писал в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают»[26]. Рецензент «Сына Отечества» в 1835 г. третировал труд Пушкина как «мертворожденное дитя». Булгарин бранил книгу в «Северной Пчеле»[27]. В своей неудаче поэт склонен был винить «подлеца Уварова», называвшего его «Пугачева» возмутительным сочинением[28].

Пушкин развивался непостижимо быстро, поражая современников не-

оценимыми художественными открытиями. «Пугачев» обманул ожидания общества. Книга могла иметь успех в период общественного подъема, но после расправы с декабристами ситуация изменилась. Причины неудачи «Истории Пугачева» коренились также в сфере творческой.

Получив заказ на написание «Истории Петра Великого», поэт сочинил «Историю Пугачевского бунта». Государь мог бы проявить неудовольствие. Но этого не произошло. «Пугачев» был первым сочинением, написанным Пушкиным в должности придворного историографа. Царя концепция «Истории Пугачевского бунта» удовлетворила.

Кризис

Век Просвещения оставил в наследие XIX веку классицизм. Просветители верили во всемогущество разума. Но европейское общество, пережившее французскую революцию и наполеоновские войны, мало походило на царство разума. Действительность, знаменовавшая наступление Нового времени, требовала своего осмысления. Вновь возникшие литературные течения в разных странах приобрели свою форму. В историю они вошли под общим наименованием романтизма. Представителями романтического направления были Шатобриан и Гюго во Франции, Байрон и Вальтер Скотт в Англии, Мицкевич в Польше, Жуковский в России.

Пушкин был воспитан на французской литературе. Он высоко ценил язык и литературу Франции. В 1825 г. он писал Вяземскому: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского — ясного точного языка прозы — т.е. языка мыслей»[1]. Пушкин знал французский язык в совершенстве и в полной мере использовал свои познания, создавая новый литературный русский язык.

Английский язык Пушкин выучил самостоятельно к тридцати годам. Знакомство с творениями Байрона и Шекспира составили эпоху в его жизни. Ранние поэмы Байрона Гяур и Чайлд Гарольд произвели на поэта ошеломляющее впечатление. «От Байрона, — признавался позднее Пушкин, — я с ума сходил»[2]. Поэмы Пушкина «Кавказский пленник» и «Цыганы» с полным основанием называют байроническими. Однако последующие поэмы английского гения разочаровали молодого Пушкина. У него сложилось впечатление, что демонический пламенный гений, потрясший мир поэмой о Чайлд Гарольде, умолк, превратившись в высокий, но все же человеческий талант.

Преодоление влияния Байрона было необходимым этапом в творчестве Пушкина. Он искал и нашел свой путь, свидетельством чему был роман в стихах «Евгений Онегин».

Известие о смерти Байрона побудило поэта изложить свой взгляд на творчество, взлет и падение английского поэта. «Гений Байрона, — писал Пушкин в 1824 г., — [ослаб <?>] бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чильд Гарольда. ...Его поэзия видимо изменялась... Постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал;

и первые звуки его уже ему не возвратились — после 4-й песни Child-Harold Байрона мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом»[3].

Давно замечены черты разительного сходства в жизни и творчестве Байрона и Пушкина. Применимы ли наблюдения Пушкина к его собственной жизни? Не претерпело ли его творчество такой же метаморфозы, как и творчество английского поэта?

Беседуя с Егором Розеном, Пушкин дал совет не пренебрегать минутами лирического вдохновения, пока он молод: «Помните... что только до тридцати пяти лет можно быть истинно лирическим поэтом, а драмы можно писать до семидесяти и далее!»[4] Эти слова можно было бы обойти вниманием, если бы не одно обстоятельство. Они были произнесены, когда Пушкину было за тридцать. Признание было многозначительным.

В тридцать четыре года, беседуя с Александрой Апехтиной-Фукс, он сказал: «О, эта проза и стихи! Как жалки те поэты, которые начинают писать прозой, признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернила»[5].

Однажды Ксенофонт Полевой процитировал в присутствии Пушкина строфу из «Евгениея Онегина»:

Ужель мне точно тридцать лет?

Поэт с живостью возразил ему: «Нет, нет! У меня сказано: "Ужель мне скоро тридцать лет?" Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью». Пушкин сказал это, отметил Полевой, за несколько месяцев до своего тридцатилетия[6]. Тридцатипятилетие было психологически еще более трудным рубежом.

Друзья-стихотворцы, разбиравшие рукописи Пушкина после его гибели, не скрывали изумления перед совершенством найденных ими стихов. Баратынский писал жене об этих стихах: «Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? — Силою и глубиною! Он только что созревал»[7]. Большинство из этих неопубликованных шедевров были написаны поэтом до того, как он отпраздновал свое тридцатипятилетие.

В самые последние годы жизни Пушкин тщетно ждал наступления своей новой болдинской осени. Вдохновение посещало его реже. Стихи не шли с пера. Но среди них встречались шедевры, не уступавшие лучшим лирическим стихам. Достаточно вспомнить посвящение к 25 годовщине Лицея, написанное за несколько месяцев до гибели.

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем Лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!

Великой заслугой романтического направления было обращение к творчеству Шекспира. Романтики призывали возродить шекспировскую традицию. Их призывы были услышаны в разных концах Европы. Преодолев увлечения юности, Пушкин в июле 1825 г. писал: «...до чего изумителен Шекспир! Не могу притти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик. Байрон, который создал всего-навсего один характер»[8]. Пушкин неоднократно отмечал, сколь плодотворным было для него обращение к

шекспировской традиции. «Борис Годунов» и «Маленькие трагедии» стали величайшим достижением не только русской, но и мировой литературы.

На вновь обретенном пути Пушкина ждали не только великие достижения, но и неудачи. В 1833 г. он написал поэму «Анджело» по пьесе Шекспира «Мера за меру». Поначалу поэт предполагал ограничиться переводом сочинения великого английского драматурга. Но затем стал работать над пересказом: изменил сюжет, перенес действие в Италию, отбросил второстепенные подробности.

Шекспиру случалось переделывать посредственные пьесы, не им написанные, в результате чего на свет появлялись мировые шедевры. Пушкин также неоднократно заимствовал сюжеты и мысли у предшественников и творил сочинения, отмеченные печатью гения[9]. В случае с переделкой пьесы Шекспира чуда не произошло. Шекспировские идеи и образы не получили новой жизни.

Публика встретила поэму «Анджело» холодно. «По моему искреннему убеждению, — писал автор одного из обзоров, — "Анджело" есть самое плохое произведение Пушкина»[10].

Нащокин вспоминал, будто поэт жаловался в таких выражениях: «Наши критики не обратили внимания на эту пиесу, и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал»[11]. Это высказывание внушает сомнение. Возможно, Нащокин не совсем точно воспроизвел смысл беседы с поэтом. Достаточно вспомнить слова Пушкина: «...русский язык, столь гибкий и мощный... неспособен к переводу подстрочному, к переложению слово в слово»[12], — слова, свидетельствующие о том, что Пушкин не предавался иллюзиям по поводу сочинений, подобных пересказу шекспировской драмы. Поэма «Анджело», законченная одновременно с «Медным всадником», заняла весьма скромное место в его литературном наследии.

Пушкин проявлял большой интерес к романам Вальтера Скотта, которыми зачитывалась образованная публика по всей Европе. Современники считали, что Скотт, создав форму исторического романа, возродил шекспировскую традицию. Белинский писал по этому поводу: «В начале XIX в. явился новый гений, проникнутый его духом, который докончил соединение искусства с жизнию, взяв в посредники историю. Вальтер Скотт в этом отношении был вторым Шекспиром»[13]. Пушкин также склонен был исключительно высоко оценивать сочиения английского писателя: «...что нас очаровывает в историческом романе — это то, что историческое в них есть подлинно то, что мы видим — Шекспир, Гете, Вальтер Скотт...»[14]

Русские романы, имевшие успех, признавал поэт, написаны по образцу Вальтера Скотта.[15]

В молодости поэт писал брату Льву: «Conversations de Byron! Walt. Scott! это пища души!»[16] Уединившись в Болдине осенью 1834 г., Пушкин сообщал жене: «И стихи в голову нейдут; и роман не переписываю. Читаю Вальтер-Скотта и Библию»[17]. 18 декабря того же года он отметил в дневнике: «Третьего дня был я наконец в Аничковом. Опишу все подробности в пользу будущего Вальтер-Скотта»[18]. В 1835 г. поэт посетил Михайловское, откуда писал Наталье в сентябре: «Я взял у них (Вревских. — *Р.С.*) Вальтер-Скотта и перечитываю его. Жалею, что не взял с собой английского»; «...читаю романы В.Скотта, от которых в восхищении»[19]. Павлу На-

щокину поэт шутливо говорил в ноябре 1833 г.: «Погоди, дай мне собраться, я за пояс заткну Вальтер-Скотта!»[20] Н.М.Карамзин увлекался чтением романов Вальтера Скотта и шутил, что поставит памятник великому шотландцу у себя в саду.

Романы Скотта породили множество подражаний. Этот путь был чужд зрелому Пушкину. Повесть «Капитанская дочка» дала яркое представление об избранной им дороге. Законченная незадолго до последней дуэли, повесть раскрывала колорит, но еще больше — *сокровенный дух* эпохи. Пушкин обладал даром художественного проникновения в суть исторических событий. «Капитанская дочка» давала для понимания пугачевщины больше, чем все, что было написано до того, включая пушкинскую же «Историю Пугачевского бунта» в двух томах.

Обращение к прозе — «языку мысли» — открыло перед Пушкиным новые бескрайние горизонты. Но современники не могли оценить метаморфозу, происходившую у них на глазах.

Талант Пушкина поразил современников в то время, когда русское общество переживало духовный и нравственный подъем. Общественное мнение было на стороне вольнодумцев. Казалось, перемены, которые должны были превратить самодержавно-крепостную Россию в процветающую, цивилизованную страну, близки. Не страшась гонений, поэт выразил надежды и чаяния общества, что и сделало его властителем дум.

После мятежа 14 декабря либерализм, с которым мирился и которому отдавал дань наследник просвещенных монархов XVIII века император Александр I, потерпел крушение. Казни и гонения потрясли Россию. Историческая ситуация претерпела разительную перемену. Общество перестало видеть в Пушкине наставника и пророка.

Пушкин вернулся из ссылки сразу после коронации Николая I. Престарелый писатель Владимир Измайлов писал в то время из провинции: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта»[21]. Преклонение перед гением Пушкина достигло апогея в 1820-х годах, а затем его популярность стала падать[22].

После 1825 г. поэт впервые ощутил недостаточность своего образования. 10 мая 1830 г. Погодин записал в дневник слова, слышанные им от Пушкина во время бесед на исторические темы: «Как рву я на себе волосы часто... что у меня нет классического образования, есть мысли, но на чем их поставить»[23]. В поздних воспоминаниях, написанных в 1880 г., Павел Вяземский утверждал, что Пушкин отговаривал его от поступления в университет, выражал враждебный взгляд «на высшее у нас преподавание наук» и постоянно и настойчиво указывал юноше на недостаточное знакомство его с текстами священного писания и необходимость чтения книг Ветхого и Нового завета[24]. По словам друзей поэта, сам он усердно перечитывал Евангелие[25]. В советах Пушкина проявлялось его глубокое недоверие к состоянию университетских наук и уровню преподавания в учреждениях, подведомственных министру Уварову. Университеты той поры не соответствовали представлениям поэта о классическом образовании и высшей школе. Поэт всю жизнь трудился над пополнением своего образования, самостоятельно изучил несколько языков, следил за иностранной литературой, основательно занимался русской историей. Но собственная начитанность его никогда не удовлетворяла. Любопытна самая ранняя запись воспомина-

ний Александры Россет-Смирновой о Пушкине. Однажды она призналась поэту, что мало читает. «Он мне говорит: "Послушайте, скажу я вам по секрету, что я читать терпеть не могу, многого не читал, о чем говорю. Чужой ум меня стесняет. Я такого мнения, что на свете дураков нет. У всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя"»[26].

Читатели, бурно приветствовавшие ранние романтические поэмы Пушкина, не находили прежних похвал для «Бориса Годунова». Бывший директор Лицея Е.А.Энгельгарду писал после появления трагедии Пушкина: «В Пушкине только и было хорошего, что его стихотворный дар, да и тот, кажется, исчезает»[27]. «Вероятно, — с грустью констатировал Пушкин, — трагедия моя не будет иметь никакого успеха. Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имею главной прелести: молодости и новизны лите[-ратурного] имени»[28].

Беседуя с французским литератором Леве-Веймаром 17 июня 1836 г., Пушкин с горечью повторял: «Я более не популярен»[29]. Поэт жаловался собеседнику, что не имеет возможности посетить страны Западной Европы вследствие запрета правительства. Знакомство и общение со знаменитыми писателями и деятелями Европы было его заветным желанием. Мечта осуществилась лишь однажды, когда судьба свела Пушкина с Адамом Мицкевичем.

Никто из соотечественников Пушкина не проник в суть духовной драмы Пушкина столь глубоко, как польский поэт.

Разгром тайных обществ, по наблюдениям Мицкевича, произвел сильное впечатление на Пушкина, лишив его смелости и страсти; он еще не признался даже самому себе в том, что прежние его идеи были заблуждением, но в интимных разговорах насмешливо отзывался об идеалах старых друзей; «он начал падать духом». С этого времени он стал более трезвым в своих стихах, начал высмеивать чрезмерную восторженность, лжемудрствования и либерализм. От человека, столь ненавидимого и преследуемого кликой (придворной камарильей, великосветской чернью. — *Р.С.*), стало отворачиваться общество. Произошло это не в силу личной неприязни. Общество, как и прежде, обращалось к любимому поэту за ответом на свои вопросы: «Ты нам предрек в своих ранних стихах кровавое восстание, и оно произошло; ты предсказал нам разочарование, крушение слишком выспренных, слишком романтических идей — все это сбылось. Что же ты предскажешь нам теперь? Что нам делать? Что нам ждать? И Пушкин не знал, что ответить на это. Он сам был в глубоком отчаянии»[30].

Недавние поклонники Пушкина спешили громко заявить о своем разочаровании. Писатель Н.А.Мельгунов утверждал в письме С.П.Шевыреву в начале 1830-х годов: «Пора Пушкина прошла»; «На него не только проходит мода, но он явно упадает талантом»; «Я не говорю о Пушкине, творце "Годунова" и пр.; то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их... Упал, упал Пушкин, и признаюсь, мне весьма жаль этого. О честолюбие, о златолюбие!»[31] Каким бы ни было новое сочинение Пушкина, публика не сомневалась, что оно уступает прежде написанным. Пушкин, — писал его знакомец Николай Смирнов, — из каприза лишает общество поэмы «Медный всадник», «ибо те поправки, которые царь требует, справедливы и не испортят поэму, которая, впрочем, слабее других»[32].

Александр Карамзин, часто видевшийся с поэтом в доме матери, повторил беспощадную молву: «Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии»[33]. Виссарион Белинский писал в 1834 г.: «...тридцатым годом кончился или лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры»[34]. По поводу новой публикации критик сетовал: «Вообще, очень мало утешительного можно сказать об этой четвертой части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина: в этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный»[35]. Отзывы о пушкинской прозе были еще более обескураживающими. Приятельница поэта А.О.Смирнова-Россет язвительно заметила по прочтении «Путешествия в Арзрум»: «Арзерум — вылитый Пушкин, когда он расположен болтать и заинтересовывать, так что все эти истории мне слишком известны...»[36]

Немногие современники догадывались о том, что метаморфоза в творчестве Пушкина естественна и неизбежна. Адам Мицкевич оказался в числе провидцев. Три года дружбы с Пушкиным открыли ему многое из того, что осталось тайной для других. Беседы с Пушкиным запали в память великого польского поэта. «Разговоры его, — вспоминал Мицкевич в 1837 г., — ...становились все серьезнее. Он любил рассуждать о высоких вопросах, религиозных и общественных, которые и не снились его соотечественникам. Очевидно, в нем происходил какой-то внутренний переворот. Как человек, как художник он, несомненно, находился в процессе изменения своего прежнего облика, или, вернее, обретения своего настоящего облика... его поэтическое молчание было счастливым предзнаменованием для русской литературы. Я ожидал, что вскоре он появится на сцене новым человеком, во всей силе своего таланта...»[37]

Памятник нерукотворный

В 1833 г. Пушкин был избран действительным членом императорской Академии наук. Избрание свидетельствовало о признании заслуг поэта в развитии российской литературы. Пушкин не выразил отношения к своему избранию ни единым словом. Кажется, он невысоко ценил академическое звание. Поэта приводили в бешенство «соболезнования» критиков, брань продажных журналистов, множившаяся клевета. Его все более покидала вера в высокую миссию российской словесности. В апреле 1834 г. он писал М.П.Погодину: «Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег; охота являться перед публикою, которая Вас не понимает, чтобы четыре дурака ругали Вас потом шесть месяцев в своих журналах только что не по матерну»[1].

Пушкин прекрасно понимал, что его творчество имеет непреходящее, вечное значение. Гордые слова — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — покоились на прочном основании.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
...
Веленью Божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемля равнодушно,
И не оспоривай глупца.

У Пушкина были предшественники, которые пытались осмыслить опыт жизни, поэтического творчества, соотнести его с идеей вечности. Ломоносов обратился к Оде Горация, воспевшего бессмертие поэзии. Державин шел по стопам Горация, говоря, что его поэтическая слава одолеет смерть. «Памятник» Пушкина восходит к той же традиции и стоит в одном ряду со стихами Ломоносова и Державина[2].

Работа над «Памятником» была завершена на Каменном острове 21 августа 1836 г. В ту пору «Пушкин пережил момент острого отчаяния и крушения всех своих надежд»[3]. Коллизия, вызвавшая к жизни произведение, была глубоко трагична.

Старый приятель Н.А.Муханов, посетивший поэта в те дни, нашел друга ужасно упадшим духом, вздыхающим по потерянной «фавории» (популярности) у публики. О своих впечатлениях Муханов рассказал Александру Карамзину, который записал: «Пушкин показал ему только что написанное стихотворение («Памятник». — *Р.С.*), в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней»[4]. Первый читатель «Памятника» увидел лишь то, что лежало на поверхности. Более всего его поразили жалобы поэта на людскую неблагодарность. Он не понял истинного значения вызова, брошенного Пушкиным своему времени.

Примерно в одно время с «Памятником» Александр Сергеевич написал стихотворение «Не дорого ценю я громкие права...»

...Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторге умиленья.
— Вот счастье, вот права — —

Поэт провозглашает высшую свободу и абсолютную независимость поэзии. Чистое искусство — не придуманная умом доктрина, но непроизвольно, как любовь, как религиозное чувство, рождающаяся в груди сила, которую поэт не вывел умом, но заметил в опыте[5].

После гибели друга Жуковский бросил властям обвинение в том, что

8 Зак. 3925

они разделяют ответственность за происшедшее. Он доказывал, что Пушкин был жертвой клеветы, полицейских придирок; молва несправедливо твердила об упадке его поэтического дара, «а Пушкин только созрел и что бы он написал, если бы тяжелые обстоятельства всякого рода, скопленные мало по малу, не упали на бедную его голову тем обвалом, который толь незапно раздавил его пред нашими глазами»[6]. Для творчества, писал Жуковский, Пушкину нужно было «свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия»[7].

В 1830 г. накануне свадьбы Пушкин писал: «Заблуждения моей ранней молодости представились моему воображению; они были слишком тяжки и сами по себе, а клевета их еще усилила; молва о них, к несчастию, широко распространилась»[8]. Молодость прошла. К лицейскому юбилею 19 октября 1836 г. поэт писал: «...разгульный праздник наш с приходом лет, как мы, перебесился». Вступив в пору зрелости, Пушкин мог рассчитывать на уважение, признательность и любовь соотечественников. Никто не сделал так много для развития духовной культуры России, как он. Вместо этого он на каждом шагу сталкивался с неуважением и злобой.

Завистники старались ославить сочинения поэта как неблагонамеренные, очернить его жизнь как безнравственную. Самым могущественным оружием Пушкина было его перо. Но в последнем столкновении — войне с Геккернами пустить в ход это оружие оказалось невозможно. Не следует представлять себе, будто почвой для клеветы были одни лишь семейные неурядицы поэта или исключительно эти неурядицы. Дело касалось высших нравственных ценностей, любви, доброты, благоволения в людях. «Нет истины, где нет любви» — это правило, по справедливому замечанию А.Синявского, помимо прочего означало в устах Пушкина, что истинное познание достигается сердечным и умственным расположением, что любовь и нравственность — путь проникновения в природу сущего[9]. Поэзия Пушкина была проникнута духом любви. Залог бессмертия своей музы поэт видел в том, что его лира пробуждала добрые чувства.

На глазах у современников происходило рождение русского литературного языка и новой русской культуры, обогатившей мировую культуру. Но мало кто догадывался о значении творчества Пушкина для будущего России.

В письме Вяземскому из ссылки (ноябрь 1825 г.) Пушкин четко заявил себя противником мемуарных откровений в духе Жан-Жака Руссо. Гораздо ближе Пушкину был Байрон. Говоря о великом английском поэте, Александр Сергеевич, несомненно, имел в виду и себя, свой жизненный опыт[10]. Сходство в судьбах и думах глубоко волновало поэта, о чем он не преминул сказать В.Ф.Вяземской. В письме к ней П.А.Вяземский в 1830 г. писал: «Следовательно, у вас есть записки Байрона или о Байроне. Ты пишешь, что и у Пушкина сердце сжимается от сходства»[11].

В 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «Зачем жалеть о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии»[12].

Как и у Байрона, в сочинениях Пушкина исповедь звучала мощным хоралом. Вот одно из его стихотворений-исповедей.

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь,
И горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Рассуждая о Байроне, поэт отметил: «В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо, — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением»[13].

Исповедь открывает внутренний мир поэта толпе, но суд толпы ведет к торжеству клеветы и злобы. «Толпа жадно читает исповеди, записки etc. потому, что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе»[14].

Шли годы. Поэт вернулся из ссылки в Петербург. Даже недоброжелатели должны были признать за ним поэтический дар гения. Его возможности влиять на мнение общества увеличились.

К 1830 г. поэт пришел к мысли, что духовные наставники общества могут пренебречь судом толпы, но не судом общества. В заметке «Опровержение на критику» он оспаривал как поверхностное мнение, будто критику или читателю нет дела до личных пристрастий и частной жизни поэта, до того, «хорош ли я (писатель. — *Р.С.*) собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты и тому под[обное]»[15]. Уточняя свою мысль, Пушкин писал: «Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц (hommes publics), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ»[16]. Поэт четко сознает, что в цивилизованном обществе формирование общественного мнения невозможно без гласных прений о действиях общественных деятелей, прений, не исключающих обсуждение их частной жизни. Собственная жизнь Пушкина давно стала предметом вымыслов, нередко грубых и плебейских. Избавить от них не в состоянии ничто, кроме гласных прений, определяющих мнение общества.

События 1836 года убедили Пушкина в том, что применительно к России роль общественного мнения не следует преувеличивать. 19 октября

1836 г. в письме П.Я.Чаадаеву он писал: «...нужно признаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние»[17].

Слава Пушкина доставила ему исключительное положение в русском обществе. Царь должен был признать его умнейшим человеком России. С суждениями поэта считался свет. И все-таки Пушкин болезненно ощущал свою беззащитность перед судом толпы. Причиной тому было отсутствие общественного мнения, законодателя «высоко образованных обществ».

Жизнь при дворе

Неверно было бы думать, что именно пожалование в камер-юнкеры ввело поэта в высший аристократический круг. Пушкин приобщился к этому кругу много раньше благодаря таланту и известности. Сохранилась роспись лиц 1829 г., которым Пушкин разослал поздравления к Новому году. Удивительно, что в ней отсутствуют имена ближайших друзей. Судя по обозначению улиц, слуга Пушкина должен был разнести визитные карточки на территории между Дворцовой и Английской набережной, императорской библиотекой на Садовой, между Большой Морской и Подьяческой, то есть в центре города[1]. Жуковский жил в Царском Селе, Вяземские, как можно установить, — в Москве, А.И.Тургенев — за рубежом. Посыльный поэта не мог доставить поздравления им, а также и московским друзьям Соболевскому, Гончаровым и Ушаковым, приятельницам в Тригорском, знакомым в Кишиневе и Одессе[2].

Наибольшее число поздравлений выпало на долю Карамзиных. Две карточки предназначались Екатерине Андреевне и ее падчерице Софье и две — ее дочери княгине Е.Н.Мещерской с мужем. Сыновьям Карамзиной было 14-15 лет, и их поэт обошел вниманием.

Несколько визиток получили Элиза Хитрово-Кутузова с дочерью Екатериной и другая ее дочь — Долли Фикельмон с мужем.

Поэт написал, а затем вычеркнул фамилию «Оленин». После разрыва с невестой Аннет Олениной он, по-видимому, старался сохранить дружеские отношения с ее отцом.

Пушкин почтил вниманием И.И.Мартынова, лицейского учителя российской и латинской словесности, а также директора Лицея Е.А.Энгельгарда, двух сестер-старух Константиновых, внучек Ломоносова, светского знакомого графа Лаваля.

В перечне можно обнаружить лиц, с которыми поэт намеревался основать новую газету. Главную роль в ней должны были играть А.А.Дельвиг и П.А.Вяземский. Имя первого было написано, а затем зачеркнуто в росписи. Видимо, поэт ждал Дельвига из Москвы, но тот не приехал[3].

Среди других поздравления получили поэт и критик П.А.Плетнев, писатели князь В.Ф.Одоевский, П.С.Молчанов (слепец), В.П.Титов, баснописец И.А.Крылов, поэты Н.И.Гнедич и А.А.Плещеев.

Пушкин поздравил послов: австрийского — К.Фикельмона, французского — Мортемара (с секретарем посольства Лагрене), английского — Хейтс-

бэри, неаполитанского — графа де Людольфа и испанского — де ла Кадена.

Среди придворных лиц выделялся Нарышкин. Издатель росписи М.Цявловский ограничился замечанием, что его едва ли можно отождествить со Львом Нарышкиным. В самом деле, последний в 1829 г. находился с женой в Одессе. В столице находился его брат Кирилл, известный острослов. Его имя фигурирует в дневниках поэта. Обер-гофмейстер Кирилл Александрович Нарышкин занимал видное положение при дворе. Братья Нарышкины доводились племянниками Нарышкину, упомянутому в пасквиле в чине магистра ордена Рогоносцев.

Из других царедворцев в реестре названы флигель-адьютант Василий Алексеевич Перовский и его брат писатель Алексей (внебрачные дети графа Алексея Разумовского), гофмейстер граф Иван Мусин-Пушкин (вопреки мнению М.Цявловского, Мусина нельзя идентифицировать с капитаном Владимиром Мусиным, который в 1829 г. был отослан на службу в Тифлис, а затем уволен с обязательством жить в Москве), граф Александр Дмитриевич Гурьев (родной брат графини Нессельроде, знакомый Пушкину по Одессе, где был градоначальником).

Итак, мир поэта и до камер-юнкерства был дипломатическим и аристократическим миром[4]. Придворная карьера Пушкина началась в тот момент, когда царь соблаговолил стать его цензором. Его знакомства искали члены императорской фамилии. Через Элизу Хитрово брат царя великий князь Михаил Павлович передал, что весьма желает иметь с Пушкиным продолжительный разговор[5]. Пушкина стали приглашать на сугубо семейные праздники в Зимний дворец. Сохранилась памятка от 8 ноября 1832 г., писанная его рукой, о дне и часе церемонии крестин новорожденного сына Николая I Михаила[6].

Проведя несколько лет при дворе, Пушкин занял свое, совершенно особое, место в круге высшей столичной аристократии и дипломатов. Низший чин камер-юнкера никак не соответствовал реальному положению поэта при дворе. Адам Мицкевич, близко наблюдавший столичные круги, писал: «Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений»[7]. После кончины поэта на его панихиду явился весь дипломатический корпус в полном составе. (Исключение составляли прусский посол, ненавистник либералов, и два посланника, которые были больны). Характерно, что многие образованные дипломаты из Европы понимали значение Пушкина для России лучше, чем высшие сановники империи.

Жизнь при дворе — в обществе высшей знати — требовала больших трат. Роскошные дамские туалеты, экипажи, лошади, форейторы, квартира в княжеском особняке подле Зимнего дворца — такими были необходимые атрибуты придворной жизни.

В 1834 г. Пушкины сняли квартиру в доме Баташева за 6 000 руб., но 1 мая 1836 г. переехали из бельэтажа на третий этаж, в квартиру из 20 жилых помещений за 4 000 руб. в год. С 1 сентября 1836 г. семья поселилась в доме княгини Волконской, где наняла квартиру за 4300 руб. в год[8]. Последний взнос в размере 1075 рублей Пушкины не смогли заплатить[9].

Барский дом немыслим был без прислуги. У Пушкиных были четыре горничных, две няни, две кормилицы, мужская прислуга[10].

Невзирая на безденежье, Пушкину пришлось в 1836 г. потратить более 4000 рублей на новый экипаж[11]. Сестры Гончаровы выписали из имения Гончаровых породистых лошадей.

В начале лета 1834 г. мать Пушкина писала, что ее невестка «хочет взять дачу на Черной речке, ехать же подалее, как желал бы ее Муж, она не хочет»[12]. Плата за дачу зависела от того, сколь далеко она находилась от города. Пушкин настаивал на том, чтобы нанять дачу подешевле. Но Натали не послушала его. В 1835 г. семья сняла дачу на Черной речке. Год спустя жена приискала и дачу на Каменном острове, где селилась аристократия. А.Н.Вульф писала матери из Петербурга, что Наталья Пушкина «на будущие барыши наняла дачу на Каменном острове вдвое дороже прошлогоднего». В ожидании прибавления семейства Пушкины заняли два двухэтажных домика с полутора десятками комнат[13].

Образ жизни Пушкиных вызывал зависть и осуждение в свете. Говорили, что Александр и Ольга — плохие дети, так как не помогают родителям. «...Отец, — писала Ольга Сергеевна, — только и делает, что жалуется, плачет и вздыхает перед каждым встречным». В защиту поэта выступила одна Екатерина Карамзина. Сергея Львовича Пушкина сравнивали с отцом Горио. «Да, — отвечала Карамзина, — с той разницей, что Горио все отдал своим детям, а этот один растратил все свое добро»[14]. В самом деле, отец поэта умудрился промотать все свое имущество, разорил родовые имения и в конце жизни почти впал в нищету. Однако молва осуждала не родителей, а детей. Нападкам подвергались траты и наряды Натальи Николаевны: «...возмущаются, — писала Ольга Сергеевна в ноябре 1835 г., — зачем у нее ложа в театре и зачем она так элегантна, когда родители мужа в таком тяжелом положении, — словом, находят очень пикантным ее бранить»[15].

26 октября 1835 г. Пушкин с горечью пересказал Осиповой городские сплетни, касавшися Натали. «Повсюду говорят: это ужасно, что она так наряжается, в то время как ее свекру и свекрови есть нечего... хотя жизнь — и süsse Gewohnheit [сладкая привычка], однако в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной, а свет — мерзкая куча грязи»[16]. Поэт защищал жену и как глава семьи всю ответственность за финансовые трудности фамилии брал на себя. «...Натали тут ни при чем, и отвечать за нее должен я...» — так комментировал он нападки света.

Жена считала себя вправе вмешиваться в расчеты мужа с издателями. Однажды поэт условился со Смирдиным о гонораре в 50 рублей, объявив при этом, что тот должен заплатить золотом, потому что «супруга, кроме золота, не желала брать денег в руки». Когда книгоиздатель явился на Мойку, Александр Сергеевич сказал ему, что рукопись забрала к себе жена, желающая с ним говорить. Наталья Николаевна решительно потребовала за рукопись вместо 50 — 100 золотых и не желала уступить ни рубля. Муж, смеясь, пояснил Смирдину, что жене понадобилось новое бальное платье, и пообещал, что впредь сочтется с ним[17].

В 1836 г. Наталья Николаевна стала хлопотать, чтобы владелец майората Дмитрий Гончаров выделил ей такое же содержание, какое получали сестры Екатерина и Александрина. Ее старания принесли некоторый ре-

зультат. Из гончаровских доходов на 1836 г. она получила 1210 рублей[18].

Обращаясь с просьбой к брату, Наталья ссылалась на расходы по воспитанию детей. Муж судил более трезво. Без всяких недомолвок он писал по поводу ее ходатайства: «Новое твое распоряжение, касательно твоих доходов, касается тебя, делай как хочешь; хоть кажется лучше иметь дело с Дм.Ник., чем с Нат.Ив. Это я говорю только dans l'interest de Mr Durier et Mde Sihler [в интересах мсье Дюрье и мадам Сихлер]; а мне все равно»[19]. Пушкин не сомневался, что полученные от Д.Н.Гончарова деньги будут истрачены на наряды и достанутся владельцам модных лавок Дюрье и Сихлер.

Эти достоверные факты опровергают ставшее привычным представление, будто наряды жены не были обременительны для семейного бюджета, поскольку оплачивала их преимущественно богатая тетка Загряжская. К началу 1837 г. Пушкины остались должны мадам Сихлер 3500 рублей и еще одному владельцу модного магазина Плинке — 2015 рублей[20].

Чтобы сохранить реноме первой красавицы столицы, Пушкина должна была обновлять гардероб. Денег не было, и 30 декабря 1836 г. она впервые заняла у ростовщика В.Г.Юрьева деньги (3 900 руб.) на свое имя[21]. Зная щепетильность Пушкина, трудно предположить, чтобы она сделала это с ведома мужа. Скорее всего, то был тайный заем, с помощью которого Натали пыталась скрыть от света полное обнищание семьи.

Пушкин сам вынужден был занять у ростовщика Юрьева 10 000 рублей под большие проценты. Его заемное письмо датировано 19 сентября 1836 г. Через три месяца к тому же ростовщику обратилась жена поэта. Семья предпринимала отчаянные усилия, чтобы освободиться из сетей ростовщика. Сохранилось письмо Пушкина к домовладелице Любови Алымовой: «Покорнейше прошу дозволить г-ну Юрьеву взять со двора вашего статую медную, там находящуюся»[22]. В доме Алымовых семья поэта проживала в 1832 г. Громоздкая статуя Екатерины II была доставлена в столицу из Полотняного Завода. Гончаровы надеялись выручить за нее крупную сумму. Но продать ее в казну не удалось, и Пушкины, съехав из дома, бросили статую во дворе. Пушкин предложил ростовщику статую в оплату своего долга, а, может быть, также и долга жены. Судя по письму, сделка была заключена, но выполнить уговор стороны не успели.

В поисках денег поэт обращался к случайным лицам. Тамбовский помещик и картежный игрок Скобельцын явился к Вяземским с объявлением, что бросил степь и прибыл в столицу, чтобы выразить восторг перед поэтическими произведениями Пушкина и Петра Вяземского. Из последующих бесед выяснилось, что литературные сюжеты были чужды ему и что он вообще ничего не читал. 8 января 1837 г. Пушкин просил Скобельцына дать взаймы на три месяца или достать ему три тысячи рублей. Игрок остался глух к его просьбе[23].

Пушкин заложил фамильное серебро, шали жены, драгоценности, серебро из приданого Александрины. Перед дуэлью ему, кажется, пришлось расстаться с шинелью, которая перешла в руки кредитора книготорговца Ивана Лисенкова[24].

В трудной ситуации поэта выручали деньги друзей. Как следует из дел Опеки, на начало 1837 г. Пушкин остался должен Виельгорскому 1500 руб., П.А.Осиповой — 2000, Карамзиной — 3000 рублей[25]. Семья Вя-

земских располагала приличными доходами, но среди кредиторов Пушкина Вяземских не было. Не имея денег, С.А.Соболевский оставил другу столовое серебро, которое тот заложил за 7000 руб.[26] Долг поэта московскому приятелю П.В.Нащокину составил 3000 руб.[27] 1 июня 1836 г. Пушкин занял по двум заемным письмам у своего троюродного дяди князя Н.Н.Оболенского 8000 руб. под проценты. Поэт был должен книготорговцам и издателям Беллизару и Плюшару, владельцам лавок и погребов.

К июлю 1835 г. Пушкин был обременен долгом в 60 000 руб., из которых 20 000 приходились на долю казенного займа. В начале августа он получил из казны еще 30 000 руб. В письме министру Канкрину от 6 ноября 1836 г.поэт упомянул, что его казенный долг (без залога имения) исчисляется 45 000 руб., из которых 25 000 он должен был уплатить в течение пяти лет[28].

Сразу после вызова Дантеса на дуэль Пушкин задумал уладить дела с казенными ссудами и в письме к министру Канкрину предложил взять в казну его вотчину село Кистеневка для погашения долгов[29]. Был ли демарш Пушкина связан с намеком на связь Николая I с Натали? Заключал ли в себе пасквиль 4 ноября такой намек? Ответить на эти вопросы трудно. Но скорее всего светские шутники понимали, что любой намек на похождения Николая I может разом покончить с их карьерой и благополучием. В 1836 г. злобой дня были ухаживания Дантеса за Натальей. Этой теме и посвящен был пасквиль[30].

Поединок мог кончиться гибелью поэта или же смертью Дантеса. В любом случае дуэль была уголовно наказуемым преступлением. Утрата милости царя и суд превращали Пушкина в рядового должника. Закон грозил злостным неплательщикам серьезными неприятностями.

После смерти поэта была учреждена «Опека над детьми и имуществом Пушкина». По оценке Опеки, Пушкин остался должен казне 43 333 рубля, частным лицам — 92 500 рублей. В целом пушкинские долги исчислялись 135 833 рублями[31].

Деньги, полученные поэтом от казны, не следует ставить в один ряд с прочими долгами. Их можно рассматривать скорее как казенные субсидии. Субсидии включали обязательства, связанные с выплатой процентов и возвратом основного долга. Однако поэт получил много доказательств того, что казна готова предоставить ему длительные рассрочки, отказаться от взыскания процентов и пр. Все зависело от милости императора. Но, помимо всего прочего, монарх должен был считаться с общественным мнением. Во все времена искусство не могло существовать без поддержки государства. Царства лишались славы мира, воздвигая гонения на художников и творцов.

Зависимость от правительства воспринималась Пушкиным как бедствие. И тем не менее он находил возможным черпать из казны, как сделал дважды, в 1834 и 1835 гг. Проблема заключалась в том, чтобы не поступиться собственным достоинством. За полтора последних года долг поэта казне не вырос, зато частные долги превысили 90 000 руб. Кредиторами были друзья или добрые приятели поэта, в большинстве не требовавшие даже долговых расписок, а тем более процентов. Самыми рискованными

были займы, полученные от ростовщиков под большие проценты. Таких долгов было не так уж и много.

Со временем Пушкин должен был получить значительные прибыли от издания «Современника». Семья имела право на долю в гончаровских имениях и доходах[32].

Чем больше сеть долгов опутывала дом Пушкиных, тем стремительнее росли траты. И все же преувеличивать значение финансовых трудностей в трагедии Пушкина не следует. Долгами жила добрая половина благородного российского шляхетства. Но в отличие от мотов-дворян поэт всю свою жизнь добывал себе средства к существованию изнурительным трудом. Этот факт непреложен.

Однажды Пушкину пришлось выслушать замечание богача гусара графа Василия Завадовского по поводу туго набитого бумажника. «Да ведь я богаче вас, — возразил поэт, — вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревни, а у меня доход постоянный с тридцати шести букв русской азбуки»[33].

Сочинения, написанные Пушкиным в течение жизни, могли составить целую библиотеку. Его литературное наследие было необозримо, и доходы от одних только переизданий гарантировали солидный доход. За месяц до дуэли один из крупнейших книготорговцев России Адолф Плюшар заключил соглашение с поэтом о публикации его стихов. Однотомник должен был выйти крупным тиражом в 2500 экземпляров. Издатель выговорил себе всего 15 проценов, львиная доля дохода шла стихотворцу[34]. Плюшар был хорошо осведомлен о рыночной конъюнктуре.

Первое Полное собрание сочинений Пушкина в 11 томах было издано после гибели поэта. Опека установила тираж в 10 000, но затем увеличила его до 13 000 экземпляров. Уже к ноябрю 1838 г. подписка принесла 262 000 рублей дохода. Эта сумма вдвое превысила сумму всех долгов Пушкина! Деньги пошли в пользу вдовы и детей. Разошлось 7000 экземпляров, что для русского книжного рынка было огромным успехом[35].

В декабре 1836 г. Пушкин написал письмо французскому послу, литератору Баранту с изложением своих мыслей по поводу авторских прав в России. Поэт не терял надежду на то, что его сочинения обеспечат средства к жизни его семье. Одновременно он выражал тревогу по поводу отсутствия законодательства на этот счет: «В законе нет никаких условий относительно посмертных произведений. Законные наследники должны были бы обладать полным правом собственности на них, со всеми преимуществами самого автора»[36].

Пушкин был полон сил и все еще пользовался славой. Его появление в общественных местах было событием. Например, в университетских аудиториях студенты теснились к знаменитости и жадно внимали его речам. 27 сентября 1832 г. Пушкин известил жену о предстоящем посещении лекции московского профессора, прибавив при этом: «Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие»[37]. Университет был храмом науки. Что касается праздных зевак на улицах, их внимание стесняло и сердило Пушкина.

19 апреля 1836 г. была издана и одновременно поставлена на сцене Александринского театра комедия Н.В.Гоголя «Ревизор». Согласно на-

чальной редакции пьесы, Хлестаков должен был произнести такой монолог: «Литераторов часто вижу, а как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора берегут [какова при дворе даже нет], — потом уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник [один начальник Отделения] с ума сошел, когда прочитал». Эпизод с Пушкиным был вычеркнут автором перед представлением текста в цензуру. В позднейшей редакции монолог получил окончательную форму: «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну, что, брат Пушкин" — "Да так, брат, отвечает бывало, — так как-то все..." Большой оригинал»[38]. Еще при жизни Пушкин становился героем литературных произведений, анекдотов и фольклора.

Часть IV

ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ

Ложное положение

В январе 1837 г. Александрина несколько раз посетила дом сестры Екатерины. Хотя жена Дантеса старалась уверить всех, что она «самая счастливая женщина на земле», Александрина видела, что это не так. «Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия, — писала Гончарова брату, — она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни: более спокойна, но мне кажется, скорее печальна иногда... она старается ввести меня в заблуждение... ничего от меня не скроется»[1]. В самом деле, положение Екатерины в доме Геккернов было двусмысленным и более того — ложным. Братья не присылали денег, обещанных Дантесу при помолвке. Баронесса оказалась в положении бедной и нелюбимой жены.

В своих «Конспективных заметках» Жуковский так охарактеризовал взаимоотношения внутри семьи молодых Геккернов:

«После свадьбы (Дантеса и Гончаровой. — *Р.С.*). Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной.

При тетке ласка (Дантеса. — *Р.С.*) с женой; при Александрине... brusqueries (грубости. — *Р.С.*). Дома же веселость и большое согласие (между Жоржем и Катериной. — *Р.С.*).

История кровати.

Le gaillard tire bien (Балагур метит хорошо. — *Р.С.*).

Vous m avez porte bonheur (Вы принесли мне счастье». — *Р.С.*)[2].

Первая фраза посвящена Жоржу. Дома он старательно разыгрывал роль счастливого супруга. Заметка о балагуре также имела в виду Дантеса. Современники неоднократно называли кавалергарда балагуром.

Следующее предложение не поддается прочтению. Первое и последнее слова «Le gaillard ...(пропуск в автографе) ...tres bien». И.Боричевский предложил чтение не Tres bien — очень хорошо, а Tire bien — метит хорошо»[3].

Я.Л.Левкович полагает, что слова «Вы принесли мне счастье» принадлежали Пушкину и были обращены к Дантесу: «Его пошлые остроты, казарменный тон отвратили от него жену поэта и потому “принесли счастье” Пушкину»[4]. Однако такое толкование кажется искусственным. Жуковский первым поверил в «материальные доказательства» Геккернов и вместе с тем в серьезность намерений француза в отношении Гончаровой. Именно он больше всех способствовал сватовству поручика. Жорж имел

все основания сказать ему: «Вы принесли мне счастье». Фраза доказывает, что Жуковский сохранял добрые отношения с Дантесом до самой дуэли.

В «Конспективных заметках» Жуковский обронил загадочную фразу «История кровати». В ней исследователи увидели намек на сплетню об отношениях Пушкина и его свояченицы Александрины[5]. Такое истолкование текста более чем сомнительно.

Если анализировать фразу «История кровати» в контексте документа, она теряет всякую двусмысленность. Жуковский повествует о Дантесе и Екатерине. «История кровати» — это их история. Слова Жуковского находят прямую аналогию в письме Александра Карамзина. Он писал о Катерине Геккерн-Гончаровой: « ...та, которая так долго играла роль сводни (в романе Дантеса и Натали. — *Р.С.*), стала в свою очередь любовницей (Дантеса. — *Р.С.*), а затем и (его. — *Р.С.*) супругой»[6].

Сами Геккерны ославили девицу Екатерину Гончарову. Спешить с браком заставляла ее мнимая беременность. Свадьба не прекратила сплетен. Общество ждало, когда в семье кавалергарда появится ребенок.

Понадобилось некоторое время, прежде чем Пушкин осознал, сколь неблаговидную роль играла во всей истории Екатерина, принявшая сторону Геккернов. Гончарова забыла о благодеяниях сестры Натальи и ее мужа, взявших ее в свой дом.

Вспышки гнева Пушкина делали его беззащитным против сплетен и клеветы. Отдаваясь чувству раздражения, поэт, по словам Александра Карамзина, даже не пытался взять себя в руки, но «сделал весь город и полные народа гостиные поверенными своего гнева и ненависти»[7]. Он не уставал рассказывать о поведении Дантеса и подлинных обстоятельствах его брака. Анна Николаевна Вульф писала из Петербурга сестре в провинцию: «Про свадьбу Гончаровой так много разного рассказывают»[8]. Полагают, что молва была невыносима для поэта. Но в еще большей мере она была оскорбительна для Дантеса и его жены.

После гибели поэта его друзья подчеркивали, что свадьба с Екатериной не помешала кавалергарду возобновить дерзкие ухаживания за Пушкиной. В показаниях перед военным судом Данзас утверждал: «Гг. Геккерны даже после свадьбы не переставали дерзким обращением с женою его (Пушкина. — *Р.С.*)... давать повод к усилению мнения, поносительного для его чести и чести его жены»[9]. Оценивая показание Данзаса, следует иметь в виду, во-первых, что он не посещал салоны, где встречались Пушкины и Дантес, и, во-вторых, что на суде он старался доказать, будто кавалергард сам спровоцировал дуэль.

Слова о наглом поведении француза внушают сомнения. В дневниках и записках современников можно уловить преимущественно жадное любопытство к происшествию в семье поэта. Фрейлина Мэри Мердер тотчас после бала у Фикельмон 21 января сделала подробную запись в своем дневнике, касавшуюся Дантеса и Натали: «...о любви Дантеса известно всем, ее якобы видят все. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взором за тем углом, где находилась она (Пушкина. — *Р.С.*). Очевидно, что он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы... рискнуть появиться с нею среди танцующих»[10]. Кавалергард даже не танцевал с Пушкиной, не подходил к ней близко и не говорил со свояченицей. Он смотрел в сторону Натали, и этого достаточно, чтобы сделать вывод о

том, что Жорж не танцует из-за слишком большой влюбленности и пр. Между прочим, фрейлина, по ее собственному признанию, была «слишком близорука».

Мердер не скрывала вражды к поэту: «Минуту спустя я заметила проходившего Пушкина (стоит на него взглянуть, чтобы убедиться, что он ревнив, как дьявол). Какое чудовище (Quel monstre)! Я подумала, если бы можно соединить госпожу Пушкину с д' Антесом, какая прелестная вышла бы пара»[11].

Такие разговоры велись во многих салонах. 28 декабря 1836 г. Софи Карамзина старательно наблюдала за Дантесом и Натали, встретившимися на вечере у Мещерских. На другой день она писала брату в Париж, о том, что снова (как и прежде), Дантес, стоя против Натали, «устремляет к ней долгие взгляды»[12]. Вновь речь шла о взорах, как в лучших сентиментальных романах.

По словам Александрины Гончаровой-Фризенгоф, на балах Дантес мало говорил с Натали, но находился постоянно вблизи и по обыкновению бросал на нее долгие взгляды[13].

Долли Фикельмон обладала проницательностью и видела гораздо больше, чем приглашенные в ее дом Мэри Мердер или Софи Карамзина. Но Долли ограничилась кратким суждением: «Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования»[14]. В чем состояли эти приемы, графиня не уточнила. Но она все же пояснила, что сплетни по поводу взаимоотношений поручика и Пушкиной распространились по всему городу: «Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невиновности госпожи Пушкиной». Но в десятке столичных кругов, где были друзья Пушкина, его сотрудники и, наконец, его читатели, говорили, что Пушкина виновна, и «бросали в нее каменья»[15]. Быть может, самым поразительным в дневниковой записи Долли было свидетельство о том, что Пушкину осуждал не большой свет, а наиболее близкий к поэту круг лиц, включавший его друзей-писателей и читающую публику.

Среди свидетелей трагедии Жуковский бесспорно выделялся своей объективностью. Он старался извлечь из разговоров с очевидцами любые подробности, которые позволили бы воссоздать происшедшее с полной достоверностью. Но даже Жуковский не мог противостоять давлению «общего мнения». В одном из черновиков он писал о поединке: «Пушкин... потерял голову... С его стороны было одно бешенство обезу[мевшей?] ревности»[16]. В отличие от многих, Жуковский попытался найти бесспорные факты, подтверждающие его слова по поводу ревности Пушкина. В последнем Конспекте он старательно записал все, что ему удалось узнать о вызывающем поведении Дантеса. При тетке Загряжской, отметил он, поручик обращался с супругой Екатериной Геккерн ласково, дома играл роль любящего супруга; при Пушкиной напускал на себя мрачный вид, а при Александрине был груб с женой в расчете на то, что та все расскажет Наталье. Данные такого рода, конечно же, невозможно было представить в суд. Но никаких других материалов, компрометирующих поведение Дантеса после свадьбы, Жуковскому найти не удалось.

21 января 1837 г. девица Мердер танцевала на балу у Фикельмон и была свидетельницей оживленного разговора пожилой дамы с Дантесом. Дама

ставила ему в упрек экзальтированность поведения: «Действительно, жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую, в качестве сестры своей жены... Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем... и что ходящие слухи неосновательны»[17]. Кавалергард действительно старался доказать свету, что его привязывают к госпоже Пушкиной платонические, родственные чувства, что он любит ее в качестве жены сестры. Верить этому было трудно.

В мелких ухищрениях поручика трудно усмотреть доказательства того, что он пытался — после пережитого скандала и поношения — вновь завоевать благосклонность Пушкиной и соблазнить ее. Скорее всего, он старался убедить публику в том, что остался верен своей привязанности к Наталье и не изменил великой страсти. Поведение поручика можно было назвать плутовским, но ничего дерзкого в нем не было.

Мотивы двусмысленного поведении Дантеса не были секретом для современников.

Женившись на Екатерине под дулом пистолета, Дантес спас свою карьеру, но опозорил себя в глазах света. Пушкин торжествовал. Гвардейцу же пришлось хлопотать о восстановлении своей чести. Будучи дипломатом, барон Геккерн подсказал сыну линию поведения.

По словам очевидцев, Дантес охотно рассказывал всем, кто хотел его слушать, что он «женился, чтобы спасти честь сестры жены от оскорбительной клеветы»[18]. Один из слушателей Жоржа, Александр Карамзин, признался позднее: «Он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига»; «я поверил его преданности госпоже П., его любви к Екатерине Г., всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым»[19].

Поручик никогда не щадил чувств Натальи. Он нисколько не заботился о том, что его поступки причинят страдания и муки возлюбленной. После женитьбы на Екатерине он взялся исполнить роль рыцаря без страха и упрека, которого заботит одно — честь Натали Пушкиной. Это обстоятельство давало ключ ко всему его поведению.

Галантность кавалергарда вновь оказалась в центре внимания света. После свадьбы часть общества, отметил Вяземский, захотела усмотреть в поступке кавалергарда «подвиг высокого самоотверженья ради спасения чести г-жи Пушкиной»[20].

Вяземский нисколько не преувеличивал. Свет восхищался самоотверженностью поручика. Приятель Пушкина граф Владимир Соллогуб писал о Дантесе: «Он пожертвовал собой, чтоб избегнуть поединка. В этом нет сомнения»[21]. Мердер записала в своем дневнике: «Он пожертвовал собой, чтобы спасти ее честь»; «если Дантесу не оставалось иного средства спасти репутацию той, которую он любил, то как же не сказать, что он поступил великодушно?!»[22] Анекдоты о Пушкине стали излюбленной темой светской болтовни уже при его жизни. По возвращении с бала 22 января фрейлина Мердер записала в дневник только что услышанный анекдот о том, как поэт вернулся домой и застал Дантеса наедине с женой и пр.[23]

Скандал в семье поэта повлек за собой оживление анекдотов, сплетен и клеветы. Именно это более всего раздражало Пушкина, лишало необходимого для работы душевного спокойствия.

Роман Дантеса имел несчастливый конец. Грязь и посрамления не ос-

тавили места для романтических чувств. Кавалергард не мог простить красавице того, что она отвергла его во время тайного свидания, а затем передала мужу его любовные письма. Все это было воспринято им как предательство. Грязные сплетни о соблазнении девицы Гончаровой запятнали репутацию офицера. Скандал поставил под удар карьеру эмигранта. Некогда офицер называл Пушкину прекрасным ангелом, теперь — кривлякой.

В свою очередь, Наталья не могла простить Дантесу его многократные измены. Уверяя ее в своей любви, он затеял сватовство к Марии Барятинской, а затем сделал предложение самой Наталье, взятое назад через несколько дней. Офицер соблазнил сестру Пушкиной. Скрыть это не удалось, так как, по уверениям Геккернов, девица забеременела. Финалом всей истории была свадьба Екатерины и Дантеса.

Флирт в гостиных допускал многие вольности. Тем не менее Дантес не решился открыто возобновить ухаживания за Пушкиной. Своими уловками и ухищрениями он старался не столько смутить спокойствие Пушкиной, сколько представить свое поведение безупречным. По замечанию Пушкина, Дантес вел себя как плут[24]. Невозможность избавиться от общества новоявленных родственников лишала покоя, раздражала поэта. Вяземский понял, хотя и слишком поздно, источник его мучений. Александр Сергеевич увидел, что брак, к которому он понудил Дантеса, «не избавлял его (Пушкина. — *Р.С.*) окончательно от ложного положения, в котором он очутился. Молодой Геккерн продолжал стоять, в глазах общества, между ним и его женой и бросал на обоих тень, невыносимую для щепетильности Пушкина. Это был призрак... Городские сплетни возобновились»[25].

Незадолго до дуэли Николай I имел разговор с Натальей Николаевной «о комеражах (пересудах, сплетнях), которым ее красота подвергает ее в обществе». Император счел нужным подать ей совет «быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию сколь для нее самой, столько и для счастья мужа при известной его ревности»[26]. Слова царя, как полагала Анна Ахматова, означали, что жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично. «В какую бы форму ни облек царь свои "советы", — пишет С.Л.Абрамович, — то, что он обратился к Н.Н.Пушкиной с замечаниями по поводу ее репутации, было ужасно»[27].

Чтобы верно истолковать фразу Николая I, надо иметь в виду, что он сам ухаживал за Пушкиной, а затем принял участие в судьбе Екатерины Гончаровой. Без его вмешательства брак Дантеса едва ли мог состояться. Император поневоле оказался втянут в семейные дела поэта, и в его обращении к Наталье не было и намека на скандал. Государь предостерег красавицу насчет возобновившихся сплетен и посоветовал ей вести себя осторожнее.

Пушкина не могла не встречаться с Дантесом в дружеских домах и в большом свете. Уже после катастрофы друзья поэта сетовали на то, что Натали не удалилась от света, что она должна была сделать ради спасения мужа. Но советы подобного рода были запоздалыми. После свадьбы поручика, писал П.А.Вяземский в письме от 14 февраля 1837 г., городские сплетни возобновились: Натали должна была удалиться от света, но «у нее не хватило характера и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с Дантесом, как и до его свадьбы: тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности»[28]. В словах о восстанов-

лении прежних отношений между Натали и Дантесом можно усмотреть большое преувеличение.

Е.Н.Мещерская-Карамзина, принадлежавшая к близкому окружению Пушкина, писала о Натали: «Собственно говоря, она виновна только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которой она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина»[29].

Наталья желала сохранить добрые отношения со старшей сестрой, к которой была привязана с детства. Это раздражало Пушкина. Ее попытки установить родственные отношения с семьей сестры вызывали его бешенство. Сталкиваясь с непониманием близких и друзей, глава семьи все чаще терял терпение, и тогда Наталье приходилось выслушивать резкие слова.

16 января гости собрались у Пушкиных. Именно в этот день произошло объяснение между зятем Вяземских двадцатидвухлетним Валуевым и Пушкиной, записанное со слов Валуевых Дантесом. На замечание Валуева, как она позволяет мужу обращаться с нею таким образом, Пушкина будто бы ответила: «Я знаю, что я виновата, я должна была бы его (мужа. — *Р.С.*) оттолкнуть, потому что каждый раз, когда он обращается ко мне, меня охватывает дрожь»[30]. Дантес узнал о содержании разговора не от Валуева, а от его жены. Кавалергард не ручался, что Валуев подтвердит его рассказ, так как лица, к которым он отсылал судей, от него отвернулись. Желая представить Пушкина ревнивцем, поручик завершил свое показание словами: «В конце концов он (Пушкин) совершенно добился того, что его стали бояться все дамы»[31].

Отношения между родственными семьями Пушкина и Дантеса становились все более натянутыми.

14 января Пушкины и Геккерны встретились на вечере у французского посла Проспера Баранта. Поэт, давно не видевший свояченицы, улучил момент, когда сестры были рядом, подсел к ним и сказал: «Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете».

В разгар бала Пушкин предложил Екатерине выпить за его здоровье. Баронесса не забыла о ноябрьской дуэльной истории. Опасность дуэли не исчезла. Тост показался ей двусмысленным, и она отказалась пить за здоровье поэта. Неожиданный отказ вызвал у Пушкина вспышку гнева. Он повторно предложил свой тост, а после нового отказа якобы проговорил: «Берегитесь, я принесу Вам несчастье»[32]. Невозможно ручаться, что Дантес (вслед за Екатериной) точно передал слова убитого им человека. Во всяком случае беседа Катерины с Пушкиным приобрела в глазах Дантеса такое значение, что в феврале 1837 г. он счел необходимым воспроизвести ее в оправдательном письме председателю военного суда. Если бы в последние преддуэльные дни у офицера или его отца произошли какие-нибудь более крупные столкновения с Пушкиным, подсудимый непременно упомянул бы о них в указанном письме. Очевидно, ни столкновений, ни объяснений такого рода не было.

15 января Геккерны вновь оказались лицом к лицу с Пушкиными на «детском» вечере у Вяземских. По словам Дантеса, 15 января на балу у Вяземской «он себя вел обычно по отношению к обеим этим дамам», т.е. «каждый раз, когда он видел мою жену в обществе Madame Пушкиной, он

садился рядом с ней». Екатерина Геккерн старательно искала обстоятельства, которые могли бы смягчить вину ее мужа, отданного под суд. Это и определило содержание ее свидетельств. «Я только что узнал от моей жены, — писал подсудимый Дантес, — что в салоне Вяземской при дочери хозяйки Пушкин повторил угрозу, произнесенную накануне». Поэт будто бы сказал: «Берегитесь, Вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда тем, что приношу несчастье, когда хочу»[33].

Свидетельства, исходившие от друзей погибшего, были совсем иными. По словам Данзаса, «со свояченицей своей во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы с Дантесом»[34].

В действительности взаимоотношения поэта с Катериной не были идиллическими. Поэт не мог простить того, что Екатерина, забыв благодеяния, приняла участие в интригах голландского посла. В одном из черновиков он писал, обращаясь к Геккернам: «Вы играли вы трое такую роль... и наконец госпожа Геккерн»[35]. Говоря «вы трое», поэт объединял Геккерна-отца, Дантеса и Екатерину.

Посол Геккерн неустанно заботился о том, чтобы восстановить репутацию сына и склонить на свою сторону общественное мнение. 21 января 1837 г., записал Тургенев, он завтракал с д'Аршиаком, который прочел ему письмо Пушкина от 17 ноября 1836 г.[36] Из письма следовало, что Дантес намеревался жениться на мадмуазель Гончаровой после поединка и что отказ от дуэли исходил не от кавалергарда, а от Пушкина[37]. Будучи защищен родством с семьей Пушкина, офицер старался смыть пятно позора, бравируя не столько чувствами к Натали, сколько тем, что не боится никакой дуэли[38].

В кругу приятелей поручик не прочь был похвастать доблестью, готовностью к кровавому поединку. Согласно ранней записи воспоминаний Соллогуба, «он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ, в крепость, — куда угодно»[39]. Дантес вовсе не знал русского языка и ставил ни во что славу Пушкина. Будучи иностранным подданным и сыном посла, он не сомневался в своей полной безнаказанности.

Казарменный каламбур

За три дня до дуэли, 24 января, Пушкин благодарил императора за совет, поданный Наталье Николаевне на балу. В письме Булгакову от 22 января Вяземский отметил: «Бал у австрийского посла, но еще без царской фамилии»[1]. На другой день, 23 января, царь посетил бал у обер-церемониймейстера графа И.И.Воронцова-Дашкова. Возможно, что именно на этом вечере Николай I говорил с Натальей Николаевной по поводу ее поведения[2].

Воронцовы давали бал, «который двор (император) удостаивал, обычно, своим посещением» (Соллогуб). Присутствовавшая на балу графиня М.А.Мусина-Пушкина писала: «23 был бал у Воронцовых. Геккерн (Жорж. — *Р.С.*) следовал на нем за своей свояченицей, выступая в качестве ее визави в нескольких контрдансах»[3]. В письме к брату от 30 января Софи Карамзина описала происшествие в таких выражениях: «Считают, что на балу у Воронцовых в прошлую субботу раздражение Пушкина до-

шло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом»[4]. Софи не была на балу и все исказила. Пушкина танцевала старинный, манерный танец контрданс. Она не была партнершей Дантеса, а лишь иногда была его визави. Контрданс (кантриданс, деревенский танец) возник в Англии в XVII веке, а затем его стали танцевать по всей Европе. Самым распространенным видом контрданса была французская кадриль. В ней танцующие выстраивались в каре, шеренги, круг. Пары постоянно менялись местами, что вело к смене визави (напротив стоящей дамы)[5]. Вальс был танцем новомодным, и общество не вполне избавилось от сомнений в его пристойности.

Мать Софи, Екатерина Андреевна, пристрастно относившаяся к Наталье, подчеркивала, что поэт погиб из-за нескольких часов кокетства жены. Она имела в виду бал у Воронцовых. Обличая гнусную интригу Дантеса, Александр Карамзин писал брату: «...верно также и то, что он продолжал и после своей женитьбы ухаживать за госпожой Пушкиной, чему долго я не хотел верить, но, наконец, сдался перед явными доказательствами, которые получил позднее»[6]. Какие доказательства получил недавний друг Жоржа Александр Карамзин, сказать трудно.

Мусиной принадлежит первая версия «казарменного каламбура» Дантеса, произнесенного им во дворце Воронцовых. После танца Жорж будто бы пошел с Натали ужинать и прошел перед Пушкиным, отпуская шутки по адресу собственной жены Екатерины Геккерн, называя ее своей «законной». Несколько иначе ту же историю передают Вяземские. Жорж произнес фразу «Пойдем, моя законная», подавая руку жене на разъезде с одного бала. Эту фразу он произнес громко, чтобы услышал Пушкин[7].

Долли Фикельмон, все видевшая своими глазами, подчеркивала, что дело ограничивалось взглядами и намеками. «На одном балу, — писала она, — он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись»[8]. Свет «ужаснулся» после гибели Пушкина. Пока же общество упивалось пересудами.

Всего точнее слова Дантеса передала в своих воспоминаниях Вяземская. Пушкин сам рассказал ей о шутке француза. Дантес сказал, что у него был мозольный оператор, пользовавший Натали (и, очевидно, ее сестер), и прибавил: «Он мне сказал, что мозоль (игра французских слов «cor» [мозоль] и «corps» [тело]) госпожи Пушкиной гораздо красивее, чем у моей жены»[9]. В несколько иных словах ту же историю рассказал с чужих слов Соллогуб, в начале декабря уехавший в Москву. «После моего отъезда, — повествует беллетрист, — Дантес женился и был хорошим мужем», но, будучи человеком ветреным, он балагурил на бале у Воронцова и спросил Натали, «довольна ли она мозольным оператором, присланным ей его женой Екатериной. Мозольщик уверяет, добавил он, что у вас мозоль лучше, чем у моей жены»[10]. Пушкин узнал о словах Дантеса не только от жены. Александрина вспоминала, что каламбур был пересказан ему кем-то из светских знакомых «с разъяснениями»[11].

Жорж явно старался сделать комплимент Пушкиной. В кавалергардских казармах и у барышень шутки такого рода пользовались успехом. Может быть, каламбур Дантеса и не привлек бы внимания, если бы не молва о его связи с Натали. Шутка, произнесенная 23 января, была не столько непристойной, сколько неуместной.

Мог ли пустяковый каламбур стать поводом к дуэли? Такое предположение, если вдуматься в него, кажется сомнительным. Пушкин дал государю слово дворянина, что не будет драться с Дантесом. Мог ли он оправдать нарушение слова чести ссылкой на двусмысленный комплимент?

На другой день после бала дом на Мойке посетил этнограф И.П.Сахаров. По его словам, он застал Пушкиных в кабинете. Жена сидела на медвежьей шкуре у ног мужа, положив голову ему на колени[12]. Описанная сцена напоминала семейную идиллию. В действительности покой семьи был нарушен бесповоротно. Л.А.Якубович, явившийся сразу после Сахарова, был поражен тем, что поэт выглядел очень сердитым, быстро ходил по кабинету взад и вперед, хватал с полок книги. Гости покинули дом в третьем часу дня[13].

Э.Герштейн решает вопрос о последнем кризисе в рамках традиционной схемы. За несколько дней до дуэли Натали имела рандеву с Дантесом, поэт получил новое анонимное письмо и немедленно послал вызов на поединок. В подтверждение своей схемы Э.Герштейн ссылается на вопрос, сформулированный в судном деле о дуэли Пушкина. Предполагалось задать Наталье Николаевне следующий вопрос: «Не известно ли ей, какие именно безымянные письма получил покойный муж ее, которые вынудили его написать 26 числа... оскорбительное письмо»[14]. Пушкину оставили в покое, а на вопрос о причинах поединка ответ дал К.Данзас. В показаниях на суде и в мемуарах он не упоминает ни слова об анонимном письме, якобы полученном поэтом накануне дуэли. Январское «безымянное письмо» могло объяснить и оправдать появление бранного письма Пушкина. Друзья непременно упомянули бы о нем, если бы оно существовало в природе. Их молчание доказывает, что накануне поединка поэт не получал никакого анонимного письма с доносом на тайное свидание и измену Натальи Николаевны.

Следователи не имели в своем распоряжении ни одного экземпляра пасквиля, и им не удалось прояснить вопрос о его происхождении. Нессельроде не представил суду имевшийся у него экземпляр «диплома», и судьям пришлось удовольствоваться общими разговорами о том, что Пушкин послал вызов, получив некие «безымянные письма». Ввиду наличия десятка копий свидетели и современники говорили об анонимных письмах во множественном числе. Этот факт подтверждают и судебные материалы, и частные письма тех лет.

Сестра Пушкина Ольга жила в Варшаве и узнала о трагедии из писем петербургских знакомых. «К несчастью, — писала она родителям в Москву, — анонимные письма, которые он продолжал получать, ожесточили его до такой степени, что он шесть раз посылал д'Антесу вызов на дуэль»[15]. Письмо Ольги Сергеевны давало представление о толках, распространившихся после суда по Петербургу. Сведения о шести вызовах Пушкина показывают степень достоверности столичных разговоров.

Схема «анонимные письма — дуэль» была известна дочерям Натальи Николаевны. Через пятьдесят лет после дуэли Н.А.Меренберг рассказывала: «Причины дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем, пасквилей, которые в конце 1836 г. отец мой стал получать беспрестанно»[16]. Если речь шла действительно о письмах конца 1836 г., а не начала 1837 г., то объяснения Натальи Николаевны понятны. Они явно относятся к ноябрьским событиям, к появлению десятка копий пасквиля.

Другая дочь Натальи Николаевны, Арапова, без ссылки на источник информации, произвольно приурочила эпизод к последним январским дням: Натали имела тайное свидание с Дантесом, муж узнал об этом тотчас из анонимного письма — последовал поединок[17].

В подтверждение гипотезы о январских анонимных письмах Э.Герштейн ссылается на Записки А.О.Смирновой, изданные ее дочерью Ольгой Николаевной в 1895—1897 гг.[18] По словам О.Смирновой, Дантес никогда не был влюблен в Натали, а любил Идалию Полетику. Тем не менее он хвастался связью с Пушкиной во всех салонах и в полку. Э.Герштейн принимает на веру подобного рода известия, невзирая на то, что они носят фантастический характер. Если верить О.Смирновой, Пушкина забросали анонимными письмами, упрекая в трусости, из-за того что он взял назад свой первый вызов. Баронесса Сесиль Фредерикс пересказала мнение Николая I, «что Пушкин принужден был драться с минуты получения анонимных писем, в которых упрекали его в трусости и подлости за то, что он взял назад первый вызов»; государь сказал: «Я видел письма, я все знаю теперь»[19]. Изложенная история не находит подтверждения в подлинных документах. В литературе давно выяснено, что Записки О.Смирновой были сочинены дочерью в конце столетия и не заслуживают ни малейшего доверия[20].

Тайное свидание Натали с Дантесом, анонимное письмо, известившее поэта об измене жены и, наконец дуэль — все это на протяжении нескольких дней. Такова схема истории поединка 27 января 1837 г., которая не выдерживает никакой критики.

Что же в действительности послужило последним толчком, заставившим Пушкина сделать решительный шаг?

Дуэли Пу́шкина

Пушкин имел репутацию храбреца. Его дуэльный список лишь немногим уступал дон-жуанскому. Известны его «истории» с канцелярским чиновником С.Т.Перевощиковым (после ссоры в театре в 1818—1819 гг.); с майором Денисевичем (после подобной же театральной ссоры); с Кюхельбекером (из-за эпиграммы в 1819 г.), с М.Корфом (1819—1820).

На Юге вызовы следовали один за другим, не имея ни серьезных поводов, ни тяжелых последствий. В Кишеневе в 1820 г. он повздорил в биллиардной с полковником Ф.Ф.Орловым, и поединок был с трудом предотвращен. Примерно в то же время он вызвал француза — эмигранта барона де С... Тот предложил стреляться на ружьях, зная, что его противник прекрасно владеет пистолетом. Поединок закончился шуткой. На другой день поэт повздорил и послал вызов французу русской службы полковнику Л.

В 1821 г. у него вышло столкновение с французом Дегильи. Последний сначала предложил биться на саблях, а затем вовсе отказался от боя, за что был опозорен Пушкиным. Весной 1822 г. на поединке с офицером Генерального штаба Зубовым Пушкин не стал отвечать на неудачный выстрел противника и спросил его: «Довольны Вы?» После этого он удалился домой.

В том же году он имел дуэль с командиром Егерского полка С.Н.Старовым. Была метель. Пушкин выстрелил первым и не попал. Противники дважды обменялись выстрелами, а затем поединок был прекращен из-за

снегопада и мороза. Вскоре же дуэлянт дал пощечину молдавскому боярину Т.Балшу, что едва не привело к новому поединку. В 1824 г. А.И.Тургенев передал Вяземскому толки, будто в Одессе Пушкин дрался на дуэли, но противник отказался стрелять в него.

Почти бретерское поведение Пушкина объяснено Ю.Лотманом: «В кишиневский период Пушкин оказался в обидном для его самолюбия штатского молодого человека в окружении людей в офицерских мундирах, уже доказавших на войне свое мужество»[1]. Из ссылки поэт вернулся, имея славу лучшего поэта России и отчаянного дуэлянта, что сказалось на его последующих поединках. Они приобрели в значительной мере ритуальный характер.

Исключением могла стать дуэль Пушкина с графом Толстым-»Американцем». Тот распространял клевету по поводу высылки поэта из столицы в 1820 г. Вызов был послан лишь в 1826 г., после возвращения поэта из Михайловского. Стараниями друзей дело было улажено.

В Петербурге Пушкин намерен был стреляться с Н.И.Тургеневым, но затем одумался и просил у него прощения. В 1827 г. поэт принял картель от В.Д.Соломирского. В 1828 г. поэт потребовал объяснений у секретаря французского посольства Лагренэ, предположительно из-за Закревской. История была чревата дуэлью. В 1836 г. он вызвал на поединок графа В.Соллогуба, затем С.С.Хлюстина[2]. Характерен инцидент с генералом Репниным, героем Отечественной войны, который был на двадцать лет старше поэта. Репнин и министр Уваров были женаты на родных сестрах. Ода Пушкина «На выздоровление Лукулла» косвенно затронула семью Репнина. Толки по этому поводу дошли до поэта в искаженном и преувеличенном виде, и он послал генералу письмо с требованием объяснений. «Как дворянин и отец семейства, — писал Пушкин князю, — я должен блюсти мою честь и то имя, которое я оставлю детям»[3]. Другому своему «противнику» юному В.Соллогубу поэт пояснил, что как общественный деятель он находится в полной зависимости от света и светского мнения. «Неужели вы думаете, — сказал он, — что мне весело стреляться? Да что делать. Я имею несчастье быть человеком публичным, и, знаете, это хуже, чем быть публичной женщиной»[4].

Дуэли Пушкина по большей части не имели ни серьезных поводов, ни драматических последствий. Столкновение с Дантесом было исключением. Поединок был следствием долгого и мучительного конфликта. Поэт готовился к поединку самым тщательным образом. Сохранилось известие о том, что в январе 1837 г. он встретился в книжном магазине с ротмистром графом Е.Е.Комаровским и просил назвать ему какую-нибудь книгу по дуэли[5]. Пушкина интересовали как прецеденты, так и правила ведения боя.

Насколько легко и скоропалительно поэт посылал картели в молодости, настолько мучительно и трудно далось ему решение написать письмо послу Геккерну, которое сделало дуэль неизбежной.

«Пушкин любил бой», — писал Ю.М.Лотман. Конспирация тайных обществ, участие в схватке у Эрзерума, пыл журнальной полемики, азарт карточной игры, хладнокровная смелость у барьера на поле чести — все имело общий психологический корень: «Есть упоение в бою»[6]. Справедливо, что смертельный риск, битва, азартная игра манили Пушкина. С друзьями он не раз обсуждал загадку — «непонятное желание человека, когда он стоит на высоте, броситься вниз»[7].

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю...

Но едва ли можно усомниться в том, что его подлинной стихией была гармония.

По преданию, гибель Пушкина была предсказана ему гадалкой Александрой Кирхгоф. Ранние записи из дневника историка М.П.Погодина донесли слова, исходившие непосредственно от поэта. Его родственник Д.В.Веневитинов в 1826 г. рассказал Погодину следующее: «Ему (Пушкину. — *Р.С.*) предсказала судьбу какая-то немка Кирхгоф и грек (papa, oncle, cousin) в Одессе. "До сих пор все сбывается, — сказал Пушкин, по словам Веневитинова, — например два изгнания. Теперь должно начаться счастие. Смерть от белого человека или от лошади, и я с боязнью кладу ногу в стремя... и подаю руку белому человеку"»[8].

В 1827 г. Пушкин опубликовал в журнале ядовитую эпиграмму на А.Н.Муравьева. Встретив вскоре же редактора журнала М.П.Погодина, он сказал: «А как бы нам не поплатиться за эпиграмму? — Почему? — Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или белой лошади»[9].

В своих воспоминаниях Муравьев писал, что в то же лето встретил Соболевского и спросил, чем вызваны нападки Пушкина. Одна из гадалок, отвечал Соболевский, предсказала поэту, что смерть придет к нему от высокого белокурого молодого человека; с тех пор при встрече с таким человеком ему приходит на ум испытать рок. Волосы у Муравьева были белокурыми. При первой же встрече с молодым литератором Пушкин просил у него прощения за глупую эпиграмму[10].

В год гадания — 1819 — «закадычным другом» Пушкина был П.Мансуров. Последний вспоминал, что предсказание Кирхгоф произвело на поэта сильное впечатление, особенно сначала: «..если кто из наших напоминал об этом, ясно видно было, что это ему неприятно; он всячески старался отклонить разговор»[11].

Перед Пушкиным приоткрылся неведомый и грозный мир. В нем таинственные силы — рок — управляли судьбами людей. В 1822 г., через три года после встречи с Кирхгоф, Пушкин сочинил «Песнь о вещем Олеге». В этом стихотворении можно услышать отголосок пророчеств, адресованных ему в день гадания у Кирхгоф. Мудрый кудесник предсказывает князю смерть от коня («примешь ты смерть от коня своего»). Предсказание сбывается. Олег гибнет от белой головы — его жалит змея, выползшая из побелевшего конского черепа.

Среди рисунков, набросанных Пушкиным на черновиках в 1825 г., можно обнаружить автопортрет в виде лошадиной головы. Портрет окружают белые лошадиные морды[12].

Если верить преданиям, перед свадьбой Пушкина будто бы мучили дурные предчувствия. Он навестил цыган. Те спели ему подблюдную песню:

Ах, матушка, что так в поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися. А чьи кони то, чьи то кони?
Кони Александра Сергеевича ...

Пение повергло поэта в слезы. Песнь о конях предвещала ему большую потерю[13].

Друг поэта П.В.Нащокин описал гадание у Кирхгоф так. Разложив карты, немка сказала: «Это голова важная! Вы человек не простой!» После того она предсказала , что он умрет или от белой лошади, или от белой головы (Weisskopf)[14].

В 1828 г. Пушкин рассказал мистическую историю гостям то ли Карамзиных, то ли Дельвига. Героем устной новеллы был мелкий чиновник, который был погублен чертом, принявшим облик белокурого мужчины. В конце жизни герой «при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство». Новелла была записана и опубликована писателем Владимиром Титовым в 1829 г. Предварительно Титов дал просмотреть текст Пушкину[15].

В 1829 г. Пушкин встретил на Кавказских минеральных водах отставного офицера В.А.Дурова. По некоторым сведениям, у Дурова хранился собственноручный рисунок Пушкина с изображением «двух поединщиков» и надписью «Смерть Пушкина»[16]. Видение смертельного поединка не покидало поэта. Туманные предсказания насчет лошади были забыты или, во всяком случае утратили пугающую неожиданность. Перспектива смерти на поединке подкреплялась практикой многочисленных дуэлей. По уверениям П.И.Бартенева, перед свадьбой поэт писал, «что ему вероятно придется погибнуть на поединке»[17].

В 1833 г., будучи в Казани, поэт рассказал о давнем гадании А.А.Фукс-Апехтиной. Он вспомнил, как гулял с Н.В.В. (Н.Всеволожским) по Невскому, зашел к гадалке и услышал от нее три прорицания. Последнее было: «...вы кончите вашу жизнь не естественною смертью»[18].

Брат Пушкина Лев упомянул о трех пророчествах Кирхгоф (включая женитьбу). Четвертым было пророчество о том, что поэта ждет преждевременная смерть от руки высокого белокурого человека[19].

А.Н.Вульф знал о гадании со слов Пушкина, но записал его рассказ много лет спустя. Ворожея, по его версии, объявила Пушкину, что он будет убит из-за женщины молодым белокурым мужчиной[20].

С наибольшими подробностями встречу поэта с Кирхгоф описал С.А.Соболевский. Оценивая достоверность рассказа, ссылаются обычно на тесную дружбу автора с Пушкиным и подробность самого повествования[21]. Однако надо учесть, что Соболевский записал свои припоминания в очень позднее время. По его словам, Пушкин услышал от гадалки пять предсказаний и все они сбылись. Первые четыре были ординарными: о скором получении денег, о неожиданном предложении, о том, что двадцатилетнего поэта ждет слава и он дважды подвергнется ссылке. Последнее пророчество гласило, что поэт погибнет насильственной смертью в 37 лет.

Сенсационный рассказ Соболевского требует критической проверки. Язык колдуньи, в его передаче, явно отличался от традиционного языка гаданий, лишеного конкретности и допускающего разные толкования. В своих За-

писках Мартенс воспроизвел предсказания Кирхгоф императору Александру I. Его рассказ дает представление о стиле пророчеств гадалки: «Вы не то, чем вы кажетесь... Вы находитесь в... опасном положении... Вначале вы испытаете большое несчастье, но, вооружившись твердостью и решимостью, преодолеете бедствие»[22]. Для всех было очевидно, что Россия стоит на пороге наполеоновского вторжения, но Кирхгоф избегала подробностей и точных дат.

Незадолго до смерти Соболевского В.А.Соллогуб писал: «Я твердо убежден, что если бы С.А.Соболевский был тогда (в 1837 г. — *Р.С.*) в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его» (от дуэли. — *Р.С.*). Соболевский процитировал эти слова в неоконченных заметках, после чего в печати появилась его статья «Таинственные приметы в жизни Пушкина». В своей статье друг Пушкина так изложил речи гадалки: «...он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross), weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться»[23]. На склоне лет Соболевский повторил общеизвестные вещи насчет гадания Кирхгоф, от себя же прибавил, будто гадалка назвала поэту год его смерти.

Пушкин вспоминал слова Кирхгоф многократно и в разные периоды, а это значит, что предсказание относилось к неопределенному будущему. В молодости зловещее пророчество тревожило его, но в 1837 г. он, кажется, и вовсе забыл о нем.

Соболевскому импонировало предположение Соллогуба. Он пересмотрел известие о гадании Кирхгоф, чтобы подкрепить слова Соллогуба. Соболевского не было в Петербурге, и он не смог предотвратить дуэль. Если бы он успел вернуться в Петербург, Пушкин не погиб бы в 37 лет и, согласно предсказанию гадалки, прожил бы долгую жизнь.

Три сестры

Когда Наташа решила взять в Петербург старших сестер, Пушкин предостерег ее словами: «Эй, женка! смотри... Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети, пока малы. ...А то хлопот не наберешься, и семейного спокойствия не будет»[1]. Натали любила сестер и хлопотала о том, чтобы выдать их замуж. В сентябре 1834 г. Коко-Екатерина и Азинька-Александрина обосновались в доме Пушкиных. По этому поводу Ольга Павлищева-Пушкина писала мужу 12 сентября 1835 г.: «Александр представил меня своим женам — теперь у него их целых три, как тебе известно. Его свояченицы хороши, но ни в какое сравнение не идут с Натали, которую я нашла похорошевшей: у нее теперь прелестный цвет лица и она немного пополнела; это единственное, чего ей недоставало»[2]. Шутка насчет трех жен была тяжеловесной, но лишенной тени двусмысленности. В контексте письма она означала, что о соперничестве со стороны своячениц не могло быть и речи.

Ольге Сергеевне выдуманная ею шутка казалась чрезвычайно удачной. Поэтому она не раз ее повторила. 20 декабря 1835 г. она писала мужу: «Александр был, по обыкновению, не надолго, к тому же с двумя женами и в дистрикции...» [рассеянности][3]. Какую из двух своячениц Ольга Серге-

евна имела в виду, сказать невозможно. К обеим она относилась с полным безразличием.

Приятель Пушкина Н.М.Смирнов, вовсе не расположенный к Дантесу, вспоминал, что молодой француз дал Пушкину прозвание Pacha a trois queues (трехбунчужный паша), когда тот явился на бал в сопровождении трех сестер[4]. Каламбур кавалергарда казался вовсе безобидным по сравнению с шутками сестры поэта.

Александра была самой некрасивой, но при том и самой умной из трех сестер Гончаровых. Она увлекалась стихами Пушкина, а он помогал и покровительствовал ей. Еще до переезда Александрины в столицу поэт стал сватом свояченицы. Женихом Александрины был тридцатишестилетний подполковник в отставке А.Ю.Поливанов. О лучшей партии девице не приходилось мечтать, и поэт взялся устроить судьбу молодых. Камнем преткновения был вопрос о приданом. Пушкин на собственном опыте знал, что Наталья Ивановна Гончарова скорее пожертвует счастьем и будущим дочери, чем расстанется с частью своих земель. Все надежды Александрина возлагала на деда. Но Пушкин сомневался, что дед поможет жениху: «...я боюсь, чтобы дедушка его не надул», — писал он[5]. Минуя мать невесты, поэт написал письмо А.Н.Гончарову. Его вмешательство вызвало гнев Натальи Ивановны. Она сделала выговор зятю. В конце концов брак расстроился. Александрина и ее сестра Екатерина уехали в Петербург к Пушкиным, даже не попрощавшись с матерью. Кажется, роман с Поливановым оставил в душе юной Александрины мучительные воспоминания. В январе 1837 г. она писала брату: «теперь у меня больше опыта, ум более спокойный и рассудительный, и я полагаю лучше совершить несколько безрассудных поступков в юности, чтобы избежать их позднее»[6]. В чем состояло ее безрассудство, Александрина не уточняла. В Петербурге Азинька появилась в 23 года, когда юность ее была позади. Ошибки были совершены ранее.

Присутствие трех молодых женщин, окруженных роем поклонников, увлечение стихами Пушкина создавали особую атмосферу в доме поэта[7].

Сестре поэта Ольге Сергеевне эта атмосфера не нравилась, и ее шутки по поводу брата становились все более сердитыми. В феврале 1836 г. Аннета Вульф писала своей сестре Евпраксии Вревской: «Ольга говорит, что он (Пушкин. — *Р.С.*) якобы очень ухаживает за своей свояченицей Алекс»[8]. Слово «якобы» в пересказе Аннеты выдает иронию, объяснить которую нетрудно. Евпраксия Вревская видела Натали и Александрину в том же 1836 г. и так описала свое впечатление: «Пушкина в полном смысле восхитительна, но зато ее сестра показалась мне такой безобразной, что я разразилась смехом, когда осталась одна в карете с моей сестрой»[9].

Арапова, жившая под одной крышей с Александриной, отметила, что черты ее тетушки напоминали правильный гончаровский склад, но лицо было как бы карикатурой на Наталью Николаевну; она была косоглазой, кожа лица отдавала желтизной; «предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне»[10]. Однако сохранились и другие отзывы о внешности средней сестры. Семидесятишестилетний граф Ксавье де Местр писал в 1840 г. после встречи с сестрами: «...вдова знаменитого поэта, очень красивая женщина, а сестра ее, хотя и не так одарена природою, однако тоже весьма хороша»[11].

Три сестры Гончаровы были отягощены дурной наследственностью,

связанной с психическим заболеванием отца. Не этим ли обстоятельством объяснялись приступы ипохондрии у Александрины? В 1835 г. она писала брату Дмитрию: «А знаешь ли, я не удивлюсь, если однажды потеряю рассудок. Ты себе не представляешь, как я переменилась, раздражительна, характер непереносимый. Мне совестно окружающих людей. Бывают дни, когда я могу не произносить ни слова... Надо, чтобы никто меня не трогал, не разговаривал со мною, не смотрел на меня — и я довольна»[12]. Александрина, по ее признанию, изводила окружающих — Пушкина и сестер. Племянница Александрины Арапова подтверждает, что та обладала невыносимым характером.

Приведенные сведения о внешности и характере Александрины не следует игнорировать, оценивая сведения о ее романе с Пушкиным. Слова сестры поэта Ольги по поводу брата и Александрины производят впечатление родственного злословия.

Известен отзыв княгини Е.А.Долгоруковой, подруги Натальи Николаевны, о ее сестре. Александрина «холодна, благоразумна (?). Кажется, что в последние годы Пушкин влюбился в нее»[13]. В рассказе Долгоруковой проскальзывает та же нота, что и в словах Аннеты. Их сообщения сопровождают слова «якобы», «кажется».

Первые известия об ухаживаниях Пушкина за свояченицей не имели ничего общего со злонамеренными сплетнями. Пересуды не выходили за пределы пушкинской семьи, родни и приятельниц.

Другом семьи Пушкиных был прапорщик А.Россет, сверстник Натальи Николаевны и постоянный посетитель дома Карамзиных. Его показания игнорировать невозможно. «Тогда уже, летом 1836 года, — вспоминал он, — шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса»[14]. Пушкинисты видят в этих словах намек на двух сестер — Наталью и Александрину. По утверждению Я.Л.Левкович, А.О.Россет пишет о слухах и «сплетнях», порочащих Пушкина[15]. Это, конечно, заблуждение.

Софи Карамзина старательно регистрировала сплетни, циркулировавшие в кружке Пушкиных, Карамзиных, Россет. Прошло лето 1836 г., и в письме от 19 сентября Софи живописует треугольник — Дантес не отходит от Екатерины, но бросает нежные взгляды на Натали. В письме от 19 декабря 1836 г. Карамзина описывает ту же картину: Натали в отсутствие мужа кокетничает с Дантесом, а Екатерина мучается ревностью[16]. Треугольник не оставлял места для Александрины.

Аркадий Россет очень точно описал ситуацию, сложившуюся летом 1836 г. Совершенно очевидно, что под двумя сестрами он подразумевал не Наталью и Александрину, а Наталью и Екатерину, в связи с чем и упоминал о волокитстве Дантеса, его одновременном ухаживании за двумя сестрами.

Аркадий Россет не имел в виду Александрину еще и потому, что был увлечен ею сам. Письма Софи подтверждают это. 18 октября Карамзина сообщила брату, что со вчерашнего дня приемы в родительском доме возобновились, и гости заняли привычные места — «Натали Пушкина и Дантес... Александрина с Аркадием»[17]. Как только Софи начинает строго описывать то, что видит, тотчас обнаруживается истина. У Александрины был роман не с Пушкиным, а с Россетом. Наталья Николаевна писала о романе следующее: Александрина в Петербурге влюбилась в прапорщика Аркадия

Россета; «это давнишняя большая и взаимная любовь Сашеньки»[18]. Письма Вяземского подтверждают слова Натальи Николаевны. Летом 1841 г. князь Петр был в гостях у вдовы Пушкина и слышал, как Россет, задумавшись, произнес какое-то слово вполголоса: «Мне послышалось: Александ...(Александрина. — *Р.С.*)». Примерно месяц спустя Вяземский вновь посетил сестер Наталью и Александрину. «...Аркадий Осипович Россети очень был тронут нежным воспоминанием одной персоны (Александрины. — *Р.С.*)... тут другая из вышереченных сестриц изволила затянуться пахитоской (вдова Пушкина стала курить. — *Р.С.*) и сказать: как он мил, этот Аркаша!» — писал Вяземский после визита[19]. К 1841 году от былой нежной любви остались одни воспоминания.

Щедро одаренная природой Натали всю жизнь жалела сестру, некрасивую, неуживчивую и никому не нужную.

Из трех сестер одна Александрина отличалась практичностью. В этом и была причина ее особых отношений с Пушкиным. Наталья Николаевна увлекалась балами. «Хозяйством и детьми, — замечает княгиня Вяземская, — должна была заниматься вторая сестра, Александра Николаевна... Пушкин подружился с нею»[20].

В письмах жене Пушкин не стеснялся передавать поцелуи ее троюродной сестре Идалии Полетике. Родным же сестрам жены он адресовал слова: «теткам Ази и Коко мой сердечный поклон»; «Бель-серам поклон»; «Что Коко и Азя? замужем или еще нет?»; «Кланяюсь дамам твоим»; «Дамам кланяюсь»; «Кланяюсь твоим наездницам»[21]. В некоторых письмах поэт забывал упомянуть о свояченицах.

Дуэльная история внесла разлад во взаимоотношения трех сестер и замешательство, так же как и среди друзей поэта. По свидетельству Данзаса, старый Геккерн был озлоблен и исподтишка повел войну против Пушкина, всячески ему вредя и распространяя клевету. Некоторые «недогадливые друзья» по неведению способствовали осуществлению его замыслов[22].

Золотой крестик

Одним из недогадливых друзей поэта был Вяземский. В трагические дни князь Петр объявил, что отвращает лицо от дома Пушкина[1]. Объясняя близким причины такого шага, князь неизбежно должен был сослаться на молву. О такого рода дружеском злословии Пушкин писал,

Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой...

Письма князя Петра, написанные сразу после катастрофы, были полны раскаяния. Это чувство не покидало Вяземского и его жену до преклонных лет, порождая невольное стремление припомнить события, оправдывавшие

легковерие. Свидетельством тому служит история некоей цепочки или креста, записанная П.И.Бартеневым со слов Вяземских.

В черновике письма Бенкендорфу Жуковский перечислил последние распоряжения умирающего: Пушкин велел доктору Спасскому сжечь какую-то бумагу, а «Данзасу велел найти какой-то ящик и взять из него находившуюся в нем цепочку. Более никаких распоряжений он не делал и не был в состоянии делать»[2]. Перед нами наиболее раннее и не вызывающее сомнений сообщение. Жуковский писал именно о цепочке, которую он никак не мог перепутать с крестом («крестиком»).

Прошло много лет, и Бартенев записал припоминания Вяземской о цепочке Пушкина в нескольких версиях. Согласно одной версии, поэт взял у Александрины сначала перстень с бирюзой, а потом цепочку. После дуэли умирающий поручил Вяземской возвратить владелице ее цепочку, но «непременно без свидетелей». Когда княгиня при передаче цепочки сказала об этом, та вспыхнула и сказала: «Не понимаю, отчего это!» Согласно второй версии, Вяземская получила цепочку от Пушкина, когда на минуту осталась с ним наедине. В этом случае Бартенев забыл упомянуть о наказе вручить вещь Александрине без свидетелей. Александрина будто бы вся вспыхнула, принимая от Вяземской загробный подарок, что «возбудило в княгине подозрение»[3]. Поздние припоминания княгини подтвердили известие Жуковского о цепочке. Однако самая драматическая подробность ее повествования — наказ передать цепочку наедине — является, по всей видимости, домыслом. Данзас не отходил от постели Пушкина, и умирающий передал цепочку ему, а не Вяземской. Никакой тайны из своего подарка поэт не делал.

В публикации 1908 г. П.И.Бартенев привел еще одну версию рассказа Вяземской. На этот раз он упомянул о том, что умирающий Пушкин передал княгине нательный крест с цепочкой. Цепочка незаметно превратилась в крестик[4].

Спустя двадцать пять лет после смерти Вяземской П.И.Бартенев, достигший восьмидесяти лет, припоминал: «Что он (Пушкин) был в связи с Александрой Николаевной, об этом положительно говорила мне княгиня Вера Федоровна»[5]. Вяземская делилась с Бартеневым своими подозрениями по поводу краски смущения на лице Александрины, и ее слова были им своевременно записаны. Что касается главной «улики» — крестика с цепочкой, о ней заговорили с большим запозданием.

Оживлению давней сплетни способствовали воспоминания Александры Ланской-Араповой, дочери Натальи Николаевны. По ее словам, старушка няня, некогда нянчившая детей Пушкина, рассказала ей следующее. «Раз как-то Александра Николаевна (Гончарова. — *Р.С.*) заметила пропажу шейного креста... Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича... нечаянно вытряхнул искомый предмет»[6]. Фразеология рассказа («искомый предмет» и пр.) нисколько не похожа на речь неграмотной крестьянки из крепостных.

Легенда получила завершение. Пушкин при друзьях передал цепочку Александрине. Цепочка превратилась в нательный крестик. Крестик не был передан Пушкиным Александрине через Данзаса или Вяземскую. Его якобы нашли в постели у поэта. Трагическая подробность превратилась в бульвар-

ную историю, не имеющую ничего общего с действительностью. Сочинение анекдотов о Пушкине оставалось модным занятием до начала XX века. Можно установить, что подтолкнуло падчерицу поэта к злобной выдумке.

В 1887 г. в Петербурге была издана записка Трубецкого. Ссылаясь на слова Идалии Полетики и свои припоминания, он писал о несомненной связи Пушкина с Александриной. Публикация стала известна Араповой, Бартеневу и пр. В своем «романе», изданном в 1907 г., Арапова прямо указала на то, что толки об отношениях поэта с Александриной уже проникли в печать[7]. Падчерица Пушкина подхватила сплетню, которую распространяли злейшие враги поэта.

По утверждению Араповой, особый вес истории с крестиком придало свидетельство ее матери. Беседуя со старшей дочерью о последних минутах ее отца, Наталья Николаевна упомянула о том, что, «благословив детей и попрощавшись с близкими, он (Пушкин. — *Р.С.*) ответил необъяснимым отказом на просьбу Александры Николаевны допустить и ее к смертному одру»[8]. Все это плод фантазии Араповой. 28 января 1837 г. Тургенев писал из квартиры Пушкиных «Жена подле него. ...Александра плачет, но еще на ногах»[9]. 28 января, свидетельствовал Данзас, не отходивший от Пушкина, боли несколько уменьшились, «Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу Александру Николаевну Гончарову»[10]. Сама Александрина вспоминала (в записи ее мужа): «После катастрофы Александра Николаевна видела Пушкина только раз, когда привела ему детей, которых он хотел видеть перед смертью»[11].

Араповой принадлежат самые тенденциозные воспоминания о поэте. Как объяснить это? По-видимому, большое влияние на дочь оказал ее отец П.П.Ланской, переживший жену Наталью Николаевну на 14 лет. Ланской был возлюбленным Идалии Полетики и другом Дантеса. Как видно, Арапова черпала сведения из того же источника, что и Трубецкой. Идалия питала к Пушкину жгучую ненависть. Даже в конце жизни она, проходя мимо памятника поэту, не могла сдержать себя и плевалась. Ненависть была рождена злом, причиненным ею Пушкину.

История с крестиком и постелью, повторенная бесчисленное количество раз, превратилась в обыденном сознании в некую улику, доказанный факт. Не пора ли очистить биографию Пушкина от фальшивых «улик» такого рода?

Попытки опорочить Пушкина и его свояченицу носили злонамеренный характер. Если бы сплетни по поводу Александрины имели под собой почву, это неизбежно отразилось бы на отношении к ней Натали. Жизнь сестер опровергла клевету. После катастрофы вдова выехала в имение матери с Александриной, а через два года взяла ее с собой в Петербург. Там она жила с ней под одной кровлей и трогательно заботилась о ней. После брака с Ланским Наталья приютила сестру у себя. Характер Александрины стал невыносимым, но она оставалась в доме у младшей сестры восемь лет, пока не вышла замуж за Фризенгофа. Свою дочь от Ланского Наталья Николаевна назвала Александрой, а Александрина свою дочь от Фризенгофа — Ташей (Натальей).

Кровь на мундире

Среди свидетелей трагедии одним из самых осведомленных был князь Петр Вяземский. Он был не только очевидцем, но и участником событий. Князь и его жена изложили историю гибели поэта в подробнейших письмах, адресованных разным лицам. Вяземский считал своим долгом разоблачение происков и интриг врагов поэта, но он не назвал этих врагов поименно. Объясняя это обстоятельство, он писал 7 апреля 1837 г. О.А.Долгоруковой, дочери директора московской почты: «Чтобы объяснить поведение Пушкина, нужно бросить суровые обвинения против других лиц, замешанных в этой истории. Эти обвинения не могут быть обоснованы положительными фактами...»[1]

Князь Петр был человеком исключительно щепетильным и сознавал, что уличить участников интриги, погубившей Пушкина, трудно. И все же в одном случае он располагал точно известными ему фактами, позволившими без обиняков указать на одного из главных виновников катастрофы.

Самое доверительное письмо Вяземский адресовал графине Эмилии Мусиной-Пушкиной. Письмо было написано 16 февраля 1837 г. Князь Петр был влюблен в Мусину. Увлечение порождало безграничное доверие. Вяземский молил графиню поверить ему: «Я должен откровенно высказать Вам (хотя бы то повело к разрыву между нами...), — писал он, — Вы должны довериться мне, Вы не знаете всех фактов, всех доказательств, которые я мог бы представить, Вас должна убедить моя уверенность, Вы должны проникнуться ею»[2].

Кавалергарды носили красные мундиры. Поэтому Вяземский именовал их красными. Свои обвинения он обрушил на голову кавалергарда князя Александра Трубецкого, друга Дантеса и поклонника Эмилии Мусиной. В письме к Мусиной Вяземский писал: «Пушкин и его жена попали в гнусную западню. На этом красном (из контекста письма следовало, что речь шла о кавалергарде князе Александре Трубецком, поклоннике графини. — *Р.С.*), к которому, надеюсь, вы охладели, столько же черных пятен, сколько и крови. Когда-нибудь я расскажу вам подробно всю эту мерзость»[3].

Вяземский многократно повторял, что его друг был погублен сплетнями и клеветой: «Пушкина в гроб положили... городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов»[4]. Одновременно князь Петр с полной ответственностью утверждал, что на красном мундире Трубецкого — кровь Пушкина и черные пятна (грязь клеветы и сплетен). Вывод очевиден. Он располагал доказательствами того, что Трубецкой повинен в распространении сплетен и клеветы, погубившей поэта. Скорее всего он сам услышал клевету из уст кавалергарда и, что угнетало его более всего, поверил наветам.

Вяземский не уточнил, какими речами запятнал себя Трубецкой. Но это сделал за него сам Александр Трубецкой. Он всю жизнь хранил молчание по поводу гибели Пушкина и лишь незадолго до смерти предался воспоминаниям. Его версия тем более интересна, что исходила она сразу от двух лиц, стоявших в самом центре интриги. Эти лица — Идалия Полетика и сам Трубецкой. С Полетикой, писал князь Александр Трубецкой, «я часто вспоминал этот эпизод, и он совершенно свеж в моей памяти»[5].

По словам Трубецкого, поэт ревновал не Наталью Николаевну, а Александрину, с которой он якобы сожительствовал. Пушкин будто бы «опасался, чтобы блестящий кавалергард не увлек ее». После свадьбы с Екатериной Дантес собирался уехать к родным и «оказалось, что с ними собирается ехать и Alexandrine. Вот что окончательно взорвало Пушкина»[6].

Трубецкой утверждал, что Дантес намеревался уехать во Францию, взяв с собой Александрину. Поэт якобы узнал об этом и в порыве ревности вызвал кавалергарда на дуэль.

В этом рассказе все вымысел — и общая схема, и подробности. Вскоре после свадьбы Екатерина Геккерн писала отцу Жоржа, что при всем желании навестить его в Эльзасе она и ее муж не смогут выехать к ним в 1837 году[7]. Итак, Дантес вовсе не собирался ехать за рубеж и брать с собой Александрину.

По наветам Трубецкого и Полетики, Пушкин стрелялся с Дантесом не из-за жены, а из-за свояченицы. «Вскоре после брака, — повествует Трубецкой, — Пушкин сошелся с Alexandrine и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению. Alexandrine сознавалась в этом г-же Полетике... связь Пушкина с Александриною мало кому была известна»[8]. Считать версию «признания» Александрины достоверной невозможно, потому что она исходила от злонамеренных лиц. О связи поэта со свояченицей никто ничего не знал до той поры, пока Геккерны с помощью Трубецкого и Полетики не стали распространять эту грязную сплетню по всему городу. Вяземский имел все основания заявлять, что мундир Трубецкого запачкан кровью поэта.

Пушкин пришел в бешенство, когда грязная молва докатилась до порога его дома. Он тотчас же решил, что интрига исходит от Геккернов. Почему он был уверен в этом? Не оттого ли, что новость пришла к нему непосредственно из дома министра Геккерна?

Чтобы установить, как развивались события, надо вспомнить, что все сношения с домом Геккернов Пушкины поддерживали исключительно через Александрину.

Уже в дни ноябрьского кризиса Александрина доказала свою преданность Пушкину. Излагая историю первой дуэли, Жуковский сделал в своем конспекте две пометы: «Что Пушк. сказал Александрине» (ноябрь 1836 г.) и «Разоблачения Александрины» (январь 1837 г.). Свояченица откровенно рассказывала Пушкину обо всем, что видела и слышала в семье Екатерины. Она не думала о том, к каким последствиям могут привести ее разоблачения.

Сохранилось письмо Александрины к брату Дмитрию, составленное приблизительно 22-24 января 1837 г. (Сестра оправдывалась, что не выполнила обещание и не написала брату раньше. Но Дмитрий покинул город 14 января. Следовательно, после отъезда прошло не два-три дня, а по крайней мере неделя или более того). Александрина обратилась к брату после визита к Геккернам. Ее письмо было написано в состоянии эмоционального смятения. Перейдя с первой странички на четвертую, она пометила: «Не читай этих двух страниц, я их нечаянно пропустила, и там, может быть, скрыты тайны, которые должны остаться под белой бумагой... То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску»[9].

На что жаловалась Александрина после визита к Геккернам? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что в родственных домах Геккернов и Строгановых барышня сталкивалась со своей троюродной сестрой

Идалией Полетикой, с племянником Строганова Трубецким и пр.

Грязная сплетня оскорбила девицу Гончарову. Вернувшись домой, она рассказала обо всем Пушкину, а тот не стал скрывать от нее свое решение драться с клеветниками, поскольку дело непосредственно касалось ее чести. Характерно, что из всех домочадцев о дуэли знала одна Александрина.

Злонамеренная выдумка пятнала честь дома Пушкиных. Выходило так, будто Жорж Дантес соблазнил Екатерину Гончарову, но покрыл грех, женившись на ней, а Пушкин совратил девицу Александрину, но искупить свое преступление не мог и не собирался.

Подобно сестре Наталье, Александрина всю жизнь хранила молчание по поводу дуэли Пушкина. Однако в 1887 г. она получила письмо от племянницы Араповой с просьбой рассказать о гибели поэта. Александрина была образованной женщиной и могла сама записать свои воспоминания. Вместо того она продиктовала их мужу — опытному дипломату Фризенгофу. Такое решение доказывает, что тема дуэли повергала Александрину в смятение даже на краю могилы. Понятно, что она ни словом не обмолвилась о клевете Геккернов на нее и Пушкина.

Честь Александрины

Весьма распространено мнение о том, что гибель Пушкина явилась результатом зловещего заговора, в котором кроме Геккернов участвовали царь, высшая знать и пр. Эта точка зрения стала исходной при истолковании любых поступков Геккерна и его сына.

В декабре 1836 г. Дантес выражал нежелание продолжать «бессмысленные переговоры» с Натали и советовал ей прекратить объяснения с Пушкиным, имевшие целью достижение мира в семье. После свадьбы ситуация изменилась. Геккерн заставил сына написать письмо Пушкину, в котором убеждал «забыть прошлое и помириться»[1]. В этом шаге старого Геккерна не следует видеть маневр, подготовку к новой войне с поэтом. Все объяснялось гораздо проще: карьера посла висела на волоске! Он сознавал, что любой скандал может привести к потере высокого государственного поста. Император выразил свое отношение к поведению Дантеса достаточно четко. Дипломат искал мира и во всяком случае, старался убедить общество в своей доброй воле.

14 января граф Г.А.Строганов дал обед в честь новобрачных и пригласил к себе Пушкина с Натали и Александриной. Тайной целью хозяев было примирить новых родственников между собой. Однако за обедом поэт отверг мирное обращение Дантеса и объявил его отцу, что не желает вступать с Геккернами ни в родственные, ни в какие бы то ни было отношения.

Имеются сведения, что Дантес и Екатерина приезжали со свадебным визитом в дом Пушкиных, но не были приняты[2].

По настоянию дипломата Дантес послал Пушкину еще одно мирное послание. Но тот не распечатал письмо и попытался вернуть его через Геккерна, с которым встретился у фрейлины Загряжской. Посол отказался принять письмо, написанное не им. Тогда поэт, по словам Данзаса, якобы бросил письмо в лицо барону со словами: «Ты возьмешь его, негодяй». Нет сомнения, что в беседах с Данзасом Пушкин не раз называл министра именно

такими словами. Но на людях он обращался с Геккернами вполне корректно. Рассказ Данзаса недостоверен в подробностях. Но основной факт он передал точно. Поэт вторично отклонил мирные предложения Геккернов. Пушкин получил повод для вызова Дантеса на дуэль после того, как получил анонимный пасквиль. Пушкин заподозрил в Геккерне автора пасквиля и, по словам П.А.Вяземского, «умер с этой уверенностью»[3]. В литературе высказаны справедливые сомнения по поводу этих слов Вяземского[4].

Семья Пушкиных была первой, но не единственной жертвой модной венской игры. Князь Александр Трубецкой вспоминал, что «шалуны» из аристократической молодежи — двоюродный брат Трубецкого граф Строганов, подпоручик князь Петр Урусов, корнет Константин Опочинин — развлекались тем, что рассылали анонимные письма по мужьям-рогоносцам[5].

Источники позволяют уточнить, когда именно венская игра получила распространение в Петербурге. Соллогуб с некоторой наивностью повествует, как однажды в начале декабря д'Аршиак показал ему несколько печатных бланков из Вены с шутовскими «дипломами» и среди них — печатный образец «диплома», посланного Пушкину[6]. Соллогуб не заметил того, что Геккерны вновь вовлекли его в свою игру. Встреча во французском посольстве была подстроена. В ней участвовали оба секунданта несостоявшейся дуэли. 16-17 ноября Пушкин четко разъяснил Соллогубу, что вызвал Дантеса, получив пасквиль. Д'Аршиак добивался примирения противников. Он непременно пустил бы в ход печатный образец пасквиля уже в ноябре, если бы имел его на руках. Очевидно, Геккерны заполучили образцы венских дипломов лишь в начале декабря. Они немедленно оценили значение сделанного открытия и постарались через секунданта уведомить о нем Пушкина.

В письмах 16-21 ноября, адресованных Геккерну и Бенкендорфу, поэт не скрыл гордости по поводу своей проницательности. В декабре 1836 г. Пушкин был уведомлен о наличии венского образца «диплома» и должен был признать свою ошибку. Следствием было то, что в послании Геккерну 25-26 января он вычеркнул все обвинения по поводу пасквиля. Вопрос был исчерпан. В последнем письме он оставил одну-единственную фразу: «я получил анонимные письма». Фраза нисколько не компрометирвала Геккернов[7].

Декабрь 1836 г. следует признать одной из важнейших вех дуэльной истории. Важнейший повод к поединку был устранен раз и навсегда.

Пушкин не сомневался, что сватовство Дантеса к Катерине — не более чем низкая интрига. Мистификация с замужеством Екатерины Гончаровой едва не привела к поединку, который был назначен на 21 ноября. Однако Дантес выполнил обязательство и женился на девице Гончаровой.

Второй повод к дуэли также перестал существовать. Тем не менее через три недели после свадьбы Екатерины Гончаровой Пушкин дрался на дуэли со своим зятем Дантесом и погиб. Какие обстоятельства привели к трагедии в тот момент, когда конфликт, казалось бы, должен был кончиться миром?

Даже друзья поэта не вполне понимали, что послужило поводом к последней дуэли. Дантес навязывался Пушкину в родственники. При этом он вел себя крайне осторожно. Со своей стороны, Наталья не давала мужу поводов для ревности.

Преданная поэту Е.А.Карамзина писала о смертельном поединке Пушкина: «...эта катастрофа ужасна и до сих пор темна; он внес в нее свою долю непостижимого безумия»[8]. Мысль о доле вины поэта косвенно вы-

9 Зак. 3925

разила Александрина Гончарова, искренне его любившая[9]. А.И.Тургенев всю свою жизнь принимал участие в судьбе поэта. Стоя у его гроба, Тургенев слушал тексты из Псалтыри. Его поразила фраза: «Правду твою не скрыв в сердце твоем». Придя домой, Тургенев записал в дневнике: «Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, т.е. злобу свою и причины оной к антагонисту (Дантесу. — *Р.С.*), — он не скрыл, не угомонился в сердце своем и погиб»[10].

Критический анализ источников раскрывает подлинные причины последнего конфликта, приведшего к катастрофе. Поединок стал неизбежен, когда поэт узнал о новой бесчестной интриге, исходившей от лиц, близких к Геккернам.

«Вся история семейной жизни Пушкина, — писал П.Губер, — есть в сущности длинная агония вечно возбужденной и мнительной ревности, которая под конец, и привела к кровавому исходу»[11]. В основе приведенного рассуждения лежит традиционное представление о том, что смертельная дуэль была вызвана поведением Натальи и ревностью Пушкина, его стремлением отомстить Дантесу.

В действительности с начала ноября 1836 г. и до конца января 1837 г. имели место три дуэльных истории. В начале ноября 1836 г. Пушкин отстаивал честь Натальи Николаевны. 17 ноября поэт намеревался драться, чтобы защитить опозоренную Екатерину Гончарову. Во второй половине января 1837 г. Пушкин стал жертвой клеветы, и ему пришлось отстаивать честь Александрины. У него не было иного способа оградить спокойствие семьи, кроме дуэли. Гибель поэта потрясла общество. Клевета, которая была подлинным поводом к последней дуэли, была мгновенно забыта.

Легковерные друзья

Внимание большого света вплоть до 21-23 января было приковано исключительно к Пушкиным и чете молодоженов Геккернов. Достаточно сослаться на запись из дневника фрейлины Мердер от 22 января по поводу бала у Фикельмонов 21 января и запись графини М.А.Мусиной-Пушкиной о бале у Воронцовых-Дашковых 23 января[1]. Это значит, что молва о сожительстве Пушкина с Александриной еще не проникла в великосветские гостиные. Поэт спешил. Он старался уничтожить интригу в зародыше. Благодаря Александрине поэт, видимо, узнал о сплетне раньше, чем она распространилась по всей столице. Из его друзей самым осведомленным лицом был Вяземский, получивший сведения от Трубецкого. Даже Карамзины имели смутное представление о новой интриге против поэта.

Письма Софьи Карамзиной, регулярно записывавшей «сплетни» о Пушкине, доказывают, что вплоть до середины января она ничего не знала о «предосудительном» поведении поэта, хотя и видела его почти ежедневно. 24 января 1837 г. Пушкины встретились с Дантесом на рауте у Мещерской-Карамзиной. Три дня спустя Софи Карамзина подробно описала вечеринку в письме брату. Дантес и Катерина, отметила Софи, «продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества»; зато Натали «краснеет под долгим и страстным взглядом своего зятя, — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственнос-

ти; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет»[2].

Как и в аристократических салонах, внимание гостей привлекали прежде всего Пушкины и Геккерны. Однако в повествовании Софи неожиданно возник новый сюжет. «...Александрина, — злословила Карамзина, — по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных»[3]. Вяземский отвратил лицо от дома Пушкиных. Он был на пороге разрыва со старым другом.

Уже А.Ахматова заметила, что в описании Софьи Карамзиной преобладала чужая речь. Племянница повторяла «утверждения» дядюшки. Не следует думать, что Софи повторила сказанную в тот вечер фразу. На вечере Вяземского не было. Значит, фраза по поводу отвращения лица была произнесена в другое время.

С.Л.Абрамович полагает, что Вяземскому принадлежали также и слова о ревности «из принципа» и «по чувству»[4]. Это предположение вполне вероятно.

Фраза о ревности Пушкина к Александрине не из принципа, а по чувству выдает с головой лиц, решивших ославить поэта. Версия о том, что Дантес собирался увезти Александрину за рубеж, что вызвало у Пушкина приступ ревности, была вымышлена Полетикой и Трубецким со злонамеренными целями. С действительностью эти вымыслы не имели ничего общего. Кстати, клеветники ни словом не упоминали об ухаживаниях Дантеса за сестрой Натали и Екатерины, что только и могло вызвать ревность Пушкина. В достоверных источниках отсутствуют какие бы то ни было намеки на такие ухаживания, на готовившийся отъезд Александрины с Дантесом за рубеж и пр.

Одну-две недели спустя князь Петр заклеймил людей, запачкавших себя кровью Пушкина. Пока же он повторил сплетню, приведшую к катастрофе.

Описание Софи весьма примечательно. Утверждение, будто Пушкин ревнует «по чувству» Александрину, она не подкрепила даже обычными для нее ссылками на «долгие», «жаркие», «потупленные» и прочие взоры. Виденное барышней нисколько не совпадает с тем, что она повторяла с чужих слов.

Письма Карамзиной следует сопоставить с дневниковыми записями Тургенева:

1836 г. «1 декабря. [...] Пушкины. Вранье Вяземского — досадно».

«19 декабря. [...] О Пушкине; все нападают на него за жену, я заступался. Комплименты Софии Николаевны моей любезности».

1837 г. «12 генваря. [...] у Пушкиной».

«14 генваря. [...] Пушкина и сестры ее...»

«15 генваря. [...] Пушкина и сестры ее...»

«18 генваря. [...] у Люцероде, где долго говорил с Наталией Пушкиной и она от всего сердца»[5].

Записи за декабрь 1836 г. не заключали ничего нового. Они касалась Пушкина, его жены и Дантеса. Тургенев заступался за жену и отвергал

досадное вранье Вяземского. В январе ситуация претерпела перемену. Тургенев дважды повторяет запись «Пушкина и ее сестры». Информация Тургенева особенно важна, потому что он пользуется доверием и откровенностью Натальи Николаевны. Прежде речь шла о Пушкиной, ее сестре Екатерине и Дантесе. Теперь дело касается обеих сестер Натали. 19 января 1837 г. Тургенев занес в дневник сведения, которые давали ключ к предыдущим записям: «У князя Вяземского о Пушкиных, Гончаровой, Дантесе-Геккерне»[6].К 19 января 1837 г. из трех сестер фамилию «Гончарова» сохранила одна Александрина. Дневниковая запись Тургенева чрезвычайно важна, так как подтверждает, что в доме Вяземских новость (о треугольнике «Пушкин — его жена — Александрина Гончарова») обсуждалась уже 19 января. Упоминание Александрины отодвинуло на задний план привычную схему «Пушкины — Дантес».

В конце 1836 — начале 1837 г. Тургенев очень часто посещал дом Пушкиных и наблюдал их семейную жизнь вблизи. Он не поверил клевете на Пушкина и Александрину и всеми средствами защищал честь друга. Все это повлекло за собой ссору с Верой Вяземской. Князь Петр Вяземский отвратил лицо от дома Пушкина. Его жена, очевидно, заняла еще более непримиримую позицию в отношении поэта. Нападки на поэта возмутили Тургенева и привели к форменной ссоре. После посещения раута у Мещерских 24 января 1837 г. Тургенев записал в своем дневнике: «К княгине Мещерской. Едва взошел, как повздорил опять с княгиней Вяземской. Взбалмошная! Разговор с Пушкиной»[7].

Накануне отъезда в Михайловское с телом Пушкина Тургенев отказался от визита к Вяземским и 2 февраля 1837 г. записал в дневнике: «Вяземский... Не поехал к нему для жены», т.е. из-за ссоры с ней[8].

Карамзины и Вяземские были самыми дружескими для поэта семьями. Салон Карамзина много лет был одним из центров интеллектуальной жизни столицы. После смерти историографа его дом не утратил прежнего значения. Один из посетителей карамзинского салона писал: «В доме Е.А.Карамзиной собирались литераторы и умные люди разных направлений. Тут часто бывал Блудов и своими рассказами всех занимал. Тут бывали Жуковский, Пушкин, А.И.Тургенев, Хомяков, П.Муханов, Титов и многие другие. Вечера начинались в 10 и длились до 1 или 2 часов ночи; разговор редко умолкал. [...] Эти вечера были единственными в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски»[9]. В салоне обсуждали новинки западной и русской литературы, политические события в мире.

Екатерина Карамзина делила роль хозяйки дома с падчерицей. И.И.Панаев называл Софи Карамзину «мадмуазель Рекамье» карамзинского салона[10]. Сравнение с Рекамье носило комплиментарный характер. Оценки Софи носили на редкость поверхностный характер. Не дав себе труда ознакомиться со свежим томом «Современника», Софи спешила повторить бранный отзыв Булгарина: «Вышел второй номер "Современника", — писала она. — Говорят, что он бледен и что в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее)»[11]. В рецензии Булгарина не было выражения «угасшее светило»[12]. Софи не читала ни «Современника», ни рецензии Булгарина. Она лишь пересказывала чужие литературные суждения, приноравливая их к своим вкусам. Будучи влюблена в Дантеса, Софи пристрастно излагала

историю его взаимоотношений с Пушкиным накануне дуэли. Братья Софи гордились дружбой с кавалергардом. Юные Карамзины встали на сторону модного француза. Между тем, Пушкин продолжал безгранично доверять семье Карамзиных.

Любимая тетка Натальи Загряжская, опасаясь злого языка Софи, запретила ей провожать в церковь Катерину и Дантеса. По свидетельству баронессы Катерины Геккерн, Загряжская называла отвратительным «общество Карамзиных, Вяземских и Валуевых, и она хорошо знала — почему». Соглашаясь с теткой, Екатерина негодовала, что Наталья Николаевна погрязла в этом обществе, «которое Натали должна была бы упрекать во многих несчастьях»[13]. Под несчастьями Екатерина подразумевала, конечно же, трагические события 1837 года.

Несколько лет спустя после гибели поэта Вяземский по другому поводу обличил дом Карамзиных, нисколько не щадя родню: «Вы знаете, что в этом доме спешат разгласить на всех перекрестках не только то, что происходит и не происходит в самых сокровенных тайниках души и сердца. Семейные шутки предаются нескромной гласности, а следовательно, пересуживаются сплетницами и недоброжелателями... Все ваши так называемые друзья, с их советами, проектами и шутками — ваши самые жестокие и ярые враги»[14]. Вяземский яркими красками описал нескромность и недоброжелательность, царившую в доме его племянницы Софи Карамзиной. Он странным образом не заметил того, что его собственный дом был заражен тем же духом. Пушкин ставил превыше всего *благоволение в человецех*. Но благоволения не было даже в ближайших друзьях. В свой «злой час» Пушкин обнаружил, что они потворствуют его врагам.

На вечере в дружеском доме Мещерских-Карамзиных 24 января Александр Сергеевич, по словам Софи Карамзиной, скрежетал зубами[15]. Хозяйка дома Мещерская описала состояние поэта следующим образом: «...я была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице... при появлении будущего его убийцы»[16].

В течение 20 лет поэт поддерживал дружбу с семейством Карамзиных. Вдова историка осталась самым преданным другом поэта. После свадьбы Дантеса она имела решительное объяснение с ним. Дантес вспомнил о беседе с Екатериной Карамзиной при встрече с Андреем Карамзиным на водах в Баден-Бадене. «В ее глазах, — сказал Жорж, — я виновен, она мне все предсказала заранее, если бы я ее увидел, мне было бы нечего ей отвечать»[17]. Екатерина Карамзина всем существом чувствовала приближение катастрофы, пыталась защитить Пушкина, но ничего сделать не могла.

Конгрегация злословия

Недруги рассчитывали опозорить Пушкина грязной сплетней. Клевету распространяли приятели Дантеса — Трубецкой, жена кавалергарда Идалия Полетика и пр. Участие Трубецкого не было случайным. Любовь императрицы к красавцу кавалергарду надежно ограждала его от неприятностей. Старик Геккерн знал, что через Трубецкого сможет довести до сведения

императорской семьи любую молву, порочащую Пушкина. Он отвел царице роль, о которой она даже не догадывалась.

В ноябре 1836 г. вмешательство Николая I помешало Геккернам довести игру до конца. В январе 1837 г. посол пытался втянуть в интригу царицу. Его надежды оправдались. Тотчас после дуэли императрица писала 4 февраля 1837 г. Бобринской: «Итак, длинный разговор с Бархатом (князем Александром Трубецким. — *Р.С.*) по поводу Жоржа... Я знаю теперь все: анонимное письмо, гнусное и все же частично верное»[1]. Пушкин либо был рогоносцем, либо не был. Почему же царица утверждала, что гнусный пасквиль был «частично верен»? Как видно, ее убедил рассказ Трубецкого о «великой» любви, связавшей Дантеса и Наталью. Разговор был долгий, и фаворит Александры Федоровны не мог умолчать о «несомненной» связи Пушкина с сестрой жены.

В ноябре 1836 г. Геккерны опозорили Екатерину. Теперь они хотели сделать то же самое с Александриной. Семью поэта ждали новые испытания. Никто, даже царь, не властны были над людской молвой. Остановить ее разрушительную работу было невозможно. Если бы клевета оставалась анонимной, можно было бы оставить ее без внимания. Но Александрина назвала имена клеветников, и Пушкин не мог оставить их безнаказанными.

Не один Вяземский проклинал клеветников Пушкина. Андрей Карамзин, пользовавшийся дружеским расположением поэта, писал: «Разве Пушкин принадлежал ей (знати. — *Р.С.*)? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, его гению стало душно, он замолк... отвергнутый и неоцененный, он прозябал на этой бесплодной, неблагодарной почве и пал жертвой злословия и клеветы»[2]. В черновике письма к Бенкендорфу Жуковский писал о гибели Пушкина: «...тысячи презрительных сплетен, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его»[3]. В том же письме Жуковский подчеркнул губительность сплетен: «...клевета, как бы она впрочем нелепа ни была, всегда достигает своей цели, и легче сдвинуть с места гору, нежели стереть то клеймо (пятно), которое клевета налагает»[4].

Михаил Юрьевич Лермонтов был верным приверженцем и почитателем Пушкина. Из его сердца вырвались слова:

Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой...

В объяснительной записке, затребованной властями, Лермонтов живо описал прения, возникшие по поводу дуэли Пушкина. Одни, узнав о поединке, оправдывали поэта, другие говорили, «что Пушкин — негодный человек и прочее...» Продолжая мысль, Лермонтов писал далее: «Не имея, может быть, возможности защитить нравственную сторону его (Пушкина. — *Р.С.*) характера, никто не отвечал на эти последние обвинения»[5]. Итак, в первый момент после смертельного ранения Пушкина даже его доброжелатели избегали высказываний по поводу «нравственной стороны его характера».

Юность поэта была бурной. В молодости он любил рассказывать о себе невероятные истории и небылицы, которые со временем дали пищу для фольклора. Слава ловеласа подобно шлейфу волочилась за поэтом в зрелые годы, доставляя ему нравственные мучения. Даже некоторые из друзей были застигнуты врасплох клеветой, преследовавшей его в последние дни жизни.

Высокопоставленные современники, писавшие о дуэли, считали непре-

менным долгом упомянуть о его сомнительной репутации и нравственных недостатках. Жена великого князя Михаила Павловича, благоволившая к поэту, писала мужу: «Увы, мои предвидения слишком осуществились, и работа клики злословия привела к смерти человека, имевшего, несомненно, наряду с недостатками, большие достоинства. Пусть после такого примера проклятие поразит этот подлый образ действия, пусть, наконец, разберутся в махинациях этой конгрегации, которую я называю комитетом общественного спасения, и для которой злословить — значит дышать»[6].

Недоброжелатели чернили Пушкина, объявляя, что его безнравственнось, его поведение подрывают моральные устои общества. Они пытались раздуть скандал и подвергнуть поэта нравственной казни. Великая княгиня имела основания писать о некоем Комитете общественного спасения, избравшем подлый образ действий и погрязшем в махинациях. Под видом защиты морали члены этой «конгрегации» травили Пушкина с такой же бесчеловечностью и рвением, с которым французские революционеры из Комитета общественного спасения физически уничтожали своих врагов. Великая княгиня была единственной из членов царской семьи, требовавшей разоблачения вдохновителей интриги. Но и она не решилась назвать по имени клеветников, погубивших Пушкина.

Вяземский обличал «некоторых людей в некоторых салонах высшего общества», «некоторых из коноводов нашего общества», в которых нет ничего русского[7]. Можно догадываться, что Вяземский имел в виду прежде всего салон австрийца Нессельроде — главный бастион «Конгрегации злословия». Графиня Нессельроде была ближайшей приятельницей посла Геккерна и постоянно принимала участие в совещаниях, происходивших в доме Геккерна накануне дуэли. В роковой день поединка она оставалась у него до полуночи.

Вяземский не обвинял «коноводов» из высшего света в кровопролитии. До поединка молва, порочившая поэта, не стала достоянием большого света. Клевета была подхвачена «Конгрегацией злословия» после смертельного ранения Пушкина. Это возмущало Вяземского более всего. Высокопоставленные лица употребили все средства, чтобы повлиять на общественное мнение и оправдать убийцу. Как подчеркивал Вяземский, они «не приняли никакого участия в общей скорби. Хуже того, — они оскорбляли, чернили его (поэта. — *Р.С.*). Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу»[8].

Сразу после похорон поэта Софи Карамзина писала брату: «...в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина — и это куда хуже и непонятней — немало злобных обвинителей»; «...те, кто осмеливается теперь на него нападать, сильно походят на палачей»[9].

Салон Нессельроде был одним из аристократических салонов столицы, оказывавших наибольшее влияние на формирование общественного мнения. Однокашник Пушкина барон М.А.Корф, посещавший этот салон на правах друга, писал, что графиня Нессельроде созидала и разрушала репутации. ее больше боялись, чем любили, друзья могли на нее положиться, но «вражда ее была ужасна и опасна»[10]. Дочь графа Гурьева, бывшего министром финансов при Александре I, Нессельроде ненавидела Пушкина за эпиграмму на ее отца, которую ошибочно приписывали поэту.

Другом и почитателем графини Нессельроде был барон Модест Корф.

Не имея возможности оспаривать достоинства поэзии Пушкина, барон напрочь отделял творчество гения от его духовного, нравственного и эмоционального мира. «Пушкин, — злословил Корф, — не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы». Корф исключал Пушкина из круга тех, кому доступны были возвышенные чувства. На долю поэта оставались распущенность и цинизм. «У него, — писал Корф, — господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзия; в обеих он ушел далеко... в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата»[11]. Модест Корф лишь записал речи, которые громко и самодовольно произносили посетители салона Нессельроде. Эти речи зазвучали с особой силой после того, как клеветники обвинили Пушкина в совращени Александрины.

Уже после гибели Пушкина князь П.А.Вяземский, отвечая Корфу, писал, что Пушкин, хотя и «не был монахом, а был грешником», однако же «никакого особенного знакомства с трактирами не было и ничего трактирного в нем не было, а еще менее грязного разврата»[12].

Взрыв общественного негодования положил конец проискам врагов поэта. Но даже члены великокняжеской семьи избегали указаний на имена предводителей «Конгрегации злословия». Это понятно. В иерархии высших чинов империи вице-канцлер Нессельроде занимал одну из высших ступеней.

Нессельроде был прямым начальником Пушкина. В его же ведомстве служил граф Григорий Строганов, принадлежавший к числу самых известных дипломатов своего времени. Не случайно при восшествии на престол Николая I прошел слух, что Нессельроде будет заменен на посту министра Строгановым[13]. В молодости граф, будучи послом в Испании, прославился своими любовными похождениями и был прозван «диабль Строганов». Как донжуан он был упомянут (под своим именем) в поэме Байрона. Граф был близок к императорской семье. По случаю пожалования ему высокого придворного чина императрица Александра Федоровна писала подруге Софи Бобринской в записке от 5 декабря 1836 г.: «Мой фаворит и покровитель старик Строганов с сегодняшнего дня обер-шенк»[14].

Строганова считали знатоком и хранителем кодекса дворянской чести. Получив письмо Пушкина, Геккерн, по свидетельству Данзаса, бросился к Строганову, и тот одобрил его действия. После поединка Строганов сравнил убитого поэта с наказанным преступником[15]. Дом Строганова на Невском был средоточием «Конгрегации злословия», как и дом Нессельроде.

Ярый сторонник «русской партии» князь Петр Вяземский склонен был винить в клевете на Пушкина «немецкую партию». В письме Булгакову 5 февраля Вяземский писал: «...в некоторых салонах высшего общества или, лучше сказать, презрительный кружок, в таких людях нет ничего русского ни в уме, ни в сердце, которые русские разве что русскими деньгами, набивающими их карманы, и русскими лентами, обвешивающими их плечи»[16]. У Вяземского были свои счеты с «немецкой партией». Поэтому его слова требуют критического отношения.

Граф Строганов отнюдь не принадлежал к «немецкой партии». Тем не менее он сыграл самую зловещую роль в дуэльной истории. Именно он уверил голландского министра, что дуэль — единственный выход, что двор

и общество будут на его стороне. Когда выяснилась ошибочность его расчетов, граф был, по словам Екатерины Геккерн, в отчаянии и «действительно сильно опустился»[17].

Не принадлежали к «немецкой партии» также многие приятели Дантеса по Кавалергардскому полку, делившие с ним развлечения. В письме к графине Эмилии Мусиной-Пушкиной от 16 февраля 1837 г. Вяземский писал: « ...в этом происшествии покрыли себя стыдом все те из красных, кому вы покровительствуете... У них достало бесстыдства превратить это событие в дело партии. Они оклеветали Пушкина, и его память, и его жену, защищая сторону того, кто... застрелил его»; «...некоторые высшие круги сыграли в этой распре такую пошлую и постыдную роль, было выпущено столько клеветы, столько было высказано позорных нелепостей»[18]. Клика злословия свила себе гнездо в самом привилегированном из гвардейских полков России. Молодые шалопаи устроили себе потеху из истории с Пушкиным. Их забавляла бурная реакция поэта, человека впечатлительного, с бешеным нравом. К компании Дантеса принадлежали князь Александр Трубецкой, князь Александр Куракин, князь Александр Барятинский (брат Марии Барятинской), князь Лев Кочубей (брат Натальи Кочубей)[19].

К этому кругу аристократов тянулся прапорщик Александр Карамзин. Но он мгновенно встал на защиту чести Пушкина, когда произошла трагедия. Так поступил не он один.

Сплетней об Александрине Геккерны рассчитывали уничтожить Пушкина морально, поссорить свою жертву с женой и посеять раздор между сестрами. Клевета отразилась на судьбе Александрины. Она смогла найти себе мужа лишь после сорока лет, т.е. в совсем пожилом, по понятиям того времени, возрасте.

Остановить позорную молву у Пушкина не было иных средств, кроме немедленной дуэли. Любые попытки публичного опровержения лишь способствовали бы дальнейшему распространению сплетни.

Крупнейший знаток истории дуэли Пушкина П.Е.Щеголев писал: «С полнейшей уверенностью можно утверждать, что история с Александриной никакого отношения к дуэли Пушкина с Дантесом не имеет»[20]. Факты, однако, полностью опровергают его мнение.

В январе 1837 г. поэту пришлось защищать честь Александрины. Приведем небольшую, но многозначительную деталь. На другой день после дуэли А.И.Тургенев писал из квартиры Пушкина: после поединка раненого «привезли домой; жена и сестра жены, Александрина, были уже в беспокойстве; но только одна Александрина знала о письме его к отцу Геккерна»[21]. Накануне поединка в доме Пушкина не нашлось денег на покупку дуэльных пистолетов. Поэт смог заплатить за оружие лишь благодаря тому, что двумя днями ранее получил от Александрины столовое серебро из ее приданого и сразу заложил его у ростовщика[22]. Если поэт сказал Александрине о том, что написал письмо Геккерну, равнозначное вызову на дуэль, более чем вероятно, что она передала свояку свое серебро, зная, на что будут истрачены деньги.

Перед дуэлью поэт объявил д'Аршиаку: «Я не желаю, чтобы петербургские праздные языки мешались в мои семейные дела, и не согласен ни на какие переговоры между секундантами»[23]. Семейные дела касались теперь не одной Натальи, но и Александрины.

Исчезнувшие автографы

24 января Пушкин видел царя и поблагодарил «за добрые советы его жене». Исследователи приписывают поэту иронию или сарказм в этом эпизоде. Николай I вмешался в семейные дела поэта и, как считает С.Л.Абрамович, «своим вмешательством он нанес Пушкину новую тяжкую обиду»; Александр Сергеевич поблагодарил государя, но его «благодарность» более походила на дерзость[1]. Предположение о тяжкой обиде едва ли основательно. Надо иметь в виду, что словами благодарности Пушкин как бы завершал откровенный разговор, который произошел между ним и царем 23 ноября и который имел важные последствия для судеб трех семей — Пушкиных, Гончаровых и Геккернов. Государь был в курсе всего «дела», а потому высочайшее внимание едва ли было для поэта оскорбительным.

25 января Пушкины встретились с Дантесом и его женой в доме у Вяземских. Княгиня Вера Федоровна говорила, что с ней Пушкин был откровеннее, чем с князем. В тот день Вяземская принимала друзей одна. Хозяин дома, пригласив гостей, ушел на вечер к Мятлевым и вернулся после их разъезда.

После гибели Пушкина князь Петр Вяземский старался доказать, что Дантес был повинен в трагедии, афишируя страсть к жене Пушкина. Однако сын Вяземского Павел был более точен в своих воспоминаниях. Он писал, что отец употребил неточное выражение, говоря, будто «Геккерн (сын. — *Р.С.*) афишировал страсть: Геккерн постоянно балагурил и из этой роли не выходил до последнего вечера в жизни, проведенного с Н.Н.Пушкиной»[2]. Этот последний вечер состоялся в доме Вяземских, и Павел на нем присутствовал. Его слова о балагурстве кавалергарда походили на правду. Пушкин ценил светское общество. Его тяготили рауты и балы во дворцах, присутствие множества малознакомых лиц, но он чувствовал себя свободно и непринужденно в круге друзей, в дружеских домах. Появление Дантеса в этих домах грозило лишить его последнего прибежища. Не ревность к Натали, а стремление оградить свой мир от вторжения чужих и чуждых лиц побудило поэта раз и навсегда закрыть перед Дантесом двери своего дома. Не менее охотно Пушкин выдворил бы кавалергарда из дружеских салонов, но это было не в его власти, и он вынужден был терпеть балагурство француза, его плоские шутки и казарменные каламбуры. Каждое явление «родственника» раздражало поэта, лишало душевного покоя, отдыха в кругу близких.

Поведение кавалергарда не было вызывающим. Но Пушкин, по словам Веры Федоровны, «волновался: присутствие Геккерна было для него невыносимо»[3].

На вечере 25 января сестры Натали и Екатерина, как и Дантес, были веселы и принимали участие в общем разговоре[4].

Покидая дом Вяземских после вечеринки, поэт сказал хозяйке, глядя на Дантеса: «Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что ожидает его по возвращении домой». Княгиня отвечала ему: «Мы надеялись, что все уже кончено». Тогда Пушкин вскочил, говоря: «Разве вы принимаете меня за труса? Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом — дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет»[5]. Таким образом,

поэт напомнил Вяземской слова (уже известные читателю), сказанные ей 14 ноября.

История письма Пушкина Геккерну заключает в себе много неясного. Пушкин написал письмо Геккерну, а затем дважды скопировал его. Оригинал (от 25 января) и первая копия, снабженная подписью автора и датой (26 января 1837 г.), не сохранились. Последняя копия, переписанная, без сомнения, рукой поэта, уцелела в архиве семьи Данзаса. Автограф был приобретен Пушкинским домом у племянницы К.К.Данзаса в 1918 г.[6]

Итак, из трех автографов письма два исчезли, а уцелевшая копия — экземпляр Данзаса — не имеет подписи.

При каких обстоятельствах исчезли автографы Пушкина?

В день дуэли 27 января Геккерн на словах передал царю через Нессельроде сведения о бранном письме Пушкина. Николай I потребовал доказательств. 28 января 1837 г. Геккерн препроводил «документы, относящиеся до того несчастного происшествия», с напоминанием того, что Нессельроде обещал лично передать их «на благоусмотрение его императорского величества»[7].

6 февраля 1837 г. Дантес на допросе в суде сослался на письмо Пушкина и другие его письма, связанные с поединком: «Все сие может подтвердиться письмами, находящимися у его императорского величества»[8].

Судьи пожелали видеть упомянутый кавалергардом документ. Прошло два дня, и в судебных материалах появилось упоминание о том, что 8 февраля Нессельроде передал председателю суда под расписку два письма Пушкина — от 17 ноября 1836 г. и 26 января 1837 г. В письме от 28 апреля 1837 г. Нессельроде утверждал, что «сии два письма» были вручены ему послом[9].

Министр Нессельроде допустил неточность. Он передал суду авторскую (пушкинскую) копию письма.

Можно установить, от кого получил Нессельроде эту копию. 2 февраля 1837 г. секундант Пушкина Константин Данзас обратился к князю Петру Вяземскому с просьбой принять «своеручную копию рокового письма Пушкина к Геккерну», чтобы «показать оное царю»[10]. Данзаса ждала гауптвахта, и он отдал письмо Вяземскому, который имел возможность передать письмо царю через своего племянника Нессельроде.

После суда Геккерн стал настойчиво добиваться возвращения ему дуэльных бумаг. Нессельроде отдал оригинал императору, и ему пришлось пойти на подлог. Письмо, «находившееся у его императорского величества», так и осталось у монарха, а суду министр передал письмо от 26 января, якобы полученное им от посла, а на самом деле переданное ему в начале февраля Вяземским.

После новых настойчивых напоминаний со стороны Геккерна министр попытался найти выход. По его представлению, 28 апреля два пушкинских письма Геккерну от 17 ноября 1836 г. и 26 января 1837 г. были скопированы в судебной канцелярии, после чего подлинники изъяты из судного дела и 1 мая переданы Нессельроде. Последний не спешил с отправкой документов владельцу. 15 мая Геккерн просил голландского поверенного в Петербурге Геверса посетить Нессельроде, причем писал: «...скажите ему, что я не нашел здесь бумаг. Эти бумаги моя собственность, и я не допускаю мысли, чтобы министр, давший формальное обещание их возвратить, пожелал меня обмануть. Потребуйте и пошлите их мне немедленно: документов

числом пять»[11]. 26 мая министр отправил царскому послу в Гааге пакет для барона Геккерна. В пакете должно было быть по крайней мере два письма Пушкина, извлеченные из судного дела. Однако Геккерн получил только одно письмо Пушкина от 17 ноября 1836 г., которое не заключало в себе ничего компрометирующего камер-юнкера, царского придворного. Пушкинский автограф (копия письма) так и не был отослан голландскому послу и не попал в его архив.

Геккерн мог спорить с Нессельроде, но не с самим императором. У него не было средств к тому, чтобы принудить царя вернуть ему письма. Напротив, Николай I имел возможность оказывать давление на бывшего посла: приток доходов из гончаровских имений напрямую зависел от милости государя.

В судебных материалах по делу о дуэли осталась канцелярская копия пушкинской авторской копии письма. Она снабжена пометами: «С подлинным верно. Начальник отделения Шмаков»; «Подлинное письмо отправлено при отношении Генерал-Аудитора от 30 апреля 1837 г. [...] для обращения г. министру иностранных дел»[12]. Заверка Шмакова имеет существенное значение. Но она не устраняет подозрений по поводу возможной фальсификации документа при копировании.

Наличие второй авторской копии — экземпляра Данзаса целиком опровергает сомнения в аутентичности послания. Текст этого экземпляра, единственного сохранившегося автографа, совпадает с *содержанием* судебной копии. Навыки литератора были слишком сильны, и Пушкин не мог механически переписать собственный текст. По этой причине он внес в документ с десяток поправок. Но все они носят сугубо стилистический характер[13].

Итак, вопрос об аутентичности пушкинского письма снят. Но надо иметь в виду, что единственный подлинник — автограф из собрания Данзаса — не имеет даты, что затрудняет использование документа.

Некоторые исследователи подвергают сомнению дату 26 января, выставленную на копии письма Пушкина. Они полагают, что при копировании в суде чиновник ошибся и вместо 25 января написал 26 января[14].

Ближайший друг Пушкина А.И.Тургенев записал в дневнике: «3-го дня, в самый тот день, как я видел его два раза веселого, он (Пушкин. — *Р.С.*) написал ругательное письмо к Геккерну-отцу»[15]. Эта запись была сделана 28 января, значит речь шла о письме 26 января. Откуда почерпнул свои сведения А.И.Тургенев? Очевидно, Данзас, прежде чем отдать Вяземскому автограф Пушкина, ознакомил с ним друзей поэта, находившихся подле умирающего.

Данзас не был свидетелем событий 25 января. Для секундантов существенное значение имело время получения письма, а не его отправки. Сказанное объясняет, почему в военно-судном деле время отправки письма и вызова безоговорочно отнесены к 26 января[16].

В каком соотношении находился оригинал письма, отосланного поэтом Геккерну 25 января, с авторской копией, изготовленной им на другой день? Имеются подозрения, что их тексты серьезно рознились между собой.

Излагая содержание письма Пушкина (от 25 января), Геккерн утверждал, что тот оскорбил имя матери Дантеса. Однако в сохранившихся копиях никаких упоминаний о матери нет.

Можно ли заподозрить Геккерна во лжи? Такое предположение про-

тиворечит обстоятельствам дела. Царская семья находилась в близком родстве с голландской королевской семьей. Оба дома поддерживали между собой тесные связи. Оригинал пушкинского письма находился в руках у Николая I. Посол рассчитывал получить его для ознакомления с ним своего правительства. При таких условиях он должен был возможно более точно излагать содержание письма, с которым связано было крушение его карьеры. Любое искажение могло пойти во вред ему и его приемному сыну, находившемуся под судом.

В послании к голландскому министру иностранных дел Верстолку от 30 января 1837 г. Геккерн писал о полученном им письме следующее: «...самые презренные эпитеты были в нем даны моему сыну... доброе имя его достойной матери, давно умершей, было попрано»[17]. Перечитаем внимательно поразительные строки из письма Геккерна. Они могут означать только одно: Пушкин обрушил на Дантеса площадную брань.

Прочитав пушкинское письмо от 25 января, Николай I написал сестре 4 февраля 1837 г.: «Пушкин... оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен»[18].

Помощник Геккерна Геверс отметил в письме министру Верстолку от 20 апреля 1837 г.: «В письме, которое Пушкин написал моему начальнику... едва можно узнать писателя, язык которого чист и почти всегда пристоен, — он пользуется словами мало приличными, внушенными ему гневом»[19]. Вюртембергский посол Гогенлоэ в сообщении своему правительству указал на то, что в оскорбительнейшем письме Геккерну Пушкин употребил «выражения, которые благопристойность не позволяет повторить»[20]. Близкий к императорской семье В.П.Литке 28 января 1837 г. записал в дневнике слова Николая I о пушкинском письме: «Государь, читавший это письмо, говорит, что оно ужасно и что если бы он сам был Дантесом, то должен был бы стреляться»[21].

Источники русского происхождения окончательно проясняют дело. Александр Трубецкой знал о содержании бранного письма Пушкина со слов Дантеса. Пушкин, как вспоминал Трубецкой, «написал Геккерну ругательное письмо, в котором выставлял его сводником своего выблядка»[22].

Соответствующий «титул» получила мать «ублюдка», что засвидетельствовано Геккерном.

Трубецкой был таким же близким другом Дантесу, как Александр Тургенев — Пушкину. Поэтому его показания так же важны, как дневниковые записи Тургенева. Известие Трубецкого о письме Пушкина заслуживает такого же доверия, как и его свидетельство о том, что Пушкина отвергла Дантеса во время тайного свидания.

Отослав письмо Геккерну 25 января, Пушкин изготовил две копии, в которых смягчил выражения. Судебная копия и автограф Данзаса дают следующий текст: «...вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына...» В подлинном тексте письма 25 января 1837 г. значилось иное: «Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему выблядку или так называемому сыну». (Пушкин употребил французское выражение, эквивалентное русскому слову «выблядок»).

Слова подобнного рода свободно употреблялись П.А.Вяземским, Пушкиным, А.И.Тургеневым в их дружеской переписке. Например, в письмах

к Тургеневу князь Петр употреблял полный набор непотребных выражений[23]. Пушкин имел случай отметить, что «откровенные оригинальные выражения простолюдинов повторяются в высшем обществе, не оскорбляя слуха»[24]. М.А.Цявловский выделил случаи употребления Пушкиным слова «выблядок» без оттенка непристойности (в письмах брату Льву, жене Наталье, в черновиках «Путешествия в Арзрум»)[25]. Уступая цензуре, Пушкин вычеркнул из текста «Бориса Годунова» «матерщину французскую и отечественную», в частности, фразу монаха Варлаама «Отстаньте, блядины дети!» Матерщину Пушкин шутя называл «русским титулом»[26]. Как отметил Тодд, сквернословие Пушкина обычно не выходило из рамок добродушной грубости, позволительной «в предвикторианские времена»[27]. Но если в дружеской переписке, в приятельском разговоре грубые выражения звучали как просторечие, то в письме послу иностранной державы они производили совсем другое впечатление.

Надо заметить, что в оскорблении матери Жоржа Дантеса был повинен не столько Пушкин, сколько сами Геккерны. Это они придумали фантастическую родословную поручику, будто бы родившемуся от внебрачной связи его матери с голландским королем. Изощренный дипломат, барон Геккерн заставил высшее общество поверить этой небылице, позорившей ни в чем не повинную баронессу Дантес как женщину сомнительного поведения и мать ублюдка.

Отсутствие в тексте письма Пушкина от 26 января (в судебной копии и автокопии) матерного выражения неопровержимо доказывает, что названное письмо, переданное Нессельроде суду, не было идентично оригиналу, полученному министром от Геккерна и переданному Николаю I.

Теперь мы можем, наконец, дать достоверный ответ на вопрос, куда исчезли автографы Пушкина. В предписании Жуковскому царь повелел уничтожить все крамольные и непристойные сочинения, которые будут обнаружены в бумагах умершего поэта. Письмо Пушкина Геккерну от 25 января подпадало под действие этого указа. Николай I не пожелал отдать неприличное послание своего придворного в руки судей и не вернул его собственнику письма. Очевидно, он приказал уничтожить оригинал письма 25 января. Ранее он поступил точно так же с покаянным письмом, в котором Пушкин признавал себя автором «Гавриилиады».

Государь не позволил Нессельроде переслать в Голландию авторскую копию письма Пушкина от 26 января и также приказал уничтожить ее. Если бы оригинал попал в руки бывшего посла, тот получил бы повод для обвинения Нессельроде в подлоге.

Картель

Геккерн был инициатором первой мистификации, бесчестившей семью Пушкина. Поэт принудил Дантеса жениться на Катерине. В итоге молодой кавалергард, изгнанный из дома Пушкина, теперь вернулся в него на правах родни. На семье образовался нарост. Поединок был попыткой избавиться от него. Положение поэта стало невыносимым после того, как он узнал о том, что окружение Геккерна и Строганова распространяют слухи о совращении им свояченицы Александрины Гончаровой.

Пушкин не мог послать Геккернам картель, так как был связан словом, данным царю. Он имел все основания бояться, что его новые родственники пропустят мимо ушей его обращение. Традиции исключали дуэль, как способ разрешения споров между близкими родственниками. Все это побудило Пушкина прибегнуть к брани, поправшей все нормы светской благопристойности. Брань исключала возможность примирения.

25 января 1837 г. Пушкин приступил к переделке текста послания, написанного им в ноябре 1836 г. и дважды исправленного. Ноябрьская эпистолия ужаснула молодого Соллогуба. Январский вариант был более грубым и более коротким.

Поэт значительно сократил ноябрьский текст. Безапелляционные утверждения насчет главенства посла во всех интригах уступили место более осторожным обвинениям. Фраза — «всем поведением этого юнца руководили Вы» была переделана следующим образом: «По-видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили Вы.» Аналогичным образом была исправлена другая фраза. Слова: «Это Вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать» — поэт заменил предложением: «Это Вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать»[1]. Появление слов «вероятно», «по-видимому» симптоматично.

В ноябрьском письме значилось: «Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам... вы говорили, бесчестный вы человек...» и пр. В новом тексте обращение «бесчестный вы человек» было вычеркнуто.

Некоторые поправки стали необходимы после свадьбы Дантеса. Поэт потребовал, чтобы посол не обращался к членам его семьи с «отеческими», т.е. родственными увещеваниями[2]. В исправленном тексте значилось: «Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания»[3].

Уже в одном из вариантов ноябрьского письма поэт выдвинул условием мира разрыв каких бы то ни было отношений между его семьей и семьей Геккерна: «...надо, чтобы все отношения между вашей семьей и моей были порваны навсегда»[4]. В январском письме это условие было сформулировано более жестко и категорично: «...я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей»[5]. Эти слова подводили итог длительным попыткам Пушкина пресечь любые контакты с Дантесом. Что касается Катерины Гончаровой, она целиком приняла сторону Геккернов[6].

При объяснении причин дуэли поэт сказал Соллогубу: «я не хочу, чтобы их имена (Натали и Дантеса. — *Р.С.*) были связаны вместе»[7]. В январском письме поэт обвинял Дантеса и требовал от отца «положить конец всем этим проискам» сына. В одном из вариантов ноябрьского письма далее следовал текст: «Я не могу позволить, чтобы рыцарь [?] без страха [?] Г-н... я знаю цену вам обоим, вы же еще меня не знаете»[8]. Фраза подверглась исправлению. В тексте, датированном 26 января, Пушкин опустил иронические слова о «рыцаре без страха» и дописал: «Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой — и еще того менее, — чтобы он волочился за ней и отпускал ей казарменные каламбуры, в то же время разыгрывая преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец»[9]. В авторской копии он заменил слова «трус и подлец» (qu'un lache et qu'un chenapan) словами

«негодяй (плут, трус) и подлец» (qu'un pleutre et qu'un chenapan)[10]. «Рыцарь без страха» сначала превратился в «труса», а затем в «негодяя».

В письме от 25 января поэт подтвердил, что Дантес сыграл во всей истории жалкую роль, а чувства, вызванные в душе Пушкиной «великой и возвышенной страстью» молодого человека, угасли в презрении и отвращении[11]. Приведенные строки ограждали репутацию Натали от каких бы то ни было подозрений.

Визит к Вревской

Еще 22 января 1837 г. Пушкин обещал своей давней приятельнице Зизи — баронессе Евпраксии Вревской зайти к ней в понедельник. 25 января Зизи сообщила мужу: «Сегодня утром я собираюсь пойти с Пушкиным в Эрмитаж»[1]. 25 января утром поэт отправился к Вревской и по пути зашел на почту, чтобы отослать написанное с утра письмо Геккерну.

Пушкину тяжело было возвращаться домой, и он провел у Вревской почти весь день. Вероятно, они осуществили свои намерения и посетили Эрмитаж, после чего поэт остался у Зизи на обед. Брат мужа Евпраксии барон Михаил Сердобин засвидетельствовал в письме к С.Л.Пушкину от 27 марта 1837 г., что накануне дуэли Евпраксия обедала у него вместе с Пушкиным[2].

Решительный шаг был сделан, и поэт не мог таить чувств, терзавших его. Мать Вревской Осипова уже после дуэли писала А.И.Тургеневу: «Я почти рада, что Вы не слыхали того, что говорил он перед роковым днем моей Евпраксии»[3]. Тургенев просил Осипову: «Умоляю вас написать мне все... передайте мне верно и обстоятельно слова его; их можно сообразить с тем, что он говорил другим, и правда объяснится»[4]. Показания Евпраксии действительно могли бы помочь выяснению «правды» о последних днях Пушкина. Но баронесса Вревская, как и ее мать Осипова, опасалась касаться темы, которая могла омрачить память поэта. Лишь много времени спустя М.И.Семевский записал воспоминания Евпраксии Вревской и ее брата. Последний знал обо всем со слов сестры. Их показания резко расходятся между собой. Вопрос в том, чья память сохранила более точные сведения и кто оказался менее подверженным влиянию возникшей после гибели Пушкина традиции. По словам Вревской, «Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти»[5].

У Пушкина были свои представления о смерти, венчающей жизнь. Узнав о гибели Байрона в Греции, он заметил Вяземскому: « тебе грустно по Байроне, а я так рад [ей] его смерти, как высокому предмету для поэзии»[6]. Смерть на дуэли была в глазах Пушкина таким же высоким предметом для поэзии, как и смерть на войне.

Соответствовала ли истине запись поздних воспоминаний баронессы Вревской? В памяти Алексея Вульфа сохранились другие сведения: «Перед дуэлью Пушкин не искал смерти; напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт располагал поплатиться за это лишь новой ссылкой в сельцо Михайловское, куда возьмет и жену»[7]. Если версия Вульфа достоверна, становится понятным, почему Осипова отказалась сообщить друзьям Пушкина о содержании беседы.

Сохранился еще один документ — письмо Вревского, мужа Евпраксии. Барон был в столице и узнал от жены о ее разговоре с Пушкиным, когда поэт был у них в гостях. Вревский писал сестре Пушкина: «Евпраксия была с А.С. все последние дни его жизни. — Она находит, что он счастлив, что избавлен тех душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования»[8]. О беседе Евпраксии с умирающим Пушкиным ничего не известно. Такая беседа вообще не могла состояться из-за тяжелого состояния раненого. Запомнившиеся ей слова были произнесены поэтом, конечно же, не на смертном одре, а накануне дуэли. 25 января Пушкин облегчил душу, сообщив Зизи о предстоящем поединке.

Вяземский записал слова, сказанные поэтом перед самым поединком и услышанные д' Аршиаком: «С начала этого дела я вздохнул свободно только в ту минуту, когда именно написал это письмо»[9]. Именно с таким настроением явился поэт сначала в дом к Вревской, а днем позже в гостиницу Демута к Тургеневу. Пушкин испытал огромное облегчение оттого, что исполнил свой долг и отправил вызов Геккернам.

Пушкин приготовился к худшему. В любом случае поединок должен был резко изменить его судьбу и избавить от невыносимых душевных терзаний.

Из всех дуэлей Пушкина лишь одна была сходна с кровавым поединком 1837 г. Впервые поэт стал жертвой оскорбительных наветов, когда бретер и авантюрист Федор Толстой — "Американец" распустил слух, будто власти высекли его за либерализм и эпиграммы на царя. По молодости Александр Сергеевич счел себя навеки опозоренным и всерьез обдумывал, надо ли ему покончить с собой или убить Александра I. Император, конечно же, не отдавал приказа о сечении опального стихотворца. Пушкина никто не сек. Но молва связала два имени, и, беззащитный перед клеветой, поэт готов был пролить царскую кровь или же кончить жизнь самоубийством. История несостоявшейся дуэли с Толстым предвосхитила схему поведения поэта в последней дуэли.

Первым, кто после поединка назвал Пушкина самоубийцей, был Геккерн[10]. Тем самым виновник трагедии пытался переложить всю вину на погибшего.

В ноябре 1836 г. Пушкин свел счеты с Дантесом, выставив его на осмеяние. В то время он отказался от поединка с гвардейцем, чтобы поразить обличительным письмом старого Геккерна. В январе 1837 г. разоблачительное послание Геккерну-отцу было изготовлено в трех экземплярах. Может быть, обличение отца имело в глазах Пушкина большее значение, чем поединок с сыном.

Из трех экземпляров письма два подверглись переделке, так как предназначались для общества и требовали пристойности. Надо помнить, что дуэль была всего лишь ступенью к акту мщения министру Геккерну, которого поэт считал источником всех зол. Если бы дипломат, получив оскорбительное письмо, не принял вызов, его ждало бы публичное поругание. Такой исход был вполне вероятен.

Вступив в бой с людьми, оскорбившими его, Пушкин, разумеется, уповал на победу. У поэта было четверо маленьких детей. Он был привязан к старшей дочери Маше и к сыновьям, младшему из которых было восемь месяцев. Гибель отца превратила бы их в нищих сирот. Думал ли об этом поэт перед поединком?

Обстоятельства подвергли великое жизнелюбие Пушкина суровому испытанию. Мучения стали невыносимы. На пути с места поединка Пушкин просил секунданта не скрывать от него мнение врачей, если те найдут его рану смертельной: «Меня не испугаешь, — сказал он, — я жить не хочу»[11]. Пушкин сказал Данзасу то же самое, что накануне говорил Вревской.

Поэт твердо решил драться, чтобы защитить свою честь и дать всему ходу своей жизни новый поворот. Неизбежным следствием дуэли была бы отставка и ссылка в деревню. Ссылка означала бы конец царской службы, избавление от цензурных притеснений, неотступных домогательств заимодавцев и ростовщиков, словом, конец гибельной столичной жизни.

Вревская была соседкой Пушкина по имению, что и определило направление беседы. В течение месяца, с конца декабря 1836 г. поэт вел переговоры с П.А.Осиповой о продаже ей Михайловского. Он намеревался продать свою долю земли с крепостными, но сохранить усадьбу с садом и десятком дворовых[12]. Пушкин изложил свой проект Вревской, и та от имени мужа выразила согласие, чему он был очень рад.

Мысль о переезде в деревню не покидала Александра Сергеевича до последних дней жизни. Сельцо Михайловское находилось в нескольких днях пути от Петербурга. Но путь туда с места поединка был совсем не так короток, как казалось поэту.

Под впечатлением рассказов сестры Вульф сделал некоторые выводы относительно дуэльной истории. Они сформулированы в его дневниковой записи от 21 марта 1842 г. Вульф писал, что Пушкин, «женатый, отец семейства, знаменитый — погиб жертвою неприличного положения, в которое сам себя поставил ошибочным расчетом». О каком ошибочном расчете писал Вульф? О дуэли и повторной ссылке в Михайловское или о чем-то совсем ином? Ответить на это невозможно. Вульф был давним приятелем Пушкина. Но о событиях последнего года он знал лишь со слов сестры.

Повторим еще раз: Александр Сергеевич проявлял живой интерес к биографии Байрона, в которой видел много общего со своей биографией. И Байрон, и Пушкин гордились принадлежностью к старинному дворянству. «Говорят, — писал русский поэт, — что Байрон своею родословною дорожил более, чем своими творениями. Чувство весьма понятное. Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта: напротив того, слава, им самим приобретенная, нанесла ему и мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного барона, предавая имя его на произвол молвы»[14]. Эти строки, по справедливому замечанию Я.Л.Левкович, Пушкин пишет как будто о самом себе[15].

Мелочные оскорбления, причиненные русскому поэту, были более горькими, чем унижения «благородного барона». Оба реагировали на вызов, следуя своему характеру. Пушкин солидаризировался с биографом Байрона Томасом Муром в оценке личности английского поэта. Но его слова звучат как исповедь. Поэт вновь пишет о себе: «...в характере Б. ярко отразились и достоинства и пороки многих из его предков: с одной стороны, смелая предприимчивость, великодушие, благородство чувств, с другой — необузданные страсти, причуды, дерзкое презрение к общему мнению»[16]. Байрон унаследовал характер от разбойников-норманнов, Пушкин — от Ганнибалов. Бранное письмо к Геккерну служило примером «необузданных страстей» и «дерзкого презрения» Пушкина к общественным приличиям.

26 января

Полагают, что Вяземская точно передала обстоятельства и характер своего разговора с поэтом на вечеринке 25 января. Но что-то «заставило Пушкина в разговоре с Вяземской исказить действительное положение дел, сказав, что письмо уже послано», тогда как на самом деле письмо Геккерну было отправлено не вечером 25, а утром 26 января[1]. Это мнение разделяет Я.Л.Левкович. По ее предположению, Пушкин написал письмо Геккерну 25, а отослал 26 января[2]. Но эти догадки произвольны и противоречат показаниям ранних и достоверных источников. Пушкин нисколько не хитрил, сообщая Вяземской о том, что Дантеса ждет дома отправленное им, Пушкиным, письмо.

Вяземский, прежде чем отдать автограф Нессельроде, скопировал текст и снабдил свою копию пометкой: «Копия с собственноручной копии письма Пушкина к Министру Геккерну (посланного к нему, вероятно, в понедельник 25 января 1837 г.)»[3]. В своих февральских письмах 1837 г. князь Петр безоговорочно подтвердил, что Пушкин отослал письмо Геккерну в понедельник 25 января, а «вторник прошел в переговорах»[4]. Видимо, со слов Геккерна прусский посланник Либерман в официальной депеше королю от 30 января писал о Пушкине: «В прошлый понедельник (25 января. — *Р.С.*) он отправил нидерландскому министру новое письмо»[5].

Послание Геккерну было написано в состоянии крайнего гнева. 26 января к Пушкину вернулось душевное равновесие. В этот день он изготовил новую версию отправленного накануне письма. Какую цель он преследовал? Ответ на этот вопрос дает его ноябрьское письмо, заканчивавшееся словами: копию письма «сохраняю для моего личного употребления»[6]. Копия 26 ноября предназначалась для личного употребления, а точнее — для оповещения общества. Письмо по версии 26 января было изготовлено в двух экземплярах. Во второй копии дата была исключена как несущественная деталь. Письмо приобрело значение публичного обращения к обществу.

Пушкин отнюдь не искажал истину, сообщая Вяземской об отсылке письма 25 января. В искажении действительности следует упрекнуть, по-видимому, не его, а Геккерна. Утреннюю почту, сданную накануне вечером, столичные почтальоны доставляли от 10 до 11 часов утра. Память изменила дипломату. 30 января 1837 г. в отчете голландскому министру иностранных дел Верстолку он писал: «...прошлый вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда мы собирались на обед к графу Строганову... я получил письмо от господина Пушкина»[7]. Обеды начинались в 5-6 часов. Таким образом, по версии барона, он получил письмо не утром, а вечером. Исправление понадобилось, чтобы объяснить, чем было вызвано промедление в 7-8 часов. По дуэльным правилам дворянин, получив картель, должен был немедленно дать ответ. Но письмо Пушкина не содержало формального вызова, и потому Геккерн не спешил.

С утра 26 января Пушкин взялся писать ответ на любезное письмо старого боевого генерала К.Ф.Толя. Генерал хвалил «Историю Пугачевского бунта» и благодарил поэта за то, что тот воздал должное заслугам забытого генерала Михельсона, его сподвижника. Пушкин отвечал: «Его заслуги были затемнены клеветою; нельзя без негодования видеть, что дол-

жен он был претерпеть от зависти и неспособности своих сверстников и начальников». Малое слово сочувствия генерала, весьма далекого поэту, неожиданно превратило его в символ грядущего торжества справедливости, в глашатая общества, и Пушкин сочувственно откликнулся: «Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное таким человеком, каков Вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину. Истина сильнее царя»[8]. В письме к Толю Пушкин непроизвольно выразил собственные переживания того дня. Честь, оскорбленная клеветой, судьба гения и истина — об этом думал Пушкин перед поединком.

Покончив с почтой, он отправился к Тургеневу. 28 января последний писал: «...третьего дня провел с ним часть утра; видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости: мы долго разговаривали о многом и он шутил и смеялся». В дневнике Тургенев записал: «26 января. Я сидел до 4-го часа... успел только прочесть Пушкину выписку из парижских бумаг». Поэт принес Тургеневу в подарок «Поэмы и повести» в 2-х частях с дарственной надписью. Друзья не успели сделать срочную работу и, видимо, договорились встретиться еще раз. Однако планы Пушкина изменились, и он прислал Тургеневу записку: «Не могу отлучиться. Жду вас до 5 часов». Кажется, записка не застала Тургенева дома, так как он после 3 часов дня ушел к Бравуре, а от него на обед к Софье Шаховской, которая «поручила прислать шелков из Парижа» (Тургенев собирался во Францию)[9].

Днем 26 января Пушкин, не дождавшись ответа от Геккерна, стал проявлять беспокойство.

Почта доставила письмо Пушкина в голландское посольство с утра. Барон Геккерн не знал, на что решиться, и надеялся, что Пушкин успокоится и его вновь удастся отговорить от дуэли. Однако во второй половине дня произошло что-то такое, что вынудило дипломата признать тщетность своих усилий и принять вызов.

В письме в Москву В.Ф.Вяземская как бы мимоходом упомянула о том, что на другой день после раута 25 января «Пушкин отправился на бал к графине Разумовской. Постучавшись напрасно в дверь всего семейства Г[еккерна], он решил им дать пощечину, будь то у них (на дому) или на балу»[10]. Итак, 26 января Пушкин, прождав до 5 часов, явился на порог дома Геккернов и громко постучал в дверь «всего семейства». Угроза публичного скандала положила конец колебаниям посла. Поединок стал неизбежен.

Связанный честным словом, Пушкин не мог потребовать от Геккернов удовлетворения. В ноябрьском письме поэт саркастически предлагал дипломату найти выход из положения, «...чтобы не плюнуть вам в лицо». Согласно кодексу дворянской чести, плевок или пощечина считались крайним, но отнюдь не зазорным средством защиты своего достоинства. В январском письме выражения были несколько смягчены. Послание к Геккерну заканчивалось фразой: «...Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я, конечно, не остановлюсь»[11]. О каком скандале шла речь? Очевидно, дело не сводилось к пощечине. Поэт жаждал публично обличить своего обидчика.

Очевидно, Пушкин не был допущен в голландское посольство. Но «стук

в двери» возымел действие. Геккерн бросился к Строганову за советом. Опытный дипломат, Строганов мог использовать последний шанс, чтобы предотвратить кровопролитие. Но его совет положил конец колебаниям барона. Геккерн писал в письме голандскому министру Верстолку: «Я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан»[12]. Согласно воспоминаниям А.И.Васильчиковой, получившей один из экземпляров пасквиля, посол показал Строганову письмо Пушкина, после чего «старец объявил решительно, что “за оскорбительное письмо непременно должно драться, и дело было решено”»[13].

Реакция Строганова убедила Геккернов в том, что высшее общество и двор будут на их стороне, если Дантес накажет обидчика.

Кавалергард, со своей стороны, предпринял шаги к тому, чтобы заручиться одобрением товарищей по полку. По понятиям того времени, оскорбление офицера пятнало честь всего полка. Поручик был назван сифилитиком, оскорблена честь его матери. Позор мог быть смыт только кровью. Так поединок Дантеса превратился «в дело партии, в дело чести полка»[14].

За посягательство на честь гвардейского офицера поэта следовало покарать жестоким образом. Сам император утверждал, что правым в поединке был офицер. Он писал: «Дотоль Пушкин себя вел, как каждый бы на его месте сделал... мало кто оправдывал поведение Дантеса и, в особенности, гнусного его отца Геккерна. Но последний повод к дуэли, которого никто не постигает и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерну, сделал Дантеса правым в сем деле»[15]. Геккерны торжествовали. Торжество их длилось недолго. Но этого времени хватило, чтобы убить поэта.

После обеда у Строганова Геккерн приступил к сочинению письма, которое секунданту д'Аршиаку предстояло передать Пушкину. Свое послание барон начал с обращения: «Милостивый государь! Не зная ни Вашего почерка, ни Вашей подписи, я обратился к виконту д'Аршиаку, который передаст вам это письмо с просьбой удостовериться, точно ли письмо, на которое я отвечаю, от Вас»[16]. Барон сознательно допустил неточность. Он имел по крайней мере одно письмо Пушкина и знал его почерк. Но дипломат пытался использовать последний шанс на достижение мира. Геккерны надеялись, что их свояк, возможно, одумался после вспышки бешенства и сожалеет об отправке письма, нарушавшего все светские приличия. В этом случае секундант вернул бы Пушкину его письмо и конфликт был бы разрешен по-родственному. В случае отказа Пушкина д'Аршиаку предстояло выполнить вторую часть поручения и вручить ему вызов на дуэль от имени отца и сына Геккернов. В письменном вызове дипломат подчеркивал, что в ноябре Пушкин сам отказался от поединка. «Доказательство того, что я говорю, — писал посол, — писанное Вашей рукой, налицо и находится в руках секундантов»[17]. «...Виконт д'Аршиак едет к Вам, — продолжал посол, — чтобы условиться о месте встречи с бароном Геккерном; прибавляю при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки»[18]. Барон закончил послание отменно вежливой угрозой: «Впоследствии, милостивый государь, я найду средство научить вас уважению к званию, в которое я облечен и которое никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может».

На письме помимо подписи Геккерна красовалась также подпись сына: «Читано и одобрено мною».

Д'Аршиак получил от Геккернов письмо и тотчас отправил поэту записку: «Прошу г. Пушкина сделать мне честь сообщить, может ли он меня принять, и если он не может сейчас, то в каком часу это будет возможно»[19]. По возвращении домой Пушкин ознакомился с запиской секунданта и пригласил его в дом. По словам Вяземского, «Д'Аршиак принес ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына»[20]. Пушкин не мог назвать французу имени своего секунданта. По этой причине секундант Дантеса прислал ему вторую записку с уведомлением, что будет ждать «лицо, уполномоченное на переговоры», у себя дома «до 11 часов вечера нынешнего дня, а после этого часа — на балу у графини Разумовской»[21]. Переписка между Пушкиным и д'Аршиаком продолжалась не менее 4-6 часов. Около полуночи поэт появился у Разумовской, где отыскал знакомого секретаря английского посольства Артура Меджниса и попросил его быть секундантом. На балу поэт был спокоен, разговаривал, шутил и смеялся[22].

В ночь с 25 на 26 января, после окончания раута, Вяземская передала мужу слова Пушкина об отсылке письма. Вяземский имел достаточно времени, чтобы поднять тревогу. Но он знал, что Пушкин готовит страшную месть Геккернам с публичными пощечинами и пр., и предпочел остаться в стороне. Вечером 26 января князь видел на рауте у графини Разумовской Пушкина, объяснявшегося с д'Аршиаком. По воспоминаниям Вяземских, «кто-то сказал Петру Андреевичу: «Подите посмотрите... тут дело недоброе». Вяземский направился в ту сторону, где были Пушкин и д'Аршиак; но у них разговор прекратился»[23].

К вечеру 26 января уже не только Вяземские, Виельгорский, Перовский, Вревская, Александрина Гончарова, но и Строгановы, офицеры кавалергардского полка, А.К.Воронцова-Дашкова, другие люди узнали или стали догадываться о готовившейся дуэли[24]. Друзьям Пушкина достаточно было обратиться к Жуковскому или к царю, чтобы предотвратить поединок. Но знавшие по разным причинам умыли руки.

Выбор Меджниса в качестве секунданта оказался неудачным. Д'Аршиак отказался говорить с ним, поскольку тот не дал окончательного согласия быть секундантом. Когда английский дипломат понял, что «дело не может окончиться примирением», он около 2 часов ночи известил поэта, что должен отказаться от роли секунданта[25].

Поединок

Утром 27 января Пушкин проснулся около 8 часов утра в бодром расположении духа. После чая сел за стол и много писал, «ходил по комнате, необыкновен[но] весело пел песни»[1].

Ровно в 9 часов утра Пушкин получил записку от д'Аршиака. Тот требовал назвать имя секунданта, с которым он мог бы составить протокол об условиях дуэли. «Необходимо, — писал он, — чтобы я переговорил с секундантом, выбранным вами, и при том в кратчайший срок». Д'Аршиак

сообщал, что будет ждать секунданта Пушкина у себя на квартире до 12 часов дня.

Отказ Меджниса поставил Пушкина в исключительно трудное положение. День поединка настал, а у него не было секунданта. Составив черновик ответа, Пушкин тут же разорвал его в мелкие клочки. В черновике значилось: «...т.к. это мой зять вызывает меня и считает себя оскорбленным, пусть он и идет и находит его (секунданта. — *Р.С.*) мне». После некоторого размышления поэт изменил фразу: «...т.к. эта компания вызывает меня и считает себя оскорбленной, пусть она мне находит его». В беловом варианте ответа значилось: «Так как вызывает меня и является оскорбленным г-н Геккерн, то он может, если ему угодно, выбрать мне; я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей»[2].

Пушкин насмешливо предложил принять лакея в секунданты с единственной целью. Он настаивал на поединке без каких бы то ни было предварительных переговоров между секундантами. Это должно было исключить возможность примирения. В записке далее значилось: «Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу своего только на место встречи». Граф Владимир Соллогуб описал обстоятельства дела очень точно: «...боясь новых примирителей, он выбрал себе секунданта почти уже на месте поединка»[3].

После получения записки от д'Аршиака поэт решил пригласить в качестве секунданта Константина Данзаса, подполковника инженерной службы. Но Данзас находился на службе, и Пушкин не знал, когда его лицейский приятель сможет освободиться. Были и другие соображения. Пушкин более всего боялся, что долгие переговоры и вообще любая задержка помогут Геккернам вновь уклониться от дуэли. По этим причинам он и предложил, чтобы секунданты договорились обо всем на поле боя.

Согласно помете д'Аршиака, письмо Пушкина было доставлено во французское посольство между 9.30 и 10 часами утра.

Посольство находилось в 5 минутах ходьбы от дома Пушкина. Геккерны и их секундант мгновенно реагировали на предложение поэта. Не прошло и получаса, как Пушкин получил еще одно письмо, составленное д'Аршиаком после совещания с Дантесом: «Оскорбив честь барона Жоржа де Геккерна, вы обязаны дать ему удовлетворение. Вам и следует найти себе секунданта. Не может быть и речи о подыскании вам такового». Секундант сообщил противной стороне, что барон Жорж де Геккерн «готов отправиться на место встречи», но настаивает на необходимости предварительных переговоров для составления условий поединка: «Свидание между секундантами, необходимое перед поединком, станет, если вы откажетесь, одним из условий барона Жоржа де Геккерна; а вы сказали мне вчера и написали сегодня, что принимаете все его условия»[4]. На новое послание д'Аршиака Пушкин ничего ответить не мог. Данзас освободился не скоро.

Когда и при каких обстоятельствах Данзас дал свое согласие на участие в дуэли? Сведения об этом легендарны. Тотчас после поединка раненый Пушкин просил царя простить секунданта Данзаса: «...он мне брат, он невинен, я схватил его на улице»[5]. Эти слова умирающего Жуковский передал Николаю I. Друзья приняли версию Пушкина. 28 января Тургенев писал сестре в Москву из квартиры раненого: «Пушкин встретил на улице

Данзаса, повез его к себе на дачу»[6]. Показания Тургенева заключали очень важный момент: совещание на даче. Но в окончательной версии, с которой Данзас выступил на суде, дача не фигурировала.

Случайно встретив на улице Пушкина, Данзас поехал по его просьбе к д'Аршиаку, где поэт изложил «все причины неудовольствия», и только после этого предложил Данзасу принять на себя обязанности секунданта. «После такого неожиданного предложения со стороны Пушкина, сделанного при секунданте противной стороны, — показал Данзас, — он не мог отказаться от соучастия»[7]. Выходило, что Данзас принял обязанности секунданта поневоле. Только после беседы с д'Аршиаком Данзас «отправился к Пушкину, который тотчас послал за пистолетами, по словам его, на сей предмет уже купленными»[8]. Данзас не желал компрометировать Пушкина и его друзей, а также самого себя. По этой причине он не изменил своих показаний, данных под присягой военному суду в феврале 1837 г., и повторил их в своих воспоминаниях. В 1863 г. А.Аммосов записал и опубликовал эти воспоминания[9].

Между тем версия Данзаса и Пушкина лишена правдоподобия. Предпочтение следует отдать сведениям, записанным Жуковским в январе 1837 г. В его конспекте значилось, что Пушкин встал в 8 часов, «после чая много писал — часу до 11-го. С 11 обед»; «весело пел песни — потом увидел в окно Данзаса, в дверях встр.[етил] радостно. — вошли в кабинет, запер дверь, — через неск[олько] минут посл[ал] за пистолетами»[10].

Итак, Пушкин встретился с Данзасом не на Цепном мосту, а у себя дома, на Мойке. Первым результатом их беседы было решение послать за пистолетами. В конспекте Жуковского не уточняется, кто был отправлен за пистолетами. Но Данзас признался в воспоминаниях, что нанял парные сани и «заехал в магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее»[11].

Вернемся к конспекту Жуковского: Пушкин увидел в окно Данзаса, встретил в дверях, «вошли в кабинет, запер дверь, — через несколько минут послал за пистолетами». Если Данзас был послан за пистолетами через несколько минут после появления на Мойке, то это значит, что разговор между друзьями был предельно краток.

В тесной квартире было слишком много домочадцев и посторонних: с утра сюда доставили записку о похоронах сына Греча, в 12-м часу пришел Цветаев, приказчик книгоиздателя Смирдина. Но главное было не в этом.

Пушкин понимал, что его секунданта ждет суд, и старался оградить его от судебных преследований. Он не желал, чтобы Данзаса видели в его доме, а потому и выпроводил товарища тотчас после его приезда. Решено было обсудить подробности дела на даче, которую Пушкины снимали на Каменном острове. Ради конспирации друзья вышли из дома порознь и встретились в условленном месте — на Цепном мосту у Летнего сада[12].

Следуя принципам лицейского товарищества, Данзас, не колеблясь, принял предложение Пушкина. Такой шаг грозил погубить всю его карьеру. Д'Аршиак был выслан из России и лишился места. Данзаса ждало разжалование в солдаты. Для него это означало катастрофу. Данзас был беден. «Он живет одним жалованьем, — писал о нем Жуковский, — и если вследствие [суда должен] будет [оставить] куда-нибудь сослан, то погиб [соверш]»[13].

Жуковский весьма подробно описал все, что произошло дальше: «...по

отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу, — возвратился, — велел подать в кабинет большую шубу и пошол пешком до извощика. — это было ровно в 1 ч. — возвратился уже темно, в карете»[14].

Итак, у нас имеется точное указание на время, когда Пушкин покинул дом. Срок, названный д'Аршиаком, давно истек. Поэту пришлось спешить. Данзасу не требовалось много времени, чтобы заехать за пистолетами, а Пушкину — чтобы переодеться. Промежуток времени между приездом Данзаса и встречей на Цепном мостике, очевидно, был очень коротким. Весь эпизод выглядел так. Пушкин послал Данзасу записку, видимо, сразу после получения письма д'Аршиака в 9 часов, но подполковник смог освободиться от службы лишь через три-четыре часа. Он явился к поэту около часа дня, пробыл у него несколько минут, а спустя 20-30 минут встретился с ним в условленном месте, уже имея пистолеты.

Жуковский подчеркивает, что Пушкин перед выходом из дома оделся во все чистое. Почему он так спешил послать Данзаса за пистолетами, что даже не успел поговорить с ним? Приведенные сведения доказывают с полной очевидностью, что Пушкин покинул дом в 1 час дня, чтобы без промедления ехать на поле боя.

Свой ответ Дантесу и его секунданту, отправленный с утра, Пушкин закончил словами: «...я тронусь из дома лишь для того, чтобы ехать на место»[15]. Как видно, он решил провести в жизнь обозначенный в записке сценарий. Секунданты должны были уточнить условия прямо на месте поединка. Точное время поединка не было назначено. Но, по замыслу Пушкина, бой должен был состояться немедленно.

Встретившись у Летнего сада, друзья отправились на дачу, где Пушкин показал секунданту свое письмо к Геккерну. Данзас вспоминал, что поэт прочел вслух списанную им самим копию с письма и тут же отдал ее секунданту[16]. Пушкин был в нетерпении. Назначенное противной стороной время истекло. Друзья имели возможность обсудить подробности, пока ехали на Каменный остров. Отсюда следует, что на даче они оставались недолго.

С Каменного острова Пушкин и Данзас двинулись на Большую Миллионную[17]. Там, во французском посольстве, Пушкин представил Данзаса д'Аршиаку. Осуществить план немедленной дуэли Пушкину не удалось из-за возражений противной стороны. Пушкин оставил Данзаса наедине с д'Аршиаком для утверждения условий поединка, а сам уехал домой.

Жуковский составил конспект в квартире умирающего Пушкина, еще не располагая полной информацией о происшедшем. Поэтому он утверждал, что Пушкин вышел из дома, готовый к поединку, в 1 час дня, а вернулся домой раненый в сумерки. В ближайшие дни после кончины Пушкина его друзья собрали более подробные и точные сведения. В черновике письма к С.Л.Пушкину от 17 февраля 1837 г. Жуковский отметил, что Александр Сергеевич «за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой»[18]. Его слова находят полное подтверждение в документах.

Возвратившись из посольства домой, поэт успел написать упомянутое Жуковским письмо. 26 января писательница Ишимова прислала поэту приглашение посетить ее 27 января. В означенный день Пушкин написал ей ответное письмо с сообщением о невозможности принять приглашение. Поэт находился в состоянии крайнего нервного напряжение. Обращение к книге

Ишимовой развлекло его, и он сделал писательнице комплимент: «Сегодня я нечаянно открыл вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» Намереваясь привлечь Ишимову к сотрудничеству в журнале «Современник», Пушкин заказал ей перевод из сборника английских стихов, изданного в Париже в 1829 г. Письмо и книгу поэт отправил со слугой. Ишимова получила посылку «в третьем часу пополудни», т.е. после 2-х часов дня[19]. С Мойки до дома Ишимовой на Фурштадтской улице можно было добраться за 15-20 минут, а это значит, что Пушкин отослал письмо незадолго до 2-х часов дня. Следовательно, он определенно вернулся домой после поездки на Каменный остров.

В то время как поэт писал Ишимовой, секунданты по настоянию д'Аршиака составили письменный документ. Ровно в 2 час. 30 мин. они скрепили Условия дуэли своими подписями[20].

В ноябре 1836 г. Пушкин дал наказ секунданту Владимиру Соллогубу договориться об условиях дуэли, сказав при этом: «Чем кровавее, тем лучше»[21]. Данзас получил, очевидно, такую же инструкцию. Согласно условиям, выработанным на даче и утвержденным в посольстве, противники должны были стреляться на расстоянии 10 шагов. Пистолеты держали в вытянутой руке, поэтому расстояние уменьшалось до 8-9 шагов. Дуэль превращалась в расстрел. В случае промаха решено было стреляться вторично. Поэт шел навстречу гибели, и даже ближайшие друзья не понимали его и считали, что он внес в дело свою долю безумия.

Секунданты договорились, что поединок состоится в тот же день, в пятом часу, т.е. через полтора часа после подписания условий дуэли, в пустынной местности за Черной речкой.

Ранее 4-х часов дня поэт отправился в кондитерскую Вольфа и Беранже на Невском, где выпил стакан воды и стал ждать Данзаса. Секундант зашел в кондитерскую за Пушкиным и передал ему условия дуэли. По воспоминаниям Данзаса, «не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все»[22]. Покинув кондитерскую, друзья сели в сани и отправились через Троицкий мост на Черную речку.

По пути к месту дуэли Пушкин встретил жену, ехавшую навстречу в экипаже. Но видел ее только Данзас. Наталья по близорукости также не увидела мужа.

«Было половина пятого, — писал д 'Аршиак Вяземскому, — когда мы прибыли на назначенное место. Сильный ветер, дувший в это время, заставил нас искать убежище в небольшой еловой роще»[23]. Роща располагалась неподалеку от Комендантской дачи. Противники прибыли к месту дуэли, когда солнце только что опустилось за горизонт. Погода, по словам Данзаса, была ветреная, морозная и ясная. Быстро темнело.

Выбрав полянку, секунданты протоптали дорожку в глубоком снегу. Данзас спросил Пушкина, одобряет ли он выбранное место. Тот отвечал: «Мне это совершенно безразлично; только постарайтесь сделать это возможно скорее»[24]. Надвинулись сумерки, и поэт боялся, что поединок не состоится из-за темноты.

По знаку, данному Данзасом, противники стали сходиться. Пушкин быстро подошел к барьеру и поднял пистолет. Но Дантес поспешил выстрелить, не дойдя шага до барьера. Раненный, Пушкин упал и некоторое время лежал неподвижно, уткнув голову в шинель, служившую барьером. Се-

кунданты бросились к нему. Кавалергард сделал движение в сторону раненого. Пушкин удержал его словами: «Подождите! У меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Опершись на левую руку, он несколько приподнялся и долго целился, а затем выстрелил. Когда Дантес упал, Пушкин крикнул: «Браво!» — и упал на землю[25]. После этого поэт, по словам д'Аршиака, дважды впадал в полуобморочное состояние, на несколько мгновений рассудок его помутился, но тотчас же он вновь пришел в сознание. В записке суду французский дипломат не пожелал пересказать свой диалог с раненым, указав кратко на помутнение его рассудка. П.А.Вяземский беседовал со всеми участниками дуэли и воспроизвел разговор, о котором умолчал д'Аршиак. Пушкин, придя в себя после обморока, спросил д'Аршиака: «Убил я его?» «Нет, — ответил тот, — вы его ранили». «Странно, — сказал поэт, — я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... Впрочем, все равно, как только мы поправимся, снова начнем»[26]. Слова Пушкина доказывали, что он явился на поле боя с намерением застрелить Дантеса. Такими же были намерения кавалергарда в отношении своего противника.

В воспоминаниях Данзаса, записанных спустя четверть века, эпизод передан менее точно. Раненый Пушкин, произведя выстрел, будто бы спросил упавшего Дантеса, куда он ранен, а тот отвечал, что в грудь[27].

Скорбя о павшем поэте, Жуковский утверждал, что он был «убит человеком без чести; дуэль произошла вопреки правилам — подло»[28].

Мнение Жуковского воспроизводит легендарные данные. В действительности поединок был проведен в строгом соответствии с кодексом дуэли[29].

Единственным отступлением от правил было то, что Данзас передал раненому пистолет из запасной пары стволов. Пушкин уронил свой пистолет, отчего ствол оказался забит снегом. Это и вызвало замену оружия. Секундант Дантеса заявил по этому поводу формальный протест, на который Данзас не обратил внимания.

Пушкин прибыл на Черную речку в нанятых по дороге санях. Геккерны проследовали в Новую Деревню в двух экипажах. После боя секундант усадил Дантеса в его сани и стал ждать. Извозчикам пришлось разобрать забор, чтобы перенести тяжело раненного Пушкина на дорогу. Неподалеку от места поединка находился экипаж Геккерна. Посол ждал исхода поединка, таясь на дороге за Комендантской дачей. После выстрелов он поспешил к месту боя. Данзас ответил согласием, когда Геккерны предложили ему воспользоваться их экипажем. Сам посол, найдя простые сани, вернулся домой окольными путями[30].

Царское письмо

Дорога в город была очень тяжелой. Несколько раз Данзас принужден был останавливать экипаж из-за обмороков и страданий раненого.

В распоряжении исследователя имеется записки трех докторов, лечивших Пушкина. Они сохранились среди бумаг Жуковского. Из трех записок только записка домашнего врача Пушкиных И.Спасского имеет дату. Документ писан писарским почерком, в конце его иным почерком написаны инициалы автора и дата: 2 февраля 1837 г.

В своих воспоминаниях Константин Данзас утверждал, будто Пушкин имел мало доверия к Спасскому[1]. Но то ли Данзас был плохо осведомлен, то ли его подвела память. Ольга Сергеевна засвидетельствовала в письме от 24 октября 1835 г., что ее брат Александр «верит в Спасского, как евреи верят в приход Мессии, повторяет все, что тот говорит»[2].

Друзья поэта решили представить двору и обществу отчет об обстоятельствах смерти поэта не от своего имени, а от лица нейтрального — Спасского. Именно этим обясняется сугубо официозный характер записки врача. Записка представляла Пушкина благонамеренным христианином и верноподданным царя. На документе имеется помета Жуковского. Особенности стиля наводят на мысль, что подлинным автором Записки был не врач, а Жуковский и его окружение.

Содержание Записки было таково. Доктор Спасский прибыл в дом раненого в 7 часов вечера и по желанию родных и друзей напомнил ему об исполнении христианского долга. Царский хирург Арендт, прибывший на Мойку ранее Спасского, уехал во дворец, откуда вернулся в 8 часов, после чего умирающий причастился. Утром 28 января Пушкин простился с друзьями. На вопрос Жуковского, что сказать царю, он отвечал: «Скажи, жаль, что умираю, весь его бы был». В ожидании Арендта поэт произнес: «Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно»[3].

Когда Пушкин принял причастие? Чтобы ответить на этот вопрос, надо точно установить время посещения его дома врачами. Первым, в 6.15 вечера, прибыл на Мойку Шольц, акушер, который помог Данзасу найти хирурга Задлера в доме Геккерна, где тот перевязывал рану Дантеса. К моменту ухода Шольца у раненого были, кроме Задлера, Арендт и Саломон. Жуковский явился в дом в 10 час. вечера и застал там одного Арендта. Последний вскоре покинул дом Пушкина и отправился в Зимний дворец, чтобы доложить о случившемся царю. Но Николай I в тот вечер был в театре и вернулся, как значится в камер-фурьерском журнале, в 10.55 вечера[4]. Государь нашел во дворце министра Нессельроде, командира кавалергардского полка Р.Е.Гринвальда и дивизионного генерала графа Апраксина, сообщивших ему о дуэли со слов Геккерна[5]. Спасский пометил, что Арендт, уезжая от Пушкина, обещал приехать в 11 час. Жуковский поправил: «в час»[5]. Задержка Арендта объяснялась тем, что Николай I решил написать записку Пушкину не сразу, а примерно через 2 часа после возвращения из театра. Около часа ночи к Арендту явился от царя фельдъегерь с приказом немедленно ехать к Пушкину.

А.И.Тургенев узнал о ранении Пушкина вечером. Он тотчас бросился в дом Пушкина, где застал Жуковского. В полночь Тургенев уехал, а с 2 часов ночи до 4 вновь был возле раненого. В 8 утра Тургенев послал из дома слугу узнать о состоянии Пушкина. В 9 час. он послал письмо сестре, которое следует считать самым раним письменным свидетельством о событиях 27 января. Тургенев помечал день и час составления своих писем и записок. Это позволяет выяснить, чему он был очевидец, а что знал с чужих слов. Как свидетель Тургенев записал разговор поэта с Арендтом, состоявшийся до полуночи: «Пушкин сам сказал доктору , что он надеется прожить два дня, просил Арендта съездить к Государю и попросить у него прощения Секунданту Данзасу... и себе самому». (Тургенев — сестре. 28 января. 9 час.)[7]. Данные Тургенева совпадают со сведениями В.Ф.Вязем-

ской, изложенными в письме Орловой. Княгиня Вера появилась в доме Пушкина в числе первых, ранее Арендта и Жуковского. По ее словам, Пушкин просил Арендта «поехать к императору получить у него прощение себе (Пушкину) и своему секунданту»[8]. Прощения себе поэт просил за то, что не выполнил обещания, данного царю.

Тургенев уехал от Пушкина в 12 ночи, не дождавшись возвращения Арендта в час ночи. В своем письме в 9 утра он кратко, с чужих слов изложил суть обращения царя к Пушкину. Через Арендта Николай I передал, что «если он исповедуется и причастится, то ему (царю. — *Р.С.*) это будет очень приятно и что он его простит»[9]. Опираясь на сообщение Тургенева, П.Е.Щеголев допускает возможность того, что Арендт передал умирающему волю императора на словах, без письма. Однако такое предположение противоречит фактам. Уже в 11 часов утра 28 января, будучи на Мойке, Тургенев спешно написал второе письмо сестре, в котором привел текст письма императора к Пушкину. Позднее он упомянул о царском письме в дневнике с пояснением: «Государь присылал Арндта с письмом, собственн. карандашом: только показать ему»[10]. Итак, содержание царского письма Тургенев изложил сначала кратко, своими словами, а потом в полном виде. Смысл царского обращения Тургенев уловил очень точно. Монарх ставил свое прощение в зависимость от того, причастится ли умирающий.

Царь знал, каким огромным влиянием на умы пользуется поэт, и желал саму смерть гения превратить в символ его примирения с властями. От императора Арендт получил наказ после беседы с поэтом тотчас ехать во дворец с отчетом. «Я не лягу, я буду ждать», — этими словами заканчивался царский наказ доктору. Друзья поэта послали за священником в ближайшую церковь, и в присутствии Арендта раненый исповедался и причастился. Обряд совершил протоиерей церкви Нерукотворного образа при Главных конюшнях Петр Песоцкий. Какие слова произнес умирающий на исповеди, невозможно узнать. Но они покорили престарелого священнослужителя. Княгиня Е.Н.Мещерская в письме от 16 февраля 1837 г. следующим образом передала слова Петра Песоцкого, сказанные им после кончины поэта: «Я стар, мне уже недолго жить... Я для себя самого желаю такого конца, какой он имел»[11]. У царя сложилось свое впечатление. После кончины поэта он сказал Жуковскому: «...мы насилу довели его до смерти христианской»[12].

Пушкин просил о том, чтобы ему оставили записку Николая. Но собственноручная записка имела значение именного царского рескрипта. Император не вполне уяснил обстоятельства дела и, не приняв окончательного решения, велел тотчас по прочтении вернуть записку себе.

Тургенев воспроизвел текст записки утром 28 января: «Естьли Бог не велит нам уже увидеться на этом свете, то прими мое прощение и совет умереть по христьянски и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми и я беру их на свое попечение»[13]. Тексты царского письма и дневника сходны, но не тождественны. В дневниковой версии к словам «умереть по христиански» добавлено: «исповедаться и причаститься». Слова о детях: «я беру их на свое попечение» заменены словами: «я буду пещись о них»[14]. Совершенно очевидно, что друзья Пушкина имели возможность прочесть царское письмо, но не получили разрешения скопировать его. Тургенев записал два варианта текста со слов Жуковского и

Вяземских. В письме Булгакову Вяземский пересказал текст следующим образом: «Есть ли Бог не приведет нас свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет: умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я их беру на свои руки»[15].

Жуковский в письме С.Л.Пушкину приводит более краткий текст, в котором отсутствуют слова: «на этом свете», «и причаститься» или «исповедаться и причаститься»; полностью исключена важная фраза о детях Пушкина: «Они будут моими детьми и я беру их на свое попечение»[16]. Письмо отцу поэта предназначалось для широкого распространения в обществе, и потому Жуковский должен был сократить первоначальный текст царской записки, воспроизведенный по памяти, с тем чтобы приблизить его к оригиналу.

Наиболее точно передал содержание царского обращения Арендт, доставивший записку Пушкину. 1 февраля Л.И.Голенищев-Кутузов записал с его слов : «В... записке император говорил, что он надеется еще его увидеть и что он советует ему исполнить свой долг христианина и быть спокойным насчет судьбы своей семьи»[17].

Письмо царя было, видимо, очень кратким. Николай I старался ободрить раненого и не упоминал о его смерти и о том, что они не увидятся более на этом свете. В изложении Жуковского обращение приобрело более возвышенный и патетический характер. Стиль пересказа выдавал руку опытного литератора.

Умирающий благодарил императора за милость и просил передать ему заверения в своей полной преданности. Сведения об этом заключены в самом раннем документе — письме Тургенева сестре, написанном во втором часу дня 28 января. Тургенев писал: «Прежде получения (в полночь. — Р.С.) письма государя (Пушкин. — Р.С.) сказал: "Жду царского слова, чтобы умереть спокойно"; и еще: "жаль, что умираю: весь его бы был", т.е. царев»[18]. Тургенев подчеркнул, что эти слова были произнесены «прежде получения письма» (от царя), т.е. ранее 1 часа ночи 28 января. (Тургенева в тот момент не было у постели умирающего, но он знал обо всем от Жуковского).

В более поздних источниках (записке Спасского от 2 февраля, а также письме Жуковского отцу поэта от 15 февраля) фраза — «Скажи царю... что мне жаль умереть, был бы весь его» — отнесена не ко времени «прежде получения письма» от царя в полночь, а уже к совсем другому времени — моменту прощания с друзьями утром 28 января[19]. Установленный факт раскрывает тайну рождения легенды.

Жуковский прощался с умирающим утром 28 января, в одно время с Тургеневым, Вяземским и другими лицами. В то время Тургенев ничего не слыхал о благодарных словах умирающего, хотя слова должны были стать главной новостью. В его письме, написанном утром, эта новость отсутствует. Зато она появляется во втором письме, составленном в час дня 28 января. Лишь 2-15 февраля друзья поэта изменили свое показание насчет времени обращения поэта к царю.

Версия Жуковского, по-видимому, не убедила Тургенева, так как он не внес ее в свой дневник. В записи Тургенева от 27 января было сказано кратко: «Пушкин сложил руки и благодарил Бога, сказав, чтобы Жуковский передал царю его благодарность»[20]. Можно полагать, описание Тур-

генева ближе всего к истине. У Пушкина не было сил для речей, и он не говорил, что весь был бы царев.

Отношения Пушкина и самодержца вступили в последнюю фазу — фазу осуждения, непонимания и конечного примирения.

Тотчас после кончины поэта Жуковский подал императору записку о милостях его семье. Легенда получила свое завершение: «Мною же передано было от Вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле, — значилось в записке. — Вот что он отвечал... (и что я вчера забыл передать В. В-у): как я утешен! скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в сыне, что я желаю счастия в счастии России»[21]. Стиль Жуковского невозможно принять за стиль Пушкина.

«Она ни при чем!»

Из записки доктора Спасского следует, будто Пушкин сразу после осмотра сказал домашнему врачу: «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица; вы ее хорошо знаете, она должна все знать»[1]. Однако слова врача не находят подтверждения в других источниках.

Раненый Пушкин вернулся на Мойку в карете затемно. Слуга внес его по лестнице в дом. Пушкин спросил его: «Грустно тебе нести меня?».

Жуковский записал в кратком конспекте: «Жена встретилась в передней — дурнота — ne entrez pas [не входите] его положили на диван»[2]. Когда раненого стали раздевать, Натали хотела войти, но муж громким голосом закричал: «Не входите». Когда его переодели, он допустил к себе жену. По словам Тургенева, ей было сказано, что муж ранен в ногу. В своем письме в Москву (27 января — начало февраля) Вяземская подтверждает этот факт.[3] Вяземская не отходила от Натали, и ее сведения были точными. По ее утверждению, поэт причастился втайне от Натальи.

С какими словами обратился Пушкин к жене? Наиболее раннюю запись находим в том же письме В.Ф.Вяземской. По ее свидетельству, поэт произнес: «Как я счастлив, я жив и нахожусь с тобой»[4]. Фраза Пушкина была вполне уместна в устах мужа, старавшегося успокоить жену.

А.И.Тургенев описал то, что происходило на его глазах между 10 и 12 часами. Иногда, но редко раненый подзывал к себе жену. Наконец он сказал: «будь спокойна, ты невинна в этом» (версия письма); «будь спокойна, ты ни в чем не виновата» (дневниковая версия)[5]. Это было сказано, когда поэт удостоверился, что положение его безнадежно. Лишь после этого, а не на пороге, умирающий объявил жене, что вина за случившееся ложится целиком на него одного.

На второй день поэт значительно чаще выражал желание видеть жену. Утром 28 января Наталья первая простилась с ним. В 11 час. утра Тургенев записал: Пушкин «часто призывает к себе на минуту жену, которая все твердила: "Он не умрет, я чувствую, он не умрет". Теперь она, кажется, видит уже близкую смерть»[6]. Пушкин сказал жене правду лишь после того, как скрывать ее стало невозможно. Ранее 11.30, согласно записи Тургенева, умирающий сказал: «Арендт меня приговорил; я ранен

смертельно». Жена упала ничком на пол перед образами в нервном припадке. Она не смогла прийти к мужу, когда он пожелел ее вновь увидеть[7]. Друзья с большой деликатностью описывали страдания Пушкиной. Тургенев сообщил брату 31 января: «Жена, за которую дрались, в ужасном положении. Она невинна, разве одно кокетство омрачило ее душу и теперь страшит ее воспоминаниями»[8].

При сватовстве поэт размышлял о возможности рокового исхода, когда Натали останется блестящей вдовой. В последние дни жизни умирающий более всего заботился о том, чтобы репутация вдовы осталась незапятнанной. Любая женщина в ее положении ударилась бы в слезы. Но к удивлению друзей, Наталья вовсе не плакала. Это обстоятельство тревожило умирающего. Тургенев записал его слова по поводу жены: «Он (Пушкин. — *Р.С.*)... говорит, что люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушною. Это решило его сказать ей об опасности»[9]. Аналогичное свидетельство принадлежит Вяземской: «Она чиста... и все-таки свет ее съест, — говорил умирающий Пушкин. — Скажите ей все: она у меня не притворщица. Ее осуждать будут в холодности, если мое положение не будет известно ей»[10]. Заподозрить Пушкину в равнодушии немыслимо. Правда, что окружающие твердили ей, что рана мужа не опасна, и тем внушали ложную надежду. Особенность характера Натали была та, что в минуты крайней тревоги и волнения она погружалась в оцепенение, которое походило на спокойствие и отрешенность. Именно так она реагировала на предательство Дантеса в ноябре 1836 г., удивляя всех своим спокойствием. А.И.Тургенев отметил, что после ранения мужа Натали погрузилась в «тихую безмолвную горесть», иногда «в исступленную горесть»[11].

Под утро 28 января крики раненого сбросили Вяземскую с дивана и разбудили Александрину. Натали в это время не раскрыла глаз, хотя за минуту до того говорила с Вяземской. При последнем крике Пушкина поднялась, и с ней случился новый припадок[12].

Упомянув о прощании Натальи с мужем 28 утром, Жуковский написал: «Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать!»[13] В.Ф.Вяземская уточняет, что при прощании поэт и его жена были немногословны: «Единственные слова, которые они произнесли, были слова прощания»[14]. Пушкин не нашел для Натальи особенных слов.

Александрина не оставляла сестру. После поединка Гончарова, согласно ее воспоминаниям, «видела Пушкина только раз, когда она привела ему детей, которых он хотел благословить перед смертью»[15]. Каждому из детей отец клал на голову руку, а потом давал знак увести.

За несколько часов до смерти Пушкин попросил, чтобы Натали покормила его моченой морошкой, потом погладил ее по голове и произнес: «Ну, ну, ничего, слава Богу, все хорошо»[16]. Пушкина как будто не замечала близившейся агонии. Даже ее защитник Тургенев не мог скрыть своего раздражения по этому поводу. Он писал в дневнике: «У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера!»[17] Аналогичное свидетельство оставил доктор Иван Спасский. Выходя от мужа за несколько мгновений до его кончины, Пушкина сказала: «...вот увидите, что он будет жить, он не умрет»[18]. Наталью пустили в кабинет уже после кончины мужа. «Она рыдает, рвется, но и плачет. ...Жена все не верит, что он умер: все не верит»[19]. Перед нами едва ли не первое упоминание о слезах Натальи Николаевны. Подле

дивана, на котором лежал умерший, жена кричала: «Бедный Пушкин! Бедный Пушкин! Это жестоко! Это ужасно! Нет, нет! Это не может быть правдой!» Она просила прощения, трясла бездыханное тело, чтобы получить от него ответ. Присутствующие боялись за ее рассудок[20]. Свидетельства Данзаса и Вяземской совпадают между собой. Допущенная к покойному, Наталья Николаевна, рыдая, толкала тело и кричала: «Пушкин, Пушкин, ты жив?»[21] Долли Фикельмон очень точно заметила, что глубоко несчастная жена «не хотела ни поверить своему горю, ни понять его»[22].

Перед кончиной, писала сестра Пушкина, поэт «сказал Наталье Николаевне, что она во всем этом деле ни при чем. Право, это было больше, чем благородство, — это было величие души, это было лучше, чем простить»[23].

Слова Пушкина по поводу жены вовсе не были ложью во имя спасения. Раненому поэту не надо было лукавить перед лицом смерти. Он сказал то, что думал, и то, что точно соответствовало истине. Вызов Пушкина не был продиктован ревностью. После свадьбы Екатерины ни кавалергард, ни Наталья не давали повода для ревности. Наталья была по-прежнему предельно откровенна с мужем, и тот был совершенно уверен, что увлечение жены позади. Плутни Дантеса могут обмануть разве что легковерных.

В глазах друзей Натали была добродетельной женщиной, не преступившей супружеского долга. Но в их отзывах не было великодушия, звучавшего в словах Пушкина. Ольге Долгоруковой, дочери Булгакова, князь Вяземский писал: «Бедный Пушкин был, прежде всего, жертвой (будь сказано между нами) бестактности жены и ее неумения вести себя»[24].

Перед кончиной поэт дал последний наказ Наталье: «Ступай в деревню, носи по мне траур два года, и потом выходи замуж, но за человека порядочного»[25]. Фраза эта была записана П.И.Бартеневым со слов В.Ф.Вяземской. В несколько иных выражениях передала последние наставления Пушкина Екатерина Долгорукая, ближайшая подруга Натальи: «Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтоб забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона»[26].

Натали не нашла в себе сил, чтобы присутствовать при выносе тела в полночь 29 января, не провожала гроб мужа к месту погребения и не навестила отца покойного при проезде через Москву в имение под Калугой. В деревне вдова пробыла два года.

Расставание с друзьями

Первым, кто пришел к раненому Пушкину, был Плетнев. Профессор российской словесности Петербургского университета, Плетнев, по словам его ученика И.С.Тургенева, не отличался большими познаниями в науке, но был предан поэзии: «Незыблемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому — вот весь Плетнев». После 1827 г. Плетнев стал ближайшим помощником Пушкина в литературных делах. Десять лет спустя профессор писал, что стал для Пушкина «и родственником, и другом, и издателем, и кассиром»[1]. В январе 1837 г. поэт долго беседовал с Плетневым о судьбе, Промысле, говорил, что высшее качество в людях — благоволение ко всем, обращался к тексту священного писания: «Слава в вышних богу, и на земле мир, и в человецех благоволение»[2]. Те же самые

10 Зак. 3925

идеи Пушкин развивал в заметке о книге итальянского карбонария Сильвио Пеллико, изданной на русском языке в январе 1837 г. Карбонарий провел много лет в тюрьме, но его книга не была напитана горечью; напротив, в ней обнаружились «умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства»[3]. Сильвио Пеллико, заключал поэт, принадлежит к избранным, которых «ангел господний приветствовал именем человеков благоволения»[4]. К таким же избранным принадлежал и сам Пушкин. Он действительно заслужил наименование «человека благоволения»[5]. Накануне дуэли решимость драться удивительным образом сочеталась в истерзанной душе поэта с чувством христианского благоволения.

Плетнев записал слова Пушкина о том, что люди внимательны к посторонним, но не к друзьям: «Я хочу доказать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг им и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей»[6].

Врач Шольц, явившийся на Мойку первым из врачей, нашел подле раненого Наталью Николаевну, Данзаса и Плетнева. На время врачебного обследования все они должны были покинуть кабинет. Уходя, врач спросил, не пригласить ли Плетнева, на что Пушкин отвечал: «Да, но я бы желал Жуковского»[7]. Послали за Жуковским. Его не было дома. Наконец его нашли. По пути к Пушкину Жуковский побывал в доме Вяземских и успел предупредить обо всем Виельгорского[8].

По словам Вяземского, до 7-го часа вечера он решительно ничего не знал о том, что произошло[9]. Однако он допустил некоторую неточность. Утром 27 января Катерина Геккерн передала дочери Вяземского слова мужа о том, что «он будет арестован». Вяземские получили новое подтверждение, что дуэль состоится в ближайшее время. Сразу после поединка Катерина прислала записку: «Мой муж только что дрался с Пушкиным... Пушкин ранен в поясницу. Поезжай утешить Натали».

Поведение Вяземских подтвердило, что они действительно отвратили лицо от дома Пушкиных. Можно было бы ожидать, что они в качестве ближайших друзей немедленно отправятся к раненому. Вместо этого они надумали послать к Натали свою дочь. Но дочь ждала ребенка, а потому, повествует Вера Вяземская, «я отправилась вместо нее». Будучи на Мойке, княгиня распорядилась послать свой экипаж за Арендтом, но тот вскоре приехал сам. После обследования раненого врач сказал Вяземской, ждавшей в прихожей, что рана смертельна. «Я написала эти слова мужу», — отметила княгиня. Некоторое время спустя Арендт еще раз, теперь более тщательно осмотрел Пушкина, после чего передал его просьбу послать за Жуковским. «Я написала. Мой муж приехал и не вошел к больному»[10]. Итак, княгине пришлось послать две записки мужу. Лишь после этого князь Петр появился в квартире поэта, но в комнате у умирающего не был. 29 января у постели Пушкина собрались все близкие, кроме Вяземского, который отправился по делам в министерство.

28 января Пушкин встретил Владимира Даля словами: «Плохо, брат!» В качестве врача Даль оставался у постели раненого много часов. По временам Пушкину было легче, и к нему возвращалась надежда. В ночь на 29 января поэт, по словам Даля, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» — «Никого» ... «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся, Пушкин, — сказал я»[11].

Среди физических страданий Пушкин помнил о своих обязательствах перед друзьями. «Вечно без копейки, вечно в долгах», — писал о поэте М.Корф[12]. Никогда поэт не был обременен столь непомерными долгами, как в последний год жизни. Ростовщики могли не беспокоиться о взыскании долгов, имея векселя, залог в виде серебра и пр. Пушкин должен был позаботиться о других заимодавцах. Наиболее точно эпизод описан В.Ф.Вяземской: «После исповеди он велел записать под свою диктовку долги, которые он оставлял без векселей»[13]. Без векселей поэта ссужали друзья и добрые знакомые, поклонники его таланта. Это были люди небогатые, и для них заем денег был сопряжен с жертвами. Невзирая на крайнюю слабость, Пушкин продиктовал Данзасу список долгов, после чего подписал реестр слабой рукой[14].

Придя в себя после утреннего приступа боли, поэт простился с друзьями. Каждому молча пожимал руку и делал знак выйти. Данзас, Жуковский и Даль поцеловали ему руку. Вяземскому поэт сказал: «Будь счастлив», его жене — «Прощайте»[15].

Проститься с поэтом пришел Виельгорский. Пушкин часто бывал в его доме. С 1834 г. их встречи участились. 30 июня 1836 г. Пушкины пригласили Виельгорского в крестные отцы к новорожденной Наталье. В музыкально-литературном салоне графа Пушкин провел много счастливых часов. Едва ли не самые знаменитые романсы на стихи поэта были написаны этим польским аристократом. Виельгорский был прекрасным музыкантом.

Музыка занимала исключительное место в жизни Пушкина. Для него триада — любовь, поэзия и музыка — была неразделима.

...Из наслаждений жизни,
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь — мелодия...

Даже для Натальи Пушкин не нашел слов, с которыми он обратился к Виельгорскому. Граф был единственным из людей, которому умирающий сказал, что любит его[16].

Был еще один человек, с которым разлучиться Пушкину было особенно тяжело. Екатерина Карамзина была первой любовью поэта[17]. Невзирая на плачевный исход романа, Пушкин никогда не мог забыть его[18]. Не терпя фальши и сентиментальности, Пушкин сохранял тон легкой насмешки, когда вспоминал первую любовь. Но над его сердцем она имела неизъяснимую власть до последнего часа. 28 января 1837 г. умирающий дважды просил, чтобы позвали Екатерину Андреевну. Карамзина пожала руку умирающему и, отойдя от его постели, перекрестила издали. Пушкин вновь позвал ее к себе, сказал тихо: «Перекрестите еще» и поцеловал руку[19]. Смерть подтвердила, что дар любви, целомудрие коренились в самой натуре великого поэта.

В покоях собрались жена, все члены семьи, ближайшие друзья. Из них умирающий выделил троих: Екатерину Карамзину, Михаила Виельгорского и Александра Тургенева. Последнему он дважды пожал руку[20]. Тургенев всю жизнь проявлял интерес к судьбе Пушкина, многократно хлопотал за него. Историк был человеком европейской образованности и много времени провел за рубежом. Поэт находил удовольствие в общении с ним, обсуждал книжные новинки Запада. В последние месяцы друзья виделись очень час-

то, иногда по 2 и 3 раза в день. В образе жизни и положении этих людей было много общего. Николай I не доверял своему камергеру, брату известного декабриста. Поэт находился под негласным надзором полиции. Размышляя о своей дружбе с Пушкиным, Тургенев писал: «Он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России»[21].

Перед смертью поэт вспомнил о своих лицейских товарищах. По свидетельству К.К.Данзаса, он промолвил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать»[22].

Раненый не вспомнил ни Соболевского, ни Нащокина и забыл вписать в реестр свой долг последнему.

Жуковский был маститым писателем, получившим признание двора и общества. Пушкин всегда мог рассчитывать на его дружескую помощь и совет, но при этом ему приходилось выслушивать менторские наставления. Вяземский значительно отдалился от Пушкина в последние месяцы его жизни.

Проститься с поэтом 28 января приехала Элиза Хитрово. У Пушкина больше не было сил, и он чувствовал близкую кончину. Раненый положил руку на пульс и произнес: «Смерть идет». Элизу не пустили к умирающему. Наблюдавший сцену Тургенев записал: «Приехала Ел. Мих. Хитрова и хочет видеть его, плачет и пеняет всем; но он не мог видеть ее». На другой день Хитрово вновь приехала и на коленях простилась с умирающим[23].

Кончина

В поединке на Черной речке поэт получил смертельную рану. Пуля перебила бедренную вену, раздробила крестец и, глубоко войдя в живот, осталась там. Кишечник поврежден не был. Раненый так описывал доктору свое состояние: «Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу»[1]. Хирург Арендт констатировал, что состояние больного безнадежно. Уезжая, он сказал Данзасу: «Штука скверная, он умрет». В.Ф.Вяземской доктор сказал, что раненый, быть может, не переживет ночи[2]. Под утро состояние раненого ухудшилось. От 5 до 7 утра Пушкин испытывал нечеловеческую боль: «...взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из орбит». «Зачем эти мученья? — спрашивал поэт, — без них я бы умер спокойно»[3]. Пушкин «кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания»[4]. Немного придя в себя, он велел слуге подать ящичек, в котором хранились пистолеты. Приказ был исполнен, и раненый спрятал оружие под одеяло. Предупрежденный слугой, Данзас отобрал пистолеты. Пушкин признался, что хотел покончить с собой, чтобы избавиться от страданий[5].

Узнав о безнадежном состоянии поэта, император уже в 10 часов утра 28 января поручил Жуковскому «запечатать кабинет Пушкина» тотчас после его кончины[6]. В полдень 28 января Арендт сказал, что умирающий не протянет до вечера[7]. Лейб-медик был опытнейшим военным хирургом и видел смерть в 34 сражениях. Но даже он трижды ошибался, предрекая раненому скорую смерть. Пушкин был физически очень крепким челове-

ком. По словам А.И.Тургенева, «Пушкин сам сказал доктору, что он надеется прожить два дня»[8]. Его слова сбылись.

Около 2 час. 28 января в дом Пушкина пришел Даль. Он пытался ободрить раненого, но тот отвечал: «Нет, мне здесь не житье; я умру, да видно уж так и надо». Ночью он много раз спрашивал время и подавал голос: «Долго ли мне так мучиться! Пожалуйста, поскорей!» Не отпуская руки Даля, поэт говорил, что страдает не так от боли, как от тоски: «Ах, какая тоска! Сердце изнывает!» На совет Даля не сдерживать стоны отвечал: «Нет, не надо стонать; жена услышит; и смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил; не хочу». Для облегчения страданий умирающему дали опиумные капли. Перед кончиной он говорил в забытье, держа за руку Даля: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, — ну, пойдем!» Придя в себя, он пояснил: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко — и голова закружилась». Затем он перестал узнавать Даля и вновь стал просить: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!»

Около 2 часов Пушкин произнес: «Опустите сторы, я спать хочу». Вскоре же поэт как будто проснулся, глаза его широко раскрылись и он явственно произнес: «Кончена жизнь», а затем на вопрос Даля, не услышавшего его, повторил внятно: «Жизнь кончена». «Тяжело дышать, давит», — были его последние слова[9].

Волею судьбы людьми, самыми нужными поэту в его последние дни, были Данзас и Даль. Доктор Даль был недолго знаком с Пушкиным. Несколько раз они виделись в 1832 г. в Петербурге и в 1833 г. в Оренбурге. Лишь в конце 1836 г. они возобновили знакомство в столице, но перешли на «ты» только 28 января. Данзас учился с поэтом в Лицее, но не принадлежал к кругу его самых близких друзей. Он избран был секундантом из-за безвыходного положения, после отказа англичанина Меджниса. Пушкин был уверен, что Данзас послушает его и не будет препятствовать поединку.

С первых часов раненый настойчиво хлопотал через Арендта, а затем через Жуковского о помиловании Данзаса. Но его просьбы неизменно отклонялись. По словам Е.А.Карамзиной, секундант предлагал отомстить убийце, на что умирающий отвечал: «Нет, нет, мир, мир»[10]. Когда Пушкина спросили о Дантесе, записала В.Ф.Вяземская, он сказал: «Запрещаю кому бы то ни было мстить ему. Хочу умереть христианином. Я прощаю»[11]. Через Данзаса раненый приглашал к себе для прощания друзей, доверил некоторые тайные поручения. Жуковский упомянул о том, что больной велел доктору Спасскому сжечь какие-то бумаги. По-видимому, имя Данзаса не было упомянуто в этой связи лишь по той причине, что секунданта ждал суд.

...Известие о смертельном ранении поэта распространилось по городу мгновенно. 28 января народ толпами стекался к дому поэта. Узкая набережная Мойки не могла вместить всех пришедших. В день смерти Пушкина экипажи и пешеходы заполнили все пространство до Певческого моста. Доктора и друзья Пушкина не могли протиснуться через густую толпу, и Данзасу пришлось просить офицеров гвардейского Преображенского полка прислать солдат, чтобы устранить заторы на набережной Мойки. Движение

людей к дому Волконской под окнами Зимнего дворца продолжалось.

Исповедать Пушкина на Мойку приходил священник Петр Песоцкий из Конюшенной церкви. Но дом на Мойке принадлежал к приходу Исаакиевской церкви в Адмиралтейской части. Построенный в 1802 г., этот собор был достаточно вместительным. Протоиереем собора был известный богослов и духовный писатель Алексей Малов, избранный в Академию одновременно с Пушкиным.

Николай I считал, что Пушкина надо отпевать как камер-юнкера в придворной Конюшенной церкви. Не зная об этом, друзья разослали приглашения на отпевание в Исаакиевский собор.

Пушкина не на что было хоронить. В доме нашлось не более 300 рублей наличности. Тогда граф Строганов великодушно объявил, что берет на себя все расходы по похоронам, и пригласил для отпевания в Исаакиевском соборе митрополита Новгородского и Петербургского Серафима Глаголевского. Участие высшего иерарха в торжественной церемонии имело существенное значение как показатель отношения общества к смерти великого поэта. Но митрополит уклонился от предложенной ему чести. Как отметила кягиня Вера Вяземская, при подготовке похорон «митрополит Серафим, по чьим-то внушениям, делал разные затруднения»[12]. Поведение иерарха определялось тем, что в его глазах гибель на дуэли была равнозначна самоубийству. Подобный взгляд далеко разошелся с общественным мнением. Составляя черновик письма к Михаилу Павловичу в феврале 1837 г., Вяземский отметил: «Когда... митрополит отказался прибыть к отпеванию и граф Строганов выражал мне по этому случаю свое неудовольствие и находил отказ незаконным, я подал ему мысль обратиться к графу Протасову, который, будучи обер-прокурором святейшего Синода, мог разъяснить поводы этого отказа»[13]. Николай I ценил офицеров гвардии и поставил во главе церкви генерала от кавалерии Николая Протасова, рассчитывая на его энергию и честность.

Строганову не удалось договориться ни с Серафимом, ни с Протасовым, и он пригласил для богослужения трех архимандритов[14].

Решение о панихиде в Исаакиевском соборе не могло быть принято без прямого участия Строганова. Ближайшего друга министра Нессельроде и Геккернов невозможно было заподозрить в антиправительственных намерениях. Тем не менее Бенкендорф использовал недоразумение, чтобы указать государю на мнимое неповиновение его воле.

В день кончины поэта Жоли Строганова, жена графа, подняла тревогу, увидев в прихожей молодых людей, показавшихся ей смутьянами[15]. Ведомство Бенкендорфа использовало любые предлоги для инсинуаций по поводу убитого, его друзей, либералов и пр. 2 февраля 1837 г. Бенкендорф сообщил своему ближайшему помощнику Мордвинову следующее: «Император подозревает священника Малова, который совершал вчера чин погребения, в авторстве письма; нужно бы раздобыть его почерк»[16]. Николай пользовался информацией, поступавшей в первую очередь от жандармерии. Бенкендорф не выполнил высочайшее повеление относительно розыска автора пасквиля, но в нужный момент назвал имя «виновного». Отец Алексий Малов внушал ему подозрения своей образованностью.

С исполнением царских предначертаний не все шло гладко. Царь хотел, чтобы поэта обрядили в камер-юнкерский мундир. Друзья знали отношение

Пушкина к «полосатому придворному кафтану» и решили похоронить покойного во фраке. Выражая неудовольствие по этому поводу, Николай I сказал: «Верно, это Тургенев или князь Вяземский присоветовали»[17].

1 февраля друзья готовились торжественно перенести тело усопшего в Адмиралтейство. Но накануне ночью с десяток жандармов явились в дом поэта с приказом препроводить гроб в Конюшенную церковь. Отныне ничто не могло помешать исполнению высочайших предначертаний. Примерно 10-12 родственников и друзей поэта, находившихся в доме, двинулись без факелов за гробом. Присутствие жандармов и переодетых шпиков лишало церемонию всякой торжественности.

Согласно билетам, разосланным вдовой, отпевание было назначено на 11 часов утра. В назначенное время подле Адмиралтейства собралось множество людей. Узнав о перемене места отпевания, толпа двинулась на Мойку и вскоре заполнила Конюшенную площадь. Царь и его окружение намеревались превратить похороны поэта в придворную церемонию, без какого бы то ни было участия народа. Но осуществить свой план они не смогли.

Подле гроба в храме стояли жена, родственники и друзья Пушкина. Императрица с чужих слов, но тем не менее точно передала впечатление, поразившее очевидцев: «Эта молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине»[18]. Подле вдовы были сестра Александрина, тетка Загряжская, цвет литературного мира — Жуковский, Крылов, Вяземский, Шаховской, Одоевский, Краевский, Плетнев, Розен, Никитенко, Кукольник, Карлгоф, директор лицея Энгельгардт, лицейские товарищи поэта, актер Каратыгин, другие артисты императорских театров. На панихиде были Элиза Хитрово с дочерьми, семьи Карамзина и Вяземского, Тургенев, Виельгорский. Из лиц официальных присутствовали министры, флигель-адьютанты, придворные, дипломатический корпус.

Император осыпал милостями семью убитого, и в церковь явился генералитет, украшенный лентами и орденами. По свидетельству А.И.Тургенева, на богослужении были генерал-адьютанты Василий Перовский, князь Василий Трубецкой, граф А.Г.Строганов, Иван Сухозанет, граф Владимир Адлерберг, генерал-адьютант Сергей Шипов, министр внутренних дел Дмитрий Блудов[19]. Лишь немногие из этих генералов и сановников пользовались симпатией поэта. В поздних воспоминаниях, записанных П.И.Бартеневым, А.О.Россет отметил, что «ни Орлов, ни Киселев не показались» на отпевании[20]. В Конюшенной церкви была толчея, и Россет не заметил Орлова, или его подвела память. А.И.Тургенев записал в самый день похорон, что проститься с Пушкиным явилась «толпа генерал-адьютантов, гр. Орлов» и пр.[21] Алексей Орлов был восходящей звездой столичного чиновного мира. По неизвестным причинам Киселев не был на панихиде, чем вызвал негодование друзей поэта. Вяземский на некоторое время перестал общаться с ним. «...После истории и кончины Пушкина, — записал Вяземский, — мне показалось, что он держался противной стороны и не довольно патриотически принял это дело»[22].

Министр просвещения Уваров боялся, что его осудят, если он не явится на панихиду. Но в церкви он чувствовал себя неуютно. Сановник был бледен и испытывал видимое смущение. Тургенев ошибся, записав о нем, что смерть всех примирила. В самый день похорон Уваров издал циркуляр, предписывавший ужесточить цензорский надзор и соблюдать «надлежащую

умеренность и тон приличия» в статьях, посвященных кончине Пушкина[23]. Тогда же министр отдал распоряжение профессорам университета не отлучаться от кафедр и не отпускать студентов с лекций[24]. Краевскому был вынесен выговор от имени Уварова за сочувственный некролог Пушкину. «Северная Пчела» откликнулась на смерть поэта сдержанной репликой: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности». За эти слова Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа. Цензору Никитенке приказали вымарать несколько сочувственных слов о Пушкине из объявления, подготовленного для журнала «Библиотека для чтения». 12 февраля 1837 г. Никитенко записал в дневнике: «Мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается. Это очень волнует умы»[25]. Свои письма о кончине Пушкина его друзья не могли опубликовать и распространяли в рукописных списках. Сокращенный текст письма Жуковского к отцу поэта появился в пятом томе журнала «Современник» с запозданием.

«Немецкая партия» нашла случай продемонстрировать свое отношение к происходящему. Прусский посол, яростный ненавистник либералов, демонстративно отказался явиться на похороны русского поэта.

Австрийский посол Фикельмон, зять Хитрово, явился при всех звездах. Французский посол Барант, литератор и дипломат, навещал умирающего Пушкина и плакал в передней его дома. В церкви он обращал на себя внимание печальным, расстроганным выражением лица. По этому поводу шутили, что француз Барант и испанец Герера — «во всем этом единственные русские»[26]. Горестная трагедия уступила место придворной церемонии с билетами, блестящими мундирами и равнодушными лицами. Тургенев записал в дневнике: «Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине»; «лицо Баранта: le seul russe (единственный русский) — вчера еще. Но сегодня — ген. и флигель-адьютанты»[27]. Барант казался белой вороной среди высших чинов империи.

«Солнце нашей Поэзии закатилось!» — такими словами откликнулся на смерть Пушкина князь В.Ф.Одоевский. На панихиде он не смог произнести эти слова. Сановный мир Петербурга, собравшийся в придворной церкви, проводил Пушкина в молчании. Власти дали понять, что речи при гробе нежелательны. Народу не разрешили проститься с покойным. Гроб на мгновение появился на ступенях храма и тут же исчез в воротах, через которые он был перенесен в подвальный склеп церкви.

31 января А.Тургенев писал брату: «Вчера народ так толпился, — исключая аристократов, коих не было ни у гроба, ни во время страданий, — что полиция не хотела, чтобы отпевали в Исакиевском соборе... Публика ожесточена против Геккерна»[28]. Вся образованная Россия проклинала убийц Пушкина.

Доброе имя вдовы

Геккерн уведомлял голландского министра иностранных дел Верстолка: «В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом только в час пополуночи»[1]. Нессельроде представлял министерство иностранных дел, обер-шенк Строганов — Двор. Министр явился в дом посла, едва узнал о поединке.

Ранение сына посла прямо затрагивало его ведомство. Затем Нессельроде отправился к царю и вызвал военных. Он ждал царя в Зимнем дворце до 23 часов.

Нессельроде вернулся к Геккерну, по-видимому, с благими вестями. В письме Верстолку барон 30 января 1837 г. сообщил: «Знаю только, что император, сообщая эту роковую весть (о смерти Пушкина. — *Р.С.*) императрице, выразил уверенность, что барон Геккерн (Дантес. — *Р.С.*) был не в состоянии поступить иначе»[2]. В записке Бобринской от 28 января императрица повторила слова, услышанные от Николая I: «Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма Геккерну (Дантесу. — *Р.С.*), не оставляя ему возможности избежать дуэли»[3].

Нессельроде и Строгановы постарались распространить по всей столице сведения о том, что царь осудил Пушкина и с пониманием отнесся к действиям убийцы. Это во многом определило реакцию петербургской знати.

Саксонский посланник барон Лютцероде очень точно обрисовал ситуацию, когда писал: «При наличии в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности, не надо удивляться тому, что немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковывалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека»[4].

Вюртембергский посол князь Гогенлоэ подтвердил слова саксонского министра. В его депеше сообщалось: «Непосредственно после дуэли между Пушкиным и молодым бароном Геккерном большинство высказалось в пользу последнего»[5].

Александр Тургенев сделал такую запись в дневнике на другой день после кончины поэта: «Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине»[6].

После поединка, — писал Геккерн, — он получал знаки внимания и сочувствия «от всего петербургского общества»[7].

Голландский посол, оказавшись в центре внимания высшего общества, старательно играл роль человека с безупречной репутацией. Утром 29 января А.И.Тургенев встретил посла на улице и в тот же день написал письмо к сестре, в котором изложил разговор с ним. Дипломат «расспрашивал об умирающем с сильным участием; рассказал содержание, — выражения письма Пушкина. Ужасно! Ужасно! Невыносимо: нечего было делать»[8]. Тургенев ничего не знал о бесчестных проделках посла и не услышал фальши в его словах. Прошло не более двух-трех недель, и он стал прозревать. В письме брату от 19 февраля он отметил: «Гнусность поступков отца Геккерна раскрывается»[9].

Современники много говорили о ревности Пушкина. Но в дни январского кризиса поэта приводила в исступление не ревность, а торжество Геккернов, старавшихся клеветой опозорить семью Пушкина и склонить общественное мнение на свою сторону.

В конспекте Жуковского можно найти две заметки, приписанные к основному тексту. Одна касалась приезда Геккерна в дом Пушкиных «в понедельник», другая — получению денег из казны на похороны Пушкина 1 февраля, также в понедельник[10]. Исследователи полагают, что памятка Жуковского имела в виду ссору Пушкина с Геккерном на пороге дома поэта 25 января в понедельник[11]. Высказывают предположение, что ссора

на лестнице с Геккерном явилась последним поводом к отправке «ругательного письма» Пушкина 25 числа[12]. Чтобы верно истолковать текст Жуковского, следует понять основной принцип построения его конспектов. Первые два конспекта посвящены преддуэльным событиям, третий — периоду с 27 января по 1 февраля 1837 г. Внутри каждого конспекта записи расположены в строго хронологическом порядке.

Записи о приходе Геккерна и деньгах помещены после известия о ранении поэта 27 января, что исключает дату 25 января. Известно, что с утра 25 числа поэт зашел к Вревской, чтобы идти с ней в Эрмитаж. Ей он сообщил о предстоящей дуэли. Днем Лажечников приходил в дом Пушкина, но не застал его дома. Вечером поэт отправился к Вяземским[13]. 25 января он написал два письма, одно из них Геккерну. С середины января отношения поэта с послом были самыми натянутыми. Можно ли вообразить, что посол явился к Пушкину в то самое время, когда тот писал ему бранное письмо? Можно ли представить, будто Пушкин устроил сцену гостю на лестнице собственного дома? Всю жизнь поэт считал унизительным выяснять отношения с недругами.

В третьем конспекте Жуковского речь шла о событиях, по-видимому, происшедших в один и тот же день. Точную дату Жуковский проставил лишь в денежной записи. Обращение к рукописи позволяет обнаружить дополнительные подробности. Первоначально автор конспекта записал: «В понедельник приезд Дантеса с». Далее должно было следовать: «с отцом» или «с Геккерном». Однако в конце концов Жуковский вычеркнул имя Дантеса и оставил одно имя Геккерна. В окончательном виде запись выглядела так: «В Понедельник приезд Геккерна и ссора на лестнице»[14].

На поединке кавалергард был легко ранен (пуля пробила ему мягкие ткани руки) и мог свободно передвигаться. В понедельник 1 февраля, т.е. в самый день похорон Пушкина Дантес с отцом отправились на Мойку. В дом Пушкиных их привела жестокая необходимость. Офицера должны были с минуты на минуту арестовать, а затем предать военному суду. Геккерны полагали, что вдова убитого будет вызвана в трибунал для дачи свидетельских показаний. Они надеялись помириться с ней и подготовить ее к выступлению в суде.

Когда в начале февраля Дантесу пришлось держать ответ перед судьями, он заявил следующее: «...что же касается до моего обращения с Г-жею Пушкиной, не имея никаких условий для семейных наших сношений, я думал, что был в обязанности кланится и говорить с нею при встрече в обществе, как и с другими дамами... обращение мое с нею заключалось в одних только учтивостях»[15].

Наталья Николаевна могла подтвердить его слова, не кривя душой. Она попала в историю. Грязные толки бросили тень заодно с Екатериной также и на нее. Былые чувства уступили место учтивостям, означавшим разрыв.

Сразу после суда и высылки из России Жорж Геккерн виделся на водах в Баден-Бадене с Андреем Карамзиным. Француз показал ему копию пушкинского письма, при этом «всего более и всего сильней отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрою ее»[16]. Великий князь Михаил Павлович, бывший тогда в Баден-Бадене, передает оправдания Дантеса сходным образом: «Он, как говорят... уверяет, что со времени его свадьбы он ни в чем не может себя обвинить касательно Пушкина

и его жены, и не имел с нею совершенно никаких сношений»[17].

Геккерны хлопотали о сохранении доброго имени Натальи не меньше, чем Пушкин, хотя их мотивы были совершенно различными.

Умирающий старался внушить всем, что его жена неповинна в трагедии и сама является жертвой. В письмах друзей эта тема получила развитие. Защита чести вдовы стала предметом особой заботы близких, творивших легенду о смерти Пушкина. Легенда не совпадала с тем, что они думали в действительности. Исполненная великодушия Екатерина Карамзина писала сыну в марте 1837 г.: «Больно сказать, но это правда: великому и доброму Пушкину следовало иметь жену, способную лучше понять его и более подходящую к его уровню»; «Бедный, бедный Пушкин, жертва легкомыслия, неосторожности, опрометчивого поведения своей молодой красавицы-жены, которая, сама того не подозревая, поставила на карту его жизнь против нескольких часов кокетства. Не думай, что я преувеличиваю, ее я не виню, ведь нельзя же винить детей, когда они причиняют зло по неведению и необдуманности»[18]. Карамзина так и не смогла простить Наталью Николаевну.

Жуковский всего подробнее высказался о поединке в черновике письма к Бенкендорфу: «Пушкин был выведен из себя, потерял голову и заплатил за это дорого. С его стороны было одно бешенство обезу[мевшей?] ревности»[19]. Даже Жуковский усмотрел в поведении поэта безумную ревность, что, конечно же, бросало тень на Наталью Николаевну. Вяземский также бранил Наталью Николаевну за ее поведение: «Одним словом, бедный Пушкин был прежде всего жертвою (будь сказано между нами) бестактности своей жены и ее неумения вести себя, жертвою своего положения в обществе»[20].

Молва не пощадила Наталью Николаевну. Многие были уверены, что именно ее поведение было главной причиной гибели поэта.

Одним из ближайших приятелей поэта был Соболевский. Ему приписывали следующий рассказ. Соболевский будто бы виделся с Дантесом, долго с ним разговаривал и спросил: — «Дело прошлое, жил ли он с Пушкиной? — "Никакого нет сомнения", — отвечал тот»[21].

Рассказ Соболевского невозможно отнести к числу достоверных свидетельств. Он исходил не от самого Соболевского, а от А.С.Суворина. Последний получил сведения из вторых рук — от П.А.Ефремова. Запись была сделана после смерти Соболевского, так что Суворин не мог обратиться к нему за разъяснениями.

Соболевский уехал за рубеж за полгода до пушкинской дуэли, в августе 1836 г. Живя в Сульце, Екатерина Геккерн писала в 1840 г., что Соболевский хорошо знает Сульц, в окрестностях которого он находился в течение «очень долгого времени». Тут «он выдавал себя то за камергера российского императора, то за князя и гвардии полковника»[22]. (Внебрачный сын А.Н.Самойлова Сергей Соболевский не был ни камергером, ни князем, ни полковником гвардии.)

Итак, Соболевский имел возможность встретиться с Дантесом через два-три года после гибели поэта. Оценивая слова, приписанные ему, надо иметь в виду еще одно обстоятельство. Взаимоотношения Соболевского с Натальей Николаевной были отравлены глубокой неприязнью. Друг Пушкина был за границей и не знал никаких подробностей по поводу ноябрьской дуэльной истории, а также не был очевидцем последнего поединка

Пушкина. Однако ему были хорошо известны сплетни по поводу неверности Пушкиной, получившие широкое распространение в обществе. Обвинение Натальи Николаевны в неверности давало простейшее объяснение поведению поэта, навязавшего дуэль своему противнику, и возлагало на Дантеса всю ответственность за происшедшее.

Нет никаких доказательств того, что Соболевский действительно произнес слова, приписанные ему Ефремовым и Сувориным. Но даже в тех случаях, когда аутентичность рассказов Соболевского не подлежит сомнению, его слова требуют сугубо критического отношения. «Камергер российского императора», «князь и гвардии полковник» питал слабость к анекдотам, фантазиям и вымыслам. В этом можно убедиться, обратившись к приведенной выше «новелле» о пророчествах гадалки Кирхгоф. По утверждению Соболевского, гадалка якобы предсказала Пушкину смерть в тридцать семь лет. Рассказ Соболевского был чистой фантазией.

Поздняя запись Суворина, похоже, относится не столько к мемуарной литературе, сколько к жанру анекдотов о Пушкине.

Достоверные документы (письма Дантеса, его беседы с Карамзиным, дневниковые записи Барятинской и пр.) полностью опровергают вымыслы по поводу неверности Пушкиной.

Более чем сомнительно, чтобы Дантес пустился в откровения, беседуя с другом убитого им поэта. В отличие от поздних анекдотов, ранние свидетельства, исходящие от очевидцев и записанные своевременно, доказывают, что Дантес был весьма далек от того, чобы пятнать честь Натальи Николаевны.

Геккерны допустили чудовищную бестактность, стуча в двери убитой горем женщины. Но у них были свои понятия об этике.

Дантес рассчитывал на то, что вдова покажет перед судом — в полном соответствии с истиной, — что ее отношения с Дантесом не выходили за рамки приличий, из чего суд должен был сделать вывод, что офицер не давал Пушкину никаких поводов к дуэли. Именно это имел в виду Жорж Дантес, когда говорил Андрею Карамзину при встрече в Баден-Бадене в 1837 г.: «Мое полное оправдание может прийти только от г-жи Пушкиной...»

В той же беседе Дантес повторил, что возлагает все надежды на Наталью Николаевну: «...через несколько лет, когда она успокоится, она, может быть, скажет, что я все сделал, чтобы их спасти, и что, если мне это не удалось, то вина была не моя»[23]. Что имел в виду бывший кавалергард? В ноябре 1836 г. он готов был на все, чтобы избежать дуэли ради спасения своей карьеры. После свадьбы офицер неоднократно пытался установить родственные отношения с семьей поэта, посылал ему письма, использовал посредничество Строгановых. Его старания не привели к успеху.

Пушкин не верил в добрые намерения и порядочность Геккернов. Его худшие опасения подтвердились, когда близкие к ним люди стали распространять клевету об Александрине Гончаровой. Поединок оказался неизбежен.

Визит к вдове должен был подтвердить репутацию гвардейца — рыцаря без страха и упрека.

Попытка разыграть фарс с посещением дома убитого не удалась. Кавалергард и министр были остановлены на лестнице и со скандалом изгнаны.

Ю.М.Лотман считал, что Дантес избрал Наталью Николаевну, потому что ему был нужен шумный роман со светской дамой, чем скандальнее, тем лучше. После свадьбы с Екатериной Гончаровой у него появились и другие

побуждения, но «стремление к общественной дискредитации Натальи Николаевны ради своих видов осталось»[24]. Изложенная схема безукоризненa, но не находит подтверждения в фактах. Геккерны не были причастны к составлению пасквиля и не старались опорочить Наталью ни при жизни Пушкина, ни после его смерти.

Что касается друзей Пушкина, они сделали все, чтобы спасти доброе имя вдовы.

Погребение

Власти не желали допустить погребения Пушкина в столице, так как похороны привлекли бы множество народа. Еще 29 января Жуковский подал царю записку с указанием на то, что имение Пушкина, где предполагалось хоронить тело, обременено долгами; псковскую деревню «могут продать; вместе с нею и прах Пушкина может сделаться собственностью... заимодавца, и Русские могут не знать, где их Пушкин»[1]. На другой день царь согласился на то, чтобы казна очистила от долгов и отдала семье погибшего заложенное имение отца поэта село Михайловское[2]. 30 января утром Тургенев записал: «...еще не знают здесь ли, или в псковской деревне его предадут земле»; «лучше бы здесь, в виду многочисленной публики, друзей и почитателей его». В 2 часа дня 30 января Тургенев отметил в письме: «Кажется, решено, что его повезут хоронить в деревню»[3]. Два вопроса — о месте погребения и о милостях государя, возможно, были увязаны между собой.

Вопрос о месте последнего упокоения отнюдь не был при жизни безразличен для Пушкина. За семь лет до гибели он написал такие строки:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне бы хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

«Ближе к милому пределу» означало: ближе к родовому гнезду, ближе к природе. Смерть обнаруживала не только мимолетность человеческого бытия, но и ставила человека лицом к лицу с природой, вечностью.

Сельский погост — часть природного ландшафта — обладал в глазах поэта неоспоримым преимуществом перед «публичным» городским кладбищем, воплотившем все безобразие смерти.

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом
...
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.

В марте 1836 г. в Петербурге скончалась мать поэта. Сын похоронил ее не на столичном кладбище, а неподалеку от родового сельца Михайловского, в ограде Святогорского монастыря, где были погребены ее отец Осип Абрамович Ганнибал и мать Мария Алексеевна. Схоронив матушку, Александр пожертвовал монастырю деньги на свою могилу[4]. Выбор Пушкина определялся его любовью «к отеческим гробам», родной земле. Николай I преследовал свои цели, когда велел похоронить поэта в провинции. Но его решение соответствовало последней воле погибшего.

Иностранные дипломаты связывали с именем Пушкина деятельность так называемой «русской партии». В конце 1835 г. поэт подготовил к изданию *Записки* бригадира Моро де Бразе. По поводу партий в России автор *Записок* высказал мысли, не утратившие актуальности и в пушкинское время, через сто лет. Сочинение бригадира было посвящено Прутскому походу Петра I. Судьбу кампании решил военный совет, созванный на Днестре. Одни члены совета составили «партию русских», другие — «партию немцев». «Это разделение на две партии в России, — значится в тексте, — признано всеми. Русские, когда им везет, и слушать не хотят о немцах; но коль скоро по своей неопытности попадут они в беду, то уже ищут помощи и советов у одних немцев, а русская партия прячется со стыдом и унынием; ее не видать и не слыхать»[5]. После похода де Бразе и большая часть генералов из «немецкой партии» были прогнаны с царской службы.

За несколько недель до дуэли А.И.Тургенев вел оживленный спор насчет партий с д'Аршиаком: «К Аршияку, — писал он в дневнике, — С ним о партии русской и немецкой в России: я доказывал, что партий сих нет, что протестанты вступают в православие, что нет ненависти к полякам и пр.»[6]

Полунемецкая бюрократия и дипломаты упорно настаивали на том, что Пушкин был вождем русской партии. Смерть Пушкина, писал вюртембергский посол князь Гогенлоэ, обнаружила, «насколько сильна и могущественна чисто русская партия, к которой принадлежал Пушкин»[7].

К «русской партии» причисляли тех, кто ценил русский язык и культуру, отдавал должное гению Пушкина.

Пушкин никогда не был главой партии, политическим реформатором, обдумывавшим планы переустройства всего общественного строя, пытав-

шимся добиться влияния на личность самодержца ради достижения сугубо политических целей. В кругу либералов поэт был либералом, но и среди консерваторов он не чувствовал себя чужим. В любом случае он оставался патриотом своей страны. Не соглашаясь с Чаадаевым, Пушкин писал в 1836 г.: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с Вами согласиться... клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»[8]. Поэт любил свою страну и вместе с тем проклинал ее. Будучи в ссылке в деревне, поэт писал Вяземскому в мае 1826 г. «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я и месяца не останусь»[9]. Примерно за полгода до гибели он писал жене: «...чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом»[10].

Пушкин не мог не принадлежать к «русской партии». Начало XIX в. было важнейшим этапом развития русского языка и всей национальной культуры. Ее замечательной чертой было то, что она не отгораживалась от мировой культуры, а формировалась как часть этой культуры.

Убийство Пушкина пробудило общественные силы и настроения, находившиеся, как казалось, в состоянии глубокой летаргии. Власти были всерьез встревожены, заметив, что возмущение и негодование охватило разные круги общества. Прусский посол Либерман записал «странные речи», которые произносил неизвестный ему офицер, называвший убитого поэта «чуть не единственной опорой, единственным представителем народной вольности»[11]. Либерман, Геккерн, другие дипломаты акцентировали внимание на том, что общественный протест исходил не от высшего класса. Но их утверждения были полуправдой. В пользу Пушкина высказалось все столичное население — от дворян до мещан и простонародья.

Пушкин пользовался большой популярностью в столичных университетских кругах. Ждали, что на похоронах поэта в Адмиралтейской церкви будут депутаты от императорского Университета, как и депутаты от столичного купечества. В пользу Пушкина, писал Геккерн, высказались лица из третьего сословия, к которому относились помимо литераторов, артистов, чиновников также «национальные коммерсанты высшего полета», иначе говоря, петербургские купцы высших гильдий[12]. При объяснении с Бенкендорфом Жуковский отрицал всякие слухи насчет угрозы возмущения в столице, писал, что дело ограничилось неопределенными толками[13]. Однако донесения иностранных дипломатов из Петербурга подтверждают, что речь шла не о праздных разговорах, а об общественном волеизъявлении.

Было немыслимо, чтобы народ проводил своего поэта в молчании. По свидетельству Жуковского, общество готовилось проводить Пушкина в последний путь, «произнести над ним речь и в этой речи поразить его убийцу»[14]. Люди, желавшие сказать прощальное слово, принадлежали к числу друзей Пушкина и его собратьев по перу. Они были хорошо известны Жуковскому. Заготовленные ими речи были включены в некрологи, появившиеся в ближайшие дни в печати.

Посол Либерман доносил прусскому королю, что накануне похорон «мно-

гие корпорации просили о разрешении нести останки умершего. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу»[15].

Народная тропа к Пушкину уже в момент его смерти превратилась в самую широкую дорогу.

Общество выразило свое отношение к величайшей трагедии, и именно это обстоятельство повергло жандармов в тревогу и замешательство.

Народ требовал наказать убийцу поэта. Публика ожесточена против Геккерна, писал А.И.Тургенев, негодующие желают побить стекла в доме посла. О том же писал Жуковский: «...блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и пр.), что Геккерну угрожают»[16]. А.П.Дурново отметил, что в день отпевания Пушкина в народе призывали растерзать иностранца, убившего любимого поэта[17].

Недруги Пушкина приписывали пробуждение общества интригам «партии», сеявшей ненависть к иностранцам. «Кончина г. Пушкина, — подчеркивал Геккерн в донесениях в Голландию, — открыла, по крайней мере, власти существование целой партии, главой которой он был, может быть, исключительно благодаря своему таланту, в высшей степени народному»[18]. Пушкин действительно был народным поэтом, и эмоциональная стихия, захлестнувшая Петербург, была стихией любви к великому поэту в первую очередь.

Общество стряхнуло оцепенение, что немедленно привело в движение государственную машину. Доносы тайной полиции посеяли тревогу в Зимнем дворце. Были приняты меры для поддержания общественного порядка, которому якобы угрожала опасность манифестаций и смут[19]. Стечение народа на Конюшенной площади в день отпевания поэта 1 февраля продемонстрировало силу общественного мнения. Власти настояли на том, чтобы поэт был похоронен в деревне. Но пока тело оставалось в подвалах церкви, можно было ждать новых манифестаций народа, желавшего проститься с Пушкиным.

Народному мнению царь мог противопоставить лишь военную мощь империи. В ближайшую ночь после отпевания Пушкина Николай I отдал внезапный приказ: наутро всей гвардии собраться в полном вооружении, с обозами на площади перед Зимним дворцом. Присутствовать на нежданном параде были приглашены все иностранные послы. Некоторые из них, например Фикельмон, отклонили приглашение под предлогом болезни. Из своих казарм на Дворцовую площадь прибыли эскадроны Кавалергардского полка, который вели ближайшие друзья убийцы. Полковой обоз получил приказ пройти через Царицын луг «в Конюшенную улицу, где и остановиться». В 10.30 утра обозные повозки забили подходы к Конюшенной церкви, в подвале которой покоилось тело поэта.

Самодовольно описав «отличную исправность» гвардии в письме брату Михаилу, император без всякого перехода продолжал: «Впрочем здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам»[20]. Рано утром 31 января Жуковский получил письмо от «верного подданного», просившего способствовать наказанию презренного Геккерна и изгнанию его из России. Жуковский сообщил о письме императрице. 2 февраля аналогичное письмо было отправлено генерал-адьютанту А.Ф.Орлову. «Открытое покровительство и предпочтение чужестранцам, —

писал автор письма, — день ото дня делается для нас нестерпимее... увеличивающиеся злоупотребления во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостойным людям, стая немцев, все, все порождает более и более ропот и неудовольствие в публике и самом народе!»[21] Орлов немедленно передал письмо Бенкендорфу, который уже знал об обращении Жуковского к царице. Дело было доложено Николаю I. Шеф жандармов постарался внушить ему, что письмо доказывает «существование и работу общества», т.е. тайной революционной организации. Старания представить Пушкина и его друзей вождями «демагогической партии», злонамеренного тайного Общества получили, таким образом, подкрепление. Император дал делу ход и приказал разыскать автора письма.

По совету друзей вдова поэта подала письменное прошение о том, чтобы царь разрешил Данзасу сопровождать гроб ее мужа для предания земле в Михайловском. Но Николай I еще раньше поручил дело А.И.Тургеневу. 2 февраля Тургенев получил письмо от Бенкендорфа о назначении его вместо Данзаса для проводов тела погибшего[22]. Тургенев отвез Пушкина в Лицей и он же проводил его в последний путь. «Государю угодно, — записал он в дневнике 3 февраля, — чтобы завтра в ночь». И далее: «Заколотили Пушкина в ящик». С момента переноса тела Пушкина в подвалы Конюшенной церкви все перемещения его производились исключительно под покровом ночи.

4 февраля в первом часу ночи Тургенев покинул Петербург. Впереди дрог с телом скакал жандармский капитан, позади — сам Тургенев с почтальоном. После бешеной скачки кортеж к 9 часам вечера прибыл в Псков. Тургенев счел необходимым явиться к губернатору А.Н.Пещурову. В доме губернатора была вечеринка. В разгар ее губернатору принесли письмо от управляющего III Отделением Мордвинова. Письмо было передано не через жандармского капитана, сопровождавшего Тургенева, а с секретной оказией через камергера Яхонтова. Ничего не подозревая, Пещуров стал вслух читать письмо гостям, но дойдя до строк о высочайшей воле, показал их одному Тургеневу. Псковские власти не сомневались, что Тургенев облечен широкими пономочиями и представляет особу императора. Приказ государя Тургенев охарактеризовал как высочайшее повеление «о невстрече». Этот случай напомнил ему гоголевского «Ревизора»: «Сцена хоть бы из комедии!»

Министр Блудов, основываясь на указе императора, прислал в Псков краткое предписание о погребении тела[23]. Однако вслед за Блудовым в дело вмешался Бенкендорф. Его помощник Мордвинов уведомил псковского губернатора: «...имею честь собщить Вашему превосходительству волю государя императора, чтобы вы воспретили всякое особое изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина»[24]. С этим посланием Пещуров ознакомил именно того человека, которого ни в коем случае нельзя было посвящать в тайну.

По прибытии во Псков Тургенев мог поместить тело усопшего в главный собор или любую из церквей. Паломничество ко гробу, оказание последних почестей усопшему, выражение горя были неизбежны. Псков был потрясен известием о ранении, а затем смерти поэта. Местное образованное общество почитало поэзию Пушкина и гордилось земляком.

11 Зак. 3925

Однако руки Тургенева были связаны. Он не осмелился перечить воле царя. 5 февраля в час пополуночи кортеж покинул Псков и направился в Остров. Псковичи узнали обо всем лишь наутро. В Острове гроб встретили городничий и исправник. Пушкин получил в провожатые еще одного офицера.

Лошади были измучены. Тургеневу пришлось оставить свою кибитку вместе с почтальоном на последней почтовой станции. Под дрогами с телом пала лошадь. Дроги также пришлось оставить. У жандармского капитана были лучшие лошади, и в его кибитке Тургенев в три часа пополудни 5 февраля добрался до Тригорского, где смог отдохнуть после двух бессонных ночей и пообедать. Лишь в 7-м часу вечера гроб был доставлен в Святогорский монастырь подле Тригорского и поставлен в верхнюю церковь на ночь. С вечера мужики, присланные Осиповой из Тригорского, начали рыть могилу. Стояла морозная зима, и, чтобы выдолбить могилу в мерзлой земле, понадобилось много времени.

6 февраля утром Тургенев с провожатыми отправился ко гробу в монастырь. Младшая дочь Осиповой в старости вспоминала, будто ей (в 14 лет) и сестре Маше (в 16 лет) довелось присутствовать на похоронах. Но ее, по-видимому, подвела память. Тургенев записал в дневнике: «6 февраля, в 6 часов утра, отправились мы — я и жандарм!! — опять в монастырь, — все еще рыли могилу»[25]. Тургенев выделил двумя восклицательными знаками сообщение, что на погребение отправились только двое людей, и никого более. В самом деле, он выехал в монастырь из спавшей усадьбы в 6 час. утра. Восход солца в тот день падал на 7 час. 28 мин. Следовательно, церемония погребения совершалась в кромешной тьме. Надо было спешить, чтобы в монастырь не успели собраться соседи-помещики и народ.

После панихиды в 7 час. утра дядька поэта Никита Козлов и крестьяне опустили гроб в могилу. «Немногие плакали». Тургенев бросил горсть земли на гроб, промолвив изречение из Библии: «...земля еси»[26]. Тело поэта было предано земле подле могилы матери.

А.И.Тургенев был в немилости у царя: его родной брат Н.И.Тургенев был одним из самых авторитетных руководителей тайного общества декабристов. Лишь отъезд А.Тургенева за границу помешал его участию в мятеже 14 декабря. Понятно, почему друг поэта, нечаянно ознакомившись с письмом Мордвинова, не осмелился нарушить царский приказ. Жандармский капитан настаивал на немедленном отъезде из Тригорского. Но Тургенев не мог уехать, не навестив дом Пушкина в Михайловском. Выехав из Тригорского, он прибыл на почтовую станцию, где «заплатил за упадшую под гробом лошадь»[27].

15 февраля 1837 г. впервые за много лет Николай I на балу громко позвал Тургенева, поблагодарил и пожал ему руку. Формально он благодарил за подготовку исторических бумаг к печати, а фактически — за послушание. Тургенев получил разрешение ехать за рубеж[28].

В отчете тайной полиции за 1837 г. значилось, что в Петербурге «собрание посетителей при теле (Пушкина. — *Р.С.*) было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии». Однако жандармское «высшее наблюдение» предотвратило «неприличную картину торжества либералов» и «признало своею обязанностью мерами негласными

устранить все почести, что и было исполнено»[29].

Доносы тайной полиции по поводу заговора русской партии определили судьбу пушкинского архива. Цензура зорко следила за тем, чтобы ни одно «возмутительное» сочинение поэта не увидело свет. Неопубликованные произведения — стихи и проза, эпиграммы и письма — скапливались в потайных ящиках письменного стола, откуда они после кончины поэта могли разлететься по всей стране, подобно искрам гаснущего костра. Чтобы помешать этому, царь поручил Жуковскому опечатать сочинения Пушкина, разобрать их и сжечь все возмутительные, отдать письма авторам, а казенные бумаги вернуть в архив. Бенкендорф добился от царя указа, чтобы вместе с Жуковским рассмотрением бумаг и писем Пушкина занимался жандармский офицер, а отобранные для уничтожения бумаги были представлены на прочтение самому шефу III Отделения.

Последний акт

Двадцатидвухлетний Михаил Лермонтов был потрясен гибелью Пушкина и реакцией высшего света на трагедию. Он адресовал свои стихи «На смерть поэту» императору Николаю I. Стихам был предпослан эпиграф: «Отмщенья, государь, отмщенья!»

Нападки на смертельно раненного Пушкина продолжались. Когда Лермонтов пытался спорить с недоброжелателями поэта, он слышал в ответ слова: «весь высший круг общества такого же мнения»

В своей записке, поданной властям, Лермонтов точно воспроизвел толки, услышанные им в великосветских гостиных после ранения поэта. Одни защищали Пушкина, «другие, особенно дамы, оправдывали противников Пушкина, называли его (Дантеса. — *Р.С.*) благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою»[1].

7 февраля Лермонтов написал новую концовку стихов «На смерть поэта». Он не побоялся бросить вызов придворной черни и трону[2].

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!
...
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью —
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Лермонтов выразил общее настроение. Его стихи мгновенно распространились по всей России. Они стали грозным предостережением для тех, кто продолжал чернить покойного поэта.

Друзья Пушкина всеми силами старались положить конец злонамеренным слухам.

Сразу после поединка Жуковский задумал создать подробную историю дуэли Пушкина. С этой целью он составил конспективные заметки о дуэли,

охватывающие весь период с начала ноября 1836 г. до начала февраля 1837 г. Реакция властей и забота о чести вдовы поэта помешали ему осуществить свой замысел и предать гласности собранный материал.

Вяземский, Жуковский и Тургенев намеревались составить полную и достоверную картину последних дней жизни Пушкина. В письме к Булгакову от 5 февраля 1837 г. Вяземский писал: «...собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и документами. Пушкин принадлежит не одним ближним и друзьям, но и отечеству, и истории». На другой день Вяземский просил Булгакова: «Сделай милость, не замедли выслать мне копию со вчерашнего письма моего: Жуковский требует его для составления общей очной реляции из очных наших ставок»[3].

В начале февраля Вера Вяземская отправила письмо к московской приятельнице Орловой. Вслед за тем Петр Вяземский составил подробнейшие послания Д.В.Давыдову (9 февраля) и великому князю Михаилу Павловичу (14 февраля), а Жуковский — послание С.Л.Пушкину (15 фераля).

Письмо Жуковского отцу поэта было «общей реляцией» друзей Пушкина, и эта реляция пополнялась в течение нескольких недель. 5 марта А.И.Тургенев записал в дневнике: «...я писал добавления к письму Жук. о Пушк. и послал его к Жук.»[4]

Письмо Жуковского было переработано и опубликовано в «Современнике» в апреле-мае 1837 г.

Все эти письма предназначались не лицам, которым они были адресованы, а обществу. Сохранились также черновики писем Жуковского к императору Николаю I и Бенкендорфу. Поводом к их составлению послужило грубое вторжение жандармерии в дом Пушкина и поручение генералу Дубельту «помогать» Жуковскому в посмертной цензуре сочинений и писем из архива Пушкина.

Согласно дневнику А.И.Тургенева, 17 февраля Жуковский сообщил ему о наветах секретной полиции: «Жук. о шпионах... о 3-5 пакетах, вынесенных из кабинета П[ушкина]. Жуковским. Подозрения. Графиня Нессельроде»[5]. В период между 17 февраля и 8 марта черновики писем к Бенкендорфу были закончены. 8 марта Тургенев записал: «Жуковский читал нам свое письмо к Бенк. о Пушк. и о поведении с ним государя и Бенк.»[6]

Обращения к обществу были посвящены мученической кончине гения и выдержаны в торжественных тонах. Совсем иной характер носили черновики письма к шефу III Отделения. Жуковский нашел среди бумаг друга послания Бенкендорфа и был до глубины души возмущен его придирками, оскорбительными выговорами и грубостью. Возмущение выплеснулось на страницы его письма временщику. Жуковский обвинил его в невежестве: «...какие произведения его знаете Вы, кроме тех, на кои указывала Вам полиция и некоторые из литературных врагов, клеветавших на него тайно?»[7]

Тургенев очень точно назвал письмо Жуковского «критическим расследованием действий жандармства» в отношении Пушкина. Воспитатель цесаревича не побоялся обвинить жандармов в гибели поэта, что испугало полуопального Тургенева. «Советовал ему не посылать этого письма в этом виде», — записал Тургенев в дневнике. По-видимому, Жуковский последовал совету друга. Письма, воспроизводящие черновики, не были отправлены Бенкендорфу.

Обращаясь к общественности, защитники Пушкина старательно обходили вопрос о причинах дуэли, о происках клеветников, поносивших память поэта. Они сконцентрировали внимание на том, что великий поэт умер как добрый христианин и верноподданный, что он терпеливо перенес нечеловеческие страдания и заботился о семье до последнего вздоха.

Январская дуэльная история была прямым продолжением ноябрьской, когда муки ревности Пушкина достигли предела. Но даже в то время его оскорбили не столько ухаживания кавалергарда, сколько сводничество старика Геккерна. Обида поэта осталась неотомщенной.

В январе у поэта не было серьезных оснований ревновать жену. Но на этот раз к старым обидам присоединились новые. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала клевета насчет соблазнения Пушкиным девицы Александрины. Позорная молва после гибели поэта смолкла сама собой. Пушкин не допустил ее распространения в обществе, но за это он заплатил жизнью.

Царский двор творил свою легенду о дуэли Пушкина. 3 февраля 1837 г. царь в письме брату Михаилу утверждал, что смерть Пушкина возбудила «тьму толков, наибольшею частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерна справедливо и заслужено»[8]. Монарх реагировал на случившееся четко. Голландский посол давно вызывал высочайший гнев, и монарх использовал случай, чтобы избавиться от него («...кажется, каналья Геккерн отсюда выбудет»). Что касается Дантеса, император считал его поведение безупречным. 4 февраля 1837 г. Николай I писал сестре Марии Павловне в Германию: «Событием дня является трагическая смерть пресловутого (trop fameux) Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной, притом что она... была решительно ни в чем не виноватой»[9].

Даже кончина поэта не смягчила суждений царя. Когда Жуковский стал просить для умирающего и его семьи таких же милостей, каких был удостоен Карамзин, государь в сердцах отвечал ему: «Послушай, братец, я все сделаю для П[ушкина], что могу, но писать как Карам[зину] не стану; П[ушкина] мы насилу заставили умереть как христианина, а Карамзин жил и умер как ангел»[10].

Вечером 29 января Жуковский составил особую записку, адресованную императору. Он просил «воздвигнуть трогательный национальный памятник поэту», а именно очистить от долгов и закрепить за семьей Пушкина сельцо Михайловское, где он желал быть погребенным. Михайловское было родовой вотчиной Пушкиных, обремененной многими долгами. В качестве другого «национального дара» Жуковский предлагал издать сочинения Пушкина и передать весь доход его семье[11]. Жуковский молил государя без отлагательств «единовременно пожаловать что-либо на первые домашние нужды» вдове и детям, оказавшимся в отчаянном положении.

Царь исполнил слово, данное умирающему Пушкину, и удовлетворил ходатайство Жуковского. 30 января 1837 г. Николай I составил собственноручную записку об обеспечении семьи Пушкина, которая равнозначна была рескрипту и включала пункты, которых в черновой записи Жуковского не было. Возможно, что Жуковский изложил дело на словах, не подавая своей записки, и при этом расширил список пожалований[12].

Пожалования были таковы:

«1. Заплатить долги.
2. Заложенное имение отца очистить от долга.
3. Вдове пенсион и дочери по замужество.
4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступлении на службу.
5. Сочинения издать на казенный щет в пользу вдовы и детей.
6. Единовременно 10 т.»[13]

Примерно треть долгов Пушкина составляли правительственные займы[14]. Погашение казенного долга не требовало от правительства новых расходов. Властям пришлось частично погасить долги отца поэта. Родовое имение Пушкиных сельцо Михайловское было заложенно Сергеем Львовичем. Опека выкупила сельцо.

По-видимому, Жуковский не покинул дворца, пока не получил в свои руки царский рескрипт. Этот документ остался в его архиве.

Щедрые милости отвечали ожиданиям столичного общества и всей России. Но в верхах общества отношение к трагедии оставалось двойственным. Через несколько дней после дуэли Николай I написал Паскевичу о гибели поэта: «Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную...» Генерал Паскевич отвечал ему в тон: «Жаль Пушкина как литератора... но человек он был дурной». «Мнение твое о Пушкине я вполне разделяю», — отвечал император[15]. Оценивая приведенные слова, не следует думать, будто Николай I лицемерил, когда выказывал свое расположение Пушкину, давал ему деньги взаймы и платил долги, ограждал от преследований по поводу «возмутительных» сочинений.

Поэта связывали с царем давние и достаточно близкие отношения. При первой встрече Пушкин поразил государя умом и откровенностью. Самодержец не привык слышать правду. Николай I признал Пушкина умнейшим человеком России. Обязанности цензора пушкинских сочинений неизбежно оказали влияние на литературные вкусы царя. Наибольшее сближение двух людей падает на время польского восстания, когда поэт предложил монарху использовать его перо и выдвинул проект издания правительственной газеты.

Мундирная фронда осложнила положение историографа. Царь негодовал на «неблагодарность» камер-юнкера. Его раздражало пренебрежение поэта к придворным обязанностям. Перехваченное письмо Пушкина показало ему, что тот преднамеренно уклоняется от участия в придворных церемониях и праздниках членов императорской семьи.

Монарх всегда относился к дуэлям крайне отрицательно. Он не ожидал, что Пушкин нарушит данное ему, государю, обещание не драться с Дантесом ни под каким предлогом. Поэт нарушил слово чести дворянина. Кроме того первый поэт, украшение императорского двора написал непристойное письмо иностранному послу. Простить все это Николай не мог. В начале 1834 г. царь произнес: «До сих пор он сдержал данное мне слово, и я доволен им»[16]. В 1837 г. он не мог сказать то же самое.

У поэта было не меньше причин негодовать на самодержца, искавшего его дружбы и при том предлагавшего покровительство. Приняв пост придворного историографа, Пушкин взялся за написание истории Петра Великого, но вскоре убедился в том, что его оценки далеко расходятся со взгля-

дами монарха. Двор ждал официозной истории Петра. Но поэт не намеревался жертвовать духовной свободой.

Симпатия Пушкина к личности Николая постоянно подвергалась испытанию. 19 октября 1836 г. поэт писал Чаадаеву: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя»[17]. Чем больше наблюдал Пушкин жизнь властелина империи, тем больше утверждался в мысли, что для России более подходил бы человек другого ума и склада характера. В черновике письма к Бенкендорфу Жуковский писал: «...я уже не один раз слышал... от многих, что Пушкин в государе любил одного Николая, а не русского императора и что ему для России надобно совсем иное»[18]. Жуковский решился воспроизвести слова Пушкина, поскольку не сомневался, что молва об оппозиционности поэта давно стала известна секретной полиции. Но то, что было достоянием жандармов, немедленно становилось известно государю.

Перемену в настроении поэта отметили иностранные дипломаты Геверс и Гогенлоэ. Их информация восходила к общему источнику — записке, составленной в кругу друзей и почитателей поэта. В заметке Гогенлоэ о Пушкине, пересланной в Вюртемберг после 12 апреля 1837 г., значилось: «Пушкин всегда проявлял большое презрение к должностям и милостям... Назначением в камер-юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным, находя эту честь много ниже своего достоинства. С этой минуты взгляды его снова приняли прежнее направление, и поэт снова перешел к принципам оппозиции»[19].

После первой и самой долгой беседы с поэтом Николай I произнес слова: «Мой Пушкин!» Последующие события, как и донесения III Отделения, поколебали его уверенность в том, что Пушкин — его.

Николай I согласился с Паскевичем в то время, когда им владело чувство безудержного гнева. Эпитет «дурной», употребленный царедворцем, имел в виду неблагонадежность, а равно и человеческие качества поэта.

Император считал Пушкина хорошим сочинителем, но дурным человеком. Пушкин считал Николая достойным человеком, но плохим монархом, которому не по плечу править Россией.

Однако даже династия должна была считаться с общественным мнением. Не доверяя собственной почте, самодержец принял все меры, чтоб его письма к голландской родне по поводу кончины поэта не стали известны русскому обществу.

Император всероссийский оправдывал Дантеса и винил в трагедии одного посла. Его брату, великому князю Михаилу, ссылка на одного-единственного виновника — иностранца уже не казалась удовлетворительной. Обсуждая с женой убийство Пушкина, Михаил писал 23 февраля 1837 г.: «Не является ли это еще одним последствием происков этого любезного комитета, который хочет во все вмешиваться и все улаживать, а делает одни глупости»[20]. Михаил менее всего склонен был обличать высшие круги. Поэтому его свидетельство особенно важно. В устах великого князя и его супруги слова о любезном комитете могли иметь лишь один смысл. Они относились к придворным, окружавшим трон. Михаил общался только с этим кругом.

Конечно, знать не была едина в нападках на Пушкина. Поэта горячо защищали Элиза Хитрово, М.Я.Нарышкина, Наталья Строганова-Кочубей. Во многих знатных семьях единодушия не было даже между супруга-

ми. Кавалергард князь Белозерский-Белосельский принял сторону Пушкина, его жена, падчерица Бенкендорфа, была «против Пушкина, за Дантеса»[21]. Поведение Бенкендорфа после кончины Пушкина подтвердило, что шеф жандармов был самым опасным и вероломным врагом поэта.

В начале февраля 1837 г. Александрина Гончарова в последний раз посетила дом Геккернов. Посещение запомнилось ей на всю жизнь, и она особо остановилась на этом эпизоде в своих воспоминаниях. «Ваша тетка (Александрина), — писал муж Александрины Фризенгоф под ее диктовку, — перед своим чрезвычайно быстрым отъездом на Завод после катастрофы была у четы Геккерн и обедала с ними. Отмечаю это обстоятельство, ибо оно, как мне кажется, указывает, что в семье и среди старых дам, которые постоянно находились там и держали совет, осуждение за трагическую развязку падало не на одного только Геккерна, но, несомненно, также и на усопшего»[22]. Воспоминания Гончаровой показывают, что даже среди родни и посетителей дома Геккернов были люди, защищавшие память поэта.

Гибель Пушкина вызвала отклик по всей Европе. В Париже Адам Мицкевич писал: «Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек с такими выдающимися и такими разнообразными способностями»[23].

Смерть раскрыла истинное величие гения. Даже высшая власть должна была прислушаться к «гласу народа». Сообщая Паскевичу о гибели поэта, Николай I писал: «...в нем оплакивается будущее, а не прошедшее». Николай I не заметил того, что вновь найденная формула зачеркивала творчество Пушкина. Идея была мгновенно подхвачена чиновным миром. Московский почт-директор А.Я.Булгаков писал в дневнике: «Я того мнения, что Пушкин более унес с собою, нежели оставил после себя»[24]. Ту же мысль выразили в своих донесениях III Отделению Булгарин и Греч. В 1839 г. они утверждали в очередном доносе: Пушкин кончил свое «поприще, не произведя ничего истинно достойного тех дарований, которые получил свыше, не обработав их трудом, не усовершив учением и размышлением»[25].

Скорбь и возмущение народа заглушили брань врагов поэта. Но на аристократию произвело впечатление не столько народное горе, сколько милости, которыми император после кончины Пушкина осыпал его семью.

Эпилог

Вернувшись в Петербург 9 февраля, Тургенев сразу посетил вдову, отдал ей просвирку из Святогорского монастыря. Он нашел Пушкину «ослабевшую от горя и от бессонницы, покорною провидению»[1]. На другой день Мещерский принес Александрине для передачи вдове стихи Лермонтова «На смерть поэта». Наталья была на грани помешательства. По словам С.Карамзиной, взгляд ее блуждал, лицо было невыразимо жалкое. Она спросила Софью: «Вы видели лицо моего мужа сразу после смерти? У него было такое безмятежное выражение... не правда ли, это было выражение счастья, удовлетворенности? Он увидел, что там (на том свете. — *Р.С.*) хорошо»[2]. Одиннадцать дней спустя Карамзина вновь посетила вдову. Карамзина отметила, что она жаждет говорить о погибшем, «обвинять себя и

плакать. На нее по-прежнему тяжело смотреть, но она стала спокойней и нет было более безумного взгляда. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина»[3].

Графиня Фикельмон уловила в облике Натальи черты, предвещавшие несчастье. В последней дневниковой записи о Пушкиной она писала: «Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние»[4].

Вдова поэта искала утешения в беседах с новым своим духовником о.Василием Бажановым, профессором богословия университета. 10 февраля П.А.Вяземский писал: «Пушкина все еще слаба, но тише и спокойнее, она говела, исповедовалась и причастилась и каждый день беседует со священником Бажановым, которого рекомендовал ей Жуковский. Эти беседы очень усмирили ее и, так сказать, смягчили ее скорбь»[5]. Глубокое религиозное чувство, жившее в душе Натальи Николаевны, помогло ей пережить горе.

15 февраля Софи Карамзина нанесла Пушкиной прощальный визит. Она также заметила перемены в Натали, но дала им свое истолкование. Ей показалось, что вдова «уже не была достаточно печальной»: «было бы естественным... выказать раздирающее душу волнение — и ничего подобного» и пр.[6] На другой день Софи записала слова Натальи Николаевны: «Я совсем не жалею о Петербурге; меня огорчает только разлука с Карамзиными и Вяземскими, но что до самого Петербурга, балов, праздников — это мне безразлично»[7]. В словах вдовы Карамзина увидела проявление легкомыслия, кокетства и тщеславия. Речам Натали действительно недоставало искренности. В прошении, написанном ранее 8 февраля 1837 г. она писала буквально следующее: «...как не только упомянутое движимое имущество покойного мужа моего находится в С.Петербурге, но и я сама должна для воспитания детей моих проживать в здешней столиции...» и пр.[8] Пушкина не желала ехать в деревню вопреки совету и воле мужа. Молодая женщина не понимала, что праздник жизни для нее окончен раз и навсегда. Воспитание детей было не очень удачным предлогом, так как дети были совсем малы и их обучение в столице было делом далекого будущего. Вдове было трудно сразу осмыслить масштабы постигшей ее катастрофы. Двадцатичетырехлетняя Натали не желала покидать Петербург и надеялась на милость государя, еще недавно ухаживавшего за ней.

Действительность оказалась суровой. Петербургская движимость была совсем невелика. Долги и отсутствие средств к жизни сделали невозможным дальнейшее пребывание семьи в «столиции». 16 февраля вдова направилась из Петербурга в Москву, чтобы оттуда проследовать в имение брата Полотняный завод под Калугой.

Прибыв в Москву ночью, Наталья Николаевна, переменила лошадей и отправилась дальше. По ее поручению брат Сергей Гончаров навестил отца Александра Сергеевича и передал ему извинения невестки и приглашение посетить ее в Полотняном заводе[9]. В путешествии Пушкину сопровождали ее тетка Загряжская и сестра Александрина.

В деревне Натали не сразу пришла в себя. По словам брата, она нередко хворала, из-за чего неделями не выходила к общему столу, была «чаще грустна, чем весела»[10]. В середине лета С.Л.Пушкин навестил невестку в имении, а затем уехал в Михайловское. Баронесса Е.Н.Вревская беседовала с отцом поэта и записала: «Сер. Льв. быв у невестки, нашел, что сестра

ее (Александрина. — *Р.С.*) более огорчена потерею ее мужа»[11]. Вревская была крайне предубеждена против Натальи Николаевны, поэтому ее слова нельзя принимать всерьез.

Вдова пробыла в деревне около двух лет, а затем приехала в Петербург. Молва, порочившая ее как виновницу гибели мужа, не стихла, невзирая на старания друзей поэта. Возвращение красавицы в свет, танцы, увлечения, кокетство, прежде восхищавшие свет, вызывало теперь осуждение. Некогда Пушкин писал, что готов умереть, чтобы оставить Наталью «блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа»[12]. Наталья осталась женщиной в расцвете сил, блистательной вдовой, но она не была вольна устроить свою жизнь. Прошло долгих семь лет. Наконец, она вышла замуж, но не по своему выбору. Гончаровы продолжали владеть землями, заводами и крепостными, но их имущество было заложено и перезаложено и не приносило дохода. По подсчетам министерства финансов, даже в случае продажи имения на Гончаровых осталось бы полмиллиона долга. Глава дома Д.Н.Гончаров почти полностью прекратил выплату сестрам причитавшихся им денег. Имея 4 детей, с сестрой на руках Натали столкнулась с нуждой. Характерный штрих: однажды она должна была занять чай и свечи, чтобы принять в Михайловском гостя — П.А.Вяземского. Светская жизнь требовала больших расходов и оказалась не по средствам двум сестрам. За Натали ухаживали многие, но никто не желал на ней жениться. В числе ее поклонников были, по словам ее дочери Араповой, Н.А.Столыпин, князь А.С.Голицын, неаполитанец граф Гриффео.

Роль жертвы жестокой красавицы разыгрывал князь Вяземский. Отвечая на его сердечные признания, ревнивые упреки и многозначительные предостережения, Натали сделала князю выговор: «...Не понимаю, чем заслужила такого о себе дурного мнения... не моя вина, есть ли в голову вашу часто влезают неправдоподобные мысли, рожденные романтическим вашим воображением, но не имеющие никакой сущности»[13].

Многолетняя дружба Пушкина с князем Петром подверглась тяжкому испытанию еще в то время, когда князь отвратил лицо от дома Александра Сергеевича. Это обстоятельство не укрылось от Нащокина. «Пушкин, — вспоминал Нащокин, — не любил Вяземского, хотя не выражал того явно... ему досадно было, что тот волочился за его женой, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отдавать долг красавице»[14]. Мнение Нащокина вызвало резкие возражения Соболевского, написавшего на полях: «Это натяжка!»[15] Однако известие Нащокина не может быть отвергнуто целиком. После смерти Пушкина ухаживания Вяземского за Натальей стали более настойчивыми, что вызвало неудовольствие вдовы.

Сестра Натали Александрина стала фрейлиной, после чего стала посещать придворные балы и ездить в театр. «...Натали, — писала ее знакомая в 1839 г. — не ездит туда никогда»[16].

В 1843-1844 гг. императорская фамилия (надо понимать, царь) оказала вдове честь, напомнив, что она является фрейлиной. В 1843 г. вдове исполнился 31 год. По словам императрицы, она вновь сияла на придворных балах, как небесное светило[17]. Пушкиной предстояло выдать замуж сестру и позаботиться о себе. Светская жизнь требовала больших денег. К зиме 1844 г. Натали истратила 20 000 рублей из капитала в 50 000, предназначенного для детей, а кроме того сделала долгов на 25 000 рублей. Для

вдовы этот долг был куда обременительнее, чем для Пушкина — стотысячный долг.

Столица вновь заговорила о Пушкиной. Царь обратил на нее благосклонный взор. Оказавшись в трудных обстоятельствах, Натали подала царю прошение о погашении ее частных долгов и повышении «пенсиона» от казны. Николай I повелел выдать просительнице требуемую сумму, но отклонил просьбу повысить «пенсион», пообещав «другим способом изъявить ей лично особую высочайшую волю»[18]. Дневники М.Корфа объясняют, в чем заключалось царское волеизъявление. М.А.Корф был близок ко двору и получил известность как историограф Николая I. Его осведомленность несомненна. 28 мая 1844 г. историограф записал в дневник сведения о помолвке Натальи Николаевны и Ланского, вызвавшей удивление в свете. Ни вдова, ни генерал не имели состояния, и их союз Корф назвал «союзом голода с жаждой». Отнюдь не склонный злословить о государе, историограф писал: «Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда своим посещением. Недель шесть назад он тоже был у нее, и, вследствие этого визита, или просто случайно, только Ланской назначен командиром Конногвардейского полка». Итак, царь удостоил Пушкину свидания в середине апреля, а 9 мая Ланской был назначен командиром столичного гвардейского полка. Вскоре же, а именно 28 мая, было объявлено о его помолвке с Пушкиной. Назначение на должность полкового командира сделало возможным их брак, так как положенный Ланскому оклад в 30 000 обеспечивал «их существование»[19]. Корф ничего не знал о секретных документах по поводу долгов Натальи Николаевны и их оплаты казной по повелению царя. Тем более важным представляется его свидетельство. Оно разъясняет слова о «другом способе» оказания милости, изъявленной Наталье Николаевне при личной встрече. (Я.Л.Левкович решительно отвергает сведения о связи Н.Н.Пушкиной с царем. Но она не учитывает показаний Корфа и документальных свидетельств о погашении долгов вдовы казной[20].) Николай I поступил с вдовой так, как издавна поступали самодержцы с фаворитками. Он выдал ее за своего придворного. По прихоти монарха Натали должна была соединить свою судьбу с другом человека, разрушившего ее жизнь.

Благосклонность царя к Натали простиралась так далеко, что он предложил быть ее посаженным отцом на свадьбе с Ланским. Поневоле оказавшись в числе молодых женщин, которых «государь иногда удостаивал своим посещением», Пушкина не желала сплетен и пересудов. Ей достало твердости отклонить лестное предложение императора. Но Николай все же прислал невесте бриллиантовый фермуар и крестил ее дочь, вскоре же родившуюся[21]. След романа можно обнаружить в различных источниках. По словам В.Е.Якушкина, в Исторический музей обратился внук камердинера Николая I, принесший золотые часы царя с портретом Натальи Николаевны на внутренней крышке. Раскрывая часы, Николай I мог лицезреть вдову Пушкина[22].

Ланской, вероятно, догадывался или знал о романе Натальи Николаевны с царем. Во всяком случае, жене пришлось доказывать мужу, что ее причастность к интимному придворному кругу никогда не зависела от собственных ее склонностей и желаний. «Втираться в придворные интимные круги — ты знаешь мое к тому отвращение... Я нахожу, что мы должны

появляться при дворе только когда получаем на то приказание... Я всегда придерживалась этого принципа»[23].

Взаимоотношения супругов Ланских были достаточно ровными и спокойными. «Ко мне у тебя чувство, — писала Натали Ланскому, — которое соответствует нашим летам; сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью»[24].

Вдова не питала иллюзий насчет привязанности императора. Харизма государя поблекла, давнее увлечение не вернулось вновь. Наталья Николаевна понимала, что ее семейное благополучие так же непрочно, как изменчива царская милость. Вскоре после свадьбы она писала старшему брату Дмитрию: «...мой муж может извлечь выгоды из своего положения командира полка. Эти выгоды состоят, правда, в великолепной квартире, которую еще нужно прилично обставить на свои средства, отопить и платить жалованье прислуге 6000. И это вынужденное высокое положение непрочно, оно зависит целиком от удовольствия или неудовольствия его величества, который в последнем случае может не сегодня, так завтра всего его лишить»[25]. Милости государя более не радовали вдову поэта.

***

Исследователи многих поколений обращались к истории пушкинской дуэли. П.Е.Щеголев посвятил этой теме фундаментальную двухтомную монографию «Дуэль и смерть Пушкина». Книга сохранила значение до наших дней. В первом издании, появившемся до революции, исследователь ограничил задачу, сведя ее к «прагматическому изложению столкновения Пушкина с Дантесом». Трагедия получила вид семейной драмы, драмы ревности. В издании 1928 г. автор раздвинул рамки своей концепции, сосредоточив внимание на взаимоотношениях поэта с царским двором и высшим обществом[26]. П.Е.Щеголев впервые собрал и систематизировал огромный фактический материал. Но он не воспользовался приемами критики источников, разработанными петербургской источниковедческой школой, что сказалось на его выводах.

В последующие десятилетия многие исследователи обращались к истории гибели Пушкина. Специальные работы этой теме посвятили А.С.Поляков, Б.В.Казанский, Л.П.Гроссман, А.А.Ахматова, Ю.М.Лотман, Н.Я.Эйдельман, Э.Г.Герштейн, М.И.Яшин, С.Б.Ласкин. В 1989 г. С.Л.Абрамович опубликовала книгу «Пушкин в 1836 году. (Предыстория последней дуэли)». Открытия С.Л.Абрамович повлекли за собой крушение многих легенд и традиционных представлений.

Недавно профессор Серена Витале из Милана получила в свое распоряжение подлинники писем Жоржа Дантеса к приемному отцу Геккерну и жене Катерине, хранившиеся в семейном архиве баронов Геккернов[27]. В отрывках эти письма давно стали достоянием науки. Но полный текст их опубликован впервые[28].

Накопление новых данных позволяет осуществить общий пересмотр истории дуэли и заново реконструировать события, приведшие к трагической гибели величайшего поэта России.

ПРИМЕЧАНИЯ

Часть I. Возвращение из ссылки

Отъезд из Михайловского

[1] Т. XIII. С. 280. (В такой форме: номер тома римской цифрой и страницы — Сочинения Пушкина здесь и ниже цитируются по Полному собранию сочинений в 16 тт. Изд. Академии наук. 1937—1949. Все *остальные издания* Полного собрания сочинений А.С.Пушкина указываются по форме: *ПСС*, номер тома и год издания.)

[2] После возвращения из ссылки Пушкин забыл и думать об операции. Но на тяжелые приступы «рюматизма» он продолжал жаловаться.

[3] Т. XIII. С. 263—264.

[4] Т. XIII. С. 271.

[5] Т. XIII. С. 283.

[6] *Эйдельман 1979*. С. 396.

[7] *Модзалевский 1925*. С. 20; см. также: *Эйдельман 1979. С. 327—336, 360—365, 381—403*.

[8] *Пушкин А.С.* Стихотворения лицейских лет. СПб., 1994. С. 286, 375, 684.

[9] Торговец из Опочки И.И.Лапин записал в дневнике 29 мая 1825 г., что видел Пушкина в странной одежде: в ситцевой красной рубашке, опоясанного голубой лентой, с соломенной шляпой на голове и с железной тростью. (См.: *Бартенев*. С. 128).

[10] *Модзалевский 1925*. С. 21—29.

[11] *Анненков 1874*. С. 321.

Поэт и государь

[1] Согласно воспоминаниям А.Г.Хомутовой, она беседовала с Пушкиным вскоре после вызова его к царю (Русский архив. 1867. № 7. С. 1065—1068). Автор специальной монографии Н.Я.Эйдельман выделил *Записки* Анны Хомутовой в качестве «основного текста», поскольку мемуаристка виделась с Пушкиным 26 октября 1826 г. и, вероятно, вскоре же записала рассказ поэта как бы в «стенографической записи». (*Эйдельман 1987*. С. 28—29). Хомутова точно назвала день и час встречи с Пушкиным, что позволило Эйдельману заключить, что в основе ее рассказа лежали какие-то дневниковые записи. Однако это сомнительно: оригинал записок Хомутовой не сохранился, и данные о времени их составления отсутствуют. Предположение о дневнике остается чисто умозрительным.

[2] День Николая I был заранее расписан по часам и минутам. С утра он слушал рапорты московского генерал-губернатора, Д.В.Голицына, Бенкендорфа, Нарышкина, посетил мать. Узнав о приезде Пушкина, царь велел дежурному генералу привести его в комнату к Дибичу в Чудовом монастыре, откуда препроводить в свой кабинет в половине четвертого дня. Назначенное время оказалось неудачным. В 3 часа дня 8 сентября 1826 г. Николай I сел обедать с принцем прусским Фридрихом Вильгельмом. (*Модзалевский 1929*. С. 359—360; *Эйдельман 1987*. С. 18). Закончить обед через полчаса не было никакой возможности. После обеда царь отдыхал.

[3] *Черейский*. С. 139.

[4] Т. XIII. С. 283—284.

[5] Лицейский товарищ поэта М.Корф слышал этот рассказ из уст государя и поспешил записать его через два дня после разговора. Корф «застенографировал» слова царя, но при этом не удержался от собственного комментария. К словам «в ранах» он

приписал «от известной болезни», имея в виду болезнь венерическую. Однако добросовестность в конце концов взяла верх, и Корф вычеркнул добавленные от себя слова. (*Эйдельман 1987*. С. 171).

[6] Т. XIII. С. 296, 559.

[7] Т. XIII. С. 257.

[8] Русская старина. 1899. № 8. С. 310. Характерная фраза: «Он [Пушкин] наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря», — как показал Н.Я.Эйдельман, отсутствует в автографе дневника Корфа и в первом посмертном издании его записок; она появляется лишь во втором издании.

[9] В мемуарах Хомутовой эпизод передан иначе. Повествуя от имени Пушкина, Хомутова пишет: Император долго беседовал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря? — «Неизбежно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них». Хомутова была писательницей, и ее беллетризованные записки напоминают скорее анекдоты из жизни Пушкина, чем стенографическую запись. Мог ли Пушкин ответить царю, что непременно принял бы участие в мятеже на Сенатской площади, потому что *все его друзья* были в заговоре, и он был бы «в невозможности отстать от них»? Прежде всего это было бы вопиющей неправдой. Ближайшие друзья поэта — Жуковский, Вяземский, Александр Тургенев — были непричастны к деятельности тайных обществ и осуждали декабристов. Вожди мятежа были казнены или сосланы в Сибирь, но власти не избавились от подозрений. Пушкин допустил бы большую неосторожность, если бы заявил царю, что все его друзья были в заговоре.

[10] Т. XIII. С. 257.

[11] Беседа с монархом менее всего напоминала допрос. Именно поэтому Николай I счел возможным мимоходом задать поэту вопрос о его возможном участии в мятеже. Даже когда во время следствия по делу декабристов один из судей, Чернышев, спросил декабриста М.А.Назимова: «Что вы сделали бы, если бы были в Петербурге 14 декабря?» — Бенкендорф тотчас прервал его словами: «Послушайте, вы не имеете права задавать подобный вопрос, это дело совести». (*Розен*. С. 155.) Бенкендорф заботился о репутации дворянина — человека чести. Общество во все времена мстило презрением тем, кто избрал ремеслом доносы. Невзирая на графский титул и чины, шефа жандармов «третировали в высшем свете за его должность и низкие поступки» (*Тодд*. С. 34).

[12] Т. XIII. С. 329.

[13] *Мицкевич*. С. 389.

Литературная беседа

[1] По мнению Ю.Лотмана, император весьма неуверенно чувствовал себя на троне после жестокого подавления мятежа в армии; ему нужно было время, чтобы найти новую маску и приноровиться к новой роли; Пушкин, можно полагать, обратил внимание Николая на сходство положения его и Петра I, начавшего с подавления мятежа и казней. «Можно себе представить, какая радость охватила Николая, когда он услыхал от Пушкина такое сравнение, — писал Ю.Лотман. — Он получал роль, и роль высокую, торжественную... Вспышку радости Николая Павловича можно понять» (*Лотман*. С. 368).

[2] *Эйдельман 1987*. С. 52–54.

[3] Т. XIII. С. 237, 240, 271.

[4] *Там же*. С. 227.

[5] Т. XIII. С. 211.

[6] *Анненков*. С. 180.

[7] Т. XIII. С. 226.

[8] *Щеголев*. С. 208.

[9] *Мицкевич*. С. 93.

[10] *Бартенев*. С. 90.

[11] Т. XIII. С. 534. Позже сам поэт подчеркивал: «Дух века требует важных перемен и на сцене

драматической»; «...всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены...» (*ПСС*. Т. V., 1936. С. 289).

[12] Т. XIII. С. 298.

Цензурные вериги

[1] *Архив братьев Тургеневых*. Вып. 6. С. 40.[2] Т. XIV. С. 25.

[3] Т. XIII. С. 312.

[4] *Мицкевич*. С. 93.

[5] *Там же*. С. 389.

[6] Т. XIII. С. 306.

[7] *Архив братьев Тургеневых*. Вып. 6. С. 42.

[8] Т. XIII. С. 298.

[9] *Там же*.

[10] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 363—364.

[11] *Левкович 1988*. С. 85.

[12] *Бартенев*. С. 92.

[13] *Рукою Пушкина*. С. 238, 240.

[14] Пушкин дал окончательный заголовок стихотворению («Пророк») и подверг его переработке весной—летом 1827 г. в связи с подготовкой сочинения к изданию.

[15] *Щеголев 1931*. С. 91; *Эйдельман 1987*. С. 38.

[16] *Гессен*. С. 68.

[17] Русская старина. 1883. № 6. С. 691—692.

[18] *Архив братьев Тургеневых*. Вып. 6. С. 42.

[19] Русский архив. 1901. № 7. С. 403.

[20] Т. XIII. С. 305.

[21] *Пушкин в воспоминантях*. Т. 2. С. 56.

[22] *Эйдельман 1987*. С. 426.

[23] *Русский архив*. 1888. № 7. С. 307.

[24] *Модзалевский 1925*. С. 56—57.

[25] Т. XIII. С. 306.

[26] *Видок Фиглярин*. С. 88—89.

[27] Т. XIII. С. 307.

[28] *Эйдельман 1987*. С. 74.

[29] Т. XIII. С. 308.

[30] *Модзалевский 1925*. С. 34—35.

[31] Т. XIII. С. 305—306.

[32] *ПСС*. Т. 7. 1935. С. 412.

[33] «Замечания», поступившие в III Отделение, были атрибутированы Булгарину Б.В.Томашевским. По мнению Б.П.Городецкого, автором «замечаний» был Греч. (См.: *Городецкий* С. 109—118; *Эйдельман 1987*. С. 121). Однако точка зрения Б.П.Городецкого не получила признания в литературе. (*Исследования и материалы*. Т. 6. С. 252—275).

[34] *Видок Фиглярин*. С. 91, 93.

[35] *Дела III Отделения*. С. 23, 25; *Видок Фиглярин*. С. 93.

[36] *ПСС*. Т. 7. 1935. С. 415.

[37] *Видок Фиглярин*. С. 92.

[38] *Дела III Отделения*. С. 33; Т. XIII. С. 313.

[39] Т. XIII. С. 317.

[40] Старина и новизна. Кн. 6. 1903. С. 6.

[41] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 235.

Династия и реформы

[1] *Сб. РИО*. Т. 74. СПб., 1891. С. XVI.

[2] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 115; *Скабичевский*. Ч. 2. С. 96.

[3] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 1. С. 416.

[4] Т. XIV. С. 69.

[5] *Сб. РИО*. Т. 74. С. XVI.

[6] *Семевский*. С. 21.

[7] *Дневники. Записки*. С. 62.

[8] *Черейский*. С. 470.

[9] *Дневники. Записки*. С. 70.

[10] *Абрамович 1991*. С. 377, 446.

[11] Т. XIV. С. 6.

[12] *Дневники. Записки*. СПб., 1995. С. 42.

В сетях III Отделения

[1] *Лемке*. С. 18; см. также:

Оржеховский. С. 20.

[2] Т. XIV. С. 111–112.

[3] *Русская старина*. 1881. № 11. С. 551; см. также: *Рейтблат*. С 12–14.

[4] *Майков*. С. 176.

[5] *Цявловский. Комментарии*. С. 714.

[6] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 113.

[7] *Там же*. С. 104.

[8] Старина и новизна. 1903. Кн. 6. С. 5.

[9] *Там же*. С. 714.

[10] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 715.

[11] Еще одно донесение в пользу Мицкевича Булгарин подал в III Отделение 9 мая 1828 г. (*Видок Фиглярин*. С. 255–256, 274).

[12] *Архив братьев Тургеневых*. Т. 6. С. 71; *Русский архив*. № 6. С. 319.

[13] Т. XIV. С. 11.

[14] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 6. Когда Гоголь в поисках заработка обратился к Булгарину, тот порекомендовал его фон Фоку, и молодой литератор был принят на службу в канцелярию III Отделения. (*Видок Фиглярин*. С. 12).

[15] Т. XIV. С. 266.

[16] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 534, 716; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 33, 112–113.

[17] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 716.

[18] *Там же*. С. 535–536.

Поднадзорный

[1] *Дела III Отделения*. С. 76.

[2] *Там же*. С. 79.

[3] *Там же*. С. 78.

[4] *Эйдельман 1987*. С. 127.

[5] *Бартенев*. С. 109.

[6] *Дела III Отделения*. С. 343.

[7] *Эйдельман 1987*. С. 135.

[8] Старина и новизна. Кн. 15. С. 188, 210.

[9] Т. XIV. С. 408–409.

[10] *Абрамович 1994*. С. 182.

[11] *Там же*. С. 388.

[12] *Гессен 1968*. С. 173, 261; *Абрамович 1994*. С. 182.

[13] *Эйдельман 1987*. С. 425.

[14] Русская старина. 1899. № 12. С. 487.

[15] Т. XIII. С. 307.

[16] Т. XIV. С. 81—82.

[17] Т. XIV. С. 403; ср.: *ПСС*. Т. 8. М., 1954. С. 220.

Пушкин и Булгарин

[1] *Вацуро 1978*. С. 70.

[2] *Рейтблат*. С. 11.

[3] *Лемке*. С. 244.

[4] *Вацуро 1978*. С. 80, 181. Тезис В.Э.Вацуро получил развитие в исследовании А.И.Рейтблата. По мнению последнего, «в целом Булгарин, безусловно, не реакционер и не консерватор, а умеренный либеральный монархист»; эпиграммы превратили облик Булгарина в карикатуру, «мало общего имеющую с оригиналом»; «в результате у Булгарина сформировалась одиозная репутация полицейского шпиона и гонителя Пушкина, которая, по сути дела, почти не изменилась и до наших дней» (*Рейтблат*. С. 21, 39–40).

[5] *ПСС*. Т. 13. 1937. С. 83.

[6] Русская старина. 1909. № 11. С. 350. Цит. по: *Видок Фиглярин*. С. 678.

[7] Т. XIII. С. 346.

[8] Цит. по: *Рейтблат*. С. 98.

[9] *Видок Фиглярин*. С. 228.

[10] *Там же*. С. 231.

[11] *Там же*. С. 299. Донос имел для Вяземского самые неблагоприятные последствия. Князь Петр знал, кто клеветал на него: «По всем догадкам, это была Булгаринская штука». (*Вяземский*. С. 311).

[12] *Дневники. Записки. 1995*. С. 32.

[13] *Видок Фиглярин*. С. 289.

[14] *Там же*. С. 108, 113–114.

[15] *Там же*. С. 289, 292.

[16] *Тодд*. С. 85–86.

[17] *Никитенко*. С. 99.

[18] *Лотман*. С. 137.

[19] *Гиппиус*. С. 245–246.

[20] Т. XIV. С. 75, 403.

[21] *Рейтблат*. С. 12–13.

[22] *Греч*. С. 714.

[23] *ПСС*. Т. XIV. 1941. С 427.

[24] Русский архив. 1887. № 5. С. 124.

[25] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 289.

[26] Цит. по: *Рейтблат*. С. 12.

[27] *ПСС*. Т. XIV. М., 1941. С. 67.

[28] *Северная Пчела*. 11 марта 1830 г.

[29] Т. XI. С. 129.

[30] *Видок Фиглярин*. С. 385.

[31] *Там же*.

[32] Чтобы оправдать свой промах, Булгарин сослался на то, что сам он романа не читал (*Никитенко*. Т. 1. С. 89; *Видок Фиглярин*. С. 380–381).

[33] *Видок Фиглярин*. С. 272–338.

[34] *Рейтблат*. С. 399.

[35] Т. XIV. С. 403.

[36] Старина и новизна. Кн. 6. СПб., 1903. С. 7–9; *Лернер*. С. 207.

[37] *Видок Фиглярин*. С. 398.

[38] 7 января 1830 г. Пушкин напомнил Бенкендорфу, что в его отсутствие Жуковский хотел напечатать его трагедию «Борис Годунов», но не получил формального разрешения. (Т. XIV. С. 56, 398.)

[39] Т. XIV. С. 77, 406.

[40] *Там же*. С. 81–82.

[41] *Там же*. С. 144. Неясно, читал ли государь трагедию или вновь довольствовался отзывами доверенных лиц. Скорее всего, слова «читал с удовольствием» были формулой вежливости с его стороны. По простоте душевной поэт не сомневался в том, что его цензор внимательно прочел пьесу еще в 1826 г. «Государь, — писал Пушкин в 1830 г., — соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замечаний».

[42] Т. XV. С. 53.

[43] Старина и новизна. Кн. 6. СПб., 1903. С. 7–9.

[44] *Там же*.

[45] *Шильдер*. С. 521.

[46] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 168, 461.

[47] *Гиппиус*. С. 242–243.

[48] Т. XIV. С. 443.

[49] *Там же*.

[50] *Там же*.

[51] *Там же*. С. 89.

[52] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 75.

[53] *Гиппиус*. С. 253–255.

[54] *Письма последних лет*. С. 218.

[55] Т. XV. С. 124.

[56] *Там же*.

Дон-Жуанский список

[1] *Рукою Пушкина*. С. 684.

[2] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 1. № 1723. Л. 37 об.

[3] *Левкович Комментарий 1995*. С. 279; *Левкович Список*. С. 47. Какое значение в салоне Ушаковых могли иметь соображение о родственном круге П.А.Осиповой — совершенно непонятно.

[4] *Лотман*. С. 741. Пушкин с удовольствием повторял фразу аббата Гальяни, характеризовавшего женщину словами: «Животное, по природе своей слабое и болезненное» (*Лотман Беседы*. С. 59). Однако эти слова никогда не выражали его подлинного отношения к своим кумирам. Шотландский поэт Роберт Бернс, выходец из крестьянской среды, так определил различие между высшим обществом и низшими классами: «...мужчины более или менее везде одинаковы. Но молодая, изящная светская женщина — совсем особенное, чудесное существо, которого нельзя встретить в деревне, да и нигде вообще, кроме большого света» (цит. по: *Губер*. С. 236). Пушкин думал примерно так же, как Бернс. По замечанию П.Губера, если Пушкин так

дорожил своей принадлежностью к аристократическому кругу, если так упорно и настойчиво стремился занять в нем место, то, разумеется, скорее ради женской, нежели ради мужской его половины; он любил тип светской женщины как поэт и художник (*Там же*). В Дон-Жуанский реестр Пушкина попали исключительно светские женщины.

[5] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 1. № 1723. Л. 37 об.; *Рукою Пушкина*. С. 633; *Черейский*. С. 60; *Лотман*. С. 664.

[6] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 151, 248.

[7] *Золотой том*. С. 724.

[8] Другое прочтение: «Лицейская». См.: *Левкович. Комментарии 1995*. С. 279.

[9] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 1. № 1723. Л. 37 об. Трудно предположить, чтобы эти расшифровки могли быть сделаны без подсказки со стороны поэта.

[10] *Жуйкова*. С. 247–249.

[11] Исследователи (см.: *Жуйкова*. С. 407) нашли в означенной галерее портрет Екатерины Раевской-Орловой (л. 38 об.), ее же портрет с мужем и с Закревскими (л. 39), портрет Анны Олениной (л. 40 об.), ее же портрет с матерью Е.М.Олениной в чепце (л. 41), портрет А.Олениной в рост (л. 41 об.), портрет матери барышень Ушаковых С.А.Ушаковой (л. 42 об.), Елизаветы Ушаковой (43 об.), В.М.Толстой (л. 46 об.). Представление, будто большинство профилей, когда-нибудь нарисованных рукою Пушкина, непременно имело в виду реально существовавших лиц, давно оспорено в литературе (*Лотман 1987*. С. 62. Примеч. 13). Однако случай с рисунками к «Дон-Жуанскому списку» совсем особенный.

[12] В некоторых случаях определение номеров рисунка вызывало спор между участниками игры. Так, на одном из рисунков (л. 46 об.) Пушкин пометил «Варвара мученица». Подле его подписи издатели прочли цифру «43». Происхождение ошибки таково. Один из игравших пометил портрет цифрой «4». Подле цифры ясно видна точка с размазанными чернилами. Совсем другой рукой рядом выписана уродливая цифра 3. В итоге помета приобрела вид: № 43.

[13] Номера, помеченные на рисунках «Дон-Жуанской галереи портретов», располагались в определенном порядке. Рисунок под номером 2 присутствующие отнесли ко второму имени списка, т.е. к Катерине I; рисунок под № 3 — к третьему имени списка, т.е. Катерине II ; рисунок № 4 — к литерам *NN*, занимавшим четвертое место в списке; рисунок № 7 — к седьмому имени в списке, т.е. Катерине III.

[14] Затея с нумерацией рисунков не дала больших результатов. Неизвестная рука пометила на портрете Анны Олениной (л. 40 об.) размашистую цифру 2. В перечне имен второе место занимает Катерина II Бакунина. Налицо была явная ошибка. Номером 3 (цифра написана небрежно, чернила размазаны) помечен рисунок с изображением тоненькой девушки со спины. Лицо ее не видно. Рисунок такого рода не помогал разгадке, а ставил новые вопросы. Пушкин был не единственным рисовальщиком. Некоторые наброски (например, № 12 или 130) были сделаны неумелой рукой. На лл. 44 об., 45 можно обнаружить более 50 профилей, портретов и фигур как женских, так и мужских с подписями: *Catinka, Catharine, Liza, Elen, Muhanov* и пр.

[15] Игра заняла, как видно, не один вечер, или же она возобновилась после долгой паузы. Если первый перечень был написан мягким, плохо отточенным карандашом, то второй список — жестким острым карандашом. Пушкину не удалось поместить весь список на л. 48 об., и три последних имени были перенесены на смежный лист 49, где помещалась сцена искушения юного Пушкина.

[16] Вслед за П.Губером эту задачу попытались разрешить Т.Г.Зенгер-

Цявловская, Я.Л.Левкович и другие (*Рукою Пушкина*. С. 629–637; *Левкович. Комментарии 1995*. С. 69–70, 279–281; *Утаенная любовь*. С. 34–50; и др.).

[17] Это истолкование исключает предположение, будто под № 1 следует понимать Наталью Кочубей (таково мнение Я.Л.Левкович. См.: *Утаенная любовь*. С. 45). Наталья Кочубей была девочкой, и соединить ее образ с изображением черта, картиной дьявольского искушения нет никакой возможности.

[18] *Губер*. С. 45; *Цявловский. Летопись*. Т. 1. С. 47, 76.

[19] *Дневники. Записки*. С. 9.

[20] *Губер*. С. 52; *Цявловский. Летопись*. С. 203–204.

[21] *Гершензон 1919*. С. 155–184; *Губер*. С. 239–287; *Рукою Пушкина*. С. 631—632.

[22] *Рукою Пушкина*. С. 631–632.

[23] Т. V. С. 322. Исследователи мифа об «утаенной любви» проводят резкую разграничительную черту между стихами, обращенными к возлюбленным, имена которых хорошо известны, и стихами, написанными с позиций, не допускающих какого-нибудь биографического комментария, поиска адресата (мнение Г.П.Макогоненко. См.: *Утаенная любовь*. С. 22). Тема специально исследована в работе Р.В.Иезуитовой «Утаенная любовь» в жизни и творчестве Пушкина. (*Там же*. С. 7–33).

[24] *Лотман*. С. 741.

[25] В программе можно прочесть такие пункты: «...Гувернантки. Ранняя любовь. — Рождение Льва». (*Дневники. Записки*. С. 57). Брат Пушкина родился в 1805 г., следовательно, обостренный интерес к гувернанткам (предвосхищение чувственности) мальчик испытал в шесть лет.
(О датировке записи см.: *Левкович 1988*. С. 44–45). Обдумывая программу, Пушкин затем вычеркнул слова «Ранняя любовь».

[26] *Левкович 1988*. С 59.

[27] ИРЛИ. Отдел рукописей. Оп. 1. № 417.

[28] Т. XII. С. 429.

[29] Русская старина. 1870. № 1. С. 235. Работая над программой автобиографии, Пушкин под 1813 г. вписал «Гр. Коч<убей>». Никаких помет о «первой любви» против имени Кочубей нет. Тем не менее Я.Л.Левкович сделала вывод, что первой любовью поэта была Наталья Кочубей (*Левкович 1988*. С. 59). В доказательство исследовательница сослалась на воспоминания М.Корфа, который на склоне лет писал, что графиня Наталья Кочубей была «первым предметом любви Пушкина» (*Пушкин и его современники*. Вып. VIII. С. 25; *Бартенев*. С. 32, 87–88). Следует иметь в виду, что Корф не принадлежал к числу друзей Александра и, даже будучи лицеистом, не слишком много знал о переживаниях однокашника. Наташа Кочубей была на год младше Александра. Между тем, юноша отдавал предпочтение женщинам, которые были много старше его: Семенова — на 13 лет, Екатерина Карамзина — на 18 лет. Авдотья Голицына — на 19 лет. Вероятно, прима крепостного театра Наталья, успевшая сделать карьеру, также была старше лицеиста.

[30] Об *NN* как «потаенной любви» Пушкина к Карамзиной писал Ю.Н.Тынянов (*Тынянов*. С. 209–232). В «Дон-Жуанском списке» литеры *NN* занимают четвертое место. На рисунке за номером 4 изображена полноватая барыня с греческим профилем. Неясно, то ли перед нами стилизация, то ли изображение конкретного лица (*Рукою Пушкина*. С. 636).

[31] Т. XIV. С. 403.

[32] *Эйдельман 1983*. С. 92; *Бартенев*. С. 53.

[33] *Письма Карамзиных*. С. 166.

[34] *Губер*. С. 42–43. Это мнение

разделяет Я.Л.Левкович. «В первый список, — пишет она, — по-видимому, включены серьезные увлечения Пушкина, во втором отмечены женщины, увлечения которыми были мимолетными или которые Пушкин хотел представить как мимолетные» (*Левкович 1997*. С. 42).

[35] Т. XIII. С. 300, 307.

[36] *Модзалевский 1929*. С. 338.

[37] *Губер*. С. 93.

[38] *Дневники. Записки*. С. 280.

[39] Т. XIII. С. 73.

[40] Т. XIV. С. 403.

[41] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 1. С. 214.

[42] *Губер*. С. 25; *Утаенная любовь*. С. 143, 478.

[43] Т. XIV. С. 391.

[44] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 193.

Брачные проекты

[1] Т. XIII. С. 279. Комментируя письмо, У.М.Тодд пишет: «В этом замечательно живом сравнении, да и в других местах, сквернословие Пушкина остается в рамках добродушной грубости...» (*Тодд 1994*. С. 71–72).

[2] Т. XIII. С. 562.

[3] *Там же*. С. 561.

[4] *Губер*. С. 212.

[5] *Модзалевский 1929*. С. 340.

[6] *Бартенев*. С. 346.

[7] *Модзалевский 1929*. С. 339.

[8] Т. XIII. С. 312.

[9] Там же.

[10] *Черейский*. С. 355.

[11] *Пушкин и его современники*. Вып. V. С. 121.

[12] *Черейский*. С. 459.

[13] *Рукою Пушкина*. С. 673.

[14] *Там же*. С. 676–677.

[15] Т. XIV. С. 51.

[16] *Там же*. С. 62.

[17] *Там же*. С. 207.

[18] Русский архив. № 3. 1882. С. 161.

[19] *Лотман*. С. 127; *Черейский*. С. 459.

[20] *Черейский*. С. 459.

[21] *Цявловская 1974*. С. 68.

[22] *Черейский*. С. 459.

[23] Литературное наследство. Т. 58. С. 97.

[24] *Иезуитова, Левкович*. С. 152.

[25] Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934. С. 78.

[26] *Жуйкова*. С. 250.

[27] *Дневник Annete*. С. 36.

[28] *Рукою Пушкина*. С. 314, 317.

[29] *Губер*. С. 229.

[30] *Дневник Annete*. С. 62, 68.

[31] *Там же*. С. 74.

[32] *Там же*. С. 62, 67.

[33] *Там же*. С. 62.

[34] *Там же*. С. 128.

[35] *Заблоцкий-Десятовский*. С. 428.

[36] *Дневник Annete*. С. 41–42, 168.

[37] *Там же*. С. 58, 92.

[38] *Там же*. С. 104.

[39] *Там же*. С. 105.

[40] *Там же*. С. 72–73.

[41] *Черейский*. С. 306.

[42] *Дневник Annete*. С. 92.

[43] *Губер*. С. 231.

[44] *Там же*. С. 229. Достоверность этой версии, основанной на поздних воспоминаниях племянника Ушаковой, невелика.

Сватовство к Гончаровой

[1] Т. XIV. С. 404.

[2] *Там же*. С. 404–405.

[3] *Там же*. С. 404.

[4] *Там же*. С. 395.

[5] *Там же*.

[6] *Там же*. С. 56, 397–398.

[7] *Рукою Пушкина*. С. 182.

[8] *Там же*.

[9] *Там же*. С. 199.

[10] *Там же*. С. 203.

[11] *Там же*. С. 202—203. Исследователи отметили влияние на два послания Пушкина романа Б.Констана «Адольф» (*Утаенная любовь*. С. 468).

[12] *Там же*. С. 182.

[13] *Там же*. С. 183.

[14] Т. XIV. С. 399—401.

[15] *Рукою Пушкина*. С. 204.

[16] Братья Гофманы обнаружили автограф стихов «На холмах Грузии» с подписью: «Improvise par Alexandre Pouchine o St-Petersbourg en 1829». Дата 1829 ведет нас к ноябрю-декабрю, когда Пушкин вернулся в Петербург. Но именно в это время он встретил в столице Собаньскую. Не была ли она первой женщиной, которой поэт предполагал посвятить стихи, навеянные поездкой на Кавказ?

[17] Другой перевод: любовный вздор или же мадригал, «что не любить оно не может» (*Исследования и материалы*. Т. 1. С. 266; *Гессен А. 1973*. С. 244).

Помолвка

[1] *Вересаев 1984*. С. 201.

[2] *Щеголев 1931*. С. 310.

[3] Т. XIV. С. 404—405.

[4] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 178.

[5] *Лернер 1910*. С. 206.

[6] *Лотман*. С. 127.

[7] Литературное наследство. Т. 16—18. С. 804.

[8] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 1. № 1723. Л. 54 об.

[9] Т. XIV. С. 404.

[10] *Там же*. С. 404—405.

[11] *Вересаев 1984*. С. 213.

[12] Т. XIV. С. 405.

[13] *Дневники. Записки*. С. 157. По мнению Ю.М.Лотмана, отрывок «Участь моя решена...» не носит автобиографического характера и «фиксирует обычный рутинный ритуал свадьбы» (*Лотман Беседы*. С. 117).

[14] Т. XIV. С. 80.

[15] *Там же*.

[16] *Там же*. С. 405—406.

[17] *Там же*. С. 408—409.

Приданое

[1] *Гессен*. С. 100, 106.

[2] Т. XIV. С. 405.

[3] *Там же*. С. 109—110.

[4] *Письма к жене*. С. 10.

[5] Т. XIV. С. 110.

[6] Литературное наследство. Т. 16—18. С. 776.

[7] *Благой, Волкова*. С. 413—415; *Яшин 1964*. С. 172; *Ободовская, Дементьев. 1982*. С. 46—48.

[8] *Ободовская, Дементьев 1982*. С. 46.

[9] Т. XIV. С. 154.

[10] *Там же*. С. 109.

[11] *Там же*. С. 237.

[12] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 112.

[13] *Ободовская, Дементьев 1982*. С. 67.

[14] Т. XIV. С. 237.

[15] Т. XV. С. 3, 8, 50; Русский архив. 1902. № 1. С. 56; 1904. № 11. С. 442; *Рукою Пушкина*. С. 800—802.

[16] Т. XIV. С. 429.

[17] *Письма к жене*. С. 9.

[18] Т. XIV. С. 112.

[19] *Там же*. С. 152. В наставлениях брату Льву Александр Сергеевич писал по поводу долгов: «Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым» (Т. XIII. С. 50).

[20] Литературное наследство. Т. 58. С. 95.

Карточные страсти

[1] *Вульф 1915*. С. 190, 211.

[2] *Вяземский 1929*. С. 855. Сам

Вяземский проиграл в карты почти полмиллиона рублей и тем расстроил свое состояние.

[3] Т. XIII. С. 278.

[4] *Лотман Беседы*. С. 146–151.

[5] Т. XIII. С. 115.

[6] *Гессен*. С. 80.

[7] *Модзалевский 1925*. С. 35; *Парчевский*. С. 6–7.

[8] *Модзалевский 1925*. С. 37.

[9] *Пушкин в воспоминаниях*. Т 2. С. 72.

[10] *Вересаев 1984*. С. 157.

[11] *Там же*. С. 185–186; *Парчевский*. С. 69–73.

[12] *Вересаев 1984*. С. 198.

[13] *Модзалевский 1925*. С. 95.

[14] *Черейский*. С. 301, 315, 439, 499, 525; *Вересаев 1984*. С. 157.

[15] *Письма к жене*. С. 26, 28, 30. Нащокин возил Пушкина к цыганам. «...От крику гостей и пенья цыганок, — жаловался поэт жене, — до сих пор голова болит». Пушкин поил цыган шампанским, не жалея денег. Цыганка Таня описывает, как однажды поэт поспешно покинул ее со словами: «Ахти мне... кричит, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет!» (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 249).

[16] *Архив опеки Пушкина*. С. 60–61.

[17] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 233–234.

[18] Т. XIV. С. 59.

[19] Т. XV. С. 4.

[20] Т. XIV. С. 278, 401.

[21] *Архив опеки Пушкина*. С.60; *Парчевский*. С. 128.

Наташа Гончарова

[1] *Бартенев*. С. 64.

[2] *Ободовская, Дементьев 1982*. С. 68.

[3] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 149.

[4] *Жуйкова 1974*. С. 123.

[5] *Бартенев 1992*. С. 369.

[6] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 260.

[7] *Вересаев 1984*. С. 243.

[8] *Письма к жене*. 68, 70.

[9] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 179.

[10] *Вересаев 1984*. С. 213.

[11] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 94.

[12] *Девятнадцатый век*. Кн. 1. С. 338.

[13] *Письма к жене*. С. 6.

[14] *Вересаев 1984*. С. 220.

[15] Т. XIV. С. 113.

[16] *Письма к жене*. С. 20, 28.

[17] *Письма к жене*. С. 30, 55.

[18] Т. XIV. С. 404–405.

[19] *Там же*.

[20] *Там же*.

[21] *Там же*.

[22] *Вяземский Воспоминания*. С. 521. Вяземский объяснял похвальбу Пушкина его напускным цинизмом.

[23] *Письма к жене*. С. 9.

[24] Т. XIV. С. 415.

[25] *Летописи*. Кн. 1. 1936. С. 560.

[26] Пушкин и его современники. Вып. XVII–XVIII. С. 265.

[27] Русский архив. 1888. № 7. С. 311.

[28] *Цявловская 1983*. С. 275.

[29] *Грот*. С. 132.

[30] *Письма к жене*. С. 28.

[31] *Щеголев 1931*. С. 307–308.

[32] *Письма к жене*. С. 27.

[33] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 150.

[34] Т. XIV. С. 136.

[35] *Вересаев 1984*. С. 257.

[36] Там же.

[37] Т. XIV. С. 112.

[38] *Модзалевский 1929*. С. 352–353; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 149.

Свадьба поэта

[1] *Письма к жене*. С. 11.

[2] Т. XIV. С. 113.

[3] *Боборыкин*. Т. 1. С. 66.

[4] Т. XIV. С. 110.

[5] *Там же*. С. 112.

[6] *Там же*. С. 118.

[7] *Там же*. С. 133.

[8] *Там же*.

[9] *Девятнадцатый век*. Кн. 1. С. 386.

[10] Т. XIV. С. 162.

[11] Литературное наследство. Т. 58. С. 100.

[12] *Щеголев 1931*. С. 310.

[13] *Овчинникова*. С. 47.

[14] *Письма Карамзиных*. С. 400, 401.

[15] *Пушкин в воспоминаниях*. С. 153.

[16] Т. XIV. С. 410–411.

[17] Т. XIV. С. 93–94, 411—412; ср.: *ПСС*. Т. 8. М., 1954. С. 225, 294.

[18] Т. XIV. С. 32, 391.

[19] *Тодд 1994*. С. 119–121.

[20] Т. XIII. С. 49–50.

[21] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 301.

[22] Т. XIV. С. 150.

[23] *Лотман*. С. 128.

[24] Т. VIII. С. 264.

[25] *Модзалевский 1925*. С. 20.

[26] Т. VI. С. 530.

[27] *Иезуитова, Левкович*. С. 291.

[28] Русский архив. 1902. № 1. С. 54.

[29] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 193.

[30] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 178.

[31] *Письма к жене*. С. 30.

Семейная жизнь

[1] Т. XIV. С. 429.

[2] *Там же*. С. 159.

[3] *Там же*. С. 425.

[4] *Там же*.

[5] Т. XIV. С. 143.

[6] *Туманский*. С. 310–311.

[7] *Щеголев*. С. 53–54.

[8] Перевод уточнен Н.А.Раевским (*Раевский*. С. 238–239).

[9] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 159, 172.

[10] *Корф*. С. 311.

[11] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 152.

[12] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 104.

[13] *Вульф*. С. 268.

[14] *Письма к жене*. С. 52.

[15] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 115.

[16] *Ободовская, Дементьев 1980*. С. 38.

[17] *Губер*. С. 235.

[18] *Письма к жене*. С. 48.

[19] Вяземский сочувствовал намерениям Пушкиной относительно нового брака, но предупреждал ее, что особенными разговорами она может скомпрометировать себя и не добиться цели: «От этих особенных разговоров проку мало, а толков много». Особые наставления касались возможных женихов («пирожников»): «С пирожником сидеть, но не засиживаться... за пирог не садиться, если будут усаживать и сводить» (*Герштейн 1977*. С. 297).

[20] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 174.

[21] *Раевский*. С. 245.

[22] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 163–164. Один из внуков Д.Н.Гончарова записал на обороте акварельного портрета молодого человека в щегольском жилете: «Дедушки Дмитрия Николаевича дядька немец Август Иванович». Дядька носил фамилию Мюнтель. В одном из писем брату Дмитрию И.Н.Гончаров сообщил, что «знаменитый отпрыск с госпожой своей матерью обосновался в имении Ильицыно» (имение Гончаровых). Августу поручали дела, связанные с управлением имуществами. После перехода майоратного владения к Дмитрию Гончарову Август исполнял

при племяннике роль дядьки и бухгалтера. Н.И.Гончарова писала в 1834 г сыну Дмитрию: «Привет Августу Ивановичу, доволен ли ты своим булгалтером?» Не вполне ясно положение Мюнтеля в семье Гончаровых. В литературе высказано предположение, что Август был побочным сыном А.Н.Гончарова, т.е. сводным братом Натали (*Ободовская, Дементьев 1975*. С. 133—134).

[23] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 152.

[24] *Письма Дантеса*. С. 188.

[25] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 275.

[26] *Черейский*. С. 459.

[27] Т. XIV. С. 110.

[28] Т. XIV. С. 154—155.

[29] *Лотман*. С. 153—154, 155. Я.Л.Левкович оспорила мнение Лотмана. По ее предположению, супруги общались на французском языке при детях или прислуге, но не с глазу на глаз (*Левкович 1988*. С. 310).

[30] *Письма к жене*. С. 16.

[31] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 262.

[32] *Письма к жене*. С. 6—36.

[33] *Там же*. С. 65—66.

[34] *Там же*. С. 34.

[35] *Там же*. С. 41.

[36] *Там же*. С. 178.

[37] *Там же*. С. 36.

[38] *Щеголев*. С. 58.

[39] *Щеголев*. С. 55; ср.: *Лернер 1905*.С. 424.

[40] *Письма к жене*. С. 66.

[41] *Там же*. С. 46, 53, 65, 69, 73, 75.

[42] Сын Вяземских Павел вспоминал, как любил с ним возиться Пушкин, как «чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком». Однажды княгиня Вяземская застала их за веселой игрой: они барахтались на полу перед камином и плевали друг в друга. Родители Павлуши были недовольны тем, что поэт учил мальчика «всяким пакостям», в частности, обучил его английской забаве — боксу, шутя выучил играть в дурачка, используя вместо колоды карт пачку визитных карточек (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 177, 181, 187).

[43] *Фамильные бумаги*. Т. 2. С. 129.

[44] *Там же*.

[45] *Черейский*. С. 112.

[46] *Ободовская, Дементьев 1980*. С. 132.

[47] *Письма к жене*. С. 53; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 152.

[48] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 183.

[49] *Там же*. С. 55.

[50] *Письма жене*. С. 68.

[51] Т. XV. С. 89, 181.

[52] *Письма к жене*. С. 65.

[53] *Там же*. С. 47.

[54] *Там же*. С. 49.

[55] *Там же*. С.153.

[56] *Там же*. С. 48.

[57] *Там же*. С. 48, 49.

[58] Т. XVI. С. 73—74.

Родословная поэта

[1] *Лотман*. С. 137.

[2] Т. VIII. С. 53.

[3] *Письма последних лет*. С. 156.

[4] Установлено, что Александру Невскому служил правнук Ратши боярин Гаврила Олексич, тогда как прадед Гаврилы должен был жить в первой половине XII в., задолго до Невского (См.: *Веселовский*. С. 40). О предках поэта см. также: *Модзалевский 1907*; *Телетова 1981*. Пушкины имели общего предка с самыми знатными старомосковскими родами — великими боярами Челядниными и Бутурлиными. Но фамилия Пушкиных захудала и выбыла из Боярской думы уже в XV—XVI вв. Возвышение Пушкиных в конце царствования Грозного было связано с их службой в опричнине и родством с семьей Малюты Скуратова.

В 1598 г. Борис Годунов пожаловал Астафию Пушкину (прообраз Афанасия Пушкина в трагедии «Борис Годунов») чин думного дворянина. Род Пушкиных вернулся в Боярскую думу. Пушкины успешно служили в XVII в., но опалы и казни Петра I покончили с их карьерой.

[5] *Скрынников 1974*. С. 131—133.

[6] Т. VIII. С. 42.

[7] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 339.

[8] Т. XIV. С. 406.

Благоволение царя

[1] Т. XIV. С. 158, 162.

[2] *Гессен 1968*. С. 230, 232.

[3] *Фамильные бумаги*. С. 34.

[4] *Вересаев 1984*. С. 276.

[5] *Дневники. Записки*. С. 27.

[6] *Вересаев 1984*. С. 275

[7] *Kauchtschwili*. P. 51—52.

[8] *Вяземский ПСС*. Т. IX. С. 158.

[9] *Дневник Муханова*. С. 657.

[10] *Вересаев 1984*. С. 285.

[11] Т. XIV. С. 196.

Примирение с действительностью

[1] Т. XIV. С. 50—51, 154—155, 397.

[2] *Мицкевич*. Т. 4. С. 389.

[3] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 717.

[4] *ПСС*. Т. VI. М., 1938. С. 542.

[5] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 716.

[6] Т. XIV. С. 280.

[7] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 222.

[8] Т. VI. С. 305.

[9] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 536.

[10] *Там же*.

[11] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 223—224.

[12] *Щеголев*. С. 213.

[13] Т. XV. С. 10.

[14] *Там же*. С. 270.

На государевой службе

[1] Т. V. С. 681, 717.

[2] Т. XIV. С. 382.

[3] *ЖМНП*. 1913. Март. С. 21.

[4] Т. XVI. С. 4.

[5] Русская старина. № 53. С. 243. Поэт рассматривал оклад «не так как жалование чиновника, а как паек ссылочного невольника» (Т. XIII. С. 93).

[6] При Николае I дворяне-канцеляристы нередко трудились в Министерстве не более 3-4 часов и освобождались к часу дня (*Тодд*. С. 35). Пушкин вообще был избавлен от «присутствий».

[7] Т. XIV. С. 198.

[8] *Там же*. С. 231.

[9] *Там же*. С. 382.

[10] Т. XV. С. 20.

[11] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 221.

[12] *Гастфрейнд*. С. 30.

[13] *Глассе*. С. 12.

Запрещенная поэма

[1] *Дневники. Записки*. С. 30—31.

[2] Т. XV. С. 99.

[3] *Там же*. С. 68—69.

[4] *Там же*. С. 69.

[5] *Там же*. С. 70.

[6] Т. XIII. С. 336.

[7] Т. XV. С. 98.

[8] *Там же*. С. 226.

[9] *ПСС*. Т. IX. 1938. С. 371—376. Слова по поводу немцев не могли вызвать ничего, кроме раздражения, у генерала Бенкендорфа и прочих немцев, служивших в жандармерии. Николай I любил говорить: «Русские дворяне служат государству, немецкие — нам» (*Лотман*. С. 114).

Камер-юнкер Пушкин

[1] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 1. С. 57. Чин камер-юнкера дал повод для

издевательских речей героя «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего кроме достоинства: не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу».

[2] Т. XIV. С. 412.

[3] Рассказ друзей Пушкина сохранился в записи П.В.Анненкова и П.И.Бартенева. Заметки Анненкова снабжены подзаголовками: «От Сабурова», «От Данзаса» , «Из записки Кононова» и пр. Однако два наиболее значительных раздела таких заголовков не имеют. Кто продиктовал Анненкову свои воспоминания? Текст Бартенева дает ответ на этот вопрос. Бартенев записал: «...друзья, Виельгорский и Жуковский должны были обливать холодной водой нового камер-юнкера...» (В записи Анненкова: «...его сделали Камер-Юнкером. Жуковский и В. отливали его водой...»). У Бартенева: «...три года до этого сам Бенкендорф предлагал ему камергера...» (У Анненкова: «...три года назад Г. предлагал ему камергерство...»). У Бартенева: «...хотел итти во дворец и наговорить грубостей самому царю». (У Анненкова: «Он хотел просто итти и наговорить царю грубостей»). Сопоставление текстов не оставляет сомнений в том, что Анненков записал слова того же рассказчика, что и Бартенев. Имя его в записках Бартенева названо. Это Нащокин (*Модзалевский 1929*. С. 341–342; *Бартенев 1992*. С. 358). Запись П.В.Анненкова впервые точно атрибутирована А.В.Флоровским (*Флоровский*. Slavia. 1959. XXVIII. N 4. S. 570). Тексты Анненкова и Бартенева столь близки между собой, что возникает предположение, не в один ли день они оба оказались среди слушателей Нащокина и не записали ли они один и тот же его рассказ? Сообщая сведения об интимной жизни Пушкина, Нащокин, видимо, взял с Анненкова слово не публиковать эти сведения и не оглашать имени рассказчика. По этой причине записи рассказов Нащокина лишены заголовка («От Нащокина»). Лишь в одном случае Анненков упомянул имя собеседника: «Нащокин заказал кольцо с бирюзой от насильственной смерти, которое его (Пушкина. — *Р.С.*) не спасло» (*Модзалевский 1929*. С. 341).

[4] *Бартенев 1992*. С. 358.

[5] *Вересаев 1984*. С. 355.

[6] *Рейсер*. С. 150; *Дневники. Записки*. С. 244.

[7] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 231. «Заступничество» Бенкендорфа перед царем и его видимая благожелательность ввели Пушкина в заблуждение. В 1833 г. Пушкин писал жене о невозможности получить в наследство имение дяди Василия Львовича, прибавив к этому: «...разве не заступится ли Бенкендорф: попробую, приехав в П.Б.» (Т. XV. С. 93–94).

[8] *Дневники. Записки*. С. 31; Т. XV. С. 130.

[9] *Дневники. Записки*. С. 31.

[10] *Письма последних лет*. С. 31.

[11] *Дневники. Записки*. С. 32.

[12] *Там же*. С. 36.

[13] *Дневник*. С. 136.

[14] *Дневники. Записки*. С. 36–37, 235.

[15] *Абрамович 1994*. С. 571.

[16] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 281.

[17] *Там же*. С. 281.

[18] Т. XV. С. 50.

[19] *Там же*. С. 62, 317. Положение камер-юнкера сулило новые расходы. Но преувеличивать это факт не следует.

[20] *Вересаев 1984*. С. 305–306. Годовое жалованье чиновника IX класса составляло 5000 руб., плата за нанятую квартиру — 3300 рублей.

Перехваченное письмо

[1] Пушкин вел себя совершенно так же,

как его приятель князь П.А.Вяземский. Получив в 1831 г. чин камергера, тот долго избегал надевать придворный мундир.

[2] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 381–382.

[3] *Дневники. Записки*. С. 32, 43, 44.

[4] *Бартенев*. С. 112.

[5] *Письма к жене*. С. 64, 67.

[6] *Письма к жене*. С. 52, 54; *Дневники. Записки*. С. 39

[7] *Письма к жене*. С. 64–65; *Соллогуб*. С. 594; *Ленц*. С. 451–452.

[8] *Дневники. Записки*. С. 43–44.

[9] *Там же*. С. 44.

[10] *Письма к жене*. С. 52.

[11] *Дневники. Записки* С. 40.

[12] Пушкин имел основания бранить ближних. Нащокину он жаловался, что мать, «подличая» перед губернаторшей Архаровой, подарила ее дочери А.И.Васильчиковой автограф «страстного» письма, которым Пушкин уведомлял родителей о своей помолвке с Гончаровой. Поэт пытался вернуть себе семейную реликвию и предлагал Васильчиковой обменять письмо на несколько автографов его стихов, но получил отказ (*Модзалевский 1929*. С. 343).

[13] *Письма к жене*. С. 57.

[14] Русский архив. 1902. № 10. С. 232; *Эйдельман 1972*. С. 214–217.

[15] *Дневники. Записки*. С. 40.

[16] *Щеголев*. С. 211.

[17] Русская старина. 1880. № 9. С. 219.

[18] Доносчик лишен был возможности обратиться с жалобой к Бенкендорфу. Намек на торговлю дочерьми имел в виду Ольгу Булгакову. На маскараде в феврале 1830 г. Николай обратил внимание на пятнадцатилетнюю жрицу Солнца Ольгу. Он велел ей снять маску и переодеться, после чего танцевал с ней. Поведение императора шокировало жену австрийского посла Долли Фикельмон (*Раевский*. С. 139). По слухам, Ольга стала любовницей царя, после чего отец выдал ее за князя А.С.Долгорукова. После свадьбы Николай I продолжал ухаживать за ней. Пушкин записал в дневник, что император в Москве «ухаживал за молодою кн. Д[олгоруковой] (за дочерью Сашки Булгакова! — говорили ворчуны с негодованием)». (*Дневники. Записки*. С. 44.)

[19] *Письма к жене*. С. 59.

[20] *Дневники. Записки*. С. 40.

[21] Т. XV. С. 150.

[22] *Письма к жене*. С. 62.

Отставка

[1] *Дневники. Записки*. С. 40.

[2] *Там же*. С. 45.

[3] *Письма к жене*. С. 58.

[4] *Там же*. С. 60.

[5] Т. III. С. 941.

[6] *Лотман*. С. 161.

[7] *Письма к жене*. С. 67.

[8] Издатели полагали, что дата 15 июня в автографе Пушкина является опиской. Но это не так. Отвечая Пушкину, шеф жандармов уведомил его: «Письмо ваше ко мне от 25-го сего июня» (Т. XV. С. 171; *Письма последних лет*. С. 52, 231). Очевидно, Бенкендорф указал дату получения им пушкинского письма.

[9] Т. XV. С. 165.

[10] *Там же*. С. 62.

[11] *Иезуитова*. С. 219–247.

[12] *Майков*. С. 208.

[13] Т. XV. С. 171.

Хлопоты Жуковского

[1] Т. XV. С. 171.

[2] Т. XIII. С. 255.

[3] *Письма к жене*. С. 65.

[4] *Письма последних лет*. С. 232.

[5] Т. XV. С. 171.

[6] *Письма последних лет*. С. 57.

[7] *Там же*. С. 232.

[8] Т. XV. С. 172–173.

[9] *Письма последних лет.* С. 58.

[10] *Там же.*

[11] Т. XV. С. 175.

[12] *Письма последних лет.* С. 60.

[13] *Там же.* С. 58–59.

[14] *Там же.* С. 56.

[15] *Письма последних лет.* С. 61.

Три карты

[1] Т. XV. С. 141.

[2] *Рукою Пушкина.* С. 371, 374; *Письма последних лет.* С. 87.

[3] Т. XIV. С. 278.

[4] *Там же.* С. 219, 210, 152, 192; см. также: *Овчинникова.* С. 116–117.

[5] Т. XIV. С. 231.

[6] *Там же.* С. 236.

[7] *Парчевский.* С. 85.

[8] Т. XIV. С. 250–251; см. также: *Парчевский.* С. 108, 122–129; *Раков.* С. 80–81.

[9] *Архив опеки Пушкина.* Кн. 5. С. 60. 11 мая 1837 г. казна выдала Жемчужникову 5000 руб. в счет векселя Пушкина.

[10] Т. XV. С. 105.

[11] *Там же.* С. 4

[12] *Дневники. Записки.* С. 36.

[13] Голос минувшего. 1917. № 11–12. С. 145.

[14] *Дневники. Записки.* С. 42.

[15] *Письма к жене.* С. 60.

[16] *Там же.* С. 65.

[17] *Дневники. Записки.* С. 42.

[18] Пушкин не знал исхода дела, так как ответ на его прошение был составлен в канцелярии III Отделения лишь 30 июня.

[19] *Письма последних лет.* С. 103.

[20] Т. XV. С. 141.

[21] *Письма последних лет.* С. 92.

[22] *Там же.*

[23] *Иезуитова, Левкович.* С. 253.

[24] *Черейский.* С. 147.

[25] Т. XII. С. 167–168.

[26] *Письма последних лет.* С. 95–96.

Тяжкий крест

[1] *Письма последних лет.* С. 94.

[2] *Там же.* С. 85.

[3] *Там же.* С. 92.

[4] *Там же.* С. 89.

[5] *Эйдельман 1983.* С. 41—46, 67–68, 117.

[6] *Дневники. Записки.* С. 41.

[7] *Письма к жене.* С. 58, 62.

[8] *Дневники. Записки* С. 47.

[9] *Сочинения 1905.* С. 587.

[10] *Абрамович 1994.* С. 80.

[11] *Письма Карамзиных.* С. 372.

[12] *Никитенко.* С. 193.

[13] *Бартенев.* С. 51, 126.

[14] Исторический вестник. 1899. № 3. С. 692.

[15] Наброски труда по истории Петра I были впервые опубликованы в конце XIX в., но даже в то время издание не нашло покупателя на книжном рынке.

[16] *Письма последних лет.* С. 94.

[17] *Там же.* С. 266.

[18] *Щеголев.* С. 329.

[19] *Фамильные бумаги.* Т. 1. С. 286.

[20] *Там же.* С. 288.

[21] *Письма последних лет.* С. 99.

[22] *Фамильные бумаги.* Т. 2. С. 100.

[23] Т. XVI. № 1076.

[24] *Письма последних лет.* С. 101.

[25] Т. XVI. № 1081.

[26] *Дневники. Записки.* С. 31.

[27] *Письма последних лет.* С. 103. Поэт предлагал приостановить выплату ему казенного жалованья впредь до погашения долга.

[28] Т. XVI. № 1083.

[29] *Архив опеки Пушкина.* Кн. 5. С. 122–123.

[30] *Дневники. Записки* С. 47.

[31] *Левкович 1995*. С. 196.

[32] *Гинзбург*. С. 45.

[33] *Тодд*. С. 47.

[34] *Дневники. Записки*. С. 241.

[35] *Крестова Л.В.*. С. 276; *Левкович 1988*. С. 184.

[36] *Письма последних лет*. С. 94.

[37] *Там же*. С. 111.

[38] *Письма к жене*. С. 73.

[39] *Там же*. С. 75.

[40] *Пушкин и его современники*. Вып. XVII–XVIII. С. 162; *Вересаев 1984*. С. 405.

[41] *Пушкин и его современники*. Вып. XV. С. 164.

[42] *Пушкин и его современники*. Вып. V. С. 150.

Вражда с министром

[1] Т. XIV. С. 232; *Черейский*. С. 452.

[2] Т. XIV. № 688; *Щеголев 1931*. С. 352–356.

[3] *Греч*. С. 702. Подробнее см.: *Вацуро, Гиллельсон*. С. 175.

[4] *Вацуро 1978*. С. 117.

[5] *Видок Фиглярин*. С. 506.

[6] *Вацуро, Гиллельсон*. С. 168.

[7] *Дневники. Записки*. С. 47.

[8] Т. XVI. С. 29, 370.

[9] Воспоминания А.Булгакова. Цит. по: *Вацуро, Гиллельсон*. С. 187.

[10] Т. XVI. С. 22. По словам Соболевского, Пушкин жалел об эпиграмме, когда ближе узнал Дондукова (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 140).

[11] *Вацуро, Гиллельсон*. С. 185–186.

[12] *Там же*.

[13] *Архив Вяземских*. Т. 3. С. 277.

[14] *Письма последних лет*. С. 120, 288–289.

[15] *Иезуитова, Левкович*. С. 247. В письме к Вяземскому А.И.Тургенев писал в 1824 г., что Уваров заискивает перед министром финансов Канкриным, «всех кормилиц у Канкрина знает, и детям дает кашку» (*Архив Вяземскимх*. Т. 3. С. 33). Его слова подтверждает донос Булгарина на бывших членов «Арзамаса». По его словам, «Уваров сам примеривал кокошники и сарафаны мамкам Канкрина» (*Видок Фиглярин*. С. 113). Уваров, вспоминал К.И.Фишер, «был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом, подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям» (Исторический Вестник. 1908. № 1. С. 64).

[16] *Никитенко*. С. 179–180.

[17] *Письма последних лет*. С. 120.

[18] *Там же*. С. 291.

[19] *Письма последних лет*. С. 128.

[20] *Письма Карамзиных*. С. 96.

Долли Фикельмон

[1] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 180.

[2] *Письма последних лет*. С. 43.

[3] *Пушкин в воспоминнаиях*. Т. 2. С. 175, 456.

[4] *Там же*. С. 76.

[5] *Черейский*. С. 410.

[6] *Бартенев 1992*. С. 377.

[7] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 224.

[8] В 1823 г. Дарья Федоровна приезжала из Италии в Петербург и усиленно старалась смутить покой стареющего царя Александра I.

[9] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 151.

[10] *Рукою Пушкина*. С. 322.

[11] Т. XIV. С. 65; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 151.

[12] Т. XVI. С. 430; уточненный перевод см.: *Раевский*. С. 228.

[13] *Флоровский*. С. 570; *Дневник Фикельмон* С. 82.

[14] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 151; *Раевский*. С. 235–236.

[15] *Пушкин в воспоминаниях*. С. 151–153.

[16] *Там же*. С. 152.

[17] *Модзалевский 1929*. С. 341.

[18] *Гроссман Этюды*. С. 111.

[19] *Бартенев*. С. 27—41.

[20] Роман с Фикельмон был тайной не для всех знакомых поэта. Кто-то из них, возможно, Н.М.Лонгинов, сделал на полях известия Бартенева о романе помету: «Графиня Фикельмонт, ур[ожденная] Хитрово» (*Бартенев. Пушкин*. С. 36; *Бартенев 1992*. С. 354).

[21] *Гроссман Этюды*. С. 110.

[22] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 228.

[23] *Лотман*. С. 663.

[24] Давно высказано предположение, что эпизод с Фикельмон дал материал для повести «Пиковая дама». Н.Раевский обратил внимание на сходство планировки комнат в особняке старой графини из «Пиковой дамы» с расположением покоев в доме австрийского посла (*Раевский*. С. 278—287).

[25] *Модзалевский 1929*. С. 41.

[26] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 229.

[27] *Рейсер 1980*. С. 39.

[28] *Архив братьев Тургеневых*. Вып. 6. С. 104.

[29] Литературное наследство. Т. 16—18. С. 807.

[30] *Цявловский 1922*. С. 116.

[31] *Дневники. Записки*. С. 36—37; *Письма к жене*. С. 56, 64, 66.

[32] *Жуйкова*. С. 352.

[33] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 155.

[34] *Дневники. Записки*. С. 33.

[35] Пушкин по документам Остафьевского архива. С. 69.

[36] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 364; *Яшин 1963*. № 9. С. 170.

[37] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 364.

[38] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 364; *Яшин 1963*. № 9. С. 170.

[39] По другим сведениям — офицер получал ежегодное негласное пособие от царя. (*Вересаев 1984*. С. 360; *Аммосов*. С. 7).

Часть 2. Вызов

Натали и царь

[1] *Бартенев*. С. 118.

[2] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 92.

[3] Там же. С. 96.

[4] *Фамильные бумаги*. Т. 2. С. 51.

[5] *Вересаев 1984*. С. 267—268; *Иезуитова, Левкович*. С. 190.

[6] *Фамильные бумаги*. Т. 2. С. 57, 70.

[7] *Там же*. С. 51.

[8] Т. XV. С. 3.

[9] *Письма к жене*. С. 33.

[10] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 140; *Абрамович 1994*. С. 88.

[11] *Письма к жене*. С. 35.

[12] *Бартенев*. С. 118.

[13] *Письма к жене*. С. 46.

[14] *Там же*. С. 45.

[15] *Дневники. Записки*. С. 31.

[16] *Там же*. С. 30—33, 35. О скандале при дворе как следствии ужасной ревности Безобразова сообщил своему правительству вюртембергский посол Гогенлоэ (*Глассе А*. Пушкин и Гогенлоэ // *Исследования и материалы*. Т. 10. С. 367).

[17] *Цявловский 1950*. С. 1—15.

[18] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 152.

[19] *Щеголев*. С. 31.

[20] *Раевский*. С. 222.

[21] После гибели Пушкина карьера Геккерна, казалось бы, рухнула навсегда. Однако через несколько лет он вернулся на дипломатическое поприще, став послом Нидерландского королевства в Вене. Это произошло уже после того, как Фикельмон был отозван из Петербурга и получил в Вене пост государственного министра.

[22] *Модзалевский 1929*. С. 342.

[23] *Бартенев. Пушкин*. С. 358; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 231.

[24] *Письма Дантеса*. С.189.

[25] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 183.

[26] *Дневники. Записки*. С. 31.

[27] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 233.

[28] *Вересаев 1984*. С. 531.

[29] *Корф*. С. 8.

Ссылка в деревню

[1] *Семевский. К биографии*. С. 90.

[2] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 203.

[3] *Там же*. С. 205.

[4] *Там же*. С. 210.

[5] *Там же*. С. 208.

[6] *Там же*. С. 208.

[7] *Там же*. С. 205.

[8] *Там же*.

[9] *Дневники. Записки*. С. 32.

[10] *Там же*. С. 33.

[11] *Корф*. С. 8.

[12] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 189.

[13] *Там же*. С. 208.

[14] *Там же*. С. 212.

[15] Т. XV. С. 117.

[16] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 212.

[17] *Дневники. Записки*. С. 36.

[18] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 248.

[19] *Там же*. С. 210.

[20] *Письма к жене*. С. 72.

[21] *Фамильные бумаги*. Т. 1. С. 218, 219, 222.

[22] См. воспоминания Н.М.Смирнова и П.В.Нащокина (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 231, 281).

[23] *Дела III Отделения*. С. 86.

[24] *Письма к жене*. С. 45–49.

[25] Черновой набросок письма Пушкина к Геккерну от 21 ноября 1836 г. заканчивался фразой: «...уничтожить самый след этого подлого дела, из которого мне легко будет составить отличную главу в моей истории Рогоносцев» (*Письма последних лет*. С. 165). Л.Гроссман истолковал эту фразу как свидетельство существования некоего литературного замысла, начало которому было положено знакомством поэта с трактатом Брантома в 1833 г. (*Гроссман Этюды*. С. 107–108). Допустимо и более простое толкование. В ноябре 1836 г. поэт был уверен, что полученный им «диплом» Рогоносца и присвоение титула Историографа Ордена Рогоносцев — дело рук Геккерна. Отвечая обидчику, Пушкин язвительно пошутил, что готов в соответствии с полученной должностью сочинить Историю Рогоносцев, в которой будут разоблачены происки посла.

[26] *Письма к жене*. С. 164.

[27] *Там же*. С. 62.

[28] *Там же*. С. 164.

[29] *Там же*. С. 67.

[30] *Вересаев 1984*.–С.402.

[31] Т. XV. С. 37.

[32] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 349.

[33] *Соллогуб. Записка*. С. 374.

[34] *Вересаев 1984*. С. 424.

[35] *Письма последних лет*. С. 124.

[36] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 183.

[37] *Письма к жене*. С. 78.

[38] В императорском театре, построенном при Николае I, существовали царские апартаменты, о которых никто не знал. Они соединялись с кулисами потайными дверями и переходами. Сюда приводили актрис, удостоенных высочайшего внимания. Государь осуждал «безнравственные» увлечения Пушкина. Но прегрешения поэта меркли перед развратом царя.

Роман Дантеса

[1] *Щеголев*. С. 314.

[2] *Письма Дантеса*. С. 177.

[3] *Щеголев*. С. 31–32.

[4] *Дуэль Пушкина*. С. 107.

[5] *Эттингер*. С. 259–260.

[6] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 364.

[7] *Раевский*. С. 320.

[8] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 197.

[9] *Письма Карамзиных*. С. 190.

[10] *Раевский*. С. 327.

[11] *Письма Дантеса*. С. 186.

[12] *ПСС*. Т. XVI. 1949. С. 424.

[13] *Ахматова*. С. 431.

[14] *Письма Дантеса*. С. 189.

[15] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 287.

[16] *Письма Дантеса*. С. 183.

[17] *Щеголев*. С. 101.

[18] *Письма Дантеса*. С. 180, 182.

[19] *Там же*. С. 186.

[20] *Письма к жене*. С. 76.

[21] *Там же*. С. 131.

[22] *Там же*. С. 132.

[23] *Письма Дантеса*. С. 187.

[24] *Вересаев 1984*. С. 530.

[25] Русский архив. 1882. №. 1. С. 233.

[26] *Письма последних лет*. С. 174, 175.

[27] *Письма Дантеса*. С. 188.

[28] *Лотман*. С. 178.

[29] *Письма Дантеса*. С. 189.

[30] *Мердер*. С. 383; *Вересаев 1984*. С. 427.

[31] *Письма Дантеса*. С. 189.

[32] *Фамильные бумаги*. Т. 2. С. 184.

[33] В письме 9 марта 1836 г. Аннет Вульф писала матери: «Natalie... в большой моде, как никогда, а ея муж с каждым днем все более и более скучен и себялюбив» (*Поляков*. С. 12). Сильное и неразделенное чувство к Пушкину объясняет, почему Аннет приняла невнимание поэта к себе за себялюбие.

[34] *Письма Дантеса*. С. 187–189.

[35] *Там же*. С. 189.

Барон Геккерн и его сын

[1] *Письма Дантеса*. С.181.

[2] *Там же*. С. 178.

[3] *Там же*.

[4] *Там же*. С. 188.

[5] *Там же*. С. 189.

[6] *Там же*.

[7] *Там же*. С. 190.

[8] *Там же*. С. 189.

[9] *Там же*. С. 190.

[10] *Документы* С. 63.

[11] *Левкович 1994–1995*. Р. 29.

[12] *Письма Дантеса*. С. 190.

[13] *Абрамович 1991*. С. 290.

[14] *Там же*. С. 56–57.

[15] *Там же*. С. 316.

[16] *Письма Карамзиных*. С. 52, 59–70.

[17] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 314.

[18] Русская старина. №. 6. 1891. С. 670–671.

[19] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 366.

[20] *Абрамович 1991*. С. 337–339.

[21] *Дневник императрицы*. С. 213.

[22] *Абрамович 1994*. С. 500.

[23] *Там же*. С. 317.

[24] *Щеголев*. С. 271.

[25] *Письма Карамзиных*. С. 108–109.

[26] *Там же*.

[27] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 175–176.

[28] *Анненков*. С. 378.

[29] *Рукою Пушкина*. С. 737.

[30] *Письма Карамзиных*. С. 108–109.

[31] *Там же*. С. 120.

[32] *Абрамович 1991*. С. 351.

[33] *Там же*. С. 129.

Тайное свидание

[1] *Щеголев*. С. 112.

[2] *Абрамович 1989*. С. 79.

[3] С.Абрамович, по мнению

Э.Герштейн, использовала явно недостоверные воспоминания Александрины и не учла несообразности ее рассказа о «письменных сношениях Геккерна с Пушкиной»: «не хватало, чтобы полномочный представитель голландского короля состоял в скандальной переписке с русской придворной дамой!»; уже одно это свидетельствует якобы, что Александрина «все перезабыла, либо умышленно путала» (*Герштейн 1995*. С. 151). Это рассуждение находится в вопиющем противоречии с источниками. Посол, по его собственному признанию, сам потребовал от Дантеса написать, а проще говоря, продиктовал сыну письмо к «русской придворной даме», после чего отнес и вручил письмо Пушкиной (Письмо Геккерна от 1 марта 1837 г. — *Щеголев*. С. 271). Таким образом, он не только участвовал в переписке, но и исполнял роль почтальона, что было совсем уж не к лицу полномочному министру.

[4] *Герштейн 1995*. С. 152–153.

[5] Вяземская сначала упоминает о свадьбе Дантеса, вечере 25 января 1837 г. и поединке, затем возвращается к теме любви Катерины к Дантесу и новогодним балам 1836 г., повторно упоминает о вечере 25 января и т.д. (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 179--183).

[6] *Письма Дантеса*. С. 191.

[7] *Витале*. С. 194.

[8] *Письма Дантеса*. С. 191.

[9] *Там же*. С. 191.

[10] *Яшин 1963*. № 8. С. 172–173.

[11] *Там же*.

[12] *Щеголев*. С. 487.

[13] *Яшин 1963*. С. 174; *Левкович Комментарии*. С. 487.

[14] *Левкович 1967*. С. 375).

[15] *Ободовская, Дементьев 1980*. С. 134.

[16] *Арапова*. № 11425. С. 5–6.

[17] Русский архив. 1908. № 3. С. 295.

[18] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 181.

[19] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф*. С. 267.

[20] *Цявловский*. С. 181—182.

[21] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 181.

[22] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф*. С. 267. Арапова приняла версию Александрины. По ее словам, посол убеждал Пушкину бросить Пушкина и бежать с Дантесом за границу, обещал содействие и пр. (*Арапова*. № 11416. С. 7).

[23] *Щеголев*. С. 271.

[24] *Письма Дантеса*. С. 193.

[25] Сын Вяземских Павел точно определил ситуацию, когда писал: «Единственное объяснение раздражения Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Геккерна, а в уговаривании стариком бросить мужа» (*Пушкин в воспоминаниях*. Кн. 2. С. 197).

[26] *Письма Дантеса*. С. 191.

[27] *Там же*. С. 191.

[28] *Там же*. С. 191.

[29] *Щеголев*. С. 271.

[30] *Письма Дантеса*. С. 193.

[31] *Там же*. С. 189.

[32] *Пушкин в вопоминаниях*. Т. 2. С. 366.

[33] *Там же*. С. 196. П.П.Вяземский относил весь эпизод к зиме 1836/1837 г. Но С.Л.Абрамович с полным основанием датировала его временем до 2 ноября (*Абрамович 1989*. С. 62).

[34] *Абрамович 1991*. С. 383.

[35] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 153.

[36] Реконструкция текста. См.: *Письма последних лет*. С. 164.

[37] *Письма последних лет*. С. 164.

[38] Русский архив. 1879. Кн. 2. № 6. С. 246.

[39] *Абрамович Письма*. С.183.

12 Зак. 3925

[40] *Письма Карамзиных*. С. 190.

[41] *Там же*.

[42] *Письма последних лет*. С. 164.

[43] *Витале*. С. 195.

[44] *Письма последних лет*. С. 164.

[45] *Письма Дантеса*. С. 189.

[46] Там же. С. 193.

[47] *Письма Карамзиных*. С. 404.

[48] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 180.

[49] *Там же*.

[50] *Там же* Т. 2. С. 153.

[51] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф*. С. 269.

[52] *Щеголев*. С.271.

[53] *Письма Дантеса*. С. 191.

Пасквиль

[1] *Щеголев*. С. 368.

[2] *Там же*.

[3] *Лотман*. С. 383–384.

[4] *Письма последних лет*. С. 166.

[5] *Там же*. С. 164.

[6] Текст в переводе Н.В.Бонди. — *Щеголев*. С. 524.

[7] ИРЛИ. Отдел рукописей. Ф. 244. Оп. 2. № 103.

[8] *Там же*. № 3.

[9] *Щеголев*. С. 524.

[10] *Поляков*. С. 13, 16.

[11] *Левкович. Комментарии*. С. 530.

[12] ИРЛИ. Отдел рукописей. Ф. 244. Оп. 2. № 3, 103.

[13] *Поляков*. С. 16, 79.

[14] *Соллогуб. Воспоминания*. С. 178.

[15] *Щеголев*. С. 277.

[16] *Поляков*. С. 20–21.

[17] *Щеголев*. С. 277.

[18] *Там же*; *Ахматова 1977*. С. 240.

[19] *Поляков*. С. 18.

[20] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 18. № 2.

[21] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 216–217.

[22] *Щеголев*. С. 403.

[23] *Там же*. С. 398–408.

[24] В 1927 г. советский судебный эксперт А.А.Сальков пришел к выводу, что пасквильные письма были написаны несомненно собственноручно П.В.Долгоруким. (*Щеголев*. С. 452). Этот вывод был оспорен Л.Вишневским, но в основной части поддержан экспертами В.В.Томилиным и М.Г.Любарским. Последняя экспертиза, проведенная в Киеве, категорически опровергла заключение Салькова как некомпетентное. (*Ципенюк 1976*. С. 81–90).

[25] *Щеголев*. С. 406.

[26] *Бутурлин*. С. 277–285.

[27] *Бартенев*. С. 39.

[28] *Щеголев*. С. 407.

[29] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 357–358.

[30] *Там же*. С. 358.

[31] *Щеголев*. С. 404.

[32] *Там же*.

[33] *Грот*. С. 282.

[34] *Поляков*. С. 15.

[35] Розыск Пушкина имел литературную параллель. Поэт был восхищен романом Стендаля «Красное и черное» (см.: Т. XIV. С. 166, 426). В романе описан был такой эпизод: г-н де Реналь получил анонимное извещение, что он рогоносец, после чего пытался установить автора пасквиля по виду бумаги.

Подозрения против двух министров

[1] *Лотман*. С. 383–384.

[2] Н.Я.Эйдельман пришел к выводу о том, что Гогенлоэ составил *Заметку*, вероятно, на основании чернового варианта донесения Геверса. А.Глассе, напротив, считает, что именно Гогенлоэ предоставил Геверсу материал для его депеши. (*Эйдельман 1971*. С. 9, 19; *Глассе*. С. 21—35; *Эйдельман 1987*. С. 428–430). В последних работах

Н.Я.Эйдельман не исключил возможность того, что оба документа восходят к одному общему тексту.

[3] *Щеголев*. С. 254, 397.

[4] *Там же*. С. 329.

[5] *Там же*. С. 537.

[6] *Там же*. С. 330, 537.

[7] *Там же*. С. 330.

[8] *Там же*. С. 330—331.

[9] *Там же*.

[10] *Абрамович 1989*. С. 102.

[11] *Щеголев*. С. 389.

[12] По мнению Я.Л.Левкович, в изготовлении дипломов могли принимать участие «кто-нибудь из светских шалопаев. Но сами шутники были орудием в руках опытного врага поэта, наносящего ему смертельный удар» (*Левкович. Комментарии*. С. 549). Гипотеза об «опытном враге» не опирается на факты.

[13] *Щеголев*. С. 375—376.

[14] *Там же*. С. 378.

[15] Литературное наследство. Т. 58. С. 463; *Ласкин 1982*. С. 107.

[16] Русский архив. 1888. № 1. С. 114.

[17] *Гоголь*. С. 9—10.

[18] Московский пушкинист. Т. 1. М., 1927. С. 17.

[19] *Соллогуб. Воспоминания*. С. 179.

[20] *Анненков о Пушкине*. С. 377.

[21] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 340.

[22] *Письма Дантеса*. С. 189.

Заметки Жуковского

[1] *Щеголев*. С. 210-211.

[2] *Цявловский 1936*. С. 73—95.

[3] Т. XVI. С. 183, 184—187, 189. Издатели расположили после письма № 1 (нумерация Жуковского) письмо № 3, затем письмо № 5-6, далее № 4 и наконец № 2. Письмо, попавшее в середину тетради, получило двойную нумерацию, и жандармы приложили печать на развороте этого письма. В специальном исследовании о письмах Жуковского С.Л.Абрамович передатировала часть писем, но, за единственным исключением, сохранила порядок, принятый в академическом издании. (*Абрамович 1987*. С. 477—483. См. также: *Боричевский*. С. 371—392 ; *Левкович 1974*. С. 77—83).

[4] Т. XVI. С. 185.

[5] *Яшин. 1963*. № 8. С. 180.

[6] ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 2. № 73; Т. XVI. С. 183.

[7] Т. XVI. С. 184.

[8] *Абрамович 1987*. С. 482—483.

[9] Т. XVI. С. 189.

[10] *Щеголев*. С. 84—85.

[11] Т. XVI. С. 185.

[12] *Абрамович 1987*. С. 479-480.

[13] На основании сведений о посещении Жуковским вечера в Аничковом дворце и записи в камер-фурьерском журнале М.Яшин установил, что письмо № 4 было составлено 16 ноября. (*Яшин 1963*. № 8. С. 180; *Абрамович 1987*. С. 482).

[14] *Щеголев*. С. 261.

[15] *Абрамович 1991*. С. 106, 137. По мнению Р.В.Иезуитовой и Я.Л.Левкович, Жуковский вел конспективные заметки начиная с 4 ноября (*Левкович 1987*. С. 455; *Иезуитова, Левкович*. С. 307).

[16] Т. XVI. С. 185.

[17] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 18. № 32.

[18] Там же.

Неожиданное сватовство

[1] Позднее, 17 ноября, секундант Дантеса показал Соллогубу картель Пушкина (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 340, 342). Секундант не уточнил, каким образом поэт переслал вызов Геккернам.

[2] *Письма последних лет*. С. 166.

[3] *Щеголев*. С. 223.

[4] *Там же.*

[5] *Щеголев.* С. 74.

[6] *Абрамович 1989.* С. 105.

[7] *Щеголев 1987.* С. 224.

[8] *Абрамович 1991.* С. 106–107. Предложенная С.Л.Абрамович реконструкция событий вступает в противоречие с показаниями Вяземских. Если верить им, Пушкин отправил вызов Дантесу, кажется, через брата жены Пушкина, Гончарова (Там же. С. 179). Очевидно, Вяземские не были уверены в справедливости своих припоминаний.

[9] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 18. № 32.

[10] *Там же.*

[11] Дневник М.Барятинской. Цит. по: *Яшин 1963.* № 8. С. 164.

[12] Письма Карамзиных. С. 109.

[13] Письма Дантеса. С. 191.

[14] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф.* С. 266–267.

[15] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 18. № 32.

[16] *Щеголев 1987.* С. 81.

[17] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 18. № 32.

[18] Т. XVI. С. 185.

[19] *Там же.* С. 183.

[20] ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 2. № 73; Т. XVI. С. 183.

[21] Т. XVI. С. 184.

[22] *Там же.* С. 189.

[23] ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 244. Оп. 18. № 32.

[24] *Щеголев.* С. 80.

[25] Т. XVI. С. 185.

[26] *Щеголев 1987.* С. 85.

[27] *Письма Карамзиных.* С. 139.

[28] *Щеголев.* С. 264.

[29] *Письма Карамзиных.* С. 148.

[30] *Востокова.* С. 268.

[31] *Гроссман.* С. 277.

[32] *Абрамович 1989.* С. 124–126.

[33] *Письма Дантеса 1836–1837.* С. 111.

[34] *Там же.* С. 107, 109.

[35] *Там же.* С. 111.

[36] *Щеголев.* С.284.

[37] *Там же.* С. 290.

[38] Нидерландский ученый Ф.Суассо обратил внимание на то, что в книге актов гражданского состояния в записи о рождении дочери Дантеса и Катерины отсутствует подпись врача, принимавшего роды, из чего он сделал вывод, что запись была фальсифицирована в угоду семье Дантесов. (См.: *Левкович 1994–1995.* С. 31.) Отсутствие подписи врача при наличии подписей администрации и нотариуса, главных составителей юридического акта, отнимает почву у гипотезы о фальсификации. Дата рождения ребенка подтверждена сугубо частным письмом Екатерины Геккерн к брату Дмитрию от 30 ноября 1837 г. (*Ободовская, Дементьев 1980.* С. 267).

[39] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 320–321, 324.

Отказ от дуэли

[1] Т. XVI. С. 185.

[2] Т. XVI. С. 185.

[3] *Щеголев.* С. 84.

[4] *Там же.* С. 261.

[5] *Там же.* С. 85.

[6] *Абрамович 1989.* С. 141—142.

[7] ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 18. № 32.

[8] ИРЛИ. Ф. 44. Оп. 18. № 194.

[9] Т. XVI. С. 232–233, 410.

[10] *Щеголев.* С. 88.

[11] *Там же.* С. 88.

[12] *Абрамович 1989.* С. 142, 144.

[13] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф.* С. 267.

[14] *Герштейн 1995.* С. 151.

[15] *Мердер.* С. 387.

«Признание в письмах»

[1] *Щеголев*. С. 223.

[2] Т. XVI. С. 186, 395.

[3] Русская старина. 1902. № 110. С. 226.

[4] *Troyat*. P. 356-357.

[5] См.: *Письма Дантеса*. С. 192.

[6] С.Л.Абрамович полагала, что Натали показала мужу письмо Дантеса после 20—21 ноября, так как именно в эти дни посланник посетил дом Пушкина и лично вручил Наталье упомянутое письмо. (*Абрамович 1989*. С. 163). Но 21 ноября Пушкин читал Соллогубу страшное письмо, адресованное Геккерну (о нем — ниже). В такой день барон никак не мог явиться в дом поэта. Отец не написал сыну, где виделся с Катериной, сообщившей ему сенсационную новость о письмах. Но сын сам догадался, что они виделись у тетки (Загряжской). Квартира Загряжской стала привычным местом свиданий Геккернов и Катерины после сватовства Жоржа. Переговоры о сватовстве продолжались с 7 по 13 ноября на квартире у Загряжской. Таким образом, Дантес никак не мог составить записку 6 ноября, до начала указанных переговоров. (*Щеголев*. С. 261).

[7] *Письма Дантеса*. С. 192.

[8] *Соллогуб. Записка*. С. 378.

[9] *Дуэль Пушкина*. С. 61.

[10] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 154.

[11] *Письма Карамзиных*. С.139.

[12] *Письма последних лет*. С. 164.

[13] *Щеголев*. С. 271.

[14] *Письма последних лет*. С. 164.

[15] *Грот*. С. 282.

[16] *Письма последних лет*. С. 166. Примечательно, что «вид бумаги» он ставил на первое место.

[17] *Щеголев*. С. 86.

[18] *Яшин 1963*. № 8. С. 180.

[19] *Письма Дантеса*. С. 192.

[20] *Письма последних лет*. С. 164.

[21] *Там же*. С. 164, 183.

[22] *Щеголев*. С. 44.

[23] *Абрамович 1987*. С. 481.

[24] *Письма последних лет*. С. 166.

[25] *Дневник императрицы*. С. 213.

Несостоявшийся поединок

[1] Русский архив. 1889. № 3. С. 124.

[2] *Абрамович 1989*. С. 144—146.

[3] Т. XVI. С. 186.

[4] *Там же*.

[5] *Там же*. С. 187.

[6] *Там же*. С. 187, 395.

[7] *Абрамович 1991*. С. 149.

[8] *Щеголев*. С. 88—89.

[9] *Абрамович 1989*. С. 147.

[10] *Щеголев*. С. 261.

[11] Т. XVI. С. 187, 395.

[12] *Письма Карамзиных*. С. 137, 374; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 340.

[13] *Щеголев*. С. 87.

[14] *Абрамович 1989*. С. 147—148.

[15] *Письма Дантеса*. С. 192.

[16] Т. XVI. С. 187, 395.

[17] *Там же*.

[18] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 342.

[19] *Соллогуб. Записка*. С. 389.

[20] *Пушкин в воспоминаниях*. Кн. 2. С. 346.

[21] Т. XVI. С. 188, 395—396.

[22] *Соллогуб. Записка*. С. 380; *Пушкин в воспоминаниях*. С. 342.

[23] Т. XVI. С. 188, 396.

Худой мир

[1] *Щеголев*. С. 264.

[2] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 214—215.

[3] *Там же*. С. 326—327.

[4] *Яшин 1968*. № 2. С. 191.

[5] *Левкович. Комментарии.* С. 482.

[6] *Яшин 1968.* № 2. С. 191–195.

[7] *Письма Карамзиных.* С.139.

[8] *Абрамович 1991.* С. 453.

[9] *Соллогуб. Записка.* С. 380.

[10] *Письма Карамзиных.* С. 151.

[11] *Дневник императрицы.* С. 213; *Яшин 1963.* № 8. С. 172–173.

[12] *Письма к Хитрово.* С. 200.

[13] *Востокова.* С. 266.

[14] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 345.

[15] *Соллогуб. Записка.* С. 381.

[16] Т. XVI. Беловик первой редакции, № 1585-а.

[17] *Там же.* № 1586-б.

[18] *Письма последних лет.* С. 164.

[19] *Там же.* С. 164–165.

[20] Там же.

[21] Подлинник письма Бенкендорфу сохранился среди бумаг П.И.Миллера. Он попал в III Отделение уже после смерти поэта. См.: *Эйдельман. Десять автографов.* С. 308–309.

[22] *Письма последних лет.* С. 166.

Встреча с царем

[1] *Исследования и материалы.* Т. 8. С. 261.

[2] *Абрамович 1989.* С. 174.

[3] Т. XVI. С. 185.

[4] *Абрамович 1989.* С. 180; *Иезуитова, Левкович.* С. 320.

[5] *Письма последних лет.* С. 184.

[6] *Левкович. Комментарии.* С. 544.

[7] *Востокова.* С. 274; см. также: *Яшин 1963.* № 8. С. 168–173; № 9. С. 169–173.

[8] *Востокова.* С. 272.

[9] *Семевский. К биографии.* С. 90–91.

[10] *Абрамович 1989.* С. 184.

[11] *Письма Карамзиных.* С. 170.

[12] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 161.

Крушение карьеры

[1] *Герштейн 1962.* С. 211–226.

[2] *Ласкин 1982.* С. 98.

[3] *Герштейн 1964.* С. 116–117.

[4] *Яшин 1968.* № 2. С. 191.

[5] *Письма Дантеса.* С. 185.

[6] *Яшин 1963.* № 8. С. 170–171; *Яшин 1963.* № 9. С. 172–173; *Яшин 1968.* № 2. С. 190–194.

[7] Депеша 3 апреля 1837 г. (*Щеголев.* С. 327).

[8] *Исследования и материалы.* Т. 8. С. 261.

[9] *Шумихин, Юрьев.* С. 119.

[10] *Письма последних лет.* С. 175.

[11] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 328–329.

[12] Красный архив. Т. 33. 1929. С. 231.

[13] *Щеголев.* С. 530.

[14] *Эйдельман 1972.* С. 201–207.

[15] *Цявловский.* С. 184.

[16] *Флоровский.* С. 562.

[17] *Раевский.* С. 222.

[18] Русский архив. 1882. № 1. С. 224.

[19] *Письма Дантеса.* С. 180.

[20] *Щеголев.* С. 32.

Навязанное родство

[1] *Щеголев.* С. 101.

[2] *Там же.* С. 102–103.

[3] *Там же.* С. 271.

[4] *Письма Карамзиных.* С. 139.

[5] *Востокова.* С. 268.

[6] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 377.

[7] *Там же.* С. 323.

[8] *Там же.* С. 322.

[9] *Нечаева 1927.* С. 75.

[10] *Письма последних лет.* С. 175.

[11] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 322.

[12] *Вересаев 1984.* С. 520.

[13] *Письма Карамзиных.* С. 142–143.

[14] *Там же*. С. 148.

[15] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 73, 76.

[16] *Там же*. С. 313.

[17] *Там же*. С. 280–281.

[18] *Там же*. С. 293.

[19] *Письма Карамзиных*. С. 148.

[20] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 180.

[21] Цит. по: *Максимов*. С. 385.

[22] *Пушкин в воспоминаниях*. С. 182.

[23] *Щеголев*. С. 238.

[24] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 132.

[25] *Письма Карамзиных*. С. 148.

[26] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 154.

[27] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 215.

[28] *Яшин 1968*. № 2. С. 190.

[29] Дантес выражал надежду, что Екатерину развлечет «Пират». Опера шла на сцене Александринского театра 21 ноября (*Письма Дантеса 1836–1837*. С. 109).

[30] *Письма Дантеса 1836–1837*. С. 109.

[31] *Письма Карамзиных*. С. 148.

[32] Красная нива. 1928. № 7. С. 10. Избрание Бенкендорфа в качестве посредника служит еще одним доказательством его участия в беседе Пушкина с царем 23 ноября 1836 г.

[33] С.Витале отнесла записку к 22 декабря, В.П.Старк — к 26 декабря 1836 г. Дантес не мог присутствовать на предстоящем балу по болезни, что и побудило его написать записку Катерине. (*Витале*. С. 198; *Письма Дантеса 1836–1837*. С. 106.) В связи с наступлением Нового года балы в высшем обществе происходили почти ежедневно. Об одном из этих новогодних балов и упомянул Дантес в своей записке.

[34] *Письма Дантеса 1836–1937*. С. 110.

[35] *Письма Карамзиных*. С. 147.

[36] *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 175–176.

[37] *Щеголев*. С. 303.

Часть 3. Накануне катастрофы

Журнальная Одиссея

[1] *Письма последних лет*. С. 84, 258.

[2] *Там же*. С. 117.

[3] *Там же*. С. 285.

[4] Т. XVI. С. 160.

[5] *Вересаев 1984*. С. 423.

[6] Т. XII. С. 144–145.

[7] *Лотман*. С. 175.

[8] *Гессен*. С. 141.

[9] *Письма последних лет*. С. 170.

[10] *Фамильные бумаги*. Т. 2. С. 153.

[11] Т. XIII. С. 92.

[12] Жалуясь на торговцев, Гоголь писал Пушкину в 1835 г.: «Книгопродавцы такой народ, который без всякой совести можно повесить на первом дереве». Цит. по: *Гессен*. С. 142.

[13] *Гессен*. С. 15–21, 43–49.

[14] Т. XVI. С. 73.

[15] *Тодд*. С. 101.

[16] Там же. С. 120–126.

[17] *Рашин* С. 53, 72.

[18] *Абрамович 1991*. С. 353, 399.

[19] Т. XI. С. 133.

[20] *Вацуро 1978*. С. 172–173; *Тодд*. С. 106.

[21] *Видок Фиглярин*. С. 426; *Гиппиус*. С. 243–244.

[22] *ПСС*. Т. VI. М., 1938. С. 262.

[23] *Гессен*. С. 126.

[24] *Гиппиус*. С. 253.

[25] *ПСС*. Т. VI. М., 1838. С. 262.

[26] *Дневники. Записки*. С. 47.

[27] *Письма последних лет*. С. 262.

[28] *Дневники. Записки*. С. 47.

Кризис

[1] Т. XIII. С. 187.

[2] *ПСС.* Т. V. 1936. С. 329.

[3] Т. XIII. С. 99.

[4] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 312.

[5] *Там же.* С. 259.

[6] *Там же.* С. 65.

[7] *Баратынский.* С. 270.

[8] Т. XIII. С. 541.

[9] *Гершензон.* С. 257–264.

[10] *Бартенев.* С. 122.

[11] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 234.

[12] *ПСС.* Т. V. 1936. С. 190.

[13] *Белинский.* С. 267.

[14] *ПСС.* Т. V. 1936. С. 276.

[15] *Там же.* С. 112–133.

[16] Т. XIII. С. 121.

[17] *Письма к жене.* С. 72.

[18] *Дневники. Записки.* С. 44.

[19] *Письма жене.* С. 73, 74.

[20] *Пушкин в воспомианиях.* Т. 2. С. 227.

[21] Т. XIII. С. 297.

[22] *Потапова.* С. 141–142.

[23] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 29.

[24] *Там же.* Т. 2. С. 194.

[25] *Там же.* С. 169.

[26] *Там же.* С. 175.

[27] *Эйдельман 1987.* С. 315.

[28] Т. XI. С. 153.

[29] *Щеголев.* С. 347.

[30] *Мицкевич.* Т. 4. С. 388–389.

[31] *Кирпичников.* С. 166–168, 169.

[32] *Богаевская К.П.* Из записок Н.М.Смирнова // Временник Пушкинской комиссии. 1967–1968. Л., 1970. С. 308.

[33] *Письма Карамзиных.* С. 192.

[34] *Белинский.* С. 87.

[35] Молва. 1836. Ч. 11. № 3. С. 83.

[36] *Бартенев. Пушкин.* С. 62–63.

[37] *Мицкевич.* Т. 4. С. 95.

Памятник нерукотворный

[1] *Письма последних лет.* С. 32.

[2] *Лотман. Беседы.* С. 211–212.

[3] *Абрамович 1991.* С. 320–321.

[4] *Письма Карамзиных.* С. 96.

[5] *Синявский.* С. 435.

[6] *Щеголев.* С. 217.

[7] *Там же.* С. 213.

[8] Т. XIV. С. 404–405.

[9] *Синявский.* С. 369.

[10] *Левкович 1995.* С. 168.

[11] *Нечаева.* С. 806.

[12] Т. XIII. С. 243–244.

[13] *Там же.*

[14] *Там же.*

[15] Т. XI. С. 162–163.

[16] *Там же.* С. 162–163.

[17] *Письма последних лет.* С. 156.

Жизнь при дворе

[1] *Рукою Пушкина.* С. 322.

[2] Из одесских и кишиневских знакомых визитки получили лишь те, кто находился в тот момент в столице, — Филипп Вигель, Иван Синявин и граф Ланжерон.

[3] Т. XIV. С. 61.

[4] *Рукою Пушкина.* С. 323.

[5] *Вересаев 1984.* С. 203.

[6] *Рукою Пушкина.* С. 335.

[7] *Вересаев 1984.* С. 160–161.

[8] *Рукою Пушкина.* С. 790–791.

[9] *Архив опеки Пушкина.* С. 28–40.

[10] *Щеголев.* С. 171.

[11] *Архив опеки Пушкина.* С. 99.

[12] *Фамильные бумаги.* Т. 1. С. 284.

[13] *Иезуитова, Левкович.* С. 286.

[14] *Фамильные бумаги.* Т. 2. С. 124.

[15] *Там же.* С. 123.

[16] *Письма последних лет.* С. 114.

17 *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 290.

18 *Яшин 1964*. С. 172.

19 *Письма к жене*. С. 81.

20 *Черейский*. С. 334, 400.

21 *Архив опеки Пушкина*. С. 114–116.

22 *Письма последних лет*. С. 179.

23 *Там же*. С. 179; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 202.

24 *Рукою Пушкина*. С. 803.

25 *Абрамович 1991*. С. 137, 214.

26 *Модзалевский 1910*. С. 95–98; *Абрамович 1989*. С.194–196.

27 Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934. С. 1142; *Пушкин и его современники*. Вып. XIII. С. 131.

28 *Письма последних лет*. С. 159.

29 *Там же*.

30 *Щеголев*. С. 150–151. С.Л.Абрамович писала, что погашение казенного долга позволяло поэту «обеспечить себе свободу действий в отношениях с правительством» (*Абрамович 1989*. С. 110–111).

31 *Модзалевский 1910*. С. 90–162; *Пушкин в воспоминаниях. Комментарии*. Т. 2. С. 479.

32 Через несколько лет после гибели поэта Д.Н.Гончаров сообщил Геккернам о своем ежегодном доходе и своих затратах «на содержание отдельных лиц» — братьев и сестры Александрины — в сумме 27 500 руб. Требуя доли для своей жены Екатерины, Дантес не включил некогда любимую им женщину — вдову поэта — в составленный им реестр лиц, имевших право на долю в гончаровских доходах. (*Ободовская, Дементьеев 1980*. С. 310).

33 Русский архив. 1888. № 3. С. 468. Исследователи относят этот эпизод к 1827 году.

34 *Письма последних лет*. С. 173–174.

35 *Щеголев*. С. 499.

36 *Письма последних лет*. С. 170.

37 *Письма к жене*. С. 33.

38 *Гоголь. ПСС*. Т. 4. С. 48, 294.

Часть 4. Дуэль и смерть

Ложное положение

1 *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 328, 329.

2 *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 392.

3 *Боричевский*. С. 382.

4 *Левкович Комментарии*. С. 471.

5 *Пушкин в воспоминаниях. Примечания*. С. 520; *Левкович. Комментарии*. С. 460; *Иезуитова, Левкович*. С. 311.

6 *Письма Карамзиных*. С. 190–191 (уточненный перевод французского текста письма 13 марта 1837 г. приведен в кн.: *Ободовская, Дементьев 1975*. С. 214, 363).

7 *Письма Карамзиных*. С. 191.

8 *Пушкин и его современники*. Вып. XXI–XXII. С. 347.

9 *Дуэль Пушкина*. С. 63, 143.

10 *Мердер*. С. 384.

11 Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 239.

12 *Письма Карамзиных*. С. 148.

13 *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф*. С. 269.

14 *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 154.

15 *Там же*.

16 *Щеголев*. С. 207.

17 *Мердер*. С. 387–388.

18 *Там же*. С. 387.

19 *Письма Карамзиных*. С. 190, 192.

20 *Щеголев*. С. 224.

21 *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 346.

22 Русский вестник. 1893. № 3. С. 299, 303; *Мердер*. С. 383–389.

23 *Мердер*. С. 382–385.

24 *Письма последних лет*. С. 183, 205.

25 *Щеголев*. С. 224–225.

26 *Яшин 1963*. № 9. С. 167.

27 *Абрамович 1991*. С. 534.

28 *Щеголев*. С. 225.

[29] *Пушкин и его современники.* Вып. VI. С. 94–96 (русский перевод см.: *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 390).

[30] *Щеголев.* С. 267.

[31] *Там же.*

[32] *Щеголев.* С. 266.

[33] Объяснение Ж.Геккерна на суде 26 февраля 1837 г. (*Щеголев.* С. 266).

[34] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 367.

[35] Т. XVI. С. 427.

[36] *Щеголев.* С. 246.

[37] Т. XVI. С. 188, 396.

[38] Этот момент был особо отмечен в воспоминаниях Александрины и ее мужа Фризенгофа. (*Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф.* С. 268).

[39] *Соллогуб. Записка.* С. 378.

Казарменный каламбур

[1] Русский архив. 1879. № 6. С. 243.

[2] Русская старина. 1899. № 99. С. 310–311; *Яшин 1963.* № 9. С. 167.

[3] *Абрамович 1989.* С. 256.

[4] *Письма Карамзиных.* С. 167.

[5] *Ивановский.* С. 110–115.

[6] *Письма Карамзиных.* С. 186, 192.

[7] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 181.

[8] *Там же.* С. 154.

[9] *Там же.* С. 183.

[10] *Там же.* С. 346.

[11] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф.* С. 268–269.

[12] Русский архив. 1873. № 6. С. 955.

[13] *Пушкин и его современники.* Вып. XIII. С. 32.

[14] *Дуэль Пушкина.* С. 77.

[15] *Фамильные бумаги.* Т. 2. С. 193.

[16] *Новые материалы.* С. 127–128.

[17] *Арапова.* 1908. № 11425. С. 6.

[18] *Герштейн 1995.* С. 140.

[19] *Там же.* С. 137, 138, 148, 149.

[20] Аргументы М.Цявловского см. в кн.: *Бартенев.* С. 116.

Дуэли Пушкина

[1] *Лотман. Беседы.* С. 167.

[2] *Лернер 1910.* С. 75, 97, 140, 154; *Черейский.* С. 137, 198, 227, 324, 348, 367, 381, 418, 439, 355, 477; *Цявловская 1983.* С. 381–405.

[3] *Письма последних лет.* С. 123.

[4] *Соллогуб. Записка.* С. 376.

[5] *Лернер 1910.* С. 478.

[6] *Лотман.* С. 181–182.

[7] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 232.

[8] *Там же.* С. 19.

[9] *Чистова.* С. 255; в сходных выражениях этот эпизод изложен Погодиным в замечаниях на *Материалы* Анненкова. См.: *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 44.

[10] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 56, 58.

[11] *Чистова.* С. 252.

[12] *Жуйкова.* С. 51.

[13] *Вересаев 1984.* С. 249.

[14] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 229.

[15] *ПСС.* Т. 9. М., 1965. С. 539.

[16] *Черейский.* С. 147.

[17] *Вересаев 1984.* С. 248.

[18] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 258.

[19] *Там же.* Т. 1. С. 60.

[20] *Там же.* Т. 1. С. 412.

[21] *Чистова.* С. 249. С. 240–258.

[22] *Там же.* С. 250.

[23] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 10–11.

Три сестры

[1] *Письма к жене.* С. 68.

[2] *Фамильные бумаги.* Т. 2. С. 105.

[3] *Там же.* Т. 2. С. 136.

[4] *Щеголев.* С. 40.

[5] Т. XIV. С. 168.

[6] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 330.

[7] Девицы Гончаровы были покорены радушием Пушкиных. В конце осени 1834 г. заболевшая Александрина писала, что ей невозможно умереть, столь заботливы ее сиделки: «...я не могу не быть благодарной за то, как за мной ухаживали сестры, и за заботы Пушкина. Мне, право, было совестно, я даже плакала от счастья, видя такое участие ко мне». Зимой того же года Екатерина Гончарова писала брату: «...право не знаю, как я смогу когда-нибудь отблагодарить Ташу и ее мужа за все, что они делают для нас, один Бог может их вознаградить за хорошее отношение к нам» (*Ободовская, Дементьев 1980.* С. 186).

[8] *Абрамович 1991.* С. 80—81.

[9] *Пушкин и его современники.* Вып. XXI—XXII. С 321.

[10] *Арапова.* 1907. № 11413.

[11] *Ободовская, Дементьев 1980.* С. 203.

[12] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 292.

[13] *Бартенев.* С. 60; *Щеголев.* С. 363.

[14] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. 1974. С. 31; *Бартенев 1992.* С. 376.

[15] *Левкович. Комментарии.* С. 363, 539.

[16] *Письма Карамзиных.* С. 109, 148.

[17] *Там же.* С. 120.

[18] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 231.

[19] *Ободовская, Дементьев 1980.* С. 203.

[20] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 181.

[21] *Письма к жене.* С. 73, 75, 77, 78, 80.

[22] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 368.

Золотой крестик

[1] *Письма Карамзиных.* С. 164—165.

[2] *Щеголев.* С. 210.

[3] *Бартенев 1992.* С. 384; *Вересаев 1984.* С. 595.

[4] *Там же.* П.И.Бартенев допускал несколько вольные пересказы ранее записанных известий. См.: Русский архив. 1908. № 3. С. 296; *Вересаев 1984.* С. 595.

[5] *Щеголев.* С. 360.

[6] *Там же.* С. 362.

[7] *Там же.* С. 351, 361.

[8] *Там же.* С. 362.

[9] *Пушкин и его современники.* Вып. VI. С. 2.

[10] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. 1974. С. 331.

[11] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф.* С. 265—267.

Кровь на мундире

[1] Красный архив. Т. 2. 1929. С. 231.

[2] Русский архив. 1900. № 3. С. 397—399.

[3] *Там же.*

[4] Из письма А.Я.Булгакову от 5 февраля 1837 г. (Русский архив. 1879. № 6. С. 246).

[5] В старости Трубецкой умилялся тем, что имя Пушкина «так дорого каждому из нас, русских» (*Щеголев.* С. 355). Но в молодости он забавлялся участием в травле поэта.

[6] *Там же.* С. 355—356.

[7] *Щеголев.* С. 103—104.

[8] *Там же.* С. 355.

[9] *Ободовская, Дементьев 1975.* С. 330.

Честь Александрины

[1] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 368.

[2] *Там же.* С. 367, 278. Если верить В.А.Нащокиной, один раз на балу посланник поднял ключик от часов, оброненный поэтом, и подал Пушкину с заискивающей улыбкой. Тот якобы бросил ключик на пол со словами: «Напрасно трудились, барон!» (Там же. С. 242).

[3] *Щеголев*. С. 223.

[4] *Поляков*. С. 15.

[5] *Щеголев*. С. 356.

[6] *Соллогуб 1879*. С. 186.

[7] Т. XVI. С. 427.

[8] *Письма Карамзиных*. С. 186.

[9] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф*. С. 269.

[10] *Щеголев*. С. 249.

[11] *Губер*. С. 28.

Легковерные друзья

[1] *Мердер*. С. 382–385; 387–388; *Абрамович 1991*. С. 526.

[2] *Письма Карамзиных*. С. 164–165.

[3] *Там же*.

[4] *Абрамович 1991*. С. 531.

[5] *Щеголев*. С. 238.

[6] *Там же*. С. 246.

[7] *Там же*. С. 247. По другой версии: «Разговор о Пушкиной». (См.: *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 214). Двадцатилетний офицер Аркадий Россет присутствовал на вечере у Мещерских и видел Пушкина, спокойно игравшего в шахматы с хозяином в кабинете. «Ну что, — обратился он к молодому человеку, — вы были в гостиной; он уже там, возле моей жены?» Поэт не назвал Дантеса по имени. Офицер смутился, а Пушкин громко рассмеялся (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 356).

[8] *Щеголев*. С. 250.

[9] *Кошелев*. С. 30.

[10] *Панаев*. С. 88.

[11] *Пушкин в письмах*. С. 81.

[12] *Иезуитова, Левкович*. С. 281–283.

[13] *Ободовская, Дементьев 1980*. С. 315.

[14] *Там же*. С. 320.

[15] *Письма Карамзиных*. С. 164–165.

[16] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 388.

[17] *Письма Карамзиных*. С. 404.

Конгрегация злословия

[1] *Яшин 1963*. № 9. С. 178.

[2] *Письма Карамзиных*. С. 400.

[3] *Щеголев*. С. 213.

[4] *Там же*. С. 215.

[5] *Ласкин*. С. 220.

[6] *Там же*. С. 136.

[7] Русский архив. 1879. № 6. С. 251–252; *Щеголев*. С. 227.

[8] *Щеголев*. С. 227.

[9] *Письма Карамзиных*. С. 1711.

[10] *Щеголев*. С. 386–388.

[11] *Корф. Записка*. С. 251.

[12] *Там же*.

[13] *Архив братьев Тургеневых*. С. 41.

[14] *Герштейн 1962*. С. 219–220.

[15] *Щеголев*. С. 292.

[16] Русский архив. 1879. № 6. С. 251–252.

[17] *Щеголев*. С. 284.

[18] Русский архив. 1900. № 3. С. 397–399.

[19] См.: *Герштейн 1962*. С. 223; *Щеголев*. С. 293, 532.

[20] *Щеголев*. С. 359–360.

[21] *Пушкин и его современники*. Вып. VI. С. 552.

[22] *Абрамович 1991*. С. 529.

[23] Русский архив. 1879. № 6. С. 246.

Исчезнувшие автографы

[1] *Абрамович 1991*. С. 533.

[2] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 197.

[3] Там же. С. 180.

[4] Подробный отчет о событиях 25 января есть в письме княгини В.Ф.Вяземской к московской приятельнице Орловой. Письмо принадлежит к числу самых ранних и наиболее достоверных источников по истории дуэли Пушкина. Его можно датировать на основании следующих данных. В конце документа сказано, что Н.Н.Пушкина посетила часовню

Голицына. Из письма П.А.Вяземского Булгакову от 6 февраля 1837 г. следует, что вдова была там 6 февраля (Русский архив. 1879. Кн. 2. № 6. С. 247). Письмо Вяземской было закончено не ранее указанного дня. Но в его тексте можно обнаружить фрагменты более ранних записей. Друзья поэта хорошо понимали, что гибель Пушкина войдет в историю, и спешили сделать записи о его последних днях. Одну из таких записей Вяземская сделала, видимо, в день дуэли. Описывая события этого дня, княгиня отметила: «Обе эти дамы виделись сегодня утром» (*Письмо Вяземской*. С. 189). Далее она изложила во всех подробностях свой разговор с Пушкиным. Перед нами достоверная запись, сделанная через полтора-два дня после события.

[5] *Письмо Вяземской*. С. 189.

[6] Впервые факсимиле экземпляра Данзаса — второй пушкинской копии письма — было воспроизведено в 1863 г. в книге А.Н.Аммосова «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина» с указанием на то, что публикуемые пушкинские документы «все доставлены К.К.Данзасом» (*Аммосов*). Экземпляр секунданта основательно помят. (ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. № 683).

[7] 30 января Геккерн прислал еще один недостающий документ. Всего Нессельроде получил от посла пять документов (*Щеголев*. С. 269). Геккерн не имел экземпляра анонимного пасквиля, а следовательно, «диплом» Рогоносца не входил в число названных пяти документов.

[8] *Дуэль Пушкина*. С.43.

[9] *Документы*. С. 59.

[10] *Казанский 1934*. С. 1141.

[11] *Щеголев*. С. 268.

[12] *Дуэль Пушкина*. С. 48, 50—52.

[13] ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. № 683.

[14] *Казанский Письмо*. С. 77—81.

[15] *Тургенев. Письма*. С. 49.

[16] *Дуэль Пушкина*. С. 43, 61, 63, 75.

[17] *Щеголев*. С. 274.

[18] *Муза, Сеземан*. С. 39.

[19] *Эйдельман 1987*. С. 427; *Левкович. Комментарии*. С. 537.

[20] *Щеголев*. С. 324.

[21] Литературное наследство. Т. 58. С. 138—139.

[22] А.В.Трубецкой делился воспоминаниями, будучи на даче у Краевского в Павловске в 1887 г. Известны две записи его рассказов, сделанные с интервалом в две недели. Одну запись сделал зять Краевского В.А.Бильбасов, другую — В.П.Гаевский. Вторая запись более полная. Только в ней изложено содержание письма Пушкина к Геккерну. Запись Бильбасова давно введена в научный оборот и в последний раз опубликована П.Е.Щеголевым. Запись Гаевского была недавно обнаружена Н.Я.Эйдельманом и издана С.Ласкиным. Ругательство по адресу Дантеса фигурирует лишь в более точной записи Гаевского (*Ласкин С.* Вокруг дуэли. С. 190).

[23] См. *Архив братьев Тургеневых*. С. 71.

[24] *ПСС*. Т. V. 1936. С. 301.

[25] *Цявловский М.А.* Тень Баркова. Баллада Пушкина. 1930—1931. Приложение к Первому тому Академического издания Полного собрания сочинений Пушкина. — ИРЛИ. Рукописный отдел.

[26] Там же. С. 62.

[27] *Тодд 1994*. С. 71—72.

Картель

[1] *Письма последних лет*. С. 164, 183.

[2] *Казанский Письмо*. С. 5—92 ; *Измайлов 1936*. С. 355—356.

[3] *Письма последних лет*. С. 184.

[4] Т. XVI. С. 426.

[5] *Письма последних лет*. С. 184.

[6] Т. XVI. С. 427.

[7] *Соллогуб. Записка.* С. 379.

[8] Т. XVI. С. 426.

[9] *Письма последних лет.* С. 184; Т. XVI. С. 407–408.

[10] *Письма последних лет.* С. 183, 205.

[11] *Там же.* С. 164.

Визит к Вревской

[1] *Абрамович 1991.* С. 524, 535.

[2] *Пушкин и его современники.* Т. VIII. С. 65.

[3] *Исследования и материалы.* Т. 6. С. 367.

[4] *Пушкин и его современники.* Вып. 1. С. 59.

[5] Русский вестник. 1869. № 11. С. 90.

[6] Т. XIII. С. 99.

[7] *Майков.* С. 221.

[8] *Фамильные бумаги.* Т. 2. С. 194.

[9] *Щеголев.* С. 118.

[10] *Там же.* С. 288.

[11] *Письма Карамзиных.* С. 168.

[12] *Письма последних лет.* С. 172–173.

[13] Цит. по: *Герштейн 1995.* С. 134.

[14] Т. XI. С. 278.

[15] *Левкович 1995.* С. 168.

[16] Т. XI. С. 278.

26 января

[1] *Измайлов, Вацуро.* С. 356.

[2] *Левкович. Комментарии.* С. 489.

[3] *Цявловский 1924.* С. 83–84.

[4] *Щеголев.* С. 225.

[5] *Там же.* С. 338.

[6] *Письма последних лет.* С. 165.

[7] *Щеголев.* С. 274.

[8] Т. XVI. № 1366.

[9] *Пушкин и его современники.* Вып. VI. С. 48; *Московский пушкинист.* Кн. 1. С. 28; *Письма последних лет.* С. 184.

[10] *Письмо Вяземской.* С. 189.

[11] *Письма последних лет.* С. 184.

[12] *Щеголев.* С. 274.

[13] А.И.Васильчикова ошибочно считала, что к Строгановым отправился один Дантес. (См.: *Бартенев.* С. 39).

[14] *Дневник императрицы.* С. 87.

[15] Николай I — вел. кн. Михаилу Павловичу 3 февраля 1837 г. (Русская старина. 1902. №. 110. С. 227).

[16] *Щеголев.* С. 120.

[17] *Там же.*

[18] *Там же.* С. 121.

[19] Т. XVI. С. 223, 408.

[20] *Щеголев.* С. 121.

[21] Т. XVI. С. 224, 408.

[22] *Письма Карамзиных.* С. 167.

[23] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 183.

[24] *Абрамович 1991.* С. 569.

[25] Т. XVI. С. 224, 409.

Поединок

[1] *Щеголев.* С. 262.

[2] Т. XVI. С. 428.

[3] *Пушкин в воспоминнаиях.* Т. 2. С. 346.

[4] Т. XVI. С. 410–412.

[5] *Щеголев.* С. 158.

[6] *Пушкин и его современники.* Вып. VI. С. 49.

[7] *Дуэль Пушкина.* С. 99–100.

[8] *Там же.*

[9] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 371, 512–513.

[10] *Щеголев.* С. 262.

[11] *Пушкин в воспоминаниях.* Т. 2. С. 371.

[12] С.Л.Абрамович реконструировала ход событий иначе. Согласно ее гипотезе, Пушкин в 11-м часу вышел из дома и поехал к Данзасу. Застав Данзаса дома и получив его согласие, поэт повез его во французское посольство на Миллионную, где Данзас остался, чтобы выработать условия дуэли. (*Абрамович 1989.* С. 277–278). Конспект Жуковского и письма Тургенева — наиболее

достоверные документы — рисуют совсем иную картину. Данзас появился на Мойке около часа дня, и они отправились на дачу для обсуждения дела. Если бы поэт был у Данзаса дома ранее того, необходимости ехать на дачу не было бы.

[13] *Щеголев*. С. 191.

[14] *Там же*. С. 262. Исследователи обратили внимание на неприметную деталь: поэт двинулся в путь, но тут же возвратился, чтобы переодеть шубу. «Пушкин, — подчеркнула С.Л.Абрамович, — поступил в нарушение всех своих привычек: выйдя, вернулся... То есть пренебрег опасной приметой, в которую всю жизнь верил». По мнению Андрея Битова, пренебрежением к дурной примете Пушкин выразил своего рода вызов Судьбе: поэт не боялся искушать судьбу, он доверил выбор Промыслу; «смертельный исход не страшит, потому что так жить невозможно и нет ни возможности, ни сил самому переменить Судьбу». С.Л.Абрамович согласилась с таким мнением (*Абрамович 1991*. С. 566). Вера Пушкина в дурные предзнаменования общеизвестна. Но в самом ли деле он пренебрег приметой? Дом заканчивался порогом и внешней дверью на улицу, в конце лестницы. Лестница же была частью квартиры, так что поэт не вышел из дома и не пустился в путь. Он не захотел переодеть шубу в прихожей или на лестнице, а прошел в свой кабинет.

[15] Т. XVI. С. 428.

[16] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 370.

[17] *Письма Тургенева*. С. 49.

[18] *Щеголев*. С. 155.

[19] *Щеголев*. С. 155; *Письма последних лет*. С. 186, 358.

[20] *Щеголев*. С. 265.

[21] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 341.

[22] Там же. С. 371.

[23] *Аммосов*. С. 62—63.

[24] *Пушкин в воспоминаниях*. Т.2. С. 373.

[25] Воспоминания Данзаса. (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 373).

[26] *Щеголев*. С. 226.

[27] *Пушкин в воспоминаниях*. С. 374.

[28] Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1974. С. 42.

[29] *Левкович 1970*. С. 216—219. Сведения о кольчуге Дантеса не имеют под собой никакой почвы.

[30] *Вересаев 1984*. С. 566—570.

Царское письмо

[1] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 376.

[2] *Фамильные бумаги*. Т. 2. С. 121.

[3] *Щеголев*. С. 176.

[4] *Там же*. С. 144.

[5] *Московский пушкинист*. Т. 1. С. 66.

[6] *Щеголев*. С. 176.

[7] *Письма Тургенева*. С. 50.

[8] *Письмо Вяземской*. С. 190.

[9] *Письма Тургенева*. С. 50; ср.: *Письмо Вяземской*. С. 190.

[10] *Дневник Тургенева*. С. 331.

[11] *Черейский*. С. 327.

[12] *Абрамович 1991*. С. 577.

[13] *Письма Тургенева*. С. 53.

[14] *Дневник Тургенева*. С. 331.

[15] *Щеголев*. С. 145.

[16] Черновик письма Жуковского С.Л.Пушкину 15 февраля 1837 г. (*Щеголев*. С. 160).

[17] *Яшин 1971*. С. 192.

[18] *Пушкин и его современники*. Вып. 6. С. 54.

[19] *Щеголев*. С. 163.

[20] *Дневник Тургенева*. С. 331.

[21] *Щеголев*. С. 191.

«Она ни при чем!»

[1] *Щеголев*. С. 176.

[2] *Там же*. С. 262.

[3] *Письмо Вяземской*. С. 190.

[4] *Там же*.

[5] *Письма Тургенева*. С. 50; *Щеголев*. С. 248.

[6] *Письма Тургенева*. С. 53.

[7] *Там же*. С. 54.

[8] *Там же*. С. 59.

[9] *Там же*. С. 54.

[10] *Письмо Вяземской*. С. 191.

[11] *Письма Тургенева*. С. 57.

[12] *Письмо Вяземской*. С. 190.

[13] *Щеголев*. С. 161.

[14] *Письмо Вяземской*. С. 191.

[15] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф*. С. 268.

[16] *Даль В.И*. Записка. (*Щеголев*. С. 180).

[17] *Письма Тургенева*. С. 52.

[18] *Щеголев*. С. 177.

[19] *Письма Тургенева*. С. 55—56.

[20] *Письмо Вяземской*. С. 192.

[21] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 379.

[22] *Раевский*. С. 339.

[23] *Пушкин и его современники*. Вып. XII. С. 104.

[24] Красный архив. 1929. Т. 33. С. 224.

[25] Русский архив. 1888. № 2. С. 311.

[26] Русский архив. 1908. № 3. С. 295.

Расставание с друзьями

[1] *Черейский 1981*. С. 210; *Черейский*. С. 332.

[2] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 295, 296.

[3] Т. XII. С. 99.

[4] *Там же*.

[5] *Синявский*. С. 367.

[6] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 295.

[7] Записка д-ра Шольца (*Щеголев*. С. 175).

[8] *Щеголев*. С. 154.

[9] Письмо вел. кн. Михаилу 14 февраля 1837 г. (*Щеголев*. С. 226).

[10] Письмо Вяземской. С. 190.

[11] В феврале 1837 г. М.П.Погодин сделал следующую запись в дневнике. «Даль рассказывал о последних минутах Пушкина. За три дня до смерти он сказал: «Я только что перебесился, я буду еще много работать». (См.: *Щеголев*. С. 178, 180; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 35.) Можно было бы предположить, что слова поэта были ответом на уверения врача, что не все потеряно. Пушкинская реплика находит аналогию в стихах, написанных поэтом за три месяца до гибели:

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился...

Однако в 1840 г. Даль вновь процитировал пушкинскую фразу, но отнес ее не к 1837, а к 1833 году. Рассуждая о написании истории Петра I, поэт сказал: «О, вы увидите, я еще много сделаю! Ведь даром, что товарищи мои все поседели да оплешивели, а я только что перебесился...» (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 262). Ошибся ли Погодин, или Даля подвела память, неясно.

[12] *Корф. Записка*. С. 250—251.

[13] *Письмо Вяземской*. С. 191.

[14] *Письма Тургенева*. С. 50.

[15] *Письмо Вяземской*. С. 191.

[16] *Дневник Тургенева*. С. 332.

[17] *Пушкин и его современники*. Вып. XXXVIII—XXXIX. С. 214.

[18] Т. XIV. С. 88.

[19] *Письма Карамзиных*. С. 166.

[20] *Там же*. С. 332.

[21] *Черейский*. С. 448.

[22] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 378.

[23] *Письма Тургенева*. С. 51, 54.

Кончина

[1] *Щеголев*. С. 223.

[2] *Письмо Вяземской*. С. 190.

[3] Показание доктора Спасского (*Щеголев*. С. 177).

[4] *Письма Тургенева*. С. 54.

[5] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 377.

[6] *Щеголев*. С. 210.

[7] *Письма Тургенева*. С. 54.

[8] *Там же*. С. 50.

[9] Записка Даля (*Щеголев*. С. 181).

[10] Слова записаны А.Н.Веневитиновой (*Пушкин и его современники*. Вып. VIII. С. 67).

[11] *Письмо Вяземской*. С. 191.

[12] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 183.

[13] *Щеголев*. С. 228.

[14] Свидетельство Жуковского (*Щёголев*. С. 220).

[15] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 199.

[16] *Поляков*. С. 42.

[17] *Письма Тургенева*. С. 91–92.

[18] *Дневник императрицы*. С. 214.

[19] *Черейский*. С. 306–307; 403; 474.

[20] Русский архив. 1882. № 1. С. 248; *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 358.

[21] *Письма Тургенева*. С. 67.

[22] Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 136.

[23] *Вересаев 1984*. С. 614–615.

[24] *Никитенко*. С. 284.

[25] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 287–288.

[26] *Письма Тургенева*. С. 67.

[27] *Щеголев*. С. 249.

[28] *Письма Тургенева*. С. 62.

Доброе имя вдовы

[1] *Щеголев*. С. 274.

[2] *Там же*. С. 274.

[3] *Герштейн 1964*. С. 551.

[4] *Щеголев*. С. 333.

[5] *Там же*. С. 325.

[6] *Там же*. С. 249.

[7] *Там же*. С. 274.

[8] *Пушкин и его современики*. Вып. VI. С. 52.

[9] *Там же*. С. 85.

[10] ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 18, № 32.

[11] *Яшин 1969*. № 4. С. 179–181; *Левкович. Комментарии*. С. 469.

[12] *Пушкин в воспоминаниях. Комментарии*. Т. 2. С. 520; *Левкович. Комментарии*. С. 469–470.

[13] *Абрамович 1991*. С. 535–542.

[14] ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 18, № 32.

[15] *Дуэль Пушкина*. С. 75.

[16] *Письма Карамзиных*. С. 404.

[17] Русская старина. № 110. 1902. С. 230.

[18] *Письма Карамзиных*. С. 186.

[19] *Щеголев*. С. 207.

[20] Красный архив. Т. 2. 1929. С. 231.

[21] *Вересаев 1927*. С. 185.

[22] *Ободовская, Дементьев 1980*. С. 284–285.

[23] *Письма Карамзиных*. С. 404.

[24] *Лотман*. С. 387.

Погребение

[1] Записка Жуковского Николаю I (*Щеголев*. С. 190).

[2] *Там же*. С. 191.

[3] *Письма Тургенева*. С. 57, 58.

[4] *Абрамович 1991*. С. 136.

[5] Т. X. С. 338–339.

[6] *Дневник Тургенева*. С. 238.

[7] *Щеголев*. С. 325.

[8] Т. XVI. С. 393.

[9] Т. XIII. С. 280.

[10] *Письма к жене*. С. 81.

[11] *Щеголев*. С. 341.

[12] *Там же*. С. 275.

[13] *Там же*. С. 220–221.

[14] *Там же*. С. 218–219.

[15] *Там же*. С. 340.

[16] *Там же*. С. 219.

[17] *Казанский 1936*. С. 238.

[18] *Щеголев*. С. 275.

[19] *Там же*. С. 229.

[20] *Яшин 1963*. № 9. С. 186–187.

[21] *Щеголев*. С. 194–195.

[22] *Там же*. С. 250.

[23] *Гордин*. С. 400.

[24] *Модзалевский. Смерть Пушкина*. С. 109.

[25] *Щеголев*. С. 251.

[26] *Там же*. С. 172.

[27] *Там же*. С 252.

[28] *Там же*. С. 253.

[29] *Поляков*. С. 46.

Последний акт

[1] *Ласкин*. С. 220, 221.

[2] *Мануйлов*. С. 71.

[3] Русский архив. 1879. № 2. С. 246–247.

[4] *Щеголев*. С. 254.

[5] *Там же*. С. 253.

[6] *Там же*. С. 254.

[7] *Там же*. С. 215.

[8] *Там же*. С. 395.

[9] *Муза, Сеземан*. С. 39.

[10] *Письма Карамзиных*. С. 170. Николай I назначил пенсию семье Карамзина особым рескриптом. Жуковский добивался издания такого же рескрипта на смерть Пушкина, но получил отказ.

[11] *Щеголев*. С. 190–191.

[12] *Там же*. С. 185.

[13] *Там же*. С. 191.

[14] *Архив опеки Пушкина*. С. 150–151; *Пушкин в воспоминаниях. Примечания*. Т. 2. С. 479.

[15] Русский архив. 1897. № 1. С. 19.

[16] Т. XII. С. 486.

[17] Т. XVI. С. 172.

[18] *Щеголев*. С. 216

[19] *Там же*. С. 329, 537.

[20] Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 357.

[21] Воспоминания Данзаса (*Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 369).

[22] *Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф*. С. 267–269.

[23] *Мицкевич*. С. 389.

[24] *Шумихин, Юрьев*. С. 124.

[25] *Видок Фиглярин*. С. 440.

Эпилог

[1] *Тургенев. Письма*. С. 61.

[2] *Письма Карамзиных*. С. 172

[3] *Там же*. С. 175.

[4] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 156.

[5] Русский архив. 1879. № 2. С. 254.

[6] *Письма Карамзиных*. С. 178.

[7] *Там же*. С. 178–179.

[8] *Архив опеки Пушкина*. С. 344–345.

[9] *Ободовская, Дементьев 1980*. С. 54–55.

[10] *Вересаев 1984*. С. 652.

[11] *Пушкин и его современники*. Вып. XIX–XX. С. 110.

[12] Т. XIV. С. 404–405.

[13] *Ободовская, Дементьев 1980*. С. 118.

[14] *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 224.

[15] *Бартенев 1992*. С. 345.

[16] *Цявловский*. С. 183.

[17] *Герштейн 1962*. С. 215.

[18] *Боровой*. С. 174.

[19] Новый мир. 1962. № 2. С. 226.

[20] *Левкович Я.Л.* Жена поэта // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994. С. 240–241.

[21] *Боровой*. С. 174.

[22] *Якушкин В.Е.* Часы Николая I с

портретом Натальи Николаевны Пушкиной // Московский пушкинист. Кн. 2. М., 1930. С. 267–268.

[23] *Ободовская, Дементьев 1980.* С. 75.

[24] *Там же.* С. 133.

[25] *Там же.* С. 142.

[26] *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М., 1928.

[27] *Serena Vitale.* Il Bottone di Puskin. Milano, 1995.

[28] Письма Жоржа Дантеса барону Геккерну 1835–1836 годов // Звезда. 1995. № 9. С. 166–198; Письма Жоржа Дантеса к Екатерине Гончаровой. 1836–1837 гг. // Звезда. 1997. № 8. С. 106–112.

*СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

Абрамович 1987 — *Абрамович С.Л.* Переписка Жуковского с Пушкиным в ноябре 1836 г. (Уточнение датировок) // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 477—483

Абрамович 1989 — *Абрамович С.Л.* Пушкин в 1836 г. (Предыстория последней дуэли). Л. 1989.

Абрамович 1991 — *Абрамович С.Л.* Пушкин. Последний год. М. 1991.

Абрамович 1994 — *Абрамович С.Л.* Пушкин в 1833 г. М., 1994.

Абрамович Письма — *Абрамович С.Л.* Письма П.А.Вяземского о гибели Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 13. Л., 1989.

Аммосов — *Аммосов А.* Последние дни жизни и кончина А.С.Пушкина со слов его бывшего лицейского товарища и секунданта К.К.Данзаса. СПб., 1863.

Анненков — *Анненков П.В.* А.С.Пушкин: Материалы для биографии и оценки произведений. М., 1984.

Анненков 1874 — *Анненков П.В.* А.С.Пушкин в александровскую эпоху. СПб., 1874.

Анненков о Пушкине — Работы Анненкова о Пушкине // *Модзалевский Б.Л.* Пушкин. Л., 1929

Арапова — *Арапова А.П.* Н.Н.Пушкина-Ланская. К семейной хронике жены А.С.Пушкина. Приложение к «Новому времени». № 11416. 1907-1908.

Архив братьев Тургеневых — Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Пг., 1921.

Архив Вяземских — Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1; Т. 3. СПб., 1880.

Архив опеки А.С.Пушкина — Архив опеки А.С.Пушкина. Летопись Государственного литературного музея. Кн. 5. М.; Л., 1939.

Ахматова 1977 — *Ахматова А.А.* О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977.

Ахматова — *Анна Ахматова.* Гибель Пушкина // Светлое имя Пушкина. М., 1988. С. 431.

Баратынский — *Баратынский Е.А.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987.

Благой, Волкова — *Благой Д., Волкова Т.* Комментарии // Летописи Государственного литературного музея. Кн. 1: Пушкин. М.; Л., 1936.

Бартенев — *Бартенев П.И.* Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей. Л., 1925.

---

* Вся цитируемая литература, за единичными исключениями, приводится в форме условных сокращений. Для удобства пользования Список литературы построен в алфавитном порядке сокращений.

Бартенев. Пушкин — Бартенев П.И. А.С.Пушкин. Вып. 2. М., 1885.

Бартенев 1992 — Бартенев П.И. О Пушкине. М., 1992.

Белинский — Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1955.

Боборыкин — Боборыкин П.Д. Воспоминания. Т. 1. М., 1965.

Боричевский — Боричевский И. Заметки Жуковского о гибели Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Кн. 3. М.; Л., 1937. С. 371–392.

Боровой — Боровой С.Я. Новые материалы о материальном положении семьи Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 25. СПб., 1993.

Бутурлин — Бутурлин А.С. Имел ли И.С.Гагарин отношение к пасквилю на Пушкина? // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 28. Вып. 3. 1969.

Вацуро 1978 — Вацуро В.Э. «Северные Цветы». История альманаха Дельвига-Пушкина. М., 1978.

Вацуро, Гиллельсон — Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь умственные плотины. М., 1972.

Вересаев 1927 — Вересаев В. Пушкин в жизни. Вып. 4. М., 1927.

Вересаев 1984 — Вересаев В. Пушкин в жизни. М., 1984.

Веселовский — Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.

Видок Фиглярин — Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В.Булгарина в III Отделение. М., 1998.

Витале — Витале С. Пуговица Пушкина // Звезда. 1995. № 9.

Воспоминания Гончаровой-Фризенгоф — Воспоминания А.Гончаровой-Фризенгоф в записи Фризенгофа. 1887 г. // *Гроссман Л.* Цех пера. М., 1930.

Востокова — Востокова Н.Б. Пушкин по архиву Бобринских. // Прометей. Т. 10. М., 1974.

Вульф 1915 — Вульф А.Н. Дневник // Пушкин и его современники. Вып. XXI–XXII. Пг., 1915.

Вульф — Вульф А.Н. Дневники. Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1929.

Вяземский 1893 — Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1893.

Вяземский 1929 — Вяземский П.А. Старая записная книжка. Л., 1929. [Красный архив. Т. 33. 1929.]

Вяземский — Вяземский П.А. Записные книжки. М., 1963.

Гастфрейнд — Гастфрейнд Н.А. Пушкин. Документы. СПб. 1900.

Гершензон 1919 — Гершензон М. Мудрость Пушкина. М., 1919.

Гершензон — Гершензон М.О. Плагиаты Пушкина // Искусство. 1925. № 2.

Герштейн 1962 — *Герштейн Э.* Вокруг гибели Пушкина // Новый мир. 1962. № 2.

Герштейн 1964 — Герштейн Э.Г. Судьба Лермонтова. М., 1964.

Герштейн 1977 — *Герштейн Э.* Комментарии // *Ахматова А.А.* О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977.

Герштейн 1995 — *Герштейн Э.* К истории смертельной дуэли Пушкина. (Критические заметки) // Лица. Биографический альманах. М.; СПб., 1995.

Гессен — *Гессен С.* Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930.

Гессен 1968 — *Гессен П.* Москва, я думал о тебе. Пушкин в Москве. М., 1968.

Гессен А. 1973. — *Гессен А.* Рифмы звучная подруга. М., 1973.

Гиллельсон — *Гиллельсон М.И.* О друзьях Пушкина // Звезда. 1975. № 2.

Гинзбург — *Гинзбург Л.Я.* Вяземский // *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. Л., 1929.

Гиппиус — *Гиппиус В.В.* Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830—1831 гг. // Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М.; Л., 1941.

Глассе —*Глассе А.* Дуэль и смерть Пушкина по материалам архива вюртембергского посольства // Временник Пушкинской комиссии. 1977. Л., 1980.

Глассе. Т. 10 — *Глассе А.* Пушкин и Гогенлоэ // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 10. М.; Л., 1982

Гоголь — *Гоголь Н.В.* Собр. соч в 6 тт. Т.3. М., 1949.

Гоголь. ПСС — *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений. Т. 4. М., 1951.

Гордин — *Гордин Я.А.* Пушкин в Михайловском. Л. 1989.

Городецкий — *Городецкий Б.П.* Кто же был цензором «Бориса Годунова» в 1826 г.? // Русская литература. 1967. № 4. С. 109—118

Греч — *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930.

Гроссман — *Гроссман Л.* Цех пера. М., 1930.

Гроссман Этюды — *Гроссман Л.П.* Этюды о Пушкине. М.; Пг., 1923.

Грот — *Грот Я.К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники // *Грот Я.К.* Труды. Т. 3. СПб., 1901.

Губер — *Губер П.* Дон-Жуанский список А.С.Пушкина. Пг., 1923.

Дела III Отделения — Дела III Отделения собственной е.и.в.канцелярии об А.С.Пушкине. СПб., 1906.

Дневник Annete — Дневник Annete. Анна Алексеевна Оленина. М., 1994.

Дневник императрицы — Пушкин в письмах и дневнике императрицы // Новый мир, 1962. № 2.

Дневник Муханова — Дневник Н.А.Муханова. Русский архив. 1897. Кн. 1.

Дневник Тургенева — Дневник А.И.Тургенева // *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987.

Дневник Фикельмон — Дневник гр. Д.Фикельмон // Wiener Slavischer Jahrbucher. Bd. 6. 1960.

Дневники. Записки — *Пушкин А.С.* Дневники. Записки. СПб., 1995.

Документы — Пушкин. Документы Государственного и Санкт-Петербургского Главных архивов Министерства иностранных дел, относящихся к службе его. 1831—1837 гг. СПб., 1900.

Друзья Пушкина — Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники. Т. 1, 2. М., 1985.

Дуэль Пушкина — Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

Жуйкова — *Жуйкова Р.Г.* Портретные рисунки Пушкина. Каталог атрибуций. СПб., 1996.

Жуйкова 1974 — *Жуйкова Р Г.* Два малоизвестных рисунка Пушкина. 1. Портрет Шарля-Луи Дидло. 2. Портрет Н.И.Гончаровой // Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974.

Заблоцкий-Десятовский — *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д.Киселев и его время. Т. III. СПб., 1882.

Золотой том — *Пушкин А.С.* Золотой том. М., 1993.

Иезуитова — *Иезуитова Р.В.* Пушкин и «Дневник» В.А.Жуковского в 1834 г. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 8. М.; Л., 1978.

Иезуитова, Левкович — *Иезуитова Р.В., Левкович Я.Л.* Пушкин в Петербурге. Л., 1991.

Измайлов 1936 — *Измайлов Н.В.* История текста писем Пушкина к Геккерну // Пушкин. Летописи государственного литературного музея. Кн. 1. М., 1936.

Измайлов 1975 — *Измайлов Н.В.* Очерки творчества Пушкина. М., 1975.

Измайлов, Вацуро — *Измайлов Н.В., Вацуро В.Э.* Комментарий // Пушкин А.С. Письма последних лет. Л., 1969.

Исследования и материалы — Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. М.; Л., 1956; Т. 4. Л.,1965; Т. 5. Л., 1967; Т. 6. Л., 1969; Т. 8. Л., 1978; Т. 10. Л., 1982.

Казанский 1934 — *Казанский Б.В.* Разработка биографии Пушкина // Литературное наследство. Т. 16—18. М., 1934.

Казанский 1936 — *Казанский Б.В.* Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.; Л., 1936.

Казанский Письмо — *Казанский Б.В.* Письмо Пушкина Геккерну // Звенья. 1936. Т. 6.

Кирпичников — *Кирпичников А.И.* Очерки по истории новой русской литературы (пушкинский период). Т. 2. 2-е изд. М., 1903.

Корф — *Корф М.А.* Записки // Русская старина. 1899. № 99.

Корф. Записка — *Корф М.* Записка // *Грот Я.К.* Труды. Т. III.

Кошелев — *Кошелев А.И.* Записки. Ньютонвиль, 1876.

Крестова — *Крестова Л.В.* Почему Пушкин называл себя «русским Данжо»? К вопросу истолкования «Дневника» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 4. Л., 1965.

Ласкин 1982 — *Ласкин С.* Тайна «красного человека». Нева. 1982. № 6.

Ласкин — *Ласкин С.* Вокруг дуэли. СПб., 1993.

Левкович 1967 — *Левкович Я.Л.* Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963—1966 гг. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 5. Л., 1967.

Левкович 1970 — *Левкович Я.Л.* Две работы о дуэли Пушкина // Русская литература. 1970. № 2.

Левкович 1974 — *Левкович Я.Л.* Заметкн Жуковского о гибели Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974. С. 77—83

Левкович 1986 — *Левкович Я.Л.* Письма Пушкина к жене // А.С.Пушкин. Письма к жене. Л., 1986.

Левкович 1987 — *Левкович Я.Л.* Дуэль Пушкина в конспективных заметках Жуковского // Жуковский и русская культура. Л., 1987

Левкович Комментарии — *Левкович Я.Л.* Примечания к книге Щеголева П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987

Левкович 1988 — *Левкович Я.Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988.

Левкович 1994 — *Левкович Я.Л.* Жена поэта // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.

Левкович 1994—1995 — *Левкович Я.* Из нидерландских архивов // The Pushkin Journal. 1994—1995. N 2—3.

Левкович 1995 — *Левкович Я.Л.* Пушкин-мемуарист // А.С.Пушкин. Дневники. Записки. Санкт-Петербург. 1995.

Левкович. Комментарий 1995 — *Левкович Я.Л.* Комментарий // А.С. Пушкин. Дневники. Записки. СПб., 1995.

Левкович 1997 — Левкович Я.Л. «Донжуанский список» Пушкина. Запись в альбоме Ел.Ушаковой // Утаенная любовь Пушкина. СПб., 1997.

Лемке — *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература. 1826—1855. СПб., 1908.

Ленц — *Ленц В.В.* Приключения лифляндца в Петербурге // Русский архив. 1878. кн. 1.

Лернер 1905 — *Лернер Н.* Ревность Н.Н.Пушкиной // Русская старина. 1905. Ноябрь.

Лернер 1910 — *Лернер Н.О.* Труды и дни Пушкина. СПб., 1910.

Летописи — Летописи Государственного литературного музея. Кн. 1: Пушкин. М.; Л., 1936.

Лотман Ю.М. Пушкин 1999 года // Таллин. 1987. № 7.

Лотман — Лотман Ю. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. СПб., 1995.

Лотман Беседы — Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.

Майков — Майков Л.Н. Пушкин. СПб., 1899.

Максимов — Максимов М. По страницам дневников и писем А.И.Тургенева // Прометей. Т. 10. 1974.

Мануйлов — Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М.Ю.Лермонтова. М.; Л., 1964.

Мердер — Мердер Н.К. Листки из дневника // Русская старина. 1900. Т. 103.

Мицкевич — Мицкевич А. Собрание соч. Т. 4. М., 1954.

Модзалевский 1907 — Модзалевский Б.Л. Род Пушкиных // Библиотека великих русских писателей.. Т. 1: Пушкин. СПб., 1907

Модзалевский 1910 — Модзалевский Б.Л. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в музее А.А.Бахрушина // Пушкин и его современники. Вып. XIII. СПб., 1910.

Модзалевский. Смерть Пушкина — Модзалевский Б.Л. Смерть Пушкина // Пушкин и его современники. Вып. VI. СПб., 1908.

Модзалевский 1925 — Модзалевский Б.Л. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3. Л., 1925.

Модзалевский 1929 — Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929.

Модзалевский, Оксман, Цявловский — Модзалевский Б.Л., Оксман Ю.Г., Цявловский М.А. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924.

Муза, Сеземан — Муза Е.В., Сеземан Д.В. Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.; Л., 1963.

Нечаева — Нечаева В. Пушкин в письмах П.А.Вяземского жене // Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934.

Нечаева 1927 — Нечаева В.С. Дантес по материалам гончаровского архива // Московский пушкинист. 1927. Вып. 1.

Никитенко — Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. Л., 1955.

Никольский — Никольский Б.В. Последняя дуэль Пушкина. СПб., 1901.

Новые материалы — Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924.

Ободовская, Дементьев 1975 — Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1975.

Ободовская, Дементьев 1980 — Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина. М., 1980.

Ободовская, Дементьев 1982 — *Ободовская И., Дементьев М.* Пушкин в Ярополъце. М., 1982.

Овчинникова — *Овчинникова С.Т.* Пушкин в Москве. М., 1984.

Оржеховский — *Оржеховский Н.В.* Самодержавие против революционной России. М., 1982.

Панаев — *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. Л., 1950.

Парчевский — *Парчевский Г.Ф.* Пушкин и карты. СПб., 1996.

Письма Дантеса — Письма Жоржа Дантеса барону Геккерну 1835—1836 годов // Звезда. 1995. № 9.

Письма Дантеса 1836—1837 — Письма Жоржа Дантеса к Екатерине Гончаровой. 1836-1837 гг. // Звезда. 1997. № 8.

Письма Карамзиных — Письма Карамзиных 1836-1837 годов. М.; Л., 1960.

Письма к жене — *Пушкин А.С.* Письма к жене. Л., 1986.

Письма к Хитрово — Письма Пушкина к Е.М.Хитрово. 1827—1832. Л., 1927.

Письма последних лет — *Пушкин А.С.*. Письма последних лет. Л., 1969.

Письма Тургенева — [Публикация] Пушкин и его современники. Вып. VI. СПб., 1908.

Письмо Вяземской — Неизвестное письмо В.Ф.Вяземской о смерти А.С.Пушкина // Новый мир. 1931. № 12

Поляков — *Поляков А.С.* О смерти Пушкина. По новым данным. Пг., 1922.

Полиевктов — *Полиевктов М.* Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918.

Потапова — *Потапова Г.Е.* «Все приятели кричали, кричали...» (Литературная репутация Пушкина и эволюция представлений о славе в 1820—1830-е годы) // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.

ПСС — Полное собрание сочинений

Пушкин в воспоминаниях — А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974; Т. 2. М., 1985.

Пушкин в воспоминаниях. Примечания — *Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И., Иезуитова Р.В., Левкович Я.Л.* Примечания // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985

Пушкин в письмах — А.С. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 гг. М.; Л., 1960.

Пушкин Дневники — *Пушкин А.С.* Дневники. Автобиографическая проза. М.,1989.

Пушкин и его современники — Пушкин и его современники. Вып. V. СПб., 1907; Вып. VI. СПб., 1908; Вып. VIII. СПб., 1908; Вып. XII. СПб., 1909; Вып. XIII. СПб., 1910; Вып. XVII—XVIII. СПб., 1913; Вып. XIX—XX. Пг., 1914; Вып. XXI—XXII. Пг.,1915; Вып. XXXVIII. Л., 1930.

Раевский — Раевский Н.А. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1974.

Раков — Раков Ю. Тройка, семерка, дама. Пушкин и карты. СПб., 1994.

Рашин — Рашин А.Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и начале XX века // Исторические записки. Т. 37. М., 1951.

Рейсер 1980 — Рейсер С.А. Пушкин в салоне Фикельмон (1829-1837) // Временник Пушкинской комиссии. 1977. М., 1980.

Рейсер — Рейсер С.А. Три строки дневника Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985.

Рейтблат — Рейтблат А.И. Булгарин и III Отделение // Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В.Булгарина в III Отделение. М., 1998.

Розен — Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск, 1989.

Рукою Пушкина — Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935

Сб. РИО — Сборник Русского исторического общества.

Семевский — Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII — первой половине XIX в. Т. 2. СПб., 1888.

Семевский. К биографии — Семевский М.И. К биографии Пушкина. // Русский вестник. 1869. Ноябрь.

Синявский — Синявский А. Прогулки с Пушкиным // *Абрам Терц (Андрей Синявский)*. Собр. соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1992.

Скабичевский — Скабичевский А.М. Очерки истории цензуры. Ч. 2. СПб., 1982.

Скрынников 1974 — Скрынников Р.Г. Борис Годунов и предки Пушкина // Русская литература. 1974. № 2.

Смирнова-Россет — Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.

Соллогуб. Воспоминания — Воспоминания гр. В.А.Соллогуба. СПб., 1887.

Соллогуб — Соллогуб В.А. Воспоминания. М.; Л., 1931.

Соллогуб. Записка. — Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929.

Сочинения 1905 — Пушкин А.С. Сочинения. Т. 8. СПб., 1905.

Стихотворения лицейских лет — Пушкин А.С. Стихотворения лицейских лет. СПб., 1994.

Телетова 1981 — Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. Л., 1981.

Тодд 1994 — Тодд III, У.М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994.

Тодд — Тодд III, У.М. Литература и общество в эпоху Пушкина. СПб., 1996.

Туманский — Туманский В.И. Стихотворения и письма. СПб., 1912.

Тынянов — Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969.

Утаенная любовь — Утаенная любовь Пушкина. СПб., 1997.

Фамильные бумаги — Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов. Т. 1; Т.2. СПб., 1994.

Флоровский — *Флоровский А.В.* Пушкин на страницах дневника гр. Д.Фикельмон // Slavia. 1956. N 4.

Ципенюк 1976 — *Ципенюк С.А.* Исследование анонимных писем, связанных с дуэлью А.С.Пушкина // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 12. Киев. 1976.

Цявловская 1974 — *Цявловская Т.Г.* «Храни меня, мой талисман...» // Прометей. Т. 10. М., 1974.

Цявловская 1983 — *Цявловская Т.Г.* Рисунки Пушкина. М., 1983.

Цявловский 1922 — *Цявловский М.* Пушкин и графиня Д.Ф.Фикельмон // Голос минувшего. 1922. № 2.

Цявловский 1924 — *Цявловский М.А.* Бумаги о дуэли и смерти Пушкина из собрания П.И.Бартенева // Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924.

Цявловский 1950 — *Цявловский М.А.* Записи в дневнике Пушкина об истории Безобразовых // Звенья. Т. 8. М., 1950.

Цявловский. Летопись — *Цявловский М.А.* Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина. Т. 1. М., 1951.

Цявловский — *Цявловский М.А.* Новые материалы для биографии Пушкина // Звенья. Т.9. М., 1951.

Цявловский Комментарии — *Цявловский Л.Б.* Комментарии // *Пушкин А.С.* ПСС. Т. V. М.; Л., 1936.

Цявловский 1936 — *Цявловский М.А.* О судьбе рукописного наследства Пушкина // Сто лет со дня смерти А.С.Пушкина. М.; Л., 1938.

Черейский 1981 — *Черейский* Л.А. Современники Пушкина. Л., 1981.

Черейский — *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1988.

Чистова — *Чистова И.С.* К статье С.А.Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.

Шумихин, Юрьев — *Шумихин С.В., Юрьев К.С.* Из дневника московского почт-директора // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 24. Л., 1991.

Щеголев 1928 — *Щеголев П.Е.* Пушкин и мужики. М., 1928.

Щеголев 1931 — *Щеголев П.Е.* Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931.

Щеголев — *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987.

Эйдельман 1971 — *Эйдельман Н.Я.* Секретное донесение Геверса о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии. 1971. Л., 1973.

Эйдельман 1972 — *Эйдельман Н.Я.* О гибели Пушкина: По новым материалам // Новый мир. 1972. № 3.

Эйдельман. Десять автографов — *Эйдельман Н.Я.* Десять автографов Пушкина из архива П.И.Миллера. Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. Ленина. Вып. 33. М., 1972.

Эйдельман 1979 — *Эйдельман Н.* Пушкин и декабристы. М., 1979.

Эйдельман 1983 — *Эйдельман Н.Я.* Последний летописец. М., 1983.

Эйдельман 1987 — *Эйдельман Н.Я.* Пушкин: Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987.

Эттингер — *Эттингер П.Д.* Станислав Моравский о Пушкине // Московский пушкинист. Т. 2. М., 1930.

Якушкин — *Якушкин В.Е.* Часы Николая I с портретом Натальи Николаевны Пушкиной // Московский пушкинист. Кн. 2. М., 1930.

Яшин 1963 — *Яшин М.* Хроника преддуэльных дней // Звезда, 1963. № 8, № 9.

Яшин 1964 — *Яшин М.* Пушкин и Гончаровы. По неизвестным эпистолярным материалам // Звезда. 1964. № 8.

Яшин 1968; Яшин 1969 — *Яшин М.* История гибели Пушкина // Нева, 1968. № 2, 6; 1969. № 3, 4, 12.

Яшин 1971 — *Яшин М.* Последние часы Пушкина // Нева, 1971. № 2.

Kauchtschwili — *Kauchtschwili N.* Il diario di Dar'ja Fedorovna Fikelmont. Milano. 1968.

Troyat — *Troyat* A. Pouchkin. Vol. 2. Paris, 1946.

Vitale — *Vitale, Serena.* Il Bottone di Puskin. Milano, 1995.

Suasso — *Suasso F.* Dichter. Dama. Diplomat. Leiden, 1988.

Содержание

Научно-популярное издание

Руслан Григорьевич Скрынников
Дуэль Пушкина

Главный редактор С.В.Цветков
Художник Н.С.Цветкова
Редактор Р.Г.Рабинович
Выпускающий редактор С.Ю.Алябьев
Компьютерная верстка Ю.В.Ромашенковой
Корректоры Н.В.Волохонская, Л.А.Макеева

Лицензия ЛР № 070937 от 20 апреля 1998 г.
Сдано в печать 28.12.98.
Формат 60x90/16. Гарнитура Академическая
Бумага офсетная № 1
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23. Тираж 5000 экз.

Заказ № 3925

Издательство
Русско-Балтийский информационный центр
БЛИЦ
191011, Санкт-Петербург, Думская ул., 3

Отпечатано с оригинал-макета в Санкт-Петербургской
Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12



История дуэли Пушкина окутана плотной пеленой мифов и легенд.

Правда ли, что трагедия поэта была трагедией мученика, жертвы неодолимых обстоятельств? Справедливо ли, что его погубил чудовищный заговор, в котором участвовала императорская фамилия и высший свет? Верно ли, что гений Пушкина в конце блистательного поприща пришел в упадок, и у Пушкина не осталось иного выхода, кроме поединка, и таким путем он свел счеты с жизнью? Или все было иначе?

Автор книги — профессор Санкт-Петербургского университета Р.Г.Скрынников, хорошо известный читателям в России и за рубежом, — провел большую работу с подлинными рукописями Пушкина в Пушкинском Доме, с заметками Жуковского о дуэли, дневниками и записями современников поэта, а также с комплексом документов архива Дантеса, недавно введенных в научный оборот итальянской исследовательницей С.Витале. Впервые подойдя к изучению темы как источниковед и текстолог, историк разрушил гору мифов о дуэли Пушкина, скопившихся в науке.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей и написана живым языком; она изобилует вносящими дух эпохи цитатами из писем, дневниковых записей и воспоминаний современников событий.

ISBN 5-86789-045-7

